РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Бээкман В. Э.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ЭДМОН И ЖЮЛЬ ДЕ ГОНКУР

ЖЕРМИНИ ЛАСЕРТЕ

•

БРАТЬЯ ЗЕМГАННО

•

АКТРИСА ФОСТЕН

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1972

Вступительная статья
В. Шора

И(Фр)
Г65

Иллюстрации
Г. А. В. Траугот

7—3[illegible]4
Подп. изд.

БРАТЬЯ ГОНКУРЫ: ИХ ЭСТЕТИКА И РОМАНЫ

В истории французского реалистического романа второй половины XIX века братья Гонкуры стоят в одном ряду с такими прославленными писателями, как Флобер, Золя, Доде, Мопассан, хотя их литературный масштаб относительно скромнее. Выдающаяся роль Гонкуров в литературном движении их времени неоспорима: они наметили некоторые пути развития французской прозы, ставшие на определенном этапе магистральными для нее, внесли особый, своеобразный вклад в жанр реалистического романа. Им принадлежат ценные открытия, которые обогатили весьма эффективными художественными средствами литературу новейшего времени. Наследие Гонкуров имеет не только историко-литературное значение. Лучшие их произведения сохраняют силу непосредственного художественного воздействия на читателя и по сей день. Роман «Жермини Ласерте», принесший его авторам славу, романы «Братья Земганно», «Актриса Фостен», написанные старшим братом — Эдмоном после смерти младшего — Жюля, покоряют и ныне правдивыми картинами, своей, по выражению самих Гонкуров, «поэзией реальности, тончайшей нюансировкой в описании человеческих переживаний».

В настоящем издании читателю предлагаются именно эти романы — в них раскрываются наиболее сильные стороны художественного таланта Гонкуров.

Париж, третья четверть XIX века, эпоха Второй империи... Богатые кварталы столицы ослепляют великолепием и блеском, являя все признаки бурного процветания... Тут и там вырастают новые частные особняки, отделанные мрамором и позолотой, обставленные с кричащей роскошью; по улицам проносятся, обдавая грязью прохожих, кареты с

ливрейными грумами на запятках и элегантные коляски, в которых восседают изысканно одетые дамы и господа; на спектаклях и балах в Опере ослепительно сверкают и переливаются драгоценности, украшающие шеи и руки почтенных матрон и дорогих куртизанок. С прокладкой новых широких бульваров, прорезавших густую сеть старинных узких улочек, существенно изменился, стал намного импозантнее и красивее внешний облик столицы. Правда, сделано это парижской префектурой не без задней мысли: в случае народных волнений будет много легче, чем прежде, расправляться с повстанцами, ибо новая планировка не даст им возможности закрепляться, как это бывало, на занятых позициях и упорно оборонять их. Буржуа, хозяева жизни, еще дрожат при воспоминании о июньских днях 1848 года, когда улицы Парижа покрылись баррикадами, над которыми взметнулось красное знамя, и рабочие столицы впервые вступили в открытую битву со своими угнетателями. Тогда удалось потопить восстание в крови, но кто знает, что таит в себе будущее, и не следует ли ожидать новых, еще более мощных революционных взрывов? Однако покамест во Франции царят спокойствие и порядок. Вторая империя, режим монархической деспотии, возглавляемый политическим авантюристом Луи Бонапартом,— 2 декабря 1851 года он совершил государственный переворот и затем провозгласил себя императором под именем Наполеона Третьего,— бдительно охраняет интересы людей имущих, «респектабельных», среди которых немало личностей с темным прошлым, удачливых «рыцарей наживы». Все эти фабриканты, лавочники, держатели ценных бумаг довольны режимом и являются его твердой опорой. Отчего же и не быть им довольными? Ненавистный «красный призрак» не появляется больше, можно пользоваться благоприятной торгово-промышленной конъюнктурой и в атмосфере спекулятивного ажиотажа вокруг бурного строительства фабрик и заводов, закладки копей, проведения железных дорог, научных открытий и технических изобретений наживать состояния и наслаждаться жизнью.

В сфере идеологии, искусства и литературы власти Второй империи проводят последовательную и жесткую политику: они поощряют лишь охранительную, верноподданническую писанину рептильных журналистов, сусальную и сентиментальную живопись и скульптуру, уводящую от реальной жизни; низкопробную литературную продукцию проповедников «умеренности и аккуратности», накопительства, делячества, воплощаемых в образах «добродетельных» буржуа. На театральной сцене, наряду с бездумно развлекательной драматургией, пожинает лавры «школа здравого смысла». Она преподносит буржуазному зрителю милую его сердцу мораль «золотой середины» и тем более пользуется его симпатиями, что стремится гальванизировать уже, казалось бы, отжившиЙ свой век классицизм, который отвечает потребности буржуа в дисцип-

гине и порядке после до смерти напугавших его потрясений в социальной жизни и «опасных» романтических «излишеств» в литературе. Всякие попытки совлечь с современной действительности драпировки, прикрывающие ее язвы и уродства, вызывают яростные поношения со стороны прислуживающей режиму критики и прямые преследования со стороны властей. Однако, как ни велика когорта бесчестных журналистов и литераторов, угодничающих перед буржуа и льстящих реакционной Второй империи, в эти годы живут и действуют немногочисленные, но наделенные высоким творческим духом, талантом и совестью, не торгующие своим искусством художники слова, кисти и резца. Они не присмлют нравственных «ценностей» буржуа; за пышным фасадом капиталистического процветания они видят его отвратительную изнанку; они не закрывают глаза на горькую долю трудового люда, который подвергается нещадной эксплуатации и, в своей наиболее отсталой части, заражается от богатых их пороками.

Но художники эти — на перепутье. Они не видят вокруг себя ничего, что внушило бы им надежду на оздоровление тяжко больного общества, не знают, где пролегает путь, ведущий к исходу из его чудовищных противоречий. Порой они впадают в мрачный, беспросветный пессимизм. В этом их ущербность и слабость. Но они искренне, горячо ненавидят господство толстосумов, охраняемое политическим режимом Второй империи, и выражают в своих произведениях решительное неприятие окружающей их действительности. В этом их сила и историческая заслуга. Эдмон и Жюль Гонкуры — среди тех немногих писателей, которые в годы, названные Золя «годами безумия и позора», спасли честь французской литературы и обогатили духовную культуру Франции.

В литературе братья Гонкуры — это один писатель. Их произведения, пока были живы они оба, создавались ими совместно и публиковались только под обоими именами, и ни современники братьев, ни исследователи их творчества в новейшее время никогда не могли установить, каков именно был вклад каждого из них в их общую работу. В самом деле, обоих братьев, несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте (Эдмон родился в 1822 г., Жюль — в 1830), с молодых лет связывала глубокая духовная общность. Одинаковым был их образ мыслей, полностью совпадали их вкусы, привычки, интересы, художественные предпочтения, творческие принципы. Сходными были даже их характеры — разве что, как свидетельствуют современники, Эдмон был сравнительно спокойнее, уравновешеннее, более склонен к сосредоточенному раздумью, тогда как Жюль был более живой, нервной, впечатлительной натурой, острее воспринимал всевозможные воздействия, оказываемые на человека окружающим миром. Высказывались предположения, что Эдмон

был сильнее в разработке замыслов и главных линий их произведений, а Жюль — в нахождении отдельных деталей, тонких штрихов, в различного рода описаниях. Впрочем, книги, написанные одним Эдмоном после смерти Жюля, не дают оснований утверждать, что различие их художественных дарований было сколько-нибудь существенным, если вообще имело место. Известно, что творческий процесс у братьев протекал следующим образом: сначала они вместе придумывали подробный план главы, затем писали ее порознь, прочитывали друг другу написанное и, наконец, сливали воедино оба текста — так, что не было заметно ни швов, ни каких-либо стилистических расхождений.

В шумном и полном соблазнов Париже братья вели уединенную, чуть ли не отшельническую жизнь, и хотя имели довольно широкий круг литературных знакомств, у них не было близких друзей; не знали они и сильных любовных увлечений, ни один из них не обзавелся семьей. Вся их жизнь была заполнена напряженным творческим трудом, изучением документов, наблюдением за «кусками жизни», которые они делали предметом изображения в своих книгах, искусствоведческими штудиями, да еще коллекционированием «малых предметов искусства» — всякого рода изысканных, мастерски выполненных безделушек, гравюр, рисунков, японских панно и т. п. Собирание художественных коллекций было у Гонкуров не просто излюбленным занятием, или, как говорят в наше время, «хобби»; это была настоящая страсть, органически связанная с мировоззрением братьев, с их жизненной позицией. Окружая себя произведениями живописи, скульптуры, художественных ремесел, стремясь постоянно дышать воздухом искусства, Гонкуры как бы применяли в повседневной своей жизни убеждение, что искусство превыше всего в мире, что оно есть высшая форма проявления духовных возможностей человека и заслуживает того, чтобы отдаваться ему полностью. Истинный художник не должен «размениваться» ни на что, посторонее искусству, и если он дает себя увлечь иным страстям, в частности, любовному чувству, он жестоко платится за это — деградирует или погибает. Эта идея была настолько важна для Гонкуров, что они сделали ее темой нескольких своих романов.

«Дневник» Гонкуров, интереснейший документ, составленный из записей, которые делались братьями почти ежедневно, «по следам событий», на протяжении всего их литературного пути, раскрывает, какие впечатления общественного бытия привели их к идее о самодовлеющей ценности искусства. Они писали в «Дневнике»: «Нет больше ничего, ни прогресса, ни принципов, только фразы, слова, пустая болтовня — вот что мало-помалу начинаем мы видеть в нашем времени, которое тоже станет когда-нибудь историей, как и все прошедшие времена.

Революция — просто переезд на новую квартиру. Коррупция, стремление к роскоши, низость той или иной нации, того или иного века по-

просту меняют апартаменты, что сопряжено с поломками и расходами. Никакой политической морали: успех — вот и вся мораль. Таковы факты, явления, люди, жизнь, общество...

В конце концов это приводит к величайшему разочарованию: устают верить, терпят всякую власть и снисходительно относятся к любезным негодяям — вот что я наблюдаю у моих собратьев по перу, у Флобера, так же как у самого себя. Видишь, что не стоит умирать ни за какое дело, а жить надо, несмотря ни на что, и надо оставаться честным человеком, ибо это у тебя в крови, но ни во что не верить, кроме искусства, чтить только его, исповедовать только литературу. Все остальное — ложь и ловушка для дураков» (Запись от 28 января 1863 г.). Вполне очевидно, что эта концепция была продуктом безвременья, выражением социального отчаяния. Но что реальное могли противопоставить Гонкуры мерзости существующего общественного и государственного порядка? Буржуазный республиканизм обнаружил свою половинчатость, страх перед народом и, в конечном счете, бессилие перед солдафонским сапогом узурпатора; прекраснодушные надежды утопических социалистов явно оказались несостоятельными, а научный социализм не приобрел еще настолько широкой известности, чтобы Гонкуры могли оценить его принципиальное отличие от других социалистических учений. Беды людей, принадлежащих к низшим слоям общества, вызывали сочувствие Гонкуров, но они не в состоянии были разглядеть в эксплуатируемом большинстве народа те силы, которым история предназначила великую миссию коренного обновления общества.

Искусство представлялось братьям единственным прибежищем для мыслящих людей, не желающих участвовать в своекорыстной практике буржуазного общества. Утверждение «автономности» искусства не было в ту пору ни выражением смирения перед сущим, ни малодушным бегством от действительности. Теория «искусства для искусства» была направлена прежде всего против давления на искусство официальной буржуазной идеологии и морали. Власти Второй империи отнюдь не поощряли подобную позицию: они подходили к искусству с грубо утилитарными критериями, видя в нем лишь рупор для оправдания и восхваления существующего порядка. Борьба за «независимое» искусство была по существу борьбой против низведения его до жалкой холуйской роли, против пагубной для него фальши, которая была неизбежным следствием назойливой буржуазной тенденциозности,— борьбой за право художника показывать правду жизни.

Разумеется, сама мысль, что может существовать «полностью суверенное» искусство, с самого начала была иллюзорной.

Такие писатели, как Теофиль Готье, Гюстав Флобер, Шарль Бодлер, братья Гонкуры, отгораживались этой теорией, как защитным валом, от официальной идеологии и эстетики. Но они отнюдь не уходили

от действительности и в произведениях своих изливали наполнявшую их души горечь, тоску и ненависть к собственническому миру.

Однако теория «искусства для искусства» с самого начала таила в себе опасность реакционного перерождения. Трагическое одиночество честного художника в буржуазном мире она возводила в добродетель, в норму существования, закрывала выход к демократическим силам общества и слиянию с ними. С течением времени из нее все более выхолащивался тот относительно прогрессивный смысл, который заключался в ней первоначально; к концу XIX века она стала служить прямому оправданию социального равнодушия и даже воинствующего антидемократизма.

Гонкуры склонны были превращать искусство для себя в некий усладительный духовный опиум. Но они проявляли лишь некоторые признаки скольжения в сторону «чистого» эстетизма. Их произведения не утрачивают гуманистического содержания, и искусство для них — прежде всего вдохновенный, самоотверженный творческий труд, а не источник «комфорта» для «избранных». В их культе искусства выражается скорее своеобразный протест против пошлости и духовной скудости буржуа, которому, в сущности, недоступно чувство прекрасного. Гонкуры оплакивают в «Дневнике» упадок художественного ремесла, утонченные творения которого сменились в их время аляповатыми безвкусными украшениями буржуазных интерьеров. Вытеснение искусства индустрией, «американизация Франции» вызывает у них глубокую тоску, ибо изгоняет, по их мнению, из жизни поэтическое, художественное начало. Сетования Гонкуров по этому поводу во многом были наивны, но нельзя не признать, что Гонкуры заметили те действительные духовные утраты, которыми сопровождался капиталистический прогресс.

На протяжении 50-х — начала 60-х годов Гонкуры успели приобрести репутацию даровитых писателей и историков. Они входят в круг наиболее выдающихся представителей высокой литературы, собирающихся с 1862 года на «литературных обедах» у ресторатора Маньи. Здесь Гонкуры встречаются с Флобером, Готье, Сент-Бёвом, Тэном, Жорж Санд, знакомятся с посетившим один из обедов И. С. Тургеневым.

Дебютировав в литературе через несколько дней после переворота Луи Бонапарта незрелым подражательным романом «В 18.. году», написанным в духе уже устаревшего в ту пору «неистового романтизма», Гонкуры некоторое время занимались затем журналистикой. За процитированный ими в одной статье фривольный стишок поэта XVI века Таюро они были привлечены к суду исправительной полиции по обвинению в «оскорблении нравственности», подобно Флоберу и Бодлеру, ко-

торых власти Второй империи имели бесстыдство судить за их шедевры — первого за роман «Госпожа Бовари», второго — за сборник стихов «Цветы зла». После суда, закончившегося для братьев, впрочем, благополучно, Гонкуры прониклись отвращением к журналистской деятельности, и основным предметом их интересов стала история. Первыми трудами Гонкуров в этой области были «История французского общества времен Революции» (1854) и «История французского общества времен Директории» (1855). Гонкуры стремятся построить историческое исследование иного типа по сравнению с трудами видных французских историков Мишле, Минье, Ламартина, Луи Блана. Грандиозные социальные сдвиги, бурные политические события, борьба классов и партий не стоят в центре внимания Гонкуров. Главный предмет их интереса — быт и нравы общества изучаемой ими переломной эпохи. Их задача — воссоздать чувственно ощутимый облик Парижа с 1789 по 1800 год, перенести читателя в атмосферу тех лет, показать ему жизнь людей прошлого с той стороны, которую историки, занятые общественно-политическими событиями и идеями эпохи, обычно оставляют в тени. Уже здесь выявляется характерное для Гонкуров пристрастие к частному, индивидуальному, к «малым фактам», к «неофициальной» стороне жизни. Для того чтобы написать названные труды, они собрали около пятнадцати тысяч документов, причем в подавляющем количестве это были материалы, которыми, как правило, пренебрегает «серьезная» история: афишки, пригласительные билеты, картинки мод, карикатуры, частные письма и т. п. Именно такая «малая документация» имела в глазах Гонкуров наибольшую ценность: «Время, от которого не осталось образца одежды и обеденного меню,— мертво для нас, оно не поддается гальванизации. История в нем не оживет, потомство не переживет его вновь» («Дневник», запись, сделанная в период с 29 июня по 7 августа 1859 г.). Погоня за частным, дробным, конкретным выражала стремление как можно ближе подойти к предмету изображения, что, как казалось братьям, помогает с наибольшей правдивостью воспроизвести его. Предпочтением частного общему объясняется и то обстоятельство, что гораздо сильнее, чем эпоха Революции, Гонкуров влек к себе дореволюционный XVIII век, который представлялся им веком «частной жизни» по преимуществу. Жизнь актрис и художников, праздный быт аристократов, легкомысленно прожигающих жизнь, когда тут и там уже проглядывают признаки грядущей катастрофы, салонные развлечения, «галантные празднества» и маскарады, любовные похождения, погоня за наслаждениями, дух утонченности, изнеженности и, в конечном итоге, упадка,— вот что пленяет Гонкуров в XVIII веке. Нельзя сказать, что Гонкуры приукрашивают людей XVIII века: они открыто пишут о крайнем падении нравов, о дошедшем до разнузданности разврате в аристократической среде. Но для них все это искупается тем, что быт аристократов был украшен

искусством: они умели окружать себя произведениями замечательных живописцев и скульпторов, каждая вещь в их обиходе была художественно выделана, несла на себе печать индивидуального мастерства. Гонкуры имели основания скорбеть об упадке искусства и художественного ремесла в середине XIX века, но все же, выбрав столь легковесный критерий для оценки исторической эпохи, они обнаруживали недостаточную глубину и серьезность своих социальных идей и склонность к поверхностному эстетизму.

Собирая всевозможный «хлам» с «задворков истории», как выражались сами Гонкуры, они стремятся не только воскресить быт и нравы минувшего столетия, но и проникнуть в психологию живших тогда людей, увидеть наиболее сокровенное в их жизни, заглянуть в «тайники сердца». В 1857—1858 годах выходят в свет их «Интимные портреты», в 1858 году — «История Марии-Антуанетты», в 1860 — «Любовницы Людовика XV» («Герцогиня де Шатору и ее сестры», «Дюбарри» и «Помпадур»), в 1862 году — «Женщина в XVIII веке». Начатая ими совместно книгой «Софи Арну» (1857) серия «Актрисы XVIII века» была после смерти младшего брата продолжена Эдмоном, создавшим книги о выдающихся актрисах Клерон, Гимар и Сент-Юберти. Эдмон опубликовал и написанный обоими братьями этюд «Любовь в XVIII веке». Все эти труды Гонкуров для исторической науки могут иметь лишь вспомогательное значение, они занимают место на ее периферии; но нельзя отрицать, что поставленную перед собой задачу братья выполняют мастерски.

Особый труд Гонкуры посвящают талантливым живописцам, рисовальщикам и графикам XVIII века (книга «Искусство XVIII века», выходившая с 1859 по 1875 г. отдельными выпусками). Гонкуры выказывают себя здесь превосходными знатоками изобразительного искусства. Они умеют при помощи слов передавать тончайшие цветовые оттенки, создавать впечатление, весьма близкое к зрительному. В искусстве XVIII века они ценят то же, что и в быту этого столетия: господство частного начала, отказ от парадности, неофициальность, интимность. Им дорого в творчестве художников XVIII века умение «схватывать жизнь на лету», в ее «мгновенных проявлениях». Художники XVIII века милы им потому, что порвали с академической напыщенностью, отошли от идеала «вечной красоты», находившего свое воплощение в застывшей статуарности и неестественности поз. Гонкуры восторгаются живыми композициями Ватто, изображающими развлечения изящных дам и кавалеров, сценками «любовных неожиданностей» у Фрагонара, мирными натюрмортами Шардена, пастельными портретами Латура, передающими живую мимику лица. Светло-серебристую гамму переливающихся красок на картинах художников XVIII века они противопоставляют унылому и однообразному «коричневому соусу» современной им академической живописи. Гонкуры ставили себе в заслугу воскрешение искусства

XVIII века, которое до них в XIX веке совершенно не ценилось. Это была действительно их заслуга, ибо преимущественный интерес многих художников XVIII века к «частному» человеку придал их творчеству драгоценные черты подлинной жизненности, черты реализма. Напомнить о них в пору засилия фальшивого эпигонского академизма в живописи было весьма своевременно.

Переход от истории и искусства XVIII века к роману из современной жизни был для Гонкуров прост и естествен, тем более что их исторические труды, в которых живые образы преобладали над отвлеченными идеями, сами были своеобразными художественными произведениями.

Гонкуры исходят из того, что «...история — это роман, который был, роман — это история, которая могла быть» («Дневник», запись от 24 ноября 1861 г.). Таким образом, эстетическая ценность романа определяется, с их точки зрения, отражением в нем правды жизни, поверяемой объективными фактами. Поэтому и художественный метод романиста принципиально не отличается от метода работы историка. «После Бальзака роман уже не имеет ничего общего с тем, что наши отцы понимали под этим словом. Современный роман создается по документам, рассказанным автору или наблюденным им в действительности, так же как история создается по написанным документам» («Дневник», запись от 24 октября 1864 г.). Эти взгляды вводят Гонкуров в общую струю реалистического романа, ставшую магистральным направлением французской прозы во второй половине XIX века.

Гонкуры считают себя учениками и последователями Бальзака, благоговеют перед ним, но мыслят об «усовершенствовании» его реализма посредством «документальной» обоснованности творчества. Идея эта явилась на свет под влиянием популярной в то время позитивистской философии, пафос которой заключался в прославлении науки, опирающейся на опытное, эмпирическое знание. Сама же вера во всемогущество науки была порождением впечатляющих успехов, достигнутых естественными науками в середине века. Вера эта была некоторыми писателями распространена на область литературного творчества; одним из путей сближения литературы с наукой они считали внимательное наблюдение и изучение действительности. Опора на почерпнутые таким образом подлинные факты рассматривалась как единственная надежная гарантия правдивости творчества, целью которого, как и науки, ставилось познание истины. Этот принцип стал одним из краеугольных камней «натуралистической» теории, разработанной впоследствии Золя.

Могла ли достоверность фактического материала, «документальность» сама по себе «усовершенствовать» реализм бальзаковского типа?

Утверждение, что задачей художественного творчества является правдивое отражение объективной действительности, было плодотворно для литературы. Однако продиктованная позитивистским пониманием науки привязанность к эмпирическим фактам ограничивала возможность типизации, великим мастером которой был именно Бальзак; она останавливала художника у поверхности действительности, мешала ему отделить существенное от второстепенного.

При всем том не следует недооценивать художественных результатов, полученных Гонкурами благодаря их острой наблюдательности, пристальному вниманию к частностям. Гонкуры достигли виртуозного умения воспроизводить в словах внешний облик действительности, «портретировать» жизнь огромного современного города — Парижа. Этим своим мастерством они обогатили реалистическое искусство.

Уже в первых своих романах, предшествующих «Жермини Ласерте», Гонкуры стремились идти по стопам Бальзака. В романе «Шарль Демайи» (первоначальное название «Литераторы», 1860) рассказывается о том, как бесчестная журналистская братия затравила и довела до безумия талантливого писателя, не торгующего своим искусством. Роман напоминает своим сюжетом «Утраченные иллюзии» Бальзака. В «Сестре Филомене» (1861), при довольно камерном сюжете (невысказанная любовь сестры милосердия, монахини, к студенту-медику, умирающему от заражения трупным ядом), намечена и социальная тема: героиня, дочь кухарки, грубо изгнанная из богатого дома, где она воспитывалась, вынуждена принять постриг, и это закрывает для нее самую возможность земного счастья. В «Рене Мопрен» (первоначально — «Молодая буржуазия», 1864) противопоставляются два поколения класса буржуазии: на старшем еще лежит отблеск эпохи революции, младшие — это циничные дельцы и стяжатели. Молодой честолюбец Анри Мопрен присваивает себе имя дворянского рода, который считает угасшим, и погибает на дуэли с неожиданно объявившимся его представителем. Последнему сообщила о поступке Анри его сестра Рене, вскоре также умирающая из-за потрясения, вызванного смертью брата. Гонкуры строго придерживаются фактов действительности. В «Шарле Демайи» они прямо списывают своих действующих лиц с живых людей, знакомых им по собственной журнальной деятельности,— так что их роман становится «романом с ключом». Сюжет «Сестры Филомены» возник из подлинного эпизода, рассказанного братьям на одном обеде у Флобера его другом Луи Буйле. Больничную обстановку для этого романа они специально изучали, проводя подолгу время в палатах, присутствуя на операциях и т. д. Героиня романа «Рене Мопрен» имела свой прототип в сестре приятеля юности Жюля; для обрисовки других персонажей Гонкуры собирали по крупицам и записывали на карточках и в «Дневнике» характерные особенности облика и поведения различных типов буржуа. Многое

в их романах отличается жизненной достоверностью, описания среды дышат жизнью. Нельзя не оценить положительно и того, что Гонкуры убедительно противопоставили утешительной «розовой» литературе изображение «некрасивой» действительности, «жестокий» реализм, который был совсем не по вкусу буржуа. Во всех трех романах Гонкуры сосредоточивают пристальное внимание на эмоциональной жизни своих персонажей. Однако приверженность к «правде факта», стремление включить в роман как можно больше жизненного материала привели к нарушению равновесия между описаниями и действием, не позволили Гонкурам подняться до больших художественных обобщений; эти романы не заняли видного места в истории литературы XIX века.

В 1864 году после продолжительной болезни умерла служанка Гонкуров Роза Маленгр. Она была очень предана братьям, и они искренне горевали о ней. Ее постепенное угасание и смерть вызвали взволнованные записи в гонкуровском «Дневнике». После смерти Розы выяснилось, что она вела двойную жизнь: у нее было множество любовных похождений, она втайне предавалась разврату и пьянству. История Розы дала толчок замыслу романа «Жермини Ласерте». Но на этот раз подлинный, взятый из жизни факт был художественно преображен авторами, домышлен и поднят до значительного обобщения. Благодаря этому более глубоким смыслом наполнились описания, в которых были особенно сильны Гонкуры, и книга в целом стала крупным литературным явлением. В предисловии, носящем характер литературного манифеста, Гонкуры декларировали свои взгляды на задачи современного романа. Повторив вслед за Бальзаком, что роман должен быть «историей современных нравов», они провозгласили необходимость сближения его с наукой. Свою книгу, которую они назвали «суровой и чистой», представляющей собой «клинический анализ Любви», Гонкуры противопоставили книгам «утешительным и болеутоляющим». Они заявили, что считают уместным и своевременным ввести в литературу «низшие классы», привлечь внимание к их горестям и бедствиям. Свое обращение к низам общества, к уродствам жизни они мотивировали гуманистическими соображениями и рассматривали предпринятое ими вторжение в эту новую для литературы область как вызов «баловням судьбы». Впоследствии Эдмон де Гонкур не раз отмечал в «Дневнике», что они с братом создали книгу, которая явилась образцом для того, что позднее стали называть «натурализмом», «письмом с натуры», «школой человеческого документа». Эта претензия имела основания. Действительно, в «Жермини Ласерте» была соблюдена «документальная» достоверность — и не только в сюжете: Гонкуры изучали «на месте» среду, описанную в романе, часами бродили по окраинам Парижа, посещали кафешантаны, народные балы, «меблирашки», мо-

лочные лавки, кладбищенские углы, где хоронили бедняков, наблюдали типы и тут же заносили в тетрадку живые впечатления от увиденного. Развращенный до мозга костей хлыщ Жюпийон и его лавочница-мамаша, цинично эксплуатирующие Жермини, проститутка Адель, маляр Готрюш списаны с натуры, хотя за этими образами и не стоят определенные лица. Для образа хозяйки Жермини, мадемуазель де Варандейль, прототипом послужила тетка Гонкуров, мадемуазель де Курмон. В характере самой Жермини воспроизведены многие черты Розы. Большую роль в романе играет патологическая физиология. Именно Гонкуры впервые в литературе признали за физиологией значение одного из важнейших регуляторов человеческого поведения. Эта идея была в дальнейшем развита «натуралистической школой»; «физиологическое» объяснение поступков личности натуралисты считали подлинно научным,— это заблуждение они заимствовали у позитивистской философии, которая не делала различия между естественной и социальной средой и рассматривала человека как существо по преимуществу биологическое. Молодой Золя в восторженной статье, посвященной «Жермини Ласерте», писал: «Единственный серьезный упрек, который можно было бы бросить роману «Жермини Ласерте», состоит в утверждении, что это — роман медицинский, повествующий о любопытном случае истерии. Но я не думаю, чтобы авторы хоть на мгновение пожалели о том, что уделили такое большое место физиологическим наблюдениям. Конечно, их героиня — больная, ее гложут два недуга — сердечный и телесный. Авторы изучили одновременно тот и другой, так в чем же тут беда, скажите на милость! Разве роман не есть изображение жизни и разве тело настолько презренно, что о нем и говорить не стоит? Оно играет немалую роль в делах этого мира и, право же, заслуживает некоторого внимания,— особенно когда оно ведет душу к погибели, когда оно является причиной целой драмы».

Через три года после появления романа Гонкуров, в 1867 году, Золя публикует свой роман «Тереза Ракен», построенный исключительно на физиологической основе. В нем угрызения совести супругов-убийц рассматриваются лишь как «продукт» патологического состояния нервной системы. Позже, в серии романов «Ругон-Маккары», Золя, продолжая придавать серьезное значение физиологическому началу в человеке, переносит центр тяжести на факторы социальные, да и сама физиология предстает как изменчивая в зависимости от воздействия среды. Благодаря этому Золя смог в «Ругон-Маккарах» подняться до вершин реализма, показать существенные черты буржуазного общества и сурово осудить его. Гонкуры не сумели сделать этого с такой же силой в «Жермини Ласерте» в значительной степени потому, что чрезмерно сосредоточили внимание на патологической физиологии, но все же их роман наполнен социальным содержанием и по основной тенденции для своего

времени прогрессивен. Уже одно то, что произведение это безрадостно и мрачно, что оно показывает Париж отнюдь не с парадной стороны, выставляет на свет грязь его темных углов, его «дна», было дерзким вызовом буржуазной «благопристойности». Недаром консервативная пресса обрушилась на роман, клеймя его авторов за «пристрастие к гнусностям», за «извращенное воображение», за «бесстыдство» в изображении пороков.

Несчастная, опускающаяся все ниже и ниже Жермини, конечно, больная, но самый ее недуг развивается под влиянием горьких унижений, он представляет собой страшное искривление первоначально чистой, благородной натуры в результате искалеченной жизни, оплеванной любви, попранного материнства. Простые, естественные потребности женского сердца не могут найти себе удовлетворения в среде, изъеденной пороками капиталистического города, одержимой низменными эгоистическими страстями. Никому нет дела до того, что происходит в душе такого неприметного существа, как Жермини, до ее человеческого достоинства. Даже добрая мадемуазель де Варандейль ценит Жермини лишь как исправную служанку и не подозревает, что в ней могут бушевать неистовые чувства, что и она способна испытывать мучительные нравственные страдания. Сломленная Жермини деградирует морально и физически, ее настигает жалкий конец на больничной койке; погребенная в общей могиле без креста, она не оставляет никакого следа своего пребывания на земле.

Горестная судьба Жермини, «маленького человека», задушенного бесчеловечным обществом, говорила о неблагополучии в социальной жизни. Роман наносил удар по казенному оптимизму, будоражил общественную совесть.

Композиционно роман крепко слажен, все его элементы уравновешены. Он строится как последовательный рассказ о все более низком — ступень за ступенью — падении Жермини. Описания в нем тесно связаны с развитием сюжета, и оттого выигрывает их действенность. В описаниях внешнего мира Гонкуры не только точны, но и поэтичны. Они замечательно владеют искусством живописной нюансировки цветов, передачи движения, изменчивых состояний. Картина бала в «Черном шаре» — превосходная тому иллюстрация. Гонкуры всегда выражали неприязнь к дагерротипным изображениям и к восковым фигурам. Их описания — не мертвые инвентарные перечисления, а схваченная на лету, запечатленная в своей текучести живая действительность; они приобретают особую выразительность, насыщаются поэзией благодаря оригинальным сравнениям, необычным эпитетам. «Редкий эпитет — марка для писателя»,— заметили Гонкуры в своем «Дневнике». Добиваясь живости, теплоты изображения, фиксируя переходные, мимолетные состояния, Гонкуры кладут начало тому направлению в литературе,

которое не оформилось как особая школа, но отчетливо проявилось к концу века и, ввиду общности художественных принципов со школой импрессионизма в живописи, получило в литературной критике то же название. Гонкуры сделали только некоторые шаги по пути к импрессионизму, вначале более робко, потом смелее. Со временем в их стиле стало появляться все больше отвлеченных существительных, образованных ими самими от прилагательных, в чем выразился характерный для импрессионизма предпочтительный интерес к впечатлениям от качеств предметов,— скорее, чем к самим предметам как таковым. Гонкуры гордились своим слогом, называли его «артистическим письмом», видели в нем главное средство художественного воспроизведения объективного мира и свое отличие от серого бытописательства некоторых современных романистов, которые, называя себя реалистами, пренебрегали художественной формой. О слоге Гонкуров очень выразительно и точно высказался в цитированной статье Золя: «Сама литературная манера авторов, их стиль тяготеет к крайностям — в нем выражается то, что можно назвать духовным и физическим сверхвозбуждением. Этот стиль представляет собою смесь откровенной натуральности и изысканности, изящества и грубости,— он напоминает страстную, сбивчивую речь больного». Гонкуры не были сторонниками такой филигранной отделки фразы, какая характерна для Флобера. Схватывание впечатлений на лету, непосредственное воспроизведение «кусков жизни» во всей их случайности и неупорядоченности, требовали разомкнутой, противоречиво составленной фразы, «нервного» синтаксиса и самой разнообразной лексики. Гонкуры вводили в свои произведения жаргонные словечки, профессиональные термины, характерные для той или иной социальной среды, вульгаризмы и словесные обороты, взятые из просторечья. Они щеголяли знанием специфического языка сцены, цирка, цыганского табора, парижских бульваров; ловили только начинающие входить в обиход непривычные слова, которые обозначали новые, возникавшие на глазах у писателей явления жизни. Романы братьев пестрят такими колоритными терминами, которые они зрительно выделяли курсивом.

Гонкуры продолжили дело, начатое романтиками, сломавшими классицистскую «иерархию» лексики — отражение сословной иерархии, восставшими против деления слов на «высокие» и «низкие», запретные для литературы. В свое время Виктор Гюго считал это языковой революцией и говорил, что «надел красный колпак на французский словарь». Но Гонкуры пошли дальше романтиков и открыли шлюзы литературы для всякого рода случайных и недолговечных словечек и выражений. Порою, особенно в «Дневнике», братья применяют, наряду с необычным построением фразы, и придуманные ими самими «гибридные» или немного «сдвинутые» по смыслу слова, в мучительных поисках вырази-

тельных средств, которые позволили бы им передать тончайшие оттенки впечатлений от окружающего мира. Впоследствии «артистическое письмо» Гонкуров подверг резкой критике Мопассан за манерность, замутненность и лексическую всеядность (предисловие к роману «Пьер и Жан»).

Новым для французской литературы было обнаруженное Гонкурами во всех их романах, но в «Жермини Ласерте» с особенной силой, умение характеризовать словами смутные, не осмысленные самим персонажем волны душевных эмоций. В представлении Гонкуров напряженная эмоциональная жизнь присуща людям деликатного душевного склада, с утонченной нервной системой, легко ранимым, обостренно воспринимающим воздействия окружающего мира. Такие люди не несут в себе активной силы, они — своеобразные «чувствилища», рецепторы внешних раздражений. Гонкуры видят в этой повышенной нервной возбудимости признак духовной возвышенности, избранности, даже если в интеллектуальном отношении индивидуум совершенно зауряден. Таковы все их герои: и писатель Шарль Демайи, и скромная сестра милосердия Филомена, и образованная девушка из буржуазного круга Рене Мопрен, и невежественная служанка Жермини. В романах, написанных после «Жермини Ласерте», центральные персонажи — вариации все того же типа. Художник Наз де Кориолис (роман «Манетта Саломон», 1867), жадно вбирающий в себя впечатления зримого мира, влюбленный в переливы красок и солнечный свет, не может противостоять давлению своей грубо практичной жены, деградирует и становится ничтожным ремесленником. Госпожа Жервезе, героиня одноименного романа (1869), под влиянием воздействующей на ее чувства атмосферы католического Рима переходит от вольнодумства к страстной вере и умирает в состоянии религиозной экзальтации.

Гонкуры видели отличительный признак и своего собственного литературного дарования в том, что они — «писатели с первами». В этом внимании к «неврозам», к неопределенным, ускользающим эмоциям также обнаруживается их движение к импрессионизму, а с другой стороны пристрастие к «физиологизму». Но следует признать, что Гонкуры сделали немаловажное для литературы открытие: они обнаружили, что правдивое изображение душевной жизни человека требует проникновения также и в неконтролируемую рассудком область психики, где действуют иные импульсы. В соответствии с уровнем науки того времени Гонкуры относили эти импульсы за счет физиологии, или, иначе, «нервов». С тех пор наука высоко поднялась над этим поверхностным взглядом, но ею не отвергнута, а, напротив, утверждена та мысль, что необходимо учитывать разнообразные, в том числе и физиологические, факторы при анализе психики и поведения личности.

«Неврозы» рассматриваются Гонкурами как «продукт современной

эпохи», «горящего, измученного века». Их герои болезненно реагируют на грубость и пошлость среды, в которой находятся; они, как и сами Гонкуры, одновременно чужды беспокойному, мятущемуся, современному миру и являются его же порождением. Нервная неуравновешенность для Гонкуров — одна из черт эстетического комплекса «современной красоты», прямо противоположной той, что утверждалась в их время эпигонами классицизма,— красоте «академической». С точки зрения Гонкуров, «современная красота» отвечает правде жизни. Они находят ее у милых им художников XVIII века, у своего современника, рисовальщика Гаварни, посвятившего себя изображению сцен парижской жизни, у художников-японцев, которых Гонкуры открыли для Франции, заинтересовав ими художественные круги и широкую публику. О Гаварни Гонкуры совместно написали монографию, а после смерти Жюля Эдмон опубликовал книги о двух крупнейших японских художниках — Утамаро (XVIII в.) и Хокусаи (XVIII—XIX вв.).

«В современной красоте» — разгадка того кажущегося противоречия в эстетике Гонкуров, которое образуется сочетанием двух, казалось бы, несовместных пристрастий: к «изящному» XVIII веку и к «оголенной» современной жизни, даже к отвратительному, отталкивающему в ней. Во-первых, в изобразительном искусстве XVIII века Гонкуры находят элементы того, что они называют «современной красотой», во-вторых, действительность их времени, при всех социальных уродствах, для них по-своему тоже эстетически привлекательна, ибо открывает неисчерпаемые возможности художественной выразительности. Эдмон Гонкур в «Дневнике» объясняет, что заставляет его обращаться к этому, порой весьма неприятному, материалу.

«Но почему,— спросят меня,— я выбрал именно эту среду? Потому что в период упадка определенной цивилизации именно на дне сохраняется самое характерное в людях, вещах, языке — во всем, и художник имеет в тысячу раз больше шансов создать произведение, имеющее стиль, описывая грязную девку с улицы Сент-Оноре, чем лоретку квартала Бреда́. Почему еще? Быть может, потому, что я прирожденный литератор, и народ, чернь, если хотите, привлекает меня, как еще неизвестные и неоткрытые племена; в нем есть для меня та экзотика, которую путешественники, несмотря на тысячи трудностей, отправляются искать в дальние страны» (Запись от 8 декабря 1871 г.).

В конце 60-х годов Жюль Гонкур заболел душевным расстройством, быстро приведшим его к полному распаду личности, и в июне 1870 года он скончался. По словам старшего брата, «его убила работа над формой, каторга стиля». Эдмон Гонкур был глубоко потрясен. Тем не менее он не изменил сложившейся многолетней привычке фиксировать на ходу

текущие события: ни на день не оставлял «Дневник» и подробно описал в нем постепенное угасание, агонию и похороны брата.

Эдмон долго не может приспособиться сочинять новые произведения в одиночку, но, непрерывно ведя «Дневник», не утрачивает писательского навыка. Подробное и весьма любопытное, хотя и ограниченное личными впечатлениями Гонкура, отражение находят в «Дневнике» события франко-прусской войны и Парижской коммуны. К Коммуне Гонкур отнесся недоброжелательно, как буржуазный обыватель, но, будучи добросовестным наблюдателем, дал впечатляющие свидетельства революционного воодушевления коммунаров и зверской жестокости версальцев.

Лишь в 1877 году Эдмон Гонкур выпускает задуманный им еще вместе с братом роман «Девка Элиза». В нем рассказывается об установленном в женских тюрьмах бесчеловечном режиме, который предписывает узницам полное молчание, разрушительно действующее на психику. Произведение это, типично натуралистическое, обнажающее «жестокую реальность», продолжает линию «Жермини Ласерте». В эти годы натурализм набирает силу. Своим успехом он обязан прежде всего Эмилю Золя. Выпуская том за томом своей огромной серии «Ругон-Маккары» и разрабатывая во многих статьях эстетику и теорию натуралистического романа, Золя выдвигается на роль вождя движения, главы литературной школы, о консолидации которой усердно печется.

В самом деле, есть основания говорить об общности устремлений нескольких писателей, в том числе и Гонкуров, которых Золя причисляет к новой школе. Они и сами ощущают эту общность, между ними устанавливаются тесные личные связи. С Флобером Гонкуры были накоротке еще в 60-х годах, сейчас у Эдмона завязывается дружба с Доде. С 1874 года начинаются так называемые «обеды пяти», на которых встречаются Гонкур, Золя, Доде, Флобер и живущий в то время в Париже И. С. Тургенев. Разговоры на этих обедах сохранены в записях «Дневника». Единомыслие в главном не мешает писателям придерживаться своих особых позиций по ряду вопросов и критически относиться к коллегам. У Гонкура к творческим несогласиям с другими примешивается еще и личная ущемленность. Ему кажется, что талант его и брата недооценивают, приоритет их плохо помнят, романы Золя незаслуженно затмевают их произведения; появившийся в 1877 году роман Золя «Западня» вызвал фурор, по сравнению с которым успех «Девки Элизы» был более чем скромным. И тогда Э. Гонкур захотел отойти от «жестокого реализма», в котором не выдерживал соперничества с Золя, и стал искать какого-то обновления романа.

Еще до «Девки Элизы», 27 декабря 1876 года, он набрасывает в «Дневнике» замысел нового романа. «Мне хотелось бы создать книгу о двух братьях-акробатах, об их любви друг к другу, такой же, какая свя-

зывала меня с моим братом. Они, как бы соединив воедино свои мускулы, всю жизнь изобретают небывалый трюк, который для них был бы тем же, чем для ученого является найденное наконец решение трудной научной проблемы. В книге надо будет подробно рассказать о детстве младшего из них, о нежной, чуть ли не отеческой заботливости старшего. Старший — это сила, младший — грация, в соединении с народно-поэтическим жизнеощущением, находящим себе выход в том фантазировании, какое мы видим в номерах английских клоунов». Далее в этой записи следует конспективное изложение сюжета романа, который Гонкур вслед за тем создает и выпускает в свет в 1879 году под названием «Братья Земганно».

Книга эта и похожа и не похожа на прежние романы Гонкуров. По-прежнему в ней царит документальная точность. Эдмон Гонкур скрупулезно изучил цирк, приемы акробатического искусства, соответствующую «техническую» терминологию и жаргон артистической среды. Цирковые представления описаны им в книге с профессиональным знанием дела. Чтобы получить нужные сведения о жизни цыган на юге России для образа матери Джанни и Нелло, Гонкур специально консультировался у Тургенева, который подарил ему имя «Степанида Рудак» и сообщил песню «Старый муж, грозный муж». На сей раз с особенной силой выступает всегдашнее стремление Гонкуров придать описанию обыденного особую остроту, выявить в заурядном оригинальное, показав вещи в необычных сочетаниях, вследствие чего они, оставаясь вполне реальными, озаряются неким фантастическим светом. В «Братьях Земганно» этому способствует феерическая ослепительность циркового представления, мастерски переданная Гонкуром, при том, что он не скрывает бутафорских средств, которыми она создается. Совсем новым в романе был ненавязчивый, но отчетливо ощутимый лиризм, источником которого было личное чувство, вложенное Эдмоном в эту свою и брата иносказательную автобиографию. Скитания цирка Бескапе по дорогам Европы, бродячая жизнь комедиантской вольницы вызывает у читателя ощущение раздолья, простора, свободы от гнетущей атмосферы современного буржуазного города. И в других романах Гонкуров героям свойственно некое томление, но здесь оно приобретает характер романтической устремленности ко все большему преодолению сил инертной материи силой человеческого духа; поэтому роман насыщается гуманистическим содержанием. В «Братьях Земганно» воспевается искусство как неустанный труд, требующий изобретательности, неутомимости, полной самоотдачи. Описание идеальной слаженности братьев-акробатов в их смертельно опасной работе волнует и помимо автобиографического подтекста. Роман показывает в ярких картинах, что соединенные усилия людей, воодушевленных общим делом, могут творить чудеса. Нежная дружба между Джанни и Нелло, их творческие поиски, отказ Джанни от

любимой профессии акробата ради душевного успокоения искалеченного Нелло — все это по-настоящему человечно и трогательно. Недаром роман заслужил теплый отзыв Максима Горького, который писал, вспоминая о своем круге чтения в детские годы: «Эта славная книга взволновала меня своей человеческой грустью и навсегда внушила мне особенно внимательное, страстное и сочувственное отношение ко всем людям, отдающим миру лучшее своей души. В то же время Гонкур разбудил у меня жажду ознакомиться с литературой Франции» [1].

В романе разлита некая атмосфера таинственности, сюжет не свободен от мелодраматизма. Загадочна Степанида («непостижимость цыганской души»), загадочна злодейка Томпкинс, миллионерша и циркачка-любительница, придумывающая для себя экстравагантные, сверхизысканные наслаждения. В этих мотивах романа сказываются уже декадентские настроения. Поиски оригинальности выливаются в интерес к странному и извращенному. Но так как дикие причуды Томпкинс объясняются реалистически — ее богатством — и сама она персонаж отталкивающий, то любование ее «сатанинской личностью» лишь слегка ощутимо в романе.

Гонкур предпослал роману предисловие, в котором заявил, что будто бы для окончательной победы «реализма, натурализма, *этюда с натуры*» необходимо перейти от изображения низов общества к воспроизведению «светских мужчин и женщин в образованной и благовоспитанной среде», создать «реалистический роман об изящном»; только тогда, по мнению Гонкура, «классицизм и его охвостье будут биты». «Братья Земганно» еще не решали этой задачи; они представляли собой, по словам Гонкура, еще только «опыт в области поэтической реальности», но предисловие, которому был придан тон манифеста, давало обещание на будущее.

Золя в статье о «Братьях Земганно» высоко отозвался о романе, но восстал против идей предисловия. Он отверг выражение «литература о простонародье», считая, что оно «придает душераздирающей правде жизни парижской улицы оттенок *шикарного* и этим низводит значение литературных исследований жизни до уровня безделушек, украшающих этажерку». «Для меня «Жермини Ласерте» не «литература о простонародье»,— пишет Золя,— а превосходная картина кровоточащей человеческой души». Еще большее негодование Золя вызвала мысль, что будто бы «литература о простонародье» исчерпана. «Нельзя разом «исчерпать» столь обширное поле для наблюдений, как народ»,— писал он. Что же касается высших классов, то Золя убедительно показал несостоятельность утверждений Гонкура об их «изяществе». «Когда Эдмон

---

[1] М. Горький, Собрание сочинений в 30-ти томах, Гослитиздат, том 24, стр. 138.

де Гонкур захочет правдиво изобразить парижскую гостиную, ему, безусловно, предстоит описать немало красивого — наряды, цветы, вежливые, утонченные манеры, неуловимые нюансы; однако, если он отважится раздеть своих персонажей, если он перейдет из гостиной в спальню, если он проникнет в область интимного, в частную каждодневную жизнь, которую обычно скрывают, ему придется во всех подробностях разбирать чудовищные явления, тем более отвратительные, что они возникли в более культурной среде».

Свою мечту о новом типе романа Гонкур осуществил, опубликовав в 1884 году роман «Шери» («Милочка»), заполненный описаниями ощущений и переживаний некоей аристократической девицы, внучки маршала. Героиня умирает в раннем возрасте от утонченности натуры, а главным образом потому, что автор не знает, что с ней делать. Этот худосочный роман выявил полную правоту Золя, показав, что изображение «изящной реальности» глубоко бесплодно, если остается невскрытой ее изнанка.

Но еще до «Шери» Гонкур выпустил в свет роман «Актриса Фостен» (1882). В нем много живого и интересного. Правда, Гонкур отдает здесь некоторую дань декадентским увлечениям: ночь любви в гостиничном номере в Бельгии, куда доносятся звуки органа из примыкающей к отелю церкви; безудержная страсть, толкающая Фостен к лорду Эннендейлу заставляющая ее бросить сцену; образ загадочного «сатаниста» Селвина и таинственные отношения между ним и лордом; неожиданная «сардоническая агония» лорда, имитируемая его любовницей,— все это мотивы, близкие к тем, что станут вскоре расхожими в декадентской литературе. Гонкур ввел их в роман одним из первых, почувствовав веяние времени, и ставил себе это в заслугу. «Мои собратья не замечают, что «Актриса Фостен» совсем не похожа на мои прежние книги. Они, по-видимому, и не подозревают, что в этом романе есть нечто совершенно новое: в изучение действительности введены поэзия и фантазия,— и что я попытался продвинуть реализм вперед, придать ему некие литературные полутона и светотени, которых ему недоставало... Да, в моей последней книжке есть что-то новое, и, быть может, лет через двадцать вокруг нее возникнет целое направление, так же как ныне есть направление, восходящее к «Жермини Ласерте» («Дневник», запись от 8 февраля 1882 г.).

Однако Гонкур видел значительность своей книги не в том, в чем она состояла на самом деле. Отнюдь не элементы декадентства, а та жизненная правда, которая в ней заключается, делают ее интересной в наши дни. Прежде всего это мысль о том, что истинное искусство должно опираться на действительность: актриса Фостен, играя Федру, сумела достичь потрясающей силы в изображении страсти только тогда, когда в ней самой ярким пламенем вспыхнула любовь к лорду Эннендейлу. Эта идея, воплощенная в образе главной героини, не противоречит другой

излюбленной мысли Гонкуров: о том, что слишком сильные увлечения, посторонние искусству, пагубны для художника, ибо приводят к измене главному делу его жизни. Страстная любовь побудила Фостен оставить сцену, но, как ни убеждает она себя в правильности сделанного выбора, она не может найти удовлетворения в чувстве лорда Эннендейла и в роскоши, которой он окружил ее.

Как и в прежних произведениях Гонкуров, в «Актрисе Фостен» правдиво описана театральная среда, кулисы, быт актрис, состоящих на содержании у богачей. Но главное, чем привлекает роман,— это проникновение во внутреннюю творческую жизнь Фостен. Великая актриса XIX века Рашель, непревзойденная исполнительница женских ролей классического репертуара, послужила прототипом для героини гонкуровского романа. Гонкур тонко прослеживает, как творческое начало наполняет душу Фостен беспокойством и романтическим томлением, поднимает ее над уровнем артистической богемы, к которой она принадлежит, и возносит ее, в период работы над ролью Федры, на вершины духа. Кристаллизация сценического образа предстает как плод длительного лихорадочного состояния, почти маниакальной сосредоточенности, непрерывных исканий, подчиняющих себе все существо актрисы. Возврат Фостен к лицедейству в момент агонии ее возлюбленного должен был, по замыслу Гонкура, выражать невозможность для истинного художника добровольно отказаться от своего призвания. Страдания умирающего, ее собственное жестокое страдание вдруг предстают перед Фостен лишь как жизненный материал, в котором она пристальным взглядом актрисы выделяет то, из чего можно будет потом вылепить художественный образ. Вся книга, несмотря на новый для Гонкуров несколько декадентский привкус, в сущности, утверждает их старые, в общем, благородные мысли о величии искусства, о тесной связи его с жизнью, об ответственности перед ним художника. Апофеоз искусства, создающего высокие духовные ценности,— вот чем значителен роман «Актриса Фостен».

После неудачной «Шери» Гонкур романов больше не пишет. Как романист он утратил почву под ногами. К нему льнут молодые декаденты, называют его учителем, противопоставляют его Золя. Но для Гонкура их устремления все же чужды, и он не раз высказывается против них в «Дневнике»: они для него слишком иррационалистичны, слишком «темны», их агрессивный антиреализм для него неприемлем. Но и к натуралистическому роману старого типа Гонкур тоже не может вернуться.

Он снова берется за изучение XVIII века, занимается японским искусством, переиздает ранее написанные им вместе с братом произведения, инсценирует их сам или руководит их инсценировкой для театра. С 1887 года начинается публикация «Дневника» Гонкуров, и до 1896 года (в этом году Эдмон Гонкур умер) появляется девять томов.

В дополненном по рукописям издании 1956 года он составляет двадцать два тома. «Дневник», где документальная точность была уместнее, чем в романе, где отразилась литературная жизнь Франции на протяжении почти полувека, оживил потускневшую известность Гонкуров и даже затмил в читательском восприятии собственно художественное творчество братьев.

Гонкуры занимают промежуточное положение в литературном процессе второй половины XIX века. От них, несомненно, тянутся некоторые нити к декадансу. Но в основном они остаются все же детьми боготворимого ими Бальзака. Они говорят подлинную — пусть и не очень глубокую — правду о своем времени и его людях. При всем их пристрастии к индивидуальному и конкретному, произведения их отнюдь не чужды типичности и свидетельствуют против буржуазного общественного устройства. Их собственные художественные открытия внесли в литературу нечто новое, чего в ней не было раньше, обогатили ее тонкой словесной живописью, изображением подвижных и изменчивых состояний человеческой души. Этим братья Гонкуры заслужили право на внимание к себе читателей нашего времени.

В. ШОР

ПЕРЕВОД Э. ЛИНЕЦКОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы должны попросить прощения у читателей за эту книгу и заранее предупредить их о том, что́ они в ней найдут.

Читатели любят лживые романы,— этот роман правдив.

Они любят книги, притязающие на великосветскость,— эта книга пришла с улицы.

Они любят игривые безделки, воспоминания проституток, постельные исповеди, пакостную эротику, сплетню, которая задирает юбки в витринах книжных магазинов,— то, что они прочтут здесь, сурово и чисто. Напрасно они будут искать декольтированную фотографию Наслаждения: мы им предлагаем клинический анализ Любви.

Читатели также любят книги утешительные и болеутоляющие, приключения с хорошим концом, вымыслы, способствующие хорошему пищеварению и душевному равновесию,— эта книга, печальная и мучительная, нарушит их привычки и повредит здоровью.

Для чего же мы ее написали? Неужели только для того, чтобы покоробить читателей и оскорбить их вкусы?

Нет.

Живя в XIX веке, в нору всеобщего избирательного права, либерализма и демократии, мы спросили себя: не могут ли те, кого называют «низшими классами», притязать на роман? Другими словами, должен ли народ, этот человеческий мир, попранный другим человеческим миром, оставаться под литературным запретом, презираемый писателями, обходившими до сего времени молчанием его душу и сердце, хотя, быть может, у него все же есть и душа и сердце? Мы спросили себя, действительно ли в век равенства по-прежнему существуют для писателя и

читателей недостойные внимания классы, слишком низменные несчастья, слишком грубые драмы, чересчур жестокие и потому неблагородные катастрофы? Нам захотелось выяснить, правда ли, что форма, излюбленная в ныне забытой литературе и исчезнувшем обществе, а именно — Трагедия, окончательно погибла и что в стране, не имеющей каст и узаконенной аристократии, несчастья людей маленьких и бедных не будут взывать к уму, к чувству, к жалости так же громко, как несчастья людей влиятельных и богатых? Короче говоря, нам захотелось проверить, могут ли слезы, проливаемые в низах общества, встретить такое же сочувствие, как слезы, проливаемые в верхах?

Эти мысли побудили нас написать в 1861 году смиренную историю «Сестры Филомены». Эти же мысли дают смелость опубликовать сейчас «Жермини Ласерте».

А теперь пусть чернят нашу книгу; это уже не имеет значения. В эпоху, когда роман расширяется и углубляется; когда он постепенно становится подлинным изображением жизни, вдумчивым, горячим и страстным литературным исследованием, равно как и социальной анкетой; когда, с помощью анализа и психологических изысканий, он превращается в историю современных нравов; когда решает те же задачи и берет на себя те же обязательства, что и наука,— в такую эпоху он может требовать тех же льгот и вольностей, какие есть у нее. Пусть он стремится к искусству и правде; пусть рисует горести, которые нарушат покой тех парижан, что оказались баловнями судьбы; пусть показывает светским людям то, на что имеют мужество смотреть дамы-благотворительницы, на что некогда заставляли смотреть своих детей в странноприимных домах королевы: живое, трепещущее человеческое страдание, наставляющее милосердию; пусть причастится религии, которую прошлый век называл величавым и всеобъемлющим именем — Человечество,— большего от него и не требуется, ибо в этом — его право на существование.

Париж, октябрь 1864 г.

I

— Вы поправитесь, барышня, теперь вы непременно поправитесь! — захлопнув дверь за врачом, радостно воскликнула служанка и бросилась к постели, где лежала ее госпожа. Вне себя от счастья, она начала осыпать градом поцелуев одеяло, под которым жалкое, исхудалое тело старухи, такое маленькое в огромной кровати, казалось телом ребенка.

Старуха, сжав ладонями голову служанки, молча притянула ее к груди, потом вздохнула и прошептала:

— Что ж... Видно, придется еще пожить...

В окно маленькой спальни, где происходила эта сцена, был виден клочок неба, на котором рисовались силуэты трех черных железных труб, зигзаги крыш и вдали, в просвете между двумя домами, очертания обнаженной ветки невидимого дерева.

На каминной доске стояли в четырехугольном футляре красного дерева часы с большим циферблатом, с крупными цифрами и тяжелыми гирями. Рядом с ними поблескивали под стеклянным колпаком два подсвечника,— на каждом из них три посеребренных лебедя обвивали длинными шеями позолоченный колчан. Возле камина протягивало свои праздные теперь подлокотники вольтеровское кресло, покрытое тканью, вышитой по канве крестиком,— так обычно вышивают лишь маленькие девочки и старые женщины. На стенах висели два небольших пейзажа в стиле Бертена, нарисованные акварелью цветы — под ними была поставлена красными чернилами дата — и несколько миниатюр. Ампирный комод красного дерева украшала черная бронзовая статуэтка, изображавшая бегущее Время с протянутой вперед косой; статуэтка служила подставкой маленьким часам с бриллиантовыми цифрами, с голубым эмалевым циферблатом и ободком из жемчужин. По паркету протянулся ковер

с черно-зеленым узором в виде языков пламени. Старинные ситцевые занавески на окне и кровати были шоколадного цвета, с красными разводами. Над изголовьем больной склонялся портрет, который, казалось, буравил ее взглядом. Жесткое лицо мужчины на этом портрете было оттенено высоким воротником зеленого атласного костюма и мягким муслиновым платком, свободно и небрежно повязанным вокруг головы по моде первых лет Революции. Мужчина, нарисованный на портрете, и старуха, лежавшая в постели, были очень похожи друг на друга: те же черные, густые, властно нахмуренные брови, тот же орлиный нос, те же четкие линии, выражавшие волю, решимость, энергию. Лицо портрета отражалось в ее лице, как лицо отца отражается в лице дочери. Но у нее жесткость черт смягчалась лучом суровой доброты, пламенем беспредельной верности долгу и по-мужски сдержанного человеколюбия.

В комнату проникал послеполуденный свет весеннего дня.— одного из тех дней ранней весны, сверкающих хрусталем и белизной серебра, холодных, целомудренных и кротких, которые угасают на розовом закате, окруженные бледным ореолом. Небеса струили сияние новой жизни, такой же пленительно печальной, как еще не одетая земля, и до того нежной, что само счастье не удержалось бы от слез.

— Ну, на что это похоже? Моя дуреха Жермини плачет! — после короткого молчания сказала старуха, отнимая руки, увлажненные поцелуями служанки.

— Дорогая барышня, мне хотелось бы всегда так плакать! До того хорошо!.. Вспомнилась моя бедная матушка... и все остальное... Если бы вы только знали!

— Ну, успокойся! — сказала больная и, приготовившись слушать, закрыла глаза.— Расскажи мне.

— Бедная матушка!..— Служанка умолкла. Потом заговорила снова, и полился поток слов, рожденных просветленными слезами, словно в эту минуту волнения и рвущейся наружу радости детство еще раз прихлынуло к ее сердцу.— Такая несчастная! Я до сих пор вижу, как она в последний раз вышла из дому... чтобы отвести меня к обедне... Помню, это было двадцать первого января... В то время читали завещание короля. Сколько я принесла ей горя! Ей было уже сорок два года, когда я родилась. Она все глаза себе выплакала из-за отца... Детей, не считая меня, было трое, и хлеба не хватало. А отец к тому же был таким гордецом... В доме хоть шаром покати, но чтобы пойти попросить помощи у кюре — ни за что! Сало мы ели только по большим праздникам. И все равно, матушка только сильнее

любила меня из-за этого и всегда старалась сунуть мне кусочек сыра или еще что-нибудь... Когда она умерла, мне и пяти лет не было... Как это нас всех подкосило! У меня был взрослый брат,— лицом белый, как полотно, а борода желтая... И такой добрый!.. Вы даже и представить себе не можете! Его все любили и каких только имен ему не давали! Одни почему-то называли его Бодой, другие — Иисусом Христом. Вот был работник! Здоровье у него было никудышное, но чуть свет он уже стоял у станка. Я забыла сказать, ведь мы — ткачи... И дотемна не расставался с челноком. А какой честный, если бы вы знали! Ему отовсюду приносили пряжу и никогда не взвешивали. Он очень дружил со школьным учителем и всегда был *заводилой* на карнавале. Отец был совсем другой: вдруг возьмется за работу, часок поработает,— и всё... потом уходил в поле... а когда возвращался — бил нас... больно бил... Он был как сумасшедший. Говорили, это потому, что он — чахоточный. Счастье еще, что брат заступался. Он не позволял средней сестре таскать меня за волосы, обижать... она ревновала ко мне. Он всегда вел меня за руку, когда водил смотреть, как играют в кегли. На нем держался весь дом. Перед моим первым причастием он прямо из кожи лез, работал не покладая рук, чтобы у меня платье было не хуже, чем у других... белое, с гофрировкой... и сумочка в руках. Такая уж тогда была мода! Чепчика у меня не было. Помню, я себе сплела очень красивый венок из ленточек и белой сердцевины тростника... У нас его сколько угодно в тех местах, где мочат пеньку. Таких счастливых дней у меня было немного... Вот еще когда резали свиней на рождество... и когда я помогала подвязывать виноградные лозы... Знаете, их всегда подвязывают в июне. У нас был свой маленький виноградник на холме Сент-Илер. Однажды мы пережили очень тяжелый год... Вы помните, барышня? Тысяча восемьсот двадцать восьмой, когда все побило градом до самого Дижона и даже еще дальше. Мы ели хлеб из отрубей. Брат тогда работал без сна и отдыха. Отец пропадал в поле и приносил нам иногда шампиньоны. Все равно нужда была страшная... мы почти всегда хотели есть. Я, бывало, уйду в поле и, если кругом никого нет, подберусь к какой-нибудь корове, сниму сабо и дою... Но уж тут надо было держать ухо востро, чтобы не попасться! Старшая сестра жила тогда в услужении у мэра Ланкло и посылала домой восемьдесят франков — весь свой заработок... немного, но все же помощь! Вторая шила у богатых господ... Тогда платили меньше, чем теперь: восемь су в день за работу с шести утра и до поздней ночи. К тому же сестра откладывала себе на платье ко дню святого

Реми. У нас многие так: едят полгода по две картошки в день, чтобы сшить себе обнову к этому празднику. Несчастья прямо сыпались на нас... Отец умер. Пришлось продать и нашу полоску пашни, и виноградник,— земли там было *на одну поденку*, а все ж таки он давал нам по бочке вина в год. Стряпчие тоже обошлись недешево. Когда брат заболел, мы поили его не настоящим вином, а *отжимками*, в которые все время подливали воду... И не было белья на смену: все материнские простыни из шкафа с золотым крестом наверху мы продали... и крест тоже... А заболел брат так: раз он пошел на праздник в Клемон... и услышал, как кто-то рассказывает, будто сестра согрешила с мэром, у которого работала. Он бросился на тех, кто это болтал... Сам он был слабосильный... а они здоровенные... Повалили его и, когда он упал, давай пинать под ложечку... Домой его принесли замертво... Врач, правда, поставил его на ноги и сказал нам, что он здоров... Но брат так и не поправился. Когда он меня целовал, я всякий раз думала: не жилец он на свете. Он умер. Младший Баллар еле-еле оттащил меня от его тела. Хоронили брата всей деревней, даже мэр пришел. Старшей сестре пришлось уйти от этого мэра, потому что он к ней приставал, и она уехала в Париж. Средняя сестра тоже уехала вслед за ней. Я осталась совсем одна. Родственница моей матери забрала меня к себе в Дамблен... но я никак не могла привыкнуть там, плакала ночи напролет и все время норовила потихоньку убежать домой. Стоило мне свернуть на нашу улицу и увидеть старую виноградную лозу у двери, как я просто голову теряла... ноги сами несли меня... Добрые люди, которые купили наш дом, не выгоняли меня, дожидались, чтобы за мной пришли: все уже знали, куда я убегаю. Наконец написали сестре в Париж, что если она не заберет меня к себе, то, надо думать, до седых волос я не доживу... Я и вправду была восковая. Раз в месяц из Ланграа в Париж ходила маленькая почтовая карета, и кучеру поручили присмотреть за мной. Так я и попала в Париж... Было мне тогда четырнадцать лет. Помню, всю дорогу я не раздевалась, потому что на ночь меня устраивали в общей комнате. Я совсем завшивела, пока доехала...

II

Старуха слушала молча: она сравнивала свою жизнь с жизнью служанки.

Мадемуазель де Варандейль родилась в 1782 году. Она появилась на свет в одном из особняков улицы Рояль, и ее крест-

ными были принцессы крови. Отец мадемуазель де Варандейль состоял в свите графа д'Артуа и пользовался его расположением. Он часто охотился вместе с графом и не раз слышал, как во время обедни, предшествовавшей охоте, тот, кто стал потом Карлом X, торопил священника, шепотом приговаривая: «Да ну же, ну, кюре, скорей глотай своего боженьку!» Г-н де Варандейль вступил в брак, по тем временам весьма обычный: он женился на театральной диве, певице, которая, хотя и не имела особого таланта, все же добилась успеха, выступая в концертах духовной музыки наряду с г-жой Тоди, г-жой Понтейль и мадемуазель Сент-Юберти. От этого брака в 1782 году родилась девочка — болезненная, некрасивая, с большим, как у отца, носом, который смешно торчал на личике величиной с кулак. Она была совершенно лишена качеств, которых искало в ней тщеславие родителей. В пять лет, потерпев фиаско на концерте в салоне своей матери, где та заставила ее играть на фортепьяно, она была сослана в людскую. После этого мать видела девочку только по утрам, да и то на минутку; единственное, что она позволяла дочери, это поцеловать себя под подбородком, где не было румян... К началу Революции г-н де Варандейль благодаря покровительству графа д'Артуа занимал должность чиновника по выплате ренты. Г-жа де Варандейль, под предлогом, что ей необходимо поправить здоровье, путешествовала по Италии, оставив дочь и малолетнего сына на попечение мужа. Треволнения сурового времени и страх перед нарастающей в народе ненавистью к деньгам и к тем семействам, которые ими распоряжались (брат г-на де Варандейля был откупщиком), не оставляли в сердце этого отца, на редкость сухого и эгоистического, места для заботы о детях. Кроме того, под его кров постепенно заползала нужда. С улицы Рояль он перебрался в особняк Пти Шароле, принадлежавший его матери, которая в те годы была еще жива и предоставила свой дом в распоряжение сына. События развивались, уже начала свирепствовать гильотина. Однажды вечером г-н де Варандейль шел по улице Сент-Антуан; перед ним бежал разносчик газет со свежим выпуском листка «Держи вора!». Разносчик, по обычаю того времени, громко выкрикивал последние известия, и г-н де Варандейль услышал свое имя с весьма нелестными определениями: «вонючий грабитель и кровосос». Он купил газету и убедился, что находится в списке подозрительных лиц.

Вскоре брат г-на де Варандейля был арестован и вместе с другими откупщиками заключен под стражу в особняке Таларю. Его мать, охваченная ужасом, безрассудно, за бесценок продала

особняк Пти Шароле, где жил в то время г-н де Варандейль. В уплату она получила ассигнации и умерла от отчаянья, когда бумажные деньги начали катастрофически падать в цене. К счастью, новые владельцы не смогли сдать особняк внаем и позволили г-ну де Варандейлю поселиться в комнатах, прежде отведенных для конюхов. Так он и ютился на задворках дома, отказавшись от своего настоящего имени, похоронив де Варандейля, бывшего придворного графа д'Артуа, под первой частью свой фамилии — Руло, которую ему приказали написать на дверной дощечке. Он жил одиноко, неприметно, притаившись, втянув голову в плечи, никуда не показываясь, не вылезая из своей норы, не имея иных слуг, кроме дочери, взвалив всю тяжесть жизни на ее плечи. Террор прошел для них под знаком ожидания, пугливой дрожи, неусыпного страха смерти. Ежевечерне девочка отправлялась к зарешеченному окошку, откуда объявляли имена осужденных на казнь, список *выигравших в лотерее св. Гильотины.* На каждый стук в дверь она бежала открывать, уверенная, что пришли за отцом, чтобы отвезти его на площадь Революции, куда до этого отвезли ее дядю. Наступил день, когда даже за деньги, за те самые деньги, которыми они так дорожили, уже нельзя было купить хлеба. Его приходилось добывать почти силой у дверей булочных, завоевывать стоянием в очереди, которую нужно было занимать в три часа ночи, и потом ждать до утра на ветру и холоде в смертоубийственной давке. Отец не собирался рисковать собой в этой огромной человеческой толчее. Он боялся, что его узнают, боялся скомпрометировать себя какой-нибудь выходкой, на которую в любую минуту могла его толкнуть непреодолимая вспыльчивость. К тому же его отпугивали утомительность и скука этого многочасового стояния. Мальчик был еще слишком мал, его просто задавили бы. Поэтому нелегкий труд ежедневного добывания хлеба для трех ртов пал на долю девочки,— и она его добывала. Надев вязаный жилет отца, болтавшийся на ее худеньком теле, глубоко надвинув холщовый чепец, сжавшись в комок, чтобы как можно дольше сохранить тепло, иззябшая, моргая покрасневшими глазами, она стояла, стиснутая толпой, в которой то и дело возникали потасовки, и ждала минуты, когда булочница с улицы Фран-Буржуа положит хлеб в ее окоченевшую бессильную руку. В конце концов эта бедняжка с жалким личиком и дрожащей, тщедушной фигуркой, каждый день стоявшая в очереди, разжалобила булочницу, в сердце которой жила доброта, присущая женщинам из простонародья. Стоило девочке занять очередь в длинном «хвосте», как булочница посылала ей со своим

сыпишкой долгожданный хлеб. Но однажды, в ту секунду, когда девочка протянула руку к хлебу, какая-то женщина, обозленная этой поблажкой, этим предпочтением, так ударила ее деревянным башмаком, что она пролежала потом месяц в постели; метка от удара осталась у нее на всю жизнь.

За этот месяц отец и дети умерли бы от голода, если бы одна из их добрых знакомых, графиня д'Отейль, догадавшаяся в свое время запастись рисом, не поделилась с ними своим богатством.

Таким образом, благодаря замкнутому, неприметному образу жизни г-н де Варандейль спасся от революционного трибунала. Помогло ему и то обстоятельство, что, на свое счастье, он с месяца на месяц откладывал отчет, который должен был сделать по должности. В его пользу говорила также вражда с виднейшими вельможами и та ненависть к королеве, которой заразились у своих покровителей многие придворные братьев короля. Всякий раз, когда г-ну де Варандейлю случалось упоминать несчастную женщину, он говорил о ней в таких резких, горьких и оскорбительных выражениях, с такой искренней непримиримостью, что невольно производил впечатление противника монархии. Поэтому те, для кого он существовал только как г-н Руло, считали его патриотом, а те, кому он был известен под истинным своим именем, прощали ему и родовитость, и дружбу с принцем крови, и влиятельное положение при дворе.

Республика в те времена увлекалась патриотическими ужинами, трапезами, которые устраивались на улице для всей улицы. Смутно припоминая эти празднества и соединяя в одно события разных лет, мадемуазель де Варандейль представляла себе столы на улице Паве, стоявшие в лужах крови жертв сентябрьской резни. Как раз на одном из таких ужинов г-на де Варандейля осенила блестящая мысль, окончательно обеспечившая ему безопасность. Он рассказал двум своим соседям по столу, горячим патриотам, один из которых был даже в дружбе в Шометтом, что дочь его крещена только малым обрядом и не внесена в метрические записи; он был бы счастлив, если бы Шометт вписал ее в муниципальные реестры и удостоил назвать одним из греческих или римских имен, модных тогда в Республике. Шометт сразу же согласился встретиться с отцом, который оказался «на высоте», как говорили в ту эпоху. Церемония состояла в том, что мадемуазель де Варандейль ввели в комнату, где уже находились две матроны, уполномоченные засвидетельствовать ее пол: она должна была показать им свою грудь. После этого девушка последовала в огромный зал Деклараций, и Шометт,

после цветистой речи, окрестил ее *Семпронией*,— именем, утвердившимся за мадемуазель де Варандейль и сохраненным ею до конца жизни.

Постепенно успокоившись и немного придя в себя, семья кое-как пережила страшные дни, предшествовавшие падению Робеспьера. Наконец наступило девятое Термидора, а вместе с ним и освобождение. Но они по-прежнему терпели нужду и бедствовали. Им было бы не выжить в крутые времена Революции и в жалкие времена Директории, если бы не неожиданная помощь — деньги, посланные провидением, принявшим облик безумия. Двое детей и отец существовали все эти годы на четыре акции театра Водевиль, приобретенные по какому-то наитию г-ном де Варандейлем в 1791 году. Не могло быть более выгодного помещения капитала в эти годы владычества смерти, когда люди всеми силами старались позабыть о ней, в эти трагические дни, когда каждый хотел в последний, быть может, раз посмеяться над последней новинкой — новомодной песенкой. Вскоре эти четыре акции, вместе с деньгами, полученными г-ном де Варандейлем в уплату долга, обеспечили отцу и детям уже не только хлеб. Семья перебралась из чердачных комнат особняка Пти Шароле в квартирку на улицу Шом в Марэ.

Впрочем, в распорядке их жизни ничто не изменилось. Дочь по-прежнему ухаживала за отцом и братом. Г-н де Варандейль постепенно начал смотреть на нее как на служанку, вполне достойную и одежды, которую она носила, и работы, которую выполняла. Отец больше не видел дочери в этом существе, дурно одетом и занятым низменным трудом. Он не желал признавать в ней плоть от своей плоти, кого-то, кто имеет честь состоять с ним в родстве. Она была для него горничной, всегда находившейся под рукой, и г-н де Варандейль так укрепился в этом жестоком, эгоистическом убеждении, так привык к нежному, почтительному — и к тому же даровому — дочернему уходу, что с великим трудом отказался от него даже тогда, когда в доме появился некоторый достаток. Пришлось выдержать настоящий бой, прежде чем он согласился нанять служанку, которая заменила бы его дочь, избавив ее от самой черной и унизительной домашней работы.

У них не было никаких известий о г-же де Варандейль, которая, когда началась революция, отказалась вернуться к мужу. Через некоторое время стало известно, что она вышла замуж в Германии, представив в качестве свидетельства о смерти первого мужа свидетельство о казни на гильотине своего деверя, предварительно изменив в документе его имя. Таким образом,

молодая девушка жила заброшенная, лишенная ласки, зная о своей матери только то, что для семьи ее не существует и что, по словам отца, она достойна лишь презрения. Детство мадемуазель де Варандейль прошло в непрестанном страхе, в лишениях, в тяжком труде, изнурительном для такого чахлого создания, в ожидании смерти, которое под конец превратилось в желание поскорей умереть. Порою тринадцатилетней девочкой овладевало искушение открыть дверь особняка и, подобно многим женщинам того времени, громко крикнуть: «Да здравствует король!», чтобы разом со всем покончить. Ее молодость мало чем отличалась от детства, разве что была менее трагична. Ей приходилось терпеть грубость, требовательность, язвительные словечки, бешеные выходки отца, которые раньше несколько сдерживала и умеряла великая буря, бушевавшая в стране. Девушка несла бремя труда и унижений, обычно достающееся на долю служанки. Угнетенная, забитая, встречавшая со стороны отца не поцелуи и нежность, а пренебрежение, она до боли в сердце хотела любить, но любить было некого. Она уже начала страдать от пустоты и холода, которые неминуемо образуются вокруг женщины, чья молодость никого не радует и не пленяет, потому что обделена красотой и привлекательностью. Мадемуазель де Варандейль видела, что ее длинный нос, желтоватая бледность, худоба, костлявость вызывают в окружающих снисходительное сострадание. Она понимала что ее внешность не только некрасива, но и жалка из-за убогих, неказистых шерстяных платьев, которые она сама же и шила. Отец брюзжал по поводу каждой ее покупки и согласился ежемесячно выдавать ей ничтожную сумму на туалеты, лишь когда мадемаузель де Варандейль исполнилось тридцать пять лет.

Как печальна, как горька, как одинока была эта жизнь со стариком, угрюмым, озлобленным, который был любезен только в обществе, а дома непрерывно ворчал и бранился, который по вечерам оставлял ее одну, а сам отправлялся в гости к знакомым, снова открывшим двери своих домов в период Директории и в первые годы Империи. Свою дочь он вывозил очень редко, а если вывозил, то обязательно в Водевиль, где у него была ложа. И как боялась девушка этих выездов в театр! Она находилась в постоянном страхе, хорошо зная неукротимый нрав отца, высокомерный тон, сохранившийся у него со времен монархии, легкость, с которой он поднимал палку на дерзкую чернь. Почти не было случая, чтобы он не набросился на контролера, не вступил в перебранку со зрителями из партера, не начал грозить им кулаками. Чтобы прекратить эти сцены, дочери приходилось

поспешно опускать решетку ложи. Все это продолжалось и на улице, даже в фиакре, когда кучер не желал везти за цену, предложенную г-ном де Варандейлем и не трогался с места час, два часа, а иногда, потеряв терпение, просто отпрягал лошадь и оставлял седоков в карете, где дочь тщетно умоляла отца сдаться и заплатить.

Считая, что для Семпронии этих развлечений вполне достаточно, стремясь иметь ее полностью в своем распоряжении и всегда под рукой, г-н де Варандейль отгородил дочь от всего мира. Он не брал ее с собой ни к кому из знакомых, даже к родне, вернувшейся из эмиграции, и появлялся вместе с нею только на официальных приемах и празднествах, когда собиралась вся семья. Он не выпускал ее из дому, и лишь когда ей исполнилось сорок лет, счел достаточно великовозрастной, чтобы выходить на улицу без сопровождения. Поэтому у молодой девушки не было ни одной подруги, ни единой родной души, которая могла бы ее поддержать; с ней не было даже ее младшего брата,— он уехал в Соединенные Штаты Америки и там поступил на службу во флот.

Отец, не допускавший мысли о том, что она выйдет замуж и покинет его, обрек ее на безбрачие: как только вдали начинала маячить возможность замужества для Семпронии, г-н де Варандейль заранее находил жениха неподходящим и отвергал в таком тоне, который должен был раз и навсегда отбить у дочери охоту говорить о сватовстве, если бы оно стало чем-то реальным.

Между тем, одержав победу в Италии, французы начали вывозить оттуда все, что могли. Творения величайших мастеров, украшавшие Рим, Флоренцию, Венецию, скапливались в Париже. В моде было только итальянское искусство. Коллекционеры гнались лишь за произведениями итальянской школы. Г-н де Варандейль вообразил, что это повальное увлечение сулит ему возможность разбогатеть. Ему был не чужд тот утонченный, артистический дилетантизм, который был так распространен среди дореволюционной знати. Он любил живопись, много бывал в обществе художников и собирателей редкостей. Ему пришло в голову составить коллекцию итальянских мастеров, а потом ее перепродать. В Париже все еще происходили распродажи — целиком и по частям — коллекций, принадлежавших тем, кто погиб во время Террора. В ту пору очень бойко шли большие полотна, и г-н де Варандейль начал рыскать по городу, на каждом шагу что-нибудь находил, каждый день что-нибудь покупал. Вскоре маленькая квартирка была так загромождена, что не осталось

места для мебели; огромные старинные потемневшие полотна в тяжелых рамах не помещались на стенах. Все это были якобы подлинные Рафаэли, Винчи, Андреа дель Сарто, шедевры, перед которыми отец заставлял дочь простаивать часами, навязывая ей свои вкусы, утомляя восторгами. Он нагромождал эпитеты, сам себя подстегивал, нес чепуху и под конец начинал вести торг с воображаемым покупателем, заламывая цены и выкрикивая: «Мой Россо стóит сто тысяч ливров! Да, сударь, сто тысяч ливров!» Семпрония, в ужасе от того, что необходимые в хозяйстве деньги уходят на эти громадные отвратительные картины, изображавшие громадных отвратительных и совершенно голых мужчин, пыталась увещевать отца и предотвратить разорение. Г-н де Варандейль приходил в ярость, разыгрывал из себя человека, возмущенного полным отсутствием вкуса у родной дочери, твердил, что они наживут на этом целое состояние, и тогда она увидит, глупец он или нет. В конце концов она уговорила его объявить распродажу. Результатом была катастрофа, одно из самых страшных крушений иллюзий, какие когда-либо видели стены и стеклянный потолок зала в особняке Бюльон. Г-н де Варандейль был глубоко унижен и взбешен поражением, которое не просто ударило по карману, пробив брешь в более чем скромном состоянии, но и нанесло удар по его самолюбию знатока, развенчало его знания, развенчав пресловутых рафаэлей. Он заявил дочери, что теперь они слишком бедны для жизни в Париже и поэтому должны поселиться в провинции. Воспитанная в духе времени и не склонная к сельской жизни, мадемуазель де Варандейль тщетно пыталась отговорить отца от этого решения: ей пришлось последовать за ним, покинуть Париж, потеряв таким образом общество и дружбу двух юных родственниц, которые, в часы редких встреч, выслушивали ее полупризнания и, как она чувствовала, всем сердцем тянулись к ней, словно к старшей сестре.

Господин де Варандейль снял домик в Лиль-Адане. Там, вблизи от двух-трех замков, куда уже начали возвращаться их владельцы, его давнишние знакомые, он острее ощущал прошлое, дышал воздухом былой жизни при маленьком дворе графа д'Артуа. Кроме того, на этой родовой земле дома Конти поселились после Революции крупные буржуа, разбогатевшие коммерсанты. Имя г-на де Варандейля внушало почтение этому мирку. Ему низко кланялись, его наперебой приглашали в гости и почтительно, даже благоговейно, слушали рассказы о прежних временах. Заласканный, осыпанный знаками внимания и лестью, этот обломок Версаля был главой и украшением общества. Когда

он обедал у г-жи Мютель, бывшей булочницы, обладательницы ренты в сорок миллионов ливров, хозяйка дома вставала из-за стола и, в шелковом платье, шествовала на кухню, чтобы приготовить салат из козельцов: г-н де Варандейль считал, что никто не готовит это блюдо так вкусно, как она. Но не ради этого приятного времяпрепровождения решил г-н де Варандейль уехать из Парижа: у него зародилась некая идея, и ему нужен был досуг, чтобы воплотить ее в жизнь. То, чего он не смог совершить во славу и честь итальянского искусства с помощью коллекции картин, он решил совершить, призвав на помощь историю. От своей жены он немного научился итальянскому языку и теперь захотел во что бы то ни стало подарить французскому читателю «Жизнеописания живописцев» Вазари, перевести эту книгу на французский язык,— разумеется, с помощью дочери; та, будучи еще малюткой, слышала, как ее мать говорила со своей горничной по-итальянски, и запомнила несколько слов. Он принудил молодую девушку с головой погрузиться в Вазари, заполнил ее время и мысли грамматиками, словарями, комментариями, учеными трудами, посвященными итальянскому искусству, заставил целые дни корпеть над неблагодарной работой, изнывать и мучиться над переводом непонятных слов. Весь труд лег на ее плечи. Дав ей задание и оставив наедине с томами в белых переплетах из телячьей кожи, он уходил гулять, делал визиты соседям, играл в карты с владельцами замков или обедал у какого-нибудь знакомого буржуа, которому высокопарно жаловался на то, сколь непомерной затраты сил и здоровья стоит ему предпринятый им перевод. Потом он возвращался, слушал переведенный кусок, делал замечания, критиковал, переставлял слова во фразе так, что получалась бессмыслица, которую дочь исправляла сразу же после его ухода, а сам снова шел гулять или в гости, чувствуя, что имеет право на отдых после трудового дня. Обутый в изящные башмаки, держа шляпу под мышкой, он шествовал, гордясь выправкой, наслаждаясь собой, небом, деревьями, богом Жан-Жака Руссо, благоволящим к природе и растениям. По временам им овладевали вспышки нетерпения, свойственные старикам и детям: он хотел, чтобы к следующему дню было сделано столько-то страниц, и заставлял дочь до глубокой ночи засиживаться над переводом.

На эту работу ушло несколько лет, и глаза Семпронии были окончательно погублены. Она жила, заживо погребенная под книгами Вазари, еще более одинокая, чем прежде, из врожденной высокомерной брезгливости чуждавшаяся лиль-аданских

обывательниц с их замашками в стиле мадам Анго и слишком плохо одетая, чтобы посещать обитателей замков. Любое удовольствие, любое развлечение было отравлено для нее чудачествами и придирками отца. Он вытаптывал цветы, которые она потихоньку сажала в садике: он хотел, чтобы там росли только овощи, и сам за ними ухаживал, развивая при этом глубокомысленные теории о пользе овощеводства, приводя доказательства, которые были бы уместны и в устах членов Конвента, требующих распахать сады Тюильри под картофель. Единственной радостью Семпронии была возможность время от времени, с согласия отца, приглашать к себе одну из двух своих молоденьких подруг. Эта неделя была бы раем для нее, если б веселье, развлечения, праздники не были отравлены вечным ожиданием какой-нибудь причуды со стороны отца, взрывами его дурного настроения, ссорами, возникавшими из-за пустяков: из-за флакона духов для спальни подруги, из-за какой-нибудь закуски к обеду, из-за прогулки, которую она хотела совершить со своей гостьей.

В Лиль-Адане г-н де Варандейль нанял служанку, которая почти сразу стала его любовницей. От этой связи родился ребенок. У г-на де Варандейля, легкомысленного до цинизма, хватило бесстыдства воспитывать его тут же, на глазах у дочери. Постепенно служанка начала чувствовать себя хозяйкой в доме. Кончилось тем, что она стала помыкать и главой семьи, и его дочерью. Однажды г-н де Варандейль пожелал, чтобы она села вместе с ним за стол, а Семпрония прислуживала им обоим. Это было уж слишком. Мадемуазель де Варандейль не снесла оскорбления, восстала и высказала все свое негодование. Под влиянием одиночества, страданий, жестокости людей и обстоятельств у молодой девушки медленно, незаметно выработался прямой и твердый характер. Слезы не размягчили ее душу, а закалили. Под дочерней смиренной покорностью, под беспрекословным послушанием, под видимостью кротости скрывались непреклонный нрав, мужская воля, сердце, чуждое слабости и нерешительности. В ответ на унизительное требование она показала себя истинной дочерью своего отца, припомнила всю свою жизнь, в потоке слов излила весь горький стыд своего существования и заявила, что если эта женщина в тот же вечер не покинет их дома, то уйдет она, Семпрония, и что, слава богу, отец привил ей такие простые вкусы, при которых не страшна никакая нужда. Отец, испуганный и ошеломленный неожиданным бунтом, рассчитал служанку, но затаил против дочери злобу за то, что она вынудила его пойти на жертву. Эта враждебность выра-

жалась в едких словах, яростных выпадах, иронической благодарности, горьких улыбках. Вместо того чтобы мстить старику, Семпронпя лишь нежнее, мягче, терпеливее ухаживала за ним. Ее преданность подверглась еще одному испытанию: г-на де Варандейля разбил апоплексический удар. У него отнялась рука, он тянул ногу, разум его померк, осталось лишь сознание своего несчастья и зависимости от дочери. И тогда всплыло на поверхность и обнаружилось все дурное, что прежде таилось в глубине его души. Эгоизм старика перешел всякие границы. Страдания и слабость превратили его в злобного безумца. Все дни и все ночи мадемуазель де Варандейль посвящала больному, которого, казалось, приводили в негодование ее заботы, унижала ее любовь, говорившая о душевном благородстве и всепрощении, мучило вечное присутствие у его кровати этой неутомимой и предупредительной женщины, олицетворявшей долг. Какую она вела жизнь! Нужно было рассеивать неизлечимую хандру этого жалкого человека, непрерывно развлекать его, прогуливаться с ним, весь день внушать ему бодрость. Когда он сидел дома, нужно было играть с ним в карты, следя за тем, чтобы он не слишком проигрывал и не слишком выигрывал. Нужно было воевать с его капризами, с его обжорством, отнимать у него еду и в качестве благодарности выслушивать попреки, жалобы, оскорбления, терпеть слезы, приступы отчаянья и ярости, свойственные вспыльчивым детям и бессильным старикам. И длилось это десять лет! Десять лет, в течение которых у мадемуазель де Варандейль не было иной утехи, иного развлечения, кроме встреч со своей родственницей и подругой, только что вышедшей замуж, на которую она изливала всю свою нежность, всю горячую материнскую привязанность. Семпронпя называла ее «курочкой». Единственной радостью старой девы были недолгие и нечастые — раз в две недели — посещения счастливой четы. Она целовала миловидного ребенка, уже засыпавшего в колыбели, торопливо обедала, посылала за каретой во время десерта и поспешно убегала, словно школьница, опаздывающая на урок. Но в последние годы жизни г-на де Варандейля Семпронии пришлось отказаться и от этих обедов: старик запретил ей надолго отлучаться из дому и заставлял почти все время сидеть возле своей постели, беспрестанно повторяя, что понимает, как скучно ухаживать за немощным, но что скоро он ее освободит. Он умер в 1818 году и, прощаясь перед смертью с дочерью, в течение сорока лет преданно служившей ему, не нашел ничего лучшего, чем сказать ей: «Я знаю, ты никогда меня не любила».

За два года до смерти г-на де Варандейля из Америки вернулся брат Семпронии. Он привез с собой цветную жену, которая спасла его, ухаживая за ним, когда он болел желтой лихорадкой, и двух уже больших девочек, прижитых им с этой женщиной еще до женитьбы на ней. Хотя мадемуазель де Варандейль придерживалась старорежимных взглядов на негров и ставила немногим выше обезьяны свою цветную невестку — невежественную, говорившую на ломаном французском языке, бессмысленно смеявшуюся и пачкавшую своей жирной кожей белье,— все же ей удалось победить ужас и отвращение отца и вырвать у него позволение на встречи с женой брата. Ей даже удалось склонить старика в последние дни его жизни к знакомству со снохой. Когда отец умер, мадемуазель де Варандейль подумала о том, что на свете не осталось никого, кто был бы ей ближе этой семьи.

Господин де Варандейль, которому после возвращения Бурбонов граф д'Артуа выплатил жалованье за все годы Революции, оставил своим детям ренту в десять тысяч ливров. До получения наследства брат мадемуазель де Варандейль перебивался на пенсию в тысячу пятьсот франков, назначенную ему морским министерством Соединенных Штатов Америки. Семпрония сочла, что ренты в пять — шесть тысяч ливров недостаточно для благополучной жизни семьи, в которой подрастают двое детей, и тут же решила отдать брату свою часть наследства. Это предложение она сделала необычайно просто и чистосердечно. Брат согласился, и она поселилась вместе со всей семьей в удобной квартирке на улице Клиши, тогда еще неполностью застроенной. Квартира находилась на пятом этаже одного из первых домов этой улицы, куда ветер, весело гуляя в белых остовах неоконченных зданий, доносил дыхание полей. Мадемуазель де Варандейль продолжала вести там самый скромный образ жизни, носила дешевые платья, во всем себе отказывала, довольствовалась худшей комнатой и тратила на себя не больше тысячи восьмисот — двух тысяч франков. Но постепенно в мулатке начала закипать глухая ревность. Ее злила дружба брата и сестры, отнимавшая, как ей казалось, у нее мужа. Она страдала от общности их языка, мыслей, воспоминаний, страдала от бесконечных разговоров, в которых не могла принять участия, от слов, которые слышала и не понимала. Сознание того, что ей не подняться до их уровня, разжигало в ее сердце такой яростный гнев, какой бушует только в тропиках. Избрав орудием мести своих дочерей, она настраивала их, восстанавливала, вооружала против золовки, подстрекала насмехаться над нею, дразнить ее, радовалась злобным проказам детей, у которых наблюдательность всегда идет об

руку с жестокостью. Почувствовав полную безнаказанность, дети начали издеваться над смешными повадками тетки, над ее внешностью, над ее носом, над убожеством платьев — тем самым убожеством, благодаря которому они были так нарядно одеты. При поддержке и попустительстве матери девчонки очень быстро обнаглели. Вспыльчивость мадемуазель де Варандейль равнялась доброте. Ее рука, в той же мере, как и сердце, подчинялась первому порыву. Притом она вполне разделяла взгляды своих современников на воспитание. Три дерзкие выходки она снесла молча, а на четвертую ответила тем, что схватила насмешницу, задрала ей юбку и, несмотря на ее двенадцать лет, отшлепала так, как той никогда и не снилось. Мулатка подняла крик, заявила, что золовка всегда ненавидела ее девочек, готова была их убить. Брату Семпронии, вмешавшемуся в эту сцену, кое-как удалось помирить обеих женщин. Но ссоры продолжались, и девчонки, пылая гневом на ту, из-за которой проливала слезы их мать, начали мучить тетку с изобретательностью балованных детей и свирепостью маленьких дикарок. После нескольких попыток к примирению стало ясно, что им нужно расстаться. Мадемуазель де Варандейль решила уехать от брата: она видела, как он страдает, как разрывается между самыми дорогими ему существами. Она его отдала жене и детям. Эта разлука причинила ей мучительную боль. Она, такая сдержанная, так владевшая своими чувствами и так горделиво переносившая страдания, чуть не поддалась слабости в ту минуту, когда покидала квартиру, где надеялась обрести хоть немного счастья, живя рядом со счастьем близких ей людей: ее глаза в последний раз наполнились слезами.

Мадемуазель де Варандейль поселилась неподалеку, чтобы не терять брата из виду, ухаживать за ним в дни болезни, встречать его на улице. Но в сердце и в жизни у нее образовалась пустота. После смерти отца она возобновила знакомство с родственниками и, сблизившись с ними, принимала у себя тех, кому Реставрация вернула влияние и могущество, ходила в гости к тем, кого новая власть оставила в тени и бедности. Но особенно часто она встречалась со своей дорогой «курочкой» и еще одной дальней родственницей, ставшей по мужу невесткой «курочки». Когда эти отношения укрепились, жизнь мадемуазель де Варандейль потекла по раз навсегда заведенному порядку. Она никогда не появлялась на больших приемах, вечерах, спектаклях. Нужен был потрясающий успех Рашели, чтобы вытащить мадемуазель де Варандейль в театр, да и то ей вполне хватило двух раз. Она не принимала приглашений на званые

обеды, но было несколько домов, куда она приходила, как к «курочке», запросто, и только в те дни, когда там не было посторонних. «Милочка,— говорила она без всяких церемоний,— вы с мужем свободны сегодня? Тогда я останусь у вас обедать». Ровно в восемь вечера она уходила. Если хозяин дома брался за шляпу, чтобы проводить ее, она останавливала его словами: «Полно, дорогой мой! Кто польстится на такую старую клячу? Мужчины на улице шарахаются от меня!..» Потом она исчезала — на десять дней, на две недели. Но если случалась беда, горе, кто-то умирал, заболевал ребенок — мадемуазель де Варандейль неведомо откуда узнавала об этом. Она прибегала в любой час, в любую погоду, давала такой продолжительный и своеобразный звонок, что все сразу говорили: «Это звонок кузины»,— ставила, не теряя времени, в угол свой зонтик, с которым не расставалась и летом, снимала галоши, бросала на стул шляпу и целиком отдавала себя в распоряжение тех, кто в ней нуждался. Она выслушивала, говорила, вселяла мужество своим воинственным голосом, своей речью, энергичной, как боевое поощрение, и бодрящей, как сердечные капли. Если оказывалось, что нездоров малыш, она шла прямо к его кроватке, смехом разгоняла страх, тормошила родителей, выходила из комнаты, вновь входила, отдавала распоряжения, все решала, ставила пиявки, делала припарки, возвращала надежду и радость, не давая никому ни минуты передышки. Эта старая дева, точно ангел-хранитель, внезапно появлялась у своей родни в часы печали, грусти, невзгод. Она приходила лишь тогда, когда ее руки должны были кого-нибудь исцелить, преданность — утешить. Так великодушно было ее сердце, что она сама как бы перестала существовать, перестала принадлежать себе, словно бог создал ее только для того, чтобы она помогала другим. Ее неизменное черное платье, с которым она не желала расстаться, ветхая перекрашенная шаль, смешная шляпка — все это убожество давало ей возможность, несмотря на более чем скромные средства, быть щедрой на благодеяния, расточительной на милостыню, достаточно богатой, чтобы дать бедняку — не денег, нет, она боялась кабака,— а хлеба на четыре ливра, которые сама платила булочнику. Одеваясь, как нищая, она могла позволить себе свою главную роскошь: осыпать подарками, сластями, неожиданными удовольствиями детишек своих приятельниц и видеть радость на ребячьих лицах. Например, сынишка подруги мадемуазель де Варандейль, оставленный летом на целое воскресенье в пансионе (его матери пришлось в этот день отлучиться из Парижа), нашалил от огорчения и был наказан. К его вели-

кому удивлению, ровно в девять утра во двор влетела мадемуазель, на ходу застегивая платье,— в такой спешке она выскочила из дому. В каком он был отчаянии, увидев ее! «Кузина,— жалобно сказал он, приходя в то состояние неистовства, когда дети готовы одновременно и разреветься, и убить *учителишку*,— я наказан... мне никуда нельзя идти...» — «Как это, никуда нельзя идти? Вот еще новости! Уж не вздумал ли твой воспитатель посмеяться надо мной? Сейчас я поговорю с этим болваном. А ты пока одевайся. И побыстрее». Не успел мальчик до конца поверить, что эта плохо одетая дама сможет добиться отмены наказания, как кто-то схватил его за руку: кузина потащила его, ошалевшего, потерявшего голову от радости, втолкнула в карету и повезла в Булонский лес. Целый день она катала его на ослике, подгоняя животное сломанной веткой и криками: «Но! Пошел!» Потом, после вкусного обеда у Борна, отвела мальчишку обратно в пансион и, целуя его у ворот, сунула в руку целое состояние — монету в сто су.

Удивительная старая дева! Вся многострадальная жизнь мадемуазель де Варандейль, нужда, вечные болезни, долгие телесные и душевные муки словно отделили ее от жизни и вознесли над повседневностью. Воспитание, события, которые она видела, катастрофы, которые пережила, Революция — все это научило ее пренебрежению к человеческой слабости. Старуха с немощной плотью, она поднялась до высот невозмутимой мудрости, до мужественного, надменного, даже насмешливого стоицизма. Начав слишком яростно восставать против какой-нибудь своей особенно мучительной болезни, она вдруг спохватывалась и клеймила себя гневным язвительным словечком, от которого сразу прояснялось ее лицо. Она была полна весельем, идущим из глубокого, неиссякаемого источника,— весельем, свойственным людям, которых ничто не может отвратить от исполнения долга, весельем старых солдат или старых больничных сиделок. Тем не менее ее необычайная доброта была лишена одного дара — дара прощения. К этому она так и не смогла принудить свою несгибаемую натуру. Темное пятно, дурной поступок, пустяк, задевший за живое, ранили ее навсегда. Она не умела забывать. Ни время, ни даже смерть не разоружали ее памяти.

В бога она не верила. Она родилась в эпоху, когда женщины обходились без бога, выросла в годы, когда не было церквей. Девушкой она не знала, что такое обедня. Никто не привил ей ни привычки к религии, ни потребности в ней. К священникам мадемуазель де Варандейль питала гадливую

ненависть, вызванную, по-видимому, какой-то семейной историей, о которой она никому не рассказывала. Силу духа и милосердие она черпала не в благочестии, а в горделивом сознании того, что совесть ее чиста: она считала, что человек, который себя уважает, не может сбиться с пути и совершить проступок. Она пережила две эпохи — монархию и Революцию, и обе они создали ее, странным образом смешавшись в ней и поочередно наложив на нее свой отпечаток. После того как десятого августа Людовик XVI не решился вскочить в седло, она потеряла уважение к королям, но чернь она тоже презирала. Она была сторонницей равенства, однако не выносила выскочек, была республиканкой и в то же время аристократкой. Скептицизм уживался в ней с предрассудками, ужас перед пережитым в 1793 году — со смутными и благородными идеалами человечества, впитанными ею с младых ногтей.

Внешность у мадемуазель де Варандейль была мужеподобная. Говорила она отрывисто, прямо, резко, как любили говорить старухи в XVIII веке; при этом выговор у нее был простонародный, а манера выражаться — особенная, свойственная лишь ей одной, красочная и залихватская, не признающая недомолвок, называющая вещи своими именами.

Между тем прошли годы, увлекшие за собой сперва Реставрацию, потом монархию Луи-Филиппа. Вся семья мадемуазель де Варандейль, все, кого она любила, один за другим отправились на кладбище. Одиночество окружило ее, и она не переставала горестно удивляться тому, что позабыта смертью, хотя уже приготовилась к ней, хотя все ее помыслы были направлены к могиле, хотя ей некого было любить на свете, кроме малышей, которых приводили к ней сыновья и дочери ее умерших подруг. Брат мадемуазель де Варандейль умер. Ее дорогая «курочка» тоже сошла в могилу. В живых осталась только невестка «курочки», но и она угасала, готовая отлететь в другой мир. Потрясенная смертью ребенка, родившегося после многих лет напрасного ожидания, несчастная женщина умирала от чахотки. В течение четырех лет мадемуазель де Варандейль ежедневно просиживала у нее с полудня до шести вечера. Она, можно сказать, жила все это время у больной, вдыхая спертый воздух спальни, влажный от постоянных ингаляций. Ничто не могло ее остановить,— ни подагра, ни простуды. Ее время и сама жизнь принадлежали этому кротко погибающему существу, все желания которого были устремлены к небу, куда улетают умершие дети. И когда мадемуазель де Варандейль, в последний раз прощаясь с подругой, поцеловала на кладбище

гроб, ей почудилось, что вокруг нее никого не осталось, что она — одна на земле.

С этого дня она покорилась недугам, ибо ей уже незачем было с ними бороться, и начала жить той замкнутой, уединенной жизнью, какой обычно живут старики, которые наступают на одни и те же половицы, не выходят из дому, ничего не читают, потому что глаза их устают от напряжения, и часами неподвижно сидят в кресле, воскрешая прошлое и вновь его переживая. Мадемуазель де Варандейль могла целыми днями не менять позы и думать, глядя в пространство широко раскрытыми, отсутствующими глазами, отделившись от самой себя, от своей спальни, от своей квартиры, витая там, куда ее влекла память, где ее ждали исчезнувшие лица, поблекшие пейзажи, смутные облики дорогих людей. Когда Жермини видела, что ее хозяйка погружена в такую торжественно-дремотную думу, она почтительно говорила: «Барышня опять раздумалась».

Все же раз в неделю мадемуазель де Варандейль выходила из дому. Именно из-за этих прогулок, из-за близости к месту, куда она еженедельно отправлялась, старая дева покинула свою прежнюю квартиру на улице Тэбу и переехала на улицу Лаваль. Здоровая или больная, по раз в неделю она шла на кладбище Монмартр, где покоились ее отец, ее брат, женщины, которых она оплакивала, все, кто уже отстрадал. У нее был почти античный культ мертвых и смерти. Могилы были для нее священны, близки и дороги. Мадемуазель де Варандейль любила землю, в которой спали вечным сном ее близкие, любила за то, что эта земля возвращала надежду на освобождение и готова была принять ее бренные останки. Она выходила из дому рано утром, опираясь на служанку, которая несла складной стул. Возле самого кладбища она заглядывала к продавщице венков, которая уже много лет знала мадемуазель де Варандейль и зимой отдавала ей свою ножную грелку. Там она несколько минут отдыхала, затем, нагрузив Жермини венками из бессмертников, входила в кладбищенские ворота, сворачивала в аллею налево от большого кедра и, от могилы к могиле, медленно совершала свое паломничество. Она отбрасывала увядшие цветы, сгребала сухие листья, подвязывала венки, садилась на складной стул, смотрела, думала, кончиком зонтика рассеянно очищая от мха плоский камень надгробья. Потом вставала, оглядывалась, словно прощаясь с могилой, которую покидала, шла дальше, снова останавливалась и опять вела тихий разговор с той ча-

стицей своего сердца, которая спала под надгробной плитой. Обойдя всех дорогих ей покойников, она медленно возвращалась домой, отгородившись благоговейным молчанием и словно страшась заговорить.

III

Погрузившись в воспоминания, мадемуазель де Варандейль закрыла глаза.

Служанка оборвала рассказ, и конец истории, готовый было сорваться у нее с губ, остался затаенным в сердце.

А конец был такой.

Когда маленькая Жермини — ей еще не исполнилось пятнадцати лет — приехала в Париж, сестры, которым не терпелось куда-нибудь ее пристроить, чтобы она начала зарабатывать себе на жизнь, подыскали ей место в захудалом кафе на бульваре, где в качестве горничной она прислуживала хозяйке и одновременно исполняла черную работу по заведению. Девочка, внезапно вырванная из привычной деревенской обстановки, чувствовала себя чужой в этом месте, среди этих людей, и всех дичилась. Инстинктивное целомудрие пробуждающейся женщины протестовало в ней против общения с официантами, против совместной работы, еды, жизни рядом с мужчинами. Всякий раз, когда Жермини в свой свободный день приходила к сестрам, она разражалась беспричинными слезами, рыдала, устраивала истерики, боялась вернуться в кафе, говоря, что ей там не нравится, что она не хочет там оставаться и предпочитает жить у сестер. Ей отвечали, что достаточно уже было потрачено денег на ее приезд, что все это — капризы, что она хорошо устроена, и, плачущую, отправляли назад в кафе. Она не осмеливалась рассказать, как ей тяжко существование бок о бок с официантами, циничными, бесстыдными зубоскалами, которые на своей работе надышались всеми видами порока, вывалялись в грязи разгула, насквозь пропитались прокисшей *бурдой* оргий. Ей все время приходилось выслушивать грязные шутки, подвергаться жестоким издевательствам и гнусным выходкам этих людей, которые радовались, обретя жертву в лице маленькой, тощей и хилой дикарки, ничего не понимающей, насупленной, боязливой и угрюмой, нищенски одетой в неказистые деревенские платьица. Официанты вымещали всю накопившуюся в них злобу на запуганном ежечасными преследованиями, словно оглушенном ребенке. Они играли на ее невежестве, обманывали, строили всякие каверзы, изнуряли работой, непрерывно одуряли

безжалостными насмешками и доводили до полного отупения этот и без того ошеломленный мозг. Кроме того, они говорили вещи, которые, хотя и были ей непонятны, все же заставляли ее краснеть и смущаться. Своими грязными намеками они пятнали чистоту четырнадцатилетней девочки, забавлялись, подстегивая ее ребяческое любопытство и заставляя подглядывать в дверь отдельных кабинетов.

Жермини хотелось пожаловаться сестрам, но она не смела. Так как от сытной пищи щеки ее немного порозовели, фигура пополнела и в ней появилась какая-то женственность, вольности официантов становились все откровеннее, все грубее. Ей удавалось спастись бегством от приставаний, от жестов, от прикосновений и сохранять невинность, но она утрачивала при этом неведение, теряла частицу целомудрия. Хозяин заведения, привыкший злоупотреблять властью над служанками, злился на то, что эта незрелая девчонка не годится ему в любовницы, и непрерывно осыпал Жермини попреками, бранью, затрещинами. Только хозяйка иногда проявляла к ней доброту и человеческое отношение. Жермини по-собачьи преданно полюбила эту женщину и повиновалась ей так, как может повиноваться только животное. Слепо, не рассуждая, она исполняла ее поручения, относила письма к ее любовникам, проделывая это ловко, тонко, изобретательно, с бессознательной хитростью ускользая, увертываясь, убегая от ревнивой настороженности обманутого мужа. Не отдавая себе отчета в том, что делает, что прячет, она тем не менее испытывала злую радость,— радость не то ребенка, не то обезьяны,— смутно догадываясь об обиде, которую наносит этому человеку и этому дому, нанесшим ей столько обид. Среди служащих кафе тоже нашелся человек — старый официант по имени Жозеф,— который защищал Жермини, старался уберечь от злых каверз и, по праву своих седых волос и отеческого интереса к девочке, не позволял вести в ее присутствии слишком вольные разговоры. Между тем ужас Жермини перед этим заведением возрастал день ото дня. Дошло до того, что как-то сестрам пришлось насильно отвести ее в кафе.

Однажды, по случаю парада на Марсовом поле, официанты получили увольнительную на целый день. В кафе остались только Жермини и старый Жозеф. Жозеф разбирал грязное белье в темной каморке. Он попросил Жермини помочь ему. Она вошла, вскрикнула, упала... Она плакала, умоляла, боролась, звала на помощь... Пустынный дом был глух к ее крикам.

Очнувшись, Жермини убежала в свою комнату и заперлась. Целый день она не выходила оттуда. Когда наутро Жозеф

попытался подойти к ней и заговорить, она отпрянула от него в каком-то самозабвенном ужасе, в безумной панике. И еще много времени спустя стоило какому-нибудь мужчине приблизиться к ней, как она невольно начинала пятиться, делая при этом такие нервные, судорожные движения, словно была загнанным в угол животным, насмерть испуганным и пытающимся спастись. Жозеф, боясь, как бы она не пожаловалась на него, больше не подходил к ней и не пытался победить отвращение, которое он ей внушал.

Она забеременела. Однажды в воскресенье вечером она сидела у своей сестры, привратницы. Вдруг у нее началась рвота, потом она потеряла сознание. В это время зашел за ключом жилец, по профессии врач. От него сестры узнали о положении Жермини. Возмущение униженной гордости, такой чувствительной у простых людей, и уязвленное ханжеское благочестие, не ведающее снисхождения, вылились у сестер в форму яростной, грубой вспышки гнева. Растерянность быстро превратилась в бешенство. Они привели Жермини в сознание пинками и руганью; их руки осыпали ее ударами, губы — оскорблениями. Тут же стоял зять Жермини, так и не простивший ей денег, истраченных на ее переезд в Париж, и смотрел на нее с ехидной и жестокой радостью истого овернца, с издевательским смешком, от которого щеки Жермини багровели еще больше, чем от пощечин.

Она терпела побои, не отвечала на брань, не пыталась ни защищаться, ни оправдываться. Она никому не рассказала, как все произошло и до какой степени она невиновна в своем несчастье. Она молчала, смутно надеясь на то, что ее убьют. Когда старшая сестра начала допытываться, не была ли она изнасилована, говоря, что в этом случае можно будет обратиться в полицию или суд, Жермини даже закрыла глаза от ужаса при мысли о разглашении своего позора. Один только раз, когда сестры крикнули, что она опозорила имя их покойной матери, Жермини бросила на них такой взгляд, так сверкнула глазами, что обеим стало стыдно: они вспомнили, что сами устроили ее на это место и не позволили взять расчет, тем самым подвергнув искушению, почти принудив к греху.

В тот же вечер младшая из сестер увезла Жермини к себе, на улицу Сен-Мартен, где она делила комнату со штопальщицей кашемировых шалей, полупомешанной богомолкой, хоругвеносицей общества Девы Марии. Сестра уложила Жермини с собой на полу, на единственном матраце, и по ночам вымещала на беззащитной девушке давнюю ревнивую обиду, злобу за

то предпочтение, за те ласки, которыми некогда награждали Жермини мать и отец. Она изобретала сотни способов, чтобы исподтишка или открыто мучить беднягу,— била ее ногой по икрам, придвигалась к самому краю матраца и в зимнюю стужу сталкивала на ледяной пол. Днем за Жермини бралась штопальщица, поучала, журила, расписывала загробные муки, заставляла ее содрогаться от ужаса и почти физически чувствовать прикосновение адского пламени.

За все четыре месяца, что она прожила там, ей ни разу не позволили выйти на улицу. Через четыре месяца она родила мертвого ребенка. Оправившись после родов и устроившись служанкой к женщине, которая жила на улице Лафит и занималась выщипыванием бровей и седых волос у клиенток, Жермини первые дни радовалась так, словно вышла из тюрьмы на волю.

Несколько раз она встречала на улицах старого Жозефа: теперь он хотел жениться на ней, домогался ее. Она спасалась от него бегством. Старик так и не узнал, что чуть не сделался отцом.

Между тем Жермини медленно погибала от голода. Ее новое место, где она была единственной служанкой, относилось к числу тех, которые прислуга называет *морилками*. Мотовка и обжора, беспорядочно бросавшая деньги на ветер, как многие из тех парижанок, которым приходится заниматься случайными и сомнительными ремеслами, всегда готовая и к описи имущества, и к увеселительной прогулке, хозяйка Жермини нисколько не заботилась о том, чем кормится ее молоденькая служанка. Она порой уходила на целый день, даже не вспомнив, что дома не из чего приготовить обед. Девушка ела что придется — сырые овощи, салаты, обильно приправленные уксусом, которыми так любят утолять голод молодые женщины, жевала даже уголь, поддаваясь извращениям вкуса и капризам желудка, свойственным ее полу и возрасту.

При таком образе жизни, еще не окрепшая после родов и нуждавшаяся в хорошем питании, Жермини худела, слабела, хирела. Выглядела она ужасно. При дневном свете ее лицо казалось даже не бледным, а зеленым, набухшие веки были окружены глубокими тенями, обесцвеченные губы полиловели, точно увядшие фиалки. Стоило ей подняться на несколько ступенек, как она начинала задыхаться. Люди, стоявшие рядом с ней, ощущали непрерывную вибрацию,— так бились вены у нее на шее. Она с трудом передвигала ноги и сутулилась, словно не в силах была нести бремя жизни. Отупевшая, бесчувственная

ко всему окружающему, она падала в обморок от любой, самой пустячной работы,— от того, например, что ей пришлось причесать хозяйку.

Жермини неприметно угасала, как вдруг сестра нашла ей место горничной у старого актера-комика, уже не игравшего в театре и жившего на деньги, которые он некогда заработал, смеша весь Париж. Бездетному старику стало жаль несчастную девушку, он начал о ней заботиться, выхаживать ее, баловать. Он возил ее за город, гулял с ней в солнечные дни по бульварам. Держась за ее руку, он чувствовал себя согретым, глядя на ее веселье —счастливым. Чтобы развлечь Жермини, он нередко доставал из шкафа траченный молью театральный костюм и пытался сыграть отрывок из какой-нибудь полузабытой роли. Стоило ему посмотреть на молоденькую горничную, на ее белую наколку, как его словно озарял луч юности. Старый Жокрис опирался на Жермини с такой ребячливой радостью, с таким чувством товарищества, как будто был ее дедом. Но через несколько месяцев он умер, и Жермини начала переходить с места на место, работая то у содержанок, то у хозяек пансионов, то у мелочных торговок, пока сестра, привратница одного из домов по улице Тэбу, не рекомендовала ее мадемуазель де Варандейль, жившей в этом доме и только что похоронившей служанку.

IV

Люди, полагающие, что в наше время католическая религия исчерпала себя, не знают, как мощны и многочисленны корни, пущенные ею в глубины народной души. Они не знают, какими тончайшими, невидимыми сетями она опутывает женщину из народа, не знают, что значит исповедь, что значит исповедник для обездоленного сердца этой обездоленной женщины. Та, чей удел — тяжкий труд и нужда, видит в священнике, который ее слушает и ласково отвечает ей, не божьего слугу, не судью, в чьей власти отпущение грехов и спасение души, а поверенного всех горестей, друга в несчастье. Как женщина ни огрубела, в ней всегда таится женское начало — что-то лихорадочное, трепетное, чувствительное, ранимое, какое-то просительное беспокойство больного существа, которому так же необходимы ласковые слова, как ребенку, набившему себе шишку, утешения няни. Женщине из народа, как и светской женщине, нужно облегчить сердце рассказом, признанием, исповедью, ибо в самой ее природе заложена потребность кому-то

все излить и на кого-то опереться. Она хранит в себе чувства, которые обязательно должна выразить словами, она ждет, чтобы ее спрашивали, жалели, давали ей советы. Она жаждет понимания этих стыдливо затаенных чувств, искреннего интереса к ним. Пусть ее хозяева хорошо с ней обращаются, держат себя просто, даже по-дружески,— все равно их доброта ничем не отличается от доброты, которую проявляют к домашнему животному. Их беспокоит ее аппетит, самочувствие, они проявляют заботу о ее плоти,— и этим ограничиваются. Им и в голову не придет, что она может страдать не только телом, и они никогда не заподозрят в ней того скрытого беспокойства, тех душевных страданий и печалей, в которых сами изливаются только равным себе. Они считают, что у женщины, которая подметает полы и варит обед, не может быть мыслей, заставляющих уходить в себя и грустить, поэтому они никогда не говорят с ней о ее мыслях. С кем же ей поделиться ими? Со священником, который ждет ее, выспрашивает, выслушивает, со служителем церкви, который в то же время и светский человек, высшее существо, барин, воспитанный, ученый, умеющий красиво выражаться, всегда приветливый, доступный, терпеливый, внимательный, не проявляющий презрения к самой смиренной душе, к самой плохо одетой прихожанке. Лишь священнику есть дело до женщины в чепце. Лишь он принимает близко к сердцу ее тайные страдания, все, что ее мучит, все, что волнует, все, что рождается в сердце служанки точно так же, как в сердце госпожи,— желание поплакать, тревогу, подобную предгрозовому томлению. Лишь он побуждает ее к откровенности, помогает освободиться от того, что порождено прозой повседневности, печется о ее духовном здоровье. Лишь он помогает ей возвыситься над животной жизнью и обращается к ней со словами нежности, милосердия, надежды, с возвышенными словами, каких она никогда не слышит от мужчин своей семьи, своего класса.

Поступив на службу к мадемуазель де Варандейль, Жермини впала в глубокое благочестие, и все ее помыслы сосредоточились на церкви. Все больше отдавалась она наслаждению исповеди, размеренному, спокойному, тихому голосу, звучащему из полутьмы, беседам, во время которых слова точно ласкают друг друга. После этих бесед она чувствовала себя освеженной, легкой, свободной, счастливой, словно на самые чувствительные, болезненные, натруженные места в ее душе наложили чуть щекочущую целительную повязку.

Только в церкви могла она открыть и открывала душу. В ее

хозяйке была какая-то мужская грубоватость, не допускавшая сердечных излияний. Резкие восклицания и слова, вырывавшиеся у мадемуазель, заставляли Жермини обходить молчанием то, что ей хотелось бы рассказать. Старуха была неумолима к жалобам, не вызванным болезнью или несчастьем. Ее мужественная доброта не признавала нездоровой игры воображения, терзаний, созданных мыслью, тоски, порожденной женскими нервами и недомоганиями. Она порой казалась Жермини бесчувственной, хотя на самом деле просто отвердела снаружи под воздействием возраста и тягот существования. Грубой была ее кожа, грубой — оболочка сердца. Она сама никогда не жаловалась и не любила, когда жаловались другие. По праву своих непролитых слез она ненавидела малодушные слезы, проливаемые взрослыми людьми,

Вскоре исповедальня стала для Жермини как бы восхитительным и священным местом свиданий. К ней была обращена первая мысль служанки утром, ее последняя молитва вечером. Целый день она, словно во сне, видела себя стоящей там на коленях. Она работала, а перед глазами у нее маячили дубовые стены с золотистыми прожилками, голова крылатого ангела на фронтоне, неподвижные складки зеленого занавеса, глубокий мистический полумрак. Ей чудилось, что в исповедальне сосредоточена ее жизнь, что там — смысл всего ее существования. Всю неделю она жила этим днем, желанным, чаемым, обещанным. Начиная с четверга Жермини охватывало нетерпение, и в этой растущей сладостной тревоге точно воплощалось приближение благословенного субботнего вечера. А когда наступала суббота, она кое-как заканчивала домашнюю работу, наспех подавала мадемуазель легкий ужин и убегала в Нотр-Дам-де-Лорет, торопясь покаяться в грехах, как другие торопятся отдаться любви. Омочив пальцы в освященной воде и преклонив колена, она проходила между рядами кресел, с легким шуршанием скользя по плитам, как кошка — по ковру. Склонившись, почти припав к земле, она бесшумно проникала в тень бокового придела и останавливалась возле знакомой, таинственной, скрытой занавесями исповедальни, ожидая своей очереди, отдаваясь волнению ожидания.

Молодой священник, который исповедовал Жермини, не сердился на нее за слишком частые посещения. Он не был скуп ни на время, ни на внимание, ни на милосердие. Он позволял ей подолгу говорить, подолгу рассказывать о всех мелочах жизни и был снисходителен к этой страждущей душе, не мешал ей изливать самые ничтожные огорчения. Он слушал повесть

всех ее тревог, желаний, бед, не отклонял и не презирал исповеди служанки, поверявшей ему сокровенные, боящиеся света чувства, как поверяют их только матери или врачу.

Этот священник был молод. Он был добросердечен. Прежде он жил мирской жизнью. Огромное, непосильное горе заставило его искать прибежища в этой одежде, скрывшей скорбящее сердце. В священнике еще не умер мужчина, и он с печальной жалостью прислушивался к ропоту горестного сердца служанки. Он понимал, что Жермини нуждается в нем, что он ее поддерживает, укрепляет, спасает от нее самой, прячет от живущих в ней желаний. Он ощущал грустное сочувствие к этой душе, сотканной из нежности, к этой молодой девушке, пылкой и в то же время безвольной, к этой несчастной, не понимающей себя, сердцем и телом созданной для плотской страсти, которой жаждало все ее существо. Умудренный опытом прошлого, он изумлялся, порою даже пугался при виде огня, вспыхивавшего в ней, пламени, загоравшегося в ее глазах, когда она с порывистой страстностью отдавалась молитве, пугался того, что во время исповедей она неизменно сворачивала на одну и ту же тему, все время возвращаясь к сцене насилия, того насилия, когда, как полагал священник, ее вполне искреннее сопротивление было сломлено чувственным самозабвением, парализовавшим волю.

Религиозная горячка длилась у Жермини несколько лет, в течение которых она жила сосредоточенно, молчаливо, счастливо, целиком отданная богу,— так, по крайней мере, ей казалось. Но постепенно исповедник стал замечать, что благоговение Жермини направлено главным образом на него самого. По взглядам, по краске смущения, по словам, которые она уже не произносила, по другим словам, которые осмеливалась произнести впервые, он понял, что религиозный пыл его прихожанки заблудился и, помимо ее сознания, направился по ложному пути. Жермини подстерегала священника, когда, кончив службу, он шел домой, следовала за ним в ризницу, не отходила от него, бегала в церкви за его сутаной. Он попытался образумить ее, излечить от горячки влюбленности, стал сдержанней, вооружился холодом. В отчаянье от этой перемены, от этого равнодушия, обиженная и уязвленная, Жермини призналась однажды во время исповеди, что ненавидит двух молодых девушек, любимых прихожанок священника. Тогда он, без всяких объяснений, отдалил ее от себя и передал другому исповеднику. Жермини несколько раз исповедалась этому аббату, потом пропустила исповедь, потом вообще перестала ходить, и

от всего ее благочестия осталось лишь далекое и сладкое воспоминание, похожее на слабый, почти выветрившийся запах ладана.

Так обстояли дела, когда заболела мадемуазель. Во время ее болезни Жермини, боясь оставить ее одну, вообще не ходила в церковь. Когда мадемуазель настолько окрепла, что уже не нуждалась в постоянном присутствии служанки, она вдруг с удивлением заметила, что ее «богомолка» сидит в воскресный день дома и не спешит к обедне.

— Что это с тобой? — спросила она.— Ты больше не бегаешь к своим священникам? Чем они тебя обидели?

— Ничем,— ответила Жермини.

V

— Вот, барышня!.. Посмотрите на меня! — сказала Жермини.

После описанного в предыдущей главе разговора прошло несколько месяцев. Жермини отпросилась у хозяйки на свадебный бал к сестре бакалейщика, у которой была подружкой. Надев открытое вечернее платье из белого муслина, она пришла показаться своей госпоже.

Мадемуазель де Варандейль, оторвавшись от старинной книги с крупным шрифтом, сняла очки, заложила ими страницу и воскликнула:

— Такая богомолка, и вдруг на бал!.. Знаешь, дочь моя... это просто нелепо... Ты — в качестве танцорки!.. Остается только, чтобы ты захотела выйти замуж!.. Какая чепуха! Только предупреждаю: если выйдешь замуж, я тебя держать не стану. У меня нет ни малейшей охоты нянчить твоих младенцев. Подойди-ка сюда... Ого!.. Нечего сказать... ты показываешь все, что у тебя есть. И вообще в последнее время ты стала страшной кокеткой.

— Что вы, барышня...— начала оправдываться Жермини.

— К тому же мужчины не очень-то церемонятся с вашей сестрой,— прервала ее мадемуазель де Варандейль, отвечая на собственные мысли.— Они тебя оберут... вдобавок к затрещинам... А замужество... Я уверена, что, когда ты смотришь на других, ты только об этом и мечтаешь... Поэтому и рожица у тебя стала такая, верно ведь?.. А теперь повернись-ка, красотка, я хочу тебя рассмотреть,— с обычной для нее грубоватой лаской сказала мадемуазель де Варандейль; опершись худыми руками

на подлокотники, положив ногу на ногу и покачивая туфлей, она принялась обозревать Жермини и ее платье.

— Что за чертовщина!..— воскликнула она через несколько минут безмолвного разглядыванья.— Неужто это ты? Где же были раньше мои глаза? Ах ты господи!.. Н-да, н-да...— Она пробормотала сквозь зубы еще несколько невразумительных слов.— А физиономия!.. Ни дать ни взять — влюбленная кошка! — произнесла она наконец, продолжая смотреть на служанку.

Жермини была некрасива. Темно-каштановые, на вид совсем черные, волосы буйно курчавились и вились, вылезая непокорными, жесткими завитками из напомаженных, прилизанных бандо. Низкий гладкий лоб нависал над глазницами, в которых как-то болезненно прятались глубоко посаженные глаза, маленькие, живые и блестящие, которые по-детски мигали и от этого казались еще меньше и ярче, влажнее и улыбчивей. Эти глаза не были ни карими, ни голубыми: они были того неопределенного, изменчивого серого цвета, про который можно сказать, что он не столько цвет, сколько блеск. Чувство зажигало в них лихорадочный огонь, наслаждение — какие-то туманные вспышки, страсть — фосфоресцирующее мерцание. У нее был короткий вздернутый нос с щедро вырезанными, вздрагивающими ноздрями; в народе о таких ноздрях говорят, что выстави под дождь — воду наберешь. На переносице у самого глаза пульсировала толстая голубая вена. Характерные для лотарингцев скулы — широкие, выдающиеся, резко очерченные — были усеяны оспинами. Особенно безобразило Жермини слишком большое расстояние между носом и ртом,— эта несоразмерность придавала что-то обезьянье нижней части ее лица. Большой рот с белыми зубами, с крупными, плоскими, словно раздавленными губами улыбался странной, волнующей улыбкой.

Вечернее платье открывало шею Жермини, плечи, верхнюю часть груди; белизна спины резко контрастировала с коричневым загаром лица. Это была лимфатическая белизна, болезненная и целомудренная, белизна тела, не знающего жизни. Жермини стояла, опустив округлые гладкие руки с прелестными ямочками на локтях. Кисти были тонки, ногти на руках, словно не знавшие черной работы, сделали бы честь светской даме. Она медленно, с ленивой и беспечной грацией, чуть сгибала и вновь выпрямляла талию, подчеркнутую крутизной бедер и пышностью груди, вздувавшей платье,— талию такую тонкую, что ее можно было продеть в подвязку, талию немыслимо, нелепо

хрупкую и плепительную, как все, что нас поражает в женщинах своей миниатюрностью.

Эта некрасивая женщина была воплощением острого, таинственного соблазна. Свет и тень, играя и сталкиваясь на ее скуластом лице, придавали ему выражение тоii сладострастной истомы, которое некий влюбленный художник так удачно изобразил в наброске портрета своей подруги. Все в нeii — ее рот, ее волосы, само ее безобразие — было зовом и вызовом. Она источала любовные чары, которые влекли и зажигали мужчин. Она волновала, развязывала похоть. Чувственное искушение невольно, помимо сознания, исходило от всего ее существа, от каждого жеста, от походки, от любого движения, от запаха, который оставляло за собой ее тело. При одном взгляде на нее становилось ясно, что она принадлежит к числу тех впосящих тревогу и смятение женщин, которые сами изнывают от вожделения и рождают вожделение в окружающих; такие женщины возникают перед взором мужчины в часы неудовлетворенности, терзают тягостными желаниями в полуденный зной, преследуют ночью, вторгаются в сонные видения.

Мадемуазель все еще разглядывала Жермини, как вдруг та подошла к ней, наклонилась и стала осыпать поцелуями ее руки.

— Хватит... хватит... довольно лизаться,— сказала мадемуазель.— Ты мне руки продырявишь. Ну, иди, веселись, только не возвращайся поздно... Не танцуй до беспамятства.

Мадемуазель де Варандейль осталась одна. Облокотившись о колени, она смотрела в огонь, рассеянно помешивая головешки.

Потом, как всегда, когда ее что-нибудь заботило, несколько раз быстро стукнула себя по затылку, сдвинув при этом набок черную наколку.

VI

Заговорив о замужестве, мадемуазель де Варандейль задела больное место Жермини, коснулась причины всех ее терзаний. Неровный характер служанки, ее недовольство жизнью, дурное расположение духа, ощущение усталости и душевной пустоты — все это было вызвано болезнью, которую медицина называет *девичьим томлением*. Ей исполнилось двадцать четыре года, и она страдала от жгучей, изнуряющей, мучительной жажды замужества, священного для нее и потому казавшегося ей недоступным, так как женская порядочность Жермини требо-

вала, чтобы она предварительно призналась будущему мужу в своем падении, в потере невинности. Из круга этих мыслей ее вырвали семейные несчастья и утраты.

Муж той сестры Жермини, которая служила привратницей, вынашивал замысел, характерный для овернца: он хотел к чаевым жены добавить доходы от торговли всяким старьем. Начал он скромно — с перепродажи вещей, купленных им по случаю смерти владельца. Тут же, у дома усопшего, он разложил на лотке, покрытом синей бумагой, подсвечники из накладного серебра, кольца из слоновой кости для салфеток, цветные литографии, обрамленные тисненым золотым узором по черному фону, разрозненные тома Бюффона. На подсвечниках он заработал столько, что у него закружилась голова. Он снял под аркой какого-то двора темную лавчонку напротив мастерской, где чинили зонтики, и занялся торговлей редкостями, которые идут с молотка на городском аукционе. Он продавал тарелки с гербами, куски дерева, якобы от сабо Жан-Жака Руссо, и акварели Балю, подписанные Ватто. На этом деле он просадил все, что заработал, и задолжал несколько тысяч франков. Чтобы свести концы с концами и хоть немного вылезти из долгов, его жена выпросила себе место капельдинерши в Историческом театре. По вечерам в привратницкой сидела вместо нее ее сестра-швея, а сама она ложилась в час ночи и вставала в пять утра. Через несколько месяцев, простудившись в коридорах театра, она заболела плевритом, который через полтора месяца свел ее в могилу. Несчастная женщина оставила трехлетнюю дочурку, которая хворала в то время корью. Болезнь ребенка тяжело осложнилась из-за постоянного зловония, царившего в привратницкой: не способствовала выздоровлению и обстановка, окружавшая девочку весь тот месяц, что она проболела после смерти матери. Отец ее уехал в Овернь, надеясь раздобыть денег. Там он вторично женился. Больше о нем не было ни слуху ни духу.

Похоронив сестру, Жермини бросилась к знакомой старухе, занимавшейся одним из тех удивительных ремесел, которые в Париже помогают нищете не умереть с голоду. У этой женщины было несколько специальностей: она подравнивала щетинки для щеток, нарезала на ломтики медовые коврижки, а когда и такой работы не было, присматривала за ребятишками уличных торговцев, стряпала на них. Во время великого поста она вставала в четыре часа утра, занимала место в соборе Парижской богоматери, а потом уступала кому-нибудь это место за десять — двенадцать су. Она ютилась в жалкой дыре на улице Сен-Виктор; чтобы не замерзнуть зимой, старуха отправлялась, под

прикрытием темноты, в Люксембургский сад и там потихоньку обдирала кору с деревьев. Жермини, еженедельно отдававшая этой женщине объедки со стола мадемуазель, сняла ей в своем доме комнатушку на седьмом этаже и поселила там вместе с осиротевшей племянницей. Она сделала это не раздумывая, по первому душевному движению. Ей даже не пришлось прощать сестре жестокость, которую та проявила к ней во время ее беременности: Жермини просто забыла об этом времени.

С тех пор все ее мысли сосредоточились на племяннице. Она хотела вернуть девочку к жизни и, действительно, своим уходом спасла ее от смерти. Она старалась под любым предлогом ускользнуть из квартиры мадемуазель и стрелой взлетала на седьмой этаж, чтобы взглянуть на малютку, поцеловать ее, дать ей лекарство, оправить постель; потом, еле переводя дыхание, красная от радости, она возвращалась к своей хозяйке. Жермини ничего не жалела для племянницы, давала ей все, что могло влить новые силы в угасающее маленькое существо,— заботу, ласку, сердечную привязанность, постоянное наблюдение врачей, дорогие лекарства, доступные лишь богатым людям. На это уходил весь заработок Жермини. В течение года она ежедневно поила девочку сырой кровью; она, так любившая поспать, вставала в пять утра, чтобы приготовить питье, и при этом просыпалась сама, как просыпаются матери. Когда девочка уже совсем поправилась, к Жермини пришла проститься ее сестра-швея, несколько лет назад вышедшая замуж за слесаря: ее муж вместе с несколькими товарищами завербовался на работу в Африку, и она решила ехать с ним. Она предложила Жермини вместе со своим собственным ребенком увезти и племянницу: они берутся воспитывать девочку; Жермини нужно только оплатить ее проезд. Рано или поздно ей придется пойти на эту разлуку из-за мадемуазель. К тому же девочка приходится племянницей не одной только Жермини. Она говорила и говорила, стараясь заполучить девочку, чтобы потом, разжалобив сестру письмами, вытягивать из нее деньги, держать в тисках ее сердце и карман.

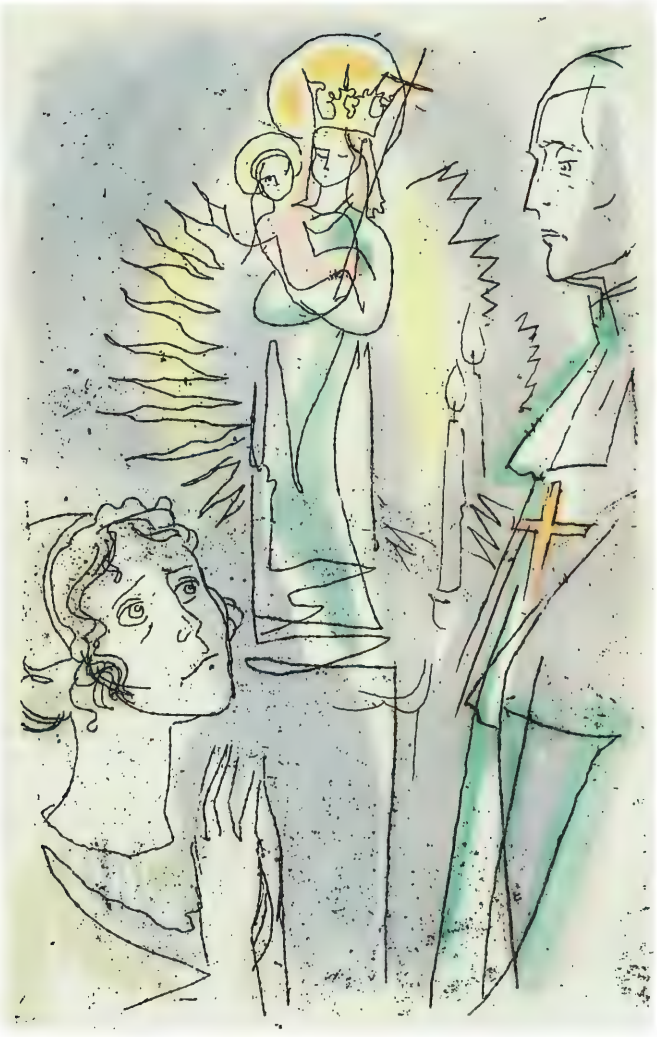
Нелегко было Жермини расстаться с малышкой. Она словно вложила в нее собственную жизнь. Ее привязали к ребенку тревоги, которые он ей доставил, жертвы, которых потребовал. Она отняла, отвоевала его у болезни: эта детская жизнь была сотворенным ею чудом. Однако Жермини понимала, что никогда не сможет взять девочку к мадемуазель, которая была стара и, как все старые люди, утомлена годами, нуждалась в покое и никогда не согласилась бы терпеть у себя в комнатах шумную

ребячью возню. К тому же по всему дому, а потом и по всей улице поползли слухи, что малышка — дочь Жермини. Жермини открылась хозяйке. Мадемуазель де Варандейль давно все знала, знала, что служанка взяла на воспитание племянницу, но делала вид, будто ей об этом ничего не известно, закрывала глаза, чтобы ничего не видеть и ничему не мешать. Она посоветовала Жермини отдать девочку сестре, объяснив невозможность пребывания ребенка в доме, и дала денег на переезд всей семьи.

Эта разлука была тяжелым ударом для Жермини. Она почувствовала себя одинокой, никому не нужной. С тех пор как девочку увезли, Жермини некого было любить. Сердце ее тосковало, в душе было пусто, и она снова обратилась к религии, отдавая церкви нерастраченную нежность.

Через три месяца Жермини узнала, что ее сестра умерла. Зять, один из тех рабочих, которые вечно жалуются и хнычут, рисовал в напыщенных и чувствительных фразах свое печальное житье: за похороны все еще не уплачено, он болен лихорадкой и не может работать, на руках у него двое малышей, не считая племянницы, семья осиротела, даже суп и то некому сварить. Жермини расплакалась, читая это письмо; потом она мысленно представила себя в этой страшной Африке, в этом доме, рядом с этим несчастным человеком, рядом с несчастными детишками. В ней начала пробуждаться смутная жажда посвятить себя кому-нибудь. Вслед за первым письмом посыпались другие, в которых зять благодарил Жермини за помощь и расписывал свою нужду, одиночество, постигшую его беду в еще более выспренних выражениях, которые он, как многие парижане, почерпнул из воспоминаний об уголовной хронике и дрянных романов, случайно им прочитанных. Поверив в это вымышленное горе, Жермини уже не могла избавиться от мыслей о нем. Ей слышался детский плач, зовущий ее из-за моря. Она все тверже, все непреклоннее решала уехать и строила планы будущей жизни. Ее преследовала эта Африка, это слово, которое она на все лады повторяла про себя. Мадемуазель де Варандейль, видя, как она задумчива и грустна, спрашивала, что с ней случилось, но Жермини упрямо молчала. Она мучилась, разрываясь между тем, что считала своим долгом, и тем, что ей представлялось неблагодарностью, между своей госпожой и детьми своих сестер.

То она думала, что не может покинуть мадемуазель, то ей казалось, что бог разгневается на нее, если она оставит на произвол судьбы семью кровных родственников. Она окидывала взглядом комнаты и повторяла: «Я должна уехать», затем на-



Жермини Ласерте

чинала тревожно думать, что без нее мадемуазель немедленно расхворается. Другая служанка! При одной этой мысли Жермини чувствовала укол ревности, и тут же ей представлялось, что кто-то отнимает у нее хозяйку. В другие минуты, охваченная религиозным пылом и жаждой самоотречения, она готова была целиком посвятить свою жизнь зятю. Она хотела уехать к этому человеку, которого всегда недолюбливала, с которым была в плохих отношениях, который грубостью и пьянством свел в могилу ее сестру. И все, что ее ожидало в его доме и чего она боялась,— неизбежность страдания и страх перед ним,— лишь подстегивало Жермини, воспламеняло ее, томило страстной и нетерпеливой жаждой самопожертвования. Это желание мгновенно исчезало, стоило мадемуазель сказать слово, сделать жест; Жермини приходила в себя и только дивилась прежним своим мыслям. Она чувствовала себя полностью и навеки связанной с мадемуазель де Варандейль и ужасалась тому, что осмелилась хотя бы подумать о разлуке. Эта внутренняя борьба продолжалась два года. Потом Жермини случайно узнала, что через несколько недель после смерти сестры умерла и племянница: зять скрыл ее смерть, чтобы Жермини не выскользнула из его рук, чтобы она приехала к нему в Африку и привезла свои жалкие сбережения. Это известие развеяло все ее иллюзии, и она сразу излечилась. Ей даже не верилось, что когда-то она хотела уехать.

VII

Приблизительно в это время судебными властями была продана с торгов небольшая пустующая молочная лавка в конце улицы Лаваль. Молочную заново отделали и покрасили. На стеклах появились желтые буквы надписей, в витрине — пирамиды из шоколада компании колониальных товаров и раскрашенные банки кофе вперемежку с графинчиками ликеров, над дверью засверкала жестяная вывеска в виде разрезанного пополам молочника.

Новой владелице молочной, которая таким путем старалась привлечь клиентов, было лет пятьдесят; несмотря на непомерную толщину, она все еще сохраняла черты былой красоты, теперь заплывавшей жиром. Ходили слухи, что лавку она купила на деньги, завещанные ей стариком, у которого она служила до самой его смерти где-то возле Лангра, на своей родине. Она оказалась землячкой Жермини,— правда, не из той же деревни, а из соседней. Хотя владелица молочной и служанка мадемуазель

де Варандейль прежде никогда не встречались и не знали друг друга в лицо, но у них были общие знакомые, общие воспоминания об одних и тех же местах. Толстуха была льстива, слащава, приторно любезна. Она всем говорила «моя красавица», сюсюкала, ребячилась с ленивой томностью, присущей разжиревшим людям. Она ненавидела грубые слова, легко краснела, по пустякам обижалась, обожала тайны, любила обо всем говорить доверительно, сплетничать, шептаться. Ее жизнь проходила в болтовне и причитаниях. Она была полна сочувствия к другим и к себе, вечно сокрушалась по поводу своих невзгод и своего пищеварения. Объевшись, она с пафосом заявляла: «Я умираю!» Несварение превращалось у нее в трагедию. Это была натура чувствительная и слезливая. Она плакала по любому поводу: ударили чью-то лошадь, кто-то умер, свернулось молоко. Она плакала, читая отдел происшествий в газете, плакала, глядя на прохожих.

Эта особа, приветливая, болтливая, вечно чем-нибудь растроганная, умевшая втереться в доверие и с виду добрячка, расположила к себе и разжалобила Жермини. Не прошло и трех месяцев, как мамаша Жюпийон вытеснила почти всех других поставщиков мадемуазель де Варандейль. Все продукты, за малым исключением, Жермини закупала только у нее. Она целыми днями пропадала в молочной: зайдя туда, она уже не могла уйти, присаживалась и была не в состоянии встать. Ее словно удерживала какая-то душевная лень. Стоя на пороге, она все еще болтала,— только бы не уходить. Молочная таила для нее неуловимое очарование, свойственное тем местам, куда мы непрестанно возвращаемся, точно они любят нас и постепенно завладевают всем нашим существом. Кроме того, Жермини привлекали туда собаки — три отвратительные собачонки г-жи Жюпийон. Она не спускала их с колен, бранила, ласкала, разговаривала с ними, а потом, согревшись их теплом, ощущала где-то под ложечкой щекочущее довольство, как животное, облизывающее детенышей. К тому же в лавку стекались сплетни, скандальные истории со всей улицы; молочница была в курсе всех дел, знала о неоплаченном счете соседки справа, о букете цветов, преподнесенном соседке слева, даже о том, что чья-то служанка понесла продавать в город кружевной пеньюар хозяйки.

Короче говоря, все притягивало Жермини к этому месту. Ее дружба с г-жой Жюпийон укреплялась тысячами невидимых нитей, связывающих женщин из простонародья,— нескончаемой болтовней, рассказами о мелких происшествиях повседневной

жизни, разговорами ради разговоров, обменом «здравствуйте» и «до свиданья», нежностью к одним и тем же животным, дремотой бок о бок в близко сдвинутых креслах. В конце концов молочная стала дурной привычкой Жермини, уголком, где ее мыслям, словам, всему телу было легко и привольно. Счастливейшими часами суток стали для нее те часы по вечерам, когда, подремывая в соломенном кресле возле мамаши Жюпийон, уснувшей с очками на носу, она баюкала собак, свернувшихся у нее на коленях. На прилавке, мигая, слабо мерцала лампа, а Жермини, ни о чем не думая, смотрела сонными глазами в глубь помещения, туда, где под триумфальной аркой из ракушек и пыльных клочков мха высился маленький медный Наполеон.

VIII

У г-жи Жюпийон, которая постоянно твердила, что в свое время состояла в законном браке, и подписывалась *«вдова Жюпийон»,* был сын-подросток. Она поместила его в училище св. Николая, большое учебное заведение, где за тридцать франков в месяц детей простонародья и незаконнорожденных воспитывали в религиозном духе, давали им начатки общеобразовательных знаний и обучали какому-нибудь ремеслу. Жермини постоянно сопровождала г-жу Жюпийон, когда та по четвергам ходила навещать своего *сынулю.* Под конец эти визиты стали для нее желанным развлечением. Она торопила мать, заблаговременно приходила на остановку омнибуса, с удовольствием забиралась в него и потом всю дорогу бережно придерживала обеими руками большую корзину с провизией.

Случилось так, что г-жа Жюпийон заболела: у нее вскочил на ноге карбункул, и года полтора она не выходила на улицу. Жермини стала бывать в училище св. Николая одна, и так как она легко и быстро привязывалась к людям, то начала заботиться о мальчике, словно о родном. Она не пропускала ни одного четверга и всегда приносила остатки вкусных блюд, собранные за неделю, покупала ему пирожки, фрукты, конфеты. Она целовала мальчика, расспрашивала о здоровье, проверяла, надет ли у него вязаный жилет под блузой, выговаривала за то, что он слишком быстро бежал и вспотел, вытирала ему лоб своим носовым платком, проверяла, целы ли его носки. Она допытывалась, довольны ли им, прилежно ли он готовит уроки, хорошие ли у него отметки. Она рассказывала ему о здоровье матери, старалась внушить любовь к доброму боженьке. Пока бой коло-

кола не возвещал, что уже два часа, она гуляла с мальчиком по двору; он держал ее за руку, страшно гордясь тем, что идет с женщиной, одетой наряднее, чем большинство посетительниц училища,— с женщиной в шелках. Ему хотелось учиться играть на флейте. Обучение стоило всего пять франков, и, так как г-жа Жюпийон отказывала ему в них, Жермини тайком ежемесячно приносила эти франки. Он очень стеснялся своей форменной блузы, когда выходил на прогулку или два-три раза в год бывал у матери. Как-то, в день его рождения, Жермини развернула перед ним большой пакет: она заказала ему мундирчик. Во всем училище не больше двадцати человек могло позволить себе такую роскошь.

В течение нескольких лет Жермини баловала мальчика, исполняла все его желания, поощряя в этом маленьком бедняке капризы и кичливость, которые были бы впору маленькому богачу, смягчала лишения и суровость режима ремесленного училища, где детей готовили к трудовой жизни, одевали в блузы, кормили из грубой фаянсовой посуды и закаляли для нелегкой судьбы рабочего. Тем временем мальчик рос. Жермини этого не замечала: он по-прежнему казался ей ребенком. По привычке она всегда наклонялась и целовала его. Однажды ее вызвал к себе аббат, возглавлявший училище. Он сказал ей, что стоит вопрос об исключении молодого Жюпийона,— его застали за чтением дурных книг. Жермини пришла в ужас при мысли о колотушках, которые ждали мальчика дома, и начала просить, уговаривать, умолять аббата. Добившись наконец прощения виновному, она спустилась к нему с намерением выбранить его, как следует отчитать, но не успела открыть рот, как мальчик наградил ее таким взглядом и улыбкой, в которых уже не было ничего детского. Жермини опустила глаза, и румянец вспыхнул не на его, а на ее щеках. После этого случая она две недели не появлялась в училище.

IX

В тот год, когда молодой Жюпийон окончил училище, к мамаше Жюпийон стала захаживать по вечерам вместе с Жермини служанка лоретки, снимавшей квартиру этажом ниже мадемуазель де Варандейль. К этой девице, уроженке великого герцогства Люксембургского, поставляющего в Париж кучеров двухместных карет и служанок продажных женщин, очень подходило словечко *кобыла*: во всем ее облике было что-то лошадиное. Глаза у нее блестели шальным блеском, сросшиеся на пе-

реносице брови лохматились, как у грузчика. Вскоре она начала приходить в молочную каждый вечер, всех угощала вином и пирожными, откровенно заигрывала и вольничала с Жюпийоном, садилась к нему на колени, говорила, что он — красавчик, обращалась с ним, как с ребенком, недвусмысленно дразнила тем, что он еще не мужчина. Юноша, счастливый и гордый вниманием первой проявившей к нему интерес женщины, вскоре принялся ухаживать за Аделью,— так звали новую клиентку мамаши Жюпийон.

Жермини была неукротимо ревнива. Ревность составляла основу ее натуры, была горьким осадком в чаше ее нежности. Если она любила кого-нибудь, то хотела владеть этим человеком целиком и безраздельно, требовала, чтобы он любил только ее. Она не желала мириться с мыслью о том, что хоть малейшая доля привязанности будет оторвана от нее и отдана другому: раз она, Жермини, заслужила эту привязанность, то и распоряжаться ею вольна только она, и больше никто. Она терпеть не могла людей, которых ее хозяйка принимала особенно ласково и дружелюбно. Своим хмурым, неприветливым видом она умудрилась отдалить, почти отвадить от дома нескольких старинных приятельниц мадемуазель, чьи визиты заставляли Жермини так страдать, точно эти старухи что-то похищали из квартиры, уносили всякий раз кусочек ее госпожи. Люди, некогда любимые, становились невыносимы Жермини именно из-за того, что, по ее мнению, отвечали ей недостаточно пылким чувством: она ненавидела их за ту любовь, которой от них не получала. Короче говоря, у нее было требовательное и властное сердце. Полностью отдавая себя, оно взамен хотело той же полноты. При малейшем признаке охлаждения, при мимолетном проблеске симпатии к кому-нибудь другому со стороны тех, кто был ей дорог, Жермини приходила в ярость, терзалась, плакала ночи напролет, начинала проклинать весь мир.

Стоило Адели обосноваться в молочной и подружиться с Жюпийоном, как в Жермини заговорила, взбунтовалась ревность. Ее переполняла, душила ненависть, смешанная с отвращением к этой развязной, бесстыжей твари, которая по воскресеньям торчала на бульварах, окруженная солдатами, а наутро появлялась с синевой под глазами. Жермини пустила в ход все свое искусство, чтобы настроить г-жу Жюпийон против Адели, но та была одной из лучших клиенток молочной, и толстуха мягко, но решительно отказалась ссориться с ней. Тогда Жермини попыталась воздействовать на самого Жюпийона, объяснить ему, что Адель — потаскушка. Но это лишь повысило

интерес юноши к распутной служанке, дурная слава которой ему льстила. К тому же он, подобно многим молодым людям, любил жестокие шутки и готов был удвоить внимание к Адели хотя бы для того только, чтобы посмотреть, какую *рожу* скорчит Жермини, и потом посмеяться над ее отчаяньем. Вскоре Жермини заметила, что у Адели куда более серьезные намерения, чем она предполагала вначале: она поняла, чего именно эта распутница добивается от мальчика,— семнадцатилетний верзила все еще казался ей мальчиком. С этой минуты она начала ходить за ними по пятам, ни на шаг не отступая, никогда не оставляла вдвоем, упрямо, навязчиво сопровождала их, когда они отправлялись на прогулки, в театр, за город, принимала участие во всех их развлечениях, время от времени пытаясь обуздать Адель, усовестить ее. «Ведь он совсем ребенок! Как тебе не стыдно!» — шепотом говорила она. Адель так и покатывалась со смеху, словно в ответ на веселую шутку. Когда они возвращались домой из театра, взвинченные, лихорадочно возбужденные пьесой и всей обстановкой зрительной залы, когда шли домой после целого дня, проведенного за городом, опаленные зноем, опьяневшие от неба и свежего воздуха, подстегнутые вином, выпитым за обедом, и вольными забавами, на которые отваживается с наступлением ночи разгоряченная чувственность простолюдинки, буйное веселье и хмельная жажда наслаждений, Жермини все время старалась находиться между Аделью и Жюпийоном. Она ежеминутно разлучала идущих под ручку влюбленных, отделяла, отгоняла их друг от друга. Не зная устали, она одергивала их, мешала им. Ее тело становилось между их полными желания телами, руки перехватывали тянущиеся одна к другой руки, губы не позволяли трепещущим, отдающимся губам слиться в поцелуе. Но все, чему она препятствовала, невольно затрагивало и волновало ее самое. К ней прикасались разлученные ею руки, на нее обращались прерванные ею ласки. Она ощущала на своих щеках горячее дыхание неосуществленного поцелуя. Сама того не желая, охваченная непонятным ужасом, она тем не менее принимала участие в объятиях, заражалась страстью, борясь с чужим вожделением, и с каждым днем все больше подтачивала почтительное уважение, которое до сих пор питал к ней Жюпийон.

Однажды, владея собой хуже, чем обычно, она чуть помедлила, прежде чем отстранить ласку. Жюпийон понял, что Жермини начинает сдаваться; сама она поняла это еще лучше, но силы ее иссякли, она уже была не в состоянии страдать и терзаться. Отклоняя от Жюпийона любовь другой женщины, она

медленно и неуклонно пересаживала ее в свое собственное сердце. В конце концов эта любовь пустила там корни, и Жермини, кровоточа от ревности, ослабевшая и беззащитная, чувствовала, что готова пасть, как падает, узнав о неожиданном счастье, смертельно раненный человек.

Однако она молча, не произнося ни единого слова, отталкивала неуверенные, а порой и дерзкие домогательства молодого человека. Ей и в голову не приходило, что она может сблизиться с ним, отдаться ему. Она жила мыслью о том, что любит Жюпийона, и думала, что так оно будет и впредь. Восторг, переполнявший ее душу, помогал ей оттянуть падение, усмирить страсть. Она оставалась трепещущей и чистой, погружалась в бездну нежности, но не тонула в ней, жаждала и ждала от возлюбленного только беглой ласки, словно сердце ее было создано лишь для радости поцелуя.

X

Эта счастливая и неудовлетворенная любовь вызвала во всем существе Жермини удивительные физиологические перемены. Как будто страсть, овладевшая ею, обновила и переродила весь ее вялый организм. Ей уже больше не казалось, что она по капле черпает жизнь из скудного источника: в ее жилы влилась горячая кровь, тело наполнилось неиссякаемой энергией. Она чувствовала себя здоровой и бодрой; радость существования порою била крыльями в ее груди, точно птица на солнце.

Жермини стала теперь поразительно деятельной. Болезненное нервное возбуждение, которое поддерживало ее прежде, сменилось полнокровной жаждой движения, шумным, переливающимся через край неугомонным весельем. Исчезли былая слабость, угнетенность, прострация, сонливость, томная лень. Она уже не ощущала по утрам, что ее руки и ноги налиты свинцом и еле шевелятся,— напротив, она просыпалась легко, с ясной головой, открытая всем удовольствиям предстоящего дня. Она быстро и резво одевалась; пальцы сами собой скользили по одежде, и Жермини не переставала удивляться тому, что чувствует себя такой живой и подвижной в те самые часы, которые раньше несли ей только бессилие и дурноту. Весь день потом она ощущала то же телесное здоровье, ту же потребность двигаться. Ей непрерывно хотелось ходить, бегать, что-то делать, тратить себя. Прожитая жизнь порою просто не существовала для нее. Чувства, испытанные когда-то, стали далекими.

как сон, и отступили в глубину памяти. Прошлое вспоминалось так смутно, словно она прошла через него в забытьи, бессознательно, как сомнамбула. Впервые она поняла, познала острое и сладостное, мучительное и божественное ощущение играющих сил жизни во всей их полноте, естественности и мощи.

Из-за любого пустяка она готова была взбежать и спуститься по лестнице. Стоило мадемуазель сказать слово, как Жермини уже мчалась вниз с шестого этажа. Когда она сидела, ноги ее пританцовывали на паркете. Она чистила, наводила лоск, расставляла, выколачивала, вытряхивала, мыла, не давая себе ни минуты передышки, все время что-то делая, шумно входя и выходя, целиком заполняя собой маленькую квартирку. «Господи боже мой! — говорила мадемуазель, оглушенная, словно в комнате резвился ребенок.— Какая ты непоседа, Жермини! Хватит тебе!»

Однажды, зайдя на кухню, мадемуазель увидела, что в тазу стоит ящик из-под сигар, наполненный землей.

— Это еще что такое? — спросила она у Жермини.

— Дерн... Я посадила цветы... может, вырастут...— ответила служанка.

— Значит, теперь ты увлекаешься цветами? Ну что ж, тебе остается только обзавестись канарейкой.

XI

Прошло несколько месяцев,— и жизнь Жермини уже целиком принадлежала владелице молочной. Служба у мадемуазель была необременительна и оставляла много свободного времени. Обед обычно состоял из мерлана или котлетки. Мадемуазель могла бы не отпускать Жермини по вечерам, чтобы не оставаться в одиночестве, но она предпочитала выпроводить ее, отправить погулять, подышать свежим воздухом, развлечься. Она лишь просила служанку вернуться к десяти вечера и помочь ей улечься в постель, но, если Жермини запаздывала, мадемуазель преспокойно раздевалась и ложилась спать без ее помощи. Все свободные от домашней работы часы Жермини проводила в молочной,— можно сказать, жила там. Она шла туда рано утром, когда ставни в лавке еще были закрыты,— обычно она сама их и отворяла,— пила кофе с молоком, приходила домой только к девяти часам, чтобы подать мадемуазель чашку шоколада, и в промежутке между завтраком и обедом ухитрялась под разными предлогами еще несколько раз забежать в молочную, подолгу простаивая и болтая в задней ком-

натушке. «Какая ты трещотка!» — ворчала мадемуазель, но глаза у нее при этом смеялись.

В половине шестого, убрав после обеда со стола, Жерминя стремглав сбегала с лестницы, до десяти безвыходно сидела в молочной, потом одним махом взлетала на шестой этаж и в пять минут успевала раздеть и уложить мадемуазель, которая не возражала, но все же немного удивлялась тому, что Жермини так спешит поскорее лечь спать: она помнила время, когда та упрямо дремала то в одном, то в другом кресле и ни за что не соглашалась подняться к себе в комнату. Погашенная свеча еще чадила на ночном столике мадемуазель, а Жермини уже была в молочной. Она уходила оттуда в двенадцать, а то и в час ночи, нередко лишь после того, как полицейский, заметив свет, стучал в ставню и приказывал закрыть на ночь заведение.

Чтобы иметь право все время проводить в молочной, чтобы занять там прочное положение, чтобы всегда видеть любимого человека, не спускать с него глаз, оберегать его, непрерывно соприкасаться с ним, Жермини добровольно стала служанкой Жюпийонов. Она подметала полы, готовила обед для хозяйки и похлебку для собак, обслуживала ее сына: убирала постель, чистила костюм, наводила лоск на башмаки, счастливая, гордая и взволнованная тем, что касается его вещей, дотрагивается до простыни, где лежало его тело, готовая целовать грязь, приставшую к его башмакам.

Она управлялась со всеми делами, торговала, обслуживала клиентов. Г-жа Жюпийон все взвалила на ее плечи. Жермини трудилась в поте лица, а толстуха величественно бездельничала, как настоящая рантьерша; утонув в кресле, поставленном поперек тротуара, и дыша уличной прохладой, она непрерывно трогала и перебирала в кармане платья под передником драгоценную выручку — ту выручку, которая так мила сердцу парижских торговцев, что какой-нибудь ушедший на покой лавочник в первое время чувствует себя обездоленным, не слыша привычного шуршания бумажек, привычного позвякивания серебра.

XII

Когда наступила весна, Жермини почти каждый вечер говорила Жюпийону: «Не пойти ли нам в поле?»

Жюпийон надевал фланелевую рубашку в красную и черную клетку, нахлобучивал кепи из черного бархата и вместе с Жермини отправлялся в так называемое «поле».

Они поднимались по шоссе Клиньянкур и, подхваченные потоком жителей предместья, толпами спешивших хоть немного подышать свежим воздухом, шли по направлению к огромному полотнищу неба, вздымавшемуся прямо над мостовыми, над вершиной холма, между двумя рядами домов, и ничем не заслоненному, если его не загораживал остановившийся омнибус. Зной спадал, солнце освещало только крыши и трубы домов. От неба, которым, казалось, заканчивалась улица, веяло простором и свободой, словно из ворот, открытых в луга.

В Шато-Руж появлялись наконец первые деревья, первая листва. Потом, на улице Шато, открывался во всей своей сверкающей прелести горизонт. Вдали дремали поля, неясные и искрящиеся в золотой предвечерней дымке. Все словно плавало в солнечной пыли, которая на закате окрашивает зелень в темные тона, а дома — в розоватые.

Они спускались под гору, двигаясь по тротуару, разграфленному детьми на квадратики *классов,* вдоль длинных оград, из-за которых порою выглядывали ветви, вдоль домов, окруженных садами. Слева высились верхушки деревьев, залитых светом, шелестела масса листвы, пронизанной заходящим солнцем, которое прорезало огненными полосами решетчатые ограды. За садами начинались дощатые заборы, участки земли, предназначенные к продаже, недостроенные здания на еще не проложенных улицах, здания, чьи каменные остовы, казалось, выжидающе застыли в пустоте, стены, под которыми валялись бутылки с отбитыми горлышками, высокие и унылые, выбеленные известкой дома, где на окнах висели клетки и сушилось белье, а каждый этаж был украшен водосточной трубой в форме буквы «у», огромные дворы, похожие на птичьи фермы, холмики, начисто объеденные козами.

Порою они останавливались, чтобы вдохнуть запах цветов — аромат чахлой сирени, выросшей на крошечном дворике. Жермини на ходу срывала листик и шла, покусывая его.

Над их головами весело и беспечно вились, кружились ласточки. Птицы перекликались друг с другом, клетки отвечали небу. Все пело вокруг Жермини, и она счастливым взглядом окидывала женщин с обнаженными руками, высунувшихся из окон, мужчин, работающих в садиках, матерей, сидящих на порогах и нянчащих детвору.

Кончался спуск, кончался и тротуар. Улица сменялась широкой меловой дорогой, белой, пыльной, замощенной какими-то

обломками, кусками штукатурки, известковым и кирпичным мусором, перерытой, перерезанной глубокими, сверкающими по краям колеями: их оставляли ободья больших колес, телеги, груженные камнями. Тут начиналось то, что всегда начинается за чертой Парижа, росло то, что всегда растет там, где ничего не растет,— один из тех пустынных пейзажей, которые существуют вокруг больших городов, первая зона пригорода intra muros [1], где природа жалка, почва истощена, земля усеяна устричными раковинами. Без конца тянулись наполовину огороженные участки, уставленные тележками и телегами, чьи оглобли рисовались на фоне неба, большие дворы, где дробили камень, фабричные корпуса в лесах, строящиеся домишки рабочих, еще сквозные, отмеченные флажками каменщиков, белосерые песчаные пустыри, огороды, обнесенные туго натянутыми веревками и раскинувшиеся у водомоин, к которым спускались каменистые откосы дорожной насыпи.

Вскоре последний фонарь на зеленом столбе оставался позади. Из города и в город по-прежнему текла толпа гуляющих. Дорога жила шумной жизнью и развлекала глаз. Навстречу Жермини шли женщины, несущие тросточки мужей, уличные девицы в шелках под руку со своими братьями в рабочих блузах, старухи в праздничных платьях, которые, скрестив руки на груди, прогуливались после трудового дня. Рабочие везли младенцев в колясочках, мальчишки с удочками возвращались с рыбной ловли в Сент-Уэне, многие тащили ветки цветущей акации, привязанные к концам палок.

Порой проходила беременная женщина, ведущая за руку маленького ребенка, и на стену ложилась тень ее огромного живота.

Все шли неспешно, спокойно, нарочно замедляя шаг, весело покачиваясь на ходу, разомлевшие и счастливые. Никто не торопился, и на ровной линии горизонта, по временам прорезаемой белым дымком проходящего поезда, группы гуляющих казались неподвижными черными точками.

За Монмартром местность была иссечена глубокими выемками, огромными четырехугольными ямами, в которых вились и скрещивались утоптанные сероватые тропинки. Трава там была смятая, пожелтевшая и бархатистая в огненных лучах солнца, заходящего где-то вдалеке, в просвете между домами. Жермини любила смотреть, как работают там чесальщицы шерсти, как пасутся на выбитой земле лошади с живодерни, как

[1] Внутри стен *(лат.)*.

гоняют шары солдаты в красных штанах, как ловят детишки обруч серсо, совсем черный на светлом небе. Потом дорога сворачивала к железнодорожному мосту; но, чтобы добраться до него, нужно было пройти через поселок клиньянкурских каменщиков и тряпичников, пользовавшийся дурной славой. Жермини и Жюпийон старались как можно быстрей миновать эти сбитые из краденых досок постройки, откуда словно сочились притаившиеся там гнусности. Жермини боялась этих домишек: полулачуг, полуземлянок,— чувствуя, что в них ютятся все преступления — исчадия ночи.

Возле крепостного вала она облегченно вздыхала. Они с Жюпийоном взапуски бежали к откосу и усаживались на землю, где уже теснились многолюдные семьи; были там и рабочие, валявшиеся пичком, и мелкие рантье, разглядывавшие в подзорные трубы пейзаж, и рожденные нищетой философы с вяло опущенными руками, сгорбленные, в лоснящихся от грязи лохмотьях и в черных шляпах, таких же порыжелых от времени, как и бороды этих людей. Воздух оглашали звуки шарманки. Внизу, на дне ямы, горожане играли в *уголки*. Прямо перед Жермини двигалась пестрая толпа, мелькали белые блузы, синие передники бегающих детей, видны были вертящиеся карусели, кафе, винные и фруктовые лавчонки, тиры, кондитерские, полускрытые густой зеленью, над которой развевались трехцветные флаги. Ряды деревьев, окутанных тонкой голубоватой дымкой, отмечали уходящую вдаль дорогу. Направо от Жермини высилось аббатство Сен-Дени с его огромной базиликой, налево, над туманной линией зданий, диск солнца, заходящего за Сент-Уэном, горел вишневым огнем и чертил зыбкие алые колонны, которые как бы поддерживали жемчужно-серый небосвод. Время от времени на фоне этого сверкания пролетал воздушный шарик, выпущенный играющим ребенком.

Они спускались, проходили через ворота, шли мимо лавок, где торговали лотарингскими сосисками, мимо лотков с вафлями, мимо летних кабачков, мимо только что выстроенных беседок, еще не увитых зеленью и пахнувших свежим деревом, где взрослые и дети ели жареный картофель, ракушек и креветок,— и наконец оказывались в поле, среди настоящей зеленой травы. У обочины притулилась ручная тележка с пряниками и мятными лепешками, на меже стоял столик, за которым какая-то женщина торговала лакричной водой. Странное поле, где все было смешано: чад жарящейся картошки — с влажными вечерними ароматами, стук шаров — с тишиной засыпающего

неба, зловоние отбросов — с запахом зреющих злаков, пригород — с идиллией, ярмарка — с природой! Но Жермини наслаждалась всем этим и тащила Жюпийона дальше; она шла по обочине дороги, стараясь задевать на ходу колосья, чтобы ощутить сквозь чулки их щекочущую прохладу.

На обратном пути Жермини всякий раз просила Жюпийона снова взобраться на откос. К тому времени солнца уже не было видно за линией горизонта. Небо внизу было серым, в середине — розовым, вверху — голубоватым. Даль подергивалась туманом, зелень окрашивалась в темные, расплывчатые тона, цинковые крыши кабачков блестели, словно облитые лунным светом, огоньки начинали прорезать мглу, группы людей сливались в смутные пятна, белые платья казались голубыми. Все очертания постепенно бледнели, смазывались, растворялись в угасающем тусклом дневном свете; чем гуще становилась тьма, тем громче верещали трещотки, тем больше шумела толпа, возбужденная приходом ночи, охмелевшая от выпитого вина. Вечерний ветерок колыхал на откосе стебли высоких трав. Жермини решалась наконец вернуться домой. Она шла, остро ощущая наступление ночи, вглядываясь в темные дома, в неясные, словно стертые контуры предметов, утомленная непривычной для ее ног неровной дорогой, довольная тем, что она утомлена, медлительна, устала, обессилена и все-таки полна сил.

При виде первых зажженных фонарей улицы Шато она чувствовала, что у нее подгибаются ноги,— так ей хотелось спать.

XIII

Госпожа Жюпийон при встречах с Жермини расцветала от удовольствия: поцелуи ее были полны жара, речи — сладости, взгляды — томной ласки. Казалось, доброта толстухи изливается на служанку потоками сердечного доверия и воистину материнской нежности. Она посвящала Жермини в торговые расчеты, в женские тайны, в самые интимные стороны своей жизни. Можно было подумать, что она смотрит на Жермини как на родственницу, которой известны все семейные дела. Если речь шла о будущем, то подразумевалось, что Жермини неотделима от семейства Жюпийонов, что она входит в него. Нередко г-жа Жюпийон вдруг начинала многозначительно и понимающе улыбаться, и эти улыбки говорили, что она все видит и ни на что не сердится. Иной раз, когда ее сын сидел рядом с Жермини,

она останавливала на них, своих детях, увлажненный любвеобильный взгляд, который словно обнимал их, соединяя и благословляя.

Она никогда ничего не говорила прямо, остерегалась слов, которые можно было бы счесть обещанием, не выкладывала карт на стол, не связывала себя,— напротив, вечно повторяла, что сын ее слишком молод, чтобы жениться,— и тем не менее своим поведением и видом, благосклонным попустительством и одобрительным молчанием женщины, готовой открыть объятия будущей невестке, поощряла надежды и иллюзии Жермини. С присущим ей лицемерием, не скупясь на чувствительные вздохи и добродушные мины, пустив в ход ту обволакивающую, мягко стелющую хитрость, которая так свойственна расплывшимся от жира людям, толстуха добилась своего: положившись на ее безмолвное обещание, поверив в несомненность брака, Жермини перестала сопротивляться и позволила в конце концов вожделению молодого человека взять то, что, как ей казалось, она заранее дарит супружеской любви.

Всю эту игру владелица молочной затеяла лишь для того, чтобы сохранить и привязать к себе даровую служанку.

XIV

Однажды, когда Жермини спускалась по черной лестнице, Адель, окликнув ее с верхней площадки, попросила купить и принести на два су масла и на десять — абсента.

— Да присядь хоть на минутку! — сказала Адель, когда Жермини поднялась к ней с абсентом и маслом.— Тебя совсем не видно, ты больше не заходишь. Хватит тебе миловаться с твоей старухой! В жизни не могла бы жить у такой,— у нее рожа как у антихриста... Садись же. Сегодня я гуляю. В доме ни единой монеты. Хозяйка изволила улечься. Когда у нее в кармане пусто, она целые дни валяется и читает романы. Хочешь? — Она протянула Жермини стаканчик абсента.— Нет? Впрочем, правда, ты не пьешь. Странно, как это можно не пить... Я тебя не понимаю... Слушай, будь добра, сочини будто бы от меня письмо моему дружку... Лабурье,— ты знаешь, я тебе о нем рассказывала. На, вот перо и хозяйкина бумага,— она хорошо пахнет. Ты готова? Вот это мужчина, скажу я тебе! Он мясник, я тебе говорила. Конечно, ему лучше не перечить... Он становится прямо как сумасшедший, когда забьет скотину и выпьет стаканчик крови. И если тогда погладить его против шерсти,

он так даст... Но что поделаешь? Зато он и силен. Знаешь, бьет себя кулаком в грудь — быка можно убить таким ударом — и приговаривает: «Это каменная стена». Прямо скажу, мужчина что надо! Напиши письмо как следует, ладно? Чтоб его разобрало. Всякие там нежные слова... и жалостные... Он это обожает! В театр ходит только на пьесы, где плачут. Пиши так, будто пишешь собственному кавалеру.

Жермини начала писать.

— Ой, Жермини, ты еще не знаешь!.. Моей хозяйке пришла в голову такая дурь... Какие они выдумщицы, эти барыни, которые по горло сыты и могут получить всякого, кого захотят, короля купят, если им вздумается! И то сказать, когда женщина сложена, как моя хозяйка, когда у нее такое тело... Да еще когда она напялит на себя всякие тряпки... разные платьица с кружавчиками... кто тут устоит? А уж если это кто-нибудь попроще, нам под стать, ему и вовсе не выдержать... голова пойдет кругом от такой расфуфыренной куклы. Так вот, представь себе, милочка, моя хозяйка втюрилась в Жюпийона... Видно, нам теперь хоть с голоду подыхай!

Жермини, застыв с пером в руке над начатым письмом, уставилась на Адель.

— Что ты задумалась? — спросила Адель, шумно потягивая и смакуя абсент. При виде искаженного лица Жермини глаза ее радостно заблестели.— Прямо чудо из чудес! И притом истинная правда, вот не встать мне с этого места. Она приметила его, когда возвращалась со скачек, а он как раз стоял на пороге молочной. Она потом несколько раз заходила туда; то ей одно понадобилось купить, то другое... Он должен принести ей парфюмерию... завтра, кажется... Впрочем, наплевать! Нас это не касается. А мое письмо? Тебя, вижу, заела эта история? Ты же прикидывалась такой святошей! Я и не догадывалась... Теперь все понятно. Когда ты мне твердила, что он еще ребенок, ты просто берегла его для себя! Вот хитрюга!.. Брось, брось! — продолжала она, когда Жермини отрицательно покачала головой.— Мне-то что? Он же мальчишка; дашь ему высморкаться — у него из носу молоко потечет. Благодарю покорно. Это не в моем вкусе. И вообще я не намерена лезть в твои дела. Давай займемся лучше письмом.

Жермини низко склонилась над листком бумаги. Но ее била лихорадка, дрожащая рука все время ставила кляксы.

— Не понимаю, что это со мной сегодня,— сказала она через минуту, отталкивая письмо.— Я напишу тебе в другой раз.

— Как хочешь, милочка. Но я на тебя рассчитываю. При-

ходи завтра. Я расскажу тебе такие истории про хозяйку... Вдоволь насмеемся.

Как только дверь за Жерминн закрылась, Адель так и прыснула: ценой глупейшей выдумки ей удалось выведать тайну Жермини.

XV

Для молодого Жюпийона любовь была лишь средством удовлетворения нечистого любопытства, поводом для того, чтобы, сблизившись с женщиной, овладев ею, потом иметь право злорадно ее презирать. Этот юноша, почти мальчик, вносил в свою первую любовную связь не пылкое, пламенное чувство, а холодное и грязное вожделение, которое пробуждают в мальчишках дурные книги, признания товарищей, разговоры в дортуарах,— словом, первые дуновения порока, развязывающие похоть. Все, чем молодой человек обычно окружает отдавшуюся ему женщину, все, чем он ее окутывает,— ласки, восторженные слова, нежные сравнения,— все это было непонятно Жюпийону. Женщина будила в нем одни только непристойные помыслы, и в ее страсти он усматривал нечто запретное, недозволенное, грубое, бесстыдное и забавное, нечто созданное для издевки и иронии.

Ирония — низменная, трусливая, недобрая ирония подонков общества — составляла основу его характера. Он был одним из тех коренных парижан, которые носят на себе печать издевательского скептицизма, свойственную великому городу, где всегда процветала насмешка. Улыбка, придающая живость и ехидство физиономии парижанина, у Жюпийона всегда была язвительной и нахальной. В приподнятых уголках, в нервных подергиваниях смеющегося рта таилось что-то злое, даже жестокое. Лицо юноши, своей бледностью напоминавшее гравюру на меди, его мелкие черты, четкие, решительные и наглые, были отмечены фанфаронством, энергией, беззаботностью, сметливостью, бесстыдством,— всеми оттенками душевной низости, прикрытой по временам выражением кошачьей вкрадчивости. Профессия перчаточника (он выбрал ее после нескольких неудачных попыток обучиться другим ремеслам) и привычка работать у окна под взглядами прохожих сообщили его манерам самоуверенность, заученное изящество *позера*. В мастерскую, выходившую окнами на улицу, он являлся всегда принаряженный, в белой рубашке с черным, свободно повязанным галстуком, в обтянутых брючках; он научился ходить вихляя бедрами, франтовато одеваться, приобрел томную развязность мастерового, на

которого смотрят. Сомнительная элегантность — пробор посредине, пряди волос, зачесанные на виски, отложные воротнички, обнажающие шею, женственные кокетливые ужимки — придавала его облику какую-то подозрительную неопределенность. Особенно ее подчеркивали бесполые черты лица (которые под влиянием страсти или гнева искажались, точно недобрые черты недоброго женского личика) и безбородая физиономия, украшенная полосками жидких усиков. Но Жермини видела во внешности и в повадках Жюпийона только необыкновенное благородство.

Будучи таким, каким он был, неспособный не только полюбить, но даже чувственно привязаться, Жюпийон не знал, что ему делать с этим обожанием, которое само себя воспламеняло, тяготился пылом, который все возрастал. Жермини наводила на него смертельную тоску. Ее самоуничижение казалось ему нелепым, преданность — смешной. Она ему наскучила, надоела, опротивела. Он пресытился и ее любовью, и ею самой. И он не замедлил отдалиться от нее без всякой жалости, без всякого сострадания. Жюпийон убегал от Жермини, увиливал от свиданий. Предлогами служило все: дурная погода, необходимость куда-то пойти, спешная работа. Она ждала его по вечерам,— он не приходил. Она верила, что у него важные дела, а он в это время гонял бильярдные шары в подозрительном кабаке или отплясывал на каком-нибудь балу в предместье.

XVI

Как всегда по четвергам, в «Черном шаре» был бал. Публика плясала.

Зала ничем не отличалась от всех зал нынешних увеселительных заведений для простонародья. Она блистала поддельным богатством и убогой роскошью. Там были картины и колченогие столики, позолоченные газовые рожки и стопки, чтобы *пропустить по маленькой,* бархат и деревянные скамьи, непритязательность и бедность пригородного кабачка, украшенного театральной мишурой.

На окнах висели бархатные, гранатового цвета, ламбрекены с золотым позументом; такие же ламбрекены, но для экономии нарисованные, красовались над зеркалами, освещенными бра с тремя рожками. На белых стенных панелях пасторали Буше в наведенных кистью рамах перемежались с «Временами года» Прюдона, которые, казалось, удивленно спрашивали, как

это они попали сюда. Над окнами и дверьми одутловатые амуры резвились среди пяти роз, словно сошедших с банки из-под помады какого-нибудь захудалого парикмахера. Четырехугольные столбы, покрытые скудным орнаментом, подпирали потолок залы; в центре на маленьком восьмиугольном возвышении сидел оркестр. Дубовый барьер в две трети человеческого роста окружал место, отведенное под танцы и служил спинкой узким, обитым красным бархатом скамьям. С внешней стороны барьера стояли в два ряда крашеные зеленые столики и деревянные скамьи: это и было собственно кафе.

На танцевальной площадке, под ослепительным светом прямых языков газового пламени, теснились женщины в темных шерстяных платьях, полинявших и выцветших, женщины в черных тюлевых чепцах, женщины в черных пальто, женщины в кофтах, изношенных и протертых, женщины в неуклюжих меховых пакидках, купленных на лотках или у старьевщиц. Ни единого белого воротничка, который оттенил бы свежесть молодого лица, ни единой белой нижней юбки, которая мелькнула бы во время танца, ни единого клочка белого не было на этих тусклых женщинах, в одежде цвета нищеты, обутых в нечищеные ботинки. Казалось, они не носят белья, и это накладывало на них печать уныния, нечистоплотности, печать чего-то такого жалкого, потухшего, приниженного и неопределенно зловещего, словно все они пришли не то из ломбарда, не то из больницы для бедных.

Простоволосая старуха с кривым пробором носила между столиками корзину, полную пирожных и краснощеких яблок. В толпе кружащихся, пляшущих людей порою бросались в глаза то грязный чулок, то характерный еврейский профиль уличной торговки губками, то красные пальцы, торчащие из черной митенки, то смуглая усатая физиономия, то нижняя юбка с присохшей к ней давнишней грязью, то купленный по случаю ситцевый цветастый кринолин, слишком узкий и плохо сидящий, то крикливое дешевое платье кокотки.

Мужчины были в пальто, в кепи, приплюснутых на затылке, в шерстяных незавязанных шарфах, концы которых свободно свисали на спину. Они приглашали дам, хватая их за развевавшиеся ленты чепцов. Иные, особенно наглые, в шляпах, сюртуках и цветных рубашках, явно служили лакеями и конюхами в богатых домах.

Все подскакивали, дрыгали ногами. Женщины неистовствовали, извивались, приседали, неуклюжие, разгоряченные, подстегнутые хлыстом животного веселья. Во время кадрили[1] они

назначали свидание своим кавалерам: «Встретимся на помойке!»

Жермини переступила порог залы в ту минуту, когда под звуки мелодии «Папаша наш Бюжо» кончалась кадриль и от оглушительного грохота литавр, барабана, бубен танцоры дошли до полного исступления. Она одним взглядом охватила всю залу, всех мужчин, которые об руку с партнершами шли на свои места, куда они заранее положили кепи. Люди все выдумали: *его* там не было, она убедилась в этом собственными глазами. Однако Жермини решила подождать. Силясь скрыть смущение, она прошла за барьер и села на краешек скамьи. Посмотрев на женщин, сидевших рядом, Жермини подумала, что, судя по чепцам, они такие же служанки, как она. Их она боялась меньше, чем девчонок, простоволосых или в сетках, которые прогуливались, засунув руки в карманы пальто, нагло глядя всем в глаза и напевая. Но вскоре она привлекла к себе недоброжелательное внимание даже своих соседок. Ее шляпка (не более десятка женщин на этом балу носило шляпы), нижняя юбка с кружевными фестонами, белевшая из-под платья, золотая брошь на шали вызвали в этих женщинах враждебное любопытство. Они глазели на нее, злобно улыбаясь, как бы спрашивая себя, откуда взялась эта незнакомка и не намеревается ли она отбить у них любовников. Подружки, бродившие по зале, обняв друг друга за талию, словно собираясь вальсировать, мимоходом оглядывали Жермини так, что она опускала глаза; тогда, пожав плечами, они шли дальше, но все время оборачивались.

Жермини пересела на другое место: там ее встретили те же улыбки, та же враждебность, то же перешептывание. Она прошла в другой конец залы, и глаза всех женщин впились в нее. Жермини чувствовала, что эти недобрые, завистливые взгляды охватывают ее с головы до ног, от подола платья до цветов на шляпке. Щеки ее пылали. Минутами она с трудом удерживала слезы. Ей хотелось убежать, но у нее не хватало мужества одной пройти через всю залу.

Бессознательно она стала следить за пожилой женщиной, которая медленно и бесшумно двигалась по зале, словно ночная птица, кружащаяся над добычей. Из-под шляпы цвета жженой бумаги выбивались седеющие волосы. На широкие, по-мужски угловатые плечи был накинут шотландский плед тусклой расцветки. Дойдя до дверей, она бросила последний взгляд в залу, точно гриф, ищущий и не находящий падали.

Вдруг раздался крик: полицейский тащил к выходу тще-

душного юношу, который норовил укусить его за руку и цеплялся за столы; всякий раз, когда он стукался о них, что-то звенело, как будто звякали осколки стекла.

Жермини отвернулась и в эту минуту увидела Жюпийона: он сидел между двух женщин за зеленым столиком в окошной амбразуре и курил. Одна из его дам была крупная блондинка с редкими завитыми волосами цвета конопли, плоским, тупым лицом и круглыми глазами. Блуза из красной фланели топорщилась у нее на спине. Она засунула руки в карманы черного передника, надетого поверх коричневой юбки, и все время похлопывала себя по коленям. Другая, маленькая и чернявая, домывшая себе лицо до багрового блеска, вырядилась с рыночным кокетством в белый вязаный капор, отделанный голубой каймой.

Жюпийон заметил Жермини. Когда она, пристально глядя на него, направилась к его столику, он наклонился к самому уху женщины в капоре и, с вызывающим видом положив локти на стол, стал ждать.

— Откуда ты взялась? — спросил он, когда Жермини остановилась перед ним, неподвижная, прямая, безмолвная.— Вот так сюрприз! Гарсон! Еще графинчик! — Налив подслащенного вина в стаканы своих дам, он добавил: — Не надо дуться! Садись с нами.— Жермини продолжала стоять не двигаясь.— Брось, говорят тебе! Это же приятельницы моих друзей, можешь спросить у них.

— Разве ты не видишь, Мели, пришла мамаша этого господина. Подвинься-ка, дай ей присесть, она хочет с нами выпить,— прошипела, обращаясь к подруге женщина в капоре, *злая, как почесуха.*

Жермини метнула на нее убийственный взгляд.

— В чем дело? — продолжала та.— Вам не нравится? Прошу прощения. Надо было предупредить. Интересно, Мели, сколько, она думает, ей лет? Да, уж ты не стесняешься, выбираешь себе совсем зеленых!

Жюпийон ухмылялся уголками рта, раскачивался, тихонько посмеивался. Весь его вид говорил о подлой радости, которую испытывают дрянные люди, когда видят страдания тех, кто любит их и, любя, страдает.

— Мне надо поговорить... Поговорить с тобой... не здесь... на улице...— сказала Жермини.

— Желаю весело провести время! Ты идешь, Мели? — сказала женщина в капоре, закуривая погасшую сигару, которую Жюпийон положил на стол возле ломтика лимона.

— Что тебе нужно? — спросил Жюпийон, невольно тронутый тоном Жермини.

— Пойдем!

И, не дожидаясь его, она направилась к выходу. Вокруг теснились и пересмеивались люди. Она слышала голоса, обрывки фраз, шиканье.

XVII

Жюпийон обещал Жермини больше не ходить на балы. Но молодой человек начал приобретать известность как новый Бридиди в кабачках предместья, в «Черном шаре», в «Белой королеве», в «Эрмитаже». Он научился так отплясывать, что посетители вставали из-за столиков, все взоры устремлялись к его подметкам, взлетавшим на два дюйма выше головы, профессиональные танцорки приглашали его и даже порой угощали, лишь бы он согласился с ними потанцевать. Бальная зала превратилась для Жюпийона в своего рода театральные подмостки: там его ждали зрители, популярность, рукоплескания, там у всех на устах было его имя, там, лаская его самолюбие, гремели овации за последнюю фигуру канкана, исполненную при свете кенкетов.

В воскресенье он не пошел в «Черный шар», но в четверг нарушил обещание, и Жермини, поняв, что ей не удержать Жюпийона, решила сопровождать его и не уходить, пока не уйдет и он. Сидя за столиком в самом темном углу кабачка, она следила за ним, не спуская с него глаз во время контрданса; когда кадриль кончалась, а Жюпийон мешкал, Жермини подходила к нему и почти силой вырывала его из рук женщин, которые, желая ее позлить, осыпали молодого человека нежностями, тормошили, старались подольше не отпускать.

Она скоро всем приелась, и тогда насмешки, звучавшие в первый раз глухо, неясно, откуда-то издали, зазвучали громко. Ее оскорбляли открыто, смеялись прямо ей в лицо. Жермини приходилось три часа подряд выдерживать издевки, видеть, как на нее показывают пальцами, слышать, как называют ее имя, измываются над ее возрастом. Наглые девчонки мимоходом, через плечо, ежеминутно плевали в нее словом «старуха!» — и ей приходилось все терпеть. Но они хоть обращали на нее внимание, тогда как другие, те, кого Жюпийон после танца приглашал выпить с ним, нередко садились за столик Жермини и, потягивая подогретое вино, оплаченное ее деньгами, подпирали щеки руками, удобно устраивались, словно не заме-

чая, что рядом сидит еще одна женщина, располагались так, будто она была пустым местом, даже не удостаивали ответом, когда она к ним обращалась. Жермини убила бы этих женщин, которые по воле Жюпийона угощались за ее счет и до такой степени ее презирали, что она для них просто не существовала.

В конце концов, исстрадавшись до предела, испив полную чашу унижений, Жермини решила научиться танцевать. Она не видела иного способа оградить своего любовника от других женщин, привязать его к себе на весь вечер и, может быть, даже упрочить его привязанность, если ей посчастливится добиться успеха. Целый месяц она тайком упражнялась, повторяла фигуры, истязала себя, трудилась до седьмого пота, стараясь вертеть бедрами и взмахивать юбками, как те плясуньи, которым удавалось сорвать аплодисменты. Наконец она осмелилась выступить публично; но окружавшая ее враждебность, удивленные снисходительные улыбки, замелькавшие на лицах, как только она заняла место в кругу танцоров, лишь усилили и подчеркнули ее неловкость. Над ней так издевались, осыпали такими насмешками, что у нее не хватило мужества попытать счастья второй раз. Она угрюмо сидела в своем темном углу и выходила оттуда только для того, чтобы отыскать и увести Жюпийона, проявляя при этом молчаливую ярость женщины, вытаскивающей мужа из кабака и уводящей его за руку домой.

Вскоре вся улица узнала, что Жермини ходит на танцевальные вечера, не пропускает ни одного. Фруктовщица, которой проболталась Адель, отправила своего сына *поразнюхать*. Вернувшись, он подтвердил слухи и вдобавок рассказал, как там оскорбляют Жермини, что, впрочем, не мешает ей снова туда возвращаться. Тогда уже ни у кого не осталось сомнений насчет связи служанки мадемуазель де Варандейль с Жюпийоном, в которую иные милосердные люди до сих пор все-таки отказывались верить. Языки развязались, и через неделю несчастную женщину, отданную на растерзание всем сплетницам и сплетникам квартала, окрещенную самыми грязными именами, существующими в уличном жаргоне, уже встречало не почтительное уважение, а самое грубое и открытое издевательство.

До сих пор ее гордость,— а Жермини была очень горда,— услаждалась подчеркнутым вниманием, с которым относятся в квартале, населенном продажными женщинами, к порядочной служанке порядочной госпожи. Жермини привыкла к тому, что с ней обходятся вежливо, любезно, предупредительно. Ее выделяли среди других служанок. Благодаря неподкупной честности

и безупречному поведению, благодаря доверию, которым она пользовалась у мадемуазель де Варандейль, владельцы лавок встречали ее не так, как других клиенток, перенося на нее ореол незапятнанного достоинства, окружавший ее хозяйку. Здороваясь с ней, они всегда снимали шляпу и говорили: «*Мадемуазель* Жермини». Ей старались поскорей отпустить товар, придвигали единственный стул, чтобы она не ждала стоя. Даже когда она торговалась, с ней сохраняли учтивость и не обзывали *скупердяйкой*. В присутствии Жермини никто не позволял себе рискованных шуток, с ней советовались о делах, приглашали ее на обеды, на семейные праздники.

Все изменилось с тех пор, как стали известны ее посещения «Черного шара» и связь с Жюпийоном. Улица мстила Жермини за то, что прежде выказывала ей уважение. Самые распутные служанки вели себя с ней как с равной. Одна из них, любовник которой сидел в тюрьме Маза, называла ее подругой. Мужчины держались развязно, их взгляды, тон, жесты, рукопожатия говорили ей «ты». Даже дети, прежде обученные *шаркать ножкой* перед Жермини, теперь, завидя ее, испуганно убегали, словно исполняя чей-то приказ. С ней обходились пренебрежительно, обслуживали ее спустя рукава. Она шагу не могла ступить, чтобы не почувствовать своего позора, не ощутить оплеухи презрения.

Это было страшным падением для Жермини. Она страдала так, словно люди разорвали ее честь в клочки и потом вываляли в грязной луже. Но чем мучительней она страдала, тем сильнее цеплялась за свою любовь, льнула к ней. Она не сердилась на Жюпийона, не упрекала его. Слезы, которые проливала ее гордость, только крепче связывали ее с ним. Жермини словно съежилась, замкнулась в сознании своего греха, и по той самой улице, где недавно шла надменной походкой, высоко подняв голову, она теперь торопливо пробегала, ссутулившись, глядя исподлобья, боясь быть узнанной, стараясь незаметно проскользнуть мимо лавок, откуда ей вслед лились помои злословья.

XVIII

Жюпийон вечно жаловался, что принужден работать не на себя, а на других, потому что мать не желает раскошелиться на каких-нибудь полтораста — двести франков. Такой пустячной суммы ему вполне хватило бы на то, чтобы снять две комнатки в первом этаже и открыть собственную перчаточную мастерскую.

И тут же он начинал строить планы и мечтать: он не стал бы переезжать в другой район,— лучшего района, чем этот, для перчаточника не сыщешь, ведь здесь полно клиенток, которые покупают и мгновенно изнашивают пятифранковые лайковые перчатки. К торговле перчатками он вскоре присоединил бы торговлю парфюмерией и галстуками. Потом, когда прибыль возместит все затраты, открыл бы магазин на улице Ришелье.

Всякий раз, когда он заговаривал об этом, Жермини начинала задавать ему бессчетные вопросы. Она требовала, чтобы он перечислил ей все, что необходимо для устройства перчаточной мастерской, хотела знать названия инструментов, материалов, сколько они стоят, где продаются. Она так подробно, с таким интересом расспрашивала его о тонкостях и особенностях его ремесла, что в конце концов он терял терпение и говорил: «Тебе-то какое до этого дело? Не приставай ко мне, я и так сыт по горло работой».

Однажды в воскресенье они шли по направлению к Монмартру. Вместо того чтобы идти по улице Фрошо, Жермини свернула на улицу Пигаль.

— Ты не туда идешь,— сказал Жюпийон.

— Знаю,— ответила она.— Пойдем по этой улице.

Она взяла его под руку, немного отвернувшись, чтобы он не видел выражения ее лица. На улице Фонтен-Сен-Жорж Жермини вдруг остановилась перед каким-то домом и показала на два окна в первом этаже.

— Посмотри,— сказала она, дрожа от радости.

Жюпийон взглянул и увидел между окнами вывеску с блестящими медными буквами:

ПЕРЧАТОЧНЫЙ МАГАЗИН
ЖЮПИЙОН

Первое окно было затянуто белыми занавесками. Сквозь стекла второго Жюпийон разглядел полки, уставленные картонками, а перед ними — небольшой рабочий стол, на котором красовались ножницы, горшок для обрезков и специальный нож для обработки кожи.

— Твой ключ у привратника,— сказала Жермини.

Они вошли в первую комнату, в магазин.

Ей хотелось показать ему все. Она открывала картонки и смеялась. Потом распахнула дверь в другую комнату:

— Видишь, здесь ты не будешь задыхаться, как в каморке твоей матери. Тебе нравится? Я знаю, здесь не очень красиво,

зато чистенько... Конечно, я хотела бы, чтобы у тебя везде было красное дерево... Нравится тебе коврик перед кроватью? А где бумажка?.. Чуть было не забыла о ней.— Она сунула ему в руку квитанцию об уплате за наем помещения.— Уплачено за полгода. Так что сразу принимайся за работу. Я ухлопала на это все свои сбережения. Дай-ка я сяду... У тебя такой довольный вид... Я до того рада... Голова идет кругом... и ноги подкашиваются...

Совсем обессилев, она села на стул. Жюпийон наклонился и поцеловал ее.

— Да, как видишь, их больше нет,— сказала она, заметив, что он взглядом ищет ее серьги.— И колец нет. Посмотри, ничего нет.— Протянув к нему руки, она показала, что их уже не украшают убогие безделушки, на покупку которых она так долго копила деньги.— Иначе я не смогла бы купить кресло... Зато оно набито конским волосом...

Жюпийон смущенно стоял перед ней, пытаясь найти слова благодарности и не находя их.

— Какой у тебя смешной вид! Что с тобой? Неужели из-за этого? — Она обвела рукой комнату.— Глупости какие! Ведь я люблю тебя, правда? Так о чем же говорить?

Эти слова были произнесены просто, как произносятся все благородные слова, идущие из глубины сердца.

XIX

Жермини забеременела.

Сперва она сомневалась, не смела этому поверить. Потом, окончательно убедившись, ощутила огромную, необъятную радость. Эта радость была так велика и так сильна, что мгновенно подавила все тревоги, огорчения и беспокойства, которые обычно примешиваются к мыслям незамужних и ожидающих ребенка женщин, отравляя им будущее материнство,— божественную надежду, живущую и шевелящуюся в них. Ничто не могло омрачить счастья Жермини: ни мысль о том, что ее связь с Жюпийоном станет известной и вся улица начнет сплетничать и злословить, ни боязнь позора, которая прежде заставляла ее думать о самоубийстве, ни даже страх быть разоблаченной и изгнанной мадемуазель де Варандейль. Еще не родившийся ребенок заслонил от нее всё и вся, словно он уже прыгал в ее объятиях. Почти не таясь от людей, Жермини несла свое бесчестие с горделивым упоением женщины, готовящейся стать матерью.

Ее мучило только то, что она растратила все сбережения, забрала жалованье у хозяйки за несколько месяцев вперед и теперь сидела без денег. Жермини горько жалела о невозможности подобающим образом встретить свое дитя. Проходя по улице Сен-Лазар, она постоянно задерживалась у витрины бельевого магазина, где было выставлено приданое для новорожденных из богатых семейств. Она пожирала глазами прелестное, кокетливо отделанное белье, нагрудники из пике, длинные платьица с короткой талией, украшенные английской вышивкой, очаровательные наряды, придуманные для херувимов и кукол. Непреодолимое желание — одно из тех, что так мучают беременных женщин,— толкало разбить стекло и украсть эти вещи. Приказчики магазина, уже знавшие ее в лицо, показывали на нее друг другу и пересмеивались.

И все-таки, несмотря на невыразимую, восторженную радость, захлестывавшую все ее существо, Жермини порою начинала волноваться. Она не могла не думать о том, как примет ребенка отец. Несколько раз она хотела сообщить ему о своей беременности, но так и не осмелилась. Наконец, уловив однажды на его лице выражение, которого давно ждала, чтобы все рассказать,— выражение, не лишенное какой-то нежности,— Жермини, краснея и словно моля о прощении, призналась в том, что было для нее таким счастьем.

— Выдумала тоже! — сказал Жюпийон.

Потом, когда Жермини убедила его, что ничего не выдумала, что она уже на пятом месяце, молодой человек воскликнул:

— Вот так помер! Ну, спасибо, удружила! — Он выругался и добавил: — А кто, по-твоему, будет таскать корм этому воробью?

— Будь спокоен, он с голоду не зачахнет, это уж моя забота... А как будет хорошо!.. Не бойся, никто не узнает, я все устрою... Вот посмотри, последние дни я буду ходить так — голову назад... и не стану надевать нижних юбок... и затянусь как следует... Ты увидишь! Никто ничего не заметит, уверяю тебя. А у нас с тобой будет ребеночек, ты только подумай!

— Ну, раз будет, значит, будет, никуда не денешься,— пожал плечами Жюпийон.

— Послушай, — осмелела Жермини,— ты не думаешь, что нужно сказать об этом твоей матери?

— Маме? Ну, нет! Раньше роди. Потом мы принесем малыша домой... Она так удивится, что, может, даст согласие на нашу женитьбу.

XX

Наступило Крещенье. В этот день мадемуазель де Варандейль ежегодно устраивала большой званый обед. У нее собирались все большие и маленькие дети ее родственников и подруг. Крошечная квартирка еле-еле их вмещала. Часть мебели приходилось выносить на лестничную площадку. Квартира мадемуазель состояла всего из двух комнат, и в каждой накрывали по столу. Для детей этот обед был настоящим праздником, который они предвкушали уже за неделю до Крещенья. Они не шли, а бежали по лестнице следом за рассыльными из кондитерской. Во время обеда они объедались, но никто их за это не бранил. Вечером малыши отказывались лечь спать, прыгали по стульям и поднимали такой шум, что на следующий день у мадемуазель неизменно бывала мигрень. Но она не сердилась на ребятишек: слушая их, глядя на них, подвязывая им на шею салфетки, чья белизна оттеняла румянец детских щек, она радовалась, как бабушка, собравшая у себя всех своих внучат. Ни за что на свете не отказалась бы она от этого праздничного обеда, во время которого маленькие белокурые сорванцы умудрялись так наполнить смехом и весельем молодости ее стародевичьи комнаты, что воспоминаний об этом дне хватало потом на целый год.

Жермини с утра занималась стряпней. Поставив на колени глиняную миску, она начала сбивать сливки и вдруг почувствовала первые схватки. Взглянув в осколок зеркала, висевший над кухонным шкафом, она увидела свое побледневшее лицо. Тогда она побежала к Адели.

— Дай мне румян твоей хозяйки,— попросила она. Накрасив щеки, она вернулась на кухню и, стараясь не прислушиваться к боли, кончила стряпню. Она должна была подать обед — и подала его. Меняя тарелки для сладкого, она хваталась за мебель, опиралась на спинки стульев, скрывала страдание под страшной судорожной улыбкой — так улыбаются люди, когда спазмы сводят им внутренности.

— Да ты больна! — взглянув на нее, сказала мадемуазель.

— Что-то мне неможется, барышня. Наверно, угорела на кухне.

— Иди-ка ложись. Ты мне больше не нужна, вымоешь посуду завтра.

Жермини снова спустилась к Адели.

— Началось,— сказала она.— Скорее беги за фиакром. Правильно ты дала мне адрес,— твоя акушерка живет на улице Юшет, напротив медника? Есть у тебя перо и бумага?

В наспех нацарапанной записке она сообщила своей хозяйке о том, что ей стало очень худо и она идет в больницу, а адреса не сообщает, чтобы мадемуазель не утруждала себя и не ходила ее навещать: через неделю она уже будет дома.

— Возьми! — Задыхаясь, Адель протянула ей номер фиакра.

— Я, может, там застряну,— сказала Жермини.— Ни слова барышне. Слышишь? Поклянись, что не скажешь...

Спускаясь с лестницы, она столкнулась с Жюпийоном.

— Куда это ты собралась? — спросил он.

— Началось... Меня еще днем схватило. У нас был званый обед. Не знаю, как дотерпела... Зачем ты пришел? Я же тебе говорила, чтобы ты сюда не ходил, я не хочу!

— Видишь ли... я тебе объясню... мне до зарезу нужно сорок франков. Понимаешь, до зарезу.

— Сорок франков! Но у меня денег только-только на акушерку.

— Черт!.. Н-да... Что ты? — Он подал ей руку и помог спуститься с лестницы.— Вот дьявольщина! Я их должен хоть из-под земли достать.— Он открыл дверцу фиакра.— Куда тебе надо ехать?

— В родильный дом Бурб,— сказала Жермини и сунула ему в руку сорок франков.

— Брось, не надо,— запротестовал Жюпийон.

— Ах, ну какая разница, где рожать! И потом у меня есть еще семь франков.

Фиакр отъехал.

Жюпийон мгновение постоял на тротуаре, рассматривая две двадцатифранковые монеты в руке, потом бросился догонять фиакр, остановил его и, открыв дверцу, спросил:

— Может, проводить тебя?

— Нет, мне очень худо, я лучше одна...— ответила Жермини, корчась на мягком сиденье кареты.

Через полчаса, показавшихся Жермини вечностью, фиакр остановился на улице Пор-Рояль перед черной дверью, над которой горел фиолетовый фонарь — сигнал проходящим мимо студентам-медикам, означавший, что в родовспомогательном доме для бедных этой ночью, в этот час можно наблюдать интересные сложные роды.

Кучер слез с сиденья и позвонил. Привратник вместе с дежурной сиделкой взяли Жермини под руки и подвели к одной из четырех коек, стоявших в палате для рожениц. Как только Жермини легла, боль немного стихла. Она окинула взглядом палату

и увидела, что остальные койки пусты, а в глубине огромной комнаты пылает большой, сложенный наподобие деревенских очагов камин, перед которым на стальном пруте сушатся пеленки, простыни, подстилки.

Еще через полчаса Жермини родила; она произвела на свет дочку. Ее койку выкатили в другую палату. Там она пролежала несколько часов, погрузившись в блаженное дремотное оцепенение, которое всегда следует за невообразимыми родовыми муками, радуясь и удивляясь тому, что все еще жива, не переставая наслаждаться наступившим облегчением, чувствуя всем существом смутное счастье созидания. Вдруг раздался крик: «Умираю!» Жермини открыла глаза и увидела, что одна из ее соседок обхватила шею дежурной стажирующей акушерки, потом упала на подушки, задергалась под простыней и больше уже не двигалась. Почти в ту же минуту с другой кровати тоже раздался страшный, пронзительный, исполненный ужаса крик — крик живого существа, увидевшего перед собой смерть. Женщина, лежавшая на этой койке, протягивала руки, отчаянно призывая на помощь молоденькую акушерку. Та подбежала, склонилась над больной и без памяти рухнула на пол.

После этого вновь наступило молчание. Лежа в одной палате с двумя мертвыми роженицами и полумертвой акушеркой, которая пришла в себя только через час, хотя упала на ледяной пол, ни одна из еще оставшихся в живых женщин не осмеливалась двинуться, не осмеливалась даже дернуть за шнур звонка, проведенного к каждой койке.

В родовспомогательном доме свирепствовала тогда одна из тех страшных эпидемий родильной горячки, которые сеют смерть среди женщин, дарующих потомство человечеству, одна из тех тлетворных бурь, которые пронесятся, опустошая ряды коек, где лежат роженицы. В свое время из-за такой эпидемии пришлось закрыть клиническую родильную больницу. Казалось, это шествует чума, за несколько часов успевающая превратить человеческое лицо в синюшную маску, никого не щадящая, всех настигающая,— самых здоровых, самых молодых,— чума, которая зарождается в детских колыбелях, черная чума матерей! Ежечасно, особенно по ночам, Жермини видела такие ужасные кончины, какими завершается только родильная горячка, кончины, нарушающие все законы естества, мучительные, сопровождающиеся воплями, дикими галлюцинациями, бредом; она видела агонизирующих, на которых, как на сумасшедших, приходилось надевать смирительные рубашки, агонизирующих, которые, завернувшись в простыни, выскакивали из постелей и

пугали остальных жутким сходством с покойниками из анатомического зала. Они расставались с жизнью так, словно ее вырывали из их плоти. Сама болезнь принимала кошмарный облик, проявлялась в чудовищных формах. На койках, освещенных лампами, медленно и жутко шевелились простыни над животами, раздутыми перитонитом.

Пять дней провела там Жермини, съежившись, сжавшись в комок, стараясь ничего не видеть и не слышать, мужественно борясь со всеми этими ужасами, лишь в редкие минуты поддаваясь малодушию. Она хотела жить, и силы ее удесятерялись при мысли о ребенке, при воспоминании о мадемуазель де Варандейль. Но на шестой день она ослабела душой и почувствовала, что ей изменяет воля. Ледяной холод проник в ее сердце. Она решила, что настал ее черед. Ею овладело предчувствие конца — предчувствие, подобное руке, которую смерть кладет на плечо человека. Болезнь приблизилась к Жермини, вселив в нее ощущение, граничившее с уверенностью, что она заразилась, что уже больна. Она восставала против недуга, но не боролась с ним. Жизнь, которую она заранее признала побежденной, почти не сопротивлялась смерти. В этот решающий час над койкой Жермини, подобно светлому лучу, склонилось чье-то лицо.

То было лицо самой юной из акушерок, белокурой, золотоволосой девушки с синими и такими кроткими глазами, что умирающим приоткрывалось в них небо. Женщины в бреду говорили при виде ее: «Заступница наша, дева Мария!»

— Дитя мое,— услышала Жермини ее шепот,— сейчас же потребуйте, чтобы вас выписали. Вам надо немедленно уйти отсюда. Оденьтесь потеплее... Хорошенько закутайтесь... Как только вернетесь домой и ляжете, выпейте чего-нибудь горячего, какого-нибудь отвара, липового чая. Пропотейте как следует. И тогда вы не заболеете. Только уходите отсюда. Сегодня ночью,— продолжала она, обводя глазами ряды коек,— вам здесь будет нехорошо... Не говорите, что это я посоветовала вам выписаться, иначе меня уволят...

XXI

Через несколько дней Жермини была уже на ногах. Горделивая радость сознания, что она дала жизнь маленькому существу, в котором ее кровь смешалась с кровью любимого человека, и материнское счастье спасли Жермини от последствий дурного ухода в больнице. Она выздоровела, и весь ее вид говорил о та-

ком довольстве жизнью, на которое прежде мадемуазель де Варандейль считала ее неспособной.

По воскресеньям, какая бы ни стояла погода, Жермини ровно в одиннадцать утра уходила из дому. Мадемуазель считала, что она ездит к подруге за город, и была в восторге от благотворного действия свежего воздуха на служанку. Жермини заходила за Жюпийоном, который позволял увезти себя без особого сопротивления, и они отправлялись в Поммез, куда удалось пристроить девочку и где их ждал заранее заказанный плотный завтрак. Стоило Жермини сесть в поезд мюлузской железной дороги, как она умолкала и даже не отвечала на вопросы. Она высовывалась из окна, и мысли ее устремлялись вдаль. Казалось, они хотели обогнать паровоз. Не успевал поезд остановиться, как она спрыгивала, бросала на ходу билет контролеру и бежала по поммезской дороге, далеко опередив Жюпийона. Она приближалась, подходила к дому,— вот он наконец! Здесь жила ее дочь! Она бросалась к девочке, ревнивыми материнскими руками выхватывала ее у кормилицы, обнимала, прижимала к себе, осыпала нежностями, ласками, не отрываясь смотрела на нее, смеялась. Сперва она любовалась дочерью, потом, обезумев, потеряв голову от любви и счастья, начинала покрывать поцелуями все ее тельце, ее маленькие голые ножки. Они садились завтракать. Жермини держала ребенка на коленях и ничего не ела: она столько целовала малышку, что не успевала вволю на нее наглядеться, и теперь выискивала сходство между нею и ими обоими. «Она похожа на тебя и на меня. Нос у нее твой... глаза мои... волосы будут, как у тебя... вьющиеся... Посмотри, твои руки! В точности твои!» И так часами длилась неумолчная очаровательная болтовня, которой женщины стараются вызвать у мужчин чувство отцовства. Жюпийон выслушивал этот вздор довольно терпеливо благодаря дешевым сигарам, которые Жермини по одной доставала из кармана и протягивала ему. К тому же он нашел себе развлечение: сразу за садом протекал Морен, а Жюпийон, как истый парижанин, был страстным рыболовом.

Когда наступило лето, они целый день проводили в этом саду на берегу реки. Жюпийон сидел на мостках для полоскания белья, а Жермини, не спуская ребенка с рук, устраивалась тут же на земле, в тени мушмулы, клонившейся к воде. День сверкал; солнце жгло широкий простор текучей влаги, в которой, как в зеркале, мерцали искры. Среди этого огненного ликования неба и реки Жермини играла со своей дочкой, перебиравшей по ней ножками, розовой, полуголенькой, одетой только в короткую

рубашечку. Солнечные блики играли на ее тельце, загорелом, как тело ангелочка, виденного Жермини на какой-то картине. Она испытывала божественную радость, когда девочка неуверенными младенческими ручонками дотрагивалась до ее подбородка, рта, щек, упрямо тыкала пальчиками в глаза, старалась, играя, попасть в зрачки, искала, точно вслепую, лицо матери, щекоча его и больно пощипывая. Жермини казалось, что по ней скользит теплый луч жизни ее дочурки. Посылая порою над головой девочки краешек улыбки Жюпийону, она звала его: «Да посмотри же на нее!»

Потом ребенок засыпал, полуоткрыв улыбающийся во сне ротик. Жермини ловила каждый ее вздох, вслушивалась в ее спокойный сон. Постепенно, убаюканная ровным дыханием девочки, она блаженно забывалась, глядя на убогое пристанище своего счастья, на сельский сад, на яблони, в листве которых скрывались маленькие желтые улитки, на яблоки, зарумянившиеся с той стороны, где их пригревало солнце, на *тычины*, за которые цеплялись вьющиеся, перепутанные стебли гороха, на грядку капусты, на четыре подсолнечника, украшавшие клумбу посредине полянки; потом она переводила взгляд на берег реки, до которого было рукой подать, на цветок пролески в траве, на белоголовую крапиву у стены, на бельевые корзины прачек и бутылки с жавелевой жидкостью, на вязанку соломы, растрепанную веселым щепком, только что выскочившим из воды. Жермини смотрела и вспоминала. Держа на коленях свое будущее, она обращалась к прошлому. Из травы, деревьев, реки она воссоздавала в памяти деревенский сад своего деревенского детства. Она снова видела два покатых камня у самой воды, на которых летом мать мыла ей перед сном ноги, когда она была совсем маленькой.

— Видите, дядюшка Ремалар,— в один из самых жарких августовских дней обратился, стоя на мостках, Жюпийон к старику, который смотрел на его удочку,— на красного червяка совсем не клюет, хоть тресни.

— Чтобы рыба клевала, нужен дождевой червь,— поучительно ответил крестьянин.

— Что ж, раздобудем дождевого червя, за деньгами не постоим... Дядюшка Ремалар, достаньте-ка мне в четверг телячье легкое и повесьте вот сюда, на это дерево... А в воскресенье посмотрим, что из этого получится.

В воскресенье Жюпийон наловил небывалое количество рыбы, а Жермини услышала первое слово, сказанное ее дочерью.

Жермини Ласерте

XXII

Когда в среду утром Жермини спустилась вниз, привратник подал ей письмо. В этом письме, нацарапанном на обороте счета из прачечной, кормилица Ремалар сообщала, что девочка Жермини захворала почти сразу после отъезда матери, что ей с каждым днем все хуже, что кормилица вызвала к ней врача и он объяснил болезнь укусом какого-то зловредного комара, что она вызвала врача второй раз, что не знает, как ей быть дальше, и заказала молебен о здравии ребенка. Кончалось письмо так: «Если бы вы знали, сколько я кладу сил на вашу девочку... если бы вы знали, какая она милочка, когда ей очень худо...»

Это письмо подействовало на Жермини так, точно ее кто-то сильно толкнул сзади. Она выскочила на улицу и бессознательно побежала по направлению к вокзалу, откуда уходили поезда на Поммез. Она была без чепца, в домашних туфлях, но не замечала этого. Ей нужно было увидеть свою маленькую, увидеть сию же минуту. Потом она вернется. На мгновение у нее мелькнула мысль о завтраке мадемуазель и тут же исчезла. Дойдя до середины улицы, она вдруг увидела часы в витрипе конторы по найму фиакров и вспомнила, что в это время нет поездов. Жермини вернулась, решив, что отделается от завтрака и изобретет какой-нибудь предлог, чтобы освободиться на весь день. Но завтрак был съеден, а она так ничего и не придумала: поглощенная мыслями о дочери, она не могла лгать, ее воображение отказывалось работать. К тому же она знала, что если заговорит, начнет просить, то не выдержит, разрыдается и скажет: «Мне нужно поехать к моей маленькой!» Не осмелилась она уехать и ночью: накапуне мадемуазель плохо спала, и Жермини боялась, что хозяйке может понадобиться ее помощь.

Когда наутро она вошла к хозяйке с какой-то выдуманной за ночь историей, собираясь сразу попросить о свободном дне, та, прочитав письмо, принесенное Жермини из привратницкой, сказала:

— А, это моя старушка Беллез просит, чтобы я уступила ей тебя на сегодня,— она варит варенье. Скорей подай мне на завтрак два яйца и отправляйся! Ты, кажется, недовольна? В чем дело?

— Я? Что вы, барышня! — с трудом выдавила из себя Жермини.

Весь этот бесконечный день она ставила тазы на плиту, наполняла и завязывала банки, терзаясь так, как терзаются те, кому жизнь не позволяет поспешить на помощь тяжко зане-

могшим любимым людям. Ее сердце разрывалось от горя, хорошо знакомого несчастным, которые не могут очутиться там, куда летят их тревожные мысли, и переживают весь ужас разлуки и неизвестности, ежеминутно представляя себе, что дорогое существо умирает вдали от них.

Не получив письма ни в четверг, ни в пятницу, Жермини успокоилась. Кормилица написала бы, если бы девочке стало хуже. Малышка поправляется; Жермини уже видела ее спасенную, здоровенькую. Дети всегда так: кажется, вот-вот умрут, а назавтра они уже смеются. К тому же ее девочка крепкая. Жермини решила ждать, набраться мужества до воскресенья, до которого оставалось только сорок восемь часов, а пока что обманывала глубоко затаенную тревогу суеверными приметами, говорившими надежде «да!», уверяла себя, что ее дочка *благополучно выскочила,* потому что первый человек, встреченный ею утром, был мужчина, потому что она видела на улице рыжую лошадь, потому что догадалась, что прохожий свернет на такую-то улицу, потому что, поднимаясь по лестнице, сделала столько-то шагов.

В субботу утром, зайдя к матушке Жюпийон, она увидела, что толстуха, заворачивая во влажную тряпку брусок масла, проливает на него горючие слезы.

— Это вы,— сказала матушка Жюпийон.— Бедняжка угольщица! Я плачу, видите... Она недавно была у меня. Вы, наверно, не знаете... Угольщики ведь могут оттереть себе лицо только маслом... А ее куколка-доченька... Вы знаете, этот ангельчик умирает. Такова наша жизнь! Боже мой, боже! Ну, она и говорит: «Мама, я хочу чтобы ты меня сейчас же оттерла маслом... для боженьки...» У-у-у!..

Матушка Жюпийон заревела в голос.

Жермини выбежала из молочной. Весь день она не находила себе места. Ежеминутно она поднималась наверх, к себе, и собирала вещи, которые хотела отвезти на следующий день дочери, чтобы *чистенько* одеть ее, нарядить, как воскресшую. Когда вечером она спускалась с лестницы, собираясь уложить мадемуазель спать, Адель передала Жермини письмо, лежавшее для нее у привратника.

XXIII

Мадемуазель уже начала раздеваться, когда на пороге спальни появилась Жермини, прошла по комнате, тяжело опустилась на стул и, несколько раз глубоко, протяжно, прерыви-

сто и мучительно вздохнув, запрокинула голову, передернулась, изогнулась и рухнула на землю. Мадемуазель хотела ее поднять, но она билась в таких судорогах, что старуха была вынуждена снова опустить на паркет это исступленное тело, члены которого, как пружины, то сжимались на секунду, то с хрустом разжимались, вытягиваясь направо, налево, куда попало, сбрасывая все, что попадалось на пути.

Услышав крики мадемуазель, высунувшейся в окно, какая-то служанка побежала за доктором, жившим неподалеку, но не застала его дома. Четыре служанки помогли мадемуазель поднять Жермини и уложили ее в постель, предварительно расстегнув платье и разрезав шнуровку корсета.

Страшные конвульсии, хруст суставов, нервные подергиванья рук и ног прекратились, но по шее и по обнажившейся груди пробегала дрожь, словно там, под кожей, катились волны, колебля юбку, добираясь до ступней. Запрокинув побагровевшее лицо со вздутыми венами, отчетливо выступавшими под подбородком, широко открыв глаза, полные той печальной нежности, того кроткого отчаянья, какими полны глаза раненых, Жермини лежала и, задыхаясь, не отвечая на вопросы, обеими руками царапала себе грудь и шею, словно хотела вырвать оттуда какой-то движущийся комок. Напрасно давали ей нюхать эфир, пить апельсиновую воду; волны скорби продолжали пробегать по ее телу, а лицо по-прежнему хранило выражение мягкой грусти и сердечного страдания, которые как бы одухотворяли телесную му́ку. Все, казалось, причиняло ей страдание, все ее терзало — яркий свет, звуки голосов, запахи. Наконец через час она разразилась слезами, и настоящий поток хлынул из ее глаз, смягчив страшный нервный припадок. Дрожь теперь лишь изредка сотрясала это измученное тело, успокоенное глубочайшей, непреодолимой усталостью. Жермини перенесли на руках в ее комнату.

Из письма, переданного Аделью, Жермини узнала, что ее дочь умерла.

XXIV

После нервного припадка Жермини впала в тупое отчаянье. Несколько месяцев она прожила отчужденная от всего мира. Захлестнутая, до краев наполненная мыслями о маленьком существе, которого больше не было на свете, она носила в себе смерть дочери, как когда-то носила ее жизнь. Каждый вечер,

подпявшись к себе, она вытаскивала из сундука у изножья кровати чепчик и рубашечку своей ушедшей крошки. Она разглядывала их, трогала, расстилала на одеяле, покрывала поцелуями, часами плакала над ними, что-то им говорила, повторяла слова, с которыми скорбь матери обращается к тени умершей дочурки.

Оплакивая ребенка, Жермини оплакивала самое себя. Тайный голос шептал ей, что любовь к дочери была для нее спасительным прибежищем, опорой, что все, чего она в себе боялась,— жажда нежности, порывистость, страстность, необузданная пылкость,— все это было бы отдано малютке и освящено ею. Она словно бы чувствовала, что сердце матери принесет покой и очищение сердцу женщины. Она видела в девочке божественное существо, ниспосланное для того, чтобы исцелить ее и направить на путь истинный, маленького ангела-хранителя, хотя и рожденного ею во грехе, но облеченного властью победить, уничтожить неотступные силы зла, которыми, как порой ей казалось, она одержима.

Когда Жермини пришла в себя после первого приступа опустошительного горя, когда она начала воспринимать окружающее и смотреть зрячими глазами, ей пришлось пройти через такое тяжелое и горькое испытание, что она пробудилась от своей скорби.

Госпожа Жюпийон так разжирела и расплылась, что не могла уже обслуживать клиентов; несмотря на помощь Жермини, она считала, что ей приходится слишком много работать, и решила поэтому выписать из деревни племянницу. У молоденькой, живой и подвижной крестьяночки — полуженщины-полуребенка — были черные глаза, в которых прыгали солнечные зайчики, губы как вишни — налитые, полные, красные, кожа, тронутая загаром, и здоровье, струившееся в жилах, подобно огню. Наивная и пылкая, девушка с первых же дней естественно и просто потянулась к своему кузену, движимая той силой, которая всегда заставляет молодость тянуться к молодости. Она шла ему навстречу с бесстыдством целомудрия, с бессознательной дерзостью, с непринужденностью, почерпнутой из жизни на лоне природы, со счастливой беспечностью страстной натуры, и тщеславие Жюпийона не могло устоять против ее смелых выходок, отважного вызова, неведения и откровенного кокетства. С ее появлением Жермини лишилась покоя. Ее терзало присутствие этой девчонки, которая льнула к Жюпийону, ласкалась к нему, не умела скрыть желания, жившего в ее жаждущем теле. Постоянные хлопоты вокруг молодого человека, услуги, которые

она ему оказывала и которые приближали ее к нему, нескрываемое восхищение провинциалки парижанином, полупризнания, вырывавшиеся у нее в его отсутствие, ее веселый, игривый, ровный нрав — следствие превосходного здоровья,— словом, все в ней было ненавистно Жермини, все наполняло глухой яростью и му́кой это сердце, не умевшее себя делить и такое ревнивое, что даже любовь животных к тому, кого любило оно, причиняло ему страдания.

Боясь себя выдать, Жермини не решалась заговорить с матушкой Жюпийон о поведении ее племянницы, но стоило ей остаться наедине с любовником, как начинались обвинения, жалобы, попреки. Она припоминала ему случайные жесты и слова, корила всем, что он сделал, сказал, ответил, каждым пустяком, забытым им, но продолжавшим терзать ее.

— С ума ты сошла! — говорил Жюпийон.— Она же еще девчонка!

— Девчонка, она? Брось, пожалуйста! Она так стреляет глазами, что все прохожие оборачиваются. Как-то я шла с ней и прямо готова была провалиться сквозь землю... Уж не знаю, как она это сделала, только за нами все время шел какой-то господин.

— Ну и что же? Она хорошенькая, вот и все.

— Хорошенькая? Хорошенькая? — При этих словах Жермини сатанела: она разражалась потоком ругательств, которые, словно когти дикой кошки, впивались в личико девушки и рвали его в клочки.

Часто сцена заканчивалась тем, что она говорила Жюпийону:

— Ты, наверно, ее любишь?

— Предположим. Дальше что? — отвечал молодой человек, которому даже нравились эти ссоры, этот рвущийся наружу безумный гнев, который он старался раздуть поддразниваньем. Он забавлялся, глядя, как, подхлестнутая его хладнокровием и издевкой, женщина теряла рассудок, говорила бог весть что, сходила с ума, билась головой о стенку.

Эти размолвки, которые повторялись и возобновлялись почти ежедневно, наложили глубокий отпечаток на характер Жермини, неуравновешенный, не принимавший сделок и соглашательства, на ее душевный склад, и без того склонный к крайностям. Любовь, в которую капля за каплей вливали яд, начала разлагаться, превращаться в злобу. Теперь Жермини временами ненавидела своего любовника и выискивала причины, которые усилили бы эту ненависть. Думая о дочери, о ее смерти, о при-

чинах этой утраты, она уверяла себя, что девочку погубил Жюпийон, что его руки — это руки убийцы. Содрогаясь от непередаваемого ужаса, она отдалялась от него, убегала, пряталась, как от проклятия своей жизни, как от человека, ставшего для нее олицетворением несчастья.

XXV

Однажды утром, истерзанная бессонной ночью и мыслями, полными ненависти и отчаянья, Жермини пошла в молочную купить, по обыкновению, молока на четыре су. В каморке за лавкой собралось несколько служанок, работавших по соседству и решивших *раздавить по стаканчику*; сидя за столом, они потягивали ликеры и сплетничали.

— А вот, и ты, мадемуазель де Варандейль! — сказала Адель, стукнув рюмкой по столу.

— Что это ты пьешь? — спросила Жермини, беря рюмку из рук Адели.— Я тоже хочу...

— У тебя сегодня в горле пересохло? Это водка с абсентом, всего-навсего, знаешь,— *утеха* моего *милепка,* душки военного... Он только это и пил. Здóрово, правда?

— Да,— сказала Жермини, облизываясь и щурясь, как ребенок, которому во время званого обеда позволили выпить на закуску рюмочку ликера.— Да, это приятно.— Ее немного затошнило.— Госпожа Жюпийон, дайте-ка бутылочку, я плачу.

Бросив деньги на стол и выпив три рюмки, она воскликнула: «Я *готова!*» — и, смеясь, ушла.

Мадемуазель де Варандейль отправилась в это утро за своей маленькой полугодичной рентой. Вернувшись в одиннадцать часов, она позвонила раз, другой: ей никто не открыл. «Жермини, верно, побежала в лавку»,— подумала она, открыла дверь своим ключом и прошла в спальню. Одеяла и простыни валялись на двух стульях, спускаясь до полу, а поперек перины, неподвижная и бесчувственная, как колода, лежала Жермини, внезапно сбитая с ног тяжелым сном.

При звуке шагов служанка вскочила, провела рукой по глазам.

— Да? — сказала она, словно ее кто-то позвал. Глаза у нее еще не проснулись.

— Что с тобой случилось? — воскликнула перепуганная мадемуазель де Варандейль.— Ты упала? Тебе нехорошо?

— Да нет,— ответила Жермини,— просто уснула... Который час? Ничего со мной не случилось... Как глупо!..

И она стала взбивать перину, повернувшись спиной к хозяйке, чтобы та не заметила на ее лице багрового румянца опьянения.

XXVI

Как-то, в воскресное утро, Жюпийон одевался у себя в комнате, обставленной для него Жермини. Г-жа Жюпийон, сидя, взирала на него с тем горделивым изумлением, которое всегда появляется в глазах простолюдинки, когда она смотрит на сына, наряженного *по-господски*.

— Ты одет под пару жильцу со второго этажа. Такое же пальто... Что и говорить, богатство тебе к лицу...

Жюпийон, занятый завязыванием галстука, ничего не ответил.

— Немало девчонок будет из-за тебя убиваться,— с вкрадчивой ласковостью продолжала матушка Жюпийон.— Послушай меня, сыночек, дрянной мальчишка: если девушки грешат, тем хуже для них. Это уж их дело, пусть сами выпутываются. Ты ведь мужчина, правда? И в самом соку, и собою хорош, и самостоятельный... Не могу же я всю жизнь держать тебя на привязи! Ну, я и подумала: что та, что эта — какая мне разница? И я на все закрыла глаза... Ладно, пусть будет Жермини... раз тебе нравится... Да и денежки целее — не промотаешь с дурными женщинами... И потом, прежде я не видела в ней ничего худого. Но теперь — дело другое. Все только и делают, что чешут языки. Чего только не наговаривают на нас! Змеи подколодные! Конечно, мы выше сплетен... Слава богу, я всю жизнь прожила как порядочная. Но никогда ведь не знаешь, как все обернется: вдруг мадемуазель да и сунет нос в эти дела!.. А мне стоит только вспомнить о полиции, как я вся обмираю. Что ты мне на это скажешь, сыночек?

— О чем разговор, мамаша! Делай, как считаешь нужным.

— Я всегда знала, что ты любишь свою дорогую мамочку! — воскликнула толстуха, целуя его.— Ну что ж... Пригласи ее сегодня к нам на обед... Поставь две бутылки нашего люнеля... который по два франка за бутылку... и бросается в голову... Пусть она обязательно придет... Приласкайся к ней... Пусть

думает, что сегодня у нее будет праздник... Надень красивые перчатки: у тебя в них такой достойный вид!

Жермини пришла к семи часам, счастливая, веселая, обнадеженная, полная радостного ожидания, внушенного таинственным видом, с которым Жюпийон передал ей приглашение матери. Они ели, пили вино, смеялись. Потом матушка Жюпийон начала бросать взволнованные, затуманенные, увлажненные слезами взгляды на чету, сидевшую напротив нее. За кофе она сказала сыну, словно для того, чтобы остаться наедине с Жермини:

— Сынок, ты помнишь, что у тебя сегодня есть дела?

Жюпийон ушел. Г-жа Жюпийон, попивая маленькими глоточками кофе, смотрела на Жермини так, как может смотреть только мать, которая ждет от дочки исповеди и заранее снисходительно дарит ей прощение. С минуту обе молчали: одна — ожидая, чтобы собеседница заговорила первой, другая — еле сдерживая рвущееся из сердца признание. Вдруг Жермини сорвалась со стула и бросилась в объятия своей жирной собеседницы:

— Госпожа Жюпийон, если бы вы только знали!..— Она говорила, плакала, целовала ее.— Не сердитесь на меня... Я его люблю. У меня был от него ребенок... Да, я его люблю! Вот уже три года...

С каждым словом Жермини лицо у г-жи Жюпийон становилось все холоднее и суровее. Она сухо отстранила ее и расслабленным, прерывистым голосом, полным горечи и безутешного отчаянья, стала ронять слова:

— Боже мой! Вы... говорите мне такие вещи... мне... его матери... прямо в лицо... Боже мой, за что? Мой сын! Ребенок, невинный ребенок!.. У вас хватило бесстыдства его развратить!.. И вы сами в этом признаётесь! Нет, это просто в голове не помещается! А я еще так вам доверялась! Как же мне теперь жить на свете? Значит, ни в ком нет правды? Нет, мадемуазель, никогда бы я на вас не подумала... Даже в глазах потемнело... Все нутро переворачивается... Я себя знаю, мне и заболеть недолго...

— Госпожа Жюпийон, госпожа Жюпийон! — умоляющим шепотом повторяла Жермини. Умирая от стыда и горя, она отошла от нее и снова села на стул.— Простите меня... Это было сильнее меня... И потом я думала... мне казалось...

— Вам казалось? О господи, вам казалось! Что вам казалось? Что вы выйдете замуж за моего сына? Великий боже! Мое бедное дитя, мыслимо ли это?

Нанося каждым словом рану Жермини, г-жа Жюпийон продолжала причитать:

— Голубушка моя, надо же понимать! Что́ я вам всегда твердила? Сбросьте десяток лет, вот тогда было бы о чем говорить. Сами посудите, ваш год, по вашим словам, тысяча восемьсот двадцатый, а у нас сейчас сорок девятый... Вам идет тридцатый год, красавица моя! Мне, конечно, неприятно говорить вам это... не хочется вас расстраивать... Но посмотрите на себя, бедняжечка... Что тут поделаешь? Это ведь не шуточный возраст... Ваши волосы... Смотрите, как они поредели у пробора!

— Но ваш сын у меня в долгу! — сказала Жермини, в которой начала закипать ярость.— Деньги... Деньги, которые я сняла с книжки, заняла для него, деньги, которые я...

— Деньги? Какие деньги он вам должен? Ах, те, за мастерскую? Так вот вы какая! Вы, значит, думаете, что мы воры? А разве мы отказываемся расплатиться с вами? Хотя, кстати сказать, никакой бумажки у вас нет... Я как раз вспомнила... Мой сын... он такой честный мальчик, что даже хотел написать расписку на случай, если умрет. И так, с места в карьер, назвать нас мошенниками!.. Боже мой, какие настали времена! Да, я хорошо наказана за доброе отношение к вам! Но уж теперь-то меня никто не проведет! Вы хитрая, вы хотели купить моего сына, и к тому же на всю жизнь! Ну нет, простите! Благодарим покорно! Дешевле отдать вам ваши деньги! Объедки какого-то официанта из кафе!.. Бедный мой сыночек!.. Да сохранит его господь!

Жермини сорвала с крючка шаль и шляпу и выскочила из молочной.

XXVII

Мадемуазель сидела в глубоком кресле у камина, где под пеплом всегда тлело несколько угольков. Черная наколка, сдвинутая почти до бровей, скрывала ее морщинистый лоб. Черное, прямое, как футляр, платье, подчеркивало выпирающие кости, жалко морщилось на жалкой худобе ее тела, прямыми складками падало с колен; узкая черная шаль, скрещиваясь на груди, сзади была завязана узлом, как у маленькой девочки. Руки мадемуазель лежали на коленях, ладонями кверху,— бессильные старческие руки, неловкие, негнущиеся, узловатые, с распухшими от подагры кистями и суставами пальцев. Она сидела смиренно и устало сгорбившись,— когда старики сидят в такой позе, им приходится поднимать голову, чтобы обратиться

к собеседнику или взглянуть на него,— скрытая, точно погребенная, черной одеждой, оттенявшей окрашенное желчью лицо цвета слоновой кости и теплую ясность карих глаз. Эти живые, веселые глаза, это немощное тело и нищенское платье, это умение благородно нести тяготы дряхлости придавали мадемуазель сходство с доброй старой феей.

Жермини была тут же, рядом с хозяйкой.

— Жермини, лежит под дверью валик? — обратилась старуха к служанке.

— Да, барышня.

— Знаешь ли, дочь моя,— помолчав, снова заговорила мадемуазель де Варандейль,— знаешь ли ты, что, если женщина родилась в одном из красивейших особняков на улице Рояль... если ей должны были принадлежать Гран Шароле и Птп Шароле... если к ней должен был перейти замок Клиши-ла-Гарен... если два лакея с трудом несли серебряное блюдо, на котором подавалось жаркое у ее бабушки... знаешь ли ты, что нужно очень философски ко всему относиться,— тут мадемуазель с трудом провела руками по плечам,— чтобы вот так кончать существование... в этом чертовом логове насморков, где, сколько ни клади валиков, непрерывные сквозняки... Так, так, раздуй немного огонь.— Протянув ноги к Жермини, стоявшей на коленях перед камином, она, смеясь, сунула их под нос служанке.— Знаешь ли ты, что нужно весьма философски ко всему относиться, чтобы носить дырявые чулки? Дуреха! Я вовсе не ворчу на тебя! Я знаю, у тебя дел по горло. Но ты могла бы нанять женщину для починки... Это не так уж трудно... Почему бы не позвать ту девчурку, которая приходила в прошлом году?. Мне понравилось ее личико.

— Она черна как галка, барышня.

— Так я и знала! Тебе ведь не угодишь!.. Разве это не правда? Она как будто племянница матушки Жюпийон? Ее можно было бы приглашать раз... два раза в неделю...

— Ноги́ этой потаскухи здесь больше не будет.

— Ну и ну! Нет, ты просто неподражаема! Сперва обожаешь человека, а потом смотреть на него не можешь... Что она тебе сделала?

— Говорю вам, она уличная дрянь.

— А какое это имеет отношение к моему белью?

— Но, барышня...

— Ну, хорошо, найди мне другую женщину. Я вовсе не настаиваю на этой. Но найди кого-нибудь!

— Все поденщицы лентяйки. Я сама вам починю. Никого не нужно нанимать.

— Ты? Ну, если мы будем рассчитывать на твою починку... — весело сказала мадемуазель. — И потом, разве матушка Жюпийон даст тебе возможность?..

— Госпожа Жюпийон? Да я пальцем для нее не пошевелю!

— Как? И она тоже? Ты и ее невзлюбила? Ну и дела! Пожалуйста, найди себе поскорее новых знакомых, иначе, разрази меня господь, нам предстоят невеселые дни.

XXVIII

Действительно, мадемуазель де Варандейль пришлось столько вытерпеть зимой, что она вполне могла рассчитывать на место в раю. Жермини срывала на ней все свои невзгоды, горечь, скрытую му́ку, нервное возбуждение, которое с наступлением весны превратилось в какое-то злое безумие: так обычно действует на людей неуравновешенных самое беспокойное из времен года, волнующее, вселяющее тревогу оплодотворение земли и ее расцвет.

В глазах у Жермини появилось усталое выражение, свойственное людям, уже не плачущим, но много плакавшим прежде. Она упрямо отвечала: «Ничего со мной не происходит, барышня!» — тем глухим голосом, который говорит о чем-то глубоко затаенном. Ее позы выражали немое отчаянье, жесты — безнадежность, лицо — ту степень угнетения, когда женщине становится невыносима ее собственная тень. Ее фигура, глаза, рот, складки платья, ее присутствие в спальне или звук шагов в соседней комнате, где она что-то делала, даже ее молчание как бы окутывали мадемуазель атмосферой скорби. Каждое слово выводило Жермини из себя. Мадемуазель не смела сделать ей замечание, попросить о чем-нибудь, чего-то захотеть или потребовать: все воспринималось служанкой как упрек. Она сразу начинала бушевать и, плача, приговаривала: «Какая же я несчастная! Вы, я вижу, меня больше не любите!» И то, что *сушило ей сердце,* изливалось в неподражаемой по своей бессмысленности воркотне. «Вечно она приплетется, когда идет дождь!» — брюзжала Жермини, увидев комочек грязи, оставленный г-жой де Беллез на ковре. В первую неделю января, в ту неделю, когда все без исключения близкие и дальние родственники мадемуазель де Варандейль, самые богатые и самые бедные, поднимались к ней на шестой этаж и ждали возле входной двери своей очереди присесть на один из шести стульев ее

гостиной, Жермини пришла в особенно дурное настроение, все время дерзила и жаловалась на судьбу. Неустанно придумывая все новые обиды, будто бы нанесенные ей хозяйкой, она казнила последнюю ожесточенным молчанием. В такие часы она накидывалась на работу. Сквозь прикрытую дверь до мадемуазель доносилось яростное шуршанье метлы и пыльной тряпки, скрипы, резкие стуки, нервные шаги служанки, которая, сердито передвигая мебель, как будто говорила: «Уж я тебе приберу комнату!»

Старые люди терпеливы к слугам, живущим у них по многу лет. Привычка, ослабевшая воля, страх перед переменами, боязнь новых лиц — все располагает их к поблажкам, к уступкам, к соглашательству. Несмотря на свою резкость, способность вспылить, взорваться, нашуметь, мадемуазель не пыталась возражать Жермини и словно ничего не видела. Когда Жермини входила, она делала вид, что читает, и ждала, укрывшись в кресле, как в раковине, чтобы недовольство служанки прошло или вырвалось наружу. Она смиренно склонялась перед налетающей грозой, не позволяя себе ни единого горького слова, ни единой горькой мысли по адресу Жермини. Она только сокрушалась, что причиняет ей так много огорчений.

Объяснялось это тем, что Жермини была для мадемуазель не служанкой, а олицетворенной преданностью, человеком, который когда-нибудь закроет ей глаза. Обособленная от людей, забытая смертью старуха, в одиночестве дошедшая до конца жизненного пути, отдававшая свою нежность только могилам, нашла в ней последнего своего друга. Она подарила ей сердце так, как могла бы подарить его приемной дочери, и больше всего огорчалась, когда не могла ее утешить. К тому же Жермини иногда словно вырывалась на поверхность из глубин своего мрачного уныния и дурного расположения духа и бросалась к мадемуазель, потрясенная ее добротой. Под влиянием солнечного луча, песенки нищего, одного из тех пустяков, которые, мелькнув, умягчают душу, она разражалась слезами и начинала осыпать свою хозяйку ласками. Это была бурная нежность, радостная потребность целовать, похожая на всеискупающее счастье возрождения. Иной раз поводом для этого была болезнь мадемуазель: на сцену тогда немедленно выходила прежняя Жермини, улыбающаяся и бережная. Случалось, что в такие минуты мадемуазель спрашивала ее: «Послушай, дочь моя, что с тобой происходит? Скажи мне, в чем дело?» — «Ничего, барышня. Это просто погода»,— отвечала Жермини. «Погода? — недоверчиво повторяла мадемуазель.— Погода...»

XXIX

Мартовским вечером мать и сын Жюпийоны, сидя у печки в каморке за лавкой, совещались.

Жюпийону только что выпал жребий идти в солдаты. Деньги, отложенные г-жой Жюпийон на выкуп сына, разошлись, так как последние полгода дела ее шли прескверно: приходилось продавать в кредит лореткам, а они съезжали без предупреждения, оставив ключ от комнаты под циновкой у входной двери. Дела Жюпийона тоже были так плохи, что ему вот-вот грозила опись имущества. Днем он побывал у своего прежнего хозяина и попросил дать взаймы сумму, необходимую, чтобы нанять замену, но старый торговец парфюмерией, не простивший молодому человеку того, что тот ушел от него и открыл собственное заведение, наотрез отказал ему в деньгах.

Матушка Жюпийон, в полном отчаянье, хныкала и причитала. Она повторяла номер, вытащенный сыном при жеребьевке, и жаловалась:

— Двадцать два... Двадцать два... А ведь я зашила тебе на счастье в пальто черного паука, *бархатника,* вместе с паутиной. Лучше бы я послушалась советов и зашила твой крестильный чепчик... Нет, господь несправедлив! Ведь сын фруктовщицы вытащил пустышку! Вот и будь после этого честной! А эти две мерзавки из восемнадцатого, которые сбежали с моими деньгами! Недаром они так пожимали мне руки. Ты знаешь, они нагрели меня больше чем на семьсот франков! А черномазая, которая жила напротив!.. А эта дрянная пигалица — у нее хватило наглости покупать землянику по двадцать франков за корзиночку!.. Сколько эти девки вытянули из меня!.. Но еще не все пропало, ты пока что не уехал. Лучше уж я продам лавку, буду работать поденно, готовить, убирать, делать что угодно... Для тебя я из камня выжму деньги!

Жюпийон курил, не прерывая сетований матери.

— Хватит, мамаша,— сказал он, когда она замолчала.— Все это слова. Ты только портишь себе пищеварение, а какой в этом прок? Ничего тебе не надо продавать, и незачем лезть в петлю. Хочешь биться об заклад, что я куплю себе замену и при этом мы не истратим ни единой монеты?

— Иисусе Христе!

— У меня есть одна мыслишка.— Помолчав, Жюпийон продолжал: — Я не хотел ссориться с тобой из-за Жермини... С тех пор как начались все эти сплетни... ты считала, что пора

мне разделаться с нею... что она втянет нас в неприятности... и ты выставила ее за дверь. Я придерживался другого мнения... понимал, что из нее еще можно кое-что вытрясти. Но ты думала, так будет лучше... И, может, так действительно лучше: вместо того чтобы успокоить ее, ты подбросила жару в огонь. И какого жару! Я ее видел пару раз... Она так изменилась... прямо высохла.

— Но ты же знаешь, что у нее не осталось ни гроша.

— У нее-то, конечно, не осталось... Ну и что из этого? Она раздобудет. Две тысячи триста монет она еще стóит.

— А если ты окажешься замешанным в это дело?

— Ну, она их не украдет!

— Ты уверен?

— А если и украдет, то у своей госпожи. Ты, что же, думаешь, мадемуазель засадит ее за это? Выгонит, в крайнем случае, и все дело. Мы посоветуем ей для поправки здоровья переехать в другой район... да... и больше не будем с ней знаться. Но она не так глупа, чтобы украсть. Как-нибудь устроится — возьмет взаймы, обернется... В общем, не знаю как, это уж ее забота. Пусть покажет, на что способна. К тому же ты слышала, говорят, что ее старуха больна. Вдруг этот божий одуванчик протянет ноги и впрямь оставит ей все добро? Мы же будем локти себе кусать, если расплюемся с ней и такое случится! Нет, мамаша, когда на человека вот-вот свалится рента в несколько тысчонок, перед ним надо на цыпочках ходить.

— Боже мой... можешь мне не объяснять! Но после того, что я ей устроила... Нет, нет, она больше не захочет прийти сюда.

— Ну так вот, я тебе ее приведу, и не позже, чем сегодня вечером,— сказал Жюпийон, вставая и вертя в пальцах сигарету.— Только знаешь что? Не вздумай извиняться, это бесполезно. Будь попрохладней. Сделай вид, что принимаешь ее только ради меня, из материнской слабости. Кто знает, как это все обернется; надо держать ухо востро.

XXX

Жюпийон прохаживался взад и вперед по тротуару перед домом Жермини.

— Добрый вечер, Жермини! — окликнул он ее, когда она вышла.

Она обернулась так, словно ее сзади кто-то ударил, и, не

отвечая, бессознательно продолжала идти, словно пытаясь убежать.

— Жермини!

Жюпийон произнес только ее имя, не двигаясь с места, не думая догонять. Она подошла к нему, как собака, которую хозяин потянул за сворку.

— Зачем ты пришел? — спросила она.— Деньги понадобились? Или хочешь пересказать какие-нибудь глупости твоей матери?

— Нет, просто я уезжаю,— с серьезным видом сказал Жюпийон.— Я вытащил жребий... и уезжаю.

— Уезжаешь? — повторила она. Казалось, до нее не дошел смысл этого слова.

— Слушай, Жермини,— снова заговорил Жюпийон.— Я обидел тебя... был нехорош с тобой... Знаю... Немножко виновата кузина... тут ничего не скажешь.

— Ты уезжаешь? — Жермини взяла его под руку.— Не лги... Ты уезжаешь?

— Говорю тебе, что уезжаю. Это правда. Я только жду сопроводительного листка. В этом году, чтобы нанять замену, нужно больше двух тысяч франков. Ходят слухи, будто война на носу. Словом, мало ли что может случиться.

Говоря это, он вел Жермини по направлению к молочной.

— Куда ты меня ведешь? — спросила она.

— Как куда? К мамаше, конечно! Я хочу, чтобы вы помирились. Хватит с меня этих историй!

— После того, что она мне наговорила? Ни за что! — Жермини оттолкнула руку Жюпийона.

— Ну что ж, в таком случае прощай.— И он приподнял кепи.— Написать тебе из полка?

Жермини секунду помолчала, колеблясь.

— Пойдем! — отрывисто сказала она и, сделав ему знак идти рядом с ней, зашагала в обратном направлении.

Они шли бок о бок и молчали. Перед ними расстилалась мощеная дорога, все отступавшая, уходившая вдаль между двумя линиями фонарей, между двумя рядами искривленных деревьев, которые протягивали к небу горсть сухих веток и чертили на высоких гладких стенах домов истонченные неподвижные тени. Они долго брели под неласковым небом, на которое снег бросал холодные отсветы, углублялись в туманность, безвестность, беспредельность улицы, тянувшейся вдоль тех же стен, тех же деревьев, тех же фонарей, уводившей в ту же тьму. Они вдыхали тяжелый воздух, оставлявший во рту привкус

сахара, сажи и падали. Порою их глаза словно ослепляла молния: мимо них проезжала повозка с зажженным фонарем, ронявшим лучи света на освежеванных животных и на кровавые куски мяса, которые высились над крупом белой лошади. Это пламя во мраке, плясавшее на тушах, было подобно пламени пурпурного пожара, докрасна раскаленного горна.

— Что ты надумала? — спросил наконец Жюпийон.— Это твоя улица Трюден что-то действует мне на нервы.

— Идем дальше,— ответила Жермини.

И, не прибавив больше ни слова, она вновь зашагала быстро, порывисто, стремительно, в такт мыслям, проносившимся у нее в голове. Чувства превращались в движение, душевное волнение передавалось ее ногам, смятенность — рукам. Ее тень, неотступно следовавшая за ней, казалась порой тенью сумасшедшей. Несколько прохожих замедлили шаги, посмотрели ей вслед, потом, как истые парижане, пошли дальше.

Внезапно она остановилась и махнула рукой с отчаянной решимостью.

— Ах, боже мой, не все ли равно! — воскликнула она.— Лишняя капля в море. Вернемся.— Она снова взяла Жюпийона под руку.

— Я знаю,— сказал Жюпийон, когда они подходили к молочной,— мать обошлась с тобой несправедливо. Видишь ли, она всю жизнь была слишком порядочной женщиной... Она не знает, не понимает... И потом, тебе-то я могу сказать, в чем тут соль: она так меня любит, что ревнует ко всем другим женщинам, которые меня любят. Входи же.

Он подтолкнул Жермини к госпоже Жюпийон, которая обняла ее, бормоча какие-то извинения, и поспешила заплакать, чтобы выйти из замешательства и придать этой сцене бо́льшую трогательность.

Весь вечер Жермини так смотрела на Жюпийона, что ему стало не по себе.

— Слушай,— сказал он, провожая ее,— брось ты убиваться. В этом мире нужно ко всему относиться спокойно. Ну, хорошо, я вытащил жребий,— что тут страшного? Правда, оттуда не всегда возвращаются... Но в конце концов... Мне еще гулять две недели, давай хорошенько позабавимся напоследок. Что взято у жизни, то взято... А если я не вернусь... по крайней мере, помянешь меня добрым словом.

Жермини ничего не ответила.

XXXI

Жермини не появлялась в молочной целую неделю.

Жюпийоны, видя, что ее все нет, постепенно начали приходить в отчаянье. Наконец однажды, около половины одиннадцатого вечера, она распахнула дверь, прошла, не здороваясь, к столику, за которым в полудремоте сидели мать и сын, и положила перед ними старую холщовую тряпку, которую крепко держала за уголки. В тряпке что-то зазвенело.

— Вот! — сказала она.

Разжав руку, она вытрясла все, что было в тряпке, и на стол посыпались засаленные, подклеенные и подколотые сзади булавками ассигнации, позеленевшие от времени луидоры, черные, как земля, монеты в сто су, в сорок су, в десять су — деньги бедняков, деньги тружеников, деньги из копилок, деньги, перепачканные перепачканными руками, затасканные в кожаных кошельках, стертые в ящиках касс, наполненных разменной монетой, деньги, пропахшие по́том. С минуту Жермини смотрела на все это, словно не веря собственным глазам, потом грустным и тихим голосом, голосом истинного самопожертвования, просто сказала госпоже Жюпийон:

— Все-таки достала... Две тысячи триста франков... Чтобы его выкупить.

— Дорогая Жермини! — воскликнула толстуха, задыхаясь от наплыва чувств. Она бросилась обнимать Жермини; та ее не отталкивала.— Поужинайте с нами, выпейте хоть чашечку кофе!

— Нет, спасибо,— сказала Жермини,— я ног под собой не чувствую. Ну и пришлось мне побегать, чтобы их собрать! Пойду лягу... А кофе — в другой раз.

И она ушла.

Ей, действительно, пришлось, как она выразилась, «побегать», чтобы принести Жюпийонам подобную сумму, пришлось совершить настоящий подвиг — раздобыть две тысячи триста франков, две тысячи триста, когда у нее самой не было и пяти франков! Она достала их, выклянчила, вырвала по одному франку, по одному су. Она набрала их, наскребла у всех понемногу, занимала где двести, где сто, где пятьдесят, где двадцать франков,— сколько давали, столько брала. Она обращалась к привратнику, к бакалейщику, к фруктовщице, к торговке дичью, к прачке; она обращалась к торговцам с той улицы, где жила мадемуазель теперь, к торговцам с той улицы, где жила с ней раньше. Она не обошла никого, даже полунищего водо-

носа. Она стучалась во все двери, смиренно упрашивала, умоляла, выдумывала небылицы, умирая от стыда, потому что лгала и знала, что ей не верят. Унизительные признания в том, что у нее нет сбережений,— до сих пор все считали, что Жермини откладывает деньги, и она из гордости этого не отрицала,— сочувствие людей, на которых она смотрела свысока, отказы, подачки,— она все терпела, и не один раз от одного человека, а десятки раз от десятков людей. Если только ей давали деньги или была надежда, что дадут, она шла на то, на что не пошла бы ради куска хлеба.

Наконец деньги были собраны, но она попала к ним в подчинение, в вечное рабство. Она принадлежала обязательствам, которые взяла на себя, услугам, оказанным ей владельцами лавок, хорошо знавшими, что́ они делают. Она принадлежала долгам, которые ей предстояло ежегодно выплачивать.

Жермини понимала это, понимала, что на них уйдет все ее жалованье, что при лихоимстве заимодавцев, которым она предоставила полную свободу действий, при тех расписках, которые они с нее взяли, трехсот франков, получаемых ею от мадемуазель, хватит лишь на то, чтобы оплатить проценты с двух тысяч трехсот франков. Она знала, что будет в долгу, вечно в долгу, что навсегда обречена лишениям, нужде, урезыванию себя в одежде, в насущных своих потребностях. Насчет Жюнийонов у нее было так же мало иллюзий, как насчет своего будущего. Жермини чувствовала, что деньги, отданные им, можно считать потерянными. Она даже не рассчитывала на то, что ее самопожертвование тронет молодого человека, просто действовала по первому побуждению. Скажи ей кто-нибудь, что она может выкупить его своей смертью,— и она умерла бы. Мысль об ожидавшей его солдатской судьбе, о поле боя, о пушках, о раненых — мысль, перед которой женщины в ужасе закрывают глаза,— заставила ее сделать то, что было еще страшнее смерти: продать ради этого человека свою жизнь, приговорить себя к нескончаемым терзаниям.

XXXII

Нервные недуги обычно влекут за собой расстройство всего механизма человеческих радостей и печалей, преувеличенность, несоразмерность чувств, утрату равновесия. Под влиянием болезненной восприимчивости все ощущения, утончившись и одухотворившись, как бы переходят в своей остроте за грани и пре-

делы, установленные природой, и, достигнув небывалой изощренности, порождают некую беспредельность в способности радоваться и страдать. В тех редких случаях, когда Жермини теперь чему-нибудь радовалась, она радовалась как безумная, хмелела от радости, со всеми внешними проявлениями опьянения.

— Слушай, дочь моя,— невольно останавливала ее мадемуазель,— можно подумать, что ты пьяна!

— Уж если веселиться, то как следует,— отвечала Жермини. А когда она снова погружалась в свои заботы, муки, тревоги, ее отчаяние было еще неудержимее, буйнее, безрассуднее, чем веселье.

Пришел час, когда страшная истина, которая на миг предстала перед Жермини, а потом опять окуталась завесой иллюзий, явилась ей во всей наготе. Она поняла, что не смогла привязать к себе Жюпийона ни тем, что так преданно его любила, ни тем, что все ему отдала, пошла на денежные жертвы, которые, ввергнув ее в неоплатные долги, принесли с собой вечные страхи и волнения. Она почувствовала, что его ласки вынуждены, что они унизительны, как милостыня. Когда она сообщила ему, что снова беременна, этот человек, которого она второй раз должна была сделать отцом, заметил: «Веселенькая ты женщина! Только и знаешь, что рожать!» Жермини терзали мысли и подозрения, не могущие не терзать истинную любовь, когда ее обманывают, предчувствия, идущие из глубины сердца и твердящие женщине о том, что она не одна владеет любовником и что существует, должна существовать другая.

Она больше не жаловалась, не плакала, не упрекала. Она отказалась от борьбы с этим человеком, который был вооружен холодом и так умел ледяной издевкой развращенного юнца оскорбить ее страсть, ее порыв, ее безудержную нежность. С покорным ужасом она ждала — чего? Она сама не знала. Возможно, того, чтобы он ее отверг.

Измученная, безмолвная, она шпионила за Жюпийоном, следила, наблюдала, стараясь застать его врасплох и вырвать у него признание вскользь брошенным словом. Она ходила вокруг да около, ничего не видя, не улавливая, не обнаруживая и все же твердо зная, что у него есть какая-то тайна и что ее страхи основательны: она нутром чуяла присутствие другой женщины.

Однажды утром, выйдя на улицу раньше обыкновенного, она увидела впереди на тротуаре Жюпийона. Он был в пальто и на ходу оглядывал себя. Время от времени он подтягивал края брюк, чтобы полюбоваться блеском башмаков. Она пошла за

ним. Он шагал не оглядываясь. Так они добрались до площади Бреда́. Там, рядом со стоянкой фиакров, прохаживалась какая-то женщина. Жермини видела ее только со спины. Жюпийон подошел прямо к женщине; она оглянулась,— это была кузина. Сперва они гуляли рядышком взад и вперед по площади, потом по улице Бреда́ направились к улице Наварен. Девушка взяла Жюпийона под руку. Вначале она не опиралась на нее, но постепенно начала все больше клониться к молодому человеку, словно ветка, которую сгибают, и наконец совсем к нему прильнула. Двигались они медленно, так медленно, что порою Жермини приходилось останавливаться, чтобы не нагнать их. Пройдя по улице Мартир, они пересекли улицу Тур д'Овернь, вышли на улицу Монтолон. Жюпийон что-то говорил, кузина молчала, слушала его с рассеянным видом, как женщина, нюхающая цветы, а порою озиралась по сторонам, бросая взгляды, полные детского страха.

На улице Ламартина, у самого пассажа Де-Сер, они повернули назад. Жермини едва успела юркнуть в какую-то подворотню. Они прошли, не заметив ее. Девушка была серьезна, двигалась нехотя. Жюпийон что-то шептал ей, почти касаясь губами ее уха. Они на секунду остановились. Жюпийон жестикулировал, она не отрывала глаз от тротуара. Жермини решила, что молодые люди сейчас попрощаются, но они начали ходить взад и вперед мимо пассажа Де-Сер. Наконец они свернули в него. Жермини выскочила из своего укрытия, кинулась вслед за ними; сквозь решетку, преграждающую вход, она увидела подол платья, мелькнувший в дверях маленькой гостиницы, расположенной рядом с винной лавкой. Она подбежала к этой двери, загляпула в нее — никого нет! Тогда вся кровь бросилась ей в голову, а губы стали бессмысленно повторять: «Купоросом... купоросом... купоросом...» Охваченная одним-единственным желанием, которое ее мозг тут же превратил в действие, она видела, как совершается преступление: вот она идет по лестнице... под шалью у нее бутылка... она колотит в дверь... наконец раздаются шаги... он приоткрывает дверь... она не называет его по имени, молчит... проходит, не обращая на него внимания... у нее хватило бы сил его убить... но она идет к кровати, к *ней*... Она берет ее за руку, говорит: «Да, это я... Ты у меня попляшешь!» Жермини, ликуя, смотрит, как отмечает купорос это лицо, грудь, кожу, как он жжет, уродует, калечит, превращает в нечто нечеловечески страшное все, что было в девушке молодого, прекрасного, созданного для любви! Бутылка пуста, а Жермини хохочет!.. Душой и телом во власти

страшного видения, она бессознательно вышла из пассажа, зашагала по улице, свернула в бакалейную лавку. Битых десять минут простояла она у прилавка, глядя невидящими глазами,— пустыми, устремленными вдаль глазами убийцы.

— Послушайте, что вам нужно? — нетерпеливо спросила бакалейщица, испуганная этой неподвижной фигурой.

— Что мне нужно? — переспросила Жермини. Она была так полна, так одержима своим желанием, что ей казалось, будто она уже попросила купоросу.— Что мне нужно? — Она провела рукой по лбу.— Я уже не помню...

И, шатаясь, вышла из лавки.

XXXIII

В эту мучительную пору своей жизни, истерзанная, исстрадавшаяся Жермини, пытаясь хоть чем-то разогнать мрак неотступных мыслей, пристрастилась к вину, предложенному однажды Аделью и подарившему ей целое утро забвения. С того дня она начала пить. Она пила на маленьких утренних *выпивонах* вместе с горничными лореток, пила то с одной знакомой, то с другой, пила с мужчинами, забегавшими в молочную позавтракать, пила с Аделью, которая, привыкнув пить, как мужчина, подло радовалась тому, что служанка честной женщины опускается до одного с ней уровня.

Сперва, для того чтобы пить, Жермини нужно было веселье, общество, звон рюмок, шумные разговоры, соленые шутки. Потом она научилась пить одна. Тогда она начала приносить домой под передником заветную бутылочку, прятала ее в каком-нибудь укромном месте на кухне и потом выпивала; она пила одиноко и безнадежно смесь белого вина с водкой и тянула ее до тех пор, пока не обретала то, что было ей нужно: сон.

Ибо Жермини стремилась не к лихорадочному, счастливому возбуждению, не к бессмысленному довольству существованием, не к чуткой, полной сновидений дреме легкого опьянения; нет, она искала и жаждала черного счастья глубокого сна, сна беспробудного и беспамятного, свинцового сна, который сбивал ее с ног, как сбивает быка удар обуха... В винных смесях она находила сон, который мгновенно валил ее, так что она засыпала, уткнувшись лицом в клеенку кухонного стола.

Это полное забытье, подобное ночи среди бела дня, приносило Жермини отдых и освобождение от жизни, которую она не в силах была ни вести, ни прекратить. Просыпаясь, она чув-

ствовала только одно: бесконечную потребность в небытии. Часы, когда она жила, полностью владея собой, видя себя со стороны, заглядывая в свою совесть, понимая свой позор, были так чудовищно страшны! Ей казалось, что уж лучше их умертвить. Забвение ей приносил один только сон, отравленный сон пьянства, которое умеет баюкать не хуже, чем сама смерть.

В стакане водки, который она принуждала себя проглотить и который опоражнивала как одержимая, исчезали, тонули все ее страдания, вся боль, все ее ужасное настоящее. Через полчаса мозг перестанет работать, жизнь — существовать, Жермини уже не будет собой и даже время — и то остановится. «Я топлю в вине свои беды»,— ответила она женщине, сказавшей ей, что она погубит здоровье. А так как похмелье, следовавшее за опьянением, несло ей еще более мучительное сознание падения, вызывало еще более острое отчаяние, более острую ненависть к своим проступкам и несчастьям, она начала искать спиртные напитки покрепче, водку — поядовитей, пила даже чистый абсент, только бы впасть в глубокую летаргию, добиться полной бесчувственности.

Кончилось тем, что половину дня она пребывала в забытьи, из которого выходила сонная, отупевшая, ничего не соображающая. Руки ее работали только по привычке, жесты были похожи на жесты сомнамбулы, тело и душа находились в том состоянии, в каком они бывают ранним утром, когда мысль, воля, воспоминания все еще не могут сбросить с себя смутного оцепенения дремы.

XXXIV

Прошло полчаса после этой страшной встречи, когда, доведенная до грани преступления, Жермини жаждала изуродовать соперницу купоросом и как бы уже ее изуродовала. Возвращаясь домой, на улицу Лаваль, она по дороге купила у бакалейщика бутылку водки.

Последние две недели она была полной хозяйкой в квартире и могла пить и напиваться, сколько ей хотелось. Мадемуазель де Варандейль, как правило, никуда не уезжавшая, тут, вопреки всем обыкновениям, отправилась на полтора месяца в провинцию к своей старинной приятельнице. Она не взяла с собой Жермини, боясь подать дурной пример и вызвать зависть в других слугах, не привыкших к такому мягкому и заботливому обращению.

Жермини вошла в спальню к мадемуазель, сбросила на пол

шляпу и шаль и тут же присосалась к горлышку бутылки; она жадно тянула водку, пока комната не завертелась у нее перед глазами и все, что произошло в этот день, не исчезло из памяти. Тогда, шатаясь, еле держась на ногах, она попыталась взгромоздиться на кровать хозяйки, но хмель толкнул ее на ночной столик. Она упала и мгновенно захрапела. При падении Жермини так сильно ударилась, что ночью у нее сделался выкидыш и началось страшное, грозившее гибелью кровотечение. Она хотела подняться, подойти к окну, позвать на помощь, пыталась встать на ноги, но не смогла. Она чувствовала, что мягко и бесшумно скользит, катится, погружается в бездну смерти. Последним напряжением воли она заставила себя подползти к входной двери, но у нее не хватило сил дотянуться до замка или крикнуть. Она, конечно, погибла бы, если бы утром Адель, проходя мимо, не встревожилась, услышав какой-то стон, не позвала слесаря, который открыл дверь, и акушерку, которая спасла умирающую.

Когда через месяц вернулась мадемуазель, Жермини уже встала с постели, но была так слаба, что ей ежеминутно приходилось садиться, и до того бледна, точно в жилах у нее текла вода. Она сказала, что чуть не умерла от потери крови, и мадемуазель ничего не заподозрила.

XXXV

Жермини встретила мадемуазель растроганными ласками и горючими слезами. Она была нежна, как больной ребенок: та же томная кротость, тот же умоляющий взгляд, та же робкая, пугливая печать страдания. Ее бледные руки с голубыми венами все время тянулись к мадемуазель. Она подходила к ней с благоговейным и боязливым смирением. Чаще всего она усаживалась на низенькой скамеечке напротив своей госпожи и смотрела на нее снизу вверх по-собачьи преданным взглядом, потом внезапно вскакивала, целовала край платья мадемуазель де Варандейль, снова садилась и через минуту снова вскакивала.

В этих ласках и поцелуях была и му́ка, и мольба о прощении. Смерть, которая явилась Жермини в образе существа, чьи шаги неотвратимо приближались к ней, дни болезни, когда, одиноко лежа в постели и перебирая свою жизнь, она воскрешала прошлое, стыд при мысли о том, что она скрыла от мадемуазель, страх перед божьим судом, рожденный былым благочестием, терзания и ужасы, не дающие покоя страдальцу в час

агонии,— все это превратило ее совесть в кровоточащую рану, и угрызения, которые она так и не смогла убить в себе, теперь обрели новую силу и громко кричали в ней, ослабевшей, смятенной, почти оторвавшейся от жизни и не верящей в то, что снова к ней прирастет.

Жермини не принадлежала к счастливым женщинам, которые, совершив грех, тут же забывают о нем, никогда не возвращаются горестной мыслью к содеянному. Она не была похожа на Адель, не принадлежала к тем грубо организованным материальным натурам, которым доступны одни только животные страсти. Совесть Жермини не умела уйти от страданий, замкнуться в непроницаемой тупости и бесчувственности, в которой так часто прозябают простодушные грешницы. Болезненная чувствительность, какая-то возбудимость мозга, склонность непрерывно тревожиться, думать, волноваться, ощущать горечь, быть недовольной собой, моральная требовательность, возраставшая после каждого проступка, душевная тонкость, избирательность, уязвимость — все эти свойства, соединившись, с каждым днем все безжалостней пытали Жермини и все глубже погружали ее в отчаянье по таким поводам, которые у большинства ей подобных никогда бы не вызвали столь длительных мук.

Жермини сдавалась порывам страсти, но, сдавшись, сразу начинала себя презирать. Даже в минуты наслаждения она не могла забыться, убежать от этого презрения. Перед ее глазами внезапно возникал образ мадемуазель, ее строгое и в то же время исполненное материнской нежности лицо. Все ниже падая, все больше утрачивая порядочность, Жермини тем не менее не теряла стыда. Порок, завладев ею, не уничтожил в ней гадливости и ужаса, привычка не принесла с собой отупения. Запятнанная совесть восставала против пятен, не мирилась с позором, терзалась раскаяньем, не позволяла хотя бы на секунду полностью упиться низменными удовольствиями, безоговорочно принять свое падение.

Поэтому, когда мадемуазель, не думая о том, что Жермини — всего-навсего служанка, склонялась к ней с грубоватой лаской в голосе и движениях, словно принимая ее к себе в сердце, та внезапно заливалась краской и, охваченная трепещущей застенчивостью, теряла дар речи, впадая в какой-то идиотизм от гнетущего сознания своей недостойности. Под любым предлогом она старалась уклониться, спрятаться от этой, так постыдно обманутой, любви, которая, обволакивая ее, будила и поднимала со дна души угрызения совести.

XXXVI

Удивительнее всего было то, что эта порочная и трагическая жизнь, изувеченная и низменная, оставалась тайной для мадемуазель де Варандейль. Ничем себя не выдавая, ни о чем не проговариваясь, следя за каждым взглядом, за каждым жестом, Жермини замуровала в себе горькую правду своего существования.

Однако мадемуазель порою смутно ощущала, что ее служанка не все ей рассказывает, о чем-то умалчивает, хранит какой-то секрет. Иногда в ней рождалось сомнение, недоверие, смутное беспокойство, ощущение, что еще минута — и она о чем-то догадается, набредет на след, ведущий вдаль и пропадающий во мгле. То ей чудилось, что в Жермини есть нечто глубоко запрятанное, ледяное, какая-то загадка, тень, то казалось, что выражение ее глаз противоречит словам. Сама того не желая, мадемуазель крепко запомнила любимую поговорку Жермини: «Грех утаенный — грех прощенный». Но особенно она ломала себе голову над тем, что, несмотря на прибавку к жалованью, несмотря на постоянные маленькие подарки, Жермини больше не покупала ни платьев, ни белья и совсем обносилась. Куда она девала деньги? Она как-то призналась хозяйке, что сняла со сберегательной книжки накопленные тысячу восемьсот франков. Мадемуазель размышляла об этом и приходила к выводу, что тайна Жермини, конечно, сводится к денежным затруднениям,— то ли к долгам, сделанным когда-то, чтобы помочь семье, то ли к необходимости все время поддерживать «этого чертова зятя». Жермини ведь так добра и нерасчетлива! Она до сих пор не знает цену деньгам! Мадемуазель была уверена, что дело именно в этом, а так как она успела хорошо познакомиться с неисправимым упрямством служанки, то не задавала никаких вопросов. Когда такое объяснение почему-либо переставало ее удовлетворять, она все приписывала скрытности Жермини, оставшейся в душе недоверчивой крестьянкой, которая ревниво оберегает от посторонних глаз если не всю свою жизнь, то хотя бы ее частицу, как деревенские жители прячут в шерстяном чулке сбереженные су. Или же она убеждала себя, что виною причуд и страшного притворства Жермини — ее болезнь, вечное недомогание. Дальше этого любопытство мадемуазель не заходило, и мысль ее прекращала поиски, отличаясь леностью и некоторым эгоизмом — качествами, свойственными мыслям всех стариков, страшащихся проникнуть в суть вещей, в душевные тайны и не желающих слишком много

понимать и беспокоиться. Вполне возможно, что эта скрытность вызвана какими-нибудь пустяками, которые не стóят волнений и раздумий, какой-нибудь перебранкой, женской ссорой. Успокоив себя таким образом, мадемуазель переставала ломать голову и тревожиться.

Да и как ей было догадаться о падении Жермини, о ее ужасной тайне? Несчастная могла непереносимо страдать, могла безудержно пьянствовать, но нечеловеческим усилием воли она все скрывала, все хранила в глубине сердца. Невзирая на свою страстную, несдержанную натуру, для которой откровенность была так естественна, Жермини не обронила ни одной фразы, ни одного слова, которые пролили бы хоть немного света, хоть луч на изнанку ее жизни.

Похмелья, унижения, печали, самопожертвование, смерть дочери, измена любовника, терзания ревности — все оставалось в ней немым и безгласным, словно она обеими руками прикрывала свое сердце. Редкие минуты слабости, когда она как бы вступала в единоборство с подступавшим к горлу горем, лихорадочные, безумные ласки, расточаемые хозяйке, внезапные взрывы нежности, которые, казалось, предшествовали признанию, всегда кончались спасительными молчаливыми слезами.

Даже болезнь, которая ослабляет тело и нервы, не смогла вырвать у нее ни слова. Правда, иной раз героическая воля изменяла Жермини. С ней случались истерики, и тогда она кричала,— но только кричала. В молодости она часто разговаривала во сне. Теперь она принудила свои сновидения к безмолвию, сомкнула им уста. Чтобы мадемуазель не догадалась обо всем по ее дыханию, она стала есть лук и чеснок, отбивая их зловонием запах перегара. Даже когда она была пьяна, когда находилась в хмельном оцепенении, стоило прозвучать шагам мадемуазель, как она просыпалась. Она все время была начеку.

Жермини вела два существования. В ней как бы жили две женщины, и, благодаря силе характера, благодаря хитрости, женской дипломатии и хладнокровию, не покидавшему ее даже в минуты опьянения, она смогла разделить эти существования, вести их, ни на секунду не смешивая, не сливать воедино таившихся в ней женщин, смогла остаться для мадемуазель де Варандейль такой же честной и рассудительной, какой была когда-то, приходить с попоек незапятнанной, возвращаться от любовника с видом целомудренной старой девы, негодующей на испорченность других служанок. Ни речь ее, ни манеры не наводили на мысль о той истинной жизни, которую она вела. Ни-

что в ней не говорило о ее ночах. Едва вступив на циновку, лежавшую у дверей мадемуазель де Варандейль, подходя к своей хозяйке, стоя перед ней, она начинала говорить, двигаться, даже расправлять складки платья так, что никому в голову не пришло бы заподозрить ее в близости с мужчиной. Она обо всем рассуждала свободно, как женщина, у которой нет поводов для стыда, была строга к провинностям и грехам ближних, словно сама не ведала порока, спокойно, весело, бесстрастно шутила вместе с мадемуазель над любовью; слушая ее, казалось, что она говорит о старинной знакомой, с которой давно рассталась. Для всех, кто видел ее только дома и такой, какая она была с мадемуазель де Варандейль, тридцатипятилетняя Жермини представлялась окутанной атмосферой какой-то особой чистоты, суровой и непререкаемой честности, присущей старым служанкам и некрасивым женщинам.

Тем не менее эта лживая внешность не была следствием лицемерия, извращенной двойственности, грязного расчета: Жермини потому так вела себя с мадемуазель, что любила ее. Она готова была на что угодно, лишь бы скрыть от нее свою душу, свою истинную сущность и уберечь от огорчений. Она обманывала хозяйку только для того, чтобы сохранить ее привязанность и какое-то уважение. В страшной комедии, которую она играла, таилось чистое, почти благоговейное чувство, подобное тому, которое толкает дочь солгать матери, лишь бы не разбить ей сердце.

XXXVII

Лгать! Другого выхода у нее не было. Жермини чувствовала, что ей уже не выбраться оттуда, где она очутилась. Она даже помыслить не могла об усилии, которое потребовалось бы для этого, настолько бесплодной казалась ей такая попытка, настолько она чувствовала себя малодушной, потерянной, побежденной, все еще неразрывно связанной с этим человеком самыми низменными цепями, самыми постыдными узами,— даже узами его презрения, которого он уже и не скрывал от нее.

Порою она приходила в ужас, думая о себе. В ней оживали представления и страхи, воспитанные деревней. Суеверия, сохранившиеся с детских лет, нашептывали ей, что Жюпийон околдовал ее, опоил *приворотным зельем*. Разве иначе она дошла бы до такой жизни? Разве испытывала бы при одном взгляде на него непреодолимый трепет, чувство, подобное тому, которое ощущает животное, когда к нему приближается хозяин?

Разве помимо воли стремилась бы к нему всем телом, ртом, руками, каждым дышащим любовью и нежностью движением? Разве принадлежала бы ему так полно? Неспешно, безжалостно она напоминала себе все, что должно было бы ее вылечить и спасти,— его пренебрежение, обиды, которые он ей нанес, порочные ласки, которых от нее требовал,— сознавая при этом, что рада всем пожертвовать, согласна есть грязь ради него. Она пыталась вообразить ту грань унижения, которую ее любовь отказалась бы переступить, но такой грани не было. Он мог делать с ней все что угодно — оскорблять, бить,— даже растоптанная им, она все равно оставалась бы его вещью. Она не представляла себе, как это она может не принадлежать ему, не видела себя без него. Он был ей необходим, чтобы любить его, греться о него, жить и дышать им. Среди женщин своего сословия ей не приходилось встречать ничего подобного. Ни одна из ее знакомых не вкладывала в любовную связь столько страсти, горечи, му́ки, радости и страдания. Ни одна не вкладывала всего того, что убивало Жермини и без чего она не могла существовать.

Она самой себе казалась созданием странным, особенным, похожим на животное, которое привязывается к тому, кто его бьет. Порою Жермини просто не узнавала себя и раздумывала, та ли она женщина, какой была прежде. Перебирая в уме все низости, на которые ее толкнул Жюпийон, она не верила, что вынесла все это. Она, несдержанная, горячая, всегда готовая вспылить, накричать, дать отпор, дошла до такого смирения, до такой покорности! Она подавляла вспышки гнева, гнала мысли о кровавой мести, столько раз приходившие ей в голову, подчинялась, была терпеливой, безропотной. Все свойства ее характера, все ее инстинкты, гордость, тщеславие, более того — ревность, ярость ее сердца,— все это лежало у его ног. Чтобы не потерять его, она позволяла ему заводить любовниц, соглашалась делить его, принимала, когда он приходил к ней от других, искала на его щеке место, не целованное кузиной! А теперь, столько пожертвовав и паскудив ему этими жертвами, она удерживала его еще более постыдным самоуничижением, старалась привлечь подарками, открывала кошелек, чтобы он явился на свидание, покупала снисходительную ласку, соглашаясь на все его прихоти и капризы, платила человеку, который все время набивал цену на поцелуи и ожидал чаевых за любовь. И жила в вечном страхе перед той неведомой гнусностью, которую может завтра потребовать от нее этот негодяй!

XXXVIII

«Ему нужно двадцать франков...» Жермини несколько раз машинально повторила эту фразу, но мысль ее не пошла дальше слов. Ходьба по улице, подъем на шестой этаж обессилили ее. На кухне она тяжело опустилась в лоснящееся от жирных пятен мягкое кресло, ссутулилась, положила руку на стол. В голове у нее гудело, мысли разбегались, потом снова начинали тесниться толпой, и только одна не покидала ни на минуту, самая упорная, самая неотвязная: «Ему нужно двадцать франков, двадцать франков, двадцать франков...» Жермини оглядывалась, словно надеясь найти их на плите, в поддувале, в помойном ведре. Потом вспомнила о своих должниках, о служанке-немке, которая еще год назад обещала вернуть долг. Жермини встала, завязала ленты чепца. Она уже не повторяла: «Ему нужно двадцать франков», а говорила: «Я их достану».

Она спустилась к Адели:

— Не найдется у тебя двадцати франков? Принесли счет, а барышни нет дома.

— Жаль, но я совсем пустая,— сказала Адель.— Вчера вечером отдала последние двадцать франков хозяйке: у нее не на что было поужинать. Эта стерва до сих пор не вернулась... Хочешь тридцать су?

Жермини побежала к бакалейщику. Было воскресенье, три часа дня: бакалейщик только что закрыл лавку.

У фруктовщицы толпились покупатели. Жермини попросила кореньев на четыре су.

— Только у меня нет с собой денег,— добавила она. Она надеялась, что фруктовщица скажет: «Хотите, я вам дам?» Фруктовщица сказала:

— Что за разговоры? Ведь я вас знаю.

В лавке стояли другие служанки. Жермини молча ушла.

— Для нас нет писем? — спросила она у портье.— Да, кстати, не дадите ли вы мне двадцать франков? Мне не хочется подниматься.

— Хоть сорок, если прикажете.

Она облегченно вздохнула. Портье подошел к шкафу, стоявшему в глубине привратницкой:

— Вот обида! Жена унесла ключи! Что с вами? Как вы побледнели!

— Нет, ничего! — Жермини быстро пошла по двору, направляясь к черной лестнице.

Поднимаясь к себе, она думала: «Есть же люди, которые

находят на улице двадцатифранковые монеты. Он сказал, что деньги нужны сегодня... Мадемуазель уплатила мне только пять дней назад, я не могу снова просить у нее. Так-то говоря, она от двадцати франков не обеднеет. Бакалейщик наверняка дал бы мне их... Раньше я покупала у другого на улице Тэбу... Он по воскресеньям закрывал поздно...»

Она поднялась на свой этаж, постояла у двери. Потом перевесилась через перила парадной лестницы, посмотрела, не поднимается ли кто-нибудь, вошла, прямо направилась в спальню мадемуазель, распахнула окно и, опершись локтями на подоконник, глубоко вдохнула воздух. Со всех окрестных крыш к ней слетелись воробьи в надежде, что она бросит им крошки. Жермини закрыла окно и взглянула на комод, стоявший в спальне, на мраморную, с прожилками, доску, на шкатулочку из эбенового дерева, на ключик, маленький стальной ключик, забытый в скважине. Внезапно в ушах Жермини зазвенело; ей показалось, что позвонили в дверь. Она побежала открывать,— на лестнице никого не было. Жермини вернулась с мыслью, что она совсем одна в квартире, взяла на кухне пыльную тряпку и, повернувшись спиной к комоду, начала полировать кресло из красного дерева. Но она по-прежнему видела шкатулочку, видела ее открытой, видела уголок справа, куда мадемуазель складывала завернутые в бумажки золотые монеты,— по сто франков в каждой бумажке. Там лежат и ее двадцать франков!.. Она закрыла глаза, словно ослепленная. Ее совесть начала колебаться, но Жермини тут же взбунтовалась против самой себя, и ее негодующее сердце точно подступило к горлу. В это мгновение честность Жермини встала между ее рукой и ключом. Ей вспомнилось все,— вся безупречная прошлая жизнь, исполненная преданности и бескорыстия, двадцать лет сопротивления дурным примерам этой изъеденной пороками улицы, двадцать лет презрения к воровству, двадцать лет, в течение которых ни единой хозяйской монеты не прилипло к ее рукам, двадцать лет безразличия к наживе, двадцать лет глухоты к искушениям, врожденная порядочность, доверие мадемуазель... Воскресшая юность властно предъявила свои права. Перед нею, словно рой о чем-то шепчущих ангелов-хранителей, возникли образы ее родителей и близких, незапятнанность ее безвестного имени, дорогие покойники, которым она была обязана жизнью... На секунду Жермини была спасена!

Потом, постепенно, одна за другой, к ней стали возвращаться дурные мысли. Она начала выискивать оправдания для

горьких чувств, для неблагодарности по отношению к мадемуазель. Она сравнивала свое жалованье с жалованьем, которым из тщеславия похвалялись другие служанки, говорила себе, что ее хозяйке повезло, что за такую верную службу должна была бы получать куда больше денег. «Для чего только,— неожиданно спрашивала себя Жермини,— барышня оставляет ключ в шкатулке?» И начинала думать о том, что это деньги не расходные, а сбережения, на которые мадемуазель собиралась купить бархатное платье какой-то своей крестнице. «Бесполезные деньги»,— снова сказала она себе. Она торопливо нагромождала доводы, словно стараясь помешать себе их опровергнуть. И потом, один только раз... «Она дала бы мне их в долг, если бы я попросила... И я верну их...»

Она протянула руку, подергала ключ, остановилась... Ей почудилось, что мертвая тишина, царящая в спальне, смотрит на нее и прислушивается. Она подняла глаза: зеркало ударило Жермини ее собственным лицом. Она испуганно отпрянула, стыдясь и ужасаясь, точно увидела воочию свое преступление: ее лицо стало лицом воровки!

Жермини выскочила в коридор. Вдруг она резко повернулась, подошла к шкатулке, повернула ключ, засунула руку, пошарила под безделушками, подаренными на память, и медальонами с волосами умерших, вынула из пакетика с пятью золотыми монетами одну монету и убежала на кухню. Она держала монету в руке, но взглянуть на нее не смела.

XXXIX

После этого случая душевное падение и деградация Жермини, притупив ее ум и запятнав облик, начали проступать наружу. Ее мысли как бы погрузились в дремоту. Она стала медленно и туго соображать, словно вдруг забыла все, что прочитала, чему выучилась. Острая память испортилась, ослабела, в словах, ответах, смехе уже не было той живости, которой отличаются парижские служанки, смышленые глаза потускнели. Жермини постепенно опять становилась нелепой крестьянской девчонкой, которая, приехав в Париж, пыталась купить пряник в писчебумажном магазине. Она как-то вдруг поглупела. Слова хозяйки она выслушивала с идиотским выражением лица. Мадемуазель по нескольку раз объясняла, втолковывала то, что прежде Жермини схватывала на лету, и, глядя на нее, медлительную и бестолковую, невольно спрашивала себя, уж не под-

менили ли ей служанку. «Ты просто становишься колода колодой!» — теряя терпение, говорила иногда мадемуазель. Она вспоминала то время, когда Жермини подсказывала ей число, нужный адрес, дату покупки дров или откупорки бочонка с вином,— словом, все, что не удерживалось в ее одряхлевшей голове. Теперь Жермини ничего не помнила. Вечером, подсчитывая вместе с мадемуазель расходы, она уже не знала, какие покупки сделала утром. Она говорила: «Одну минуточку...» — и, неопределенно махнув рукой, умолкала. Мадемуазель, щадя свои ослабевшие глаза, раньше всегда просила Жермини прочесть вслух газету, но теперь ей пришлось отказаться от этого — так бессмысленно, по складам читала служанка.

По мере того как тупел мозг Жермини, она становилась все небрежнее и безразличнее к себе, не следила за одеждой, сделалась неопрятной. В своей неряшливости она дошла до того, что утратила всякую женственность, одевалась как попало, носила засаленные, разорванные под мышками платья, какие-то лохмотья вместо передников, дырявые чулки, стоптанные туфли. Кухонный жир, сажа, уголь, вакса — все оставляло на ней следы, марало ее, словно она была грязной тряпкой. Когда-то она обожала белье — единственную роскошь и украшение небогатых женщин. Ни у кого не было таких сверкающих чистотой чепчиков. Воротнички, простые и гладкие, блистали той белизной, которая так красиво оттеняет кожу и придает свежесть всему облику женщины. Теперь Жермини носила застиранные, истрепанные чепцы, в которых она как будто спала. От нарукавников она вообще отказалась, а на воротничках, там, где они прилегали к шее, виднелась темная полоса, и чувствовалось, что с изнанки они еще грязнее, чем снаружи. От нее исходил острый, прогорклый запах бедности. Порою он был так силен, что мадемуазель де Варандейль не могла удержаться от упрека: «Пойди, дочь моя, надень чистое белье: от тебя пахнет, как от нищенки».

При встрече с Жермини на улице трудно было поверить, что она работает у добропорядочной хозяйки. Она уже не была похожа на служанку из хорошего дома, перестала быть женщиной, которая, следя за собой, соблюдая свое достоинство во всем, вплоть до одежды, носит на себе печать семьи, в которой живет, печать всеми уважаемых людей. С каждым днем она все больше превращалась в неряшливое, противное существо, подметающее подолом улицы,— в *распустеху*.

Не обращая внимания на себя, она не обращала внимания и на то, что ее окружало. Она не расставляла вещи по местам,

Жермини Ласерте

не убирала, не мыла. Грязь и беспорядок проникли в квартиру, поселились в комнатах,— в тех самых маленьких комнатах, чистота которых была предметом радости и гордости мадемуазель. Пыль накапливалась, пауки ползали за рамами картин, зеркала тумапились, мрамор каминов, красное дерево мебели тускнели, бабочки взлетали с ковров — их никогда не вытряхивали,— моль заводилась там, где не прохаживались метла и щетка. Забвение припудривало дремлющие, заброшенные вещи, которые некогда просыпались и оживали от ежедневного прикосновения человеческой руки. Раз десять мадемуазель пыталась воззвать к самолюбию Жермини, но уборка всякий раз сопровождалась таким бешеным швыряпием вещей, такими взрывами дурного настроения, что мадемуазель твердо решила больше не заговаривать об этом. Тем не менее однажды она расхрабрилась настолько, что пальцем написала на покрытом пылью зеркале имя Жермини; целую неделю служанка не могла ей этого простить. Мадемуазель в конце концов смирилась. Лишь в редкие минуты, когда Жермини была в хорошем настроении, она отваживалась ласково сказать: «Согласись, дочь моя, что пыль чувствует себя у нас как дома».

В ответ на недоуменные замечания тех своих приятельниц, которые еще навещали се и которых Жермини принуждена была впускать, мадемуазель отвечала с глубоким сочувствием и жалостью в голосе: «Знаю, что у меня грязно. Но что поделаешь? Жермини больна, и я не хочу, чтобы она изводила себя работой». Порою, когда служанки не было дома, мадемуазель начинала своими подагрическими руками стирать пыль с комода или обметать картины. При этом она очень торопилась, боясь воркотни или настоящей сцены, которую та устраивала, если, вернувшись, заставала хозяйку за уборкой.

Жермини почти не работала; правда, она все еще готовила еду, но свела завтраки и обеды к самым простым, легким блюдам, не требующим затраты времени. Постель она застилала, не вытряхивая перин, *лишь бы отвязаться*. Лишь когда мадемуазель устраивала маленькие званые обеды, на которые попрежнему приходило довольно много детей, Жермини становилась такой, какой бывала в прежние времена. В эти дни она, словно по мановению волшебной палочки, преодолевала лень и апатию, приходила в лихорадочное возбуждение, обретала силы и с прежней ловкостью возились у пылающей плиты, орудовала на вставных досках стола. И пораженная мадемуазель убеждалась, что служанка, наотрез отказавшаяся от посторонней

помощи, со всем справляется одна, в несколько часов успевает приготовить обед на десятерых, подать его, убрать со стола и что руки ее при этом движутся так же проворно и живо, как в молодости.

XL

— Нет, на этот раз нет,— сказала Жермини; она сидела в изножье кровати Жюпийона и при этих словах встала.— Ничего не выйдет. Будто ты не знаешь, что у меня больше нет ни гроша... ни единого... Будто не видишь, в каких чулках я хожу...— Приподняв юбку, она показала дырявые, подвязанные шнурками чулки.— Мне даже сменить нечего. Деньги? На барышнины именины мне не на что было купить ей цветы. Пришлось подарить грошовый букетик фиалок... Ты уж скажешь, деньги... Те последние двадцать франков... Знаешь, откуда я их взяла? Из барышниной шкатулки! Потом я вернула... Но с меня хватит! Больше я не желаю! Одного раза вполне достаточно. Скажи на милость, где, по-твоему, я их достану? Шкуру в ломбард не заложишь... А еще раз пойти на такое,— нет, благодарю покорно! Все, что хочешь, только не это, только не воровать! Не желаю!.. Будь спокоен, я-то знаю, до чего ты меня в конце концов доведешь! Что ж, тем хуже!

— Может быть, ты заткнешься? — сказал Жюпийон.— Если бы ты сразу сказала мне о тех двадцати франках... думаешь, я бы их взял? Я понятия не имел, что ты так обнищала. Деньги у тебя как будто водятся... Я и считал, что тебе не трудно дать мне взаймы двадцать франков,— через неделю-другую я бы отдал вместе с остальными... Чего ты молчишь? Можешь успокоиться, больше я просить у тебя не стану. Ссориться нам из-за этого нечего. Значит, в четверг? — спросил он, как-то страшно взглянув на Жермини.

— В четверг! — горько ответила она. Ей хотелось обнять Жюпийона, попросить прощения за свою бедность, шепнуть: «Ты же видишь, у меня нет...»

— В четверг,— повторила она и ушла.

Когда наступил четверг и Жермини постучала в дверь квартиры Жюпийона, ей послышались мужские шаги, поспешно удалявшиеся в спальню. Дверь распахнулась; перед Жермини стояла кузина в красной шерстяной блузе, в домашних туфлях, с сеткой на голове. Вид у нее был такой, словно она не в гостях у мужчины, а дома. Повсюду валялись ее вещи; Жермини видела их на стульях, которые когда-то сама купила.

— Кого угодно, сударыня? — бесстыдно спросила кузина.

— Господин Жюпийон?..

— Он ушел.

— В таком случае я подожду,— сказала Жермини, пытаясь войти в комнату.

— У привратника, пожалуйста.— Кузина загородила дверь.

— Когда он вернется?

— Когда рак свистнет,— совершенно серьезно ответила девчонка и захлопнула дверь перед носом Жермини.

«Чего еще мне было ждать от него?» — думала Жермини, бредя по улице. Ноги ее подгибались, и плиты тротуара как будто уплывали из-под них.

XLI

Как-то вечером, вернувшись со званого обеда после крестин, на который нельзя было не пойти, мадемуазель услышала голос, доносившийся из спальни. Решив, что это с кем-то разговаривает Жермини, она удивленно распахнула дверь. При свете коптящей, оплывающей свечи она сперва никого не увидела. Потом, приглядевшись, различила фигуру служанки, спавшей, свернувшись, в изножье кровати.

Жермини спала и во сне говорила. Голос ее звучал странно, вызывая волнение, почти что страх. В спальне царила торжественная тишина, словно какое-то непостижимое дуновение потусторонней жизни исходило от этих произносимых во сне слов, бессознательных, невольных, трепещущих, неуверенных, подобных бесплотной душе, не покинувшей мертвых губ. Голос был медлителен, глубок, доносился словно издали, прерываясь мерным дыханием и чуть слышным шепотом, поднимался до вибрирующих, пронзающих сердце нот,— голос, окутанный тревожной таинственностью ночи, в которой спящая словно ощупью искала воспоминания и проводила рукой по лицам.

Мадемуазель услышала:

— Она меня очень любила... А если бы он не умер... Мы все были бы теперь счастливы, правда? Нет, нет! Но так случилось, тем хуже, я не хочу об этом говорить,— Жермини боязливо съежилась, точно хотела спрятать свою тайну, поймать ее у себя на губах.

Мадемуазель с каким-то ужасом склонилась над этим распростертым, уже не принадлежащим себе телом, в котором

поселилось прошлое, подобно привидению в заброшенном доме. Она прислушивалась к признаниям, готовым сорваться, но по привычке удерживаемым, к бессознательной мысли, оторвавшейся от плоти, к голосу, который себя не слышал. Ей стало жутко, почудилось, что это бредит труп.

После короткого молчания, во время которого Жермини словно раздирали воскресшие образы былой жизни, она как будто вернулась к своему настоящему. Из того, что слетало с ее губ, из отдельных бессвязных слов, мадемуазель отчасти поняла, что Жермини кого-то упрекает. По мере того как она говорила, речь ее так же менялась, как менялся голос, перестраиваясь в лад сну. Эта речь возвышала Жермини над ее будничным обликом, над обычными выражениями и интонациями. Она говорила языком народным, но очищенным и преображенным страстью, правильно произнося каждое слово, извлекая из него все заложенные в нем оттенки чувств. Фразы, срывавшиеся с ее губ, были ритмичны, полны слез и боли, словно говорила великая актриса. Нежный шепот прерывался стонами, за ними следовали взрывы возмущения, язвительная ирония, рапящая, неумолимая, затем всякий раз первый смех, который подчеркивал и усиливал скрытое в иронии оскорбление. Взволнованная, потрясенная, мадемуазель превратилась в слух, словно была в театре. Никогда не приходилось ей слышать, чтобы женщина говорила с таким пренебрежительным высокомерием, с таким презрением, которым был полон даже ее смех, чтобы обращалась к мужчине с такой мстительной обидой. Она начала искать в памяти: на подобную игру, на подобные модуляции голоса, трагического, душераздирающего, словно голос чахоточной, которая вот-вот выкашляет сердце, была способна только Рашель.

Внезапно Жермини проснулась, открыла глаза, в которых все еще стояли слезы, вызванные сновидением, и, увидев хозяйку, соскочила с кровати.

— Благодарю,— сказала мадемуазель де Варандейль,— можешь не стесняться. Валяйся в моей постели, сколько тебе заблагорассудится.

— Ох, барышня,— взмолилась Жермини,— я не клала голову на подушку. Я нагрела вам место для ног...

— Так, так... Может быть, ты мне расскажешь, что́ тебе снилось? Ты что-то болтала о каком-то мужчине... Ссорилась с ним...

— Я? — сказала Жермини.— Не помню.

И она молча принялась раздевать хозяйку, стараясь вспомнить свой сон. Уложив ее и подоткнув со всех сторон одеяло, она попросила:

— Барышня, вы не отпустите меня как-нибудь недели на две домой? Теперь я вспомнила, что́ мне снилось...

XLII

Прошло немного времени,— и вдруг все повадки и манеры Жермини так изменились, что мадемуазель оставалось только пожимать плечами. Куда девались ее резкие выходки, вспышки, угрюмость, обыкновение цедить сквозь зубы сердитые слова? Лени как не бывало, работа кипела в руках у Жермини. Она уже не пропадала часами в лавках, напротив того — предпочитала не появляться на улице. Вечерами она сидела дома, почти не выходя от мадемуазель, не спуская с нее глаз, оберегая ее с утра до ночи, непрерывно, неустанно, почти назойливо окружая заботами, не позволяя встать, протянуть руку за чем-нибудь, следя, ухаживая за ней, как за малым ребенком. Иногда, утомленная ею, устав от этого неусыпного внимания, мадемуазель готова была сказать: «Скоро ты уберешься отсюда?» Но Жермини улыбалась ей, и эта улыбка была так нежна и печальна, что нетерпеливое восклицание замирало на губах старой девы. И Жермини по-прежнему все время была рядом с ней, словно зачарованная, погруженная в божественно бессмысленное, благоговейное обожание, готовая сутки напролет с каким-то идиотическим упорством созерцать мадемуазель.

А дело было в том, что нежность, переполнявшая сердце несчастной женщины, сосредоточилась теперь только на мадемуазель. Голос Жермини, ее движения, глаза, молчание, мысли были обращены к хозяйке с горячностью жаждущего искупления грехов, с молитвенным раскаяньем, с восторженным неистовством. Она любила мадемуазель со всей пылкой привязчивостью своей натуры, со всей горечью обманутой страсти и хотела отдать ей все, чего не отдала раньше, что было взято другими. День от дня эта любовь все крепче, все беззаветнее обвивалась вокруг мадемуазель, которая чувствовала себя укрытой, окруженной, приятно согретой теплом этих рук, обнимавших ее старость.

XLIII

Но прошлое с его обязательствами не отступало от Жермини, ежечасно повторяя: «Что будет, если барышня все узнает?»

Жермини жила в постоянном трепете, охваченная ужасом, как преступница. Стоило кому-нибудь позвонить в дверь, как она говорила себе: «Вот оно!» Конверты, надписанные незнакомым почерком, приводили ее в смятение. Она ощупывала печать на письме, долго носила его в кармане, не отдавая, а минута, когда мадемуазель, вскрыв страшный конверт, пробегала по бумаге равнодушным старческим взглядом, была исполнена для нее того волнения, которое испытывают люди, ожидающие смертного приговора. Все вокруг знали и о ее тайне, и о ее лжи. Дом многое видел и о многом мог рассказать. Улице все было известно. Только у своей госпожи она еще могла красть уважение.

Поднимаясь или спускаясь по лестнице, она встречала взгляд привратника, взгляд, который улыбался и говорил: «Я все знаю». Жермини уже не смела называть его: «Любезный Пипле». Когда она возвращалась домой, он заглядывал в ее корзинку. «Я это очень люблю»,— намекала его жена, если там лежало что-нибудь лакомое. Вечером Жермини отдавала им все остатки. Сама она почти ничего не ела. Кончилось тем, что она стала их содержать.

Улица пугала ее не меньше, чем лестница и привратницкая. Из каждой лавки выглядывал кто-нибудь, напоминавший о ее позоре и наживавшийся на ее грехе. На каждом шагу ей приходилось покупать молчание ценой раболепства и унижений. Поставщики, которым она не могла уплатить, держали ее в своих лапах. Если Жермини находила товар чересчур дорогим, злобная издевка ставила ее на место, напоминая, что она — раба лавочников и придется идти на уступки, иначе ей несдобровать. Она бледнела от любой шутки, от любого намека. Она была связана, принуждена покупать у этих людей и, как сообщникам, позволять им лезть к ней в карман. Новая владелица молочной, которая сменила госпожу Жюпийон, уехавшую в Барсюр-Од и открывшую там бакалейную торговлю, продавала ей снятое молоко, а когда Жермини говорила, что барышня недовольна и каждое утро жалуется, отвечала: «Ваша барышня! Подумаешь, очень вы ее боитесь!» Когда в другой лавке она брала в руки рыбу и замечала: «Она мороженая»,— лавочница

фыркала в ответ: «Что же, по-вашему, мне над ней ворожить, чтобы она казалась свежей! Вы, видно, сегодня не в духе, милочка!» Мадемуазель предложила однажды Жермини пойти на городской рынок, и та сказала об этом фруктовщице: «Ах так, на рынок! Хотела бы я посмотреть, как вы пойдете на рынок!» — закричала фруктовщица. И в ее взгляде Жермини прочла счет, который немедленно будет подан мадемуазель. Бакалейщик продавал ей кофе, вонявший нюхательным табаком, червивый чернослив, протухший рис, заплесневелые сухари. Если она осмеливалась сказать ему об этом, он бросал ей: «Мне не хотелось бы сделать неприятность такой старой клиентке, как вы... Говорю вам, товар первосортный!» — и, бесстыдно обвешивая ее, всучивал ей всякую заваль.

XLIV

Когда на исходе дня Жермини отправлялась за вечерним выпуском газеты для мадемуазель, для нее было му́кой — му́кой, которую она, однако, искала,— проходить по улице мимо женской начальной гимназии. Нередко она оказывалась у дверей как раз в момент окончания занятий. Ей хотелось убежать, но не повиновались ноги.

Сперва слышалось какое-то жужжание, словно летел рой пчел, потом раздавался гул голосов, взрыв той бурной детской радости, от которой весело звенят парижские улицы. Из темных и узких сеней, словно из раскрытой клетки, гурьбой высыпали, выскакивали, выбегали школьницы и начинали резвиться на солнце. Они теснились и толкались, высоко подкидывая пустые корзиночки. Потом девочки начинали звать друг друга, сходились в группы; ладошки тянулись к ладошкам, подруги брались за руки, обнимали одна другую за талию, за шею и шли, откусывая от одного ломтика хлеба с маслом. Они медленно брели по грязной улице, глазея по сторонам. Те, что постарше, десятилетние маленькие женщины, болтая, мешкали у ворот. Другие останавливались и тут же на улице пили из бутылок молоко, которое было им дано на завтрак. Самые младшие забавлялись, окуная туфельки в лужи. Некоторые подбирали с земли капустные листья и надевали на головы,— зеленые чепцы выделки господа бога, из-под которых улыбались свежие личики.

Жермини шагала рядом с ними, жадно глядя на них, замешавшись в их толпу, чтобы ощущать прикосновения маленьких

ких передничков. Она не могла оторвать глаз от маленьких рук, прижимавших школьные сумки, от коротких, коричневых в горошек, платьев, от черных штанишек, от ножек в шерстяных чулочках. Ей чудилось, что от этих белокурых головок с волосами, шелковистыми, как у Иисуса Христа, исходит божественное сияние. Порою растрепавшаяся прядь волос на шейке, кусочек ребячьей кожи в вырезе кофточки или у обшлага заслоняли от Жермини весь мир, и не было для нее на улице иного солнца, иного неба.

Постепенно девочек становилось все меньше. Каждая улица забирала тех, кто жил на ней или поблизости. Школа растекалась по дорогам. Веселое постукивание ножек затихало. Платьица одно за другим исчезали. Жермини провожала самых последних, шла с теми, кто жил дальше всех.

Однажды, во время такой прогулки, Жермини, все время вглядываясь в воспоминание о своей дочери, вдруг почувствовала непреодолимую потребность обнять ребенка; она бросилась к какой-то девчурке и схватила ее за руку, словно собиралась похитить.

— Мама, мама! — закричала малышка, плача и вырываясь.

Жермини убежала.

XLV

Дни шли за днями, сливаясь для Жермини в один мучительный и беспросветный день. Она уже ничего не хотела от неожиданности, ничего не просила у случая. Ей казалось, что ее жизнь навеки замкнута отчаянием, а сама она, осужденная на оледенелую бесчувственность, всегда будет плестись по прямому и унылому пути несчастья, по темной дороге, в конце которой — смерть. Будущее для нее не существовало.

И все-таки, несмотря на безнадежность, пригибавшую Жермини к земле, иногда ей приходили на ум мысли, которые заставляли поднимать голову и смотреть вперед, за пределы настоящего. Порою ей улыбалась последняя призрачная надежда, чудилось, что в ее существовании еще могут произойти перемены, и тогда она снова обязательно станет счастливой. Ее воображение разыгрывалось. Она придумывала всякие происшествия, катастрофы, нагнетала небыточное на небыточное. Она мысленно переделывала свою жизнь, и ее лихорадочная надежда, воздвигая в туманной дали долгожданные события, опьянялась бредовым видением сбывшихся желаний.

Потом Жермини снова спускалась на землю. Она повторяла себе, что ее безумные мечты неосуществимы, что они никогда не исполнятся. Еще несколько минут она, сгорбившись, сидела в кресле, затем вставала, медленно и неуверенно шла к камину и, нащупав на доске кофейник, решала проверить, что́ ее ждет в грядущем. Все, что с ней должно было случиться — и счастье и несчастье,— все скрывалось там, на тарелке, куда она выплеснула кофейную гущу...

Капля за каплей она сливала воду из гущи и несколько минут ждала, вдыхая запах с таким же благоговением, с каким когда-то в сельской церкви прикасалась своим детским ртом к дискосу. Потом застывала и, страшная в своей неподвижности, вытянув шею, неотрывно глядела на черные точки, словно мушиные следы, испятнавшие тарелку. В еле заметном пунктире из крупинок, оставшихся после того, как была слита жидкость, она старалась прочесть то, что обычно читают гадалки. Напрягая глаза, Жермини различала среди множества крошечных пятнышек какие-то буквы, знаки, фигуры. Она отделяла пальцем сочетания крупинок, чтобы лучше, отчетливее их увидеть, медленно поворачивала во все стороны тарелку, стараясь понять тайну ее языка, искала на белом круге образы, подобия, намеки на имена, тень инициалов, сходство с кем-то, набросок чего-то, зародыш предсказания, непонятные изображения, которые убедили бы ее, что она *возьмет верх*. Она хотела видеть, и во что бы то ни стало разгадать. Под напряженным взглядом Жермини на фарфоре появлялись призраки, населявшие ее бессонницу, из случайного расположения крупинок на магической тарелке возникали ненавистные лица, отравившие ей жизнь горем и злобой. Свеча, с которой она забывала снять нагар, озаряла ее мерцающим, тусклым светом. Часы текли, сумерки безмолвно превращались в ночь, а Жермини, не сходя с места, словно окаменев от гнетущей тревоги, стояла наедине лицом к лицу со своим страшным будущим, пытаясь увидеть в грязных потеках кофейной гущи неясное лицо судьбы, пока ей не начинало казаться, что она различает крест рядом с фигурой женщины, похожей на кузину Жюпийона,— крест, то есть *неминучую смерть*.

XLVI

Любовь, в которой она так нуждалась и все же усилием воли отказывала себе, стала му́кой ее жизни, непрерывной отвратительной пыткой. Жермини приходилось бороться с вожде-

лениями тела, с постоянными соблазнами, с податливостью и предательской слабостью своей плоти, с неумолчными требованиями природы. Ей нужно было противостоять палящему зною дня, влекущей прелести ночи, влажной теплоте предгрозовых часов, дуновению прошлого и воспоминаний, голосу, что-то нашептывавшему ей на ухо, трепету нежности, пробегавшему по коже.

Недели, месяцы, годы длилось страшное искушение, и все-таки она не сдавалась, не брала другого любовника. Боясь себя, она избегала мужчин, старалась не сталкиваться с ними. Она сделалась домоседкой и дикаркой, все вечера проводила с мадемуазель или сидела, запершись в своей каморке. Она никуда не ходила даже по воскресеньям, перестала встречаться с другими служанками и, чтобы скоротать время и забыться, без конца шила или спала. Если во дворе появлялись музыканты, она закрывала окно, не желая их слушать: сладкозвучие музыки расслабляло ей душу.

Но ничто ее не успокаивало, не охлаждало. Дурные мысли помимо воли возникали, жили, волновались в ней. Властное желание внезапно вспыхивало в глубине ее существа и превращалось в нескончаемую кошмарную пытку, в похоть, овладевающую всеми помыслами, в наваждение, от которого нельзя отделаться и спастись, в бесстыдное, яростное, полное зримых образов наваждение, которое взывает ко всем чувствам женщины, рисует любовь перед ее закрытыми глазами, наводняет жаркими видениями мозг, лихорадочными толчками гонит кровь по жилам.

Под конец это напряженное мучительное воздержание, эти приступы вожделения, непрерывно сотрясавшие Жермини, привели к расстройству всех ее восприятий. Ей повсюду чудились искусительные образы: чудовищные галлюцинации превращали в реальность бред чувственности. Порою все, что она видела, все, что было перед ее глазами,— подсвечники, ножки стульев, ручки кресел,— принимало нечистые формы и обличья. Отовсюду вылезала и тянулась к ней непристойность. Тогда, глядя на часы с кукушкой, стоявшие у нее на кухне, она говорила, как осужденная преступница, тело которой уже не принадлежит ей:

— Через пять минут я пойду на улицу...

Но минуты проходили, а она не двигалась с места.

XLVII

Наконец наступил час, когда Жермини отказалась от борьбы. Ее воля перестала сопротивляться, дух ослабел, она покорилась судьбе. Твердость, мужество, решимость — все исчезло под воздействием убеждения, безнадежной уверенности, что против себя ей не устоять. Ей чудилось, что она попала в быстрину и попытки удержаться на месте не только напрасны, но даже нечестивы. Могучее нечто, обрекающее людей на страдания, злая сила, которая носит имя божества на мраморе античных трагедий и имя *невезения* на клейменом лбу каторжника,— неотвратимый Рок наступил на Жермини пятой и заставил склонить голову.

Когда в черные минуты она припоминала всю горечь прошлого; когда восстанавливала, начиная с детства, события своего плачевного существования, эту цепь страданий, где было столько звеньев, сколько Жермини лет, цепь, удлинявшуюся год от года; когда думала о постоянных встречах и свиданиях с несчастьем, обо всем, что она пережила, ни разу не почувствовав руки благого провидения, о котором ей так много рассказывали,— тогда она говорила себе, что, видно, принадлежит к числу горемык, обреченных с рождения на вечную му́ку, к числу тех, кому не узнать счастья, кому оно ведомо лишь по зависти к любимцам судьбы. Она вынашивала, нестовала эту мысль, погружаясь в ее мрак, все время размышляя о непрерывности своих невзгод, о бесконечной смене огорчений, постепенно приучаясь искать свою злосчастную звезду в самых ничтожных житейских невзгодах. Пустячный долг, не отданный ей, фальшивая монета, подсунутая в лавке, плохо исполненное ею поручение мадемуазель, неудачная покупка — все это, с ее теперешней точки зрения, было не оплошностью или делом случая, а новым звеном в цепи. Жизнь ополчилась на нее, преследовала ее везде, всегда, насылала большие и малые беды, начиная от смерти дочери и кончая отсыревшим сахаром. Бывали дни, когда у Жермини все валилось из рук: тогда ей казалось, что даже ее пальцы прокляты. Про́клятая, обреченная на адское пламя! Порою, прислушиваясь к своему телу, разбираясь в своих ощущениях, она начинала думать, что заживо попала в ад. В огне, сжигающем ее, в желаниях плоти, в безвольной страстности своей натуры она видела одержимость любовью, таинственную и бесовскую болезнь, подтачивающую разум и целомудрие, болезнь, которая уже толкнула ее на постыдную страсть и,— предчувствовала она,— может толкнуть еще раз.

Поэтому теперь она всегда повторяла слова, служившие как бы припевом к ее думам: «Что поделаешь... Такая уж я несчастливая... не везет мне... ничего не удается...» Она говорила это тоном человека, переставшего надеяться. Под влиянием навязчивой мысли о том, что она родилась под несчастливой звездой и что ее преследуют ненависть и злоба высших сил, Жермини начала бояться жизни. Она пребывала в той беспрерывной тревоге, когда неожиданность кажется стихийным бедствием, когда звонок в дверь приводит в ужас, когда человек вертит в руках письмо, не смея его вскрыть, взвешивая неведомое, когда еще не услышанная новость и губы, готовые произнести ее, вызывают холодный пот на лбу. Она находилась в том состоянии вечной настороженности, трепета, страха перед судьбой, когда беда видит впереди только беду, когда хочется поскорей оборвать жизнь, чтобы она не двигалась, не шла туда, куда ее обычно толкают все человеческие стремления и упования.

Жермини столько плакала, что дошла, наконец, до презрительного отчуждения от всего, до той вершины горя, где невыносимая скорбь мнится некой насмешкой, где боль, превосходя меру человеческих сил, превосходит и меру способности чувствовать, где истекающее кровью сердце, уже не ощущая новых ран, говорит, бросая вызов небу: «Еще!»

XLVIII

— Куда это ты так вырядилась? — однажды, воскресным утром, спросила Жермини у расфранченной Адели, проходившей по коридору седьмого этажа мимо ее открытой двери.

— Куда? Мы собираемся кутнуть. Нас уйма народу... Толстая Мари, знаешь, которую зовут *Кучей,* Элиза из сорок первой квартиры, обе Бадинье, большая и маленькая... И мужчины, конечно! Во-первых, мой *помощник смерти*... Ну да... Как, ты не знаешь?.. Мой новый дружок, учитель фехтования из двадцать четвертой. С ним его приятель, маляр, настоящий папаша Хохотун... Отправимся в Венсенский лес... Каждый захватит чего-нибудь пожевать... обедать будем на травке... За вино платят мужчины. Уж мы не соскучимся, будь спокойна!

— Я тоже поеду,— сказала Жермини.

— Ты? Вот новости! Ты уж свое отгуляла.

— Говорю тебе, что поеду,— резко и решительно заявила Жермини.— Вот только предупрежу барышню да переоде-

пусь. Подожди меня, я зайду к колбаснику, куплю половину омара.

Через полчаса обе женщины уже шли вдоль городской стены. На бульваре Шопинет они встретились с остальной компанией, поджидавшей их на улице за столиком кафе. Все выпили по рюмочке черносмородинной, уселись в два больших фиакра и покатили. У Венсенской крепости они вылезли и гурьбой двинулись вдоль рва. Проходя мимо крепостной стены, маляр, приятель учителя фехтования, крикнул капониру, стоявшему на часах у пушки:

— Эй, старина, лучше бы выпить из этой посудины, чем стеречь ее, верно?

— Ну и шутник! — сказала Адель, толкая Жермини локтем в бок.

Вскоре они уже были в Венсенском лесу...

Во все стороны расходились узкие тропинки с выбоинами и кочками, протоптанные множеством ног. Между ними кое-где виднелись полянки, поросшие травой,— по травой измятой, иссушенной, пожелтевшей и мертвой, растрепанной, как подстилка в хлеву; соломенного цвета стебли, оттененные тускло-зеленой крапивой, опутывали кустарник. Жители городских предместий любят по воскресным дням валяться на солнце в местах, подобных Венсенскому лесу, после чего те становятся похожи на лужайки, где накануне устраивали фейерверк. Далеко друг от друга стояли корявые, приземистые деревья: чахлые вязы с серыми стволами в желтоватом лишайнике, обломанные до уровня человеческого роста, и карлики-дубки, объеденные гусеницами так, что их листья напоминали кружево. Жалкая, бессильная, редкая листва просвечивала насквозь; сожженная солнцем, хилая, сморщенная, она мелкими пятнышками выделялась на фоне неба. Эта поникшая, заморенная растительность, покрытая серой пеленой пыли, налетавшей с проезжих дорог, эта унылая зелень не могла ни выпрямиться, ни глубоко вздохнуть; природа как бы вылезала здесь из-под тротуара. В ветвях никто не пел, по жесткой земле не ползали насекомые: грохот дилижансов распугивал птиц, шарманка заглушала тишину и трепет леса, улица, распевая во все горло, вторгалась в сельский пейзаж. На сучках висели женские шляпы в сколотых по углам носовых платках; алый помпон канонира все время мелькал сквозь листву; продавцы сластей выглядывали из-за каждого куста; ребятишки в блузах строгали на изрытых полянках отломанные ветки; рабочие семьи лакомились *трубочками* и *лоботрясничали;* подростки ловили

в шапки бабочек. Вот таким же пыльным и душным был когда-то Булонский лес: общедоступный, пошлый, почти лишенный тени уголок у ворот столицы, куда валом валит простонародье,— не лес, а карикатура, весь усеянный пробками, прячущий в зарослях арбузные корки и самоубийц.

День выдался необычайно знойный; солнце зловеще светило сквозь облака, заливая землю предгрозовым, рассеянным, словно подернутым дымкой слепящим сиянием. Воздух был тяжел и удушлив; все замерло; листва, ронявшая скупую тень, была неподвижна; небо тяжко нависло над утомленным лесом. Порою низко, по самой земле, проносилось дуновение южного ветра, тревожа, волнуя и дурманя, будоража кровь и пробуждая своим жарким вздохом желание. Не стараясь разобраться в себе, Жермини временами ощущала, что по ее телу пробегают мурашки, словно к коже прикоснулся щекочущий пушок персика.

Компания весело шла по дороге, нервно оживленная, как это бывает с горожанами, вырвавшимися на свежий воздух. Мужчины бегали, женщины вприпрыжку догоняли их. Все старались повалить друг друга на землю. Им не терпелось начать танцы, подмывало влезть на дерево. Маляр забавлялся тем, что издали бросал камешки в прорезы крепостных ворот — и неизменно попадал.

Наконец они уселись на какой-то прогалине, под купой дубов, озаренных лучами заходящего солнца и отбрасывавших продолговатые тени. Мужчины один за другим чиркали спичками по тиковым брюкам и закуривали. Женщины болтали, смеялись, ежеминутно опрокидываясь навзничь в приступе тупого и крикливого веселья. Только Жермини не смеялась и не разговаривала. Она не слушала, не смотрела. Ее глаза под опущенными ресницами были устремлены на кончики ботинок. Уйдя в себя, она словно забыла и время и место, где находилась. Вытянувшись на траве, положив голову на кочку, она лежала не шевелясь, лишь двигая руками, попеременно прижимая их к земле то ладонями, то тыльной стороной, стараясь хоть немного остудить пылающую кожу.

— Вот лентяйка! Ты, кажется, собираешься захрапеть? — спросила ее Адель.

Жермини вместо ответа широко открыла блестящие глаза и до самого обеда не проронила ни слова, продолжая лежать в той же позе, в том же оцепенении, нащупывая возле себя места, к которым еще не прикасались ее лихорадочно горячие руки.

— Дедель,— сказала одна из женщин,— ну-ка, спой нам что-нибудь.

— Я не рыгаю до еды,— ответила Адель.

Внезапно рядом с Жермини, у самой ее головы, упал камень. Одновременно маляр крикнул ей:

— Не пугайтесь! Это ваше кресло.

Все разложили перед собой носовые платки вместо салфеток, развернули промаслившиеся кульки со снедью, откупорили бутылки, и вино обошло круг, пенясь в стаканах, поставленных между пучками травы. Потом они припялись за еду, накладывая куски колбасы на ломти хлеба, служившие тарелками. Маляр нарезáл колбасу, мастерил бумажные кораблики, заменявшие солонки, орал, подражая официантам кафе: «Чего изволите? Две порции! Обслужите клиента!» Общество все больше оживлялось. Воздух, клочок голубого неба, еда подстегивали эту буйную компанию, обедавшую на травке. Руки касались рук, губы встречались, уши ловили непристойные намеки, рукава мужских рубашек на миг обвивались вокруг женских талий, объятия становились все теснее, поцелуи — все плотоядпее.

Жермини пила молча. Маляр, подсевший к ней, чувствовал себя скованно и неловко рядом с этой странной соседкой, которая развлекалась *сама по себе.* Внезапно он начал отстукивать пожом по стакану «трам-та-там», а когда шум немного стих, встал на колени и произнес речь.

— Сударыни! — начал он хрипло, как попугай, злоупотребивший пением.— Я пью за здоровье человека, которого постигло несчастье,— за свое собственное здоровье. Может, это принесет мне счастье. Я брошен, сударыни, да, да, мне дали отставку! Теперь я вдовец, с макушки до пяток, razibus [1]. И вот плыву без руля и без ветрил... Не то чтобы я так уже держался за нее, по привычка, сударыни, эта старая чертовка — привычка! Словом, я скучаю, как клоп в часовой пружине. Уже целых две недели моя жизнь похожа на кабак без спиртного. Притом что я так люблю любовь, будто она родила меня на свет. Жить без женщины! Хорошенькое положение для вполне зрелого мужчины! Ведь с тех пор, как я знаю, что́ это такое, я всегда низко кланяюсь всем попам, до того мне их жаль, честное слово! Жить без женщины! Когда кругом кишмя кишит женщинами! Но не могу же я приклеить к себе объявление: *«Сдается внаем мужчина. Обращаться по адресу...»* Во-первых,

[1] Основательно *(лат.).*

у меня выйдут неприятности с господином префектом, а во-вторых, люди так глупы, за мною будут ходить толпы... Короче говоря, я это клоню к тому, что, если среди ваших подруг, которых вы имеете честь, и так далее, и так далее, найдется желающая свести знакомство... с честными намерениями... вступить в приятное внебрачное сожительство... пусть не стесняется! Я к ее услугам. Виктор-Медерик Готрюш... человек верный и пылкий, для нежных чувствий лучшая копилка! Все справки наводить в моем прежнем подворье *«На тюремном просторе»*. И веселый, как горбун, который только что пустил ко дну верную жену, Готрюш, иначе, Гого Весельчак! Парень *свойский,* от вина не хмелеет, *тип* что надо, спиртное лакает круглые сутки, от *щучьей настойки* у него колики в желудке...— При этих словах он далеко отбросил бутылку с водой, стоявшую рядом с ним.— И да здравствуют стены! Они для папаши Готрюша что небо для боженьки! Гого Весельчак красит их в будни и спрыскивает в праздники! При этом не ревнив, не зол, не драчлив, настоящий душка, ни разу не поставил ни единого фонаря ни единой даме!.. Возьмите глаза в руки, вот он — я!

Встав во весь рост и сбросив серую шляпу, этот немолодой и полинявший уличный мальчишка выпрямил долговязое расхлябанное тело в старом синем сюртуке с золотыми пуговицами и задрал лысую, блестящую, в капельках пота голову.

— Смотрите сами! Помещение не из красивых... Особенно хвастаться нечем... Но прочное, крепко сколоченное, хоть и обшарпанное. Что говорить, от своих сорока девяти никуда не денешься!.. Волóс не больше, чем у бильярдного шара, борода как пырей, хоть сейчас отвар вари, фундамент не так чтобы слишком массивный, ноги длиннее, чем вóлос в супе... И притом такой тощий, что хоть купай в ружейном дуле! Такова выставка... Передайте проспект дальше... Если какая-нибудь женщина пожелает взять это добро... Степенная... не очень зеленая... и которая не станет отращивать мне чересчур длинные рога... Вы понимаете, мне ни к чему красотка кабаре.... Так вот, я весь тут!

Жермини схватила стакан Готрюша, залпом отпила до половины и протянула ему той стороной, с которой пила.

Когда стемнело, они пешком пошли домой. На каменной крепостной стене Готрюш острием ножа вырезал большое сердце, вписал в него дату и имена всех участников прогулки.

К ночи Жермини и Готрюш добрались до внешнего кольца бульваров, неподалеку от Рошешуарской заставы. Они остано-

вились рядом с приземистым домишком, на котором красовалась картонная вывеска: «Госпожа Мерлен. Раскройка и примерка платьев, два франка», перед каменной лесенкой, ступени которой исчезали во мраке. У входа, озаренного лишь красным огоньком кепкета, висела деревянная дощечка, на которой черными буквами было выведено:

Гостиница «Голубая ручка»

XLIX

Медерик Готрюш был мастеровым, но мастеровым — лодырем, шалопаем, балагуром, устроившим из жизни сплошную гульбу. Его губы всегда влажно блестели от последнего глотка вина, внутренности покрылись винным камнем, как старая бочка, а сам он, переполненный хмельной радостью, принадлежал к тем людям, которым бургундцы дали сочное название *пропитых кишок*. Постоянно навеселе — если не после сегодняшней попойки, то после вчерашней,— он видел жизнь сквозь солнечную пыль, плясавшую у него в мозгу. Он приветствовал свою судьбу и безвольно, как все пьяницы, отдавался ей, смутно улыбаясь с порога кабака существованию, всему окружающему, дороге, уходящей в темноту. Неприятности, заботы, *ветер в кармане* нисколько не волновали его, а если случайно ему и приходила в голову мрачная или серьезная мысль, он отворачивался от нее, произносил «пфу!», что у него означало «тьфу!», воздевал правую руку к небу, смешно передразнивая испанских танцоров, и отправлял уныние ко всем чертям. Он отличался невозмутимой мудростью пьянчуг, насмешливым спокойствием, почерпнутым в бутылке, и не знал ни зависти, ни желаний. Сновидения он покупал в кабаке и был уверен, что в любой момент может получить за три су — стаканчик счастья, за двенадцать — литр воплощенной мечты. Всем довольный, он всех любил, над всеми посмеивался и потешался. В мире ничто не наводило на него тоски,— разве что стакан воды.

К этому благодушию любителя выпить, к веселости беззаботного здоровяка присоединялись еще веселость, свойственная людям профессии Готрюша, хорошее настроение и живость, сообщаемые свободным и неутомительным ремеслом, которым занимаются на вольном воздухе, высоко над землей, развлекаясь песней и посылая с лестницы вниз прохожим соленую шутку. Готрюш был маляром и писал вывески. В Париже ему не было

равных, потому что только он один умел работать, ничего не измеряя, не набрасывая эскизов, умел сразу правильно разместить буквы на вывеске и, не теряя времени, тут же намалевать прописные буквы. Он также владел искусством писать буквы-*монстры,* буквы, не укладывающиеся ни в какой шрифт, рельефные буквы, отделанные бронзовой или золотой краской, в подражание буквам, выбитым на камне. Поэтому иной раз он зарабатывал по пятнадцать — двадцать франков в день. Но он все пропивал, деньги у него никогда не водились, и он вечно был в долгу у кабатчиков.

Этот человек был взращен улицей. Улица была его матерью, кормилицей, школой. Это она одарила его самоуверенностью, хорошо привешенным языком, острословием. Готрюш впитал в себя все, что ум мастерового может впитать на парижских мостовых. Те крохи мыслей и знаний, которые падают, проникают, просачиваются из верхних слоев общества в нижние, которые носятся в насыщенном воздухе и переполненных сточных канавах столицы,— клочки печатного слова, обрывки фельетона, проглоченного между двумя кружками пива, сцены из бульварных пьес,— все это неожиданно расширило кругозор Готрюша до той степени, когда человек, ничего не зная, способен всему научиться. Он был неиссякаемым и не знающим устали *балабоном.* Его речь изобиловала и сверкала меткими словечками, забавными сравнениями, образами, которые способен придумать только комический гений народа. Она отличалась естественной живописностью ярмарочного фарса. Готрюш знал неисчислимое количество анекдотов и шуток, черпая их в богатейшем репертуаре *баек* из жизни маляров. Завсегдатай низкопробных погребков — так называемых *низков,* он помнил все песенки, все куплеты и непрестанно их мурлыкал. Словом, он был уморительно забавен. Стоило ему появиться, — и все уже покатывались со смеху, как покатываются при появлении комического актера.

Человек такого жизнерадостного, веселого нрава «подходил» Жермини.

Жермини не была рабочей скотинкой, задавленной обыденными делами, служанкой-*деревенщиной,* которая испуганно таращит глаза и неуклюже переминается, тщетно стараясь понять, что́ ей говорят хозяева. Париж воспитал, переделал, отшлифовал и ее. Мадемуазель де Варандейль, не знавшая, куда девать время, и, как все старые девы, падкая до уличных сплетен, заставляла Жермини подолгу рассказывать новости, принесенные из лавок, подноготную всех жильцов, хронику до́ма и

улицы. Эта привычка делиться впечатлениями, болтать, словно она была компаньонкой мадемуазель, обрисовывать характеры людей, набрасывать их силуэты постепенно развивала в Жермини способность отыскивать красочные выражения, живо и непринужденно острить, делать насмешливые, подчас ядовитые замечания, необычные в устах служанки. Она порой изумляла мадемуазель де Варандейль сообразительностью, способностью все понять с полуслова, легкостью и быстротой, с которой находила словечки, сделавшие бы честь любой светской рассказчице. Она умела шутить, понимала игру слов, *не ляпала* невпопад и, если в молочной возникал спор по поводу правописания того или иного слова, высказывалась не менее авторитетно, чем чиновник мэрии из отдела регистрации смертей, завсегдатай госпожи Жюпийон. Она была начитана той сумбурной начитанностью, которая характерна для любознательных простолюдинок. В те давние годы, когда Жермини еще работала служанкой у женщин легкого поведения, она ночи напролет просиживала над романами. Потом она начала читать статьи, вырезанные из газет ее знакомыми, и сохранила в памяти не только имена нескольких французских королей, но и смутное представление о множестве вещей,— сохранила настолько, что у нее появилась потребность говорить об этих вещах с окружающими. Одна из жилиц дома, работавшая по соседству приходящей служанкой у актера, часто дарила ей билеты в театр, и Жермини запоминала не только содержание пьес, но и имена актеров, увиденные ею на афишах. Она нередко покупала дешевые издания песенок и романсов и зачитывалась ими.

Воздух квартала Бредá, как бы пронизанный бурным дыханием жизни артистов и художников, искусства и порока, подхлестнул врожденные способности Жермини, создал в ней желания и потребности. Еще в благополучную пору жизни она перестала бывать в «порядочном» обществе почтенных людей своей касты — тупых и добродетельных глупцов. Она не посещала прозаических и высоконравственных сборищ, где велись усыпляющие беседы за чашкой чая, на которые ее приглашали старые слуги старых людей — знакомых мадемуазель де Варандейль. Она спасалась от скучных служанок, одуревших от работы и мыслей о сберегательной книжке. Она научилась искать встреч только с людьми известного умственного уровня, равного ее собственному, и способных ее понять. Поэтому, выйдя из оцепенения, возвращаясь к жизни и обретая себя в развлечениях и удовольствиях, она желала веселиться лишь в обществе себе подобных. Она хотела, чтобы ее окружали мужчины, умеющие

рассмешить, источающие буйное веселье, хмельное остроумие, пьянящее не меньше, чем вино, которым ее угощали. Так Жермини все больше приближалась к разнузданной простонародной богеме, шумной, бесшабашной, возбуждающей, как всякая богема. Так она сделалась любовницей Готрюша.

L

Однажды, вернувшись домой на рассвете, Жермини не успела войти под дворовую арку, как за ней захлопнулись ворота и чей-то голос крикнул из тьмы:

— Кто идет?

Она бросилась к черной лестнице, но на площадке ее догнал и схватил за руку привратник.

— Ах, так это вы? — сказал он, узнав ее.— Ну, простите. Пожалуйста, не стесняйтесь. Вот гулёна!.. Почему я так рано на ногах? У нас ведь недавно обокрали комнату кухарки из квартиры на третьем этаже. Спокойной ночи. Вам повезло, что я не болтлив.

Прошло несколько дней, и, как узнала Жермини от Адели, слуга, муж обворованной кухарки, стал всюду и везде говорить, что далеко ходить нечего, воровка живет в их же доме и вообще дело тут ясное. Адель добавила, что об этом болтает уже вся улица, и есть люди, которые верят клевете и повторяют ее. Возмущенная Жермини все рассказала мадемуазель де Варандейль. Та, возмущенная и задетая еще больше, чем сама Жермини, тотчас написала хозяйке слуги, требуя немедленно пресечь разговоры, порочащие женщину, которая живет у нее уже двадцать лет и за которую она отвечает, как за самое себя. Слуге сделали выговор. Разозленный, он не только не умолк, но в течение целой недели сообщал всем и каждому в доме, что пойдет в полицию и предложит выяснить у Жермини, на какие средства она обставила квартиру сыну молочницы, купила ему замену, когда он вытащил жребий, и вообще на какие средства содержит своих любовников. Всю эту неделю страшная угроза висела над головой Жермини. Наконец вора нашли, и опасность рассеялась, но она тяжко повлияла на несчастную, у которой при малейшем столкновении с житейскими неурядицами путались мысли, под влиянием неожиданного волнения мешался разум. Она внесла смятение в душу, которая и без того быстро поддавалась страху и горю, утрачивала здравый смысл, ясность взгляда, правильность суждений и оценок, все преувеличивала, жила во власти

дурных предчувствий, безумной тревоги, безнадежности, видела в своих кошмарах реальность и ежеминутно готова была погрузиться в бездну отчаянья, подобного бреду, когда все думы и упования сводятся к спасительной фразе: «Ну что же, в таком случае я покончу с собой!»

Жермини, охваченная горячкой страха, за эту неделю пережила в воображении все стадии того, что, как ей казалось, неизбежно должно было с ней случиться. Днем и ночью ей чудилось, что позор ее разглашен и выставлен напоказ, что ее тайна, ее проступки и грехи, все скрытое, погребенное в глубине сердца, найдено, показано, сообщено мадемуазель. Ее выдадут и погубят долги привратнику и лавочникам за вино и закуски для Готрюша, за все, что она покупала теперь в кредит, вдобавок к долгам, сделанным во время связи с Жюпийоном. При этой мысли мурашки пробегали по спине Жермини: ей уже казалось, что мадемуазель ее выгоняет. Всю эту неделю она видела себя стоящей перед полицейским инспектором, всю неделю была одержима одним-единственным словом и тем, что оно воплощало: «Правосудие!» Правосудие, каким оно является воображению низших классов, нечто ужасное, непостижимое и неизбежное, повсюду присутствующее и за всем стоящее, смутный образ всесильного несчастья в черной судейской одежде, наделенный кулачищами полицейского и плечами гильотины, маячащий между стражником и палачом! Жермини разделяла эту суеверную народную боязнь, всегда твердила, что предпочитает умереть, чем предстать перед судом,— и вот теперь она видела себя между жандармами в зале заседаний, на скамье подсудимых, в окружении того величавого неведомого, которое носит имя Закона и представляется невежеству истинным чудовищем! Всю неделю слух Жермини ловил на лестнице шаги тех, кто должен был ее арестовать.

Для таких больных нервов встряска оказалась слишком сильной. Жермини настолько лишилась душевного равновесия за эту неделю терзаний, что теперь ею целиком завладела, подчинив своей власти, мысль, которая до сих пор лишь кружила над ней: мысль о самоубийстве. Сжав голову руками, Жермини вслушивалась в этот голос, обещавший освобождение. Она не старалась заглушить тихий шепот смерти, улавливаемый нами сквозь шум жизни, как отголосок грохочущего водопада, замирающий в пустоте. Ее искушал и преследовал соблазн, подсказывающий отчаянью средства, которые легко и быстро убивают, которые, будучи вложены в руку человека, прекращают его

страдания. Взгляд Жермини все время останавливался, сосредоточивался на предметах, дарующих исцеление от жизни. Она приучала к ним пальцы и губы, касалась их, вертела в руках, приближала ко рту, испытывая свое мужество и стараясь ощутить вкус смерти. Часами она простаивала у окна кухни, с высоты шестого этажа напряженно вглядываясь в камни, вымостившие двор,— камни, которые она так хорошо знала, которые узнала бы и *тогда!* По мере того как смеркалось, она все больше и больше высовывалась из окна, налегая всем телом на непрочную перекладину, надеясь в душе, что та не выдержит и увлечет ее за собой, молясь о том, чтобы ей не пришлось самой делать страшного прыжка в пространство, на который у нее не хватало решимости...

— Ты же вывалишься из окна! — сказала однажды мадемуазель, испуганным и непроизвольным движением хватая ее за юбку.— Что ты там рассматриваешь?

— Ничего, камни...

— Ты спятила! Напугала меня до полусмерти!

— Люди так просто не падают, барышня,— со странным выражением в голосе сказала Жермини.— Вы уж поверьте мне: чтобы выпасть из окна, нужно очень этого хотеть.

LI

Готрюша преследовала одна из его прежних любовниц, поэтому он не давал Жермини ключа от своей комнаты. Если его не оказывалось дома, она вынуждена была ждать внизу, на улице, под открытым небом, ночью, в холод.

Сперва она прогуливалась взад и вперед перед домом, делала шагов двадцать в одну сторону, в другую, снова возвращалась. Время шло, и постепенно она начинала все больше удаляться от дома, увеличивать расстояние, ходить по бульвару из конца в конец. Униженная, забрызганная грязью, она нередко часами бродила под нависшим небом, во мраке, окутавшем улицу предместья со всеми таящимися там ужасами. Она шла мимо выкрашенных в красный цвет домов виноторговцев, мимо беседок, когда-то увитых зеленью, теперь облетевшей, мимо харчевен, наподобие медвежьих загонов окруженных голыми деревьями, мимо низких лачуг с плоскими крышами и несимметричными окнами без занавесок, мимо шляпных мастерских, где торгуют рубашками, мимо угрюмых гостиниц, где комнаты сдаются на одну ночь. Она видела зловещие, запертые и опеча-

танные лавчонки банкротов, жуткие, словно обглоданные стены, темные проходы, загороженные железными перекладинами, замурованные окна, двери жилищ, где, казалось, не могут не совершаться убийства: планы таких жилищ предъявляют в суде присяжным. Чем дальше она брела, тем больше становилось унылых садиков, покосившихся домишек, уродливых построек, огромных ржавых ворот, обнесенных заборами пустырей, где по ночам тревожно белеют сваленные в кучу камни, странного вида зданий, отравлявших воздух запахом селитры, стен, испещренных циничными объявлениями и клочьями разорванных афиш, на которых заплесневелые буквы были словно изъедены проказой. По временам перед Жермини внезапно открывались сырые, точно погреба, переулки, которые через несколько шагов как будто проваливались в яму, тупики, рисовавшие на синеве неба неподвижную черноту огромной степы, крутые мглистые улицы, где редкие фонари брызгали тусклыми лучами на белесую штукатурку домов.

Жермини продолжала идти. Она кружилась в треугольнике улиц, где омерзительный разгул напивается до бесчувствия и утоляет похоть, в треугольнике, образованном больницей для бедных, скотобойней и кладбищем: Ларибуазьер, Бойнями и Монмартром.

Прохожие — рабочий, бредущий из города, что-то насвистывая, работница, кончившая смену и прячущая иззябшие руки под мышками, проститутка в черном чепце,— столкнувшись с Жермини, оглядывали ее. Незнакомые люди как будто ее узнавали, и, пристыженная, она бежала подальше от фонарей или переходила на противоположную сторону бульвара и шла, прижимаясь к стене, по одетому тьмой пустынному шоссе, пока уродливые мужские тени и грубые сладострастные руки не вынуждали ее снова спасаться бегством.

Жермини решала уйти, бранила себя, обзывала «тварью» и «дрянью», давала себе слово, что будет ждать не больше пяти минут: дойдет до следующего дерева, и если Готрюш к тому времени не вернется, то кончено, она немедленно отправится домой. Но она не уходила, она по-прежнему шагала взад и вперед, по-прежнему ждала, и чем дольше Готрюш не возвращался, тем сильнее и нестерпимее ей хотелось его увидеть.

Через несколько часов, когда прохожих становилось совсем мало, обессилев и едва передвигая ноги от усталости, Жермини опять шла в сторону жилых домов. Она переходила от лавки к лавке, машинально направляясь туда, где еще горел газ, и бессмысленно останавливалась перед сверкающими витринами.

Она старалась утомить глаза, старалась, притупив нетерпение, убить его. Жермини подолгу задерживалась у винных лавок: сквозь запотевшие окна она видела кухонные кастрюли и стопки пуншевых чаш, окруженных пустыми бутылками, откуда торчали лавровые листья, ликеры, переливавшиеся радугой в свете фонарей, пивные кружки с засунутыми в них ложечками из накладного серебра. Она по складам читала старые таблицы лотерейных тиражей, рекламы «глории», объявления, написанные желтыми буквами: «Молодое вино, *чистопородное,* 70 сантимов». С четверть часа она не отрывала глаз от комнатушки, где за столом сидел на табурете мужчина в блузе; вся обстановка комнаты состояла из печной трубы, грифельной доски и двух черных досок, висевших на стене. Ее пристальный, лишенный выражения взгляд различал сквозь рыжую мглу испарений смутные силуэты *работяг,* склоненных над верстаками, останавливался и как бы прилипал к рукам, подсчитывавшим дневную выручку, к прилавку, который мыли, к бочонку, который скребли, к глиняной кружке, которую покрывали глазурью. Жермини ни о чем не думала, просто стояла как пригвожденная, чувствуя, что сердце у нее еле бьется от усталости, ноги подкашиваются, глаза заволакивает дымка беспамятства, слух лишь неясно различает грохот забрызганных грязью фиакров, катящих по слякоти бульваров. Она пошатывалась и временами принуждена была прислониться к стене.

Болезнь и душевная неуравновешенность, соединившись с головокружениями, из-за которых Жермини боялась переходить через Сену и судорожно цеплялась за перила моста, довели ее до того, что в иные дождливые вечера страх, порой охватывавший ее на внешнем кольце бульваров, переходил в настоящий ужас. Когда пламя фонарей, мерцая в сырой мгле, бросало неверный, дрожащий отсвет на мокрую землю, которая поблескивала, словно вода; когда мостовые, тротуары, почва исчезали и растворялись под потоками дождя и все становилось зыбким в темноте промозглой ночи,— обезумевшей от усталости Жермини начинало казаться, что сточные канавы постепенно затопляют город. Словно в бреду, она видела, как вода наступает на нее, приближается к ней, окружает ее. Тогда она закрывала глаза, боясь шевельнуться, боясь оступиться, и рыдала до тех пор, пока какой-нибудь прохожий, сжалившись над ней, не брал ее за руку и не отводил в гостиницу «Голубая ручка».

LII

Ей оставалось последнее прибежище — лестница. Там она находила спасение от дождя, снега, холода, страха, отчаянья, усталости. Она поднималась по ней и садилась возле запертой двери Готрюша, подбирала концы шали и юбку, чтобы оставить проход для тех, кто шел мимо по крутым ступенькам, сжималась в комок, съеживалась, чтобы на узкой площадке ее позор занимал как можно меньше места.

Из открытых дверей вырывались, распространяясь по лестнице, застоявшиеся запахи уборных, запахи людей, живущих целыми семьями в одной комнате, вредных ремесел, жирная, пахнущая мясом копоть жаровен, стоящих прямо в прихожих, вонь ветоши, удушливые испарения белья, сохнущего на веревках. За спиной Жермини было окно с разбитыми стеклами; оттуда доносилось зловоние помойки, куда весь дом сливал нечистоты,— зловоние навозной жижи. Стоило Жермини вдохнуть этот зараженный воздух, как к горлу подступала тошнота; она вытаскивала из кармана бутылочку с мелиссовой настойкой, с которой никогда не расставалась, и отпивала глоток, чтобы не упасть в обморок.

Но и на лестнице были прохожие: по ней поднимались добропорядочные жены рабочих, несшие ведерки с углем или судки с ужином. Они задевали Жермини ногами, и, пока их фигуры не скрывались в дверях квартир, она все время чувствовала презрительные взгляды, которые падали на нее из-за каждого лестничного поворота тем тяжелее, чем выше взбирались женщины. Дети, маленькие девочки в платочках, скользили по темной лестнице, как лучи света, невольно вызывая в памяти Жермини образ дочери, какой она нередко видела ее во сне,— выросшей, полной жизни. Девочки останавливались перед Жермини, смотрели на нее широко раскрытыми глазами, потом отступали и, не переводя дыхания, взбегали по ступенькам; перегнувшись через перила, они с верхней площадки выкрикивали глупые ругательства, бранные слова, привычные для детей простонародья. Оскорбления, сыпавшиеся из этих розовых ротиков, особенно больно ранили Жермини. На секунду она приподнималась, затем, удрученная, обессиленная, снова тяжело садилась на ступеньку и, натянув на голову клетчатую шаль, укутавшись, спрятавшись в нее, застывала в какой-то мертвой неподвижности, в равнодушном оцепенении, сливалась с собственной тенью, подобная узлу, брошенному на лестницу

под ноги проходящим; все ее существо желало только одного: услышать шаги, которые должны были вот-вот раздаться — и не раздавались.

Проходили часы, казавшиеся ей бессчетными, и наконец она различала неверные шаги на улице; потом кто-то начинал взбираться по лестнице, бормоча пьяным голосом:

— Дрянь! Дрянь ты, а не кабатчик! Напоил меня допьяна!

Это был он.

Почти всегда разыгрывалась одна и та же сцена.

— А, ты здесь, моя Жермини! — говорил он, узнавая ее.— Понимаешь, какое дело... Сейчас расскажу... Я немного того...— Он вставлял ключ в замочную скважину.— Расскажу... Я не виноват...— Он входил, отталкивал ногой голубку со сломанным крылом, которая прыгала, прихрамывая, и запирал дверь.— Понимаешь, это не я... Это Пайон... Ты знаешь Пайона? Толстяк, жирный такой, как пес у придурка... Так вот, это он, ей-богу, он. Решил угостить меня винишком. Ну, раз он оказал мне внимание, должен же я ответить любезностью. Вот мы и почтили наше заведение, почти-почти-почти-ли! Одну, и еще раз одну, и на этом мы кончились... Дьявольщина какая-то! А этот чертов кабатчик вышвырнул нас на улицу, как яичную скорлупу!

Пока он болтал, Жермини зажигала свечу, воткнутую в медный подсвечник. Колеблющийся свет озарял карикатуры, вырванные из «Шаривари» и наклеенные на засаленные обои.

— Ты ангельчик! — говорил Готрюш при виде холодного цыпленка и трех бутылок вина, поставленных Жермини.— Потому что, надо признаться... у меня в желудке... дрянной бульон... и больше ничего. А этот красавчик прямо не цыпленок, а настоящий поросенок!

Он принимался за еду. Жермини пила, облокотившись на стол, пристально глядя на Готрюша, и глаза ее становились совсем черными.

— Ну, все червячки заморены! — говорил Готрюш, допивая последний глоток из последней бутылки.— Детям пора баиньки.

Любовные объятия этих двоих были мрачны, свирепы и беспощадны, желание и страсть неистовы, наслаждение жестоко, хмельные ласки грубы и яростны, поцелуи, жаждавшие крови, напоминали укусы диких зверей; потом ими овладевало такое бессилие, что тела их как бы превращались в трупы.

В это буйство плоти Жермини вносила что-то горячечное, бредовое, отчаянное, какое-то нечеловеческое исступление. Ее обостренная чувственность, терзая самое себя, жаждала уже не блаженства, а му́ки. Удовлетворение не насыщало, а лишь подстрекало ее, доводя до предела, граничившего с самоистязанием. Несчастная находилась в том состоянии душевного возбуждения, когда голова, нервы, взвинченное воображение ищут в наслаждении не наслаждения, а чего-то более острого, жгучего, пронзительного: страдания в сладострастии. Ежеминутно ее сжатые губы беззвучно произносили слово «умереть», точно она молчаливо призывала смерть и хотела обрести ее в этом любовном бешенстве.

Случалось, что ночью она внезапно садилась на постели, спускала голые ноги на холодный пол и угрюмо прислушивалась к тому, что всегда трепещет в уснувшей комнате. Постепенно окружавший Жермини мрак начинал как бы обволакивать ее. Ей казалось, что она опускается, падает в бесчувствие и слепоту ночи. Мозг уже не подчинялся воле, черные мысли бились в висках, подобные существам, наделенным крыльями и голосами. Мрачные демоны-искусители, смутно рисующие преступление глазам безумия, ослепляли ее вспышками багрового света, молниями убийства, и неведомые руки подталкивали к столу, где лежали ножи... Жермини зажмурилась, шевелила ногой, потом боязливо натягивала на себя простыню и, наконец, повернувшись, залезала в постель, снова сливая свой сон со сном человека, которого хотела убить. За что? Она и сама не знала. Ни за что — просто, чтобы убить.

И так до утра в жалкой меблированной комнатушке длилась эта яростная и смертоубийственная любовная схватка, между тем как бедная голубка, хромая, немощная, искалеченная птица Венеры, прикорнувшая в старой туфле Готрюша, порою просыпаясь от шума, начинала испуганно ворковать.

LIII

К этому времени Готрюш стал меньше пить. Он только что оправился от первого приступа болезни печени, которая давно тлела в насквозь проспиртованной крови, кирпичным румянцем красившей его скулы. Целую неделю Готрюша терзали такие раздирающие боли в боку и желудке, что волей-неволей ему пришлось призадуматься. Он преисполнился благих намерений, и его мысли о будущем окрасились в сентиментальные тона.

«Придется разбавить жизнь водичкой, иначе и в ящик сыграть недолго»,— думал он. Ворочаясь с боку на бок в постели, корчась и поджимая колени, чтобы уменьшить боль, он оглядывал стены своего чулана, куда приходил ночью, чтобы протрезвиться или поспать, откуда удирал, едва рассветало, и думал о том, что пора остепениться. Он думал о комнате, где вместе с ним поселится женщина, которая будет его кормить вкусным горячим супом, ухаживать за ним, если он заболеет, штопать носки, чинить белье, удерживать его от пьянства,— словом, женщина, которая не только устроит ему настоящую семейную жизнь, но и, вдобавок ко всему, не будет дурехой, сумеет понять его, посмеяться вместе с ним. Долго искать не приходилось, такой женщиной была Жермини. У нее должен быть кругленький капиталец, сбережения, сделанные за годы службы у старой девы; если прибавить к этому его собственный заработок, то они заживут отлично, в свое удовольствие, Готрюш не сомневался в согласии Жермини; он заранее был уверен в том, что она примет его предложение, а если и начнет колебаться, он мигом уговорит ее, пообещав в конце концов жениться на ней.

Когда однажды, в понедельник, Жермини пришла к нему, он ей все изложил:

— Слушай, Жермини, что ты скажешь на такой план? Хорошенькая комната... не такая, как этот ящик... Настоящая комната с уборной... на Монмартре... два окна и все прочее... На улице Императора... с таким видом из окон, что англичанин пять тысяч франков не пожалел бы, лишь бы увезти его с собой... Словом, этакое гнездышко, где можно просидеть целый день и не соскучиться... Потому что, скажу тебе по совести, мне надоело переезжать с места на место и менять одних клопов на других. К тому же какой интерес жить в меблирашках и всегда одному? Друзья — это не то: они слетаются, как мухи на мед, когда платишь за вышивку, а потом будь здоров! Прежде всего я больше не хочу пить, вот, ей-богу, не хочу, ты сама увидишь. Мне вовсе не интересно тратить деньги на то, чтобы подохнуть раньше времени. Отнюдь! Ни в коем случае! Надо поберечь свое брюхо. Все эти дни мне казалось, что я съел кучу штопоров. На тот свет мне что-то не хочется... Поэтому я думал, думал и вот что придумал: сделаю-ка я предложение Жермини. Прикуплю немного мебели... у тебя в комнате тоже, наверно, что-нибудь есть... Ты знаешь, я не бездельник, на все руки мастер... И потом, не всегда же работать на других, откроем и свою *ресторацию*. Если у тебя кое-что отложено в чулке, тоже неплохо. Мы

устроимся вместе, как полагается, а когда-нибудь заглянем и к господину мэру. Что ты скажешь на это, цыпочка? Неплохо придумано, правда? И ты сможешь отдохнуть от старухи и пожить со своим дорогим старичком Готрюшем.

Жермини, слушавшая Готрюша, приблизив к нему лицо и опершись подбородком на ладонь, откинулась назад и пронзительно захохотала:

— Ха-ха-ха! Так ты думаешь... ты говоришь... ты думаешь, что я уйду от нее? От барышни? Ты вправду так думаешь? Ну и дурак же ты! Пусть у тебя будут миллионы, пусть ты будешь весь в золоте, понимаешь, весь, с головы до ног!.. Ну и комедия! Барышня!.. Ты, значит, не знаешь, я тебе не говорила... Чтоб она умерла и глаза ей закрыли не эти руки?.. Нет, ты и вправду так думаешь?

— Видишь ли, я считал... судя по твоему обхождению... Мне казалось, что ты все-таки больше дорожишь мной... в общем, что ты любишь меня...— пробормотал маляр, смущенный беспощадной, шипящей иронией Жермини.

— Ах, так! Ты к тому же еще думал, что я тебя люблю! — Словно стараясь вырвать в эту минуту из сердца чувство, которое жгло ее стыдом, она продолжала: — Да, ты прав, я тебя люблю... люблю так, как ты любишь меня, не больше... Понятно? Люблю, потому что ты под рукой, потому что это удобно. Я привыкла к тебе, как к старому платью, с которым никак не расстанешься... Вот как я тебя люблю! А за что мне любить тебя иначе? Ты или другой — какая мне разница, скажи на милость! Чем ты для меня отличаешься от всех остальных? Ну, хорошо, ты взял меня... Дальше что? По-твоему, этого достаточно, чтобы я тебя полюбила? Что ты сделал такого, чтобы привязать меня к себе, объясни мне, пожалуйста? Пожертвовал ли ради меня хоть одной рюмкой водки? Пожалел ли меня вот настолько, когда я под твоей дверью месила грязь и снег и могла насмерть простудиться? Ладно уж! А какими словами меня честили, какими помоями обливали! Словно огнем жгли! Меня оскорбляли, пока я тебя ждала, а тебе было наплевать! Я уже давно хочу высказать тебе все, что у меня накипело... Нет, погоди! — добавила она со злобной улыбкой.— Ты, может, думаешь, что свел меня с ума своей красотой, кудрями, которые все повылезли, этой вот рожей? Как бы не так? Я взяла тебя... Да я взяла бы первого встречного! У меня бывают такие дни, когда мне нужно... я тогда ничего не соображаю и не вижу. Это уже не я тогда... Я взяла тебя потому, что было жарко, вот и все!

Она на секунду умолкла.

— Выкладывай все подряд,— сказал Готрюш.— Разделывай меня под орех. Не стесняйся, пока ты еще здесь.

— Ты думал, я завизжу от восторга, что буду с тобой? Наверно, говорил себе: «Вот обрадуется, дуреха! А уж если я пообещаю жениться на ней!.. Она тут же оставит свое место, бросит хозяйку!..» Подумать только! Барышню! Барышню, у которой, кроме меня, никого нет! Ты ведь не знаешь... А впрочем, ты и не понял бы... Барышня для меня все! После смерти матери у нее одной нашла я ласку, нашла заботу... Кто еще спрашивал, когда мне было тяжело на сердце: «Тебе тяжело?» Или когда я болела: «Ты больна?» Никто! Только она ухаживала за мной, заботилась обо мне. Ты называешь любовью то, что было у нас с тобой... Барышня — вот кто меня любит! Да, любит! И теперь я умираю из-за этого, из-за того, что стала такой потаскухой, такой...— Она произнесла слово...— Из-за того, что обманываю ее, краду ее любовь, позволяю относиться ко мне, точно я ее дочь... я... я... Если она когда-нибудь узнает!.. Будь спокоен, тогда все будет кончено, уж я-то не побоюсь выброситься с шестого этажа, вот тебе святой крест! Что говорить, ты ведь не мое сердце, не моя жизнь, ты только мое удовольствие. А был у меня один... Уж не знаю, любила ли я его... Меня на части разрезали бы за него, и я не застонала бы! Он был моим несчастьем... И при этом, понимаешь ли, в самый разгар, когда я не дышала, если он не хотел, когда с ума по нему сходила, когда смолчала бы, если бы он наступил мне на живот, так вот, даже тогда, заболей барышня, помани она меня пальчиком, я и то прибежала бы... Да, для нее я бросила бы даже его! Можешь мне поверить, что бросила бы!

— Ну... раз все обстоит так, дражайшая моя... раз ты так обожаешь свою старуху, могу посоветовать тебе только одно: никогда с ней не разлучайся.

— Это что же, отставка? — вставая, спросила Жермини.

— Похоже на то.

— В таком случае прощай. Это меня устраивает.— Она молча направилась к двери.

LIV

После этого разрыва Жермини скатилась туда, куда должна была скатиться, туда, где уже нет места стыду, нет места ничему человеческому. Жалкая, сжигаемая внутренним огнем женщина падала все ниже и ниже, пока не оказалась на самом дне — на улице. Она подбирала любовь, которая изнашивалась

за одну ночь, которая случайно шла мимо, попадалась навстречу, подвертывалась на тротуаре вожделеющей самке. Она уже не ждала, чтобы в ней вспыхнула страсть: ее прихоти были нетерпеливы, необузданны, внезапны. Влекомая желанием к первому встречному, она даже не смотрела ему в лицо и на следующий день не смогла бы его узнать. Ее не трогали и не задевали красота и молодость, та внешняя привлекательность, в которой ищут хотя бы подобие идеала самые презренные из женщин. Во всех мужчинах она видела теперь только самца,— индивидуальность ее не интересовала. Угас последний проблеск целомудрия, человеческого чувства в разврате; личные качества, предпочтение, выбор и даже брезгливость, заменяющая проституткам совесть, перестали существовать для Жермини.

Она бродила по ночным улицам осторожной, неуверенной походкой животного, которое рыщет во мраке, подгоняемое любовным голодом. Начисто потеряв женственность, она сама бросалась на добычу, разжигала похоть, пользовалась опьянением и брала, а не отдавалась. Она шла, как бы вынюхивая, выискивая все темное и нечистое, что таится на пустырях, ловила подачки, бросаемые ночным одиночеством, ждала рук, готовых сорвать шаль. Запоздалые прохожие не раз видели при свете фонарей ее сгорбленную, расплывающуюся во тьме, зловещую, напряженную фигуру, которая кралась, почти ползла, пригнувшись к самой земле, ее лицо, отмеченное печатью безумия, болезни и такой душевной опустошенности, что это зрелище не могло бы не наполнить бесконечной печалью сердце мыслителя и мысль врача.

LV

Однажды, пробираясь по улице Роше, Жермини увидела у стойки кабачка на углу улицы Лаборд спину какого-то мужчины,— то был Жюпийон.

Она остановилась как вкопанная, потом свернула за угол и, прислонившись к решетчатым дверям распивочной, стала ждать. Свет, падавший из заведения, озарял сзади ее плечи. Придерживая спереди юбку одной рукой, вяло опустив другую, Жермини не двигалась, словно теневая статуя у придорожной тумбы. В ее позе была какая-то страшная решимость ждать — терпеливо, неколебимо, вечно. Прохожих, кареты, улицу она видела смутно, словно издалека. Перед ней стояла, дремотно опустив голову, запасная лошадь, которую впрягали в омнибус вся-

кий раз, когда нужно было подниматься в гору,— белая, неподвижная, измученная кляча; ее голова и передние ноги были залиты светом, падавшим из открытых дверей,— но Жермини не видела даже этой лошади. Над городом висел туман. Был один из тех грязных, промозглых дней, когда кажется, что с парижского неба на землю льется не дождь, а потоки слякоти. У ног Жермини бурлила вода сточной канавы. Она простояла, не шевелясь, больше получаса, жалкая и в то же время грозная, исполненная отчаяния, сумрачная и безликая фигура — застывшее на сверкающем фоне изваяние Рока, которое Ночь поставила у входа в Кабак.

Наконец Жюпийон вышел. Жермини, скрестив руки на груди, преградила ему дорогу.

— Где мои деньги? — сказала она. Судя по выражению ее лица, у нее не осталось ни совести, ни веры в бога, ни страха перед жандармами, судом, эшафотом — ничего.

Насмешка застряла в горле у Жюпийона.

— Твои деньги? — переспросил он.— Твои деньги... они не пропали... но нужно время. Сказать по правде, у меня как раз сейчас маловато работы. Я ведь давно продал мастерскую, ты об этом, наверно, знаешь. Но через три месяца обещаю тебе... Ну, расскажи, как ты живешь?

— Негодяй! Попался наконец! Думал, сумеешь удрать от меня? Несчастье мое, это ты сделал меня такой, какая я стала, разбойник, вор, мерзавец! Ты...

Выкрикивая это, Жермини наступала грудью на Жюпийона, приближала к нему лицо, толкала его. Она как будто сознательно напрашивалась на удары, тянулась к ним. Наклонившись всем телом к молодому человеку, она кричала:

— Ударь же меня! Какими словами я должна тебя оскорбить, чтобы ты меня ударил?

Жермини уже ничего не соображала. Сама не зная, чего хочет, она только смутно чувствовала потребность быть побитой. Ее охватило безотчетное, инстинктивное желание вызвать Жюпийона на грубость, на жестокость, на то, чтобы он встряхнул ее, побил, причинил физическую боль, страдание, которое заглушило бы то, что стучало у нее в висках. Ей казалось, что только побои действительно положат конец всему. Словно в бреду, она отчетливо видела все, что должно последовать: появление полицейских, участок, полицейского инспектора — того самого инспектора, которому она сможет поведать свою историю, свои несчастья, все, что ей пришлось перенести, вытерпеть из-за этого человека. Жермини становилось легче при мысли о

Жермини Ласерте

том, что, плача и причитая, она выскажет в потоке слов обиду, отягощавшую ей сердце.

— Побей же меня! — повторяла Жерминя, продолжая наступать на Жюпийона, в то время как он старался увернуться от нее и бормотал ласковые слова, точно она была собакой, не узнающей хозяина и норовящей его укусить. Вокруг них начали собираться зеваки.

— А ну-ка, старая пьянчужка, оставь господина в покое,— сказал полицейский, бесцеремонно хватая Жерминя за локоть и поворачивая лицом к себе. Прикосновение руки Закона было так оскорбительно-грубо, что у Жермини подкосились ноги. Она чуть не лишилась чувств. Потом ей стало страшно, и она бросилась бежать по мостовой.

LVI

У любви бывают неожиданные вспышки, непонятные возвраты к жизни. Жермини казалось, что ее проклятая страсть убита бессчетными ударами и ранами, нанесенными Жюпийоном,— и вот она опять воскресла. Когда, вернувшись домой, Жермини поняла это, она пришла в ужас. Стопло ей увидеть Жюпийона, постоять рядом с ним, услышать его голос, вдохнуть воздух, которым он дышал, как ее сердце снова всецело отдалось прошлому.

Этот человек врос в нее такими крепкими корнями, что, вопреки всему, она не смогла вырвать его из себя. Жюпийон был первой ее любовью. Она боролась с собой и все-таки принадлежала ему, принадлежала по слабости, рожденной воспоминаниями, по малодушию, рожденному привычкой. Ее связывала с ним цепь мук, неразрывная для женщины,— цепь, составленная из самопожертвования, горя и унижений. Жюпийон владел ею, потому что надругался над ее совестью, растоптал мечты, превратил ее жизнь в ад. Она навеки стала его собственностью, потому что ему была дана власть терзать ее.

Отвратительная сцена, которая должна была бы сделать невыносимой мысль о новой встрече, напротив, зажгла в ней неукротимое желание опять его увидеть. Жермини вновь горела в огне страсти. Мысль о Жюпийоне заполнила ее настолько, что даже очистила. Она тут же покончила со своими похождениями, не желая принадлежать другим: для нее это было единственной возможностью все еще принадлежать ему.

Жермини начала выслеживать Жюпийона, запоминать, в какие часы он выходит из дому, по каким улицам идет, куда

обычно направляется. Она провожала его до Батиньоля, до дверей его новой квартиры, кралась сзади, радуясь, что может идти одной дорогой с ним, по его следу, улавливать его движения, перехватывать случайный взгляд. И это все,— заговорить с ним она не осмеливалась и держалась на расстоянии, как собака, потерявшая хозяина и довольная уже тем, что ее не отпихивают ногой.

В течение недель Жермини была тенью этого человека, смиренной и робкой, отступающей, прячущейся, если ей казалось, что он ее заметил, и вновь бредущей боязливыми шагами, чтобы опять остановиться с умоляющим видом, если он делал нетерпеливый жест.

Порою она дожидалась его у ворот дома, куда он заходил, потом снова шла за ним, провожая домой, по-прежнему издали, молча, словно нищенка, которая благодарно подбирает объедки. Она сторожила у дверей его квартиры (он жил на первом этаже), прислушиваясь, один ли он, нет ли у него гостей.

Если он был с какой-нибудь женщиной, Жермини не прекращала преследования, хотя жестоко страдала. Она упрямо шла туда, куда шли они, входила следом за ними в общественные сады, в танцевальные залы. Она двигалась, точно заворожённая их смехом, звуком их голосов, мучилась, глядя на них, слушая их, и все-таки ни на шаг не отступала, терзая свое ревнивое сердце.

LVII

Стоял ноябрь. Жермини несколько дней не встречала Жюпийона. Она решила пойти к его дому и там высмотреть его. Еще издали ей бросилась в глаза широкая полоса света, пробивавшаяся из-под закрытых ставень его окна. Она подошла и услышала взрывы смеха, звон бокалов, женские голоса, потом песню, которую пел женский голос, голос той, которую она ненавидела всеми фибрами души, той, которую хотела бы видеть мертвой, той, чью смерть столько раз пыталась различить в кофейной гуще,— голос кузины.

Жермини припала к ставне, прислушиваясь к словам, с мучительной болью вникая в их смысл, словно изголодалась по страданию и теперь жадно его глотала. Накрапывал холодный зимний дождь. Она его не чувствовала. Она вся превратилась в слух. Ненавистный голос порою слабел, умолкал, песенка прерывалась, точно заглушенная чьим-то ртом, чьими-то поцелуями. Время шло, но Жермини не двигалась с места, не уходила,

ждала неизвестно чего. Ей казалось, что она должна остаться тут навсегда, до последнего вздоха. Дождь усилился. Вода из поломанной водосточной трубы лилась прямо ей на плечи. Крупные капли проникали за шиворот, ледяной холод костенил спину. С ее платья на мостовую стекала вода. Жермини ничего не замечала. В эту минуту ее тело чувствовало только боль души.

Уже за полночь Жермини услышала шум, движение, шаги, приближающиеся к двери. Она спряталась за выступ стены в нескольких шагах от дома и увидела женщину, которая вышла об руку с молодым человеком. Она смотрела им вслед и вдруг почувствовала на своих руках что-то мягкое и теплое. Сперва она испугалась. Потом поняла, что это лижет ей руки пес, большой пес, который совсем щенком лежал по вечерам у нее на коленях в комнатушке за лавкой госпожи Жюнийон.

— Сюда, Молос! — несколько раз нетерпеливо крикнул Жюнийон из темноты.

Собака залаяла, убежала, затем, прыгая, обернулась и ушла совсем. Дверь закрылась. Песни и голоса вновь возвратили Жермини на прежнее место, к ставне. Она мокла под проливным дождем и упрямо слушала, слушала до утра, до самого рассвета, пока каменщики, которые с хлебом под мышкой шли на работу, не увидели ее и не подняли на смех.

LVIII

Прошло несколько дней после ночи, проведенной Жермини под дождем, и мадемуазель обратила внимание на то, что лицо ее служанки искажено болью, щеки пылают багровым румянцем, глаза покраснели. Но Жермини молчала, ни на что не жаловалась и работала как обычно.

— А ну-ка посмотри на меня! — сказала мадемуазель и, схватив Жермини за руку, подтащила к окну.— Что с тобой творится? У тебя вид, точно ты явилась с того света. Ты больна? Господи, какие горячие руки!

Она взяла Жермини за кисть руки и через несколько минут воскликнула:

— Ах ты, мерзавка! У тебя такой жар, а ты молчишь!

— Да нет, барышня, это пустяки,— пробормотала Жермини.— Просто я сильно простудилась. Уснула на днях на кухне, а окно было открыто.

— Ну, я-то с тобой хорошо знакома. Ты скорей подохнешь, чем шевельнешь мизинцем. Погоди...

Надев очки, быстро пододвинув столик к камину, она написала своим крупным почерком несколько строчек.

— На́,— сказала она, складывая записку, и передай твоей дражайшей Адели, пусть спустится к привратнику и попросит отнести письмо по адресу. А теперь — марш на подстилку!

Но Жермини отказалась лечь. К чему ей ложиться? Она не будет ничего делать. Весь день просидит в кресле. К тому же ей уже лучше, она поправляется. А в постели ей сразу станет хуже.

Вечером пришел врач, вызванный запиской мадемуазель. Он осмотрел Жермини и велел ей намазаться кротоновым маслом. В груди у больной все так хрипит, что ничего определенного он пока сказать не может. Следует подождать, пока подействует лекарство... Через несколько дней он вернулся, уложил Жермини и долго ее выслушивал.

— Поразительно! — сказал он, спустившись к мадемуазель.— Она ведь на ногах перенесла плеврит. Железная она, что ли? Уж эти мне женщины! Сколько ей лет?

— Сорок один год.

— Сорок один? Не может быть! Вы уверены? На вид ей можно дать все пятьдесят.

— Ну, о ее виде лучше не говорить! Что вы хотите? Никудышное здоровье... вечные хвори... неприятности... огорчения. К тому же такой характер, что она постоянно сама себя грызет.

— Сорок один год! Странно! — повторил врач. Помолчав и подумав, он спросил у мадемуазель: — Не знаете ли вы, были у нее в семье легочные заболевания? Не умер ли кто-нибудь из ее родных?

— Ее сестра умерла от плеврита... Но она была старше... Кажется, ей было сорок восемь лет.

Лицо врача омрачилось.

— В общем, хрипов стало меньше,— успокоительно сказал он.— Но ей необходимо отлежаться. Пусть она приходит ко мне раз в неделю... чтобы я мог следить за ней. Но только пусть выбирает для этого ясные, солнечные дни.

LIX

Мадемуазель убеждала, просила, требовала, сердилась, но все было напрасно: Жермини наотрез отказалась отдохнуть хотя бы несколько дней и даже слышать не хотела о том, чтобы мадемуазель взяла ей помощницу для тяжелой работы. Она

заявила, что это невозможно и бесполезно, что никогда не допустит, чтобы другая женщина подходила к барышне, помогала ей, ухаживала за ней, что от одной этой мысли действительно заболеет и уж тогда ей не поможет никакое лежание. Пока ноги хоть сколько-нибудь ее носят, пусть ей позволят ходить. Она говорила это так нежно, глаза ее смотрели так просительно, в слабом голосе звучала такая смиренная мольба, что у мадемуазель не хватило мужества настоять на поденщице. Она только обозвала Жермини «чурбаном, глупой башкой», деревенщиной, которая думает, что сто́ит ей на два дня лечь в постель, как она тотчас умрет.

Благодаря энергичному лечению врача Жермини стало как будто немного лучше, и она продолжала убирать постель мадемуазель, взбивая с ее помощью перины, продолжала стряпать, что было ей особенно тяжело.

Когда она готовила завтрак или обед, ей казалось, что она сию минуту умрет в этой кухне — в одной из бесчисленных маленьких кухонь великого города, вогнавших уже стольких женщин в чахотку. Стоило Жермини раздуть огонь, как от плиты начинал медленно подниматься едкий дымок, который сразу одурманивал ее; постепенно уголь, купленный у соседнего угольщика,— плохо сгорающий, ядовитый парижский уголь,— обволакивал ее своим удушливым запахом. Засоренная вытяжная труба и слишком низко сложенное колено дымохода дышали невыносимым, убийственным жаром. У Жермини перехватывало горло, кровь приливала к голове, вены на лбу вздувались, все начинало плясать перед глазами. В полуобмороке, словно прачка, которая целый день водила раскаленным утюгом в комнате, полной испарений, она бросалась к окну и жадно глотала ледяной воздух.

Силы, нужные для того чтобы, несмотря на приступы слабости, переносить болезнь на ногах и двигаться, Жермини черпала не только в боязни оказаться прикованной к постели, присущей всем простолюдинам, не только в страстном и ревнивом стремлении самой заботиться о мадемуазель, но и в страхе перед тем, что вместе с новой служанкой к ним могут проникнуть сплетни. Ей приходилось зорко следить за тем, чтобы к мадемуазель не приблизился кто-нибудь посторонний. Кроме того, ей приходилось показываться на улице, чтобы все ее видели, чтобы заимодавцы не сочли ее смертельно больной, приходилось делать вид, что она совсем здорова, разыгрывать жизнерадостность и веселье, внушать всем уверенность в этом ловкими ссылками на врача, каждым движением выражая надежду на

выздоровление, шутливо обещая не умирать. Она должна была напускать на себя безмятежность, чтобы успокоить кредиторов, чтобы они не поднялись по лестнице и не обратились с требованиями денег к мадемуазель.

Жермини хорошо играла свою роль в этой страшной комедии, от которой не смела отказаться. Она героически заставляла лгать свое тело, выпрямляя под испытующими взглядами лавочников сгорбленную спину, убыстряя медленный и шаткий шаг, натирая перед выходом из дому грубой салфеткой щеки, чтобы вызвать на них краску и скрыть под румянцем бледность, говорившую о болезни, замаскировать близость смерти.

Несмотря на душераздирающий ночной кашель, на бессонницу, на отвращение, с которым ее желудок отвергал пищу, Жермини всю зиму пересиливала себя, побеждая, держа в подчинении недуг.

Каждый раз после осмотра врач говорил мадемуазель, что все жизненно важные органы служанки как будто в порядке. Правда, верхушки легких задеты, но это излечимо. «Только очень уж изношен весь организм, очень изношен»,— повторял он с каким-то горестным, даже смущенным выражением лица, поражавшим мадемуазель. И на прощание всякий раз напоминал ей о необходимости свежего воздуха и перемены климата.

LX

Когда наступил август, врач советовал и приказывал уже только одно: ехать в деревню. Хотя старым людям трудно передвигаться, менять привычки, обстановку, распорядок жизни, хотя, вдобавок к этому, мадемуазель была домоседкой и ей мучительно не хотелось расставаться со своей квартирой, она все же решилась увезти Жермини в деревню. Она написала дочери «курочки», которая с целым выводком детей жила в прелестном маленьком поместье вблизи от одного из городков департамента Бри и уже много лет приглашала мадемуазель погостить у нее. Мадемуазель попросила позволения приехать вместе с больной служанкой месяца на полтора.

Они поехали. Жермини была счастлива. В деревне она почувствовала себя лучше. Несколько дней казалось, что жизнь на вольном воздухе принесла ей полное выздоровление. Но лето выдалось неустойчивое, дождливое, с неожиданными переменами температуры и резкими ветрами. Жермини простудилась, и мадемуазель вскоре вновь услышала наверху, как раз над

своей кроватью, ужасный кашель, который так нестерпимо терзал Жермини в Париже. Это был глухой, частый кашель, который стихал на несколько минут и вновь начинался, который, умолкнув, продолжал держать не только слух, но и все существо окружающих в напряжении, в страхе, что он возобновится. И он действительно возобновлялся, ослабевал, совсем прекращался, но, прекратившись, все еще сотрясал тело, жестокий и нескончаемый.

Однако после этих тягостных ночей Жермини утром вставала такая бодрая и деятельная, что порою к мадемуазель возвращалась надежда. Жермини ни в чем не желала отставать от других. То она в пять часов утра садилась со слугой в шарабан и ехала за три лье на мельницу купить рыбу, то тащилась со служанками на деревенский бал и возвращалась на рассвете. Она работала, помогала другим слугам. Примостившись на стуле в углу кухни, она все время что-нибудь делала. Мадемуазель приходилось силой выгонять ее в сад на прогулку. Там Жермини садилась на зеленую садовую скамью и раскрывала над головой зонтик; солнечные лучи падали ей на юбку и на ноги. Она забывалась, не двигаясь, наслаждаясь ясным днем, светом, теплом, охваченная страстным упованием, лихорадочным счастьем. Ее полураскрытый рот впивал свежий воздух, неподвижный взгляд сверкал, исхудалое, страдальческое лицо, над которым по шелку зонтика бродили светящиеся тени, расплывалось в улыбке... Она была похожа на разнеженный солнцем скелет.

Как ни уставала Жермини к вечеру, ее невозможно было уговорить лечь в постель раньше, чем ложилась мадемуазель. Она обязательно хотела помочь своей хозяйке раздеться. Она садилась рядом с мадемуазель и время от времени вставала, чтобы хоть чем-нибудь быть полезной,— например, расстегнуть юбку,— потом снова присаживалась, собиралась с силами, вставала, стараясь сделать еще что-нибудь. Мадемуазель насильно усаживала ее, приказывая не вертеться. И все время, пока длился вечерний туалет, Жермини не переставая судачила о слугах.

— Вы даже представить себе не можете, барышня, как они смотрят друг на друга, когда думают, что их никто не видит... Это я о кухарке и лакее. Они держатся за руки, даже когда я сижу тут же. А как-то я застала их в пекарне... Вы только подумайте, они целовались! Хорошо, что здешняя хозяйка ни о чем не догадывается.

— Опять ты сплетничаешь! — говорила мадемуазель.— Пусть они милуются, тебе-то что? С тобой они хороши? Так в чем же дело!

— Очень хороши, барышня, тут я ничего не могу сказать. Мари вставала сегодня ночью, давала мне пить. А он, если остается что-нибудь сладкое, всегда угощает меня... Он очень добр со мной. Мари даже не нравится, что он так обо мне заботится. Но вы сами понимаете, барышня...

— Ладно, хватит болтать глупости, отправляйся спать! — обрывала ее мадемуазель, раздраженная и в то же время опечаленная пылким интересом, с которым эта тяжело больная женщина относилась к любовным делам чужих людей.

LXI

После их возвращения из деревни врач, осмотрев Жермини, сказал мадемуазель:

— Очень быстро идет... Все левое легкое захвачено. Верхушка правого тоже не в порядке... Боюсь, как бы и в нем процесс не пошел дальше. Безнадежный случай... Она проживет еще месяца полтора... два, самое большее.

— Боже мой! — воскликнула мадемуазель де Варандейль.— Значит, мне суждено пережить всех дорогих мне людей! Значит, я умру самая последняя!

— Мадемуазель, вы подумали о том, куда ее поместить? — после короткого молчания спросил врач.— Вы не можете оставить ее у себя. Вам это будет слишком хлопотно... слишком тяжело,— поправился он, когда мадемуазель сделала резкое движение.

— Нет, сударь, нет, об этом я не думала. Чтоб я отправила ее куда-нибудь!.. Вы же видите: эта женщина не служанка для меня, не горничная — она заменила мне семью, которой у меня никогда не было. И вы хотите, чтобы я сказала ей теперь: «Убирайся вон»? Впервые в жизни я страдаю оттого, что небогата, что у меня дрянная квартира. Мне сказать ей... Это невозможно! И куда она денется? Отправить ее к Дюбуа? Знаем мы Дюбуа! Она навещала у Дюбуа служанку, которая была у меня до нее и там умерла. С тем же успехом я могу просто ее убить. В больницу, говорите? Нет, нет, я не хочу, чтобы она умерла в больнице!

— Помилуйте, мадемуазель, в больнице ей будет куда лучше, чем здесь. Я помещу ее в Ларибуазьер, к врачу — моему другу. Ее палатным врачом будет человек, который многим мне обязан. За ней будет ухаживать прекрасная сестра. Если окажется нужным, ее устроят в отдельной палате. Но я уверен, что

она предпочтет общую. Мадемуазель, это совершенно необходимо сделать. Она не может оставаться в своей комнате наверху. Вы же знаете, какие страшные помещения у служанок... Я считаю, что санитарные комиссии должны были бы принудить домовладельцев к человечности. Это же просто возмутительно! Слуховое окно, крыша, печи нет; когда начнутся холода, там будет настоящий ледник... Она пока еще ходит... Да, у нее поразительное мужество, редкая нервная выносливость... Но, несмотря на это, через несколько дней она сляжет. И больше не встанет. Послушайтесь голоса рассудка, мадемуазель. Позвольте мне поговорить с ней.

— Нет, погодите немного... Мне нужно... я должна привыкнуть к этой мысли. И потом, когда она возле меня, мне кажется, она не умрет так скоро. Больница ведь не убежит. Потом посмотрим... да, потом.

— Простите, мадемуазель, но я обязан предупредить вас, что, ухаживая за ней, вы можете заразиться.

— Я? Ну, я!..— И мадемуазель де Варандейль махнула рукой так, словно была обречена на вечную жизнь.

LXII

К безмерной тревоге, которую испытывала мадемуазель де Варандейль, думая о болезни своей служанки, постепенно стало примешиваться странное чувство, похожее на страх: это чувство было вызвано новым, непонятным, таинственным существом, которое недуг вызвал из душевных недр Жермини. Мадемуазель испытывала какую-то неловкость перед этим лицом, которое пряталось, скрывалось, почти исчезало под маской непреклонной суровости и становилось похожим на себя только в редкие минуты, когда его на миг озаряла слабая, принужденная улыбка. Старой деве довелось видеть немало смертей. Ее память скорбно воскрешала лица многих дорогих ей людей перед кончиной, лица многих умерших — печальные, горестные, измученные,— но ни одно из них не принимало с приближением конца такого сумрачного, замкнутого, отрешенного выражения.

Ушедшая в болезнь, Жермини держалась скованно, отчужденно, неприступно, непроницаемо. Порою она застывала, как бронзовое изваяние. Глядя на нее, мадемуазель пыталась понять, что́ скрывается в душе ее как бы оцепеневшей служанки: протест ли против жизни, страх ли смерти, какая-нибудь тайна или угрызения совести? Ничто, казалось, уже не волновало

больную. Ощущение внешнего мира постепенно притуплялось. Ее тело становилось все бесчувственнее, оно уже не хотело ни облегчения страданий, ни выздоровления. Жермини ни на что не жаловалась, ни от чего не испытывала ни радости, ни удовольствия. Исчезла даже потребность в ласке. Она не проявляла нежности к мадемуазель, и с каждым днем в этой коченеющей женщине становилось все меньше человеческого. Часто она погружалась в такое молчание, за которым естественно должны были бы последовать душераздирающие слова и вопли, но, обведя взглядом комнату, Жермини не произносила ни звука и опять устремляла долгий, пристальный взгляд в угол, в пустоту, прямо перед собой.

Мадемуазель, вернувшись с обеда у какой-нибудь приятельницы, заставала Жермини сидящую без света, в полной темноте. Ссутулившись в кресле, положив ноги на стул, свесив голову, Жермини была так погружена в свои мысли, что часто не слышала стука отворяемой двери. Когда мадемуазель заходила в спальню, ей казалось, что она прервала чудовищное свидание Болезни с Мраком, во время которого Жермини, окутанная ужасом неведомого, пыталась постичь слепую тьму могилы и смерти.

LXIII

Весь октябрь Жермини упрямо отказывалась лечь в постель. Но день ото дня она становилась все слабее, немощнее, беспомощнее. С величайшим трудом, все время держась за перила, она преодолевала этаж, отделявший ее комнату от квартиры мадемуазель. Иной раз она падала на лестнице; слуги подбирали ее и относили наверх. Но и это не останавливало Жермини: на следующий день она собирала то подобие сил, которое утро обычно вливает в больных, и спускалась к хозяйке. Она готовила завтрак, пыталась что-то делать, ходила по квартире, держась за мебель, еле передвигая ноги. Мадемуазель так жалела ее, что силой укладывала в свою постель. Жермини лежала полчаса, час, не разговаривая, не смыкая глаз, неподвижных и подернутых дымкой страдания.

Однажды утром она не пришла. Мадемуазель взобралась на седьмой этаж, свернула в узкий коридор, пропитанный вонью отхожих мест, и дошла до двадцать первой комнаты, где жила Жермини. Служанка сразу стала просить прощения за то, что по ее вине мадемуазель пришлось подняться по лестнице, но она никак не могла спустить ноги с кровати: у нее сильные боли

в животе и живот очень раздуло. Она попросила мадемуазель присесть на минуту и, чтобы освободить место, сняла подсвечник со стула, стоявшего у изголовья.

Мадемуазель села и несколько минут разглядывала эту нищенскую комнату для прислуги, одну из тех комнат, где врач принужден класть шляпу на кровать и где едва хватает места, чтобы умереть. Это была мансарда площадью в несколько квадратных футов; печи там не было, в слуховое оконце врывалось дыхание всех времен года: жара — летом, холод — зимой. В том углу, где потолок почти сходился с полом, был свален всякий хлам: старые чемоданы, дорожные мешки, кошелка, железная кроватка, на которой когда-то спала племянница Жермини. Вся обстановка состояла из кровати, стула и хромоногого туалетного столика с треснувшим тазом на нем. Над кроватью висел дагерротип мужчины в рамке, раскрашенной под палисандровое дерево.

Днем пришел врач.

— Так, так... По-видимому, перитонит,— заметил он, после того как мадемуазель рассказала ему об ухудшении состояния Жермини.

Он поднялся к больной.

— Боюсь,— сказал он, снова спустившись к мадемуазель,— что у нее абсцесс в кишечнике, связанный с абсцессом в мочевом пузыре. Это опасно... очень опасно. Скажите ей, чтобы она не делала в постели никаких резких движений, поворачивалась очень осторожно. Она может внезапно умереть в страшных мучениях. Я предложил ей поместить ее в Ларибуазьер, и она сразу согласилась, без всяких возражений. Не знаю только, как она перенесет дорогу. Впрочем, она проявила такую выносливость... в жизни не видел ничего подобного. Завтра утром я пришлю вам направление в больницу.

Когда мадемуазель снова зашла к Жермини, та лежала улыбаясь, повеселев от мысли, что ее увезут из этой комнаты.

— Вот увидите, барышня,— сказала она,— через полтора месяца я буду здорова.

LXIV

Назавтра, в два часа дня, врач принес направление. Жермини хотела ехать немедля. Мадемуазель предложила вызвать носилки из больницы.

— Ох, нет,— запротестовала Жермини.— Мне будет казаться, что я уже умерла.

Она думала в эту минуту о своих долгах: пусть заимодавцы видят ее на улице,— живую, до последней минуты на ногах.

Она встала и с помощью мадемуазель надела нижнюю юбку и платье. Жизнь сразу отхлынула от ее лица, кровь — от щек; казалось, у нее из-под кожи проступила земля. Держась за перила, Жермини спустилась по крутой черной лестнице в квартиру мадемуазель. Ее усадили в столовой, придвинув кресло к самому окну. Ей хотелось самой натянуть чулки: когда неверной, иссохшей рукой с трясущимися пальцами она немного приподняла юбку, худоба ее ног заставила мадемуазель содрогнуться. Новая приходящая служанка укладывала тем временем вещи Жермини, которые она хотела взять с собой: немного белья, стакан, чашку и оловянный обеденный прибор. Когда и это было сделано, Жермини окинула взглядом комнату, словно заключила ее в прощальное объятие, стараясь как можно больше унести в памяти... Потом глаза ее остановились на двери, в которую только что вышла служанка.

— По крайней мере,— сказала она мадемуазель,— я нашла вам честную женщину.

Она поднялась с кресла. Дверь захлопнулась за ней с прощальным стуком. Мадемуазель де Варандейль поддерживала, почти несла ее, пока она спускалась по парадной лестнице с шестого этажа. На каждой площадке Жермини останавливалась и переводила дух. Внизу она тяжело опустилась на стул, принесенный привратником. Толстяк, смеясь, уверял ее, что через полтора месяца она будет здорова. Она кивнула, с трудом выдавив из себя: «Да, да!»

Жермини уселась в фиакр, рядом с мадемуазель. Сидеть было жестко, фиакр все время подпрыгивал на булыжниках мостовой. Подавшись вперед, чтобы смягчить толчки, Жермини уцепилась рукой за дверцу. Глядя на проплывавшие мимо дома, она молчала. Доехали до дверей больницы. Жермини не пожелала, чтобы ее вынесли на руках.

— Вы сможете добраться туда? — спросил ее привратник, указывая на приемный покой, до которого было шагов двадцать. Она кивнула и пошла,— покойница, двигавшаяся только потому, что хотела двигаться.

Наконец она добрела до приемного покоя — просторного высокого зала, холодного, унылого, чистого, неприветливого и страшного. Вокруг пустых посилок были расставлены деревянные скамьи. Мадемуазель де Варандейль помогла ей сесть в соломенное кресло у застекленного окошечка. Какой-то служа-

щий открыл его, спросил у мадемуазель имя и возраст Жермини и за пятнадцать минут исписал с десяток листов бумаги, украшенной картинками религиозного содержания. После этого мадемуазель де Варандейль подошла к Жермини и поцеловала ее. Она видела, как санитар из приемного покоя взял больную под руку и поднял ее с кресла, потом уже ничего не видела, убежала и, бросившись на сиденье фиакра, разрыдалась, выплакала все слезы, которые в течение этого часа подступали ей к горлу и душили ее. Спина кучера на козлах выражала удивление по поводу таких безутешных слез.

LXV

Наступил четверг,— приемный день в больнице,— и мадемуазель де Варандейль в половине первого отправилась навестить Жермини. Ей хотелось попасть минута в минуту к впуску и быть у постели больной ровно в назначенное время. Проезжая по улицам, по которым она ехала четыре дня назад, в понедельник, она вспоминала это ужасное путешествие. Ей чудилось, что и сейчас, в пустой карете, она стесняет чье-то истерзанное болезнью тело, и она забилась в самый уголок, словно оставляла место для призрака Жермини. Каково-то ей сейчас? Жива ли она еще? Вдруг ее койка уже пуста?..

Фиакр ехал по улочке, где стояло множество тележек с апельсинами. На тротуарах сидели женщины с корзинками и продавали сухари. Было что-то жалкое и зловещее в торговле под открытым небом этими фруктами и печеньями, этими сластями для приговоренных к смерти и лакомствами для больных, этими подарками, которые должны радовать горячечных и успокаивать агонизирующих, этими гостинцами, которые, пройдя через заскорузлые рабочие руки, попадают в больницу на десерт к умирающим. Дети несли их бережно, благоговейно, не пытаясь отщипнуть кусочек, точно все понимали.

Фиакр остановился перед решетчатой оградой двора. Было без пяти час. У ворот тесной толпой стояли женщины в будничных платьях, ушедшие в себя, мрачные, скорбные, молчаливые. Мадемуазель заняла очередь, стала продвигаться вместе со всеми, вошла: ее обыскали. Она спросила, где палата св. Женевьевы, и узнала, что во втором отделении на третьем этаже. Она отыскала палату, потом койку № 14, стоявшую, как ей и сказали, одной из последних в правом ряду: ее словно позвала

оттуда улыбка Жермини, улыбка, которая всегда появляется на лицах людей, лежащих в больнице, когда кто-нибудь неожиданно их навещает. Эта улыбка так нежно говорит входящим: «Я здесь, сюда...»

Мадемуазель наклонилась над койкой. Жермини попыталась ее оттолкнуть жестом, полным смирения и униженной робости.

Мадемуазель де Варандейль поцеловала ее.

— Вчера время так тянулось,— сказала Жермини.— Я думала, что уже четверг... и скучала по вас.

— Бедняжка моя... Как ты себя чувствуешь?

— Теперь все хорошо. Живот у меня уменьшился... Мне придется пробыть здесь еще три недели, барышня. Они говорят, что раньше чем через месяц — полтора я не поправлюсь, но я-то себя знаю! И потом мне в больнице очень хорошо, я не скучаю... Стала спать по ночам. Когда вы привезли меня сюда в понедельник, меня мучила такая жажда... Они не позволяют мне пить воду, подкрашенную вином...

— Что же ты пьешь?

— То же, что дома: альбумин. Пожалуйста, барышня, налейте мне. У них такая тяжелая оловянная посуда!

Ухватившись одной рукой за палочку, свисавшую над постелью, и протянув к стакану, который ей подала мадемуазель де Варандейль, другую руку, обнажившуюся от движения, худую и дрожащую, Жермини начала пить.

— Ну вот,— сказала она, выпив все до дна, и положила руки поверх простыни. Потом снова заговорила: — Бедная моя барышня, сколько у вас из-за меня хлопот... Дома, должно быть, страшная грязь?

— Не думай о всяких пустяках.

Они помолчали. На губах Жермини появилась бледная улыбка.

— А я тут что-то сделала потихоньку,— сказала она, понизив голос.— Исповедалась... Чтобы все было в порядке...

Потом, переложив голову на подушку так, чтобы говорить на ухо мадемуазель де Варандейль, она зашептала:

— Какие здесь случаи бывают! У меня чудна́я соседка, вот эта...— Движением глаз и плеча она указала на женщину, к которой лежала спиной.— Ее навещает мужчина. Вчера он разговаривал с ней битый час. Я поняла так, что у них был ребенок... Она ушла от мужа... Этот человек говорил с ней ну прямо как сумасшедший.

Жермини рассказывала и на глазах оживала, словно это

вчерашнее свидание, эти слова любви, произнесенные рядом с ней, стоящей на краю могилы, все еще наполняли ее и тревожили, терзали и мучили ревностью.

Внезапно лицо Жермини изменилось. К ее кровати подошла женщина, как будто смутившаяся при виде мадемуазель де Варандейль. Через несколько минут она поцеловала Жермини и поспешно ушла, так как ей на смену уже шла другая. Новая гостья тоже посидела несколько минут, поцеловала Жермини и распрощалась. Потом пришел мужчина, вслед за ним еще одна женщина. Все они, немного посидев, склонялись над Жермини, целовали ее, и всякий раз мадемуазель де Варандейль слышала какое-то неясное бормотание, обмен словами, тихий вопрос тех, кто целовал, быстрый ответ той, которую целовали.

— Надеюсь, они к тебе внимательны,— сказала мадемуазель.

— О да,— странным голосом произнесла Жермини,— они ко мне внимательны.

Оживления, охватившего ее после прихода мадемуазель, как не бывало. От слабого румянца, выступившего на щеках, осталось лишь по красному пятну на скулах. Лицо точно закрылось на замок, стало холодным, непроницаемым, как стена. Запавший рот плотно сомкнулся. Ее словно отделила завеса страдания, молчаливого и безграничного. В глазах, только что полных красноречивой нежности, застыло выражение, говорившее о напряженной и трудной работе мысли. Казалось, огромная внутренняя сосредоточенность, воля предсмертных часов замуровала внешние проявления душевной жизни Жермини, и все ее существо отчаянно напряглось от какой-то нестерпимой муки, заглушившей все остальное.

Посетителями, пришедшими навестить ее, были фруктовщица, бакалейщик, торговка маслом, прачка,— все долги Жермини, воплощенные в людях. Поцелуи были поцелуями ее заимодавцев, пытавшихся, обнимая ее, учуять, каковы их шансы на получение денег, и *выудить* их у ее агонии.

LXVI

В субботу утром мадемуазель встала с постели и сразу начала укладывать в корзину четыре горшочка с вареньем, которые собиралась на следующий день отнести Жермини. Вдруг до нее донеслись приглушенные голоса: в передней о чем-то тихо

разговаривали поденщица и привратник. Вслед за тем дверь открылась, и вошел привратник.

— Мадемуазель, печальная весть,— сказал он.

Он протянул письмо, которое держал в руке. На письме стояла печать больницы Ларибуазьер: Жермини скончалась в семь утра.

Мадемуазель взяла письмо, но увидела только буквы, которые складывались в слово «скончалась». Скончалась! Напрасно письмо повторяло ей: «Скончалась! Скончалась!» — она не могла этому поверить. Как всегда при неожиданном известии о смерти, она видела Жермини живой, и, хотя служанки больше не существовало на свете, ее образ приобрел ту особую реальность, какую обычно приобретают образы умерших. Скончалась! Она больше не увидит Жермини! Жермини нет на свете! Скончалась! Она скончалась! Не она будет двигаться по кухне, не она откроет двери, не она пройдет утром по спальне.

— Жермини! — по привычке позвала мадемуазель, но тут же спохватилась.— Эй, ты! Как там тебя звать! — грубо сказала она перепуганной заместительнице Жермини.— Дай мне платье. Я ухожу.

Эта быстрая развязка болезни была так внезапна, что мадемуазель не могла примириться с ней. Ей казалась немыслимой, невообразимой, не поддающейся объяснению скоропостижная смерть Жермини, существующая для нее пока только на бумаге. Неужели Жермини действительно умерла? Мадемуазель задавала себе этот вопрос с недоверием, как все люди, узнавшие об утрате дорогого им человека и не желающие верить в его смерть. Ведь она видела ее совсем недавно! Как же это могло случиться? Как Жермини вдруг стала тем, чему место только под землей? Мадемуазель боялась об этом думать и все-таки думала. Эта агония, при которой она не присутствовала, о которой ничего не знала, ужасала ее и притягивала. Мучительное любопытство, рожденное горячей привязанностью, направляло все ее помыслы к последним часам жизни Жермини, и она неверной рукой старалась приподнять страшную завесу. Ее охватило непреодолимое желание все знать, сделаться хотя бы с помощью чужих рассказов свидетельницей того, чего она не видела. Она должна расспросить, говорила ли Жермини о чем-нибудь перед смертью, выражала ли какое-нибудь желание, какую-нибудь волю, произнесла ли одно из тех слов, в которых слышится последний вопль жизни.

Добравшись до Ларибуазьер, мадемуазель миновала привратника — толстяка, от которого разило жизнью, как от пьяниц

разит вином, прошла по коридорам, где, как тени, бродили бледные выздоравливающие женщины, и в дальнем конце больницы позвонила в дверь, полускрытую белыми занавесками. Ей открыли. Она оказалась в комнате с двумя окнами: на алтаре стояла статуя девы Марии, по сторонам висели виды Везувия, как будто дрожавшие от холода на этих голых стенах. Из раскрытой двери доносилась болтовня сестер и маленьких воспитанниц, слышались молодые голоса и звонкий смех, веяло весельем светлой комнаты, где солнце забавляется с играющими детьми.

Мадемуазель попросила вызвать к ней монахиню, надзирающую за палатой св. Женевьевы. К ней вышла горбатая маленькая сестра с некрасивым и добрым лицом, настоящая Христова невеста. Жермини умерла у нее на руках.

— Она почти не мучилась,— сказала сестра.— Ей стало лучше, она хорошо себя чувствовала, надеялась. Около семи утра, как раз, когда ей поправляли постель, ее начало рвать кровью, и она скончалась, не понимая, что умирает.

Сестра добавила, что она ничего не говорила, не спрашивала, не выражала никаких желаний.

Мадемуазель встала успокоенная: ее страшные предположения не оправдались. Жермини была избавлена от мук агонии, которые рисовались воображению ее госпожи. Мадемуазель поблагодарила в душе милосердную смерть, мгновенно разлучившую душу с телом.

Когда она уже собралась уходить, к ней подошел какой-то юноша:

— Будьте добры, опознайте труп.

Труп! Это слово глубоко ранило мадемуазель. Не ожидая ответа, юноша повернулся и зашагал вперед. Так они дошли до большой желтоватой двери, на которой было написано: «Анатомический театр». Юноша постучал; человек в жилете, куривший трубку, приоткрыл дверь и попросил минутку обождать.

Мадемуазель осталась одна. Ей было страшно собственных мыслей, которым не терпелось оказаться по ту сторону кошмарных дверей. Она пыталась представить себе то, что сейчас увидит. Находясь во власти смутных образов и непередаваемых ужасов, она боялась перешагнуть порог и узнать среди других лиц изуродованное лицо,— если только она его узнает. И вместе с тем она была не в силах уйти, говоря себе, что больше никогда не увидит Жермини.

Человек с трубкой распахнул дверь: мадемуазель увидела только гроб, крышка которого скрывала тело по шею, увидела открытые глаза Жермини и ее вставшие дыбом волосы.

LXVII

Измученная волнениями этого дня и видом Жермини в гробу, мадемуазель, вернувшись домой, сразу легла в постель. Однако предварительно она дала привратнику денег на печальные хлопоты, на погребение, на покупку места. Когда она уже лежала в постели, все увиденное вновь возникло в ее воображении. Перед ее взором стояла эта жуткая покойница, это страшное лицо на фоне гроба. В глазах мадемуазель запечатлелась незабываемая голова Жермини; она смежала веки, но по-прежнему видела ее — и боялась. Жермини присутствовала в спальне, черты ее были искажены так, словно она стала жертвой убийства, глаза провалились в орбиты, как в ямы. Она присутствовала в спальне, ее рот был еще искривлен последним исторгнутым из нее вздохом. Она присутствовала в спальне, ее волосы, ее кошмарные волосы стояли дыбом у нее на голове.

Ее волосы! Они особенно преследовали мадемуазель. Старая дева, сама того не желая, вспоминала о преданиях, с детства запавших ей в голову, о народных суевериях, которые невольно воскресали в ее памяти. Она спрашивала себя, не рассказывал ли ей кто-то, что волосы встают дыбом у тех покойников, которые, умирая, уносят с собой в могилу преступление. Порою она видела только эти волосы, говорившие о чудовищной тайне, вставшие дыбом от нестерпимого ужаса перед судом неба, словно волосы приговоренного к смерти перед эшафотом на Гревской площади.

В воскресенье мадемуазель чувствовала себя так плохо, что не могла встать с постели. В понедельник она попыталась подняться и пойти на похороны, но приступ непреодолимой слабости заставил ее снова лечь.

LXVIII

— Значит, уже все? — спросила лежавшая в постели мадемуазель, когда в одиннадцать утра к ней вошел привратник, только что вернувшийся с кладбища; он был в черном сюртуке, а лицо его выражало горесть, подобающую человеку, который присутствовал на похоронах.

— Да, мадемуазель. Слава богу, бедняжка отмучилась.

— Ох, у меня голова сегодня прямо не своя. Положите квитанции и сдачу на ночной столик. Сочтемся в другой раз.

Привратник продолжал стоять не двигаясь, не собираясь уходить, теребя в руках синюю бархатную шапочку, сшитую из платья какой-то жилицы. Наконец он решился и сказал:

— Похороны дорогая штука, мадемуазель... надо было...

— С чего вы взяли, что они должны быть дешевыми? — высокомерно прервала его мадемуазель, чья щедрость не понимала расчета.

— А уж постоянное место, как вы мне велели,— продолжал привратник,— это чистое разорение. Сердце у вас очень доброе, мадемуазель, но ведь вы же не богачка. Что я знаю, то знаю. Вот я и сказал себе: мадемуазель еще много придется платить... и мадемуазель, конечно, заплатит. Значит, нужно ей сэкономить хоть на этом. Все-таки деньги... А той все равно, где лежать под землею. И что ей будет приятнее всего знать там, наверху? Что она, голубушка, никого не обидела...

— Платить? За что платить? — спросила мадемуазель де Варандейль. Ее начали раздражать туманные намеки привратника.

— И то правда,— продолжал привратник,— она была к вам очень привязана. Во время ее болезни не хотелось вам докучать... Вы только не беспокойтесь, это не к спеху... Я говорю о деньгах, которые она задолжала мне бог знает с какого времени... Вот взгляните.— Из внутреннего кармана сюртука он вытащил гербовую бумагу.— Я не хотел, чтобы она писала мне вексель... Это она сама...

Мадемуазель де Варандейль схватила бумажку и прочла внизу:

В чем и подписываюсь собственноручно.

Жермини Ласерте

Это было обязательство выплачивать ежемесячно по частям триста франков, с отметкой на обороте о внесенных суммах.

Мадемуазель де Варандейль сняла очки.

— Я уплачу,— сказала она.

Привратник поклонился. Она взглянула на него: он не двинулся с места.

— Надеюсь, это все? — резко спросила мадемуазель.

Привратник снова уставился в пол:

— Все... Хотя...

Мадемуазель де Варандейль стало страшно, как в ту минуту, когда ей предстояло войти в комнату, где лежал труп Жермини.

— Но почему у нее такие долги? — вырвалось у нее.—

Я платила ей хорошее жалованье... Одевала ее, можно сказать... На что она тратила деньги?

— В том-то и дело... Я не хотел говорить вам... Но рано или поздно сказать придется. И потом, вы должны знать заранее: когда знаешь такие вещи, можно подготовиться. Есть счет от торговки дичью... Бедняжка была должна всем понемногу... В последнее время она жила очень беспорядочно... Недавно принесла счет прачка... Порядочный счет... Не помню точно, сколько там. Кажется, есть счет и у бакалейщика. И старый... Уже много лет... Он принесет его сам.

— Сколько бакалейщику?

— Что-то около двухсот пятидесяти.

Мадемуазель де Варандейль, слушая эти разоблачения, падавшие и падавшие на нее, сопровождала их глухими восклицаниями. Приподнявшись с подушки, она, не находя слов, смотрела, как слетает покров за покровом с жизни ее служанки, все больше и больше обнажая постыдные тайны.

— Да, около двухсот пятидесяти. Он говорит, что много набрано вина.

— Но у меня всегда был запас в погребе...

— Хозяйка молочной...— продолжал привратник, не отвечая на это замечание.— Ну, ей немного... хозяйке молочной... семьдесят пять франков... За абсент и водку.

— Она пила! — воскликнула мадемуазель де Варандейль. В это мгновение она все поняла.

— Видите ли, мадемуазель... Ее несчастье, что она познакомилась с Жюппионами... с молодым человеком... Это было не для нее... А потом — горе... Она начала пить... Должен вам сказать, она надеялась, что он женится на ней... Отделала ему комнату... А когда начинаешь покупать обстановку, денежки так и плывут. Она подтачивала себя, понимаете... Сколько раз я ей говорил, чтоб она хоть пила поменьше. Когда она возвращалась в шесть утра, ясно, что я вам об этом не докладывал. Так же как про ее дочку... Да,— ответил он на жест мадемуазель,— счастье, что малышка умерла. И все-таки, нужно сказать правду, она гуляла... и крепко! Вот почему постоянное место на кладбище... будь я вами... Она вам обошлась недешево, мадемуазель, пока ела ваш хлеб... Пусть уж лежит там, где она есть... вместе со всеми...

— Ах, так, ах, так! Она воровала ради мужчин! Наделала долгов!.. Хорошо, что она подохла, собака! И я еще должна платить! И ребенок к тому же! Ах, шлюха! Пусть же себе гниет где придется! Вы правильно поступили, господин Анри. Воро-

вать! Обворовывать меня. В яму ее! Большего она не заслуживает! Подумать только, что я оставляла ей все ключи!.. Никогда не пересчитывала денег!.. Боже мой! И еще говорят о доверии к людям!.. Ну что ж... Я заплачу́. Не для нее — для себя. А я-то дала лучшие простыни для похорон... Если бы я знала, ты получила бы от меня грязную тряпку, поганка!

Мадемуазель несколько минут продолжала в том же роде, пока слова не остановились, не застряли у нее в горле.

LXIX

После этого разговора мадемуазель де Варандейль неделю пролежала в постели больная, разъяренная, полная негодования, которое сжимало ей сердце, подкатывало к горлу, порою вырывало громкое и грубое ругательство, клеймившее, подобно плевку, грязную память умершей служанки. Днем и ночью мадемуазель не уставала проклинать ее, и даже во сне не утихал гнев, сотрясавший это тщедушное тело.

Мыслимо ли это? Жермини! Ее Жермини! Мадемуазель не могла примириться с этим. Долги! Ребенок! Бог знает какие пороки! Негодяйка! Она ненавидела ее, презирала. Будь Жермини жива, мадемуазель не задумываясь отправилась бы в полицию. Она рада была бы поверить в ад, чтобы предать Жермини мукам, терзающим грешников. Ее служанка, только подумать! Прожившая у нее двадцать лет! Осыпанная любовью и ласками! Пьяница! Можно ли пасть ниже! Словно во время ночного кошмара, ужас охватывал мадемуазель, и переполнявшее душу отвращение кричало «сгинь!» этой покойнице, чью гнусную тайну не приняла, выплюнула даже могила.

Как Жермини ее обманывала! Как ловко притворялась любящей, мерзавка! Чтобы представить ее себе особенно двуличной и отвратительной, мадемуазель начинала вспоминать нежность, заботы, ревность служанки, будто бы боготворившей свою госпожу. Мадемуазель видела, как Жермини наклоняется к ней во время болезни... Припоминала ее поцелуи. Все это было ложью! Самозабвенная преданность, сквозившая в ее ласках, любовь, звучавшая в словах, были ложью! Мадемуазель говорила себе это, повторяла, старалась убедить себя, и все же разбуженные воспоминания, образы, в которых она хотела почерпнуть горечь, далекая радость ушедших дней медленно, постепенно рождали в ней проблески сострадания.

Она гнала мысли, смягчающие озлобление, но стоило ей

задуматься, как они возвращались. Тогда ей вспоминалось то, на что она не обращала внимания при жизни Жермини, вспоминались мелочи, которые воскрешает могила и объясняет смерть. Она припоминала странности Жермини, ее горячечную нежность, взволнованные объятия, коленопреклонения, словно перед исповедью, движение губ, в уголках которых как будто трепетала тайна. С той остротой зрения, которая появляется у нас, когда мы думаем о навсегда ушедших людях, она видела печальные глаза Жермини, ее жесты, позы, написанное на лице отчаянье и понимала теперь, что за всем этим скрывались раны, боль, горе, пытка страхом и раскаянием, кровавые слезы угрызений совести, затаенные страдания всей жизни и всего существа, му́ка стыда, смеющего просить о прощении только молчанием.

Потом мадемуазель начинала возмущаться собственной чувствительностью и обзывала себя старой дурой. Прямой, непреклонный характер, строгость правил и суровость оценок, порожденные безупречной жизнью, все, что побуждает честную женщину осуждать девку, а святую, какой была мадемуазель де Варандейль, побуждало вынести безжалостный приговор Жермини,— все это восставало в ней против прощения. Кодекс морали кричал: «Никогда! Никогда!» — заглушая природную доброту. Решительным жестом она отстраняла от себя презренный образ служанки.

Порою, стараясь бесповоротно осудить и изгнать навеки из сердца образ Жермини, мадемуазель возводила на нее напраслину, клеветала, преувеличивала ее грехи. Она добавляла новые ужасы к страшному наследию покойницы, упрекала в том, в чем та была безвинна, приписывала ей черноту души, таившей преступные замыслы, нетерпеливую жажду убийства. Мадемуазель заставляла себя думать, что Жермини хотела ее смерти, торопила эту смерть.

Но даже в минуты самых безотрадных подозрений и мыслей перед ней вставало видение, которое становилось все отчетливей. Словно притянутый ее взглядом, к ней приближался призрак, которого она не могла ни одолеть, ни оттолкнуть: то был призрак Жермини в гробу. Она снова видела анатомический театр и эту голову, это лицо распятой, лицо мученицы, на котором запечатлелась скорбь исходящего кровью сердца. Она видела ее душу, которую умеет извлечь из плотской оболочки второе зрение, даруемое нам памятью. И чем внимательней вглядывалась мадемуазель в это лицо, тем менее страшным оно ей казалось. Постепенно освобождаясь от обезображивающей печати ужаса, это мертвое лицо выражало лишь страдание, страдание

искупления, раскаянья, непролитых слез, и все больше и больше смягчалось. Под конец мадемуазель начинала различать в нем только мольбу о пощаде, которая не могла не трогать ее милосердия. Незаметно в думы старой девы вкралось столько снисхождения, столько желания оправдать, что она сама себе удивлялась. Она спрашивала себя, можно ли судить эту несчастную женщину так же сурово, как других, действительно ли она по собственной воле избрала путь порока или же жизнь, обстоятельства, требования плоти и судьба сделали из нее то, чем она стала, отдали во власть любви и горя... Потом усилием воли она пресекла эти мысли, чувствуя, что готова простить.

Однажды утром она соскочила с постели.

— Эй вы, как там вас! — крикнула она служанке.— Черт бы побрал ваше имя, я всегда его забываю! Скорее давайте мне платье! У меня дела в городе.

— Помилуйте, мадемуазель... взгляните на крыши... они совсем белые.

— Что же из того? Идет снег, вот и все.

Через десять минут мадемуазель сказала кучеру фиакра:

— На Монмартрское кладбище.

LXX

Вдали тянулась ограда, прямая, нескончаемая. Опушка снега поверху подчеркивала ее ржаво-грязный цвет. В левом углу три обнаженных дерева вздымали к небу черные сухие ветви. Холодный ветер гнул их, и они шуршали печально, как валежник. За деревьями, по ту сторону ограды и вплотную к ней, высился столб с перекладиной; с нее свешивался один из последних в Париже масляных фонарей. Кое-где редкими пятнами белели крыши; склон Монмартрского холма был одет снежным саваном в грязных заплатах песка и земли. Чахлые облетевшие деревья, лиловатые в тумане, поднимались из-за низеньких серых оград, взбегавших по откосу к двум черным ветряным мельницам. Свинцово-тяжелое небо было окрашено в холодные синеватые тона, точно на него плеснули чернилами; над самым Монмартром зиял просвет в облаках, откуда лились лучи зимнего солнца, желтые, как воды Сены после сильных дождей. Этот просвет все время прорезали крылья невидимой мельницы, медлительные, двигавшиеся с неумолимой равномерностью, словно они вращали вечность.

У самой ограды, к которой жались кипарисы, засохшие и

порыжелые от изморозей, была обширная площадка; ее пересекали, подобно двум похоронным процессиям, две колонны крестов, тесно поставленных, прижатых друг к другу, покосившихся, опрокинутых. Эти кресты толкались, подгоняли один другого, наступали передним на пятки. Они кренились, падали и, падая, ломались. В середине как бы образовалась свалка, и некоторым пришлось податься в сторону; они были почти скрыты сугробами, и только их тяжелые деревянные верхушки чуть приподнимали снег на тропинках, идущих вдоль обеих колонн и уже слегка притоптанных посредине. Неровные ряды покачивались из стороны в сторону, как покачиваются человеческие беспорядочные толпы во время длинных переходов. Черные кресты с раскинутыми руками были похожи и на привидения, и на скорбящих людей. Эти расстроенные колонны наводили на мысль о катастрофе, о потерпевших поражение испуганных солдатах, о паническом, безоглядном бегстве...

На всех крестах висели венки из бессмертников, венки из белых с серебром и черных с золотом бумажных цветов; на фоне снега было видно, что все они изорваны, измяты снизу, страшны, как воспоминания, от которых отказались другие мертвецы, собраны здесь лишь для того, чтобы хоть немного украсить эти могилы отбросами других могил.

На каждом кресте белой краской было написано имя; впрочем, попадались и такие могилы, где вместо крестов стояли сломанные ветки, на которых болтались привязанные веревочками бумажки.

Слева, где рыли канаву для третьего ряда крестов, черные комья взлетали в воздух под лопатой рабочего и ударялись о белую насыпь. Глубокое сумрачное молчание земли, укутанной снегом, нарушалось лишь приглушенным стуком падающих земляных комьев да тяжелым мерным стуком шагов: то старенький священник в черной накидке с черным капюшоном, в черной епитрахили и в грязном пожелтевшем стихаре старался, пока не прибыла погребальная процессия, согреться, топая большими галошами по мощеной дороге, проходившей перед колоннами крестов.

Да, это была общая могила. Площадка, кресты, священник как бы говорили: здесь место успокоения простого народа, здесь небытие бедняка.

О Париж, сердце мира, великий человеческий город, город братского сострадания! Ты кроток духом, твои обычаи исполнены векового милосердия, развлекаясь, ты не забываешь о ми-

лостыне. Бедняк равно твой гражданин, как и богач. Твои церкви говорят о Христе, законы — о равенстве, газеты — о прогрессе, все твои правительства — о народе. И вот, Париж, куда ты сваливаешь тех, кто умирает, служа тебе, губит себя, созидая твой блеск, чахнет от болезней на твоих фабриках, капля за каплей отдает силы на то, чтобы поддерживать твое благоденствие, веселье, роскошь, оживление и шум, вплетает звенья своей жизни в длинную цепь твоего существования, составляет толпу на твоих улицах и, будучи народом, творит твое величие! На каждом из твоих кладбищ есть укрытый под стеной постыдный угол, где ты торопишься погрести их, так скудно засыпая землею, что гробы остаются неприкрытыми. Кажется, будто твое милосердие исчерпывается с их последним вздохом, что gratis[1] ты даешь им только ложе страданий, что, после того как они умирают в больнице, у тебя, такого огромного и могучего, уже нет для них места! Ты наваливаешь, смешиваешь, нагромождаешь мертвых под землю, как сто лет назад нагромождал под больничными простынями, когда они агонизировали. Еще вчера у тебя не было даже этого деловитого священника, проливающего на любую могилу несколько капель освященной воды: эти люди не были удостоены молитвы. Простейшее приличие — и то не соблюдалось: бог не желал беспокоиться ради них. Но могила, которую благословляет сегодня священник, не изменилась: это по-прежнему дыра, где сосновые доски ударяются друг о друга, где мертвецы не у себя дома. Здесь тление не отдельное на каждого, а общее, одно для всех — вечный обмен червями! Здесь почва ненасытна, здесь Монфокон торопится в катакомбы! Ибо этим мертвецам отпущено для гниения так же мало времени, как и пространства: у них отнимают землю прежде, чем она кончит свое дело, прежде, чем их кости приобретут окраску и как бы древность камня, прежде, чем годы уничтожат все, что в них было человеческого, уничтожат воспоминание о плоти. Здесь очистку производят тогда, когда влажный земляной покров — это еще они, когда лопата вонзается еще в них... Им дают землю? Но ее не хватает даже на то, чтобы скрыть, заглушить запах смерти: ветер, пролетая летом над этой свалкой незарытых мертвецов, подхватывает и уносит с собой к городу живых нечистые миазмы. В раскаленные августовские дни сторожа не пускают сюда посетителей: здесь летают мухи, ядовитые, гнилостные, смертоносные мухи.

---

[1] Даром *(лат.)*.

Миновав ограду и сводчатые ворота, отделяющие места, отданные в вечное пользование, от временных мест, мадемуазель добралась до общей могилы. По указанию сторожа она прошла между крайним рядом крестов и свежевырытым рвом. Наступая на затоптанные венки, на это запорошенное снегом забвение, она приблизилась к яме, к пасти могилы. Яма была прикрыта прогнившими досками и листом цинка, побелевшего от времени, на который один из могильщиков бросил синюю куртку... Земля непрерывно осыпалась в эту яму, где виднелись три деревянных гроба во всем их зловещем изяществе: один большой и позади него два поменьше. Кресты, поставленные неделю назад, позавчера, вчера, скользили вместе с осыпающейся почвой, погружались все глубже и, словно оказавшись на краю пропасти, делали огромные скачки.

Мадемуазель начала обходить их, близоруко склоняясь над ними, разбирая даты, прочитывая имена. Она дошла до крестов, помеченных 8 ноября, кануном смерти Жермини. Жермини должна быть где-то рядом. 9-го было поставлено пять крестов, тесно, один к одному; Жермини не было в этой куче. Мадемуазель сделала несколько шагов дальше, к крестам, поставленным 10-го, потом 11-го, потом 12-го. Вернувшись к крестам от 8 ноября, она еще раз внимательно прочла все имена: ничего, ни малейшего следа... Жермини похоронили без креста! Над ней не поставили даже куска дерева, по которому ее можно было бы отыскать!

Наконец старая женщина упала на колени в снег между двумя крестами — от 9 и от 10 ноября. Где-то здесь покоятся останки Жермини. Это горестное место стало ее горестной могилой. Молиться за нее можно было только наугад, словно судьба пожелала, чтобы тело страдалицы осталось под землей таким же бесприютным, каким было на земле ее сердце.

ПЕРЕВОД Е. ГУНСТА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Можно издавать «Западни» и «Жермини Ласерте», можно волновать, будоражить и увлекать некоторую часть публики. Да! — Но, по-моему, успехи этих книг — лишь блестящие схватки авангарда, великое же сражение, которое предопределит торжество реализма, натурализма, *этюда с натуры* в литературе, развернется не на той почве, какую избрали авторы этих двух романов. Когда жестокий анализ, внесенный моим другом г-ном Золя и, быть может, мною самим в описание низов общества, будет подхвачен талантливым писателем и применен к изображению светских мужчин и женщин в образованной и благовоспитанной среде,— тогда только классицизм и его охвостье будут биты.

Написать такой роман, реалистический роман об изящном, было нашей — моего брата и моей — честолюбивой мечтой. Реализм,— уж если пользоваться этим глупым словом, словом-знаменем,— не имеет, в самом деле, единственным своим назначением описывать то, что низменно, что отвратительно, что смердит; он явился в мир также и для того, чтобы *артистическим письмом* запечатлеть возвышенное, красивое, благоухающее и чтобы дать облики и профили утонченных существ и прекрасных вещей,— но все это лишь после прилежного, точного, не условного и не мнимого изучения красоты, после изучения, подобного тому, какому за последние годы новая школа подвергла уродливое.

Но почему, скажут мне, не написали вы сами такой роман? Не сделали хотя бы попытки к этому? — А вот почему. Мы начали с черни, потому что женщина и мужчина из народа, более близкие к природе и дикости, суть существа простые, не сложные, тогда как парижанин или парижанка из общества, эти

крайне цивилизованные люди, резко обозначенное своеобразие которых все состоит из оттенков, полутонов, из неуловимых мелочей, подобных кокетливым и незаметным пустячкам, из которых и создается особенность изысканного женского туалета,— требуют многих лет изучения, прежде чем удастся разгадать, узнать, *уловить* их,— и даже самый гениальный романист, поверьте мне, никогда не поймет этих салонных людей по одним *рассказням* приятелей, идущих в свет на разведки вместо него самого.

Кроме того, вокруг парижанина, вокруг парижанки все запутано, сложно, требует для проникновения чисто дипломатического труда. Обстановку, в который живет рабочий или работница, наблюдатель схватывает в одно посещение; а прежде чем уловить душу парижской гостиной, нужно основательно просидеть шелк на ее креслах и хорошенько понюхать александр и позолоту ее стен.

Поэтому изобразить этих мужчин, этих женщин и даже среду, в которой они живут, можно только при помощи громадного скопления наблюдений, бесчисленных заметок, схваченных на лету, целых коллекций *человеческих документов,* подобных тем грудам карманных альбомов, в которых после смерти художника находят все сделанные им за всю жизнь зарисовки. Ибо,— скажем это во всеуслышанье,— одни только человеческие документы создают хорошие книги: книги, где подлинное человечество твердо стоит на обеих ногах.

Замысел романа, действие которого должно было происходить в большом свете, в свете самом утонченном,— отдельные хрупкие и мимолетные элементы этого романа мы медленно и кропотливо собирали,— я бросил после смерти брата, так как был убежден, что невозможно успеть в этом в одиночку... потом я вновь принялся за него... и он будет первым романом, который я намереваюсь издать в будущем. Но напишу ли я его теперь, в моем возрасте? Это мало вероятно... и настоящее предисловие имеет целью сказать молодым, что в *этом* теперь успех реализма, только в этом, а не в *литературе о подонках,* уже исчерпанной в наши дни.

Что касается «Братьев Земганно» — романа, который я издаю сейчас,— то это опыт в области поэтической реальности [1].

---

[1] За реалистическую обстановку, которою я окружил свою фабулу, мне хочется во всеуслышанье поблагодарить г-на Викто́ра Франкони, г-на Леона Сари и братьев Ханлон-Ли, являющихся не только превосходными гимнастами, которым аплодирует весь Париж, но также и знатоками, рассуждающими о своем искусстве как истинные художники и ученые.

Читатели жалуются на жестокие переживания, которым подвергают их современные писатели своим грубым реализмом; они не подозревают, что создающие этот реализм сами страдают от него гораздо сильнее и что они иногда по нескольку недель болеют нервным расстройством после мучительно и трудно рожденной книги. Так вот, в том году я — стареющий, недомогающий, бессильный перед захватывающим и тревожным трудом моих прежних книг — переживал именно такие часы, то душевное состояние, когда слишком правдивая правда была неприятна и мне самому! — И на этот раз я создал фантазию, грезу, к которой примешалось несколько воспоминаний.

Эдмон де Гонкур

23 марта 1879 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОСПОЖЕ ДОДЕ

I

В открытом поле, у верстового столба, врытого на перекрестке, сходились четыре дороги. Первая из них пролегала мимо замка в стиле Людовика XIII, где только что раздался первый зовущий к обеду удар колокола, и поднималась затем длинными извилинами на вершину крутой горы. Вторая, обрамленная орешником и переходившая невдалеке в ухабистый проселок,— терялась между холмами, склоны которых были покрыты виноградниками, а поля на вершинах лежали под паром. Четвертая тянулась вдоль песчаных карьеров, загроможденных *грóхотами* для просеивания песка и двуколками с поломанными колесами. Эта дорога сливалась с тремя другими и вела через мост, гудевший под колесами телег, к городку, расположенному амфитеатром на скалах и опоясанному большой рекой; один из изгибов ее, пересекая пашни, омывал край начинавшегося за перекрестком луга.

Птицы стремительно летали в небе, еще залитом солнцем, и испускали резкие открывистые крики — краткие вечерние приветствия. Прохлада спускалась в тень деревьев, лиловый сумрак разливался по колеям дорог. Лишь изредка доносилось жалобное поскрипывание уставшей телеги. Глубокая тишина поднималась с пустых полей, покинутых человеком до следующего дня. Даже река, покрытая рябью лишь вокруг купавшихся в ней веток, казалось, утратила стремительность и текла, как бы отдыхая.

В это время на извилистой дороге, сбегавшей с горы, показалась странная фура, запряженная запаленною белою лошад-

Братья Земганно

кой и гремевшая железом, как расхлябанная машина. То была огромная повозка с почерневшим и проржавевшим цинковым верхом, на котором намалевали широкую оранжевую полосу. В передней части повозки были устроены своего рода сени, где несколько стеблей плюща, растущего в старой заплатанной кастрюле, поднимались кверху, образуя как бы фронтон из зелени; плющ, кочующий вместе с повозкой, сотрясался при каждом толчке. За повозкой следовала причудливая зеленая крытая двуколка, кузов которой расширялся кверху и выпячивался по бокам над двумя большими колесами, образуя подобие утолщенных боков steamboat[1], вмещающих пассажирские койки.

На перекрестке с передней повозки соскочил щуплый длинноволосый седой старичок с трясущимися руками и стал распрягать лошадь, а в арке, обрамленной плющом, показалась молодая женщина. На плечах у нее была накинута длинная клетчатая шаль, прикрывавшая торс; ноги же и бедра ее, обтянутые трико, казались обнаженными. Ее руки, скрещенные на груди, зябкими движениями стягивали вокруг шеи шерстяную шаль, в то время как левая нога отбивала такт привычного марша. Так она стояла некоторое время, обратив голову назад и закинув ее через плечо красивым движением голубки; профиль ее тонул в тени, а на ресницах еще играл свет, и она обращалась к кому-то внутри повозки с ласковыми, нежными словами.

Старик распряг лошадь и снял оглобли, потом заботливо подставил к повозке скамеечку, и женщина спустилась, взяв на руки прелестного малыша в короткой рубашонке, более крупного и крепкого, чем обычно бывают грудные дети. Она откинула шаль и, дав сыну грудь, направилась к реке, медленно переступая розовыми ногами; другая женщина, сопровождавшая ее, время от времени целовала голое тельце младенца и мимоходом наклонялась к земле, чтобы сорвать листок «зубтравы», из которой выходит такой вкусный салат...

Из второй повозки вылезли люди и животные. Сначала облезлый пудель со слезящимися глазами, который, от восторга, что сошел на землю, пустился в погоню за собственным хвостом. Затем разные пернатые, радостно взмахивая крыльями, разместились на крыше повозки, как на насесте. За ними выскочил подросток в матросской фуфайке, надетой прямо на голое тело, и помчался по полям на разведку. Вслед за подростком вышел великан, шея которого была одинаковой толщины с

[1] Парохода *(англ.)*.

головой, а лоб покрыт целыми зарослями шерсти. Потом еще бедняга, одетый в самый жалкий сюртучишко, какой только носило когда-либо человеческое существо: он втягивал понюшку табаку из бумажного фунтика. Наконец, когда зеленая тележка, казалось, уж окончательно разгрузилась, появился еще один чудной субъект, у которого, из-за плохо стертого грима, рот доходил до ушей. Он стал зевая потягиваться, потом, увидав реку, исчез в глубине повозки и показался снова с сачками для ловли раков.

То катясь колесом, то пускаясь вприпрыжку, эта странная личность, одетая в лохмотья цвета гусиного помета с черными разводами и вырезанными по краям зубцами, достигла воды. Тут росла, склонившись к реке, старая полусгнившая ива; ее расщепленный ствол был набит черноземом и мхом, а верхушка, еще живая, давала слабые побеги, по которым вилась густая повилика. Под ивой, на смятой траве, рыболовами были вытоптаны ступеньки, образовавшие подобие лесенки. Паяц скользнул туда на животе и свесился над прозрачной водой, где прибрежный ил и рыжие корни ивы растворялись в синеве глубокой заводи, и его причудливое отражение спугнуло целую стаю рыб, рассеявшихся, словно темные стрелы на сверкающих плавниках.

Женщина с ребенком у груди смотрела, как удлиняются на реке тени, как заходит солнце, образуя в одном месте течения вертящуюся огненную воронку; она смотрела, как плещется вода, в которой одновременно отражаются и синева неба, и багрянец заката; смотрела застывшим, глубоким взглядом на нескончаемую беготню длинноногих водяных пауков по искристой поверхности реки и ноздрями, раздувающимися по-звериному, изредка вдыхала запах мяты, который разносился по берегу легким ветерком.

— Эй, Битая, к плите! — закричал басом Геркулес; он сидел на ящике посреди лужайки в *геройских* башмаках с меховой оторочкой и бережно, с бесконечной осторожностью чистил картошку.

Битая вернулась к повозкам, а следом за ней подошла женщина с ребенком и тоже приняла участие в приготовлении ужина; но делала она это молча, ни к чему не притрагиваясь, и отдавала распоряжения так, будто играла пантомиму.

А седовласый старик, привязав лошадей к столбу, облачился в пунцовую гусарскую куртку с серебряными нашивками и позументом и, подхватив лейку, направился к городу.

Синева неба стала совсем бледной, почти бесцветной, лишь

с легким желтым оттенком на востоке и красноватым на западе; продолговатые темно-золотистые облачка прорезывали небосвод бронзовыми клинками. С меркнущего неба незаметно опускалась та сероватая дымка, от которой при свете умирающего дня контуры предметов становятся смутными и расплывчатыми, стираются формы и очертания природы, засыпающей в этом сумеречном забытьи,— начиналось печальное, нежное и неуловимое угасание света. Только в городке с поблекшими домиками фонарь у моста еще мерцал отблеском дневного света, отражавшимся в его стекле, а церковная колокольня с узкими стрельчатыми окнами уже вырисовывалась лиловым силуэтом на тусклом серебре заката. Вся местность стала казаться теперь каким-то смутным и бесформенным пространством. И река, принимавшая то густо-зеленые оттенки, то цвет грифельной доски, превратилась теперь в бесцветный журчащий поток, куда черные тени деревьев бросали расплывавшиеся пятна туши.

Тем временем усиленно готовился ужин. На лужайку, к реке, была вынесена плита, где, кроме картошки, очищенной Геркулесом, варилась еще какая-то пища. Паяц опустил в котел несколько раков, которые, упав, скрипнули клешнями о медное дно. Старик в гусарской куртке вернулся с лейкой, полной вина. Битая расставила выщербленные тарелки на ковер, обычно служивший для акробатических упражнений, а комедианты в ленивых позах расположились вокруг и вытащили из карманов ножи.

Ночь овладела умирающим днем. В домике на конце главной улицы города заблестел одинокий огонек.

Вдруг из поросли выскочил голый до пояса юноша; в свернутой фуфайке он нес какого-то зверька. При виде добычи на лице женщины в трико засветилась почти жестокая радость, и, казалось, на мгновенье ей припомнилось что-то из прошлого, куда были обращены ее мысли.

— Дайте глины! — воскликнула она низким contralto[1], в котором звучали странные, волнующие нотки, и захлопала в ладоши.

С кошачьей ловкостью, ни разу не уколовшись, она быстро обложила живого ежа глиной, превратив его в шар, а старик тем временем разжег из сухих веток громадный пылающий костер.

Труппа приступила к ужину. Мужчины пили вкруговую из лейки. Битая ела стоя, поглядывая на плиту и подчас запуская

[1] Контральто *(итал.)*.

руку в кушанья, которые передавала остальным. Женщина в трико положила ребенка около себя на ковер и не столько ела, сколько любовалась дорогим существом.

Ужинали молча, как уставшие и проголодавшиеся люди, поглощенные к тому же зрелищем летней ночи на берегу реки: перелетами ночных птиц, всплесками рыб, мерцанием звезд.

— Эй, с моего места! — буркнул паяц, грубо оттолкнув человека в жалком сюртучке — тромбониста труппы,— и стал жадно есть. Между тем в померкшем небе послышался далекий звон, казавшийся звоном хрустального колокола,— медленные удары, небесные звуки, полные нездешней грусти, настолько растворявшиеся в вечернем воздухе, что, когда они прекратились, казалось, будто ухо их все еще улавливает.

Глина, в которой пекся еж, обратилась в кирпич. Геркулес разбил его топором, и зверек, с которого сходила кожа вместе с колючками, был поделен между присутствующими. Женщина в трико взяла себе кусочек и, смакуя, стала его медленно *посасывать*.

Ребенок, лежавший около матери, ножками и ручками понемногу растолкал вокруг себя тарелки; став полноправным и единственным хозяином ковра, он заснул животиком кверху.

Все наслаждались прекрасным вечером, наполненным стрекотанием кузнечиков и *шуршанием* листвы в вершинах высоких тополей. Среди дремотной задумчивости ночи дуновенья теплого ветерка пробегали по лицам, как ласковые, щекочущие прикосновенья. Иногда из-за ручья, поросшего гигантской крапивой, листья которой в этот час казались вырезанными из черной бумаги, зловеще вылетала птица; она пугала боязливых женщин, и в их испуге была своеобразная прелесть.

Вдруг луна, выступив из-за деревьев, осветила спящего младенца, и его изящное тельце лениво зашевелилось, словно лунный свет щекотал его своими белыми лучами. Он улыбался каким-то невидимым предметам и пальчиками мило ловил что-то в пустоте. А когда он проснулся и стал двигаться быстрее,— его тело обнаружило такую гибкость и эластичность, что можно было подумать, будто у него мягкие кости. Он брал ручонкой свою розовую ножку и тянул ее ко рту, как бы намереваясь пососать. Его прелестная головка с тонкими белокурыми завитками, ясные глаза в глубоких и нежных орбитах, вздернутый носик, точно помятый грудью кормилицы, надувшиеся губки, пухлые щечки, нежный выпуклый животик, мягкие лядки, покрытые пушком ножки, атласистые ступни и славные ручонки,— все упитанное его тельце со складками на затылке,

ручках и ножках, с ямочками на локотках и щечках,— *млечное* тельце, озаренное опаловым светом луны, придававшим ему почти прозрачную бледность,— все это создавало очаровательную картину, достойную вдохновить поэта.

Пока мать любовалась младшим сыном, юноша в матросской фуфайке, став на колено, пытался поймать на палочку шар и удержать его в равновесии, и, улыбаясь братишке, начинал трюк сначала.

В ночной тиши, на лоне природы все инстинктивно возвращались к своим дневным занятиям, к своему ремеслу, которое завтра должно дать хлеб всей труппе.

Старик в гусарской куртке сидел в повозке и при свете сальной свечи перебирал какие-то старые бумаги.

В стороне, на лужайке, еще освещенной луной, Битая репетировала сцену пощечин с тромбонистом, который должен был выступать на следующий день в комической интермедии; женщина учила простачка хлопать в ладоши, воспроизводя звук пощечины, и делать при этом вид, будто тебя в самом деле побили.

А паяц снова вернулся к сачкам. Он примостился под ивой, тонкая серая листва которой образовала над его головой веер, казавшийся огромной запыленной паутиной, и грезил над зеленоватой глубью, свесив ноги в воду, где у самого дна спало отражение звезды.

II

У директора труппы *синьора Томазо Бескапе,* старика итальянца в гусарской куртке, когда-то рыжего, а теперь почти совсем седого, было подвижное и беспрестанно дергающееся, словно от *тика,* лицо, острый взгляд, рыхлый нос, язвительный рот, бритый подбородок,— лицо мима, обрамленное длинной шевелюрой цвета пронизанной солнцем пыли.

У себя на родине Томазо Бескапе был то поваром, то певцом, то оценщиком кораллов и ляпис-лазури, то счетоводом у торговки четками на Via Condotti [1], то *чичероне,* то чиновником посольства,— но однажды этот беспокойный искатель приключений попал на Восток и благодаря знанию всех языков и всех диалектов стал в Палестине *драгоманом* туристов; потом, испробовав еще бесконечное число никому не ведомых и диковин-

[1] Улице Кондотти *(итал.).*

ных профессий, переехал в Малую Азию и сделался бродягой *лупёром.*

Странной натурой был этот итальянец, неистощимый в выдумках и уловках, способный ко всем ремеслам, умевший обращаться со всякими людьми, со всевозможными вещами, любивший превращения, которые несла ему изменчивая жизнь, похожая на перемены декораций в театре. Нищету, в которую он впадал в антрактах этого жизненного спектакля, он переносил с насмешливой веселостью, свойственной писателям XVI века, и даже в самых отчаянных бедствиях сохранял чисто американскую уверенность в завтрашнем дне. Сверх того, он был большим любителем природы и тех бесплатных зрелищ, которыми она дарит людей, скитающихся пешком по белу свету.

Пробродив несколько лет в окрестностях древней Трои в поисках особых наростов на местном орешнике, которые идут на выделку фанеры для мебели и высоко ценятся в Англии, Бескапе оказался в один прекрасный день билетером Цирка Олимпико в Пере, где при надобности исполнял также обязанности конторщика и наездника. Здесь, получая довольно скудное жалованье, он задумал предприятие, которое в то время было новинкой. Он пристрастился ходить по кофейням, где турки, сидя на ковриках, покуривают трубки, и стал прямо из-под них вытаскивать эти коврики, давая владельцам взамен *меджидие,* а затем перепродавать коврики туристам. Торговля пошла бойко; приобретя самоуверенность и зная леность турецких купцов, он начал покупать на базарах уже целые кипы ковров, причем ему было достаточно только взглянуть на изнанку,— так хорошо он стал разбираться в этом деле. Вскоре, не довольствуясь маленьким домашним складом, он завязал деловые сношения с агентами в Париже и Лондоне, где в то время художники начали увлекаться этими несравненными изделиями восточных колористов, изделиями, где среди феерических оттенков шерсти часто попадаются на известных промежутках небольшие пряди волос — знак, отмечающий дневной урок женщин, которые медленно и любовно ткут ковры в своих залитых солнцем домах. Благодаря этой торговле Бескапе разбогател, и тут-то вместе с солидностью явилось у него желание самому стать хозяином. Как раз в это время Лестропад, директор Цирка Олимпико, предложил Бескапе сопровождать его труппу на Дальний Восток, где он мечтал нажить большое состояние. Тогда Бескапе начал вести переговоры с товарищами, выведывать, кого не привлекает это путешествие, и краснобайной болтовней стал убеждать их перейти под его начало и отправиться с ним в

Крым, где, по имеющимся у него точным сведениям, цирк будет встречен весьма благосклонно.

Лестропад, от которого откололось человек десять артистов, не отказался от своего рискованного замысла. В один прекрасный день он уехал с еще довольно многочисленной труппой в Москву, оттуда — в Вятку, пересек Сибирь; в пустыне Гоби путешественники вступили в перестрелку с монголами, во время которой большая часть труппы погибла, погибли и все лошади, и только чудом удалось Лестропаду с дочерью, зятем и еще одним клоуном добраться до Тянь-Цзиня. Неутомимый антрепренер приехал в Тянь-Цзинь на другой день после убийства консула и сестер Красного Креста, но, не устрашившись и не падая духом, он снова пустился в путь, достиг, наконец, Шанхая, пополнил там труппу матросами и китайскими пони, и направился в Токио.

Тем временем Томазо Бескапе, закупив необходимый инвентарь, отбыл в Симферополь; там цирк его имел огромный успех. Хитрый дипломат, каким в душе был этот итальянец, догадался по приезде в Симферополь завязать знакомство с местными офицерами и поставить свое дело, так сказать, под их покровительство. Офицеры, очарованные его любезностью, живостью ума и добродушием, начали превозносить цирк и создали ему популярность. Итальянец стал участником их кутежей, и часто ночью вся компания отправлялась будить цыганский табор, где хозяин цирка и офицеры просиживали до зари, любуясь пляской цыганок, среди разливанного моря *донского шампанского,* под лязг жестяных, аляповато расписанных подносов, на которых разносилось печенье. Во время этих почных попоек Томазо Бескапе, всю жизнь отличавшийся влюбчивостью, воспылал, несмотря на свои пятьдесят лет, к одной юной цыганке той страстью, какую нередко зажигают проклятые чары этих плясуний. Танцовщица чувствовала к итальянцу одновременно и отвращение молоденькой девушки к уже пожилому человеку, и врожденную неприязнь «ромми» к «джорджо». Авдотья Рудак, мать танцовщицы, хотя и была сводней, все же сохранила по отношению к собственному чаду некоторые предрассудки и соглашалась продать старику дочь только при условии законного брака, несмотря на предложенную им громадную сумму, всецело поглощавшую и барыши от торговли коврами, и доход первого года его деятельности в Симферополе. Старый муж был точно околдован и боготворил молодую женщину, а она вышла за него с нескрываемым отвращением и неприязнью, длившейся все время их брака. Мучимый ревностью, он через

полгода после свадьбы уехал из Крыма, а когда сделался отцом,— проявил полное безразличие к детям, словно весь пыл и вся нежность его сердца безраздельно и полностью принадлежали обольстительнице.

Он привез свою труппу в Италию, потом вскоре переправился во Францию и в течение десяти лет давал представления, постепенно, с годами, сокращая количество лошадей и наездников и сводя труппу к более скромным размерам, ибо доходы все уменьшались, а конкуренция все усиливалась. Во Франции он давал представления месяцев девять в году, а на зиму возвращался на родину и работал это худшее время года в Ломбардии и Тоскане.

Томазо Бескапе был больше чем простой скоморох. Он обладал разносторонними познаниями, взятыми неизвестно откуда, случайным образованием, почерпнутым не из книг, а из рассказов людей всевозможных национальностей, которых он расспрашивал, всячески вызывая на разговор, по дорогам и в других местах; он видел на своем веку бесконечное множество самых разнообразных людей. Помимо того, он обладал еще одной способностью — даром юмора, шутливым воображением и сочинял презабавнейшие комические сценки. Роясь в часы досуга в своей коллекции старых итальянских scenario [1] пантомим, он иногда находил им действительно занятное и остроумное применение.

Степанида, или по-французски Этьенетта, которую звали русским уменьшительным именем — Стеша, казалась еще совсем юной, хоть и стала уже матерью двоих детей. Она была красива дикой красотой; в ее осанке и походке сквозила надменная запосчивость. Пышные, буйные волосы извивались крупными непокорными прядями над изящным, пленительным овалом лица, напоминавшим индийскую миниатюру. В ее глазах играл темный фосфорический блеск; смуглый цвет лица этого мечтательного создания был слегка отмечен на щеках естественным румянцем, похожим на слабый след стертого грима, и неизъяснимо-странная улыбка временами появлялась на ее строгом лице. Эта своеобразная красота прекрасно сочеталась с блестками, мишурой, сусальным золотом, сиянием ожерелий из фальшивого жемчуга, грубыми стекляшками балаганных диадем, золотыми и серебряными разводами на ярких лохмотьях.

---

[1] Сценариев *(итал.)*.

Цыганка, выданная замуж за джорджо, за чужака,— что случается очень редко,— как все ее племя, воздерживающееся в течение веков от ассимиляции с европейцами, осталась дочерью первобытных кочующих народов Гималаев, народов, которые от начала мира живут под открытым небом, занимаются кражами и мелким ремеслом. Хотя она и утратила всякую связь с соплеменниками, вступив в плотский союз с христианином, и ежедневно общалась с уроженцами Франции и Италии, ей все же были чужды мысли, стремления, сокровенный дух и внутренний мир окружающих ее людей; мечтательно углубившись в самое себя, она упорно погружалась в прошлое, благоговейно поддерживая в себе наклонности, вкусы, верования своих таинственных предков. Она жила в странном, непонятном общении с загадочным повелителем ее племени, с далеким и неуловимым жрецом-царем, отношения которого с подданными осуществлялись, казалось, при посредничестве голосов природы; она создала какой-то тайный, суеверный культ, беспорядочно соединив в нем обряды всех религий, и нередко посылала сынишку к церковным причетникам за святой водой, которою кропила лошадей и странствующую повозку.

Стефанида одним только телом, так сказать, жила среди западных, европейских, уроженцев труппы, мысль же ее всегда витала где-то, а большие, гордо блуждающие глаза, подобно некоторым цветам, неизменно обращались на восток. И Стефанида была связана с новым, навязанным ей отечеством, с окружавшими ее, чуждыми людьми одними только узами — пестовым, почти животным материнским чувством к своему младшему сыну, своему маленькому красавчику Лионелло, имя которого в ее устах превратилось в ласковое «Нелло».

Во всем же остальном эта странная самка, с ее беспечностью и безразличием к благам жизни, с врожденным непониманием добра и зла, с ущербной памятью и притупленным восприятием окружающего, какое свойственно некоторым восточным народам, казалась женщиной, как бы не очнувшейся от сна и не вполне уверенной в том, что она существует в реальном мире.

Старший сын директора труппы, Джованни,— Джанни, как его звали,— был подростком, но в его юношеском теле уже начинала чувствоваться сила, а нарождающиеся выпуклости мускулов становились заметными при усилиях и движениях. На руках у него перекатывались округлости почти атлетических бицепсов; грудные мускулы выделялись плоскими выступами,

как на античных барельефах, а при каждом повороте торса на его бедрах проступали под кожей глубоко заложенные широкие мускульные связки. Он был высокого роста; прекрасные длинные ноги, составляющие красоту мужского телосложения, придавали его стройной и в то же время плотной фигуре изящную отточенность и легкость; упругая поверхность его ног, на икрах подобная бронзовым пластинкам поножей, нежно сужалась к подколенкам и лодыжкам. Наконец у юноши замечалась удлиненность сухожилий: признак слабости у всех, признак мощи у гимнастов,— удлиненность, которая при сокращении мускула превращается во внушительную выпуклость.

В то время как большинство мужчин и женщин идут в этот мирок и привязываются к нему лишь по врожденной склонности к бродячей, скитальческой жизни,— Джанни чувствовал настоящую любовь, подлинную страсть к своему ремеслу и не променял бы его ни на какое другое. Он был акробатом по призванию. Он не знавал усталости и охотно, по первому же требованию публики, вновь повторял упражнения, причем его тело, вращающееся под шум аплодисментов, казалось, вовсе и не собирается остановиться. Он испытывал бесконечную радость от удачно задуманного трюка, от легкости и четкости его исполнения. Он снова и снова, ради собственного удовольствия, трудился над этим трюком, стараясь улучшить, усовершенствовать его, придать ему изящество, живость, волшебство, с помощью которых ловкость и проворство торжествуют над непреложными законами материального мира. Он с забавным отчаянием и огорчением искал разрешения новых, еще не знакомых ему трюков, слух о которых доходил до отцовского балагана, и упрямо добивался намеченной цели, пока не достигал ее. И первый его вопрос к актерам труппы, повстречавшейся на дороге, бывал всегда: «Ну, как — есть в Париже какой-нибудь новый трюк?»

Он проводил беспокойные, *каторжные* ночи, когда в кошмарах, вызванных усталостью, вновь повторяется дневная работа,— ночи битв с матрацем, во время которых тело Джанни продолжало во сне неистовые гимпастические упражнения.

Второй сын был пока всего лишь грудным младенцем, и мать, движимая слепым инстинктом материнства, упорно продолжала его кормить почти до трехлетнего возраста, так что можно было наблюдать, как мальчуган покидает детей, с которыми играл, чтобы пойти пососать грудь, а потом вновь бегом возвращается к своим маленьким товарищам.

Сила в сочетании с кротостью и безобидностью — таков был Геркулес этой труппы, на редкость ленивый и скупой на движения, когда не работал. Он сидел не иначе как развалясь; стулья и лавки под его грузным телом трещали и разламывались; в свирепом выражении его лица было что-то напоминавшее фавнов Прюдона, а изо рта, всегда полуоткрытого, торчали волчьи клыки. Он обладал необыкновенным аппетитом, который ничто не могло утолить, и утверждал, что ни разу в жизни не наелся досыта; оттого он и был всегда грустен — подобно желудку, который вечно чувствует в себе пустоту.

Паяц являл бритую, как у шелудивого, голову — одну из тех *средневековых* голов, несколько моделей которых художнику Лейсу еще удалось найти для своих полотен в старинном австрийском Брабанте. Можно было бы сказать, что это представитель жалкого первобытного человечества, еще находящегося в стадии формирования: глаза его, казалось, были размещены как попало, нос представлял собою приплюснутый кусок мяса, рот напоминал отверстие бесформенной глиняной посудины, лицо походило на лицо недоноска и было грязного, темного цвета. И уродец этот был коварно-злым, сварливым, придирчивым, крал еду, припасенную на завтра, и все, что лежало без присмотра. Его уже раз двадцать выгнали бы из труппы, если бы не покровительство Степаниды; она питала тайную и странную симпатию к этому человеку, ибо находила в нем склонность к злобной хитрости и воровству, свойственную ее племени. Агапиту Кошгрю доставляло удовольствие мучить животных во время раусов, он старался как-нибудь причинить им боль, и даже в его балаганной иронии слышался какой-то злобный отзвук всех полученных им безобидных пинков в зад. Злополучным избранником паяца был Геркулес, которого он терзал, мучил, приводил в отчаяние всевозможными дьявольскими выдумками; он метил в самые уязвимые места придурковатого силача, а тот не решался отомстить за себя, боясь одним ударом убить мучителя. И слабый безжалостно злоупотреблял своим преимуществом над огромным страстотерпцем. Однако иногда случалось, что Рабастенс, выйдя из терпения, смахивал паяца легоньким вялым шлепком. Тогда Агапит Кошгрю принимался жалобно плакать крокодиловыми слезами, становился отвратительно-гротескным благодаря ребяческим гримасам и уморительным дурацким ужимкам, к которым в течение всей жизни ремесло приучало его тело. Но вскоре он усаживался возле

своего недруга, прижимался к нему с таким расчетом, чтобы помешать второму шлепку и, защитившись таким образом, беспрепятственно долбил его маленькими злобными ударами локтем в бок, называл его толстым трусом и долго сидел, прильнув к нему, заплаканный и сопливый.

Тромбонист представлял собою жалкое существо, жившее в столь глубокой нищете (обычной для низших профессий искусства), что самой его сумасбродной мечтой было выпить в день получения заработка полчашки кофея с рюмочкой водки. Это было пределом его желаний. И вот этот артист, так мало получавший, не имевший даже рубашки, артист, в одежде которого было больше сала, чем шерсти, да и то свалявшейся, а из отставших подметок башмаков торчали гвозди, так что казалось, что он ходит на полуразинутой челюсти акулы,— этот человек, столь убогий, был счастлив! Он был привязан к любимому существу, и существо это платило ему тем же и помогало забывать все невзгоды вплоть до злобных выходок паяца. Он жил в дружбе с цирковым пуделем, который вследствие болезни, сильно напоминавшей заболевание человеческого мозга, страдал припадками внезапной потери памяти — потери столь полной, что пришлось отказаться от замысловатых фокусов, которые он исполнял, пока был здоров; а тромбонист, мало избалованный любовью себе подобных,— как мужчин, так и женщин,— до того привязался к бедной собачке, теперь почти всегда недомогающей, что, когда замечал особенно резкую красноту ее глаз, лишал себя благословенной чашки кофея, на которую копил несколько дней по су, и покупал ей *прономного*. За это — не за слабительное, которое было Ларифлетте не по вкусу, а за все заботы, сопровождавшие очищение ее желудка,— собака-инвалид в минуты облегчения благодарила своего доброжелателя взглядом, выражавшим всю нежность, какую только могут передать глаза животного, благодарила его даже признательной улыбкой, обнажавшей все ее зубы,— да, улыбкой, ибо сука эта умела улыбаться. И вся труппа могла бы подтвердить это, так как была свидетельницей следующего случая. Однажды утром, на поставленной на земле печке, тромбонист разогревал что-то в кастрюльке, хорошо знакомой Ларифлетте; пудель стоял тут же, поблизости, опустив хвост, с надутым, хоть и покорным видом; он заметил, как сняли с огня дымящуюся жидкость, как перелили ее в миску, сильно размешали деревянной ложкой, а потом, к его великому удивлению, жидкость мимо его носа под-

нялась кверху, достигла рта тромбониста и исчезла в нем. В тот миг, когда Ларифлетта вполне уверилась, что снадобье, вызывавшее у нее колики, поглощено ее старым другом, а не ею — на ее собачьем лице появилась самая радостная и насмешливая улыбка, какая только могла бы появиться на лице человека.

Битая была обязана своим прозвищем тому, что в детстве и юности не знала ничего другого, кроме грубостей и побоев. Когда ее, семилетнюю бродяжку, подобрали в Париже на улице и привели для опроса в суд, она отвечала председателю: «Сударь, папа и мама умерли от холеры... дедушка отдал меня в приют... он умер через неделю после папы и мамы... тогда я вернулась в Париж и заблудилась в нем, потому что он такой большой».

Теперь это была двадцативосьмилетняя женщина с загорелым лицом, с загорелыми руками, черными до локтей, с широким белым оспенным рубцом у плеча. Она всегда была одета в розовое тарлатановое платье с гирляндами искусственных цветов, перехваченное поясом, который спереди имел форму ромба со всевозможными кабалистическими знаками, нарисованными красной краской. У нее была объемистая грудь и вместе с тем необыкновенно тонкая и подвижная талия. Страшные черные круги под глазами придавали, на фоне смуглой кожи, что-то жуткое ее сверкающим белкам. Волосы, украшенные двумя серебряными ромашками, были у нее подобраны на китайский лад, а сзади спускались на спину, словно жесткий султан каски. Мускулы шеи, из-за худобы плеч, резко выступали толстыми сплетениями у ключиц,— потому что Битая при сильно развитой груди и бедрах была очень худа. У нее был большой рот с ослепительно-белыми зубами, нос вздернутый и тонкий, а под скулами вырисовывались впадины, так что при известном освещении ясно обозначались кости черепа, как бы проступавшие сквозь кожу. Лихорадочный блеск глаз, нездоровый цвет кожи, худоба лица и шеи, наконец, потрепанный и изможденный вид всего ее надорванного существа свидетельствовали о нищете, о страданиях, о голоде, о простудах и солнечных ударах, об усталости этой женщины с прошлым публичной девки, которой водка часто заменяла недостающий хлеб.

Во время рауса Битая появлялась на подмостках с цветком в зубах и, положив руки на бедра ладонями наружу, сердито теребила талию, точно пробовала, не удастся ли подтянуть ее и вытащить из туловища; затем она откидывалась назад, сло-

жив напряженные, вытянутые вперед руки с растопыренными пальцами и вывернутыми локтями, застывала, запрокинув голову с полуоткрытым громадным ртом и зияющими отверстиями ноздрей,— и бессмысленно глядела вверх.

III

На ярмарочном поле какого-нибудь города или села, где господин мэр разрешал Томазо Бескапе дать представление, участники труппы быстро удаляли траву с большого круга, и по его краям комки спятого дерна превращались в вал, а воткнутые в него колья, переплетенные конскими поводьями, составляли барьер арены.

Посреди выровненного и слегка утрамбованного круга водружался большой шест, с вершины которого спускались в виде крыши зеленые полотняные треугольники, стянутые и связанные веревками; простой упаковочный брезент, прикрепленный к легкому потолку и спадающий до земли, образовывал круглые стены зала. К шесту, уходившему основанием в кучу желтого песка, необходимого при борьбе, была приделана целая система блоков с веревками, на которых поднималась и опускалась рама. Эта рама была унизана большими гвоздями, и по вечерам на нее вешалось пять-шесть керосиновых ламп с рефлекторами из коробок из-под сардин, весьма искусно пристроенными ловким итальянцем. С одной стороны шеста на значительной высоте была укреплена длинная проволока, тянувшаяся к одному из высоких кольев барьера; по другую сторону шеста, почти вплотную к нему, виссла маленькая шаткая трапеция, поперечная перекладина которой находилась футах в восьми над землей.

Беззубая шарманка, заменявшая оркестр,— шарманка, у ящика которой был отбит кусок стекла вместе с клочком приклеенной картинки,— ставилась против входной двери в ожидании какого-нибудь мальчишки, из числа собиравшихся у входа; во время представления он одной рукой вертел ручку шарманки, а другою подносил ко рту недозрелое яблоко, которым обычно возмещались труды оркестра.

Скамейки из некрашеных досок, наскоро сколоченные местным плотником, уступами поднимались вверх. Первые места отличались от вторых полоской грошовой бумажной материи; полоска стелилась на узкие доски, но покрывала их не полностью; кроме того, эти места были огорожены барьером, облепленным

золотой бумагой с турецкими пейзажами в овалах, отпечатанными в один тон — сизый по лазоревому полю. Наконец папаша Томазо вешал кусок старинного ситца, найденный неизвестно где и испещренный сверху донизу павлиньими хвостами в натуральную величину,— громадный занавес, отделявший арену от кулис, приютившихся под открытым небом; эти кулисы дирекция старалась защитить от любопытства даровых зрителей при помощи двух повозок и целой баррикады из ширм.

Наконец паяц прибивал по обе стороны от входа многообещающую афишу, которую директор сочинял сразу на весь сезон; но ее ученому и простодушному стилю можно было судить об его умении составить рекламу, о его литературных способностях и даже о его глубоком знании латыни:

ЦИРК БЕСКАПЕ

Непромокаемый шатер, потребовавший больших издержек, гарантирует надежное укрытие не хуже любого каменного сооружения.
Амфитеатр вечером освещается сложной системой керосиновых ламп, в которых сам собою вырабатывается светильный газ.
Американский патент Холлидея!

Артисты труппы, все до одного весьма заслуженные и выдающиеся, ангажированы (невзирая на расходы) в лучших антрепризах Европы.

Здесь находятся:

Г-жа Степанида Бескапе
Curriculi regina [1],

Девица Ортанс Патаклен

Сильфида проволоки, жемчужина цирка; внешность и манеры ее не поддаются описанию!!

Г-н Луи Рабастенс

Единственный в своем роде, несравненный атлет! Одарен геркулесовой силой и бросает вызов всему миру! Он никогда, с самых юных лет, не знал, что значит быть... положенным на лопатки.

[1] Королева верховой езды *(лат.)*.

Г-н Джанни Бескапе

L'intrepido senza rivale nel trapezio [1].
В своих упражнениях являет идеал мужской красоты.

Г-н Агапит Кошгрю,

соединяющий гибкость позвоночника с неслыханным остроумием. Его остроты, отпечатанные в особой книжечке, бесплатно раздаются зрителям первых мест.

Г-н Томазо Бескапе

Мимист, прославленный в обоих полушариях!
Известен своими пантомимами под названием «Вырванный зуб», «Борода Гарготена», «Заколдованный мешок» и т. п., которые он имел честь представлять перед его величеством турецким султаном и г-ном президентом республики Соединенных Штатов. Кроме того, в труппе находится

Ларифлетта —

молодой пудель, правнук знаменитого пса Мунито. Его фокусы свидетельствуют об уме, превосходящем все, что только можно себе представить. В завершение всего Ларифлетта укажет самого влюбленного человека среди всего собравшегося общества.
Комики забавны, задорны, отменного тона, смешат, не прибегая к пошлостям и ко всему такому, что не подобало бы слышать молоденькой девушке. Представление закончится прелестной пантомимой:

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ МЕШОК»
с участием всей труппы

Но вот уже пристроены лесенки, ведущие на наружные подмостки. Стеша уже уселась у входа за столик с денежным ящиком, и паяц, под грохот турецкого барабана, под звуки тромбона, подзадориваемый пинками директора, уже начал сыпать прибаутками, а Битая принялась зазывать обалдевшую

---

[1] Бесстрашный и не ведающий соперников акробат *(итал.)*.

от оглушительного шума толпу: она делает неистовые телодвижения, хлопает в ладоши и пронзительно выкрикивает:

«Пожалуйте, пожалуйте, почтеннейшая публика! Представление начинается!»

Снаружи сияет солнце, а в балагане царит мягкий сумрак, нежно обесцвечивающий лица и предметы, прохладная полутень, которую то там, то сям пронизывает луч света, пробившийся через плохо затянутую щель, и в нем пляшут золотые пылинки. Развязавшиеся веревки хлопают о потолок и производят звук, обычный на парусных судах. По серому холсту, залитому снаружи ярким светом, пробегают, словно китайские тени, силуэты прохожих. Из-за занавеса с павлиньими хвостами высовывается голова Стеши, а грудь и живот ее, окутанные занавесом, кажутся облаченными в яркие перья; она злобно смотрит на бледные лица зрителей из-под опущенных длинных ресниц.

Представление должно сейчас начаться, и Геркулес, на устрашающий затылок которого падает из входной двери яркий свет, со страдальческим видом вытаскивает из-под лавки гири.

IV

Охая, брюзжа, ворча и поминутно прерывая упражнения вздохами, глубокомысленным почесыванием головы, умильным любованьем собственными руками, на которых он беспрестанно подтягивал кожаные браслеты, Геркулес вяло подбрасывал в воздух стофунтовые гири. То, что он исполнял, казалось, не требовало от него никаких усилий, не вызывало в нем ни малейшей усталости,— и все же, несмотря на играющие мускулы, у него был жалкий вид Геркулеса поневоле, который изнемогает от натуги и выпрашивает у окружающих поощрения и поддержки. Стоило шарманке замолкнуть,— его вытянутая рука опускалась вместе с гирей и вновь поднималась лишь после того, как шарманка начинала сызнова. Перед каждым упражнением раздавался его по-детски жалобный стон: «Ну-ка, господа, несколько хлопков!»

Если случалось, что кто-нибудь из зрителей бросал ему вызов, а за этим следовала борьба,— редкий случай, ибо мускулатура грозного атлета смущала людей,— Геркулес подходил к противнику с неописуемо скучающим видом, словно готов был сам заплатить, только бы тот согласился не беспокоить его зря.

Затем он торопился поскорее *перевести противника в партер;* он бывал опечален, огорчен, безутешен, если возникал спор и приходилось *уложить* противника вторично, положить его на обе лопатки достаточно наглядно для всех. Избавившись от человека, распластанного на земле, которого он даже не удостаивал взглядом, расслабив поясницу и болтая руками, Геркулес уходил к своему месту на скамье и, обхватив голову руками, упершись локтями в колени, до конца представления мечтал, полузакрыв глаза, о яствах Гаргантюа.

Геркулеса сменял Джанни, который выходил в классическом костюме провинциального акробата: ярко-розовая фуфайка, медный обруч на голове, черный бархатный нагрудник с безобразным цветком, вышитым мелкими стежками, зеленое трико, камзол с золотым позументом, аляповато расшитый, как и нагрудник, белые башмаки с серебряной бахромой. Одним прыжком достигал он трапеции и начинал раскачиваться, потом вдруг выпускал из рук перекладину и снова схватывал ее с другой стороны. Он кружился вокруг перекладины с умопомрачительной быстротой, потом вращение постепенно замедлялось и замирало в плавной истоме; и тут тело юноши на мгновенье застывало в пространстве, в горизонтальном положении, и колебалось, словно поддерживаемое водой.

Во всех этих упражнениях, основанных на силе рук, чувствовалась ритмичность работы мускулов, мягкость усилий, плавность в развертывании движений и в подтягиваниях, и это напоминало неуловимое скольжение по дереву животного, именуемого *ленивцем,* или медленный-медленный подъем на запястьях неподражаемого Джемса Эллиса.

Сидя на перекладине, гимнаст начинал незаметно скользить назад и, вызвав в зале мгновенный ужас, падал, однако,— сверх всякого ожидания! — удерживался на подколенках согнутых ног; затем, покачавшись некоторое время головою вниз, он делал сальто-мортале и вдруг появлялся уже внизу, стоя на ногах.

На трапеции, этом тренажере для рук, придающем сверхчеловеческую эластичность мускулам и связкам, Джанни исполнял бесчисленные упражнения, во время которых тело его приобретало какую-то воздушность, невесомость.

Он повисал на одной руке, и его тело поднималось и опускалось боковым движением, напоминая позы обезьян в оригинальных японских бронзовых фигурках.

Трапеция повергала юношу в своего рода опьянение; ему все казалось, что он мало поработал, и он не прекращал упраж-

нений до тех пор, пока в толпе, которой становилось страшновато от все возрастающей смелости гимнаста, не раздавались крики: «Довольно, довольно!»

— Милостивые государи, сейчас будет продолжаться... продолжение! — глубокомысленно возвещал паяц.

Джанни сменяла Битая. Мигом взобравшись на вершину высокого столба, утыканного редкими перекладинами в виде лестницы,— сильфида в топорщащейся юбочке появлялась на проволоке, раскачивая над головой сплетенные аркой руки. Она продвигалась вперед скользящим шагом, выдвигая то одну, то другую ногу, и нащупывала ею пустоту словно изогнутым концом весла. Она шла по пружинящей проволоке, то приседая, то выпрямляясь, будто с каждым шагом спускалась или поднималась на ступеньку лестницы.

Проворные розовые блики скользили по округлостям ее ног, забираясь до лодыжек сквозь белый переплет туфельных шнурков, а маленькие подвижные тени на мгновенье задерживались в углублениях подколенок. Вскоре она стремительным движением возвращалась на середину проволоки, держа ступни одну позади другой и продолжая сгибаться, склоняться, приседать на подобранных под себя ногах. Наконец она грациозно запрокидывалась назад и ложилась во всю длину на невидимую проволоку: теперь она покоилась, с распущенными волосами, словно спящая, причем голова ее прижималась к плечу, а ноги лежали одна на другой в трепетном покое двух пташек, укрывшихся под материнским крылом. Некоторое время в воздухе продолжалось томное покачивание женского тела, окутанного распущенными волосами и развевающимися тканями, и казалось, что оно не поддерживается ничем. Битая привставала два-три раза, вновь ложилась и, наконец, порывистым движением бедер выпрямлялась и становилась на ноги, шелестя блестками юбки,— почти красивая в этом оживлении и стремительном изяществе, радостная от раздававшихся аплодисментов.

— Господа, *последняя* упражнение,— провозглашал паяц.

Тут снова появлялась Битая; теперь она несла столик с тарелками, ножами, бутылками и золотыми шарами, необходимыми для следующего номера. И тотчас же над головой жонглера начинали летать эти предметы, следуя один за другим, чередуясь, перекрещиваясь, но не сталкиваясь, появляясь у него из-под ног, из-за спины и неизменно попадая в его ловкие руки, чтобы вновь улететь. Предметы то взлетали до потолка, поднимаясь медленно и на большом расстоянии друг от друга, то снова и снова мелькали над самой головой эквилибриста; бла-

годаря непрерывности и быстроте вращения они казались цепью, звенья которой спаяны незаметно для глаз. Жонглируя тремя бутылками, Джанни бегал по арене, потом влезал на стол, становился на колени и, прежде чем подбросить бутылки, ударял ими по дереву, выбивая таким образом забавную застольную песнь. Движением одного только мускула он укладывал, поднимал, подбрасывал в воздух последнюю оставшуюся бутылку, и она попадала горлышком прямо ему на палец.

У него была очаровательная, свойственная ему одному, манера перебрасывать в горизонтальном направлении из одной вытянутой руки в другую медные шары, которые казались золотым клубком, разматывающимся у него на груди.

Джанни был первоклассным жонглером: его руки способны были на нежнейшие прикосновения, он обхватывал предметы так осторожно, что казалось, будто в этом принимает участие одна лишь гладкая поверхность кожи, будто кончики его пальцев вооружены маленькими присосками. Чудесное и забавное получалось зрелище, когда юноша, взяв тарелку и слегка склонившись над ней, пускал ее по рукам, улыбаясь при этом загадочной улыбкой, как маг улыбается своему волшебству. Тарелка скользила в пространстве, ежесекундно готова была упасть, но не падала; в конце концов, на мгновенье отделившись от руки, подобно открывшейся крышке ларчика, и держась лишь на кончиках его пальцев, она снова падала на ладонь, словно притянутая пружинкой.

Вдобавок Джанни торжествовал над всеми трудностями жонглирования тремя предметами различного веса: ядром, бутылкой и яйцом; это упражнение заканчивалось поимкой яйца на донышко бутылки.

В конце, в самом конце, когда руки его подбрасывали зажженные факелы, а блюда и шары вертелись на острие палочек, стоящих у него на подбородке и груди, среди смоляных искр и блеска фарфора, Джанни становился центром и осью круговращательного вихря всех этих *кувыркалок* по старинному колоритному выражению Рене Франсуа, королевского проповедника.

V

Представление завершалось дивертисментом с участием двух-трех персонажей, в котором играли то Битая, то паяц, то Геркулес; в содержание и постановку этих сценок директор, исполнявший в них главную роль, вносил фантазию, какую редко

встретишь в балагане. Это были шутовские выдумки, без начала и конца, потешные *неразберихи,* пересыпанные звучными пощечинами и пинками в зад, имеющими привилегию смешить мир с тех самых пор, как он существует; остроумные пантомимы, которые передавались милыми лукавыми гримасами, сногсшибательные превращения, головокружительные выдумки, уморительные шествия,— и тут старое тело директора еще обнаруживало немало ловкости и проворства.

Томазо Бескапе был в молодости незаурядным гимнастом. Он рассказывал, что в одной пантомиме собственного изготовления, удирая с мельницы, где его накрыл муж мельничихи, он шагал прямо по остриям палок, которые держали в воздухе подосланные мужем люди, чтобы отлупить соперника. Но с годами итальянец поневоле обратился к пантомимам, требовавшим менее сложной гимнастики, и теперь довольствовался несколькими прыжками, выкидывая то там, то сям, по ходу интриги, то *прыжок труса,* то *прыжок пьянчужки.*

Среди *прыжковых* пантомим его сочинения особенной его любовью стала пользоваться маленькая интермедия, приспособленная к его теперешним возможностям и имевшая к тому же большой успех как у городских, так и у сельских зрителей. Эта пантомима называлась:

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ МЕШОК»

1. В окрестностях Константинополя, изображенного ширмой с вырезанными наверху очертаниями минаретов, прогуливается старик Бескапе, переодетый в англичанку, в неизбежных синих очках, в нелепом костюме, под вуалью цвета опавших листьев.

2. Встреча англичанки с двумя черными евнухами.

3. Вкрадчивая, непристойная пантомима евнухов, перечисляющих англичанке все выгоды и утехи, которые ожидают ее в серале султана.

4. Добродетельная, полная негодования пантомима англичанки, заявляющей, что она порядочная мисс и готова скорее погибнуть, чем лишиться невинности.

5. Попытка похитить англичанку. Героическое сопротивление молодой особы, кончающееся тем, что один из евнухов вытаскивает мешок, с помощью товарища всовывает туда англичанку и завязывает мешок веревкой, продернутой в край.

6. Черные евнухи водружают себе на плечи мешок, в котором несчастная жертва дрыгает ногами и отбивается, как бес.

Тут наступал самый эффектный момент. В то время как

евнухи готовы были скрыться с добычей, дно мешка внезапно разверзалось, и англичанка вываливалась... в одной рубашке и улепетывала со всех ног в комичном ужасе, с самыми потешными стыдливыми жестами. Черные евнухи неслись в погоню, а преследуемая жертва спотыкалась и кувыркалась, вызывая дружный хохот, потом снова пускалась наутек, еще более опалев и обезумев от страха, еще более смущаясь, в куцем белом ночном одеянии, и это продолжалось до тех пор, пока она не исчезала, ловко нырнув в форточку, проделанную в ширмах.

VI

Еще совсем *крохотулькой* Нелло с любопытством заглядывался на представления отцовской труппы, широко раскрыв глаза и радостно юля всем телом.

Во время рауса он появлялся, держась обеими ручонками за юбку Битой и почти спрятавшись в ней; но вдруг малыш высовывал на мгновение головку в младенческом белом чепчике, из-под которого выбивались белокурые *кудерьки;* испугавшись, однако, кишевшей толпы, он мигом прятался в усеянную блестками кисею, затем снова высовывал уже бо́льший кусочек своей маленькой особы на более длительное время и с меньшей опаской. Вскоре в прелестном порыве застенчивой смелости, в порыве решимости, с очаровательными колебаньями, запустив палец в рот, Нелло отваживался пересечь подмостки, то и дело останавливаясь, беспрестанно ища позади себя путь к отступлению. Наконец внезапным и резким скачком он повисал на перилах балкончика, съеживался и прижимался к перекладине; спрятав лицо за перила и уцепившись за них, он украдкой поглядывал вниз, на ярмарочное поле. Но вскоре победные звуки барабана, раздававшиеся за его спиной, вливали в его застенчивую и пугливо-неподвижную фигурку вместе с волнением также и некоторую уверенность; его ножки пускались в пляс, он начинал подпевать, приоткрыв пухлые губки, и теперь головка его, отважно свесившись через перила, уже неустрашимо склонялась навстречу множеству лиц, обращенных в его сторону. Вдруг, среди неистовства музыки, среди финального исступления, среди завываний рупора, среди диких выкриков и воя, взбудораженный этим беснованием и грохотом, малыш подхватывал валяющуюся старую шляпу, старую оброненную шаль. Облачившись в этот обрывок маскарадной личины, словно он являлся участником представления, словно

ему уже вменялось в обязанность забавлять публику, карапуз ввязывался в потешное шествие паяца с одного конца подмостков на другой, старался поспеть за ним следом и изо всех сил отбивал такт неустойчивыми ножками; он подражал шутовским жестам, исчезая под огромной шляпой и являя взорам клочок рубашонки, торчавшей из-под пестрой шали в прорехе его штанишек.

VII

Как только кончалось последнее представление, как только бывал снят и разобран остов балагана, а полотнища, канаты и реквизит наскоро уложены в огромный брезент,— тотчас же Маренготта [1], влекомая старой белой кобылой, удалялась от городских стен.

Домик, с утра до ночи странствующий со своими обитателями по дорогам и проселкам; домик, останавливающийся на отдых возле ручья,— с всклокоченной соломой на крыше и с носками, развешанными для просушки на колесах; домик с отпрягаемой на ночь лошадью, из окошка которого в черный сумрак необитаемой местности льется слабый свет,— такова Маренготта, обиталище на колесах, где рождается, живет и умирает скоморох и куда последовательно входят повивальная бабка и могильщик; передвижное, сколоченное из досок жилище, дорогое сердцу его обитателей, так же как моряку — его корабль.

И обитатели Маренготты ни за что не хотели бы жить в другом месте,— так хорошо понимали они, что только здесь дано им ощущать мягкую тряску во время полуденных дремотных мечтаний, поддаваться соблазну побродить по холмам, которые порою «влекут вас к себе», а утром, проснувшись, с удивлением любоваться незнакомой местностью, где Маренготта остановилась в сумерках накануне. И правда: если светит солнце — разве мало повозки да простора пастбищ и лесов? А если случится ненастье — разве нет под навесом, по ту сторону тормоза, маленькой кухонной плиты и разве каморка Битой не преображается в гостеприимную столовую? Ибо повозка,— размером и высотой с большую морскую каюту,— состояла из двух и даже трех комнат. За узенькой внешней галерейкой находилась комната, посреди которой к полу был прибит боль-

[1] Маренготтой называлась, собственно, повозка странствующего по провинции ярмарочного торговца, и лишь лет сорок тому назад название это стало применяться в переносном смысле к повозке комедиантов, которые называют ее иногда также *караваном, своим углом. (Прим. автора.)*

ной стол; на нем вечером расстилался матрац, служивший постелью канатной плясунье. В глубине была дверь во вторую комнатку — помещение хозяина, где спала вся семья за исключением Джанни, жившего в зеленой повозке, вместе с остальными мужчинами труппы. Из этой своей комнаты Томазо сделал две,— примастерив ширмы, которые полуоткрывались днем, а ночью превращались в альков для супружеской кровати с тремя матрацами.

Комнатка перекрашивалась ежегодно; на окошечках висели белые занавески; на ширмах красовались лубочные картинки с наивными сюжетами из старинных легенд; в углу стояла плетеная кроватка Нелло, и вся эта тесная, низкая семейная каморка сияла, как новенькая шкатулка, и полна была сладким запахом цветущего тмина, которым Стеша набивала матрацы.

Над благообразной кроватью красного дерева висели на гвозде яркие лохмотья — девичья юбка цыганки, сохранившаяся от тех времен, когда она плясала в Крыму, юбка с нашитыми лоскутками красного сукна, вырезанными в виде кровавых сердец.

VIII

Степанида Рудак была матерью, заботы которой скорее походили на выполнение долга; она не питала к своему старшему сыну ни нежности, ни внутренней теплоты, не умилялась им, не радовалась его близости. Джанни расплачивался за то, что появился на свет в первые месяцы брака, когда мысли молодой женщины всецело принадлежали юноше, ее соплеменнику, и когда на уста супруги старого Томазо Бескапе постоянно навертывалась песнь родного племени:

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня!
. .
Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.

Поэтому все бурные, дикие и неутоленные материнские чувства, жившие в сердце цыганки, обратились на Нелло, который родился двенадцать лет спустя,— на младшего сына, которого она не целовала, не ласкала, но так неистово прижимала к груди, что он чуть не задыхался. Джанни, таивший любящую душу под холодной внешностью, страдал от этого неравного распределения материнской любви, но предпочтение, которым

пользовался Нелло, никогда не вызывало в нем чувства зависти. Джанни находил это предпочтение вполне естественным. Он сознавал, что сам он некрасив и часто бывает хмур. Говорил он мало. В нем не было ничего, чем могла бы гордиться мать; от его молодости не веяло весельем. Самые проявления его сыновней любви были неловки. Зато его маленький братец благодаря своей красоте, миловидности и чарующей ласковости был восхитительным существом, на которое другие матери смотрели с завистью, и не раз прохожие просили позволения его поцеловать. Личико Нелло было, как утренний свет. И постоянно — шутки, проказы, забавные словечки, смешные вопросы, прелестные выдумки, милые ребяческие пустячки, и шум, и беготня, и веселый гам. Словом, он был одним из тех обольстительных детей, которые являются радостью, дарованной людям, и часто, любуясь улыбкой его розовых губ и черных глаз, труппа забывала о неудачных сборах, о тощих ужинах.

Ребенку же, которого все баловали, было хорошо лишь с братом, хоть тот частенько и побранивал его: и как ни был мальчик говорлив и неугомонен, он подолгу сидел возле молчаливого Джанни,— точно ему нравилось это молчание.

IX

Акробатическое воспитание Нелло началось с пяти, даже с четырех с половиной лет. Сначала это были простые гимнастические упражнения, вытягивание рук, сгибание ног, тренировка мускулов и мышц его детского тельца, осторожная проба силенок малыша. И почти одновременно, еще до окончательного отвердения костяка, до того, как кости утратят гибкость младенческого возраста, мальчугана стали приучать расставлять ноги с каждым днем все шире и шире, и не прошло и нескольких месяцев, как он научился *доводить их до горизонтали.* Маленького акробата приучали также браться рукою за ногу и поднимать ее до уровня головы, а немного позже — садиться и вставать в таком положении, на одной ноге. Наконец Джанни, ласково положив его руку под спину и стоя против него, осторожно помогал ему сгибать туловище и запрокидывать голову, готовый подхватить его, как только тот станет падать. А когда позвоночник Нелло приобрел достаточную гибкость в опрокидывании назад, мальчика стали каждое утро ставить в двух шагах от стенки, и он должен был, опрокинувшись и опираясь о стенку руками, опускаться день ото дня все ниже и ниже до тех пор,

пока, изогнувшись вдвое, не стал доставать руками пятки. Так понемногу и последовательно, не торопясь, поощряя его конфетами, похвалой и словами, лестными для маленького гимнаста, только что расставшегося с соской, разламывали его детское тельце. Его заставляли также — все еще около стены, которая служила начинающему поддержкой, как протянутые руки при первых шагах,— ходить на руках, чтобы укрепить запястья и приучить позвоночник находить и держать равновесие.

Годам к семи Нелло был уже очень силен в *рыбьем прыжке* — прыжке, во время которого мальчуган, лежа на спине, без помощи рук вставал на ноги одним лишь движением бедер.

Затем следовали упражнения в прыжках, при которых опираются о землю руками: *прыжок вперед,* когда гимнаст, положив руки перед собою на землю, перекувыркивается и медленно встает на ноги, оказавшиеся рядом с руками; *обезьяний прыжок,* когда гимнаст, закинув руки назад, снова встает на ноги тем же движением в обратном направлении; *прыжок арабский,* то есть прыжок в сторону, похожий на *колесо.*

Во время этих упражнений Нелло чувствовал себя в кольце заботливых рук брата; эти руки беспрестанно скользили вокруг его тела, обхватывали его, помогая малышу, поддерживая, придавая его телу в минуты нерешительности и колебания необходимый для движения размах. Позже, когда Нелло стал увереннее в своих дерзаниях, Джанни привязывал к его поясу канат, который отпускал по мере того, как работа младшего брата приближалась к удачному завершению.

Наконец Нелло приступил к *сальто-мортале;* он начал исполнять их, бросаясь с небольшого возвышения, которое постепенно уменьшалось,— до тех пор пока прыжок не стал удаваться ему на гладкой поверхности.

Вообще сына цыганки никак нельзя было назвать *тугим малым;* у него была общая с отцом и братом исключительная способность как к обыкновенным прыжкам, так и к прыжкам с разбега или с места, и в семь, восемь лет он прыгал на такую высоту, которой другие мальчики, даже старше его, не могли достигнуть. И старик Бескапе, наблюдая однажды, как прыгает Нелло, изрек с высоты своих случайных энциклопедических познаний:

— Жена, посмотри,— и он указал ей на пятки ребенка и на длину его calcaneum [1],— при таком сложении малыш станет со временем прыгать, как обезьяна!

---

[1] Пяточная кость *(лат.).*

X

Как-то утром, проснувшись, Нелло заметил разложенные на стуле вещи, вещи давно и безнадежно желанные, которые обманщица-ночь уже много месяцев показывала ему в сновидениях. Несколько секунд он протирал глаза, не веря, что проснулся, потом сразу вскочил с постели и принялся дрожащими от счастья руками убеждаться в реальности этих ярких предметов, смеющиеся блестки которых искрились от его взволнованных прикосновений. Тут было трико, сделанное по мерке его маленького роста, небесно-голубые панталончики с буфами, усеянные серебряными звездами, пара крошечных башмачков с меховой опушкой. Ребенок ощупывал, переворачивал трико, панталоны, башмаки и поочередно целовал их. Потом он схватил свои милые сердцу доспехи и с радостным криком стал будить мать, чтобы она поскорее надела на него «*эти чудные вещи*». Не вставая с кровати и почти свесившись с нее, Степанида начала его одевать — медленно, часто останавливаясь, любуясь им как мать, примеривающая на своем любимце новый костюмчик и обретающая в этом новом наряде нового сына, которого можно любить еще чуточку больше. Когда его нарядили, получился прелестнейший миниатюрный ярмарочный Геркулес. Битая, забавляясь, завила раскаленными щипцами рожки из его белокурых, уже слегка темнеющих волос, и это придало шалуну некое подобие чертенка. Разряженный таким образом акробатик стоял неподвижно в чуть широковатом трико, образующем под коленками две складки,— стоял, опустив глаза, восхищенный своей маленькой особой, счастливый и почти готовый расплакаться от страха, что может неосторожным движением испортить новенький костюм.

XI

Занятное получалось зрелище, когда маленький комедиант стал, наконец, принимать участие в выступлениях труппы: он надевал трико, панталоны, башмачки и по-мальчишески стремительными прыжками бросался на арену, потом вдруг останавливался, охваченный внезапной застенчивостью, немного смешным детским страхом, который овладевает дебютантом при виде глазеющей на него публики. Он начинал незаметно отступать в сторону Джанни, укрывался возле него в полнейшем замешательстве и для бодрости почесывал себе затылок, в то время как плечи его слегка вздрагивали. Потом кудрявый хрупкий

ребенок непринужденно скрещивал руки, выставлял вперед ногу, опираясь на большой палец и приподняв пятку,— и в этой неподвижной позе он похож был на статуэтку Отдыха, выставленную в музее,— словно позы античных статуй рождены гимнастикой.

Но это спокойствие, эта неподвижность длились только мгновенье. Он тотчас же присоединялся к взрослым и беспрестанно подходил к барьеру, чтобы утереться повешенным там платком,— словно работал взаправду; ухватившись за столбик трапеции, он пытался удержаться в горизонтальном положении, но почти сразу же скатывался на песчаную гору у основания шеста и наполовину исчезал в ней; он прогуливался на руках, начинал серию традиционных и уже привычных ему кувырков и пируэтов, после которых тело медленно, с трудом распрямляется на как бы переломанных ребрах. Эти сверхпрограммные номера — маленькие трюки частенько ему не удавались, и Нелло принимался за них по нескольку раз с резвостью, задором, воодушевлением, в которых сквозила радость играющего ребенка и светился смех возбужденных влажных глаз; он уморительно раскланивался на аплодисменты, изящно округляя ручки, а по окончании всего этого на его милом личике появлялось решительное, смелое и почти героическое выражение. Но как только его роль кончалась, он бежал со всех ног к Джанни, надеясь, что брат в награду ласково погладит его по голове; тут Джанни иной раз поднимал его на ладони, головою вниз, и держал в таком положении раскачивающееся тельце, причем еще гибкий позвоночник малыша на миг сохранял равновесие.

XII

Годы шли, а люди эти все колесили по Франции, заглядывая в населенные места лишь с тем, чтобы дать представление и вновь поскорее расположиться под открытым небом, вокруг своих повозок.

То они уже во Фландрии, у подножья черных холмов, образовавшихся из шлака и каменноугольного пепла, у сонной реки, среди плоского пейзажа, со всех сторон ограниченного дымящимися высокими кирпичными трубами. То они в Эльзасе, среди развалин старинного замка, вновь отвоеванного и захваченного природой, со стенами, покрытыми плющом, диким левкоем и теми растениями, что цветут лишь на руинах. То они в Нормандии, в большом яблоневом саду, невдалеке от фермы со

мшистой крышей, на берегу ручья, журчащего в высокой траве пастбищ. То они в Бретани, на скалистом взморье, среди серых скал, перед расстилающейся черной безбрежностью океана. То они в Лотарингии, на опушке леса, у заброшенной угольной ямы, куда доносится отдаленное постукивание топоров, вблизи *ложбинки,* из которой в рождественскую ночь вслед за ловчим в огненном камзоле выходит *кортеж* охотников. То они в Турени, на плотине Луары, на откосе, где громоздятся веселые домики, окруженные виноградниками и фруктовыми садами, в которых зреют прекраснейшие в мире плоды. То они в Дофинэ, в густом ельнике, близ лесопильни, исчезающей в пене водопада, у прозрачных порогов, где водятся форели. То они в Оверни, над безднами и пропастями, под деревьями, обезглавленными ветром, среди завываний аквилона и ястребиных криков. То они в Провансе, у стены, разрушенной выросшим возле нее мощным олеандровым деревом и испещренной шустрыми ящерицами; над ними — пестрая тень большого виноградника, а на горизонте — рыжеватая гора с мраморной виллой на вершине.

Труппа то располагалась на выбитой дороге в Берри, то останавливалась у подножья придорожного креста в Анжу, то собирала каштаны в каштановой роще Лимузена, то охотилась за *травяными ужами* в ландах Гаскони, то подталкивала повозки на крутой дороге во Франш-Конте, то брела вдоль *горного потока* в Пиренеях, то оказывалась во время виноградного сбора в Лангедоке среди белых волов, увенчанных виноградными лозами.

Так этим людям, вечно кочующим по дорогам, в различные времена года, по самым разнообразным местностям, дано было всегда видеть перед собой простор, всегда находиться под лучезарным светом небес, всегда вдыхать свежий воздух и ветер, только что промчавшийся над сеном и вереском,— и оньяняться и утром и вечером вечно новым зрелищем зорь и закатов; и услаждать свой слух невнятным шумом земли, гармоничными вздохами лесных сводов, свистящими переливами ветерка в колеблемых тростниках; и погружаться с терпкой радостью в ненастье, в ураганы, в бури, в неистовства и битвы стихий; и есть где-нибудь под изгородью; и пить из свежих источников; и отдыхать в высокой траве под пенье птиц, летающих над головой; и зарываться лицом в цветы и вдыхать благовоние диких растений, разгоряченных полуденным зноем; и забавляться лесным или полевым зверьком, на миг зажатым в руке; и *зазеваться,* как говорил Шатобриан, на голубеющие дали; и позабавиться солнечным бликом, играющим на зайце в то

время, когда он станет свечкой на задние лапки в полевой борозде; и беседовать с грустью осеннего леса, шурша опавшими листьями; и погружаться в нежное оцепенение мечтательного одиночества, в смутное и длительное опьянение первобытного человека, находящегося в непрерывном любовном общении с природой; словом, всеми органами восприятия, всеми, так сказать, порами проникаться тем, что Лист зовет *цыганским мироощущением.*

XIII

Иногда Степанида, словно дикий зверь, прячущий своего уже подросшего детеныша, внезапно подхватывала сынишку, прижимала его к груди и убегала с ним в уединенный уголок, зарываясь в лесную чащу, и там, защищенная стеною из веток и листвы, еле переводя дух, опускала его на траву. Вдали от всех, в этом природном тайнике, она становилась на колени перед лежащим Нелло и, опершись руками о землю, все еще тяжело дыша и изогнув тело, как самка над детенышем, смотрела на него странным взглядом, смущавшим малыша, который, как ни старался, не мог ничего понять. Тогда с губ матери, еле прикасавшихся к лобику младшего сына, медленно, как журчащее причитание, слетали слова:

Бедная любимая крошка!
Бедная ненаглядная крошка!
Бедное крохотное сердечко!

И долго звучали в шелестящей тишине и безмолвии эти ласковые восклицания, превращаясь в своеобразный грустный напев, в котором словно изливалось разбитое сердце. И беспрестанно звучало слово «*бедный*», слово, которое матери и возлюбленные из несчастного цыганского племени, вечно опасающиеся за будущее своих любимцев, неизменно присоединяют к ласковым уменьшительным именам.

XIV

Давно, уже очень давно молодая мать Нелло стала чахнуть. Что за недуг был у нее? Этого никто не знал. Возможно, то была болезнь растений, пересаженных в чужую землю, под небо, где им не суждено дожить до старости. Впрочем, молодая цыганка ни на что, кроме холода, не жаловалась; холод пронизывал ее

до мозга костей, и она не могла его ничем разогнать; даже летом, как ни куталась она в шали, она ощущала внезапную нервную дрожь. Тщетно готовила ей Битая навары из трав, собранных по дорогам, уверяя, что от них ей станет теплей; тщетно пытался муж водить ее к лекарям тех городков, где труппа давала представления,— она от всего отказывалась с глухим ворчливым раздражением и продолжала участвовать в общих трудах, а сама все бледнела, и глаза ее делались все больше.

Однажды у нее не хватило сил высидеть до конца за столиком — кассой балагана. В другой раз она не встала утром, обещая встать завтра. Но она не встала ни завтра, ни в следующие дни. Муж хотел было остановиться на постоялом дворе, чтобы полечить ее, но она воспротивилась этому, сказав «нет» властным движением головы; и тут она стала пальцем чертить на стене повозки — возле того места, где приходилась лежащая на подушке голова,— большой квадрат: очертание окошка.

С этого времени больная, которая уже не вставала и путешествовала лежа в постели, только любовалась пейзажами, видневшимися из окна повозки.

Тихая, безмолвная, она ни слова не говорила своему бедному старому мужу; а он целыми днями сидел возле ее кровати, на старинном сундуке, некогда принадлежавшем римскому прелату, где теперь хранились итальянские пантомимы, и в его печали было нечто придурковатое. Не разговаривала она и с остальными; лишь изредка им удавалось отвлечь на мгновенье ее взор от окошка. Одно только присутствие младшего сына — в те краткие минуты, когда неугомонный и эгоистичный мальчик соглашался спокойно посидеть на табуретке,— могло развеять ее обычную задумчивость. Все время, пока ребенок сидел тут, мать, не прикасаясь к нему и не целуя, смотрела на него, и ее глаза горели испепеляющим огнем.

Окружающие старались чем только можно порадовать больную. Почти каждые два-три дня стирались оконные занавески, чтобы они всегда были чистые; для нее собирали в лесах и лугах полевые цветы, которые она любила держать в графине у своего изголовья; труппа в складчину подарила ей красивое пуховое одеяло,— легкое и теплое; это пуховое шелковое одеяло — единственная вещь, за которую она поблагодарила с выражением простодушного счастья, слабо озарившего ее мраморное лицо.

Повозка все кочевала по стране, везя слабеющую женщину с места на место; теперь голова больной то и дело скатывалась с подушки, и ее приходилось перекладывать ближе к окошку.

Однажды в полдень цыганке стало так плохо, что старик велел распрячь лошадей, и труппа уже начала было располагаться в поле, но путница, почувствовав, что движение остановилось, произнесла на своем родном языке, на языке romany [1], односложное и свистящее, как звук бича: «Вперед!» И она беспрестанно повторяла это слово, пока опять не заложили лошадей.

После этого цыганка еще несколько дней лежала, упрямо отвернувшись к стене, а неподвижный и в то же время расплывчатый взгляд ее был прикован к окну, к убегающим видам, теряющимся вдали, исчезающим в тумане и колеблющимся от тряски повозки по ухабам.

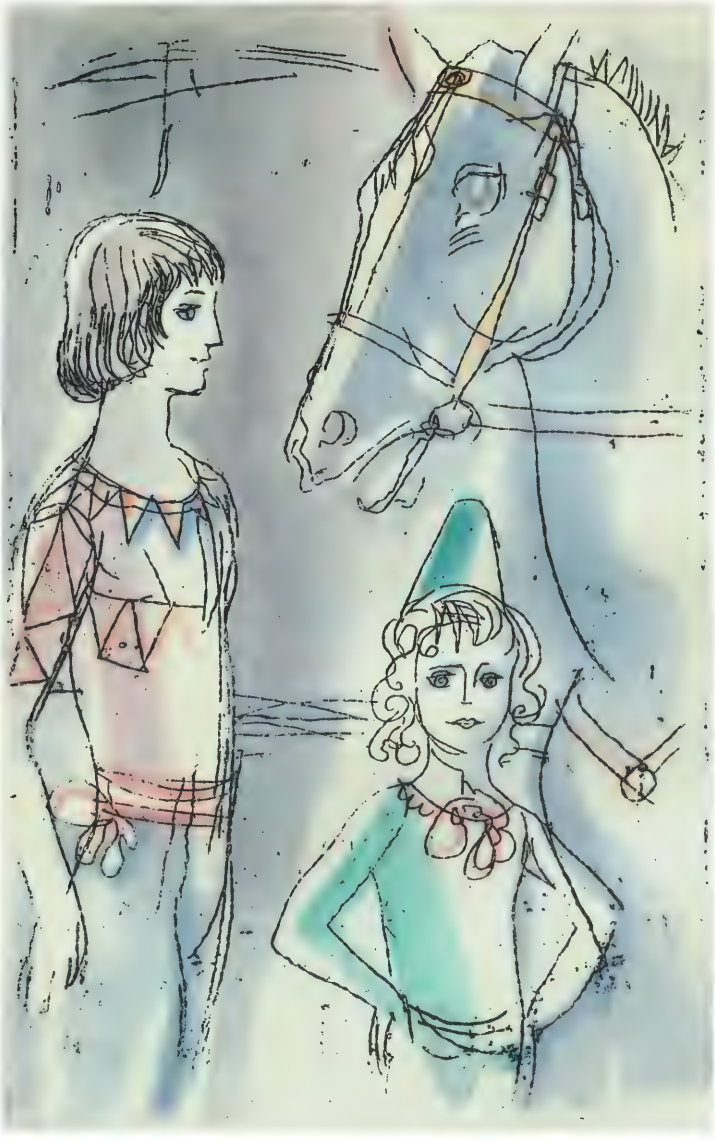
Взор умирающей, уже помутившийся, не мог расстаться с густыми лесами, с бесконечными равнинами, с холмами, залитыми солнцем, с зеленью деревьев и подвижной синевой рек; взор ее не мог оторваться от чистых сияний, струящихся с небес на землю, от света, сверкающего за стенами жилищ... ибо это была та самая женщина, которая однажды на суде отвернулась от распятия и, подойдя к раскрытому окну, сказала: «Клянусь светом, сияющим меж небом и землей, что открою свое сердце и скажу всю правду». И, умирая, она желала, чтобы до самого конца ее кочевого существования над ней сиял этот свет, разлитый меж небом и землей.

Однажды утром Маренготта остановилась в Бри, возле церковки, у которой перестраивали боковые приделы. В лучах восходящего солнца перед повозкой блестели, как декоративная ниша, уцелевшие старинные хоры, оклеенные золотой бумагой. На лесах, возвышавшихся над остатками древних могил, мелькали рыжеватые, испачканные известкой головы каменщиков; тут же расхаживал, подпрыгивая, освещенный лучами утренней зари долговязый кюре в круглой шляпе, обвитой крепом, и в длинной-предлинной черной сутане, побелевшей возле карманов,— с лицом, не бритым целую неделю и казавшимся грязным, с острым носом и ясными, зоркими глазами.

Когда повозка снова пустилась в путь, Степанида вдруг отвела взор от оконца и с выражением строгого умиления надолго остановила его на младшем сыне. Потом без единого слова, без ласки, без поцелуя она взяла ручку Нелло, вложила ее в руку Джанни и похолодевшими пальцами соединила руки братьев в пожатии, которого не расторгла сама смерть.

---

[1] Цыганском.



Братья Земганно

XV

Доверие, благоговение, вера, твердая вера, встречающаяся иногда у детей по отношению к старшим сестрам и братьям, полное отдание сердца чувству наивного восхищения перед существом одной с ними крови, существом, ставшим в их глазах тем совершенным, идеальным созданием, образу которого они любовно и тайно стараются вторить, стремясь сделаться его копией в миниатюре,— таковы были чувства Нелло к Джанни. Но в них было что-то еще более страстное, более восторженное, более фанатичное, чем у всех других младших братьев на свете. Хорошо было только то, что делал старший брат. Истинно и непреложно было только то, что он говорил; и когда старший говорил, младший внимательно слушал, и над бровями его обозначались выпуклости, свойственные внимательным, вдумчивым детским лицам. «Так сказал Джанни»,— было его припевом, и, заявив об этом, он считал, что слова брата должны быть святы, как слова Евангелия, не только для него, но решительно для всех. Ибо что касается самого Нелло, то его вера в Джанни была беспредельна. Когда его однажды побил маленький комедиантик из соперничавшего с ними балагана, мальчуган сильнее его и постарше годами, Джанни сказал брату: «Завтра ты возьмешь в руки вот эту свинчатку, пойдешь прямо на него и ударишь его вот так, прямо по лицу, и он свалится»; на следующий день Нелло зажал в руке свинчатку, ударил своего обидчика и свалил его наземь. Он мог бы так же, как этого злого мальчишку, ударить и Рабастенса, если бы на силача указал ему брат. И так во всем. В другой раз Джанни, будучи в шутливом настроении, что вообще случалось редко, стал смеха ради попрекать Нелло, что тот расковал Ларифлетту; вопреки своей почти полной уверенности, что собак не подковывают, мальчик, сбитый с толку серьезным тоном брата, после долгих оправданий принялся отыскивать на лапах пуделя следы от гвоздей, а так как над его легковерностью начали подтрунивать, он стал упрямо твердить, не прекращая своих исследований: «Так сказал Джанни».

Беда, если кто осмеливался обидеть *его* Джанни! Однажды Нелло пришел домой в слезах и на расспросы брата, рыдая, ответил, что слышал, как о Джанни говорили разные нехорошие вещи; когда же, по настоянию Джанни, ему пришлось повторить эти обидные слова, он весь судорожно передернулся от злобы и негодования.

Вернувшись домой, Нелло первым делом спрашивал: «Джанни здесь?» Казалось, что маленький брат может существо-

вать лишь возле старшего. На арене он постоянно вертелся возле Джанни, стремясь хоть чуточку участвовать во всем, что исполняет брат, и Джанни приходилось то и дело отстранять его, слегка отталкивать рукой. Пока малыш находился около брата, он не сводил с него глаз, он смотрел на него долгим и как бы остановившимся взглядом, который выражает у детей восторженную любовь, и застывал в этом созерцании, на минуту поглощавшем его шумливую детскую веселость. Когда Нелло был чем-нибудь поражен или обрадован, а Джанни не было поблизости,— мальчуган, всегда желавший всем поделиться с братом, не мог удержаться, чтобы не сказать окружающим: «Надо будет рассказать Джанни!»

Старший брат занимал такое большое место в мыслях младшего, что даже в снах своих Нелло никогда не делал ничего один: брат всегда сопутствовал ему и неизменно принимал участие во всех его занятиях.

Смерть Степаниды еще теснее связала нераздельную и днем и ночью жизнь братьев. У Нелло была новая большая радость: теперь Джанни спал в Маренготте, поэтому утром можно было залезть к нему в постель и, словно возле матери, малость полежать возле него в минуты пробуждения — радостного и полного неги.

В полдень и вечером, во время стоянок труппы, Джанни учил Нелло читать по отцовским тетрадям с пантомимами, а иногда давал ему в руки свою скрипку, и ребенок, в жилах которого текла цыганская кровь, начинал играть, как маленький виртуоз степей и лесных полянок.

XVI

После смерти Степаниды Томазо Бескапе погрузился в странное оцепенение и теперь вечно сидел на сундуке с пантомимами около кровати, где прежде лежала его жена; в одно прекрасное утро он решительно отказался встать и с тех пор проводил жизнь в супружеской постели, словно ему приятно было постоянно ощущать то неуловимое, что осталось в одеялах от любимого тела и что как бы вновь возрождалось от влажной теплоты посторонней жизни; у бедняги не было иного развлечения, как любоваться, растянувшись в постели, своим фантастическим гусарским мундиром, на котором он то и дело просил обновить серебряный позумент.

XVII

Из-за болезни отца Джанни пришлось взять управление труппой в свои руки. Но директор был очень юн и не пользовался достаточным авторитетом у людей, которые продолжали считать его ребенком. Когда жива была мать и отец был в здравом рассудке, им удавалось кое-как справляться с этим несговорчивым людом, укрощать с грехом пополам зависть, недружелюбие, злобу этих враждующих существ. Нелюдимость, странные повадки, спокойная властность низкого голоса и глубокого взгляда жены оказывали таинственное действие на окружающих, и когда она отдавала распоряжение, никто не решался ослушаться. А в тех случаях, когда Степанида молчала, муж прибегал к своей итальянской дипломатии. Благодаря совершенному знанию собратьев по ремеслу, благодаря искусству, с каким он умел польстить собеседнику и умаслить его затаенную враждебность, то и дело пересыпая фразы словами mio caro [1], примешивая к ним неопределенные обещания, рисуя обворожительные перспективы, казавшиеся в его устах совсем близкими, и даже уснащая все это несколькими шутовскими выходками, заимствованными из собственного репертуара, папаша Бескапе добивался всего, чего хотел, и заставлял бесконечно долго и терпеливо ждать удовлетворения предъявленных ему претензий.

Джанни совсем не был похож на отца. Он не умел обещать, а встречая сопротивление, сердился, посылал человека ко всем чертям и отказывался от того, чего только что требовал. У него не хватало также терпения уговаривать и мирить враждующие стороны; он не давал себе труда налаживать отношения паяца с Геркулесом, предоставляя дремлющей в их сердцах злобе разгораться и переходить в открытую распрю. Многие мелочи ремесла претили ему, и он не принимал участия, как отец, в зазывании публики, ибо, в отличие от старика Бескапе, не был наделен чудесным даром многоязычья, тем даром, который в глухой провинции, где им приходилось выступать, позволял старику обращаться к публике на местном наречии, что способствовало обильным выручкам и бесило его французских собратьев, по природе малоспособных к языкам.

Вдобавок Джанни не обладал ни малейшими административными задатками, а у Битой, на которую он положился в отноше-

---

[1] Дорогой мой *(итал.)*.

нии материальных дел труппы, не было ни привычки к порядку, ни способностей его матери.

Наконец, хотя Джанни и был хорошим товарищем и всегда старался угодить всем и каждому, люди, с которыми он жил, не были к нему привязаны; в глубине души у них таилось смутное чувство обиды, ибо они понимали, что он обдумывает что-то и скрывает от них свои мысли; они предчувствовали, что молодой директор недолго будет управлять труппой, и смутно догадывались о его намерении расстаться с ними.

XVIII

Руки Джанни, даже когда он отдыхал, бывали беспрестанно заняты и вечно нащупывали что-то вокруг; они как бы невольно, почти инстинктивно схватывали попадавшиеся предметы, ставили их на горлышко, на угол, словом, в такое положение, в каком они явно не могли удержаться. И Джанни тщетно старался заставить их простоять так хотя бы мгновение; руки его вечно бессознательно трудились над преодолением законов тяготения, над нарушением условий равновесия, боролись с извечной привычкой вещей стоять на донышке или на ногах.

Часто случалось также, что он проводил бесконечное количество времени, вертя и переворачивая во все стороны какой-нибудь предмет обстановки — стол, стул,— и все это делалось им с таким вопрошающим, полным любопытства и упрямства видом, что младший брат спрашивал у него наконец:

— Послушай, Джанни, чего ты добиваешься?

— Ищу.

— Что ты ищешь?

— Ага, вот! — И Джанни добавлял: — Нет, черт возьми,— никак не дается!

— Да что такое? Скажи, скажи мне, что такое, ну скажи же, что такое? — повторял Нелло, жалобно растягивая слова, как обычно делают дети, когда хотят что-нибудь узнать.

— Вот подрастешь... а сейчас тебе не понять. Я, поди, и для тебя ищу, братишка!

В один прекрасный день, произнеся эти слова, Джанни вскочил на квадратный столик, который только что стоял кверху ножками, и бросил брату:

— Внимание, братишка! Видишь там в углу топорик? Возьми его... Так... хорошо... Ну, теперь колоти им изо всей мочи по этой ножке, по правой.— Ножка сломалась, но Джанни на хро-

моногом столике стоял по-прежнему.— Теперь другую, слева.— Вторая ножка была срублена, а Джанни чудом равновесия продолжал держаться на столике, у которого не хватало обеих передних ножек.— А, а, а, а! — восклицал Джанни на балаганный лад.— Вот где собака... Братишка, теперь долой третью ножку!

— Третью? — несколько нерешительно проговорил Нелло.

— Да, третью, но эту — совсем легонькими ударами и одним, последним — сильным, чтобы разом послать ее к чертям.

Пока Джанни говорил, третья ножка уже готова была оторваться, а сам он пробирался на угол стола, к единственной крепкой ножке.

Третья деревяшка свалилась, и Нелло увидел, что столик, в края которого большими пальцами впились ноги Джанни, продолжает стоять на месте, а тело брата раскачивается над столом, выступая за его поверхность, и вырисовывается в пространстве, как изогнутая ручка вазы.

— Живей, прыгай мне на...— крикнул Джанни. Но стол вместе с эквилибристом уже покатился наземь.

Иногда старший брат застывал перед каким-нибудь предметом, скорчившись и съежившись, стоя на одном колене и опершись обеими руками на другое; неподвижность его в эти мгновенья была так велика, что маленький брат, охваченный чувством уважения к этой глубокомысленной созерцательности, подходил к нему, не осмеливаясь заговорить, и напоминал о своем присутствии лишь легким прикосновением, похожим на ласку животного. Джанни, не оборачиваясь, нежно клал ему руку на голову и, мягко нажимая, сажал его возле себя; он продолжал смотреть все на тот же предмет, запустив руку в волосы ребенка, пока, наконец, не опрокидывался назад, схватив братишку в объятия и восклицая: «Нет, не выйдет!»

Тогда, катаясь с ним по траве,— как стал бы играть большой пес со щенком,— Джанни в невольном порыве откровенности говорил, обращаясь к ребенку, но в то же время не желая быть понятым:

— Ах, братишка... трюк... изобретенный нами самими трюк... собственный трюк, понимаешь ли ты? Трюк, который будет носить на афишах в Париже имя двух братьев...

Тут он внезапно обрывал речь и, словно желая стереть из памяти Нелло все, что тот слышал, схватывал его и крутил, заставляя выделывать целую вереницу неистовых кувырков; и во время этого нескончаемого кружения ребенок чувствовал на своем теле прикосновенья рук, одновременно и братских и отеческих.

XIX

И нескончаемое странствие Маренготты по Франции продолжалось под руководством сына, но уже без прежних успехов и прибылей. Представления сводились теперь к гирям Геркулеса, пляске на проволоке Битой, упражнениям на трапеции и эквилибристическим трюкам Джанни, прыжкам маленького Нелло; с годами пришлось отказаться от привлекательных потешных пантомим, которыми акробаты некогда заканчивали представления и в местах, где не было театра, забавляли публику как бы кусочком настоящего спектакля. Вдобавок персонал труппы, старея, терял воодушевление — этот священный огонь ремесла. Паяц экономил свои шутки. Геркулес при менее обильных трапезах стал еще ленивее и еще более скуп на движения. Тромбонист, которого душила астма, дул в свой инструмент лишь из любви к господу богу. И парад зачах, турецкий барабан дремал, медные части балагана стали жалобно поскрипывать. Одна только Битая изо всех сил, с сердитой самоотверженностью и своего рода остервенением боролась с неудачами братьев.

Шли годы, старик Бескапе медленно умирал, а дела становились более чем посредственны, и управлять людьми со дня на день делалось все труднее: Сиприен Мюге, тромбонист-астматик, стал отпетым пьяницей с тех пор, как умерла Ларифлетта. Паяц, с каждым днем все более задиравший товарищей, причинял Джанни тысячи неприятностей: он разорял ивовые кустарники, ломал ветки груш и терновника вдоль дорог, по которым колесила труппа,— ибо он заполнял досуг плетением корзинок и вырезыванием тросточек и трубок. Эти художественные изделия, в которых заметны были следы искусства, изученного на каторге, Агапит продавал в свою пользу в антрактах между номерами. Совсем недавно у Джанни произошло крайне неприятное объяснение с владельцем березовой рощи, дворянином, любителем гимнастических трюков, приютившим комедиантов на три дня в своем замке. После их отъезда он обнаружил, что паяц содрал с его лучших берез кору для выделки табакерок. Пока в душе юного директора происходила борьба между природной порядочностью и неохотой отказать старому товарищу, свидетелю его детства; пока он терпел всевозможные огорчения, каждодневно причиняемые ему *скоморошеством,*— случилось событие, весьма неблагоприятное как для славы цирка Бескапе, так и для выручки кассы. Самым верным доходом, особенно в последнее время, труппа обязана была Геркулесу. Когда

цирковой борец появлялся в каком-нибудь городке или селе, очень часто местного силача подмывало померяться с ним силой. В таких случаях между Геркулесом и борцом-любителем, который почти всегда оказывался мельником, затевались пари о том, кто кого *уложит,*— пари на сто, двести, даже триста франков; со стороны противника Геркулеса деньги вносились иногда самим любителем, а иногда в складчину его земляками, которые из местного патриотизма были заинтересованы в его победе. И неизменно выигрывал Геркулес,— не потому что он был сильнее всех, с кем боролся, а благодаря привычке к борьбе и знанию всех приемов и всех секретов этого дела. И вот в один прекрасный день несокрушимый Рабастенс был положен на обе лопатки бресским мельником, человеком, по всеобщему мнению, *далеко не столь несокрушимым,* как Геркулес! Вся труппа была изумлена, подавлена, принижена, а тут еще среди растерянного молчания раздался подло-насмешливый голос паяца,— он при всем народе бросил растерявшемуся, ошеломленному Геркулесу упрек, что, мол, слишком уж он пристрастился к своей потаскухе, что в ночь перед борьбой... Сильнейшая пощечина не дала паяцу договорить: он покатился кубарем.

Паяц говорил правду. Действительно, Геркулес, до тех пор влюбленный лишь в еду, неожиданно воспылал нежностью к некоей Деянире, которую возил за собою, отдавая ей немалую долю своих сил. Самым печальным для Геркулеса и всей труппы в этом происшествии было то, что неожиданное поражение совершенно убило в нем сознание собственного превосходства; он выходил на борьбу еще два-три раза, но бывал бит, и с тех пор, отчаявшись, погрузился в грустную уверенность, что силу его мускулов подорвал чей-то *дурной глаз.* Он уже не поддавался ни на какие уговоры и не соглашался выйти даже против какой-нибудь тщедушной *пехтуры.*

XX

Когда Нелло был еще совсем маленьким, Джанни сделал его своим партнером в некоторых трюках, чтобы потешить ребенка, поощрить его и развить в нем вкус к ремеслу и соревнованию. Позже он почувствовал в своем братишке такое жгучее желание принять хоть небольшое участие в его работе, что постепенно ввел его почти во все свои упражнения, и случилось так, что к тому времени, когда Нелло стал юношей, Джанни совершенно отвык работать в одиночку и почувствовал бы себя выбитым из колеи, если бы с его работой не была свя-

зана работа брата. Теперь Джанни, жонглируя, брал Нелло на плечи, и это содружество двух жонглеров, слившихся воедино, превращало полеты шаров в причудливую и неожиданную игру, игру двойственную, игру чередующуюся, игру противоречивую. На трапеции, вращаясь в орбите Джанни, Нелло вторил всему, что делал старший брат, и то исчезал в круговороте его движений, то медленно следовал за его замирающим кружением. В новых номерах, разученных старшим специально для того, чтобы выпустить на подмостки «*маленького гимнаста*»,— Джанни, лежа на спине, заставлял Нелло кружиться вихрем и тут же подхватывал его, бросал и вновь схватывал ногами — ногами, которые в эти мгновения словно приобретали цепкость рук. Были у них также общие, совместные трюки, где сочетались их сила, их гибкость, их проворство и где хотя бы мгновенное отсутствие согласованности, малейшее нарушение контакта между их телами, могло бы повлечь за собою для одного из них, а то и для обоих самое тяжкое увечье. Но так совершенно было физическое взаимопонимание между братьями, так точна была согласованность их воли с любым мускулом, приводящим тело в движение, что воля эта казалась общей и единой для обоих тел.

Из этой скрытой, сокровенной взаимосвязи их тел во время исполнения трюка; из этих ласковых отеческих и сыновних прикосновений, из этих обращений мускула к мускулу, из этих ответов нерва, говорящего другому нерву: «ап!», из этой постоянной настороженности двух чутких организаций, из этого ежесекундного отдания друг другу своей жизни, из этого неизменного полного слияния двух тел перед лицом единой опасности рождалось то нравственное доверие, которое еще более укрепляло кровные узы между Нелло и Джанни, еще более усиливало их врожденную взаимную любовь.

XXI

Цирк Бескапе давал,— без особого успеха,— представления в Шалоне-на-Марне, когда однажды вечером, заканчивая очередной трюк, Джанни услышал, что кто-то из зрителей окликнул его по имени.

Он узнал в этом человеке собрата по ремеслу, с которым ему в течение многих лет доводилось встречаться в беспрестанных разъездах по Франции. Это был коротенький человечек, коренастый, мускулистый, по прозвищу «Перешитый»; он начал с того, что без балагана, без музыки, прямо на площади сажал

дюжину желающих в тележку и поднимал их на собственной спине. Ввиду успеха тележка вскоре была заменена подержанной *break* [1], обтянутой старой выцветшей кожаной обивкой, добытой у дубильщиков. Наконец бричку заменила позолоченная античная колесница, в которой Перешитый и продолжал поднимать публику. Тем временем удачливый силач женился на *фокуснице,* и стали поговаривать, что он недурно зарабатывает своей колесницей и карточными фокусами жены; он купил в харчевнях, ел дичь и пил марочные вина.

Перешитый поведал Джанни, что приехал сюда слишком поздно, чтобы разложить балаган, и принялся сочувствовать ему, что представления привлекают так мало *зрителей,* горевал, что все лето стоит *собачья* погода, плакался, что ремесло их теперь в таком упадке; но жалобы свои он вдруг оборвал, сказав: «А ведь говорят, малыш, что ты хочешь отделаться от своей колымаги?» А так как Джанни не отвечал ни да, ни нет, он добавил: «Ну, так заходи за мной завтра в «Красную шапку»,— мы, может быть, обделаем одно дельце».

XXII

Джанни пришел к Перешитому в харчевню «Красная шапка». Перешитый сидел за столом, по обеим сторонам возле него уже стояло по две пустых бутылки, и он только что принялся за пятую. На его широком лице, «рябом, как Голландия», с пунцовыми пятнами возле ушей, с бровями, похожими на клочки белой кроличьей шерсти, *после рюмочки* появлялась веселость низкопробного забавника, смешанная с мелочной хитростью, обычно светящейся в проницательном взоре нормандского крестьянина.

— А, наконец-то! Бери стул, стакан и садись... Итак, папаша Бескапе *приказал долго жить!..* Я любил его, старую обезьяну... с удовольствием бы *проводил его прах...* А! И *бедовый* же был малый! А как, сукин сын, умел *облапошивать* простачков... Слушай, паренек, что я, Перешитый, скажу тебе: *молодчина* у тебя был папаша!.. Такого уж нового не сыщешь, таких уж больше *земля не родит.* Пей, поросенок... И сколько же ты хочешь за свою *колымагу?*

— Хочу за нее, Перешитый, три тысячи франков.

— Три тысячи чистоганом! Шутишь, малыш! Ты, верно, думаешь, что у меня *денег куры не клюют,* раз *завместо* тележ-

---

[1] Бричка *(англ.).*

ки у меня теперь коляска с позолотой... Но ведь сам знаешь: теперь дела идут не так, как во времена, когда *они шли*... Словом, надо быть разумным... мириться с обстоятельствами и брать деньги, *какие ни на есть*... Кроме того, видишь ли, малыш: что у меня есть или, вернее, *чего у меня нет,*— того с меня и хватит... тем я и довольствуюсь, короче говоря... А я-то думал *управиться* с тысячью двумястами франков... Да еще, право же, думал, ты у меня *лапку поцелуешь*... Пей, поросенок.

— Нет, Перешитый. Три тысячи. Хотите — берите, хотите — нет!

— Ах ты, карапузик! Ты это всерьез?

— Послушайте, Перешитый, вы отлично знаете: две лошади, две повозки, балаган и все прочее.

— Ну, поговорим о лошадях: одна уж вся *облезла,* у другой *хвост отваливается.* Что же до Маренготты, она дребезжит, как связка железных обручей, а ты ведь сам знаешь, что теперь есть завод, который изготовляет такие же новенькие, да еще с голыми бабами, нарисованными первейшими парижскими живописцами,— за полторы тысячи франков? А другой твой *дурацкий ларчик,* думаешь, много стоит? А что касается твоего *непромокаемого балагана,*— я его вчера хорошенько рассмотрел, и что ж,— *по-божески скажу:* право, не уверен я, осталось ли там хоть малость холста вокруг дыр... Пей поросенок!

— Послушайте, Перешитый, если вы не хотите дело сделать, так уж, наверно, Бикбуа не откажется.

— Бикбуа! Та, что *пожелилась* с кривоногим, по прозвищу «Поверни-Налево», чертова *мошенница,* которая долгое время показывала женщину со свиной головой, то есть медведицу, которой по утрам сбривали со всего тела шерсть? Бикбуа тебе предложила сделку?.. Остерегайся, малыш, она вся в *прискорбных листах,*— да, доверчивая ты душа, вся она опутана векселями и судебными исполнителями... Пей, поросенок.

— Вы в этом уверены, Перешитый? В таком случае я обращусь к папаше Пизару.

И Джанни встал.

— Папаша Пизар? Как можно связываться с такой *безнравственной* тварью? Ладно! Ты скажешь, я оговариваю своих товарищей... так ведь это потому, что Перешитого все знают, всем известно, *ни единым волоском на голове* не попрекнуть... да ты, поди, сам это отлично знаешь. Ты, как граница возле Турне, через нее мышь *незаметно не перебежит, сразу все узнают, сколько на ней шерстинок*... А послушай-ка, я видал, как работает твой малыш... здорово идет, лягушонок... прямо, как ивo-

вая лоза... и ноги у него как будто *зудят*... уж конечно, *он на своих двух руках выйдет на широкую дорогу*. Пей же, поросенок.

— Спасибо, не хочется... Так окончательно, вы не берете штуковину за три тысячи франков?

— Погоди, уж ты и для видимости *уважить* меня не хочешь... Ну, раз уж насчет чувств прохаживаться нечего... и чтоб с этим порешить... даю тебе две тысячи франков!

— Нет, Перешитый, вы ведь не хуже меня знаете: то, что я продаю, стоит больше трех тысяч... так и быть... отдам все за две тысячи пятьсот, но с условием, что вы уплатите наличными и заберете к себе весь мой народ.

— Забрать весь твой народ... да это то же самое, что предложить мне *почесаться задницей о розовый куст!*.. Что мне, потвоему, делать со всем этим *сбродом?*.. Тромбонист твой совсем выдохся... Геркулес годен разве что покупки по городу разносить... твоего *торговца ужимками, телячьего шпиговщика* Кошгрю, я не взял бы и собаку свою смешить, канатная твоя плясунья развинчена, как старые щипцы, и такая *дохлятина,* что про нее можно сказать: *лень ей в могилу ложиться*...

— Полноте, Перешитый, вы ведь пытались ее у меня переманить,— я же знаю!

— Ах ты, чертов сын... с виду-то простофиля... а сам такая *хитрюга,* почище папаши... и к тому же *на слова не разоряется*... Решительно, малыш, мне с тобой не справиться... Ну, вытащим же *карманную посудину*...— И Перешитый извлек обвязанный вокруг бедер пояс, какие носят прасолы.— Держи, вот тебе две тысячи двести!

— Я сказал: две тысячи пятьсот, Перешитый, и сверх того наем всей моей труппы.

— Ладно, придется пойти на все, чего хочет этот окаянный Бескапе!

— Вы расплатитесь, Перешитый, когда примете имущество... и приходите за ним поскорее, а то я уезжаю.

— Так вот сию минуту? Брось дурить! Ведь ты небось новую труппу станешь набирать?

— Нет, с этой жизнью... покончено.

— Меняешь ремесло? Едешь искать *молочные реки, кисельные берега?*

— Об этом вы узнаете в свое время.

— Так по рукам, не правда ли? В таком случае — валяй вперед... я тебя нагоню, мне надо еще шестую *раздавить*... А то я еще не *наполнился*.

XXIII

Возвращаясь домой, Джанни повстречал у входа в балаган поджидавшую его Битую. Он уже не раз замечал в последнее время, что она собирается заговорить с ним, но в решительную минуту у нее не хватает смелости.

— Вот и вы, наконец, господин Джанни... надолго вы уходили сегодня утром... а я хотела...— И она запнулась, потом продолжала в смущении: — Словом, вот в чем дело... говорят, что теперь публика любит диких женщин... что это дает барыши... Поэтому я разузнала, как это *обставляется*... не велика ведь хитрость есть сырых кур... а я не гордая... и для вас я охотно стала бы их есть... можно и сигары.

Джанни посмотрел на нее. Битая покраснела, и сквозь ее смуглую загорелую кожу проступила тайна скрытой в глубине ее существа нежности к юному директору. Бедная девушка, из чувства преданности, в поисках средства, которое могло бы поправить дела братьев Бескапе, заглушила в себе гордость примадонны-канатоходчицы и, в порыве величественного самоотречения, соглашалась снизойти до самой презренной разновидности их ремесла: до пожирательницы сырых кур.

— Спасибо тебе, бедняжка моя,— сказал Джанни, обнимая ее со слезами на глазах,— ты-то действительно любишь нас!.. Но в настоящую минуту *пожитки* все проданы, и вот смотри: Перешитый идет, чтобы вступить во владение... Ты знаешь: меняется ведь только директор... но если когда-либо тебе понадобится десятифранковая монета и если у Бескапе найдется *рыжик*, помни: существует почта. Ну, давай без нежностей... Уложи мои и братнины пожитки в деревянный сундучок,— да поскорее, потому что мы уезжаем сегодня же, сию минуту... а я пойду сдам Перешитому ключи от нашей лавочки.

Час спустя Джанни вернулся, взвалил себе на плечи сундук и сказал удивленному Нелло:

— Ну, братишка, бери скрипку, и живо на железную дорогу — в Париж.

Обменявшись рукопожатиями со старыми товарищами, они тронулись в путь, но, пройдя шагов двадцать, одновременно обернулись в сторону Маренготты, как люди, которые только что продали отчий дом, и, прежде чем покинуть его навсегда, прощаются долгим взглядом со стенами, где они родились и где умерли их родители.

XXIV

В вагоне старший брат говорил младшему:

— Не правда ли, братишка, тебе не казалось таким уж заманчивым вечно колесить по провинции, вечно выбиваться из сил на ярмарках?

— Я так,— просто ответил младший,— ты бы остался — и я остался бы, ты уезжаешь — и я за тобою, ты поехал бы в Индию — я бы поехал в Индию, и, право, даже если бы мне показалось, что ты чуточку свихнулся, я все равно поступил бы так же.

— Да, я это знаю,— сказал старший,— поэтому-то и не требовалось объяснений... но все-таки вот каковы они... наши дела... они были не блестящи... но не это понудило меня продать... в голове у меня имеются кое-какие виды относительно нас обоих.

И Джанни, с минуту рассеянно побарабанив пальцами по деревянной скамье вагона третьего класса, проговорил:

— Итак, вечером мы будем в Париже... завтра я постараюсь наняться в цирк... а там увидим!

Тут Джанни, закурив трубку, погрузился в облако дыма, и так ехал вплоть до самого Парижа, в то время как Нелло, по-детски забавлявшийся переменой и гордый предвкушаемым дебютом в цирке, пребывал в тормошливом, радостно-болтливом настроении и тревожил дремоту жирных, апоплексических соседей-крестьян, ибо без умолку болтал и выходил на каждой станции.

XXV

С железной дороги братья велели везти себя в маленькую гостиницу на улицу Двух Экю, где, как помнил Джанни, он еще совсем маленьким прожил несколько дней с отцом. Их повели по лестнице с деревянными перилами на пятый этаж, в комнатку с таким низким и неровным потолком, что, когда Джанни стал менять сорочку, ему пришлось выбирать местечко, где он мог бы стать с поднятыми кверху руками.

Они тотчас же вышли, пообедали в первом попавшемся погребке и пошли на улицу Монтескье, где каждый купил себе пальто и брюки, а также штиблеты на крючках и фуражки. Затем братья взяли извозчика и поехали в цирк, они купили первые места и, по инстинкту балаганных завсегдатаев, помести-

лись слева, близ входа. Когда Джанни и Нелло пришли, газ был еще приспущен и широкий желтый песчаный круг вырисовывался на черной арене, еще не тронутой ногой берейтора с шамбарьером;[1] они с огромным интересом наблюдали за подготовкой к представлению, поставленному на столь широкую ногу.

Публика прибывала, зал понемногу наполнялся.

Вскоре один из шталмейстеров узнал в братьях товарищей по ремеслу по тем мелочам, которые выдают гимнастов и в городском платье: по размеренной уравновешенности движений, по плавному раскачиванию туловища в пиджаке без жилетки, по манере скрещивать руки, придерживая локти ладонями; он разговорился с братьями, стал давать им разъяснения, сообщил, в какие часы можно застать в цирке директора.

Началось представление.

Джанни внимательно смотрел, не говоря ни слова. У Нелло же при каждом упражнении вырывались восклицания вроде следующих:

«Это мы делаем! Это ты мог бы исполнить! Это нам далось бы, надо только немного потренироваться».

Они вернулись домой, не без некоторого труда разыскав свою гостиницу, а когда разделись, Джанни, не слушая брата, продолжавшего болтать в постели, сказал, что ему хочется спать, и отвернулся к стенке.

XXVI

На другое утро Нелло, проснувшись, увидел брата курящим трубку у раскрытого окна. Джанни сидел, облокотившись на подоконник, и так был погружен в свои мысли, что даже не обернулся на шум, поднятый Нелло.

Несколько озадаченный, Нелло стал посматривать через плечо брата, стараясь увидеть, что могло так заинтересовать Джанни на противоположной стене. Стена, отстоявшая от их окошка футов на пятнадцать, была отделена небольшим двориком; цвета навоза у основания, она выше становилась черной, как сажа; по всей ее поверхности, на всех пяти этажах, торчало множество крюков и всевозможных предметов, искавших дневного света в этой сумрачной дыре. В самом низу, над складом еврейской лавчонки, запертой огромными железными засовами,

[1] Шамбарьер — манежный бич.

ютилась маленькая прогнившая деревянная галерейка, где среди зияющих ночных горшков виднелся букет в жестянке из-под молока. На зеленоватой мшистой крыше галерейки была сооружена из дранки и старых трельяжей громадная, во всю ширину двора, клетка для кроликов, которые растерянно носились между небом и землей, мелькая белыми пятнами на рыжем фоне. Выше, у окон всевозможных очертаний, пробитых в разное время и словно наугад, канатные сетки поддерживали крошечные садики с желтыми цветочками в дощатых ящиках. Еще выше к стене была прицеплена большая ивовая корзина, в каких обычно греют белье, чтобы надеть после ванны; владелец превратил ее в клетку, и в ней порхала сорока. Наконец на самом верху, возле слухового окна, рядом с помойным ведром сушилось на веревке муслиновое платье в розовые горошины.

Разглядев все это, удивленный Нелло уставился на брата, который, как он заметил, смотрел, ничего не видя.

— О чем это ты думаешь, Джанни?

— О том, что надо нам с тобой ехать в Лондон!

— А цирк?

— Терпение, малыш... до цирка мы еще доберемся... когда-нибудь...— продолжал Джанни, шагая взад и вперед по комнатке.— Тебе ничего не подсказало то, что́ ты видел в цирке? Нет, тебе, видно, это не подсказало того, что подсказало мне... так вот: трюки, которые мы делаем, англичане делают иначе... и лучше. Ох, эти англичане... хорошей *работе* можно научиться у них там, на месте!.. У них *проворство* в силе... а мы, видно, слишком развинчены, мы слишком расходуемся на усвоение гибкости... и поэтому мы, быть может, теряем в скорости сокращения мускулов. Кроме того,— как это ни странно,— вчера мне словно вдруг указали, что именно нам с тобой надо исполнять, что́ нам с тобой больше всего подходит... Словом, глупыш, те, вчерашние-то, ведь это разом и то, что отец исполнял, и то, что исполняем мы. Ну да, штуки, где гимнаст является своего рода актером, а когда ты, братишка, еще прибавишь к ним свои милые проделки... Словом, не вечно же нам заниматься *кувыркáнием?..*— Заметив на лице брата печальную гримасу, Джанни добавил: — Ну, что скажешь на это?

— Что ты всегда прав, старшóй! — ответил, вздыхая, Нелло.

Джанни посмотрел на брата с безмолвной нежностью, которая выразилась лишь в едва заметном трепете пальцев, набивавших новую трубку.

XXVII

Англия — первая в Европе страна, вздумавшая одухотворить акробатический трюк. Там гимнастика превратилась в пантомиму; там бессмысленный показ мускулов и мышц стал чем-то забавным, грустным, иногда трагичным; там гибкость, проворство, ловкость тела впервые задались целью вызвать смех, страх, мечты — так, как это делает театр. И именно в Великобритании неведомыми творцами, от которых едва сохранилось несколько имен, относящихся к XVIII веку и разбросанных по платежным ведомостям цирка Астли, была изобретена совершенно новая сатирическая комедия. Это было как бы обновление итальянского фарса, где клоун, эта *деревенщина*, этот гимнаст-актер, возрождал сразу и Пьеро и Арлекина, бросая в публику иронию этих двух столь различных образов, показывая гримасу обсыпанного мукою лица, гримасу, словно разлившуюся по всей мускулатуре его насмешливого тела.

И — любопытная вещь — в стране Гамлета случилось так, что национальный дух наложил и на это свое создание присущий ему отпечаток равнодушия и скуки и придал занимательному зрелищу, если можно так выразиться, своего рода тоскливый комизм.

XXVIII

В год приезда братьев в Лондон на Виктория-стрит было место, называвшееся «Развалинами». Это был огромный участок, на котором по распоряжению комиссии по благоустройству столицы снесли три-четыре сотни домов,— пустырь, усеянный обломками, где еще тянулись к небу старые стены рядом с кладкой новых домов, постройка которых задержалась,— участок, заваленный нечистотами и щебнем, заброшенный уголок столицы, где жалкая трава пробивалась сквозь слой извести, устричных раковин, бутылочных осколков,— словом, в точности пустырь Сен-Лазар. «Развалины» уже несколько лет служили местом встреч и манежем под открытым небом для всех неангажированных акробатов, эксцентриков, гимнастов на неподвижной трапеции и на трапеции свободной, клоунов, жонглеров, канатоходцев, эквилибристов, для всех рожденных в *древесных опилках* или жаждущих в них жить: словом, «Развалины» являлись той школой, из которой вышли впоследствии Фрэнк Берингтон, Костелло, Джемми Ли, Билл Джордж, Джо Уэлл, Аламбра Джо. Особенно по вечерам этот уголок представлял

любопытное зрелище. В темноте, царившей над руинами, среди жутких очертаний черных стен, сквозь круговорот обрывков гнилых обоев, сорванных ветром, среди полчищ шныряющих ошалевших крыс, на всем этом сумрачном, туманном пространстве свет четырех сальных огарков, воткнутых в землю, смутно освещал кое-где, поверх колеблемых бледных отсветов, очертания тел, которые передвигались по земле или взлетали в ночное небо.

Сначала Джанни и Нелло наблюдали, как работают другие, а неделю спустя и они принесли сюда свои снаряды и свечи; и, привязав маленькую трапецию к косякам высокой двери дома, от которого остался один лишь фасад, они принялись работать, собирая вокруг себя восхищенных англичан.

Рядом с братьями упражнялся худой, длинноногий человек чахоточного вида, тренировавшийся в пролезании меж перекладинами стула. Этот развинченный ирландец, по прозвищу «Земляной Червь», загибал назад ноги, обхватывал ими, точно галстуком, шею и, превратившись таким образом в колесо, катился и раздавливал задом персиковую косточку. Вскоре братья узнали от него, что в Лондоне артистов нанимают не сами хозяева цирков, что монополия ангажементов для всего Соединенного Королевства находится в руках двух лиц: г-на Мейнарда, живущего на Йоркрод-Ламбет, и г-на Робертса, который живет на Комптон-стрит. Земляной Червь предупредил братьев, что эти господа имеют обыкновение удерживать при ангажементах пятнадцать процентов комиссионных с суммы контракта.

Однажды утром Джанни и Нелло явились к г-ну Робертсу; они поднялись к нему по лестнице, на ступенях которой растрепанные кормилицы с обнаженными грудями кормили младенцев, прислонившись головой к стене и покуривая длинные изогнутые трубки.

Братьям пришлось ждать очереди в своеобразной приемной: ее стены были увешаны деревянными некрашеными рамочками с фотографиями знаменитостей всех европейских цирков, манежей и кафешантанов.

От фотографий взоры братьев обращались к людям, выходящим из кабинета; сидевшие в ожидании подле братьев называли этих людей по именам. Тут был Гассан-Араб; тут был пашa Замзу в широкополой фетровой шляпе и в пальто цвета коринки — излюбленного цвета старых актеров; тут был Санди, в карманах которого еще лежали остатки золотых самородков, брошенных ему в Сан-Франциско и Мельбурне, Санди в куртке на тюленьем меху и в ярко-красном жилете; тут был щегольски

одетый Берингтон, в черном бархатном сюртуке с золотой цепочкой, протянутой от петлицы к боковому карману, и в сдвинутой на ухо тирольской шляпе с павлиньим пером; потом какие-то неизвестные, прячущие нижнюю часть лица в засаленные шерстяные кашне, и женщины, закутанные в кашемировые платки вроде тех, какими разносчики овощей накрывают свои тележки.

Наконец братья проникли в кабинет Робертса, маленького человечка со смуглой и *заскорузлой,* как у носорога, кожей и с золотыми кольцами в ушах.

Он прервал Джанни, заговорившего на скверном английском языке, после первых же двух-трех слов:

— Великолепно, мне как раз требуется пара хороших гимнастов для Спрингторпа в Гулле... Но я вас не знаю... где вы работали прежде?

Этого вопроса братья особенно опасались, и Джанни на мгновенье смешался, как вдруг из темного угла кабинета раздался голос, по которому братья узнали Земляного Червя:

— Я их знаю... Они только что из Цирка Императрицы.

— О, в таком случае вы подходите... Ангажемент будет на шесть вечеров, начиная с будущей субботы... вы получите пять фунтов.

XXIX

После шести вечеров в Гулле, где братья имели большой успех, они отправились *звездить* двенадцать ночей в Гриноке, в Шотландии, затем были ангажированы, все в качестве *звезд,*— по-английскому выражению,— в кафешантан в Плимут. А когда ангажемент в Плимуте окончился, они в течение полутора лет беспрерывно разъезжали по железным дорогам и на пароходах, давая представления почти во всех больших городах Соединенного Королевства. Настал, однако, день, когда их трюки на трапеции приобрели такую известность, что они уже могли отказываться от приглашений, связанных со слишком большими путевыми расходами. Джанни хотел, чтобы они жили только на свой заработок, и берег деньги, вырученные от продажи Маренготты; он старался сохранить их на непредвиденный случай, на случай одного из тех несчастий, которые не редкость в их профессии.

Эта жизнь, тяжелая и утомительная из-за постоянных переездов, имела определенный смысл: она позволяла братьям благодаря кратковременным, быстро сменявшимся гастролям, бла-

годаря пребыванию в разных труппах изучить работу почти всех комических гимнастов Англии. Выступая в качестве акробатов, братья могли усвоить особенности, своеобразие, гимнастическое *штукарство* каждого клоуна, возле которого им приходилось жить неделю или две,— словом, могли проникнуть в интимный, сокровенный *дух* искусства во всех его проявлениях у различных людей. И оба они,— втайне упражняясь, изобретая и разучивая маленькие потешные сценки,— стали теперь законченными клоунами, клоунами, в сундучках которых уже лежат припасенные костюмы, клоунами, вполне готовыми к выступлению на ринге, как только представится к этому подходящий случай.

XXX

Случай не заставил себя ждать. Однажды в Карлейле Ньюсом (директор труппы, в состав которой временно входили братья) повздорил с Френксом, знаменитым *печальным клоуном* Френксом, и тот покинул цирк вместе со своим партнером в самый разгар представления. Ньюсом оказался в весьма затруднительном положении, и Джанни предложил директору испробовать его и брата. Вскоре они появились на арене во главе ватаги клоунов, одетые в своеобразные кокетливые костюмы, и Нелло бросал в публику — право же, на весьма порядочном английском языке — традиционный клоунский возглас:

— Here we are again — all of a lump! How are you? [1]

Тотчас же начался ряд прелестных комических сценок, пересыпанных трюками и сопровождаемых странной музыкой,— ряд пластических этюдов, стремительных и неожиданных, сливавших воедино и тела и скрипки братьев. Изысканное своеобразие их юмора, изящество и грация в сочетании с силой, очарование юношеского телосложения Нелло и сама ребячливая и улыбчивая радость, с какой он дебютировал,— все это вызывало в зале взрывы неистовых аплодисментов.

XXXI

Английская клоунада в последнее время стала столь зловещей, что порой от нее пробегают по спине мурашки — ощущение, которое в минувшем веке называли *малой смертью*. Она совсем

[1] А вот и мы, опять пришли всей ватагой! Как поживаете? *(англ.)*

утратила черты саркастической иронии Пьеро с набеленным лицом, прищуренным глазом и усмешкой в уголке губ; она отбросила даже и обывательскую фантастику, и гофмановскую чудаковатость, в которые одно время были облечены ее выдумки. Она сделалась устрашающей. Все смятение, все мучительные тревоги, порожденные современной действительностью, драматизм, трагизм, скрытый под внешней серостью и бесцветностью, гнетущая угрюмость — все это английская клоунада восприняла, чтобы преподнести затем публике в акробатических трюках. В ней есть нечто пугающее зрителя, нечто пугающее, сплетенное из мелких жестоких наблюдений, из безжалостного подражания уродству, убожеству жизни, усиленному, преувеличенному *юмором* этих жутких карикатуристов; все это в цирковом спектакле выливается в фантастический кошмар и возбуждает в вас томительно-тревожное чувство, подобное тому, какое ощущаешь при чтении «Сердца-разоблачителя» американца По. Кажется, будто это какая-то дьявольская выдумка, освещенная злым и своеправным лучом лунного света. И с некоторого времени на английских цирковых аренах и в кафешантанах показываются лишь интермедии, в которых кувыркания и прыжки совершаются не для того, чтобы позабавить зрителя, а лишь с тем, чтобы страшными, болезненными телодвижениями зародить и тревожное изумление, и ужас, и почти мучительную растерянность; там к зловещим кулачным боям, к отвратительным сценам, к мрачным забавам примешиваются видения Бедлама, Ньюкастля, анатомического театра, каторги, морга. А какова обычная декорация для этих представлений? Стена, стена скудно освещенного предместья, стена, на которой еще видны несмытые следы преступления, стена, на гребне которой появляются ночные призраки в черных фраках; они спускаются вниз, сильно вытягивая ноги, и ноги становятся длинными-длинными... как те, что́ представляются в грезах восточным курильщикам опиума. Их чудные, развинченные тени отражаются на белизне стены, напоминающей саван, преображенный в экран для волшебного фонаря, и вот начинаются маниакальные трюки, идиотская жестикуляция, лихорадочная мимика сумасшедших домов.

А потертый черный фрак — новейшая ливрея английского клоуна — придает этому леденящему шутовству, как и всем прочим сценкам, нечто погребально-причудливое, некое мрачное зубоскальство шаловливых факельщиков.

XXXII

Акробатическая пантомима братьев нисколько не походила на пантомиму английских клоунов последнего времени. В пантомиме братьев звенел отголосок смеха итальянской комедии, к которому примешивался оттенок мечтательности, звучавшей в их скрипках. В их номерах было нечто наивное и умилительное, нечто утонченно-смешное, вызывавшее улыбку, и нечто чуть-чуть странное, погружавшее в мечту; мальчишеская грация Нелло придавала всему этому особое, невыразимое очарование. Кроме того, в их упражнениях была своеобразная фантастика, далекая от чего-либо *кладбищенского,* печального, мрачного,— фантастика привлекательная, кокетливая, остроумная, как страшная сказка, в которой то там, то сям проскальзывает насмешка над доверчивым читателем. И притом постоянные неожиданности, причуды воображения,— и в стройном теле Нелло мало-помалу словно пробуждалась фантастическая жизнь.

Наконец,— неизвестно как и почему,— пластический этюд братьев вызывал в памяти зрителей образ некоего насмешливого создания, окутанного светотенью, своеобразную шекспировскую грезу из «Сна в летнюю ночь», поэзию которой братья претворяли в своей акробатике.

XXXIII

Ньюсом пригласил их на жалованье в десять фунтов стерлингов в неделю. Вступив в состав труппы, братья завязали дружеские отношения со всеми артистами и артистками. Мужчины были хорошими товарищами, хоть и с легким налетом британской спеси. Женщины,— всё женщины порядочные, все — матери семейства,— были *кротки, как овечки;* только изредка, под влиянием *джина* или северо-западного ветра, соперницы затевали кулачный бой. И это была не потасовка француженок, где больше брани и разодранных чепцов, чем побоев,— это были настоящие боксерские схватки, после которых побитой приходилось иной раз недели две пролежать в постели.

Странствуя по Соединенному Королевству, братья, в сущности, почти вернулись к кочевой жизни, которую вели во Франции, но в лучших условиях и в стране, население которой проявляет к гимнастике гораздо больше интереса. В Англии, где прибытие цирка становится в маленьких городках целым событием и где уличное шествие комедиантов, лошадей, разных

диковинок, клеток с хищными зверями влечет за собою закрытие лавочек, как в праздничный день,— остроумная клоунада Джанни и Нелло прекрасно принималась и начинала влиять на сборы. Чтобы привлечь к себе братьев, Ньюсом время от времени давал в их пользу одно из тех представлений, билеты на которые бенефицианты распространяют сами,— и это приносило им фунтов пять-шесть доходу. Имя двух клоунов, боевое имя, которое они приняли там, стало модным и теперь сияло на афишах, отпечатанное самой яркой пурпурной краской, какая только имелась в Британском Королевстве.

XXXIV

Несмотря на благосклонный прием, который им оказывали, и на лестную молву, поднявшуюся вокруг их имени, в Нелло заговорил француз; Англия стала ему надоедать. Его латинский темперамент, рожденный солнечными странами, начинал тяготиться туманом Великобритании, ее серым небом, ее закопченными домами, воздухом, насыщенным угольной пылью, которая пачкает решительно все, так что можно с первого же взгляда отличить серебряную монету, пролежавшую некоторое время — пусть даже в коллекции нумизмата — в этой печальной и мрачной стране угля. Он устал от всего английского: от отопления, от кухни, от напитков, от воскресных дней, от мужчин и женщин. Вдобавок Нелло, хоть и не чувствовал себя больным, все же стал покашливать, и этот легкий кашель, не вызывавший, впрочем, никаких опасений, пробуждал у Джанни тревожное воспоминание — воспоминание о том, что мать их умерла от чахотки.

С первого взгляда Нелло не был похож на Степаниду, и тем не менее он казался вылитым ее портретом. В телосложении младшего сына было много общего с нею, и сквозь мужественность юноши проступало что-то напоминавшее женственность его матери. Чертами же лица Нелло совсем не был похож на нее: у него была белая кожа, умные черные глаза, цветущий маленький рот, белокурые, как пенька, усы, нежное улыбчивое и чуть насмешливое выражение лица, и все же — странное дело — он напоминал мать то утонченностью какой-нибудь черты, то контуром, то каким-то особенным взглядом, улыбкой, презрительной гримасой — словом, тысячью пустяков, в которых иногда,— при известных поворотах головы, при определенном освещении,— Степанида возрождалась в сыне даже полнее, чем

если бы он был точным ее повторением. И теперь, в долгие часы, которые братья проводили в поездах, среди товарищей, говорящих на другом языке, под влиянием воспоминаний, навеянных томительной бесконечностью пути, Джанни порою всматривался в Нелло, чтобы на несколько мгновений вызвать иллюзию, будто он вновь обретает, вновь видит свою мать.

Однажды, когда вся труппа Ньюсома ехала из Дорчестера в Ньюкастль, Джанни сидел в вагоне против Нелло, а тот спал с полуоткрытым ртом, запрокинув голову, и время от времени покашливал во сне. Наступал вечер, и в спускавшихся сумерках глазные впадины Нелло наполнялись тенями, тени окутывали его исхудавшее лицо; в ноздри, в отверстие рта вливалась ночь. И тут Джанни, взглянувшему на брата, почудилась,— будто мгновенное видение,— голова их матери, лежащая на подушке в Маренготте.

Джанни порывисто разбудил Нелло:

— Ты болен?

— Да нет,— молвил Нелло, зябко поеживаясь.— Да нет же!

— Право, ты болен! Послушай, братец... а ведь мне действительно не везет... Почти два года я потратил зря на *подтягивание на одних кистях рук.* Брэди, учителю гимнастики в Нью-Йорке, никогда не удавалось сделать больше семи подъемов,— я же, сам знаешь, делаю их девять,— но я не представляю себе твою роль в этом номере... то же самое и в трюке, когда висишь в воздухе с распростертыми руками, который удается только кубинцам. И вот в последнее время мне казалось, что я, наконец, изобрел одну *штуку,* настоящую *штуку...* но в последнюю минуту,— вот поди ж ты! — то, чего я добивался... уже стало казаться мне невозможным, невыполнимым... Ты сейчас поймешь... мне так хотелось бы внести в номера, которые мы исполняем теперь, какой-нибудь трюк... на этот раз уж настоящий, из ряда вон выходящий трюк... Хорошо бы — правда? — появиться с таким номером в парижском цирке?

— А почему бы не подождать?

— Почему?.. Да потому что ты скучаешь, потому что ты кашляешь... а я не желаю, чтобы ты кашлял!.. Да, мы скоро удерем отсюда... Наш дебют там,— ничего не поделаешь,— будет не столь блистательным... но в один прекрасный день — и, черт возьми, настанет же когда-нибудь этот день! — мы наверстаем упущенное. Дай мне еще месяц, полтора сроку — вот все, что я у тебя прошу.

XXXV

Приглашение Ньюсомом француза-фокусника несколько рассеяло скуку, которую испытывал Нелло в Англии. Это был юноша с отменно-изысканными манерами; о нем ходили странные слухи: говорили, что он не сможет уже никогда вернуться во Францию, что, происходя из знатной семьи, он пустился в шулерство, чтобы добыть деньги для безумно любимой женщины. Между этими двумя изгнанниками из Франции завязалась дружба, дружба меланхолическая, но нежная, которую разделяла теперешняя подруга опозоренного аристократа — бедная голубка, роль которой в цирке состояла в том, что фокусник ежедневно запрятывал ее в рукава и карманы: от этих манипуляций и от постоянного пребывания в темных карманах она утратила свое кокетливое, суетливое изящество и, вечно неподвижная, уже не ворковала, не шелестела крыльями и казалась грустной деревянной птицей.

Но когда, с наступлением лета, здоровье Нелло как будто окончательно поправилось и когда он уже почти совсем примирился с жизнью в Англии, директор-распорядитель Двух Цирков в Париже, совершавший ежегодную поездку по Англии с целью завербовать новые, незнакомые еще Франции таланты, увидел в Манчестере *работу* братьев и пригласил их к открытию сезона Зимнего Цирка, которое было назначено на конец октября.

XXXVI

Братья сидели в кабинете директора Двух Цирков, на улице Брюссоль, в большой низкой комнате, с необъятным столом, накрытым зеленой скатертью, со старомодными креслами красного дерева времен Первой империи,— в комнате, оклеенной унылыми обоями, к которым вперемежку с нарядными, яркими хромолитографиями Шере были пришпилены старые афиши о первых исполнениях номеров, ставших впоследствии знаменитыми.

Директор читал братьям договор, который им предстояло подписать:

«Мы, нижеподписавшиеся... заключаем настоящий контракт в следующем:

1. Гг. Джанни и Нелло вступают в труппу общества Двух Цирков в качестве клоунов, где они будут использованы в соответствии со способностями, которые признает за ними директор-

распорядитель, и так, как он найдет нужным, не только в представлениях Двух Цирков в Париже, но и в гастролях, которые могут быть организованы как во Франции, так и за границей, в любых залах, садах, общественных и частных помещениях и т. д., которые будут им предоставлены для этой цели, и каковы бы эти помещения ни были, а также невзирая на количество представлений, которое будет дано за день.

2. Исходя из этого, гг. Джанни и Нелло обязуются следовать с труппой в целом или с частью ее, куда бы и по какому бы маршруту директор-распорядитель ни отправил ее в пределах Франции или за границей, а также обязуются, если директор-распорядитель того потребует, разъезжать вдвоем по его указанию, не требуя за то ни повышения жалованья, ни возмещения каких-либо убытков, кроме расходов на разъезды, каковые должны совершаться по маршруту и с помощью тех средств передвижения, какие будут указаны директором-распорядителем.

3. Гг. Джанни и Нелло обязуются с полным вниманием относиться ко всем мелочам обслуживания цирка и, согласно установившемуся в конных труппах обычаю, убирать манеж и приготовлять к представлению дорожку, а также надевать ливрейные униформы, каковые будут им выданы для участия в обслуживании манежа во время представления.

4. Гг. Джанни и Нелло обязуются, кроме перечисленного выше, ежедневно давать один *номер*.

5. Гг. Джанни и Нелло обязаны являться на репетиции в установленное место и время всякий раз, когда им об этом будет сообщено, будь то устно или посредством расписания, устанавливающего программу и порядок ежедневных упражнений. Они обязуются также являться в цирк, по крайней мере, за полчаса до начала представления, не исключая и тех случаев, когда они не будут заняты в программе, и, наконец, работать в качестве заменяющих или сверх программы всякий раз, когда это от них потребуется.

6. Директор-распорядитель оставляет за собой право единолично руководить работой гг. Джанни и Нелло и производить в ней все изменения, добавления и изъятия, какие сочтет уместными.

7. Гг. Джанни и Нелло не имеют права выступать нигде,— ни в общественных местах, ни частным образом,— кроме того помещения, где будет давать представления труппа Двух Цирков,— под страхом уплаты штрафа в размере месячного жалованья за каждое нарушение этого пункта.

8. Гг. Джанни и Нелло подтверждают, что им известен распорядок Двух Цирков и обязуются подчиняться всем установленным правилам, а также считать законными все взыскания, которые могут быть на них наложены на основании означенных правил.

9. В случае закрытия цирка или временного прекращения его работы по не зависящим от дирекции обстоятельствам, как-то: пожар, общественное бедствие, беспорядки, распоряжение властей и по всякой другой причине, как предвиденной, так и непредвиденной, независимо от того, в какой стране будет находиться в то время труппа или часть ее, и даже если представления будут прекращены хотя бы на один день,— начисление жалованья гг. Джанни и Нелло приостанавливается со дня прекращения спектаклей. Однако, если перерыв в работе цирка продлится долее одного месяца, гг. Джанни и Нелло имеют право отказаться от настоящего контракта и расторгнуть его, уведомив о том директора-распорядителя.

10. Все костюмы, необходимые для появления на арене, будут выдаваться дирекцией Двух Цирков. Какие бы то ни было изменения в костюмах не допускаются.

11. Настоящий контракт заключен сроком на один год, но за директором-распорядителем сохраняется право расторгнуть его по истечении шести месяцев.

12. Директор-распорядитель обязуется уплачивать гг. Джанни и Нелло две тысячи четыреста франков в год.

Выплата жалованья будет производиться два раза в месяц.

Директор-распорядитель ни в какой мере не несет ответственности за несчастные случаи, которые могут иметь место во время выступлений гг. Джанни и Нелло».

В то время как братья собирались поставить свои подписи под *учинено в двух экземплярах,* директор обратился к Джанни:

— И вы по-прежнему настаиваете на том, чтобы зваться на афишах клоунами Джанни и Нелло?

— Да, сударь,— решительно ответил Джанни.

— Но ведь это — позвольте заметить — нелепо... в то время как те, кто в действительности вовсе и не братья, считают выгодным убедить публику в том, что они родственники,— вы, настоящие братья...

— Когда-нибудь... мы тоже объявим в афишах о нашем родстве... но этот день еще не настал... я...

— Не понимаю! — Но видя, что Джанни молчит, директор

добавил: — В конце концов — дело ваше; однако, повторяю, вы не правы, отнюдь не правы... это не в ваших интересах.

И директор, взяв на себя обязанности проводника, повел братьев через двор, соединяющий контору на улице Крюссоль с Зимним Цирком — через артистический вход. Они заглядывали на склады, заваленные грудами гигантской бутафории, где на потолке неимоверной высоты болтались диковинные вещи вроде матушек Жигоней в розовых шелковых юбках, под которыми могло бы укрыться десятка два ребятишек. Через приотворенную дверь они увидели двух мальчиков и девочку в халатах, накинутых поверх гимнастических трико; дети держали равновесие на шарах, в то время как царственный тигр, могучий и злой, возбужденный близостью их тел и беспрестанным перекатыванием шаров, то и дело вздымался во весь рост, опирался на перекладины клетки и испускал вздохи, свистящие, как струя пара. Они прошли через темные конюшни, мимо лошадей, переступавших во сне с ноги на ногу, и оказались в цирке, погруженном среди бела дня в мутный сумрак, который свойствен всем помещениям, рассчитанным лишь на искусственное освещение. На пустой арене пять-шесть мужчин в фуражках и вязаных фуфайках, облитые светом, сочетавшим в себе и тусклый отблеск солнечного луча, отраженного в воде, и холодную синеву ледниковой расселины, репетировали пантомиму — пантомиму, принимавшую странный оттенок от пошлой обыденности актеров, от их смеха, не встречающего отзвука среди призрачного полумрака большой пустынной залы.

XXXVII

Дебют братьев, не сопровождавшийся ни анонсами, ни рекламой, ни обычной или сверхобычной шумихой прессы, ничем, что подстегивает интерес Парижа к рождающемуся таланту, прошел незамеченным. Сначала их даже не отличали от остальных клоунов цирка. Однако с течением времени ловкость, которой были отмечены их упражнения, изящество, изысканность и очарование трюков, исполняемых Нелло, тонкость и неожиданность его комизма, наконец привнесенная братьями в этот жанр оригинальность, которую, однако, публика пока еще не вполне сознавала, привлекли к ним внимание, но все же им еще не удалось добиться того, чтобы парижане запомнили их имена. О Джанни и Нелло говорили: «Знаете, те двое... с итальянскими именами». Они пользовались некоей анонимной известностью,—

вот и все. А между тем они являлись и авторами и исполнителями маленьких гимнастических поэм, задуманных совершенно по-новому. Вот либретто одной из таких фантазий, о которых цирк еще хранит воспоминание.

XXXVIII

В цирке, где приспущен газ и царит сумрак, на земле лежал спящий Джанни, в то время как из синеватой дымки выступал Нелло, изображавший в этой поэтической интермедии одного из тех злых духов, одного из тех коварных кобольдов, что живут в стране озер и гор. Он был одет в дымчатые, сумрачные тона, отливавшие темным блеском металлов, схороненных в недрах земли, блеском черного перламутра, дремлющего в глубинах океана, блеском, дрожащим под мрачным небом на крыльях ночной бабочки.

Кобольд быстрой, легкой поступью бесшумно подходил к спящему и принимался как бы порхать вокруг него, над ним, слегка раскачиваясь, касаясь и окутывая его своей темной витающей тенью,— словно дурной Сон, который вышел из *Черных врат* и реет над спящим. Джанни беспокойно метался, ворочался под гнетом этого наваждения, а дух продолжал его мучить, касался дыханием его шеи, щекотал ему лицо траурным крепом крылышек, которые росли у него на лодыжках и локтях, и, став на руки в самой причудливой позе, слегка давил его тяжестью своего тела: это было как бы вещественное воплощение Кошмара.

Джанни просыпался, обращал к кулисам вопрошающий взор, но кобольд уже успевал спрятаться за пень, к которому прислонилась голова спящего.

Джанни засыпал снова, и тотчас же вновь показывался кривляющийся дух; он одним прыжком взбирался на пень, отвязывал смычок и скрипку, прикрепленные к его платью, и время от времени извлекал несколько нестройных звуков; он склонялся над лицом спящего и с несказанным удовольствием, со злым дьявольским смешком наблюдал за тем, как судорожно извивается его тело. Потом внезапно это превращалось в кошачий концерт, в шабаш вроде тех, что устраивает зимой в морозную ночь дюжина котов, которые мяукают и дерутся из-за кошки, усевшейся на бочку с вышибленным дном.

Но вот Джанни уже пустился за скрипачом, и на арене развертывается увлекательная погоня, во время которой уверт-

ливый и хитрый дух дразнит Джанни, а тот пытается его схватить; дух прибегает ко всем уловкам и хитростям, то прыгает назад через его голову, то скользит между его ногами. Когда начинало казаться, что вот-вот Джанни его наконец поймает, кобольд исчезал, катясь колесом, и видно было лишь мелькание его белых подметок. Джанни и публика пытались отыскать его, а он оказывался уже под самым куполом, куда забрался, проскользнув с невероятной быстротой мимо зрителей, и где восседал в насмешливой неподвижности.

Джанни снова пускался вдогонку за духом. Теперь погоня, только что происходившая на земле, возобновлялась в воздухе. Приводилась в движение целая система трапеций, идущая от края до края цирка и соединенная на поворотах слабо натянутыми канатами. Кобольд выпускал из рук первую трапецию, бросался в пустоту, медленно, лениво и блаженно раскидываясь в ней своим сумеречным телом. Свет люстр, под которыми он пролетал, зажигал на мгновенье на его теле пурпурные и желтоватые блики, а он, закончив воздушный полет и грациозно вскинув руки, достигал второй трапеции. Джанни гнался за ним, а кобольд, не раз облетев вокруг арены, останавливался на секунду, когда у него был некоторый запас пространства, и, примостившись на одной из трапеций, извлекал из своей скрипки насмешливые звуки. Наконец Джанни его настигал, и тут оба они, выпустив трапецию, бросались, обнявшись, вниз в *глубинный прыжок* — прыжок, на который до них еще никто не отваживался.

На песке арены между Джанни и кобольдом завязывалась рукопашная и показные усилия, которые они прилагали, чтобы ускользнуть от обхватов и повалить друг друга, превращались в извивы изящно сплетенных тел; в этой схватке кобольд с необыкновенной грацией показывал игру переливающихся мышц, ту самую, что́ живописцы стремятся передать в своих картинах, когда изображают борьбу сверхъестественных существ с людьми.

Кобольд был окончательно повержен и лежал в недоумении, в том состоянии униженности, которое делает побежденного рабом победителя. Теперь, наоборот, Джанни доставал скрипку и извлекал из нее чарующие, нежные и сладкие звуки, в которых струилась доброта, царящая в человеческой душе в часы милосердия и всепрощения. И по мере того как он играл, кобольд постепенно приподнимался и тянулся к скрипке и все его существо дышало восторгом.

Вдруг кобольд вскакивал, и тело его, словно под действием

заклинания, которое с неистовой силой изгоняет адского духа из одержимого, начинало извиваться, изгибаться, корчиться, но в этом не было ничего уродливого и отталкивающего. Оно вздувалось, потом оседало до страшных, недоступных человеческой анатомии пределов. На неподвижном теле западали ребра, странно выступали лопатки; позвоночник, словно переместившись со спины на грудь, выпячивался, как у цапли с неведомой планеты, и по всему телу кобольда пробегала как бы внезапная игра мускулов, которой порою полнится дряблая оболочка змей. Это воспринималось как бескрылый полет, как пресмыкание проклятой сказочной твари; гад, изгнанный из нутра кобольда, выходил вон и удалялся; стройное тело юноши, расколдованное и освобожденное, показывало в стремительной смене пластических поз гармонию и торжество прекрасных движений и прекрасных человеческих жестов, напоминающих античные статуи.

Вновь вспыхнувший газ возвещал публике, что ночным видениям и мятежным снам настал конец и что вернулся день. А кобольд снова брался за скрипку, с которой сошло злое наваждение, и вместе с Джанни принимался наигрывать мелодию, которая казалась шелестящей симфонией свежего летнего утра, походила на тихую болтовню цветов среди певучих ключей, пробивающихся сквозь старые корневища деревьев, на болтовню цветов с солнечным лучом, пьющим росу с их влажных уст.

XXXIX

Сыновья Томазо Бескапе и Степаниды Рудак были французами, настоящими французами. У них был французский темперамент, склад ума и даже патриотизм. От иностранного происхождения, от цыганских предков в них сохранилась только одна особенность, и ее любопытно отметить. У цивилизованных народов поэтическое воображение — этот дар и способность к нежной мечтательности, этот текучий, почти неуловимый фермент смутных зачатков литературы — можно встретить лишь в верхах общества; оно является, за редким исключением, уделом и особой привилегией высших, образованных классов. Братья же, как ни были они невежественны, кое-что унаследовали от мечтательности, задумчивости и, я сказал бы, поэтичной природы низших слоев народностей, пребывающих еще в диком, некультурном состоянии в той самой Европе, которая теперь так богата школьными учителями; и часто у этих двух простолюдинов бывали те лирические порывы, которые даже самый жалкий

и темный цыган умеет превращать в мелодии; их поет его скрипка вершинам деревьев, звездам, серебристому утру, золотому полдню.

Оба одинаково чуткие к магическому языку природы, которая днем и ночью беззвучно беседует с утонченными существами, с избранными душами, они все же были совершенно разные.

Старший брат был склонен к рефлексии и мечтательности, и напряженная деятельность его ума была всецело направлена — в соответствии с его профессией, связанной с физической ловкостью и силой,— на построение гимнастических фигур, почти всегда невыполнимых, на сочинительство клоунад-фантазий, неподдающихся воплощению, на создание своего рода чудес, осуществление которых возлагалось на мускулы и нервы. Даже в повседневную технику того, что он исполнял, Джанни вносил значительную долю рефлексии и умственного напряжения; и его излюбленная аксиома гласила, что для отработки трюка требуется некоторое раздумье.

Младший, оставшийся счастливым невеждой, все первоначальное образование которого ограничилось многословными, беспорядочными беседами отца во время долгих переездов с места на место,— более ленивый умом, чем Джанни, и еще больше витавший в облаках (словом, еще более цыган и, следовательно, еще более поэт), жил в мире мечты — сладостной, улыбающейся, так сказать, чувственной, которая внезапно порождала насмешливые выдумки, взрывы нежной веселости, безрассудные шалости. И благодаря этим качествам Нелло становился изобретателем оригинальных деталей, которыми он украшал, *расцвечивал* затеи брата, если только те вообще были *выполнимы*.

XL

У братьев быстро завязались дружеские, теплые, вполне товарищеские отношения с гимнастами и наездниками цирка. Смертельная опасность, сопряженная с этой профессией, заглушает зависть, обычную среди персонала других театров, особенно оперных; эта ежечасная опасность разбиться насмерть объединяет всех подверженных ей артистов в своего рода воинское братство, как солдат, идущих локоть к локтю в атаку. Надо сказать также, что зависть и злобные инстинкты, которые могли сохраниться у некоторых из них от бродячей жизни, от былой нищеты, смягчились благодаря довольству, уважению, даже

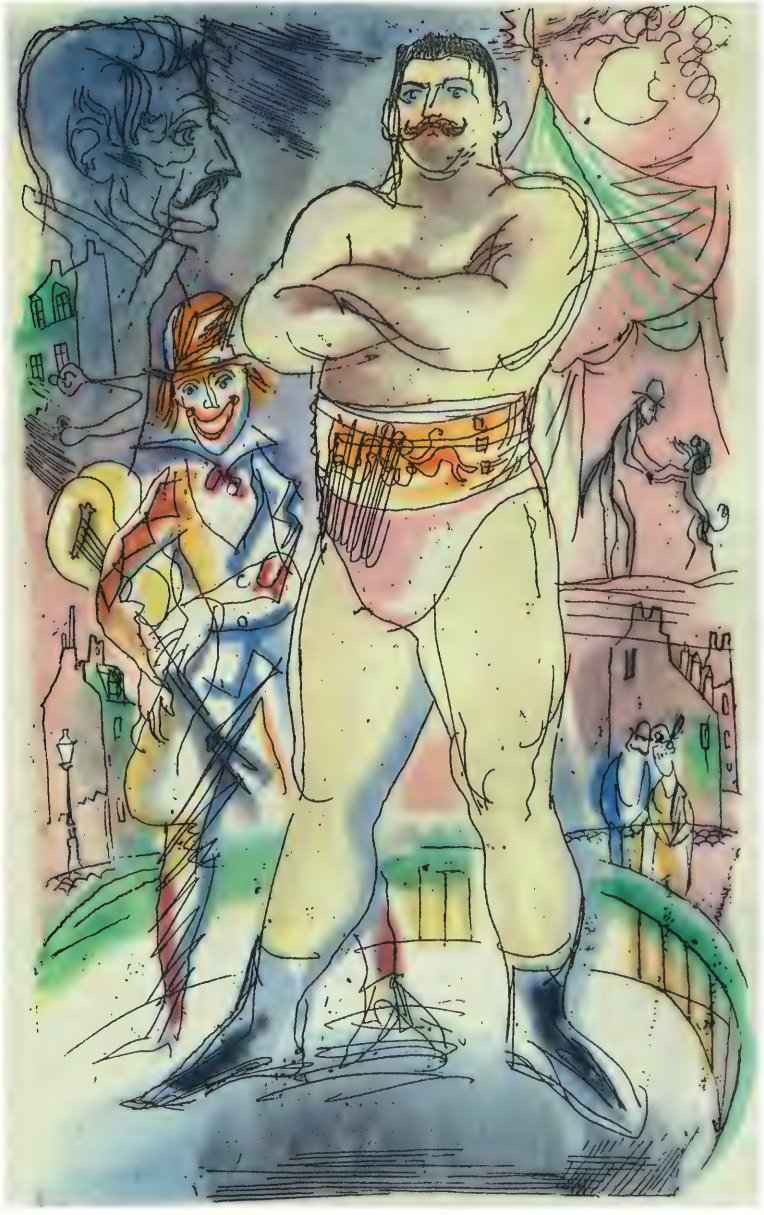
какой-то славе, сопутствующей их теперешнему существованию.

Впрочем, братья и не могли не понравиться труппе. Старший был чистосердечный и преданный товарищ; серьезное, несколько грустное лицо его часто освещалось доброй, ласковой улыбкой. А младший — тот сразу покорил всех своей общительностью, задором, своей мальчишеской шаловливостью, даже некоторой задирчивостью,— ибо он умел придать ей оттенок ласки,— подвижностью, суетой, шумом, которыми он оживлял иные скучные, томительные дни, неуловимым очарованием красивого, забавного и резвого существа, живущего среди озабоченных людей, той вызывающей улыбку прелестью, которою от него веяло с самого детства.

XLI

Братья так страстно любили свое ремесло, что с удовольствием проводили вечера в цирке, особенно в Летнем. Им хорошо было в обширной конюшне с дубовой обшивкой, с ажурными железными деталями, со стойлами, которые были украшены медными еловыми шишками; им нравилось это легкое металлическое строение, залитое газовым светом золоченых люстр и отражавшееся в двух высоких стенных зеркалах, где оно словно уходило в бесконечность; им хорошо было в конюшне, наполненной звоном уздечек шестидесяти лошадей, которые, стоя под клетчатыми, коричневыми и желтыми попонами, первно перебирали ногами и горделиво поблескивали глазами, метавшими молнии. Даже нагроможденные по углам привычные и милые предметы: большие выкрашенные в белое лестницы, снаряды в виде буквы X для канатоходцев, знамена, вымпелы, украшенные плоской бумагой, обручи, красная тележка, служившая четвероногим для хождения на двух ногах, сани в виде кузнечика, все бесконечные, разнообразные аксессуары, видневшиеся за полупритворенными дверьми кладовых,— то скрытые во мраке, то блистающие, как в калейдоскопе,— все это тешило их взоры; им приятно было каждый вечер снова видеть эти вещи, а также и большую каменную колоду, куда мерно, капля за каплей стекала вода, и подвешенные над дверью часы, в деревянном футляре которых мирно дремали стрелки.

К тому же здесь, среди конского топота и ржания, братья ощущали воодушевление, суету, бьющую через край жизнь театральных кулис. Здесь, возле черной рамочки без стекла, содержащей листок почтовой бумаги с программой представления,



Братья Земганно

gentleman rider [1], со стеком за спиной, облокотясь на ограду конюшни, разговаривал по-английски с группой женщин, кутающих плечи и шеи в голубые шелковые шали. Поодаль играли две резвые девочки с развевающимися кудрями, перехваченными на макушке вишневыми ленточками; халатики на них, похожие на еврейские одеяния, распахиваясь, обнаруживали трико. Рядом мужчина в красном жилете подмалевывал копыта лошади. В глубине пять-шесть клоунов, важных как покойники, собрались в круг и забавлялись тем, что, расклапиваясь, сухим и четким движением перебрасывали друг дружке на голову черную шляпу, которая, побывав на каждой голове по секунде, обходила, таким образом, весь круг травяных париков. Поодаль старушка, современница Франкони-отца, ежедневно наносившая визит лошадям, разговаривала с ними и гладила их пергаментной рукой, а возле нее крошечный пятилетний гимнаст ел брошенный ему кем-то апельсин. В нише внутреннего коридора наездница, только что кончившая *работу,* куталась в шотландское манто и всовывала белые атласные башмачки в турецкие туфли, а в другой нише наездник-комик в рыжем парике, с пупцовым носом, стоял среди молодых жокеев в отложных воротничках, с завитыми и расчесанными на пробор волосами и болтал по-немецки с худощавыми конюхами, лица которых казались вырезанными из самшита, а глаза были бесцветны, как вода. Наконец около главного выхода на арену, по сю сторону занавеса, сквозь который время от времени доносился шум аплодисментов, на оседланных собак усаживали обезьянок в привязанных к ушам жандармских треуголках.

И среди этих быстро сменявшихся картин, в этом царстве пестрой, позолоченной мишуры и размалеванных лиц, среди этого беспрестанного движения людей развертывалась очаровательная и причудливая игра света: то на сборчатой куртке эквилибриста вдруг заструится поток блесток и превратит ее в волшебную ткань, то чья-то нога в шелковом трико предстанет пред вами со всеми своими впадинами и выступами, в странных белых и лиловато-розовых переливах, играющих, как на розе, пронизанной солнцем. Залитому светом лицу клоуна белизна муки придает неожиданную четкость, правильность и чеканность каменного изваяния.

И помнишь,— разбивая группы, прерывая беседу, подготовку к трюкам, разговоры о любви или лошадях,— стреми-

[1] Наездник-любитель *(англ.).*

тельно выбегают на арену или возвращаются оттуда лошади с развевающимися гривами. И безостановочно, беспрерывно, по коридору, где толпится персонал цирка, по этому *жерлу,* которое выбрасывает и разливает по арене все содержимое подвалов и складов клоунского и конного цирка, взад и вперед проносят всевозможные снаряды, бутафорию для пантомим, огромные свернутые декорации, изображающие скованную льдом поверхность озера, телеги, колесницы, клетки с хищниками, бегут клоуны, скачут под гром рукоплесканий наездницы, шествуют вразвалку неуклюжие медведи, пробегают испуганные олени, безобразные ослы, семейство пуделей, виляющих хвостами, парочки молодых игривых слонят, подпрыгивающие кенгуру, ватаги четвероруких кривляк — все звериное царство, привлеченное к участию в игре человеческой ловкости.

XLII

Здесь, в конюшне цирка, за кулисами, Нелло испытывал странные ощущения.

Когда он, бывало, покрыв лицо белилами, превратит его в лик статуи, на котором живыми останутся лишь глаза с веками, покрасневшими словно от мороза; когда, бывало, наденет на голову конусообразный парик, а на плечи — им самим придуманный костюм, на мягкий шелк которого по его указанию нашиты зловещие силуэты огромного паука, золотоглазой совы, целой стаи лысых ночных мышей и прочих тварей из царства мрака и снов, приобретающих на шелку обманчивую рельефность, когда большое зеркало конюшни покажет юноше его ночного двойника,— тогда новая жизнь, жизнь, отличная от дневной, жизнь причудливая начинала пульсировать во всем его существе. О, не то чтоб клоун ощущал некую метаморфозу, некое перевоплощение в человека-статую каких-то подлунных царств, в одежды которого он облекся,— нет! — но все же в душе Нелло происходили не совсем обычные явления. Так, обсыпанный мукою и окутанный чудовищами, клоун внезапно становился серьезным, и серьезность эта даже его комическим выходкам придавала оттенок мечтательности, словно веселость его была внезапно прервана, нарушена чем-то неведомым. Голос его становился несколько иным, чем в обыденной жизни; он чуточку окрашивался тем суровым оттенком, что звучит в голосе взволнованного и торжественно говорящего человека. Наконец движения Нелло, помимо его воли, становились какими-то стран-

ными; и даже когда он находился не на арене и делал что-нибудь самое обыкновенное, он чувствовал, что тело его причудливо извивается. Больше того: когда он оставался наедине с самим собою, у него вырывались жесты лунатика или ясновидящего, жесты, которые физиологи называют *символическими движениями,* и в этих движениях он был не вполне волен. Он ловил себя на том, что подолгу забавлялся пляской крючковатых китайских теней, которые отбрасывались его согнутыми пальцами на стену пустынного коридора, освещенного одиноким газовым рожком. И все это делалось им без определенной цели, ради собственного удовольствия и так, будто тело его повинуется странным магнетическим токам и сокровенным силам природы.

Понемногу его охватывало смутное восторженное состояние, реальность окружающего слегка стиралась, засыпали дневные думы, голова пустела, словно из нее вычерпали одну за другой все мысли, и он становился всего-навсего белым отражением в зеркалах; глаза клоуна смотрели на чудовищ, облепивших его наряд, а в ушах еще слышался шепот дьявольской скрипки.

И в этом необъяснимом состоянии, полном мимолетных и разнородных ощущений, Нелло находил бесконечную прелесть; рядом с братом, по обыкновению опустившим голову и беспрестанно ковыряющим землю кончиком палки, он, Нелло, стоял неподвижно, словно в экстазе, скрестив руки и прислонив голову к стене; черты его расплывались, бледная улыбка Пьеро застывала на белом лице, и он словно просил не нарушать сладостные, веселые и странные чары его циркового бытия.

XLIII

— Нет, так не годится... подожди... вот... ты стань здесь, я тебя подброшу пинком в зад... представляешь себе, какой получится эффект? Выйдет чудесно!

Тут клоун глубоко задумался; он сосредоточенно искал оригинальную развязку нового номера, который собирался разыграть со своим партнером; оба сидели молча, погрузившись в свои мысли, которые они то и дело как бы стряхивали, неистово почесывая головы, склоненные над пустой пивной кружкой.

Они сидели в маленьком кафе, где обычно по выходе из цирка собирались артисты: в заурядном кафе с белыми стенами,

со скудной позолотой, с узкими зеркалами, типичными для кафе бульвара Тампль. В оконной нише красовались горчичницы, банки с сардинами, горшочек с мясным паштетом, сливочный сыр, сыр грюйер, рокфор, а над всем этим на полочке — вазы для пунша и груда лимонов. В глубине залы взад и вперед расхаживал маленький, совсем юный метрдотель в гранатовой бархатной куртке, в большом синем фартуке, за который была заткнута салфетка, спадающая на спину белой пеленой.

Вскоре, распахивая двери, стали один за другим входить клоуны в городском платье; они шли медленным скользящим шагом, выбрасывая вперед вместе с ногой то правую, то левую часть туловища и размахивая растопыренными руками. Нелло — легкий, воздушный, шаловливый — замыкал шествие; он поднимал ноги до уровня глаз, потом прихлопывал их вниз повелительным движением вытянутой руки.

Два английских клоуна поднялись по лесенке в бильярдную; двое других, к которым подсели Нелло и Джанни, потребовали домино.

Старый клоун неопределенной национальности, долговязый, сухой, костлявый, собрал со столов все газеты и уселся в глубине, вдали от остальных.

Англичане начали партию в домино, и лишь назойливое постукивание костяшек о мрамор нарушало воцарившуюся тишину: ни единого слова, ни единой шутки, ни единого смешка, ничего, что внесло бы в игру оживление, свойственное играм,— казалось, партию разыгрывают бесстрастные мимисты.

Джанни следил за кольцами дыма; они, ширясь, поднимались от его трубки к потолку, а Нелло стал, смеха ради, подсказывать одному из игроков, надеясь подвести его под проигрыш, но тот отстранил его дружеским тумаком, и Нелло принялся курить, просматривая «Иллюстрацию».

Между соседними столиками, где разместился знакомый между собой люд — клоуны, наездники, *воздушные и партерные акробаты,*— разговор не завязывался, даже по углам не видно было беседующих.

Все эти люди, гимнасты и в особенности клоуны, потешающие публику уморительными выходками, склонны к грусти, которая свойственна всем комическим актерам, а клоуны, будь то французы или англичане, даже молчаливее актеров. Усталость ли от упражнений, повседневная ли смертельная опасность, под угрозой которой они живут, делает их такими печаль-

ными и молчаливыми? Нет, тут причина иная. Когда они выходят из лихорадочного состояния, сопутствующего их работе, когда они отдыхают, когда думают, ими владеет неотступное опасение, их страшит мысль, что силу и ловкость, которые кормят их, может внезапно подорвать болезнь, какой-нибудь ревматизм, какой-нибудь пустячный изъян в механизме тела. Кроме того, они часто думают,— это их навязчивая идея,— что молодости их мускулов и связок настанет конец и что еще задолго до смерти состарившееся тело откажется работать в цирке. Наконец, среди них имеется немало *надломленных* — таких, которые за время своей деятельности два-три раза срывались, а иное из этих падений приковало их к постели, быть может, на целый год; эти, хоть с виду и вполне выздоровевшие, остаются, по их же собственному выражению, *надломленными*, и для выполнения трюков им теперь приходится делать усилия, которые изнуряют их и делают их такими грустными.

В это время в кафе вошел клоун, приглашенный в один из бульварных театров на роль *обезьяны* в феерической пьесе; он стал вынимать из карманов розовые фунтики и раздавать их товарищам, объявив при этом со счастливым и немного гордым видом, что утром присутствовал на крестинах в качестве восприемника. Потом он подошел к Джанни и спросил:

— Ну, как успехи?

— Успехи? Да ни с места,— отвечал Джанни,— *горизонтальное подвешивание грудью вперед* все в том же положении... Делать это упражнение в обратном направлении — сущий пустяк: тут для поддержки рук образуется валик из этих вот двух мускулов... в то время как, если проделать это лицом вперед, нет ничего, дорогой мой, решительно ничего, кроме пустоты, что могло бы поддержать руку... Вот уже несколько месяцев, как я бьюсь над этим... и меня берет страх при мысли, как много времени еще потребуется, чтобы добиться успеха... Сколько в нашем ремесле таких вещей, от которых в известный момент приходится отказаться,— когда видишь, как много они еще потребуют времени и как мало впечатления произведут на публику... Видно, придется взяться за что-нибудь другое!

И Джанни умолк среди всеобщего молчания.

Партия домино близилась к концу; высокий костлявый клоун, читавший газеты, склонил на них голову и замер в одной из тех мечтательных и сосредоточенных поз, за которые товарищи прозвали его «Мыслителем».

Вдруг, приподнявшись как бы в порыве внезапного вдохно-

вения, хоть никто и не давал к этому ни малейшего повода, Мыслитель медленно проговорил:

— О, как жалки, как бесконечно, как невыразимо жалки, господа, наши европейские цирки! Вспомним цирки Америки... Плавучий цирк, устроенный на реке Миссисипи, с амфитеатром, вмещающим десять тысяч зрителей, с конюшней на сто лошадей, с дортуарами для артистов, для прислуги, для экипажа... впереди него всегда несется «Райская птица» — пароходик, везущий *передового,* то есть агента, которому поручается закупить фураж для лошадей, подготовить пристани, эстакады, триумфальные арки, расклеить афиши недели за две вперед... А что скажете вы о Странствующем Цирке большой странствующей ярмарки — об этом цирке с двенадцатью золочеными колесницами, с храмами, посвященными музам, Юноне, Геркулесу, с тремя оркестрами, с паровым орга́ном... да, господа, с паровым орга́ном... и, наконец, с раусом, который растягивается в городах на целых три километра... в то время как механические и живые гимнасты исполняют на колесницах труднейшие номера? О, как жалки, как бесконечно, как невыразимо жалки наши европейские цирки! — восклицал Мыслитель, отворяя дверь и кончая свою тираду уже на улице.

XLIV

Трюк, который Джанни искал с самой ранней юности и которому предстояло вписать имена двух братьев в новейшую летопись олимпийских цирков наряду с именами Леотара, *короля трапеции,* и Леруа, *человека с шаром,*— трюк этот пока что не давался ему, и Джанни искал его с тем умственным напряжением, с каким математик ищет решение задачи, химик — формулу красящего вещества, музыкант — мелодию, механик — железную, деревянную или каменную конструкцию. Как и эти одержимые одною идеей люди,— он был рассеян, задумчив, жил вне реальности, а во время прогулок, на улице, бессознательно начинал рассуждать вслух, так что прохожие оборачивались и смотрели вслед странному господину, который удалялся, понурив голову, сгорбившись и заложив руки за спину.

Из его жизни, всецело сосредоточенной на одной мысли, исчезло понятие о времени, исчезли ощущения холода, жары, все мелкие, поверхностные впечатления, которые вызываются в бодрствующем теле внешними предметами и окружающей средой. Животная жизнь с ее проявлениями, с ее функциями про-

текала у него как бы под действием заведенного на определенное время механизма и помимо какого-либо участия его интеллекта. Слова, с которыми к нему обращались, доходили до него медленно, точно их произносили шепотом и вдалеке или, вернее, словно душа его пребывала вне тела, и, прежде чем ответить, ему приходилось вновь обрести ее. Находясь все время на людях, среди товарищей, он был рассеян, поглощен своими мыслями, погружен в какую-то задумчивость, полузакрытые глаза его мигали, а в ушах иногда стоял тот еле уловимый гул прибоя, что вечно таится в глубине больших океанских раковин, разложенных где-нибудь на комоде.

Деятельный мозг Джанни беспрестанно искал среди явлений, признанных невозможными, какую-нибудь *штучку*, которую он сделал бы выполнимой, небольшое нарушение законов природы, которого он, скромный клоун, добился бы первым, вызвав всеобщее недоверие и изумление! И он требовал от невозможного, на которое честолюбиво собирался посягнуть, чтобы оно было грандиозным, почти сверхчеловеческим, и презирал *невыполнимое* обычное, заурядное, низменное, пренебрегал такими упражнениями, в которых *предел* ловкости и равновесия казался ему, первоклассному эквилибристу и гимнасту, уже заранее завоеванным; и, предаваясь своим фантазиям, он надменно отворачивался от всего привычного — стульев, шаров, трапеций.

Не раз честолюбивому изобретателю казалось, что цель близка, не раз ему мерещилось воплощение вдруг зародившейся идеи, не раз его охватывала мгновенная радость открытия и сопутствующее ей упоительное возбуждение, но как только он вскакивал с постели, как только делал первую попытку осуществить задуманное,— приходилось отступать перед каким-нибудь непредвиденным препятствием, перед какой-нибудь трудностью, которая сразу отбрасывала эту идею в область нереального, в братскую могилу стольких прекрасных замыслов, едва успевших родиться и тотчас же умерших.

А еще чаще, пожалуй, случалось так: после тайных опытов, после ряда переделок, после многих усовершенствований, которые подводили замысел вплотную к удачному завершению, Джанни, до этого хранивший из особого кокетства свою затею втайне, уже предвкушал радостную минуту, когда сможет наконец рассказать брату о своем изобретении, развить перед ним свою мысль; подобно тому как драматург, заканчивающий пьесу, уже видит публику премьеры, Джанни, работая над последними деталями, уже представлял себе переполненный цирк,

аплодирующий грандиозности его трюка... И тут-то какая-нибудь ничтожная мелочь, какой-нибудь пустяк, неведомая песчинка, препятствующая пуску в ход только что оборудованного завода, вынуждала его отказаться от осуществления мечты, которую он лелеял в течение нескольких недель и которая вновь превращалась в грезу, в сновидение, навеянное обманщицей ночью.

Тогда Джанни впадал на несколько дней в глубокую, смертельную грусть, как изобретатель, только что похоронивший идею, над осуществлением которой он провел долгие годы,— и не требовалось никаких разъяснений с его стороны, чтобы Нелло понял причину этой грусти.

XLV

Братья поселились на улице Акаций, в Тернах, на бедной парижской окраине, которая сливается с пригородными полями и теряется в них. Они арендовали домик у столяра, находившегося на пороге разорения. Столяр занимал флигелек, в нижнем этаже которого помещалась кухня и кладовая, а наверху — три комнатки; в его распоряжении был еще дощатый сарай, служивший ему мастерской и преображенный клоунами в гимнастический зал. Оба строения выходили во двор, отделенный от улицы высоким решетчатым забором; двор находился в совместном пользовании братьев и бедного трельяжиста, который обычно здесь и работал; койка же его и склад изделий помещались на чердаке сарая. Этот старичок с печальными зеленоватыми глазами, напоминавшими глаза меланхолической жабы, представлял собою, так сказать, туловище без ног; зато в своей области он был подлинным художником, он отыскивал и восстанавливал воздушные постройки восемнадцатого века. Старый ремесленник выставил посреди двора в виде образчика чудо резьбы — прелестный зеленый храмик с ажурными карнизами, пилястрами, капителями; на фронтоне его имелась надпись:

Ламур, трельяжист в старинном вкусе

Музыкальный павильон, исполненный по знаменитейшим образцам, а именно по образцу «Зала Прохлады» Малого Трианона. Превосходная работа, может украсить любой современный парк; уступается по своей цене.

По уголкам неровного, изрытого двора ютились диковинные лачуги; а в самой глубине, за живой изгородью, почти совсем

ощипанной гусями, виднелся скотный двор, где над коровником, на окне с белыми занавесками, была приклеена записка:

Сдается комната для больного

Трельяжист был очень доволен, что новые жильцы не возражают против павильона, занимающего почти весь дворик, и поэтому жил с клоунами в добром согласии, а когда настало лето, позволил им устроить в павильоне своего рода лиственный занавес, чтобы играть там на скрипке, укрывшись от посторонних взоров. Он самолично отправился к соседнему садоводу и среди отбросов набрал прелестных штокроз, растений с веселыми крупными цветами; в наши дни ими, бедняжками, пренебрегают, зато они часто встречаются на гуашах минувшего века, где обвивают садовые трельяжи.

Здесь летом и осенью, в ясные голубые дни, в павильоне, сквозь крышу и стены которого вместе с солнечными лучами врывались порхающие воробьи, за колоннадой, увитой лиловыми, желтыми, розовыми цветами, братья играли на скрипке. Но, право, они скорее беседовали, чем играли; между ними словно происходил разговор, в котором изливались друг другу две души. Все мимолетные, многообразные и сложные впечатления, отзывающиеся в глубинах человеческого существа чередованием света и теней,— подобно игре солнечных лучей на волнах, когда солнце то светит, то скрывается за набежавшей тучкой,— все эти впечатления братья передавали друг другу в звуках. В непринужденной беседе, когда замолкала то одна, то другая скрипка, задумчивость старшего звучала в мягко замиравших ритмах, а ирония младшего — в ритмах насмешливых и игривых. И чередовались вырывавшиеся то у одного, то у другого смутная горечь, выраженная в жалобных замедлениях, смех, звеневший в руладах пронзительных нот, нетерпение, прорывавшееся сердитым треском, нежность, подобная журчанию воды во мхах, и болтовня, выделывавшая бесконечные фиоритуры. После такого *музыкального* диалога сыновья Степашиды во внезапном порыве принимались играть оба зараз с *цыганской виртуозностью*, с таким воодушевлением, с таким задором, с таким brio [1], что весь двор наполнялся чудесной, взволнованной музыкой, при звуках которой смолкал молоток трельяжиста, а из окна над коровником выглядывало осунувшееся лицо чахоточной со слезами радости на глазах.

---

[1] Блеском *(итал.)*.

XLVI

Джанни, любивший копаться в ларьках букинистов на набережной и часто приходивший в цирк, к удивлению товарищей, с книгой под мышкой, приносил иногда в музыкальный павильон старинный фолиант, толстый in quarto [1], в пергаментном переплете, с загнутыми уголками, со стертым во время революции гербом, со страницами, на которых какой-то ребенок уже в наше время подрисовал трубки к губам персонажей шестнадцатого века. Из этой книги, носившей на корешке заглавие: «Три диалога об искусстве прыгать и вольтижировать, сочинение Аркандже́ло Туккаро, 1599 года» и повествующей о том, как «король Карл IX пристрастился ко всякого рода прыжкам и сколь он ловким и отважным себя в оных выказал»,— Джанни читал брату несколько испещренных старинными литерами страниц: рассказ о *прыгунах-петавристах,* получивших свое греческое прозвище от полупрыжка-полувзлета, совершаемого курами вечером *при посадке на насест,* о *прыгунье* Эмпузе, которая благодаря своему волшебному проворству может принимать всевозможные позы и обличья, о *молодецкой отваге,* которой требует *прыгательное* искусство от своих приверженцев, а также страницы о прыжках *эферистическом, оркестическом, кубическом,* из которых последний долгое время считался доступным только тому, кто вошел в сделку с дьяволом.

Затем братья принимались изучать геометрические фигуры и линии летящих в воздухе тел, и Джанни заставлял брата выделывать — в строжайшем соответствии с указаниями книги и начертанными в ней концентрическими кругами — *скольжение вполоборота, скольжение лежа* и бездну других архаических трюков: юношам нравилось углубляться в прошлое их ремесла, поработать часок так, как работали более двухсот лет тому назад их предшественники.

XLVII

Братья не только любили друг друга,— они были связаны таинственными узами, каким-то физическим сродством, цепкими атомами близнецов,— несмотря на значительную разницу в годах и диаметрально противоположные характеры. Их непроиз-

[1] В четвертую долю листа *(лат.).*

вольные, инстинктивные движения были совершенно одинаковы. Они одновременно чувствовали внезапную симпатию или антипатию, а когда бывали где-нибудь, то выносили о людях, которых им довелось видеть, совершенно тождественное впечатление. Не только люди, но и вещи, неизвестно почему пленяющие нас или неприятные нам, действовали на обоих одинаково. Наконец даже мысли, эти детища ума, которые рождаются столь своевольно и часто удивляют нас непонятностью своего происхождения, мысли, обычно так редко совпадающие по времени и содержанию даже у мужчины и женщины, связанных сердечным союзом, рождались у братьев одновременно, и случалось, что, помолчав, юноши обращались друг к другу, чтобы сказать одно и то же, и сами не понимали, по какой странной случайности они произнесли две фразы, составляющие, в сущности, одну. Связанные такими духовными узами, братья чувствовали потребность быть вместе и днем и ночью; им трудно бывало расстаться, и когда один из них отсутствовал, другой испытывал странное чувство — как бы это сказать? — чувство некоей разрозненности, словно жизнь его вдруг утратила привычную полноту. Когда один отлучался, он как бы уносил с собой все способности другого, и оставшийся уже до самого возвращения брата не мог заняться ничем, кроме курения. Если же отсутствующий не возвращался к назначенному часу, другого начинали осаждать мысли о катастрофах, происшествиях, о несчастных случаях с извозчиками, о раздавленных пешеходах — нелепая мрачная тревога, заставлявшая его беспрерывно выбегать на крыльцо. Поэтому расставались они только в силу крайней необходимости, и ни один из них никогда не позволял себе удовольствия, которое не разделил бы другой; и за всю их совместную жизнь не было и суток, которые они провели бы врозь!

Но, надо сказать, кроме братской любви, их связывало еще и нечто более могущественное. В *работе* своей они так полно и самозабвенно сливались воедино, их упражнения были так переплетены и трюки их так мало принадлежали каждому из них в отдельности, что аплодисменты всегда относились к обоим, как к некоей совокупности, и при похвале или осуждении никогда не отличали их друг от друга. Так эти два человека дошли до того,— это, пожалуй, единственный случай в истории людской дружбы,— что у них образовалось одно единое самолюбие, одно единое тщеславие, единая гордость, которым можно было польстить и которые можно было уязвить лишь сразу у обоих.

Обитатели улицы Акаций могли ежедневно с порогов своих

домов наблюдать, как братья уходят или возвращаются, шагая один возле другого, причем младший чуточку отстает по утрам, а к вечеру, в час обеда, чуточку забегает вперед.

XLVIII

Братья, одевавшиеся всегда одинаково, носили очень маленькие, тщательнейшим образом вычищенные шапочки, длинные галстуки, заколотые золотой булавкой в виде подковы, короткие куртки, по покрою напоминавшие большие жилеты, какие носят конюхи, короткие штаны орехового цвета, заложенные внизу в четыре складки и туго обтягивающие колени, кожаные штиблеты на двойных подошвах. Внешностью они напоминали берейторов из *шикарных* конюшен какого-нибудь Ротшильда с печатью корректности, *англизированности,* серьезности, невозмутимой важности в манерах и чего-то особенного, что присуще клоунам, когда они ходят в обычном платье.

XLIX

Однако бывали дни, когда мальчишеская природа прорывалась сквозь деланную чинность Нелло, и корректный джентльмен выкидывал какую-нибудь шалость, которую, впрочем, совершал с серьезностью, свойственной английскому мистификатору. Так, однажды братьям случайно довелось возвращаться из цирка домой в омнибусе. Кто не знает этот одиннадцатичасовой омнибус, да еще идущий в пригород: тут славный простодушный люд, уставший и дремлющий в сумерках, поминутно прорезываемых вспышками света, люди с ослабленной, притупленной чувствительностью, с тугим пищеварением; они подскакивают в полусне всякий раз, когда слезает какой-нибудь пассажир, ибо и не спят по-настоящему, и не бодрствуют. Так вот, эти славные люди в продолжение всего пути смутно сознавали, что возле них сидят два хорошо одетых благовоспитанных господина, с изысканной вежливостью уплативших положенные шесть су; и вдруг, очнувшись от резкой остановки омнибуса на углу улицы Акаций, эти пассажиры увидели... увидели нечто такое, что все двенадцать носов, внезапно освещенные причудливым светом фонарей, повернулись как один в сторону улицы Акаций, где во тьму погружалась чья-то невозмутимая спина.

Нелло, спустившись на подножку, сделал сальто-мортале и,

выйдя из омнибуса таким необычным образом, стал удаляться как полагается — на ногах и весьма чинно, предоставив изумленным спутникам испуганно вопрошать друг друга взглядом: уж не сделались ли они все двенадцать жертвою галлюцинации?

L

— Послушай-ка, старшой, подбодрись маленько! — говорил однажды брату с ласковой иронией Нелло.— Знаю, знаю: еще над одним твоим детищем можно пропеть De profundis [1].

— Так ты догадывался, что у меня была новая идея?

— Еще бы! Ведь ты, мой Джанни, виден насквозь, как стакан воды! Ты, значит, и не подозреваешь, как это у тебя происходит? Так вот послушай... Начинается с того, что два-три дня, иногда пять-шесть, ты отвечаешь мне «да», когда следовало бы ответить «нет», и наоборот... Ладно, думаю, это у него опять приступ изобретательства... Наконец в один прекрасный день, за завтраком глаза твои становятся нежными и как бы благодарят еду за то, что она такая вкусная... и некоторое время ничто не кажется тебе слишком дорогим... всех женщин ты находишь хорошенькими... а погоду прекрасной, даже если хлещет дождь... и отвечаешь «да» или «нет» все еще невпопад... Это состояние длится обычно недели две-три... В конце концов лицо у тебя вдруг принимает выражение вроде сегодняшнего... изображает солнечное затмение... И когда я вижу тебя таким, я, не говоря ни слова, думаю: трюк братца приказал долго жить!

— Ах ты, насмешник! Но почему бы тебе не помочь мне малость в этом? Что, если бы и ты приложил кое-какие усилия, а?

— Ну, насчет этого — слуга покорный! Я готов на все, что хочешь,— вплоть до риска свернуть себе шею... Но изобретать — это твоя специальность... тут я всецело полагаюсь на тебя. Я считаю, что рожден на свет не для того, чтобы утруждать себя... глупости, которыми я начинаю наши клоунады, *не в счет*. Я всем вполне доволен... и счастлив той жизнью, какою мы живем!.. И нисколечко не жажду бессмертия!

— В сущности, ты прав. Я — эгоист. Но что ж поделаешь, человек не волен в себе! Есть во мне такая струнка, болезнь такая — потребность изобрести что-нибудь, чтобы прославиться... стать людьми, о которых все говорят, понимаешь?

---

[1] Из глубины... *(лат.)* — начало заупокойного псалма.

— *Да будет так!* Но, признаться, если бы я еще молился, то и утром и вечером просил бы бога, чтобы это случилось как можно позже.

— Однако ведь ты сам гордился бы этим не меньше моего!

— Да, конечно, гордился бы... но со временем все это показалось бы нам, пожалуй, очень глупым... и приобретенным слишком дорогою ценой!

LI

Братья вели жизнь спокойную, степенную, однообразную, умеренную, почти целомудренную. У них не было любовниц, пили они только воду, чуть подкрашенную вином. Главное их развлечение заключалось в ежедневной вечерней прогулке по бульвару, где они обходили все столбы с афишами, читая свои имена, после чего ложились спать. Усталость от работы в цирке, от упражнений, которыми они ежедневно подолгу занимались дома, чтобы беспрестанно поддерживать тело в бодром, напряженном состоянии и чтобы *работа* их не стала *тугой* (а эта мысль постоянно сопутствует ремеслу и карьере гимнастов), вечное умственное напряжение в погоне за каким-нибудь открытием — все это подавляло в юношах сластолюбивые вожделения и отгоняло соблазны разгульной жизни, совращающие тех, кто ведет полупраздное существование, всецело не занятое физическим трудом и умственным напряжением. Кроме того, они следовали чисто итальянской традиции, которой лет двадцать тому назад еще придерживались последние оставшиеся в живых римские атлеты, утверждавшие, что в их положении мужчины должны блюсти *монашеский* образ жизни и что силу можно сохранить во всем объеме и полноте лишь ценою безусловного отказа от возлияний Вакху и жертвоприношений Венере; традиция эта восходит по прямой линии к борцам и атлетам античного мира.

И если теории и наставления не оказывали особого влияния на юного Нелло, более пылкого и более склонного к удовольствиям, чем его старший брат, — то он все же хранил воспоминание, запечатлевшееся глубоко, как все, что врезается в память в младенческие годы,— воспоминание о том, как грозного, *неодолимого* Рабастенса положил на обе лопатки бресский мельник; эта картина, возникавшая в памяти Нелло с поразительной четкостью, а также воспоминание о физическом и нравственном недуге, постигшем злосчастного Геркулеса после этого поражения,— два-три раза спасли Нелло от соблазна в ту самую минуту, когда он уже готов был ему поддаться.

LII

Как ни был Нелло привлекателен, он находил в дружбе брата достаточно крепкую защиту от искушений, ожидающих в среде женщин полусвета любого мужчину, которому по профессии приходится выставлять напоказ красивое тело, прикрытое одним трико. Женщины по самой натуре своей недолюбливают, когда мужчины дружат между собою; в таких случаях они становятся недоверчивыми и опасаются, как бы дружба не умалила полноты той привязанности, на которую они сами рассчитывают; словом, их любовь — и не без основания — опасается крепкой мужской дружбы. Защитой для юноши, к счастью, служило и то, что он немного смущал женщин, когда находился в их обществе, приводил их в замешательство веселой иронией, игравшей на его лице, улыбкой, которая помимо его воли от природы была насмешлива и, по выражению одной женщины, высмеивала весь свет. Наконец,— это очень трудно выразить и покажется маловероятным,— некоторые подруги его приятелей чуточку завидовали его своеобразной красоте, как бы заимствующей, крадущей нечто у красоты женской. Однажды вечером наездник, вольтижировщик высшего класса, козырявший прекрасными ляжками, особенно когда бывал в лосинах, пригласил Нелло на ужин к своей любовнице, известной кокотке, которая была им в те дни увлечена. Когда Нелло ушел, наездник, искренне привязанный к юноше и заметивший за столом холодок хозяйки, принялся расхваливать приятеля; его возлюбленная отмалчивалась, как женщина, не желающая высказаться, теребила попадающиеся под руку вещи и искала глазами несуществующие предметы. Наездник продолжал свое, но так и не мог добиться ответа.

— Не правда ли, Нелло очарователен? — прямо спросил он наконец. Женщина все молчала, а на лице ее отражались странные мысли, которые она не решалась высказать, глаза смотрели все так же растерянно, а ножка глупо раскачивалась из стороны в сторону.

Чем же все-таки он тебе не нравится? — спросил наездник, теряя терпение.

— У него женский рот,— проронила его любовница.

LIII

Но среди артисток цирка была наездница, которая смотрела на Нелло явно влюбленными глазами.

То была американка, первая женщина, решившаяся на

сальто-мортале на спине лошади; ее успехи в цирках Нового Света привели к тому, что она вышла замуж за некоего gold-digger [1], нашедшего исторический самородок — слиток золота толщиною в древесный ствол. Но американка чувствовала себя несчастной в своем вынужденном безделье, среди благопристойности, среди cant [2] богатой супружеской жизни,— и когда два года спустя муж ее умер, она стала разъезжать по циркам Лондона, Парижа, Вены, Берлина, Петербурга, которые покидала, ничуть не заботясь о неустойках, как только они начинали ей надоедать.

Эту странную и энергичную женщину, владевшую несколькими миллионами, обуревали всевозможные фантазии, как ту грешницу, которая внезапно возгорелась желанием покататься на санях летом и с этой целью приказала посыпать сахарным песком аллеи своего парка; в фантазиях этих, в их властном чудачестве была доля безрассудства, бреда, *нелепицы,* в них сказывалось притязанье совершить нечто невозможное, сверхчеловеческое, противное и богу и природе — и все это выливалось в грубое самодурство, свойственное американцам, дорвавшимся до денег. Так, когда она приехала в Европу и купила в Вене особняк, ей захотелось иметь у себя в спальне машину для имитации бури; механизм этой домашней бури состоял из колеса, которое зачерпывало лопастями воду и завывало как ураган, как бешеный шторм, причем к механизму было присоединено электрическое освещение, так что все это вместе взятое в точности воспроизводило гул прибоя, раскаты грома, порывы пенистого ветра, свист бушующего ливня, огненные зигзаги молний. И аппарат этот обошелся заказчице в триста тысяч франков.

Но Томпкинс скоро прискучили заботы, связанные с содержанием дома на широкую ногу, прискучило одиночество, окружавшее ее в огромных покоях, и теперь, приехав в Париж и сдав машину-бурю на хранение, она жила в одной комнате в «Гранд-отеле», но оплачивала номер, расположенный под ее комнатой, и номер над нею, чтобы иметь возможность прикрепить к потолку трапецию, на которой горничная по утрам заставала ее голой, раскачивающейся с папироской в зубах.

Если не считать разорительных причуд,— а о них никто не знал,— жизнь Томпкинс казалась самой заурядной и простой. Она обедала за табльдотом гостиницы или в каком-нибудь вто-

---

[1] Золотоискатель *(англ.).*

[2] Ханжества, лицемерия *(англ.).*

роразрядном ресторане поблизости от цирка. Она ходила всегда в одной и той же шляпе, шляпе в духе Рубенса, одевалась обычно в шерстяные платья, скроенные в виде амазонок, не обнаруживала — в отличие от парижанок — ни малейшей склонности к нарядам, не носила ни платьев, сшитых известными портными, ни кружев, ни драгоценностей. Однако бриллианты у нее имелись: одна-единственная пара серег, но серег величиною с графинные пробки, и когда те немногие, которые не считали эти камни фальшивыми, высказывали предположение, что за них заплачено страшно дорого, она отвечала небрежно:

— Oh yes![1] Я ношу в свои уши сто одиннадцать франк ежедневный доход.

Она жила, ни с кем не общаясь, не посещала соотечественников, не разговаривала даже с сослуживцами, никогда не показывалась на актерских балах, не бывала на ужинах в «Английском кафе»; она была вечно одна, и никогда ее не видели под руку с мужчиной. Лишь по утрам, очень рано, когда она выезжала верхом в Булонский лес, ее сопровождал герцог Олаус. Этот высокий красивый мужчина, известный всему Парижу отпрыск одного из знатнейших северных родов, насчитывавший среди своих близких родственников одну царствующую королеву и одну императрицу, был чудаком, большим барином, влюбленным в лошадей; одно время он содержал цирк в собственном дворце и упорно заставлял заниматься вольтижировкой жену, дочерей и слуг; в числе не особенно отдаленных предков герцога была наездница. Герцог питал к Томпкинс нежное и сложное чувство, в котором сочетались, взаимно разжигая друг друга, и поклонение женщине, и страсть к лошадям. Но ему приходилось довольствоваться ролью кавалера и агента для мелких поручений, так как Томпкинс объявила ему, что терпит его, только пока он верхом на лошади, что иначе он кажется ей *нельепим* и что она всегда предпочитает быть одна, «наедине со своей тоской».

Этой утренней прогулкой действительно и ограничивалась вся близость между герцогом и странной наездницей. Присяжным фельетонистам и *репортерам,* пытавшимся покопаться в ее прошлом в Европе и Америке, не удалось открыть ни малейшего следа скандала, связи, увлечения, даже флирта.

Про эту женщину можно было бы сказать, что она — олицетворение безудержной мускульной деятельности. По утрам,— а Томпкинс вставала очень рано,— она упражнялась на трапе-

[1] О да! *(англ.)*

ции в ожидании часа, когда швейцар откроет двери гостиницы; потом часа два каталась верхом, оттуда ехала на репетицию, так как репетиции по вольтижировке происходили до полудня. Позавтракав и вернувшись в гостиницу, она курила папироски, то и дело цепляясь за трапецию, которую не оставляла ни на минуту в покое. Затем она снова садилась на лошадь и рыскала по парижским окраинам, беря все попадавшиеся по пути препятствия.

И было удивительно, что к вечеру это тело, столько поработавшее за день, оставалось все таким же гибким, полным силы, возбуждения, пыла, охваченным своего рода затаенным неистовством и неустрашимой горячностью; вечером эта неутомимая женщина бросалась навстречу опасности, исполняя труднейшие аттракционы, во время которых она издавала короткие хриплые гортанные звуки, напоминавшие восклицания гуронов.

В ее контракте с цирком имелся особый пункт, в котором оговаривалось, что она будет выступать лишь через день и непременно последним номером первого отделения,— с тем расчетом, заявила она, чтобы в половине одиннадцатого она уж могла быть в постели.

Когда у нее не бывало ангажемента, и в дни, свободные от выступлений, после обеда ее ждала у «Гранд-отеля» наемная карета. Карета везла ее на одну из улиц Елисейских полей, к большому зданию со стеклянной крышей, на фронтоне которого виднелась полусмытая дождями надпись: «Манеж Ошкорн». Как только с перекрестка доносился шум подъезжающего экипажа,— в обветшавшем здании отворялась дверца, и слуга немедленно впускал наездницу. Томпкинс попадала в темный, пустынный, безмолвный манеж, где виднелось только два-три человеческих силуэта с потайными фонарями в руках, склонившихся над большими вазами из красной глины. Посреди манежа был расстелен восточный ковер, настоящий короткошерстный бархат, на котором вырисовывались, словно отблески инея, персидские письмена и цветы работы XVI века, вытканные в трех нежных, светлых тонах — серебром, зеленоватым золотом и лазурью. На ковре возвышалась груда вышитых подушек. Американка ложилась на ковер, раскидывала нагроможденные подушки, подкладывала их под себя, устраивалась поудобнее, медленно, почти сладострастно отыскивая наиболее приятное положение; затем закуривала папироску.

Вместе с огоньком, зардевшимся во тьме у ее губ, словно по сигналу, изо всех глиняных ваз вздымались бенгальские огни и освещали барьер, обтянутый великолепным индийским каше-

миром; невидимые благоухающие фонтаны взметали в воздух водяную пыль, переливавшуюся голубым и красноватым светом, а два конюха выводили на арену лошадей — один черную, в сбруе, усеянной маленькими рубинами, другой — белую, в сбруе, украшенной мелкими изумрудами.

У вороной лошади, Эреба, была черная и гладкая, как надгробный мрамор, шерсть и огнедышащие ноздри; белая, по имени Снежок, казалась развевающимся шелком, на фоне которого выделялась пара влажных глаз. Конюхи водили лошадей под уздцы, вновь и вновь проходя перед женщиной, которую животные почти задевали копытами.

Неподвижно лежа и рассеянно вдыхая клубы табачного дыма, в манеже, считавшемся общественным,— а в действительности он принадлежал ей одной,— любуясь лошадьми, на которых она никогда не ездила при публике,— их выводили, когда весь Париж спал,— среди этого празднества, которое она устраивала для себя одной, Томпкинс упивалась высшей эгоистической радостью — радостью тайного обладания прекрасными, единственными в своем роде и никому не ведомыми сокровищами.

Лошади переходили от шага к рыси, от рыси к галопу, конюхи заставляли их гарцевать, и блестящие конские тела, атласные крупы, рубины и изумруды сбруй сверкали среди арабесок кашемира, отблесков фейерверков и радужных переливов неуловимого разноцветного дождя. Женщина время от времени подзывала к себе Эреба или Снежка и, не трогаясь с места, а лишь приподняв голову, протягивала лошади кусок сахара, который та брала у нее изо рта, затем целовала лошадь в ноздри. И, покуривая, она снова любовалась горячностью и пылом этих неукротимых животных, освещенных фантастическим светом.

Наконец она отбрасывала окурок последней папиросы и вставала.

Тотчас же бенгальские огни гасли, водометы замирали, индийские шали опять погружались во тьму, и весь зал снова превращался в жалкий Манеж Ошкорп.

А через четверть часа женщина с восьмисоттысячными серьгами, владелица Эреба и Снежка, брала у швейцара ключ от своего номера и ложилась спать, не прибегая к помощи горничной.

На другой день начиналось то же, с виду скромное существование; и лишь когда в газетах поднимался шум вокруг какой-нибудь баснословно дорогой картины или антикварной мебели,— будь эти вещи хороши или плохи, великолепны или посредственны,— Томпкинс приезжала на извозчике, выпимала из

бумажника требуемую сумму и увозила картину или мебель, не назвав своего имени. И в ее комнате, где вся обстановка состояла из кровати, почного столика и трапеции,— вдоль стен громоздились сваленные друг на дружку, наглухо заколоченные ящики, где лежали все ее приобретения, на которые она так и не взглянула.

У Томпкинс был еще один своеобразный вид расходов. Если в каком-либо уголке Европы разражалось стихийное бедствие или назревала какая-нибудь человеческая трагедия,— она бросалась на вокзал, покидала Париж и проезжала сотни километров, чтобы взглянуть, скажем, на извержение Этны. Живя в Петербурге, она несколько раз пересекала Европу лишь для того, чтобы в течение часа или нескольких минут насладиться жестоким зрелищем лондонского *кулачного боя* или смертной казни на площади Рокет.

Но если Томпкинс не жалела никаких денег,— как бы велики они ни были,— на удовлетворение любой своей прихоти, она еще меньше считалась с затратами, когда требовалось устранить какую-нибудь, хотя бы мельчайшую помеху, малейшую неприятность, какой-нибудь лепесток розы, упавший наперекор ее желаниям, ее прихотям, ее вкусам. При первой же вспышке гнева против человека или предмета, который раздражал, мешал, не нравился или противоречил ей, и безразлично, человек ли то был или вещь — у нее вырывалась надменная фраза, характерная для ее соотечественников и обнажающая всю наглую власть денег: «Я его покуплю»,— говорила она, коверкая французский язык; изучить его она считала ниже своего достоинства. В такого рода тратах,— в случаях, когда богатые люди обычно очень осмотрительны,— Томпкинс являла поистине невероятную эксцентричность; она выказывала щедрость и размах при покупках, которые вообще были вряд ли понятны. Не будучи музыкантшей, она заплатила бешеные деньги за рояль, ибо объявление о нем, ежедневно появлявшееся в «Антракте», действовало ей на нервы; она по баснословной цене купила развалины беседки, производившие впечатление disgracious[1] в садике при банях, куда она имела обыкновение ходить; она только что ценою тысячефранковой ассигнации добилась того, что хозяин ресторана, расположенного рядом с цирком, уволил официанта, которого она упрекала,— так и осталось неизвестным отчего и почему,— в том, что у него вид продавца барометров.

Однажды между нею и директором цирка разыгралась

[1] Непривлекательное *(англ.)*.

анекдотическая сценка, которая дает представление о громадных суммах, которые американка готова была уплатить, когда желала избавиться от чего-либо, что хоть в малейшей степени противоречило ее привычкам. Однажды кто-то из цирковых служащих, почувствовав в коридоре табачный дым, отворил дверь в уборную Томпкинс и, увидев, что наездница курит, растянувшись на полу, сказал ей довольно грубо, что курить запрещено и что ей надлежит немедленно потушить папиросу.

— О-о-о! — сделала Томпкинс и продолжала спокойно курить.

Доложили об этом случившемуся здесь директору-распорядителю; он поднялся в уборную наездницы и изысканно вежливо, как того заслуживает артистка great attraction [1], делающая вдобавок хорошие сборы, стал разъяснять ей, что в здании много деревянных частей, много легковоспламеняющихся материалов и что поэтому папироска может причинить неисчислимые убытки.

— А сколько денег, когда все пропадает? — спросила, прерывая его, наездница.

На случай пожара цирк застрахован в несколько тысяч франков, сударыня.

— Very well, very well! [2] Есть, не правда ли, в Париже банк... для хранения и...

— Вы хотите, сударыня, сказать: депозитная касса?

— Oh yes, вот, вот... и деньги за весь убыток... завтра будет в касс... как вы говориль... Вы — спокойна... я — продолжай курить... До свидания, мосье.

У Томпкинс — великолепное тело! Высокая, стройная, с изящными формами — удлиненными и полными, упругая, эластичная кожа, высокая, небольшая и крепкая, как у девочки, грудь, округлые руки, при движении которых на плечах и лопатках обозначаются задорные ямочки, руки несколько крупные, но с красивыми пальцами, словно ветви Дафны, превратившейся в лавр. В этом теле бурно играла кровь, клокотала кипучая жизнь и как бы ликующее здоровье какой-то новой человеческой породы — здоровье, распространявшее вокруг Томпкинс, когда она в поту спрыгивала с лошади, приятный запах пшеницы и теплого хлеба.

Ее стан венчался красивой головой, посаженной на гордой шее, головой с правильными чертами лица, прямым и коротким

---

[1] Исполнительница знаменитого аттракциона *(англ.)*.

[2] Отлично, отлично! *(англ.)*

носиком, со вздернутой верхней губой, совсем подбиравшейся к носу при улыбке; но ярко-золотистые волосы, прозрачная кожа, серые глаза со стальным отливом, в которых мелькали жестокие огоньки — огоньки, подобные тем, что сверкают в глазах разъяренных львиц,— все это придавало ее облику нечто хищное, животное.

Во взглядах, которые Томпкинс бросала на Нелло, не было ни кокетства, ни нежности; глаза ее останавливались на нем почти сурово, они изучали его телосложение немного по-купечески; так смотрит чернокожий евнух, покупая на базаре рабов. Тем не менее, пока Нелло находился в цирке, взгляд Томпкинс неизменно обращался к нему, а юноша, сам не зная отчего, чувствовал к американке инстинктивную неприязнь; прохаживаясь на руках, он уклонялся от ее взглядов, а ногами, болтающимися в воздухе, показывал ей акробатический нос.

LIV

Однажды утром, после завтрака под сенью музыкального павильона, Джанни сказал Нелло, набивая с блаженной медлительностью трубку:

— Теперь, малыш, найдено... и на этот раз подцеплено не на шутку!

— Что это?

— Ну, сам знаешь... наш трюк!

— А, черт возьми... вот уж придется попотеть! Зная твои замашки, можно не сомневаться, что ты изобрел не очень-то удобную штучку. Правда ведь?

— Брось, не корчи строптивого! Знаешь, в самом деле, я снимаю у трельяжиста чердак.

Трельяжист недавно получил в наследство домик с клочком земли и уехал недели три-четыре тому назад в деревню, поручив Джанни продать павильон, если найдется покупатель.

— А к чему нам чердак?

— Вот слушай... Для моей затеи столярная мастерская низка... мы велим разобрать потолок, и тогда в нашем распоряжении окажется все здание до самой крыши.

— Но... уж не пришло ли тебе в голову, чтобы я прыгнул с места на колокольню святого Иакова?

— Нет... Но прыгать придется... и притом футов на четырнадцать.

— Бьюсь об заклад — в высоту и перпендикулярно? Но, дорогой мой, с тех пор как свет стоит, на четырнадцать футов еще никто не прыгал!

— Возможно... но в этом-то все и дело... к тому же будет трамплин.

— Ну вот ты какой! Не дашь хоть чуточку пожить спокойно!

— Послушай, Нелло... это дело не спешное,— не к завтрему. Стоит только захотеть... Помнишь, как отец говорил, что со временем ты будешь прыгать...

— Но после этого-то хоть будет ли конец? Угомонимся ли мы на этом всерьез? Перестанет ли твоя башка выдумывать, что ни день, новые мучения?

— Как по-твоему, братишка, сейчас мы на сколько можем прыгнуть?

— Футов на девять-десять... да и то вопрос!

— Ну, придется подбавить четыре фута.

— Не скажешь ли, по крайней мере,— что именно собираешься ты выкинуть?

— Я тебе скажу... когда ты перейдешь за тринадцать футов, так как если ты этого не достигнешь, то трюк будет невыполним, и следовательно... К тому же, если я тебе сейчас все расскажу, оно покажется тебе слишком трудным,— а я тебя знаю: ты станешь сомневаться в успехе.

— Благодарю покорно! Одного прыжка с тебя мало, к нему еще будет подливка,— бьюсь об заклад,— чудеса эквилибристики и какая-нибудь умопомрачительная игра на скрипке... и прочая чертовщина,— а может быть, и такое, что *шею сломишь*.

Но, заметив, что Джанни хмурится, Нелло сразу оборвал свою тираду, сказав:

— Глупыш, я сделаю все, что ты захочешь; ведь сам знаешь, не правда ли? Но дай мне, по крайней мере, немного *похныкать*... это меня подбадривает.

LV

Неделю спустя потолок сарая был разобран. На полу стоял трамплин высотой в два метра двадцать сантиметров. Почти вплотную к нему, в утрамбованную землю было вбито два пятнадцатифутовых столба, на которых лежала передвижная доска, напоминающая оранжерейные полки; благодаря зубцам доску можно было опускать и поднимать на любую высоту. А чтобы

ослабить силу падения, под доскою было разложено несколько охапок сена.

Рано утром Джанни будил брата, и они отправлялись упражняться, причем доска, на которую они прыгали, первое время ежедневно перемещалась на несколько дюймов выше.

По вечерам они чувствовали себя разбитыми от усталости, ощущали боль в животе, в груди, в спине, и цирковой врач объяснил Нелло, что это вызвано переутомлением грудо-лобковых и спинно-акромиальных мускулов. А Нелло называл Джанни невозможным братом и дразнил его, полушутя, полужалобно, грудо-лобковым и спинно-акромиальным,— однако изо всех сил старался добиться прыжка, необходимого для исполнения трюка.

LVI

Прыжок, этот мгновенный взлет плотного, мускулистого, сугубо материального тела, не имеющего в себе ничего такого, что могло бы поддержать его в воздухе,— ни газа, облегчающего его вес, ни летательного аппарата, которым наделены птицы,— прыжок, достигающий необыкновенной высоты, граничит с чудом. Ибо для того чтобы человек мог так прыгнуть, нужно, упершись ногами в землю, согнуть их в коленях и бедрах и прижать к ним туловище. Затем это собранное в комок тело с перенесенным вниз центром тяжести, это полукружие согнутых и сближенных ног, напоминающих окопечности лука с натянутой тетивой, должно получить внезапный толчок растягивающих мышц, подобный разрядке стальной пружины; этот толчок должен разом преодолеть прикованность тела к земле, выпрямить и придать упругость ногам, бедрам, позвоночнику и подбросить вверх всю массу тела, в то время как руки со сжатыми кулаками, вытянутые и развернутые до предела, должны выполнять, по выражению доктора Бартеза, роль крыльев.

Джанни всячески старался помочь Нелло в той страшной разрядке мышц, которой надлежало подбросить стотридцатифунтовое тело на высоту почти пятнадцати футов, и притом перпендикулярно к земле.

Он подолгу заставлял Нелло отыскивать при пробеге по трамплину такое положение ног, которое выжало бы из доски максимум ее *упругости*. Он понуждал брата изучать относительную силу каждой ноги, с тем чтобы при взлете опереться на наиболее сильную. Он приучал его также прыгать с маленькими гирями в руках, чтобы вызвать еще большее напряжение тела.

LVII

В трюке, который собирались исполнить братья, Джанни следовало подняться на высоту всего лишь девяти футов. Он добился этого почти тотчас же и теперь уже упражнялся в прыжках не на доску, а на брус, стараясь сохранить на нем равновесие.

А Нелло, у которого от трехмесячной работы полопались все мелкие вены на ногах, стал достигать тринадцати футов, но недостающих фута и нескольких дюймов никак не мог преодолеть,— сколько воли, усилий, упорства ни прилагал, стараясь угодить Джанни.

Наконец, в припадке мальчишеского отчаянья, он сердито заявил брату, что тот спятил, окончательно спятил и просто издевается, заставляя его добиваться заведомо невозможного.

Старший же, хорошо зная характер брата, его нервную, впечатлительную натуру, его способность легко падать духом и вновь ободряться,— не входил с ним в рассуждения, а делал вид, что соглашается, и предоставлял ему некоторое время верить, будто окончательно отказался от своей затеи.

LVIII

Выражение досады, появлявшееся на лице Томпкинс, когда Нелло акробатически показывал ей нос, очень забавляло юного клоуна; в нем было еще что-то ребячливое, и он по-детски любил поддразнивать; поэтому каждый вечер, во время небольшой паузы, когда наездница и лошадь отдыхали, он стал как зачарованный любоваться американкой и превращал это в длинную и почти жестокую интермедию. Его восхищение наездницей передавалось уморительными вывертами шеи; он становился на колени, как бы замирая в экстазе, полном гротескной придурковатости, он горел любовным вожделеньем, выражавшимся в потешном *дрожании* ног и прижимании к сердцу рук, скрюченных самым диковинным образом, он молил ее и поклонялся ей, но обожание это придавало всему его телу нечто нелепое, так что из каждого мускула его ключом била едкая пластическая буффонада. На задранной кверху ноге, словно на гитаре, он мимически разыгрывал, обращаясь к наезднице, очаровательнейший любовный романс. Он каждый день видоизменял программу, постепенно прибавлял новые штришки, а иногда, чтобы побольше позлить американку, цеплялся за хвост лошади в тот момент,

когда наездница начинала очередной номер,— и все это делал с ужимками, своего рода lazzi, полными непередаваемой иронии. Это была словно пантомима, разыгрываемая каким-нибудь молодым, красивым, изысканным, фантастическим Дебюро,— пантомима, в которой не было ничего не только низменного, но даже сколько-нибудь грубоватого, где все было стремительно набросано и топко начертано в воздухе насмешливым силуэтом тела; все это по достоинству оценивалось публикой первых рядов балкона, которая стала приходить в цирк с единственной целью — посмотреть этот гимнастический эскиз. Действительно, казалось, что перед тобою немая сцена из веселой комедии, в которой юный клоун игрой ног, рук, спины и, так сказать, самим остроумием своей физической ловкости, смеясь, противопоставляет любовному пламени женщины,— а некоторым завсегдатаям эта женщина была знакома,— насмешливое безразличие, презрительную издевку, уморительное пренебрежение.

Нелло не ограничился этим. Чуть опьяненный успехом своей маленькой жестокости, чуть подзадоренный товарищами, которых оскорбляла надменность наездницы, он стал задевать самые чувствительные струны женского самолюбия поклонницы, так гордившейся привлекательностью своего тела. Гибкая и подвижная фигура Томпкинс все же не обладала тем особым изяществом, какое присуще парижанке. У нее была чисто английская, несколько скованная осанка, и тело ее, хоть и было развито и натренировано ежедневными упражнениями, все же не поддавалось грациозным изгибам. Один скульптор, подолгу живший в Англии и Америке, говорил, что среди изящных, стройных женских торсов ему в этих странах никогда не встречалось модели, которая могла бы передать изгиб тела Гебы, подающей кубок Юпитеру, или изобразить Киприду, когда она держит в вытянутых руках вожжи от запряженной голубями колесницы. Нелло при всеобщем хохоте подражал этой несколько топорной грации, изображал наездницу в шаржированном виде, передразнивал топорные, несколько натянутые поклоны и реверансы американки, когда она выходила на аплодисменты.

И чем больше сердилась наездница, тем больше удовольствия доставляло клоуну-задире мучить ее. Теперь он уже не довольствовался одними представлениями,— он преследовал ее назойливым, упорным издевательством на репетициях и вообще всюду, не давал ей ни минуты покоя. Готовилась ли американка к своему конному номеру, прыгая и выделывая разные антраша у выхода в правом коридоре,— она тотчас же замечала насмешника в левом коридоре; взгромоздясь на одну из тех красных с

белым табуреток, которые служат для прыжков через обручи, он уморительно передразнивал ее, окруженный смеющимися капельдинерами.

Несколько раз, когда Нелло во время своих выходок близко подходил к наезднице, он замечал, что ее рука, крепко сжимающая хлыст с набалдашником из горного хрусталя, готова ударить его, и ждал удара, как мальчишка, подзадоренный угрозой, но наездница тотчас бралась другой рукой за середину хлыста и сгибала его над головой, как ветку; произнося краткое «а-о!», американка снова принимала невозмутимый вид, а взгляд ее снова был прикован к Нелло.

Томпкинс по-прежнему не сводила с него глаз все время, пока они находились вместе на арене; но теперь во взгляде ее появилось что-то почти угрожающее.

— Да оставь ты ее в покое,— говорил как-то вечером акробату клоун Тиффани.— Будь я на твоем месте, меня пугал бы взгляд этой женщины.

LIX

При первых попытках исполнить свой новый трюк братья пользовались деревянным некрашеным трамплином, изготовленным где-то по соседству,— самым обыкновенным гимнастическим трамплином. Ничего не сказав брату, Джанни заказал мастеру-специалисту другой трамплин, в котором велел заменить ель тропическим ясенем — деревом, которое американцы метко называют lance-wood [1],— и сам наблюдал за его изготовлением. Это был слегка видоизмененный трамплин, несколько похожий на английский *batoade* [2]; в длину он имел три метра, а покатая его поверхность в том месте, откуда должен прыгать гимнаст, поднималась на сорок сантиметров от пола. Чтобы придать ему бо́льшую упругость, Джанни велел утончить конец доски до того предела, при котором она может гнуться, не ломаясь. Наконец, когда снаряд был уже совсем готов, Джанни заменил в нем обычную деревянную перекладину стальным прутом, обернутым куском ковра; прут этот под давлением ног гимнаста должен был придать прыжку невиданную силу.

Когда новый трамплин был принесен к ним на дом, старший брат попросил младшего испробовать его. Нелло при первом же прыжке, еще не совсем уверенном, прибавил сразу пол-

[1] Буквально: мечущее дерево *(англ.)*.
[2] Батуд *(англ.)*.

фута. После этого Нелло сделал подряд еще пять-шесть прыжков и, все еще не зная, что именно затеял брат, закричал ему в самый разгар прыжка, что теперь вполне уверен в себе и с помощью этого трамплина исполнит то, что от него потребуется. Несколько дней спустя Нелло достиг высоты в четырнадцать футов; оставалось преодолеть еще несколько дюймов. Трюк вошел в число вещей выполнимых — и выполнимых в самом недалеком будущем!

Тогда Джанни отправился к директору и объявил ему, что он на пороге удачного завершения необыкновенного, совершенно нового трюка, и попросил у него месячный отпуск для окончательной отработки номера.

Джанни слыл изобретателем. Давно уже цирк с любопытством ожидал чего-то — и даже чего-то очень сильного — от постоянных поисков клоуна, и сам директор разделял эту веру товарищей в Джанни. Поэтому он весьма любезно согласился на просьбу Джанни и сказал при этом, что охотно предоставит им столько времени, сколько понадобится.

LX

Окончательное, полное овладение трюком потребовало больше времени, чем первоначально предполагал Джанни. Полтора месяца занимались братья, запершись в своем маленьком манеже; падая от усталости, они ложились на разостланное по полу сено, чтобы поспать часок, и затем начинали сызнова.

Первый успех, явившийся счастливой случайностью, им надлежало превратить путем усилий и ежедневных упражнений, ставших как бы привычкой,— в успех верный, обеспеченный, постоянный, исключающий возможность провала; а эта неизменность, это постоянство удачи совершенно необходимы для того, чтобы трюк удался на публике; здесь таится его гибель. Когда Нелло завоевал намеченную высоту,— он стал совершать прыжки уже не в свободном, открытом пространстве: Джанни заключил прыжок в узкий круг двух веревочных обручей, изображающих низ и верх бочонка; новая задача! Наконец Нелло стал прыгать на плечи брата, который стоял на тонком полукруглом железном пруте; итак, один из них должен был устоять при толчке от прыжка, другому же надлежало найти устойчивое положение, вскочив на мускулистые, подвижные плечи брата,— и невероятная трудность удержаться в таком положении требовала от них обоих больших усилий, бесконечных опытов и по-

вторений. А когда Нелло решил, что теперь уже все сделано, оказалось, что Джанни хочет еще увенчать трюк чудом эквилибристики: целой серией сальто-мортале, которые оба они должны выделывать одновременно, один над другим; для этого им надлежало, пользуясь самыми невероятными точками опоры, соединить небывалую согласованность и соответствие движений с безошибочной ловкостью старика Ориоля, которому удавалось, перекувырнувшись, снова попасть ногами в туфли.

Надо было еще сочинить сценическую арабеску, которою они по старой привычке хотели украсить трюк. И Нелло, всегда поэтически оформлявший их выступления, придумал забавную фантазию, веселое сказочное обрамление и музыку, в которой слышались и эхо урагана, и вздохи природы. Но в последнюю минуту братья заметили, что смелость их трюка только потускнеет от таких прикрас. И они порешили, что на этот раз будут гимнастами, исключительно гимнастами, а со временем они всегда смогут обновить устаревший аттракцион, оживив его небольшой поэтической фабулой.

LXI

Однажды летним вечером братья выбежали из своего маленького манежа неистово жестикулируя, с несказанно радостными лицами. Внезапно они остановились посреди двора и, став лицом друг к другу, одновременно воскликнули: *«Есть!»* Затем бросились к себе в комнаты и стали поспешно переодеваться, обрывая пуговицы у рубашек и шнурки башмаков, как часто бывает при сильных переживаниях, когда руки теряют обычную ловкость. Их что-то словно гнало из дому; они испытывали непреодолимую потребность выйти на улицу, двигаться, ходить. И, одеваясь, то один, то другой говорил брату, весело подмигивая и слегка подпевая: *«Есть!»*

По пути им попался извозчик, и они бросились к нему, но он ехал недостаточно быстро,— да им было тут и не по себе: приходилось сидеть неподвижно. Минут через десять они расплатились с извозчиком и опять пошли пешком.

Они шли широким шагом, посреди улицы, чтобы иметь перед собою свободное пространство, и очень удивились, когда вдруг заметили, что каждый из них держит свою шляпу в руке.

Братья пообедали в первом попавшемся ресторане, ели, не обращая внимания на то, что едят, и на вопросы официанта отвечали:

— Дайте мне то, что подали соседу.

В этот вечер Нелло говорил не больше брата.

После обеда они зашли в несколько кафе, но им решительно не сиделось на месте.

Они стремились туда, где публика беспрестанно снует взад и вперед, где тело все время находится в движении, где можно дать волю своему лихорадочному состоянию. Они заходили на балы, в кафешантаны, где в ослепительном свете, среди толпы, подхваченные движением других, они без устали кружились в каком-то механическом, вечно возобновлявшемся круговороте вокруг оглушительного оркестра,— ничего не видя, ничего не слыша, с потухшими сигарами в зубах, далекие от этого места, от всего мира, от всех вещей, среди которых проводили вечер,— и только изредка оборачивались друг к другу, говоря без слов, одним лишь радостным выражением лица:

— *Есть!*

LXII

На другой день братья возобновили работу в цирке; внутреннее удовлетворение делало Нелло как никогда задорным и злым по отношению к Томпкинс; Джанни же поспешил отвести директора в сторону и пригласить его посмотреть придуманный ими новый трюк. Директор, с нетерпением ожидавший вестей об их успехе, ответил Джанни, что завтра в десять часов утра приедет к ним в Терны.

На другой день в назначенное время, засунув руки в карманы брюк, директор стоял перед трамплином в маленьком манеже. Лицо его, по мере того как развертывалась работа братьев, становилось притворно бесстрастным; он старался скрыть восхищение, как это бывает с любителями, когда они разглядывают любопытную и редкую безделушку и боятся, как бы за нее не запросили чересчур уж дорого.

Братья закончили упражнение, и Джанни, несколько сбитый с толку молчанием зрителя, спросил:

— Так как же?

— Здóрово... действительно здóрово. Я предпочел бы показать это в зимнем сезоне... но мы еще успеем до каникул, до начала охоты... Да, думаю, это будет иметь успех... но успех нужно немного подогреть; ваш трюк очень оригинален и смел, но недостаточно эффектен для толпы,— он производит меньше впечатления, чем то, что́ проделывается под куполом, он не приводит в трепет.— Тут директор сделал движение локтями, прижав их к груди.— Необходимо, чтобы пресса растолковала, разжевала

публике риск, смертельную опасность, заключающуюся в вашем трюке. Нам нужно,— запомните это,— как можно больше рекламы... у вас ее было маловато при дебюте... Приходите ко мне послезавтра, чтобы заказать необходимые аксессуары и организовать рекламу; я ею займусь с сегодняшнего же вечера. А теперь — отдыхайте... вы освобождаетесь от всякой работы... Знаете, если номер удастся, я готов внести некоторые изменения в ваш контракт. Но совершенно необходимо,— поймите,— выступить как можно скорее.

И только уже на пороге, как ни хотел он быть осмотрительным в своих похвалах, директор не удержался и крикнул братьям:

— Необыкновенно здóрово!

LXIII

Последующие дни, до самого представления, братья прожили в том сладостном и смутном возбуждении, которое охватывает человеческие существа при непредвиденных проблесках счастья, при осуществлении нечаянного, при неожиданном даре судьбы. Голова у обоих пылала, они чувствовали в ней блаженную пустоту. Волнующая затаенная радость лишала их аппетита, точно горе. Когда они шагали по улицам, им казалось, будто они ступают по ковру. И каждое утро, просыпаясь, они среди бела дня с минуту удивлялись очевидной реальности своего счастья и, томимые сомнением, спрашивали у этого счастья:

— Не сон ли ты?

LXIV

Слесарь и плотник, выслушав указания Джанни насчет снаряда, необходимого для исполнения нового аттракциона в цирке, только что ушли, предварительно еще раз заверив, что все будет готово через пять дней.

— Ну что, читали вы театральные газеты? — спрашивал директор, обращаясь к братьям и придвигая разбросанные по письменному столу газеты, в которых отдельные места были обведены красным карандашом. Вокруг вашего трюка начинается *ажитация,* как говорят аукционисты. Послушайте-ка... вот что пишут: «Поговаривают о новом, совершенно необычайном трюке...», «Идет молва о трюке, который профессионалы считают

невыполнимым, но который будто бы исполнят в ближайшие дни в Летнем Цирке...», «Если верить слухам, распространяемым в мире гимнастов, Париж в скором времени сделается свидетелем трюка, который достоин стать на одну доску с номерами Леотара...», «Прыжок столь смелый и столь сложный, на какой не решались даже античные атлеты...». Согласитесь, ваше выступление рекламируется недурно! Теперь любопытство подзадорено, и надо рассеять туман... Настало время бросить в публику клочки вашей биографии — правдивой или правдоподобной... Сообщите мне кое-какие данные. За пикантной неизвестностью, видите ли, должны последовать увлекательные сведения. Нужно, чтобы Париж познакомился с вашим прошлым, с вашими привычками, вашей внешностью, чтобы он знал историю изобретенного вами аттракциона, чтобы вы предстали перед зрителем как люди, уже известные ему по фотографиям, как вполне определенные личности, на которые могут излиться его симпатии и которыми он уже заранее увлечен. Теперь-то уж вам во что бы то ни стало нужно объявить, что вы — братья и даже всячески это подчеркивать... Итак, окончательно условлено, не правда ли, что на афишах мы поместим: «братья Бескапе».

— Нет! — возразил Джанни.

— Как так — нет?

— Нет! — повторил Джанни.— Бескапе — это имя странствующих паяцев... теперь мы меняем его на другое... которое придумали сами.

— А именно?

— Братья Земганно.

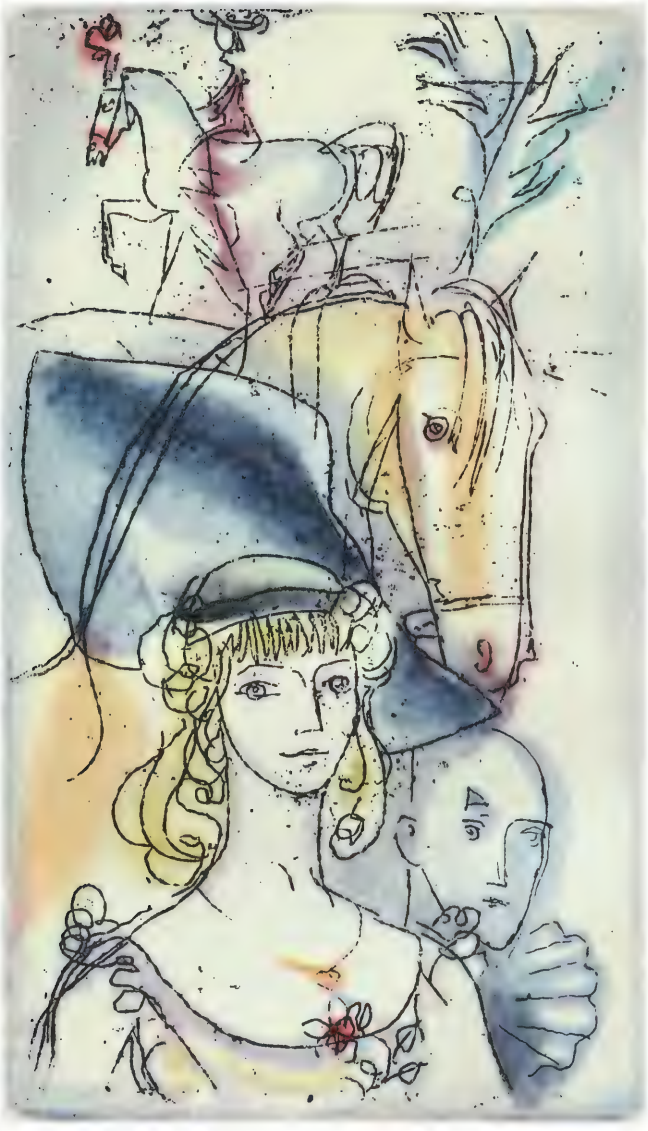
— Земганно... Что ж, имя действительно оригинальное! Оно начинается с дьявольского З, которое звучит как фанфара, словно одна из наших увертюр, знаете, в которой среди барабанного боя звенят колокольчики.

— Да, это имя мы носили там...

— А ведь правда! Я и забыл об этом!

— Это имя пользовалось успехом в Англии,— продолжал Джанни,— и я отложил его про запас до того дня, когда мы наконец... Да и нравится мне это имя, сам не знаю почему или, вернее сказать, знаю почему! — И Джанни закончил, точно говорил сам с собою: — Мы из цыган... и я, вероятно, не сам выдумал это имя... мне кажется, что оно живет в моей памяти, как звучный шепот, срывавшийся с губ нашей матери... когда я был совсем маленьким.

— Земганно так Земганно,— согласился директор.— А сколько времени потребуется вам для репетиций в цирке?



Братья Земганно

— Три-четыре дня — самое большее. Только бы испробовать новый трамплин.

— Прекрасно. Если прибавить к этому пять дней на работу плотника и слесаря... мы сможем выступить через десять дней... Итак, где вы родились и где...

LXV

В день представления братья пообедали в три часа; они пришли в цирк, когда публика уже съезжалась.

— Джанни, помнишь подъезд Зимнего Цирка? — неожиданно спросил Нелло у брата в конце их долгого безмолвного пути.

— Ну и что же?

— Помнишь его в день нашего дебюта? Вокруг цирка было темно и пустынно, у касс — никого, а возле подъезда стояла старая, потрепанная пролетка с кучером, заснувшим на козлах. Помнишь, как, прежде чем войти, мы остановились, посмотрели на все это с грустью и подумали: не везет нам в жизни... Помнишь статуи лошадей у подъезда, их крупы, покрытые снегом, и выступающее из мглы темное здание? В его громадных окнах видны были красные стены, а на их фоне неподвижные шляпы двух контролеров и каска полицейского, прислонившегося к барьеру. А в пустынном вестибюле, кроме служащих,— ни души!

— И что ж из этого?

— А вдруг сегодня в Летнем Цирке нас ждет нечто подобное?

Джанни удивленно взглянул на брата; его поразило, что у Нелло, обычно столь уверенного, зародилось сомнение в их сегодняшнем успехе; он ускорил шаг и, только когда они уже совсем подошли к цирку, ответил:

— Вот,— смотри.

LXVI

В тот вечер — дивный вечер,— когда братьям предстояло исполнить задуманный Джанни трюк, вокруг Летнего Цирка царило оживление, своеобразная уличная лихорадка, сопутствующая зрелищам, где на карту ставится блестящая будущность

или жизнь таланта; парижанин спешит сюда в легкомысленной надежде увидеть, как на столичных подмостках будут есть человеческое мясо. Мокрый асфальт взвизгивал под колесами роскошных экипажей, из которых выходили на тротуар нарядные женщины. Продавцы программ, подогретые вином, громогласно возвещали о представлении, а около касс, осаждаемых бесконечными очередями, шныряли прыткие мальчишки — будущие гимнасты, которые тайком упражняются в каменоломнях парижских предместий и являются сюда за последними новостями.

Ровный газовый свет освещал нарядные желтые свежеотпечатанные афиши, на которых громадными буквами значилось:

ДЕБЮТ
БРАТЬЕВ ЗЕМГАННО

Внутри цирк был опоясан широким этрусским фризом, изображавшим упражнения античных гимнастов; первый круг плафона украшали трофеи в виде щитов, пронзенных копьями и увенчанных шлемами, а на втором круге, в медальонах под полуоткрытыми портьерами, были изображены кавалькады нагих амазонок на строптивых конях. Люстры, подвешенные к тонким железным аркам, сияли огнями и, спускаясь в залу, точно в огромную воронку, освещали на фоне красных бархатных скамеек с белыми деревянными спинками толпу мужчин, в которой тонули светлые наряды женщин,— черную толпу с грязновато-розовыми пятнами вместо лиц, толпу менее яркую, чем в любом другом театре. И эта толпа казалась еще более тусклой и мрачной, когда на ее черном фоне выделялся эквилибрист в костюме из серебряных блесток, работавший на вершине сорокафутовой лестницы, девочка-акробатка в легкой юбочке, кружившаяся вокруг трапеции, или наездница, взобравшаяся на спину Геркулеса, который стоял на двух лошадях; наездница грациозно откидывалась назад, как сильфида, и при этом оборки ее белой юбочки колыхались над трико телесного цвета, придававшим ее телу розоватые оттенки старинных саксонских статуэток.

Цирковая публика, ее беспорядочная масса, давка, копошащееся скопление людей и свет, в котором как бы растворяются лица, свет, поглощаемый тканями одежд,— не напоминает ли все это восхитительные литографии Гойи: трибуны, замершие в созерцании боя быков, бесформенные толпы — и расплывчатые и напряженные?

Здесь и ожидание не то, что в других театрах. Оно серьезно и вдумчиво; здесь каждый замыкается в себе больше, чем на иных зрелищах. Над опасными упражнениями Силы и Ловкости, доведенными до покоряющего величия, витает отголосок того волнения, которое некогда обуревало души римлян во время игр в античном цирке; и заранее как-то сжимается сердце, и к затылку подступает особый холодок от смелости, от безрассудства, от смертельной опасности, грозящей телам под куполом, от торжественного *ап,* приглашающего к встрече в пустом пространстве, от ответного *есть,* быть может означающего смерть.

Цирк был переполнен. В первом ряду галереи, по сторонам от входа, теснились высокие сухощавые старики с седыми усами и бородками, с короткими волосами, зачесанными за большие хрящеватые уши,— явно отставные кавалерийские офицеры, ныне содержатели учебных манежей. На той же скамье наметанный глаз различал преподавателей гимнастики и артистов; тут же поместился и молодой иностранец в каракулевой шапочке, грузно опиравшийся на трость; перед ним поочередно рассыпались в любезностях все цирковые служащие. А проход, ведущий к конюшням, несмотря на надпись, приглашающую занимать места в зале, был настолько запружен, что это даже препятствовало выезду наездников; здесь известные *спортсмены* и клубные знаменитости оспаривали друг у друга места на двух скамеечках, где можно было примоститься стоя и где в этот день устроилась Томпкинс; она не была занята в представлении и, казалось, с любопытством ожидала выступления братьев.

Программа началась без какой-либо сенсации, при общем равнодушии публики; и лишь время от времени потешное кувырканье клоунов вызывало милый, ясный смех и прерывистые радостные восклицания детворы.

Предпоследний номер заканчивался среди всеобщего невнимания, усталости, скуки: зрители шаркали ногами, шуршали давно уже прочитанными газетами и вяло аплодировали, словно подавали милостыню.

Но вот с арены ушла последняя лошадь и откланялась наездница; в зале то там, то сям мужчины переходили с места на место; в толпе, по обеим сторонам от входа, завязались оживленные, громкие разговоры, отдельные обрывки которых возвышались над общим гулом.

— Четырнадцать футов — ну, говорю же я вам,— прыжок на четырнадцать футов! Считайте: во-первых, расстояние от

трамплина до бочки — шесть футов, затем бочка — три фута, старший брат — пять футов, а то и больше. Итого, младший должен прыгнуть на четырнадцать футов, не так ли?

— Да ведь это невозможно! Человек в силах прыгнуть самое большее на высоту в два своих роста, да и то тут нужен трамплин, изготовленный гениальным мастером.

— Но бывали же необыкновенные прыжки в длину! Помните англичанина, который перепрыгнул в старом Тиволи ров в тридцать футов... Полковник Аморос...

— Ведь прыгали же атлеты в древности на сорок семь футов!

— Да полноте... разве что с шестом!

— Господа, что вы мне толкуете о прыжках в длину!.. Ведь речь-то идет о прыжке в высоту!

— Простите, я читал в одной книге, что клоун Дьюхерст,— знаете, современник Гримальди,— прыгал вверх на двенадцать футов и проскакивал при этом сквозь солдатский барабан.

— Совершенно верно, но это прыжок параболический, и такие прыжки мы видим каждый день... их же прыжок совершенно вертикальный, он как бы в печной трубе.

— Как можешь ты наконец не верить, раз они уже совершали этот прыжок, раз они совершат его сейчас... Об этом пишет «Антракт».

— Такие вещи удаются однажды, в силу счастливой случайности, и больше не повторяются.

— Сударь,— могу вас заверить,— я слышал лично от самого директора, что свой трюк они исполняли уже несколько раз как у себя дома, так и здесь... и никогда не было срывов!

.

— А откуда они взялись?

— Ну вот! Разве ты их не узнал?.. Они здесь уже несколько лет... только, по заведенному обычаю, они для нового номера переменили имя...

.

— Четырнадцать футов в высоту, и притом вертикально,— все-таки не верится! Тем более что бочонок, как слышно, узкий, и когда на нем стоит старший брат, младшему не так-то легко проскочить. А малейшее соприкосновение...

— Да разве вы не знаете... здесь деревянная бочка на самом деле всегда холщовая и жесткая у нее только сторона, обращенная к зрителям, то есть та часть, где стоит старший.

— Право, странные вы все... Ведь каждый день делается что-нибудь такое, что до сих пор казалось невозможным... Если бы перед дебютом Леотара...

— Так-то оно так, однако для этого малыша... Да еще, говорят, они к трюку добавляют несколько сальто-мортале, которые делают наверху, оба сразу...

— А знаете, друзья мои, о чем я думаю? Не хотел бы я быть сейчас на их месте! А, вот и они!

И это *а, вот и они* докатилось до самых краев цирка, как глухой, но могучий голос, в котором слился шепот множества губ, приоткрывшихся в блаженном удивлении.

Появился Джанни, сопровождаемый братом, а служители тем временем начали устанавливать под гул залы помост, кончавшийся трамплином; один конец помоста уходил в проход, а другой выступал на арену шагов на двадцать. Джанни, заложив руки за спину, с серьезным и заботливым видом наблюдал, как устанавливают и пригоняют одну к другой деревянные части, и ударял ногою по доскам, чтобы проверить их прочность, иногда он обращался к брату с краткими ободряющими словами и время от времени окидывал амфитеатр спокойным, доверчивым взглядом. Нелло следовал за ним по пятам в явном волнении; это выражалось в каком-то замешательстве, в каких-то зябких жестах, как бывает при физическом или душевном недомогании.

Впрочем, Нелло был очарователен. В этот вечер он был одет в трико, как бы покрытое рыбьей чешуей и отражавшее малейшее движение мускулов игрою струящихся, как ртуть, перламутровых переливов. Направив бинокли на это переливающееся, блестящее тело, публика любовалась его стройным, слегка женственным сложением, скрывавшим под округлостью рук незаметные мускулы и внутреннюю, не ощутимую для глаз силу.

Трамплин приготовили. Любопытство залы было возбуждено, восстанавливалась тишина. Теперь водружали четыре подпорки, возвышавшиеся на шесть футов над трамплином,— четыре железных стержня, изогнутых в виде буквы S, которые расходились в разные стороны у основания и сближались наверху, где их объединял гладкий обруч с выступающими краями. По мере приближения решающей минуты Джанни становился все серьезнее и сосредоточеннее; он продолжал наблюдать за приготовлениями, положив гибкую руку на плечо Нелло. Неожиданно кто-то вызвал его в проход. Тут Нелло, стоявший в бездействии посреди цирка, вдруг смутился от направленного

на него всеобщего внимания,— как смущался, бывало, когда ребенком стал впервые появляться в цирке Бескапе,— и ушел с арены на поиски брата.

Тогда, среди охватившего всех безмолвного оцепенения, на обруч, венчавший четыре подпорки, был установлен белый бочонок, и тут же раздался взрыв оглушительно резкой музыки, которою оркестры цирков подхлестывают энергию мускулов, воодушевляют на героические головоломные трюки.

Джанни направился было к трамплину, чтобы окинуть последним взглядом конструкцию и проверить правильность установки бочонка, но при звуках увертюры он поспешил вернуться в проход. Музыка неожиданно оборвалась, и среди полнейшей тишины,— казалось, зрители перестали даже дышать — послышались мощные шаги гимнаста по пружинящим доскам, и почти в тот же миг он появился на ободке бочки и стал там в совершеннейшем равновесии.

Но, в то время как, приветствуя успех гимнаста, вновь грянула музыка и раздался гром аплодисментов, выпадающий в цирке лишь на долю трюков,— публика в недоумении заметила, что Джанни нагнулся, удивленно смотрит на бочонок и откинутой назад рукой словно хочет остановить разбег брата, который уже мелькнул в предшествующей взлету позе: руки его, точно крылья, были подняты вверх, а кисти свободно спадали. Но музыка опять резко оборвалась, вызвав внезапной паузой стеснение в сердцах, а Нелло уже дал брату последний сигнал с трамплина, и Джанни, выпрямившись, через плечо бросил брату нерешительное, тревожное, отчаянное «ап», прозвучавшее как: «бог милостив!» — как восклицание, которое вырывается у человека в крайние минуты, когда нужно немедленно принять какое-либо решение и уже нет времени обдумать, измерить грозящую опасность.

Нелло молнией пронесся по трамплину, бесшумно касаясь гулкого настила; на груди у него мелькало что-то блестящее, похожее на амулет и, по-видимому, выбившееся из-под трико. Он четко ударил обеими ногами о край упругих досок и взвился — можно сказать, подброшенный и поддерживаемый в воздухе напряжением всех лиц, обращенных вверх, к бочонку.

Но что случилось в это жгучее мгновенье, когда толпа искала глазами, уже почти видела юного гимнаста на плечах брата? Джанни потерял равновесие и полетел вниз, а Нелло, упав с бочки и сильно ударившись о край трамплина, покатился на пол, привстал — и снова упал.

По зале пронесся сдавленный вопль; Джанни, по-отечески

взяв брата на руки, уносил его с арены. А глаза Нелло выражали ту мучительную тревогу, какая бывает у раненых, только что вынесенных с поля сражения, когда они взглядом вопрошают все окружающее: что с ними, не смертельна ли их рана?

LXVII

За общим подавленным криком, за трепетным смятением сердец последовало зловещее оцепенение, и в переполненной зрительной зале наступила тишина, та, по выражению одного простолюдина, *жуткая* тишина, что нависает при больших скоплениях народа вслед за разразившейся катастрофой; и сквозь эту тишину то там, то сям раздавался плач девочек, которых матери прижимали к себе.

Все неподвижно сидели на местах, словно несчастный случай не положил конец представлению; все ощущали неодолимую потребность еще раз увидеть сорвавшегося гимнаста, увидеть хотя бы на минуту, что он стоит, поддерживаемый под руки, на собственных ногах, и тем самым убедиться, что он разбился не насмерть.

Униформисты, точно солдаты, получившие приказ не сходить с места, сплошной стеной загораживали проход за кулисы, упираясь руками в барьер и опустив головы, так что на их лицах ничего нельзя было прочесть. А посреди арены еще возвышались покинутые, неубранные снаряд и аксессуары последнего номера; музыканты, затаив дыхание, еще держали в руках инструменты; и внезапное прекращение оживленной, шумной жизни представления, зрелища смелой игры Силы, придавало всем этим застывшим лицам нечто трагически странное.

Время шло, а о юноше все не было никаких вестей.

Наконец один из униформистов отделился от группы, и у всех вырвался вздох облегчения. Он выступил на арену шагов на десять и, трижды поклонившись с серьезным видом, проговорил:

— Дирекция спрашивает: нет ли среди публики врача?

Соседи обменивались недоумевающими взглядами, поджимали губы и безнадежно качали головой, а сквозь толпу, между скамейками, уже пробирался молодой еще человек — длинноволосый, с задумчивыми черными глазами, и взоры всех провожали его на арену с каким-то жестоким любопытством.

Публика продолжала сидеть на местах, не решаясь уйти, ждала и, по-видимому, собиралась ждать еще неопределенно долгое время.

Служащие начали разбирать трамплин, взволнованно жестикулируя и перешептываясь; другие стали гасить свет, а так как мрак, спускавшийся в уже полутемную залу, все же не разгонял публику,— билетерши принялись вытаскивать из-под ног зрительниц скамеечки и слегка подталкивать людей к дверям, но толпа все медлила, и головы всё оборачивались назад, к тому месту, откуда унесли Нелло. И над безмолвно расходящейся толпой поднимался неясный шепот, расплывчатый гул, смутный рокот, в котором можно было расслышать слова:

— У младшего сломаны обе ноги.

LXVIII

Доктор стал на колено и склонился над Нелло, лежавшим на предохранительном матраце батуда — на том матраце, куда прыгает вся труппа во время вольтижировки, которой обычно завершается представление.

Вокруг пострадавшего толпились артисты и служащие цирка; взглянув на его бледное лицо, они отходили и по углам шепотом обменивались замечаниями о публике, не желающей расходиться, о заболевшем некстати цирковом враче и о том, что вместо холщового бочонка, который предназначался для трюка, на арене каким-то образом появился бочонок деревянный; и все это прерывалось восклицаниями:

— Странно!.. Непонятно!.. Непостижимо!..

Доктор долго ощупывал ноги Нелло, потом, выпустив, из рук ногу, ступня которой, в разорванном трико, была перекошена и безжизненно болталась, поднял голову и обратился к стоявшему тут же директору:

— Да, сломаны обе ноги... А в правой, кроме перелома малой берцовой кости, имеется еще и осложненный перелом у ступни. Я сейчас дам записку в лечебницу. Кости вправлю я сам... ведь ноги — это его хлеб.

— Это мой... настоящий брат, я очень люблю его, и я заплачу вам, сударь, как богач... со временем...— обратился к нему Джанни, стоявший на коленях по другую сторону матраца.

Доктор посмотрел на Джанни большими ласковыми, грустными глазами, как бы медленно проникавшими в глубь вещей и живых существ, и, видя сдержанную муку и глубокое отчаяние этого человека, одетого в блестки и мишуру, он спросил:

— Где вы живете?

— О, очень далеко, сударь!

— Но где, я вас спрашиваю? — почти грубо повторил доктор.— Хорошо,— продолжал он, когда Джанни дал ему адрес,— вечером я еще должен навестить больного в конце предместья Сент-Оноре. Я буду у вас около полуночи. Запаситесь лубками, гипсом, бинтами. Любой аптекарь скажет вам, что́ именно требуется... Тут где-нибудь должны быть носилки... они ведь входят в число здешних аксессуаров,— тогда больной будет меньше страдать при переноске.

Доктор помог водрузить молодого клоуна на носилки, со всевозможными предосторожностями поддерживал его переломанную в двух местах ногу и, уложив ее поудобнее, сказал Нелло:

— Дитя, потерпите еще часа два, и я к вашим услугам.

Обрадованный Джанни в порыве признательности наклонился к руке доктора, чтобы поцеловать ее.

LXIX

Ночью во время долгого пути от цирка до Терн, между прохожими, которые оборачивались им вслед, Джанни шел около брата с тем безжизненным, окаменелым выражением лица, какое можно наблюдать на улицах Парижа у тех, кто сопровождает в больницу носилки с умирающим.

Нелло внесли в его комнатку, и доктор приехал как раз в тот момент, когда Джанни с помощью двух цирковых служителей только что уложил брата в постель.

Вправка была страшно мучительной. Пришлось вытягивать ногу, так как в месте перелома кости слегка зашли одна за другую. Джанни вынужден был разбудить соседа, и они принялись тянуть ногу вдвоем.

Страдания Нелло выражались только судорожным подергиванием лица, и во время самых неимоверных мучений он ласковым подбадривающим взглядом как бы говорил брату — очень бледному,— чтобы тот не боялся причинить ему боль.

Но едва только обломки берцовой кости были наконец вправлены, лубки наложены и началось бинтование, суровый и закаленный Джанни, державший себя до того времени в руках, вдруг лишился чувств,— как те военные, которые видели не одно поле сражения и все же падают в обморок при виде крови, потерянной женой во время родов.

LXX

Когда перевязка была окончена и доктор ушел, когда над кроватью было подвешено ведро, из которого на ноги больного капала холодная вода, когда боль немного затихла,— первым его словом было:

— Скажи, Джанни, сколько времени это продлится?

— Да он не сказал... не знаю... Постой... Кажется, когда в Мидльсборо — помнишь? — большой Адамс сломал себе ногу... он провозился с нею месяца полтора...

— Целых полтора месяца!

— Но ведь не собираешься ты завтра же...

— Пить хочется... дай попить...

У Нелло поднялся жар, от которого горело все тело, а за острой болью от переломов последовали и другие боли, подчас столь же невыносимые; начались судороги, вздрагивания, причинявшие такие муки, словно это были повторные переломы; даже когда ступня больного просто неподвижно лежала пяткой на подушке, ему через некоторое время начинало казаться, будто какой-то острый предмет вонзается ему в нервы; мучителен был и холод в ногах, невыносимый холод от беспрерывно капающей воды. И лихорадка эта, и боли, особенно усиливавшиеся по вечерам, целую неделю не давали Нелло уснуть.

LXXI

Эти беспокойные ночи вызывали такую усталость, что больной иногда засыпал на несколько часов днем.

Джанни заботливо охранял сон брата, но вскоре от тягостной неподвижности ног, не участвующих в беспокойных движениях всего тела, у спящего начинали вырываться невольные жалобы, которых не слышно было в бессонные ночи; лицо его начинало подергиваться, и Джанни казалось, что с кровати, окруженной скорбным покоем, доносятся немые упреки; тогда Джанни вставал со стула, тихонько брал шляпу и выходил на цыпочках, попросив скотницу из соседнего коровника немного посидеть возле брата.

Джанни шел куда глаза глядят и в конце концов неизменно оказывался в Булонском лесу, неподалеку от их дома,— в лесу, с главных аллей которого его гнала веселая толпа сегодняшних счастливцев,— и углублялся в одну из уединенных просек.

Здесь, возбужденный ходьбою, он вслух высказывал свои горестные мысли; у него вырывались невнятные прерывистые восклицания, в которых хочет излиться из сердца великая, глубокая скорбь одиноких.

— Какая глупость!.. Плохо ли нам жилось... зачем было желать лучшего?.. Что за надобность, скажите на милость, была в том, чтобы говорили, что мы совершили прыжок, который не могли совершить другие? Вот горе! И что это ему дало? Все я... ведь у него нет моего проклятого тщеславия — нет ни капли! И когда мальчуган упирался — я заставлял его, я говорил: прыгай! И он прыгал, невзирая ни на что... прыгал потому, что бросился бы и в реку, если бы я велел ему... Ах, если бы можно было вернуться к временам Маренготты... Как бы я сказал ему: давай проживем всю нашу собачью жизнь балаганными скоморохами... так и протянем до самого конца... Это я... да, один я... виноват в этом несчастье.

И, подолгу раздумывая о цветущей юности брата, чуждого тщеславия, о его беспечности и лени, о склонности к легкой безмятежной жизни, он убеждался в том, насколько его собственный пример, его жажда известности, его упрямое нежелание жениться противоречили, мешали, противодействовали жизни брата, всецело принесенной в жертву его жизни,— и у него наконец вырвались горькие, полные раскаяния слова:

— Вдобавок, ведь ясно как день... вся тяжесть трюка ложилась на него... Чем я-то рисковал? А он... на пять футов выше... пять футов в высоту... и как не пришло в мою злополучную голову, что он может разбиться насмерть. Да, хорош я, нечего сказать... Я играл в этом деле роль барина и просто заложил ручки в карманы. Какое преступление!.. Всему виною я!

Расхаживая быстрыми шагами, он в бессильной злобе стегал тростью высокую траву по краям аллеи, и вид поникших сломанных стеблей немного облегчал его страдания.

LXXII

Доктор, почувствовавший к братьям симпатию и тронутый их взаимной любовью, в течение первой недели приезжал ежедневно, чтобы сделать перевязку, тут отпустить бинты, там подтянуть их. В последний свой визит он сказал Джанни:

— В положении костей нет никаких ненормальностей... опухоль прошла... *срастание* идет своим чередом. А ночи, вы

говорите, он проводит по-прежнему беспокойно? Однако жару нет... Ну, раз вы желаете, я дам ему успокоительное — для сна.— И он написал рецепт.

— Ваш брат, видимо, тяготится необходимостью лежать неподвижно, перерывом в обычных занятиях... это гложет беднягу. Но общее состояние,— будьте уверены,— не вызывает никаких опасений; через несколько дней нервное возбуждение и бессонница пройдут, а вот что касается ног — дело будет затяжное!

— Сколько же, по-вашему, ему придется пролежать в таком положении?

— Мне думается, он сможет встать на костыли не ранее как через два месяца, ну — семь недель. Впрочем, закажите костыли теперь же,— когда он их увидит, это даст ему надежду, что он скоро сможет ходить.

— А когда, доктор...

— А! Вы, верно, хотите спросить, мой бедный друг, когда он сможет взяться за работу?.. Если бы дело ограничивалось переломом левой ноги, а ведь у него еще два перелома в правой — и переломы серьезные, затрагивающие суставы. Впрочем, конечно,— добавил он, видя, как опечалилось лицо Джанни,— он будет ходить и без костылей, но что касается... Впрочем, природа иной раз творит чудеса! Ну-с, хотите еще что-нибудь спросить?

— Нет,— промолвил Джанни.

LXXIII

Опиум, содержавшийся в успокоительной микстуре, которую давали Нелло на ночь, наполнял его лихорадочный, тревожный сон смутными видениями.

Ему снилось однажды, что он в цирке. Это был цирк, и это не был цирк, как случается во сне, когда — странная вещь — мы узнаем себя в местах, не сохранивших ничего своего, изменившихся до основания. Словом, на этот раз цирк разросся до огромных размеров, и зрители, сидевшие по ту сторону арены, представлялись Нелло расплывчатыми и безликими, словно находились от него за четверть мили. А люстры, казалось, множились ежесекундно и не поддавались счету; свет их был причудлив и слегка походил на пламя свечей, отраженное в зеркалах. Оркестр был большой, как в театре. Музыканты лезли из кожи вон, но не извлекали ни единого звука из немых скрипок и

умолкшей меди духовых. А в бесконечном пространстве мелькал вихрь маленьких детских тел, стремительный бег лошадей со всадниками, сидящими на развевающихся хвостах, параболы тел акробатов, которые не падали, а парили в воздухе, подобно невесомым предметам. А вдаль уходили длинные ряды трапеций, и на них развертывалось бесконечное сальто-мортале; открывались аллеи несчетных бумажных обручей, сквозь которые беспрерывной вереницей шли женщины в тюлевых платьицах, а с высот, равных башням собора Парижской богоматери, спускались, подпрыгивая, бесстрастные канатные плясуньи.

Все это смешивалось, стиралось в меркнувшем свете газа; в цирк врывалась целая тысяча клоунов; на их облегающих черных костюмах белым шелком были вышиты скелеты; в рот у них были засунуты клочки черной бумаги, отчего рты казались беззубыми черными ямами. Уцепившись друг за дружку, они шли вокруг арены, раскачиваясь единым равномерным движением, напоминающим извивы бесконечной змеи. Неожиданно из земли тысячами вырастали маленькие столбики, и на каждом из них торчало по клоуну; они сидели, обхватив руками высоко задранные кверху и разведенные ноги, между которыми высовывались головы, смотревшие на публику неподвижно, словно какие-то набеленные сфинксы.

Снова вспыхивал газ, и вместе со светом на лица зрителей, только что казавшиеся призрачными, вновь возвращалась жизнь, а черные клоуны исчезали.

Тогда начинались прыжки, вольтижировка, скачки усыпанных блестками тел, которые бороздили небо, как падающие звезды, и все приходило в движение; тела казались бескостными, чудовищными; резиновые руки и ноги, словно ленты, сплетались в розетки; великанши залезали в крошечные ящички; разыгрывался кошмар, сотканный из всего невозможного, неосуществимого, что свершает человеческое тело. И в нелепостях сновидений смешивалось, сливалось воедино и то, что Нелло как будто видел где-то, и то, о чем читал ему брат. Ему мерещился индус-жонглер, каким-то чудом сохраняющий равновесие, сидя в розетке гигантского и легкого двусвечного канделябра; современный Геркулес поднимал, взявшись зубами за подножку, полный пассажирами омнибус; античный акробат, ковыляя, прыгал на вздутый, просаленный бурдюк; танцующий слон выделывал воздушные пируэты на протянутой проволоке.

Опять меркнул свет, и черные клоуны на мгновенье вновь появлялись на столбиках.

И представление начиналось сначала. Теперь при освеще-

пии, лишающем предметы красок и полном кристаллических льдистых блесток, какими искрятся фигуры и узоры, вырезанные на венецианских зеркалах, являлось как бы искусственное белое солнце, образовавшееся из женских ног, из мужских рук, из детских тел, из лошадиных крупов и слоновых хоботов,— круговорот человеческих и звериных обрубков, мускулов, жил, и стремительность их вращения, постепенно все возрастая, разливала по телу спящего усталость и боль.

LXXIV

— Болит? Тебе опять было плохо ночью? — спросил Джанни, входя к брату.

— Нет,— ответил Нелло,— нет... но у меня был, кажется, чертовский жар... и глупейшие сны снились.

И Нелло рассказал только что виденный сон.

— Да,— продолжал он,— представь... я видел себя как раз на том месте, где сидел, помнишь, в вечер нашего приезда в Париж,— внизу, слева, у самого входа... странно, не правда ли? Но самое любопытное не это, а вот послушай... Когда народ стал входить в цирк, все эти расплывчатые лица смотрели на меня с тем странным выражением, какое, знаешь, бывает у человека, который снится тебе и что-то против тебя замышляет... погоди... и все эти чудные человечки, поравнявшись со мной, исподтишка показывали мне — на какую-нибудь секунду — особую вывесочку; я наклонялся, чтобы прочесть, что там написано, и с трудом различал (а теперь вижу вполне отчетливо) дощечку, где изображен я сам в клоунском костюме и... на костылях, которые ты мне вчера заказал!

И Нелло круто оборвал рассказ, а брат его долго стоял опечаленный, не находя слов для ответа.

LXXV

— Но скажите: как вы объясняете замену холщового бочонка деревянным; ведь такого бочонка вообще не было в цирке, и он очутился на арене каким-то чудом.

Так говорил директор цирка; он пришел навестить Нелло и беседовал с Джанни на пороге их дома.

— Ах, да, деревянный бочонок,— молвил Джанни, как бы припоминая,— правда! Этот несчастный бочонок совсем вылетел

у меня из головы, с тех пор как... случилась эта беда. Но подождите... В самом деле, ведь она никогда не присутствовала на представлениях, если сама не выступала, а в тот день почему-то была в цирке и стояла на скамейке в проходе... Я как сейчас вижу ее в тот момент, когда нес брата... она словно ждала... И притом этот незнакомец, который в последнюю минуту хотел передать мне письмо... я его так и не нашел.

— Вы тоже подозреваете Томпкинс,— как Тиффани, как все, как я сам... А что думает ваш брат?

— Да что ж он может думать? Все это произошло так молниеносно, что он помнит только, как падал на арену... Он не знает, ударился ли о деревянный бочонок или обо что другое... Мальчуган думает, что у него просто не удался трюк, как это случается,— вот и все... и, сами понимаете, не мне...

— Да, это вполне возможно,— продолжал директор, развивая собственную мысль и не слушая Джанни,— вполне возможно... Тем более что негодяя, который устанавливал бочонок, приняли на конюшню по рекомендации Томпкинс. И о нем нельзя с уверенностью сказать, был ли он действительно пьяницей или только прикидывался... Я пробовал развязать ему язык, но мне это так и не удалось. Он не возразил ни слова, когда его рассчитали, но выражение на его скотской морде было подлейшее. Да, с американки станет отпустить крупную сумму ради такой мерзкой *каверзы*... Словом, дорогой мой, я сделал все, что мог... я просил произвести расследование... Вы знаете, что она на другой же день уехала из Парижа?

— Оставьте эту злобную гадину! Если несчастье и случилось из-за нее... все что бы вы ни предприняли, не вернет брату ног,— сказал Джанни, махнув рукой с таким отчаянием, в котором уже не оставалось места для гнева.

LXXVI

Острая боль в сломанных ногах стала переходить у Нелло в смутное недомогание; он чувствовал, как по ногам его бегают мурашки — это сказывался процесс окончательной спайки костей. У больного появился аппетит, он стал хорошо спать по ночам, и вместе со здоровьем к нему возвращалась веселость — спокойная и вся проникнутая радостью исцеления. Доктор снял лубки, наложил на правую ногу крахмальную повязку и назначил день, когда больной сможет встать и попробовать ходить по комнате на костылях.

LXXVII

Долгожданный день настал: Нелло позволили наконец подняться с постели,— он пролежал неподвижно почти два месяца. Джанни заметил, что комнатка их очень уж тесна, а на дворе сияет солнце, и предложил брату перебраться в музыкальный павильон, чтобы там попробовать стать на ноги. Джанни собственноручно вымел помещение, очистил от травы, камней и гравия, чтобы брат не поскользнулся на них. Только после этого он перенес Нелло в павильон, где они прошлым летом давали друг другу такие прелестные концерты. И младший брат начал ходить, а старший шел около него, следуя за ним шаг за шагом, готовясь подхватить его, как только ноги Нелло станут слабеть и подкашиваться.

— Вот странно,— восклицал Нелло, опираясь на костыли,— мне кажется, что я совсем маленький... что я только что начинаю ходить, в самый первый раз... оказывается, ходить очень трудно, Джанни. Как глупо! А ведь это кажется таким естественным, пока не сломаешь ног! Ты, может быть, воображаешь, что очень удобно орудовать этими штуками,— да нет, это не так-то просто! Когда я впервые стал на ходули, дело шло куда легче. Вот бы я стеснялся, если бы кто-нибудь смотрел на меня со стороны! У меня вид, должно быть, очень... того... Ой, ой! Черт возьми, земля словно непрочно стоит; погоди, сейчас опять наладится, ничего. Мои бедные ноги — как тряпки!

И в самом деле, тяжело было смотреть, с каким трудом и напряжением это юное тело старается удержаться на неуклюжих ногах, какая застенчивость, робость и страх охватывают юношу, когда он тяжело передвигает слабые ноги, каких усилий стоит ему каждый шаг, как всякий раз он сначала выставляет вперед наиболее пострадавшую ногу.

Но Нелло, невзирая ни на что, упорно продолжал ходить; его ноги, хотя еще и неустойчивые, понемногу обретали старую привычку быть ногами, и эта маленькая победа зажигала в глазах искалеченного радостный огонек, вызывала у него улыбку.

— Джанни, ко мне! Падаю! — вдруг вскрикивал он шутя, а когда испуганный брат поспешно подхватывал его, приблизив лицо к его губам, он целовал его в щеку и покусывал, как щенок.

Они провели радостный вечер; Нелло весело болтал и уверял, что не пройдет и двух недель, как он швырнет костыли в Сену с моста Нейи.

LXXVIII

Состоялось шесть-семь таких сеансов ходьбы в музыкальном павильоне, полных радости, полных надежды на будущее. Но по прошествии недели Нелло заметил, что он ходит ничуть не лучше, чем в первый день. Прошло полмесяца, а у него все не было ощущения, что он приобрел хоть малость устойчивости и уверенности. Временами ему хотелось попробовать обойтись без костылей, но его тотчас же охватывал страх, смутный, панический страх, который можно видеть на личиках детей, когда они шагают навстречу протянутым рукам, но вдруг не решаются идти дальше и уже готовы расплакаться,—страх, от которого Нелло, едва бросив костыли, снова хватался за них, как утопающий хватается за багор.

Истекал месяц с того дня, как Нелло стал ходить, и его ежедневные упражнения становились все мрачнее, все молчаливее, все грустнее.

LXXIX

Однажды во время обеда младший сказал старшему:

— Джанни, мне бы хотелось побывать в цирке, пока еще не кончился сезон в Елисейских полях.

Джанни, подумав о том, сколько горечи принесет брату это посещение, ответил:

— Ну что ж, когда захочешь... только не сегодня.

— Нет, сегодня, именно сегодня мне хочется поехать,— возразил Нелло тем не терпящим возражений тоном, каким всегда говорил, когда брат колебался исполнить его желание.

— Ну, поедем,— покорно сказал Джанни,— я пойду скажу коровнице, чтобы позвали извозчика.

И он помог брату одеться, но, подавая костыли, не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Ты сегодня и без того порядочно утомился, лучше бы отложить это на другой раз.

Губы Нелло сложились в ласковую полуулыбку, полугримаску, как у ребенка, который просит не бранить его за каприз.

В коляске он был весел, говорлив, а иногда прерывал свою веселую болтовню вкрадчивым и насмешливым вопросом:

— Скажи по правде, тебе тяжело видеть меня таким?

Подъехали к цирку. Джанни на руках вынес брата; Нелло стал на костыли, и они направились к входу.

— Погоди,— сказал Нелло, вдруг помрачнев при виде ярко освещенного здания, откуда доносились обрывки шумной музыки.— Да, погоди; вон стулья, посидим немного.

Стоял конец октября, весь день лил дождь, и к вечеру трудно было сказать с уверенностью, не моросит ли еще и сейчас; это был один из тех парижских осенних дней, когда небо, земля, стены домов словно истекают водой, когда ночью отсветы газа на тротуарах кажутся пламенем, отраженным в реке. По пустынной аллее, где виднелось два-три силуэта, терявшихся в сырой мгле, к братьям неслись грязные листья, гонимые порывами ветра, а у ног на влажной земле ложились круглые тени от бесчисленных железных скамеек, напоминая страшные сонмища крабов, карабкающихся по страницам японских альбомов.

Внезапно из цирка донесся шум аплодисментов, тех аплодисментов простонародья, которые гремят, словно стопки тарелок, брошенные из-под сводов на арену.

Нелло вздрогнул, и Джанни заметил, что глаза брата обратились на костыли, лежащие около него.

— Но ведь дождь идет! — заметил Джанни.

— Нет,— промолвил Нелло, как человек, всецело поглощенный своей мыслью и отвечающий невпопад.

— Ну как, братишка, идем мы или нет? — сказал немного погодя Джанни.

— Знаешь, мне расхотелось... Да, я буду стесняться... Позови извозчика... и отправимся домой.

На обратном пути Джанни не мог вырвать у Нелло ни слова.

LXXX

Теперь у младшего брата бывали дни полного уныния, когда он отказывался ходить и с утра до ночи лежал в постели, говоря, что не в ударе.

Джанни повез его к доктору. Тот снова заверил Нелло, что он со временем, в недалеком будущем, будет ходить без костылей. Но от неопределенных выражений доктора, от сомнений, сквозивших в его расспросах, от раздумий, во время которых люди науки говорят сами с собой, от туманных упоминаний об отвердении суставов плюсны и берцовой кости, о затруднениях, которые встретятся в будущем при сгибании правой ноги, Нелло вернулся домой в тревоге, что не сможет больше прыгать, не сможет исполнять трюки, требующие эластичности и гибкости ног.

LXXXI

Мало-помалу в сердце каждого из них закрадывалась,— хоть они и не делились ею,— безнадежная мысль, что дело, что радость всей их жизни — содружество, в которое они вложили и взаимную привязанность, и ловкость своих тел,— близится к концу. И эта мысль,— сначала лишь молнией мелькавшая в их мозгу, являвшаяся лишь мгновенной робкой тревогой, лишь преходящим злым сомнением, которое тотчас же отбрасывалось всеми силами любви, надежды и взаимной привязанности,— превращалась в глубине их сердец, по мере того как проходили дни, не принося улучшения, в нечто стойкое и непоколебимое, становилось твердой уверенностью. Постепенно в уме братьев совершалась мрачная работа, обычно происходящая в душе родственников человека, больного неизлечимой болезнью, которую ни сам умирающий, ни его близкие не хотят считать смертельной; работа эта с течением времени, по мере нарастания зловещих признаков,— благодаря выражению лиц окружающих, намекам докторов, благодаря раздумьям в сумеречные часы и всему, что припоминается в бессонные ночи, что внушает смятение, что шепчет в тихи комнаты: смерть, смерть, смерть! — превращает мало-помалу, путем ряда медленных жестоких завоеваний и обескураживающих внушений, первоначальную смутную, преходящую тревогу в полную уверенность для одного в том, что он умирает, для других,— что они будут свидетелями его смерти.

LXXXII

Нелло лежал на кровати печальный, притихший, растянувшись во всю длину, накинув на одеревенелые ноги коричневое одеяло, и не отвечал брату, который сидел около него.

— Ты молод еще, очень молод,— говорил ему Джанни,— все наладится, мой дорогой. И даже если потребуется перерыв в работе, хоть на год, хоть на два,— что ж, мы подождем... впереди у нас еще много времени — хватит и на трюки!

Нелло не откликался.

Все предметы вокруг братьев поглотила незаметно спустившаяся ночь; и в сумерках этого грустного часа лишь бледными пятнами выступали их лица, руки младшего, скрещенные на одеяле, да в углу, на крюке, поблескивали серебряные отвороты его клоунского костюма.

Джанни поднялся, чтобы зажечь свечу.

— Посидим еще так,— промолвил Нелло.

Джанни снова уселся возле брата и снова заговорил, стремясь добиться от него хоть слова надежды на будущее, пусть и отдаленное.

— Нет,— внезапно прервал брата Нелло,— я чувствую, что уже никогда больше не смогу работать... больше никогда; понимаешь, никогда...

И это отчаянное *никогда* звучало в устах Нелло с каждым разом все взволнованнее, как в припадке, как в приступе глухой злобы. Наконец несчастный юноша, охваченный нестерпимым горем артиста, который сознает, что талант его умер прежде него самого, постучал по своим искалеченным ногам и воскликнул:

— Говорю тебе,— для нашего ремесла это теперь уже пропащие ноги!

И он отвернулся, точно хотел уснуть и помешать разговорам брата. Но вскоре у Нелло, уткнувшегося носом в стенку, вырвались слова, в которых вопреки его мужской воле послышалось как бы всхлипывание женщины:

— А как хороша была зала! Ведь цирк был полон в тот вечер! Как прикованы были к нам все взоры! Что-то особенное билось в наших сердцах и даже отчасти передавалось публике... На улице стояла очередь... На афишах — наши имена крупными буквами... Помнишь, Джанни, когда я был совсем маленьким и ты говорил мне о новом трюке, который мы изобретем,— ты думал, что я не понимаю, а я ведь все понимал и ждал так же, как и ты сам... И хоть я и дразнил тебя — мне ведь, что ни говори, тоже не терпелось... И вот когда все было готово... вот и кончились для меня аплодисменты! — Потом, резко повернувшись и взяв руки брата в свои, он ласково сказал: — Но ты ведь знаешь: я буду радоваться твоим успехам, и то будет хорошо! — И Нелло сжимал руки Джанни, как бы не решаясь признаться в чем-то.— Брат,— вздохнул он наконец,— прошу тебя только об одном... но обещай мне это... Обещай, что ты теперь будешь работать только один... если появится у тебя другой партнер, мне будет слишком тяжело... Обещаешь, да? Не правда ли, никогда не будет другого?

— Если ты не выздоровеешь,— просто ответил Джанни,— я не стану работать ни с другим, ни один.

— Я не прошу у тебя так много, не прошу! — вскричал младший в радостном волнении, опровергавшем его слова.

LXXXIII

Начиная с этого вечера Нелло, беседуя о своем ремесле с братом или товарищами, которые приходили его навестить, никогда уже не употреблял настоящего времени. Он никогда не говорил: «Я делаю это так... у меня это выходит следующим образом... я подготовляю эту штучку этак»; он говорил: *«Я делал это так... у меня это выходило следующим образом... я подготовлял эту штучку этак»*. И это жестокое прошедшее время, то и дело возвращаясь на его уста, звучало как хладнокровное признание клоунской смерти, как своего рода приглашение на его похороны.

LXXXIV

Время шло, а Нелло все не мог обойтись без костылей, и он стал впадать в состояние сосредоточенности, самоуглубленности, молчаливой задумчивости, на его нежном лице, разучившемся улыбаться, все чаще и чаще появлялось невыразимо скорбное выражение. Погруженный и как бы затерявшийся в глубине самого себя, он реагировал теперь на слова брата удивленным «а?», точно пробуждался, вырывался из тягостного сна. И на вопросы Джанни он уже почти никогда не отвечал прямо.

— Почему ты сегодня такой унылый? — допытывался старший.

— Почитай мне Аркапджело Туккаро,— отвечал, помолчав, младший.

И Джанни брал книгу, но вскоре прекращал чтение, заметив, что Нелло не слушает, что его охватила грусть, навеянная столь мрачными мыслями, что Джанни не смел и спросить о них, и тогда самому ему хотелось плакать. Джанни проводил целые дни возле больного, но однажды случилось, что он ненадолго ушел, и через открытое окошко до слуха Нелло каких-нибудь двадцать минут или полчаса доносилось позвякивание колец трапеции, на которой упражнялся Джанни.

Вернувшись, Джанни нашел брата в странном состоянии — раздражительным и придирчивым. А однажды, когда Джанни выпустил трапецию из рук на всем лету, так что еще долго слышалось медленно замиравшее позвякивание, Нелло, нетерпеливо повернувшись два-три раза в постели, вдруг сказал брату:

— Поди прекрати... меня раздражает этот звук...

Джанни понял и с этого дня совсем перестал упражняться.

LXXXV

Бывали минуты, когда задушевность Нелло как бы тонула в его грусти, и тогда Джанни казалось, что он не находит в брате привязанности прежних дней — дней, когда тот был здоров. Дружба их — дружба, на которой зиждилось их земное счастье,— стала не та.

«Нет, я уже не чувствую себя любимым, как прежде»,— твердил себе Джанни; и, как он ни старался уговорить себя, сознание громадной потери, вызванной нравственным состоянием дорогого калеки, ввергало его в жестокую скорбь, и ее можно было заглушить только суетой и движением.

LXXXVI

Однажды ночью Нелло проснулся.

Через дверь, которая всегда оставалась отворенной,— так что, если одному из них не спалось, он мог слышать дыхание другого,— Нелло на этот раз не расслышал ничего.

Он сел на кровати, прислушался. По-прежнему ни звука. Из комнаты Джанни доносилось только тикание больших старинных отцовских часов.

Охваченный безрассудной тревогой, как случается иногда во время внезапных ночных пробуждений, он окликнул Джанни раз, другой.

Ответа не было.

Нелло спустился с постели и, не взяв костылей, а ковыляя, цепляясь за мебель, как мог добрался до кровати брата. Она была пуста, а откинутое и скомканное одеяло говорило о том, что Джанни встал после того, как он, Нелло, уснул. Вот новость!.. До сих пор брат никогда ничего не скрывал от него. Почему же теперь он ушел тайком?

У Нелло мелькнула догадка; он заковылял к окну, и его глаза впились во мрак столярной мастерской.

«Да, темновато... но все же внутри горит свет».

Нелло ползком спустился по лестнице и пересек двор.

Дверь была приотворена; при свете огарка, стоявшего на полу, Джанни упражнялся на трапеции.

Нелло вполз так тихо, что гимнаст не заметил его появления. И младший брат, стоя на коленях, смотрел, как ловкое, крепкое тело старшего носится в воздухе с неистовой энер-

гией. Наблюдая за ним, таким гибким, проворным и сильным, Нелло подумал, что никогда брату не отказаться от работы в цирке; и эта мысль вдруг исторгла из его груди отчаянный вопль.

Застигнутый этим рыданием в самом разгаре упражнения, Джанни сел на трапеции, наклонив голову в сторону жалкого комка, который полз в темноте на четвереньках, затем резким рывком сорвал трапецию, швырнул ее в окно, разлетевшееся вдребезги, подбежал к брату, приподнял его и прижал к груди.

И, обнявшись, они принялись плакать и плакали долго, не говоря ни слова.

Потом старший окинул взглядом принадлежности своего ремесла и, навсегда прощаясь с ними в величественном самоотречении, вскричал:

— Малыш, обними меня... Братья Земганно умерли... остались лишь два *пиликальщика* на скрипках, которые отныне будут играть, только сидя на стульях.

ПЕРЕВОД Д. ЛИВШИЦ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В наши дни историк, готовясь написать книгу о женщине прошлого, взывает ко всем тем, кто владеет тайной интимной жизни этой женщины, ко всем, кто обладает листочками бумаги, где рассказано хоть что-нибудь из истории души умершей.

Почему бы и сейчас романисту (который, в сущности, является тем же историком — историком людей, не имеющих своей истории),— почему бы и ему не прибегнуть к такому же способу и, оставив в стороне случайные фрагменты писем и дневников, не обратиться к воспоминаниям живых людей, которые, быть может, готовы с радостью прийти к нему на помощь? Поясню свою мысль: я хочу написать роман, который будет всего лишь психологическим и физиологическим исследованием, посвященным молодой девушке, выросшей и получившей воспитание в тепличной атмосфере столицы,— роман, основанный на *человеческих документах*[1]. И вот, садясь за эту работу, я понял, что книгам о женщинах, написанным мужчинами, недостает, недостает... женского сотрудничества. Вот такое-то сотрудничество и нужно мне — и притом сотрудничество не какой-нибудь одной женщины, а очень-очень многих. Да, у меня есть честолюбивое намерение написать мой роман хотя бы с некоторой долей помощи и доверия женщин, оказывающих мне честь быть моими читательницами. Разумеется, занимательные приключения — это совсем не то, что мне нужно. Нет,— впечатления

[1] Несмотря на то что это выражение подвергается сейчас язвительным насмешкам, я прошу считать меня его автором, ибо, на мой взгляд, оно является формулой, как нельзя лучше определяющей новый метод работы той школы, которая пришла на смену романтизму,— школы *человеческого документа. (Примечание Эдмона де Гонкур.)*

молоденькой и даже совсем еще маленькой девочки, какие-то мелочи, говорящие об одновременном пробуждении ума и кокетства, откровенные признания нового существа, родившегося в девочке-подростке после первого причастия, исповедь о греховном волнении, вызванном музыкой, рассказ об ощущениях девушки после первого бала, размышления о первой любви, еще не познавшей самое себя, снятие покровов с хрупких переживаний и утонченной стыдливости,— словом, весь тот недоступный мир *женского,* который таится в сокровенных глубинах женской души и о котором мужья и даже любовники так и не подозревают до конца жизни,— вот о чем я прошу.

И я обращаюсь к моим читательницам, в какой бы стране они ни находились, с просьбой, чтобы в свои незанятые часы, когда прошлое оживает в них, освещенное радостью или грустью,— чтобы они доверили бумаге крупицу своих воспоминаний и анонимно отослали их по адресу моего издателя.

Отейль, 15 октября 1881 г. *Эдмон де Гонкур*

Ж. де ПИТТИСУ

I

Под звездным небом, над фосфоресцирующим морем было совсем темно.

В углублении берегового утеса, о который с тихим ропотом бился океан, лежали, распростершись на земле, какие-то человеческие существа — неясные силуэты, бесформенные, безликие.

Смутно виднелись фигуры двух женщин. Одна растянулась во весь рост на спине, закинув руки за голову, подняв глаза к звездам. Другая, свернувшись в клубок у ног первой, нежно согревала их теплом своего тела.

В нескольких шагах от женщин сидели во мраке, на песке, спиной к спине, трое мужчин; лица их на мгновенье освещались вспышкой сигары.

Время от времени ветер с моря, шевеля мягкие платья неподвижных и словно уснувших женщин, на миг обрисовывал своим мощным дыханием выпуклые очертания их тел, и легкая зыбь пробегала по колеблющейся ткани.

Величественное зрелище темного неба и темного моря, ритмичный плеск лепивой волны, вялая теплота ночи — все это повергало души в какое-то томное изнеможение, и разговор между мужчинами и женщинами замер.

Внезапно, среди молчания и мрака, раздался голос одной из женщин, той, что лежала, вытянувшись во весь рост,— голос, прозвучавший как страстное воспоминание о прошлом, как признание, которое вырвалось во сне; она вдруг снова заговорила о человеке, чье имя уже называла с четверть часа назад.

— Нет... Между нами еще не было ничего, кроме поцелуя... одного поцелуя. Помню, я поцеловала его, стоя на цыпочках, в моей уборной, поверх ширмы, за которой одевалась... Вечером он должен был уехать в свое посольство. Эти англичане, когда

они некрасивы, то уж совсем уроды... зато когда красивы... И потом, в нем было что-то от матери, француженки... И только через три месяца, когда я поехала в Брюссель, в театральное турне... Он приготовил мне номер в отеле, в отеле «Фландрия»... Да, именно там... Ах, мне никогда не забыть эту ночь!.. Любовь, уверяю вас, создает не только сам любовник... Разве иной раз мы не любим мужчину за то, как, когда, при каких обстоятельствах мы его полюбили?.. Право же, эта гостиница была какой-то странной... Из стен исходила музыка необычайной, невыразимой нежности... и его поцелуи пробегали по моей коже вместе с волнами звуков, которые как будто щекотали меня... с волнами звуков, лившихся из-под подушки... а где-то вдалеке гремел ураган гармонических созвучий, казалось, уносивших меня в его объятиях прямо на небо... И я чувствовала, как что-то божественное примешивается к его ласкам... Эта первая ночь навсегда сохранилась в моей памяти, как...— то, что я сейчас скажу, глупо, я знаю,— как воспоминание о такой любви, какой представляешь себе разве только любовь между существами неземными... Да, гостиница «Фландрия» сообщается с церковью святого Иакова, и на следующий день я узнала, что орга́н вделан в ту стену, у которой стояла наша кровать. Словом, я и сама не знаю, как все это получилось, но несомненно одно, что он — единственный мужчина, которого я любила настоящей любовью... единственный!

— Обожаемая Жюльетта, не пощадите ли вы хоть немного слух вашего патрона? Он ревнив!..— произнес мужской голос, шутливая интонация которого выдавала сердечную рану.

— Друг мой,— ответила Фостен с откровенной иронией,— морской воздух отнял у вас способность здраво смотреть на вещи... Вы биржевик, и такой *практический* человек... Будьте же тем благоразумным парижанином, каким вы были до сих пор... Мы ведь с вами не любовники, мы скорее супруги, не так ли?

И, слегка отвернувшись, она бросила взгляд на небо, где изорванная гряда маленьких темных облаков, казалось, протянула совсем низко, прямо над бледно светящейся линией океана, бесконечную цепь Химер, словно вырезанных из черного дерева; потом, взволнованная этой чудесной ночью, напоенной любовью, женщина продолжала свои излияния:

— У этого эпизода было продолжение... Спустя некоторое время Уильям увез меня в какой-то замок в Шотландии... не припомню теперь, что это было за графство, да мне никогда и не хотелось *напоминать себе*. Мое воспоминание нравится мне

именно таким — неясным, окутанным дымкой тумана, своего рода сомнамбулизма, в котором я жила в то время... Полуразрушенный замок в глубине парка, обступавшего его все теснее с каждым годом, настоящая лесная сторожка... и бледная зелень деревьев,— такие, должно быть, растут в чистилище,— колеблемых долгими, печальными, осенними ветрами... Но что было там просто очаровательно, это стая белых павлинов — они появлялись вместе с сумерками и рассаживались на лестницах, на террасах, на окнах... Нет, вы не можете вообразить, какое впечатление производили в сгущавшейся темноте, на фоне старых каменных, поросших мохом стен, эти большие неподвижные, совершенно белые птицы... А когда всходила луна, казалось, что в амбразурах всех окон появляются души усопших девушек, облаченных в подвенечные платья из белого атласа... Знаете, даже в феериях я никогда не видела подобных декораций!.. Да, странным было тогда мое существование... В иные минуты я, кажется, была не вполне уверена в том, что живу... И все-таки это был самый счастливый месяц в моей жизни... Время остановилось, у дней больше не было часов...

— А лучше всего были *ночки,*— уронила женщина, лежавшая у ног говорившей.

Легкий удар каблука был ей ответом, и женщина сейчас же поцеловала толкнувшую ее ногу, сказав со смехом:

— Полно, сестрепка, дай нам немного подурачиться.

— И правда, милая Жюльетта,— произнес молодой и веселый мужской голос,— ты что-то долго донимаешь нас сегодня *душещипательными* историями.

— В таком случае, мой друг, они кончены! — ответила Фостен, упругим движением поднимаясь с земли.— И, по-моему, нам пора идти пить чай.

— Сударыня,— произнес мужчина, до сих пор не сказавший ни слова,— когда все-таки состоится ваш дебют в «Федре», во Французском театре?.. Газета хотела бы объявить об этом заблаговременно.

— Думаю, через два, самое большее — через два с половиной месяца.

— Нет ли каких-нибудь поручений к Карсонаку? — спросил он, кланяясь дамам.

— Благодарю, никаких,— ответила сестра Жюльетты.— Послезавтра мой возлюбленный получит меня в полное распоряжение.

— До свидания, Бланшерон, до свидания, маленький Люзи... Да, я сейчас же возвращаюсь в Гавр, ночным поездом...

Фостен взяла сестру под руку и в сопровождении двух приятелей стала подниматься по узкому неровному переулку Бельвю в Сент-Андрессе, направляясь к каменной дачке, как видно, построенной совсем недавно...

II

На маленьком круглом столике, между двумя мешочками конфет,— один был с этикеткой от Буасье, а другой от Сиродена,— стояло блюдо куропаток с капустой и салат, от которого пахло уксусом.

В будуаре, где происходил завтрак, на огибавшем всю комнату диване валялись разные принадлежности женского туалета, а по углам, в стеклянных шкафчиках стиля Буль современной работы, виднелась вперемешку с фарфором и другими дорогими вещицами целая куча грошового хлама, как, например, стеклянная банка, в которой фигурка Пьеро из дутого стекла в черной шапочке то и дело кувыркалась под ленивым ударом хвоста крупной золотой рыбки, не переставшей кружиться.

Позади каминных часов — прелестной вещицы минувшего столетия, со статуэткой, оживающей под влюбленным взглядом Пигмалиона, который преклонял колена на белом мраморе у ее ног,— торчала за зеркалом визитная карточка какого-то актера из Пале-Рояля: частый гребень из слоновой кости со сломанными зубьями, гнидами и раздавленными вшами, неподражаемо воспроизведенными на гладком картоне.

Сквозь полуоткрытую дверь смутно виднелась в подозрительном полумраке еще не прибранная туалетная комната — скомканные полотенца, старые, засохшие половинки лимонов; и аромат духов, среди которых преобладал мускус, врывался в столовую, смешиваясь с запахом капусты и погасших окурков.

Три женщины сидели, тесно сдвинувшись вокруг сестры Жюльетты Фостен,— одна на стуле, другая на пуфе, третья на скамеечке,— и ели куропаток, то и дело вытаскивая кончиками пальцев листок салата из салатницы или конфетку из мешочка. Чтобы удобнее было набивать желудок, самая полногрудая из всей компании сняла корсет и, бросив его на спинку стула, сидела теперь в растерзанном виде, даже не застегнув хорошенько платье.

Это была толстуха *Брюхатая*. В прошлом — дама легкого поведения, мечтавшая о мещанском уюте и в конце концов женившая на себе какого-то дирижера оркестра с бульвара Пре-

Актриса Фостен

ступлений; эта сорокалетняя женщина сохранила, несмотря на избыток жира, кроткие глаза ребенка.

У самой юной из всех, девочки лет семнадцати — восемнадцати, был носик заядлой лакомки, хитрая мордочка с отпечатком парижской испорченности и чисто парижского ума, ботинки, которые *просили каши,* манеры маленькой потаскушки из Латинского квартала и хриплый голос. Свою беседу она уснащала медицинскими терминами, зарабатывала на жизнь переводами из Дарвина для журналов и газет и откликалась на детское имя — Лилетта.

Третья женщина, двадцатишестилетняя, молчаливая, время от времени вздрагивала всем телом, словно от какого-то тайного возбуждения. Ее бледное лицо то и дело розовело от мимолетного волнения крови, сумеречная синева глаз была такой густой, что синими казались и белки, пышная шевелюра не скрывала изящной линии висков и прозрачных, словно выточенных, ушей. На ней было платье, в котором она весь день ходила и дома и в гостях,— будничное платье из белого пике с темно-красной шелковой косынкой, закрывавшей плечи и подетски завязанной бантом сзади,— туалет, в котором сияла ее бледная, но живая красота и на который утром, выехав в открытой коляске, она набросила меховую накидку. Жозефина в течение нескольких лет занималась тем, что объезжала лошадей для светских дам, а теперь была на содержании у одного крупного барышника с Елисейских полей.

Вокруг столика ходила взад и вперед, поминутно останавливаясь и непринужденно опираясь коленом о край пуфа, молоденькая беременная служанка с жалким личиком, напоминавшим изображения женщин средневековья, переживших сильный голод. Щеки ее были покрыты румянами, украденными у хозяйки, длинная царапина шла наискось через все лицо. В крохотном чепчике, еле державшемся на затылке, тяжело волоча ноги в алжирских комнатных туфлях без задков, она громко ворчала и хлопала дверью в ответ на каждое приказание или звонок, ежеминутно заставлявший ее выбегать в прихожую.

— Ну, как пьеса? Держится еще? — отважилась спросить толстуха, на секунду перестав жевать.

— Еще как! — ответила хозяйка дома.

— По-прежнему пять тысяч сбора... Он сам сказал мне это... вчера... новый режиссер... я бегал к нему за кулисы,— пропел тонкий, как флейта, детский голосок, принадлежавший семилетнему мальчику, почти совершенно закрытому накидкой из кружев Шантильи.

Лежа в углу дивана, наклонив голову и задрав кверху скрещенные ноги, он крохотной пилочкой отделывал себе ногти. Стоячий воротничок, носовой платок, засунутый за вырез жилета,— все в этом мальчугане, от безукоризненно чистой подошвы ботинок и до ровного пробора посередине головы, отзывалось солидностью старого франта, старого смешного модника. Маленький старичок, который уже приобщился к жизни этого мирка, принимая участие во всех разговорах, подслушивая интимные признания, присутствуя при всевозможных препирательствах — деловых и не только деловых. Несчастный ребенок, которого таскают с собой, словно хорошенькую собачонку, на ужины в отдельных кабинетах, где о нем тут же забывают и откуда на рассвете, совсем сонного, его приводит к матери официант кафе.

— Видишь ли, Брюхатая,— сказала мать,— теперь, благодаря электрическому освещению, которое производит такой эффект в сцене с отравившейся в четвертом акте, сто спектаклей у нас все равно что в кармане.

— А как с другой пьесой? Когда она снова пойдет в Шатле?

— На будущей неделе... Стало быть, он будет должен мне семьсот франков... Да, он так мил, что дает мне по пятьсот франков с каждой премьеры и по двести — с повторных спектаклей. И все-таки жить с этим Маккавеем не слишком сладко... В сущности говоря, козочки мои, я родилась для того, чтобы выйти замуж за какого-нибудь Ларюэтта и держать в провинции ресторанчик для *актерской братии*... Знаете что, мне хочется поехать в Турин,— сказала она вдруг, убегая в другой конец будуара; потом сделала крутой поворот и, столь же внезапно вернувшись к своим подругам, крикнула, потрясая вилкой с торчавшим на кончике куском куропатки:

— Я, может быть, *переспала* бы там с самим королем!

И тут же:

— Лилетта, красней или убирайся отсюда!

— Предпочитаю покраснеть,— ответила Лилетта с поистине многообещающим чистосердечием бесстыдства.

Сестра Жюльетты снова уселась на свое место, задумчиво поглаживая себя по шее сзади.

— Какая скверная, какая зловещая штука выросла у Брюхатой вот здесь — там, где я держу сейчас руку... Да, это горб сорокалетних, и по временам мне кажется, что он растет и у меня десятью годами раньше срока... Что же ты, Растрепа, ведь звонят!

— Сударыня... доктор с Гомбургских вод,— доложила служанка, полуоткрыв дверь будуара.

— Скажи ему: «*Брысь* в Германию!» — крикнула хозяйка дома, хлопнув в ладоши.

— А! Вот и Рагаш! — продолжала она, когда вслед за служанкой появился мужчина. Он шел, согнув ноги в коленях и простирая руки, словно призывая всех к молчанию.

— Рагаш, Рагаш, Рагаш! — как эхо, откликнулись все три женщины, каждая на свой лад.

Рагаш был сорокалетний мужчина, вечно страдавший желудком; он с перекошенным лицом отпускал непристойные словечки, вымученные остроты, парадоксы, каламбуры, не имевшие ни конца, ни начала, копировал актеров. За свои бесконечные потуги на остроумие он получил в этом доме прозвище «попос Бобеша».

— Тсс... Тсс... Тсс...— повторил Рагаш, входя в будуар, словно на подмостки театра.— В нашей столице распространился слух, будто некто по имени Попсар обнимается сейчас с Титанией... Ах, дети мои, что за шедевр должен родиться от этого флирта! Но мы сохраним тайну... и будем говорить piano, pianissimo... [1] Тсс! Тсс!

Внезапно брови Рагаша взлетели вверх, губы приняли форму огромного «О», и, с алчным видом прижав к ним палец, он шутовски изогнулся в позе обожания перед толстухой с вывалившейся грудью:

— О маленькие *зенщины,* маленькие *зенщины*... а впрочем, даже и толстухи... Брюхатая, Брюхатая... как бы я хотел написать на твоем белом, трепещущем пюпитре одну-единственную статейку в двести пятьдесят строчек... ни строчкой больше! Говори, приказывай... Что тебе угодно за это? Хочешь, я растопчу перед тобой принципы восемьдесят девятого года? Скажи... Право же, сударыня, это, по-моему, было бы вполне *уместно*... Нет, ты не хочешь, Брюхатая, ты отвергаешь мой пыл... Ну и не надо!

Он сделал вид, будто сморкается и обливает паркет слезами.

— Да, плоть наша была и есть слаба, но в то же время мы протухли от стремления к добродетели... Моим учителем был аббат Пуалу... Но я не посылаю его к тебе, не хочу, чтобы он изрек: «Католицизм и Марковский — вот мой девиз»,— заявил Рагаш с интонацией à la Грассо.

---

[1] Тихо, очень тихо *(итал.).*

— Послушай-ка ты, полоумный из Виши, дай нам немного передохнуть! У нас просто мозги заболели! Скоро ли ты кончишь свои *номера* для провинциалов? — крикнула ему Лилетта, питавшая неприязнь к этому человеку.

— А ты лучше сама замолчи, юная воспитанница из пансиона «Непорочное зачатие».

— Сударыня... Сударыня... Комиссионер по доставке арахуэсской спаржи для Центрального рынка.

— Где, черт возьми, я могла познакомиться с этим субъектом? — пробормотала, перебирая в памяти свои давнишние дорожные встречи, сестра Жюльетты.— Что ж, на этот раз — *брысь* в Испанию!

— Ах, Испания! — произнес Рагаш, устремляя вдаль бессмысленный взгляд лунатика.— Страна солнца, поэзии, Сида и сварливых любовниц!

Карсонак, хозяин дома, автор популярного «Преступления Пюидарье», вышел из внутренних комнат в черном фраке и в пальто, которое он застегивал на ходу.

Большой живот, седые, остриженные бобриком волосы, крашеные усы, торчащие по углам рта, сонные, прикрытые морщинистыми веками глаза, загоравшиеся, однако, металлическим блеском, когда он отпускал злую шутку,— таков был Карсонак, тип толстяка, но толстяка злого.

— Что это, Щедрая Душа? Вы завтракаете здесь? Отчего же не в столовой?

— Здесь как-то уютнее, и мы чувствуем себя более свободно, не так ли, козочки? — ответила любовница Карсонака.

— Правда, правда, понимаю... И потом здесь у вас под рукой туалетная комната на случай несварения желудка или первого припадка после «дружеских бесед»... Ах, дорогая моя, *прикройся,* прикройся! — с гримасой отвращения крикнул Карсонак той, что завтракала без корсета.— Ну до чего натурально выглядела бы ты в роли Гаргамель!

И он обратился к другой подруге своей любовницы:

— Ну, а тебе, беспечная Сарра, известно ли тебе, что человек, который платит за твою любовь такие большие деньги, уже готов поддаться чарам *Прованвальки?* Я счастлив первый сообщить тебе об этом.

Медленно и грациозно изогнув шею, Жозефина, к которой он подошел, подняла голову и, оказавшись на уровне его жирного плеча, вдруг впилась в него сквозь пальто своими белыми зубами.

— Да ведь больно же! Какое идиотство!

В глубоких глазах женщины промелькнула улыбка, и, закурив толстую сигару, она соскользнула со стула на пол; окутанная широкими складками белого пеньюара и красной шали, она застыла без движения, но эту неподвижность по временам нарушал сладострастный трепет насытившейся пантеры.

— А знаешь, Щедрая Душа, кажется, во Французском театре дело плохо. Говорят, там готовится хорошенький *провал.*

— Ты мне надоел... Знаешь ведь, что я не люблю, когда ты вмешиваешься в дела моей сестры,— весьма выразительно проговорила Щедрая Душа.

— Ну, как? Идем? — спросил Карсонак, поворачиваясь к Рагашу, которого до сих пор точно не замечал.

— А ложа бенуара при возобновлении твоей пьесы мне будет?

— Откидную скамеечку на сквозняке — вот все, что могу тебе предложить.

Рагаш с полной невозмутимостью подошел к любовнице Карсонака, что-то тихо сказал ей, встав за ее спиной, и все приятельницы услышали ее ответ:

— Не обращай внимания, сегодня утром он не в духе, но если ты мило, ну, очень мило, отнесешься к его пьесе, то я устрою так, что следующую пьесу вы будете писать вместе, а ты ведь знаешь, голубчик, что когда он начинает с кем-нибудь работать, то потом уж и слышать не может ни о ком другом... Хочешь выпить рюмочку чего-нибудь?

Рагаш подцепил штопором настоянный на водке абрикос и, откусывая прямо со штопора желтый плод, вскричал:

— Stupendum! [1] — как выражаются древние. Мне кажется, что я укусил тунику мадемуазель Дюшенуа!

— Не понимаю,— сухо отрезал Карсонак.

Рагаш, по-прежнему невозмутимо серьезный, нагнув голову, словно осел, пьющий из ведра, стал пятиться к двери, подражая китайцу, играющему на железном треугольнике, и обратился к Карсонаку с такой прощальной речью:

— Прославленный *драмодел!* Думал ли ты когда-нибудь об угрызениях совести, которые могут возникнуть у привратника, совершившего преступление?.. Так вот, заметь себе для одной из твоих будущих пьес, что каждый звонок, раздающийся ночью, должен пробуждать в нем раскаянье!

На смену Рагашу сразу же явился долговязый молодой

---

[1] Изумительно! *(лат.)*

человек, белобрысый, бескровный, с черепом мистика, напоминавшим по форме сахарную голову; прижимая к груди засаленную шляпу, он с каким-то отсутствующим видом совал каждому руку, и во всем его облике было нечто от раболепной фигуры сына Диафуаруса.

Карсонак резко оттолкнул его безжизненные пальцы и грубо сказал:

— Знаешь, Плапшмоль, тебе бы следовало заняться осушкой рук... в них столько сырости, что ты награждаешь ею и других!

Плапшмоль испуганно отошел от Карсонака и, надеясь найти убежище возле женщин, сел рядом с хозяйкой дома, которая тут же сказала ему:

— Он теперь твой близкий друг, правда? Так вот, если ты добьешься от него такой рецензии, какая нам нужна, я заставлю Карсонака писать новую пьесу вместе с тобой, а ты ведь знаешь, мой милый, что когда он...

— Сударь! Пришел тот молодой человек, который приходил уже три раза, чтобы переговорить с вами.

— Пусть войдет.

— Господин Грежелю! — провозгласила служанка.

Близорукий начинающий литератор, наделенный двумя видами застенчивости — застенчивостью близоруких и застенчивостью начинающих,— вошел в комнату и страшно смутился, увидев великого человека, а также весьма непринужденные позы четырех дам.

— Послушайте, молодой человек,— сказал ему Карсонак, не предлагая сесть,— сюжеты всех пьес, которые мне приносят, сначала кажутся мне отвратительными. Проходит три месяца, четыре... Предложенный сюжет вдруг приходит мне на память, и — страшная вещь! — теперь он уже нравится мне... Но к этому времени я успеваю совершенно забыть о лице, которое его предложило, и мне начинает казаться, что идея принадлежит мне, только мне. Я вас предупредил.

Бедный молодой человек начал искать дверь.

— Сюда, молодой человек, сюда, не то вы попадете в туалетную комнату этих дам.

— Послушай, Лилетта,— сказал через несколько секунд Карсонак,— я был бы тебе весьма признателен, если бы ты, когда я оказываю тебе честь и отдаю на твое попечение солидных шестидесятилетних старцев, которым поручаю отвезти тебя к твоему папа́,— если бы ты в этих случаях садилась не на колени этих самых стариков, а на сиденье фиакра!

— О, будьте покойны! Если мне и случится сесть на колени к мужчине, то уж, во всяком случае, не к одному из подписчиков «Руководства для импотентов», вроде вас.

— Недурно, детка,— бросил Карсонак, который почти развеселился, услышав этот злобный выпад, так похожий на его собственные.

Затем, прерывая конфиденциальную беседу своей возлюбленной с Планшмолем, он спросил:

— Ну как, Планшмоль, не удалось ли тебе опять с помощью почного столика вызвать дух Мюрже? Не поделился ли он с тобой своими последними загробными похождениями?

— О да, и я мог бы рассказать тебе одно из них, но это неудобно при дамах.

— Ну и ну! Как видно, неплохо живется на том свете, если даже этим дамам нельзя послушать твой рассказ.

Планшмоль подошел совсем близко к Карсонаку и, брызгая слюной, шепнул ему на ухо несколько слов.

— Простофиля!.. Да ведь эту непристойность сочинил я!

— Прежний слуга пришел за рекомендацией, которую ему обещал хозяин,— сказала горничная.

— Возьми на камине и отдай ему.

— Как? Вы, значит, рассчитали его? Почему же? — глуповато спросил Планшмоль, вмешиваясь в разговор и пытаясь хоть этим вернуть себе утраченный авторитет.

— Превосходный слуга...— сказал Карсонак язвительно,— но он перешел ко мне от господина Рикора... и, открывая двери, он, кажется, позволял себе фамильярничать с подругами Щедрой Души.

Лазурные глаза Щедрой Души приняли зеленоватый оттенок, а губы дрогнули, не вымолвив, однако, ни слова; машинально опрокинув свой стакан, где еще оставалось несколько капель, она начала размазывать их по клеенке пальцем, на котором блестело старинное кольцо с изображением сладострастной сцены.

Господин, вызывавший дух Мюрже, ушел, а Карсонак, стоя у камина, стал закутывать себе шею белым шелковым кашне.

— Что с тобой, Щедрая Душа? — не удержался Карсонак, заметивший сосредоточенность своей любовницы.

— Ничего... нет, право же, ничего... но все-таки как-то странно... Мне вдруг вспомнилась одна глупость... я уж как будто совсем забыла о ней... Так ты хочешь, дружок, чтобы я рассказала?

И проникновенным голосом, нежным голосом, исходившим,

казалось, из самых глубин ее существа, любовница Карсонака рассказала, почти пропела ему следующую историю:

— Сегодня ночью мне приснился странный сон. Я была в саду... в таком саду, какие бывают только в сновидениях. Вдруг я увидела, как ко мне приближается белый призрак, и сразу узнала в нем *Милочку Розу*. Через секунду она подошла совсем близко и сказала мне: «Мы были подругами на земле, зачем же ты убегаешь от меня? Здесь так хорошо, и скоро, скоро ты придешь к нам...» Позади нее я увидела призраки двух-трех дорогих мне людей, которые уже умерли или должны скоро умереть, и они тоже говорили со мной... Тут я проснулась, скорее радостная, чем грустная... И я подумала — настолько реален был этот сон,— что господь бог позволил Милочке Розе предупредить меня, чтобы дать мне время приготовиться... Однако закутайся хорошенько, сегодня холодный ветер... а то после воспаления легких, которое ты перенес два года назад...

Карсонак помрачнел. Он бесконечно долго натягивал перчатки, потом снял их, засунул в карман, двинулся к выходу, вернулся к камину, наконец решился подойти к двери, открыл ее, вышел, закрыл за собой, опять открыл, просунул голову в щель и, подавшись вперед на одной ноге, спросил любовницу:

— Скажи, ведь меня-то ты не видела в том саду, позади Милочки Розы, а?

Женщина, не оборачиваясь, покачала головой, что означало не слишком определенное «нет», а когда шаги любовника замерли в отдалении, разразилась хохотом, прерываемым отрывистыми фразами:

— Козочки, посмейтесь же со мной... Теперь он будет целую неделю трястись от страха... Такая сволочь... И до чего боится смерти... Ах, что это за человек... никто и не подозревает, какие гадости заставляет он меня проделывать с моим телом ради успеха своих махинаций... Ведь это черт знает что... Они уверены, эти господа, что если они дают нам деньги... Полно! Эти деньги наши, и наши по праву. Торговля белыми рабынями — вот что это такое! Да, они ежедневно торгуют нашей молодостью, нашей красотой. Идет ли речь о том, чтобы получить субсидию, выхлопотать отмену запрещения цензуры, добиться получения льготы, ордена, словом, чего угодно,— они бросают нас в постель к власть имущим — к министру, секретарю, лакею. Не будь *Пламени Пунша,* вы думаете, господин Икс сумел бы продлить свой контракт еще на десять лет? А господин Игрек — разве смог бы он добиться помощи одного из превосходительств, если бы не *Слониха?*.. Ах, эти старые пара-

литики из министерств, золотушные юнцы из отделения Печати и песносные театральные рецензенты,— сколько таких господ мне приказано было ублажать!.. Он ведь забрал себе в голову непременно стать кавалером ордена Почетного легиона! И с кем еще придется мне переспать, чтобы это получилось?

Вскочив с места и порывисто бегая по маленькому будуару, она так и сыпала страшными признаниями, раскрывая ненависть — ненависть, нередко существующую между мужчиной и женщиной, которые связаны бесчестными поступками, связаны «общей грязью», как говорят в народе, и напоминают двух каторжников, прикованных к одному ядру и готовых растерзать друг друга.

Мало-помалу яростное волнение, искажавшее лицо любовницы Карсопака, утихло. Теперь оно выражало лукавую кротость. Бросившись на диван, она удобно вытянулась на спине и, утонув в подушках, сказала, поводя глазами, что придавало ее затуманенному взгляду какую-то особую прелесть:

— Но, видите ли, козочки, всякий раз, как он навязывает мне нового любовника для успеха своих коммерческих предприятий, я мщу... мщу тем, что беру еще одного — для себя... еще одного — на мой вкус, тут уж на мой собственный вкус.

— О да, какого-нибудь молоденького офицерика,— вздохнула, икая, толстуха Брюхатая, позабывшая в эту минуту о своем муже и вообще о замужестве.— Такие мужчины очаровательны... у них всегда найдешь бисквиты, шоколад, вышитые туфли и халат с хлыстиком на спине.

— Как можно говорить об офицерах! — с глубоким презрением возразила сестра Жюльетты.— Они годятся для маленьких девочек, которые еще засушивают в книгах листочки, сорванные в долинах альпийских гор. Нет, офицеры слишком наивны... им не хватает порока!

И этот ужасный профессор скептицизма, эта женщина, еще молодая, с голубыми глазами и золотистыми, как спелая рожь, волосами, начала приводить циничные, жестокие, гнусные подробности, с радостью оплевывая своими розовыми губками все то, чего влюбленные даже и не видят в любви, если любят по-настоящему.

— Сударыня, какой-то господин с польской фамилией — крупье из Монако!

— Так вот, на этот раз — «*брысь* в Италию и в Польшу»!

— И потом переписчик молитв только что передал для вас, сударыня, этот маленький сверток.

— А, это те молитвы, которыми я особенно дорожу... мо-

литвы из моих толстых книг. Теперь я смогу взять их с собой на воды,— с некоторым смущением проговорила любовница Карсопака, пряча сверток.

— Вот оно что! — пропела своим тонким насмешливым голоском Лилетта, шаловливо указывая пальцем на потолок.— Ты, стало быть, еще веришь в того старика, который там, наверху?

— Ах ты, дрянцо! — вскричала Щедрая Душа, бросаясь на нее и словно собираясь ударить.— Какова бы я ни была, но я запрещаю тебе отпускать в моем доме подобные шутки, негодяйка ты эдакая!.. Теперь ты не получишь старого бархатного платья, которое я тебе обещала.

Отчаянно громкий звонок зазвенел в прихожей.

— Боже милостивый! Пресвятая дева! Сегодня, видно, конца им не будет, этим гостям! — с отчаянием вскричала Растрепа, решившись наконец пойти открыть.

— Этот звонок я знаю: так звонит моя сестра в дни своих *душевных бурь,*— прошептала Щедрая Душа, по-видимому, немного струсив.

Почти тотчас же на пороге появилась Фостен в необычайно изысканном черном туалете. Посмотрев на трех женщин, она поздоровалась с ними, можно сказать, только движением век и просто сказала сестре:

— Я за тобой.

С приходом Фостен в обществе воцарилось неловкое молчание, и не отличавшаяся робостью Щедрая Душа, как бы укрощенная повелительной краткостью сестры, сейчас же начала снимать с вешалки свою шляпу растерянными жестами актера из пантомимы.

Фостен облокотилась на камин и рассеянно протянула ботинок к остывшему очагу.

— Ах, тетя, это мой любимый корсаж — корсаж от мадам Гродесс! — сказал проснувшийся малыш.— Скажи, скажи, тетя, что ты надела его для меня... твой блестящий жилет.

Он свесил с дивана головку, и глаза его, которые сейчас ярко блестели, восторженно любовались *шикарным* видом тетки.

Фостен не ответила племяннику.

— Мне что-то пить хочется,— вдруг сказала она.

— Хочешь шампанского? — крикнула ей сестра из туалетной комнаты.

— Нет.

— Так чего же ты хочешь?

Взгляд Фостен обежал откупоренные бутылки, потом бессознательно перенесся к окну, выходившему на набережную Межиссери, и там на чем-то остановился. Она подошла к столу, выбрала из груды разнокалиберных рюмок всех эпох венецианский бокал с молочно-белыми спиральными линиями и сказала служанке:

— Видишь там внизу человека? Пойди и возьми у него стакан лакричной водки, принесешь мне прямо в карету.

— Ну вот и я! Господи благослови! — вскричала Щедрая Душа, употребляя выражение, которым актриса обычно заменяет слова «я готова», выходя на сцену.

И Фостен вместе с сестрой направилась к двери.

— Так ты едешь завтра со мной? — спросила Жозефина, удерживая Щедрую Душу за рукав, когда та проходила мимо.

— Завтра никак не могу, дорогая,— хоронят старого режиссера... Для приличия и мне придется сделать вид, будто я приехала помолиться за эту старую клячу!

III

На лестнице,— то была лестница театра,— обеим женщинам пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить безудержную лавину статистов, которые после репетиции мчались вниз в своих подбитых железными гвоздями башмаках, перепрыгивая через несколько ступенек и застегивая на бегу короткие блузы.

— Одну минуту, сейчас я буду к твоим услугам,— сказала Щедрая Душа сестре и, войдя в каморку привратника, о чем-то заговорила с грумом, лениво чистившим сапог возле большой собаки, которая только что участвовала в какой-то пьесе...

— Так куда же ты меня везешь? — спросила Щедрая Душа у Фостен, когда та возвращала Растрепе свой бокал.

— Сама не знаю... Вели Раво ехать на бульвар.

Карета покатила.

— Нельзя сказать, чтобы ты была разговорчива! — вскричала через несколько минут любовница Карсопака.

— Как все это скучно... все... и как все мне приелось,— со вздохом сказала Фостен, нервно потягиваясь.— Сегодня утром, когда я встала, у меня было желание сделать что-нибудь... ну, что-нибудь не такое, как всегда... сама не знаю что!.. Пойти в какое-нибудь такое место... Но где оно, скажи мне, это *такое* место?.. А разве витрины модных магазинов... взгляни на них...

разве тебе не кажется, что сегодня все они такие серые? Как это глупо — мечтать о том, что не стоит в программах развлечений, напечатанных в газетах... Скажи, а разве у тебя не бывает иногда каких-то смутных желаний, какого-то неудержимого стремления к чему-то нежданному, к тому, чего не знаешь, но чего жаждешь всем сердцем?..

Фостен откинулась на подушки кареты, и с ее губ слетели стихи Альфреда де Мюссе:

Зачем не погасила ты то пламя,
Что тайно жгло и рвалось из груди?

. . .

Актриса безрассудная, ужели
Не знала ты, что эти крики сердца
Лишь множат тень на вянущих щеках?..

. . .

И что любить страданье — вызов богу![1]

— Что такое? Почему карета остановилась? — спросила Фостен, высовываясь из окошка.

И вдруг, на глазах у сестры, она спрыгнула на мостовую, пробралась, несмотря на окрики кучеров, в самую гущу экипажей и подобрала в грязи, между копытами лошадей, какой-то предмет, который вскоре и принесла, вытирая находку кружевным платочком.

— Да,— сказала она, снова садясь рядом с сестрой,— лошадиная подкова. Она приносит счастье... Это уже третья!

И вот пресыщенная, разочарованная женщина — та женщина, какою только что была Фостен,— внезапно преобразилась: каждый жест ее, казалось, готов был перейти в объятие, каждое слово звучало лаской, конца не было трогательным признаниям, веселым, полным нежности шуткам.

— Послушай, Малышка, ты не сердишься, что я увезла тебя от твоих подружек?.. Видишь ли, ты нужна мне... в моей жизни бывают минуты, когда... если бы рядом не было тебя...

— Говори же скорее... ведь я — твой добродетельный порок!

— Это было давным-давно... Помнишь хозяина кондитерской «У источника сладостей», на улице Монтескье?.. Ну, того, который для пьесы, где Арналю приходится целыми пригоршнями есть земляпику, сделал землянику из меренг, до того похожую на настоящую, что не отличишь... Ты и тогда уже была

[1] Перевод А. Эфроса.

храбрее меня... Ведь это ты ходила к нему тратить те несколько су, что мы зарабатывали пением на площади Фонтанов... А когда дома не было еды, ты все равно пела... и заражала своим мужеством всех нас,— и мы тоже пели вместе с тобой!.. А как жили мы, девочки, потом, когда подросли и осиротели... Нет, Мария, такое прошлое, как наше, да еще пережитое вместе,— его не вышвырнешь вон, словно грязную рубашку.

— Да, я была храбрее тебя и не такая уступчивая... А все-таки верховодила мною всегда ты... словно кроткой овечкой... Почему бы это?.. Быть может, потому, что у тебя есть талант, а у меня его нет! Да, таланта у меня нет, зато есть умение жить, вот что послала мне судьба! — весело заявила сестра Жюльетты.— И это умение я доказала,— правда? — когда бросила сцену как раз накануне дебюта. О, господи! Что бы только со мной было, если бы я не решилась на это!.. Но я устроила свои дела по-другому... и вот, с божьей помощью, приобрела положение в обществе, и теперь я что-то вроде совращенной мещаночки.

И она уперлась ладонями в колени, приняв позу Бертена, как на портрете Энгра.

Кучер остановился перед церковью св. Магдалины, ожидая дальнейших приказаний.

— А помнишь, Малышка, ведь именно ты всегда придумывала какую-нибудь игру, забаву, развлечение,— продолжала Фостен.

— Да, потому что в те доисторические времена позабавить нас было очень легко. С тех пор...

— Послушай, Мария, пусти в ход свое воображение сейчас, сегодня... Придумай для нас что-нибудь такое... ну, не такое, как всегда.

— Парижские дневные развлечения, Жюльетта, если иметь в виду развлечения невинного свойства, насколько я знаю, не слишком разнообразны: можно покататься по озеру, спуститься в кухню Дворца Инвалидов, взобраться на Вандомскую колонну, навестить обезьян в Ботаническом саду... Ну, а если ты хочешь испробовать развлечения другого сорта,— говори, приказывай, позволь служить тебе... возможно, что в этом жанре твоя сестра и сможет предложить тебе что-нибудь не совсем обычное!

— Не кажется ли тебе, что у древних было больше неожиданного в их повседневной жизни? — проговорила Фостен в глубоком унынии, и все ее восхитительное тело выразило полное изнеможение.

В глазах у Марии заплясали огоньки, говорившие о том, что ей *наплевать* на исторические реминисценции, и, бесцеремонно вторгаясь в мечтания трагической актрисы, она резко спросила:

— Скажи-ка, Жюльетта, что-то не клеится у тебя во Французском театре?

— Да нет... ведь, собственно говоря, репетиции еще и не было. Один раз собрались у меня, и все,— ответила Жюльетта, словно проснувшись.— Правда, я далеко еще не владею ролью... особенно если исходить из того, как мне хотелось бы ее сыграть... Ага, чудесно, отлично, превосходно!.. Я придумала, как нам закончить день... Раво! Раво!.. В Батиньоль, на улицу Леви, тридцать семь.

— В Батиньоль? Кто там у тебя?

— Угадай!

— Какой-нибудь гадальщик, который берет по луидору за предсказанье?

— Нет, нет. Придержи язык... Все равно тебе не угадать.

Внезапно на смеющееся лицо актрисы легла какая-то тень, выдававшая работу мысли; полузакрытые глаза потемнели; на лбу, юном и нежном, как у ребенка, поглощенного своим уроком, вспухли от напряжения бугорки над бровями; вдоль висков, вдоль щек, словно от холодного дуновенья, разлилась едва уловимая бледность; и очертания слов, произносимых про себя, пробежали вместе со смутной улыбкой по полураскрытым губам.

Несколько раз Фостен оставила вопросы сестры без ответа.

— Ага! Жюльетта, вот дом тридцать семь!

Женщины вышли из кареты.

— Раво, голубчик, ждать, быть может, придется долго,— сказала кучеру Фостен.

— Смотри-ка, тут даже и привратников нет,— заметила Щедрая Душа.

— Ничего... Мне очень хорошо объяснили, где живет тот, кто мне нужен.

Женщины начали подниматься по лестнице и наконец дошли до широкой площадки; Фостен сосчитала двери с левой стороны и остановилась перед седьмой.

Она постучала.

За дверью послышались тяжелые шаги, она приоткрылась на три-четыре сантиметра, и в узкую щель просунулся крючковатый, похожий на тупую сторону серпа, нос, над которым сви-

сали длинные седые волосы, увенчанные маленькой шапочкой, вышитой золотыми блестками.

— По-видимому, дамы ошиблись дверью? — сказал старик, боязливо оглядываясь назад и адресуя странные «пст» в глубину комнаты.

— Нет, ведь вы господин Атанассиадис, не так ли? Вот записка от одного из наших общих друзей — это он направил меня к вам.— И Фостен протянула ему визитную карточку знаменитого академика.

— О, в таком случае, входите, сударыни,— сказал старик, бросив беглый взгляд на карточку.— Только осторожнее... а то здесь мои маленькие друзья.

Обе женщины вошли в высокую комнату — бывшее ателье бедного фотографа, где летало на свободе множество редчайших и прелестнейших птиц.

— Ах, птички!.. Какая прелесть! — воскликнула Щедрая Душа и почти тотчас же провела рукой по платью.— Только жаль, что они так бесцеремонно гадят, эти грязнухи!

В комнате-мастерской, содержавшейся, несмотря на присутствие птичек, в такой чистоте, словно она принадлежала старой деве, не было никаких украшений, кроме трех гипсовых копий барельефов Парфенона, заменявших зеркало над камином, в которой была вделана труба маленькой печурки, отбрасывавшей красный свет на вощеный пол. Вдоль стен, довольно высоко над головой, тянулась длинная полка, заставленная книгами в итальянских переплетах из белого велепя. В полуоткрытом стенном шкафу, в углу, виднелись стеклянные банки, где плавала в масле разная консервированная снедь, и миска, полная яиц. В комнате было только одно плетеное кресло, но в нише, служившей альковом, на досках, положенных на козлы, лежал покрытый турецким ковром узкий матрац, на котором старик, как видно, не раздеваясь, спал по ночам. Пахло птицами и восточными курениями.

— Чем могу служить, сударыни? — спросил хозяин, усаживая обеих дам на свою постель.

— Вот чем, сударь,— начала Фостен.— Господин Септ-Бёв сказал мне, что существует еще другая Федра, кроме расиновской... И он сказал мне также, что вы могли бы познакомить меня с ней лучше, чем кто бы то ни было другой... Ведь вы грек и так хорошо знаете язык Древней Греции... Я и сама не вполне ясно представляю себе, чего я хочу... Но мне было бы интересно послушать, как вы читаете вашу Федру в оригинале... Быть может, это пробудит во мне какие-то представления...

Я хотела бы превратиться в варвара древних времен и, пробыв два часа в Греции Перикла, уехать от вас, сохранив в ушах звучание языка этой страны.

Старик потянул за собой кресло, дотащил его до книжной полки, подобрал вокруг своей тощей и длинной фигуры широкие полы фланелевого халата, под которым, видимо, было надето немало шерстяных фуфаек и несколько пар длинных шерстяных чулок, потом встал на сиденье и, выдвинув толстый том из числа прочих, произнес с глубоким благоговением, словно хранитель монастырских сокровищ, показывающий главную свою реликвию:

— Сударыни, вот божественный Гомер!

Затем, взяв другую книгу, стоявшую рядом, он спустился с ней вниз, бережно обтер локтем пыль, придвинул к себе маленький столик, положил ее и, осторожно раскрыв на какой-то странице, разгладил ладонями дряхлых рук широкие поля.

Водрузив на лезвие носа огромные очки и склонившись над старинным текстом, Атанассиадис поднял восторженный взгляд к потолку и сказал:

— «Ипполит». Сцена происходит в Трезене перед дворцом, у входа в который стоят две статуи — Дианы и Венеры.

И он тут же приступил к чтению двух первых стихов греческой трагедии:

Πολλῇ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀγνώνυμος
Θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ' ἔσω[1].

— Простите, господин Атанассиадис,— прервала его Фостен.— Что, если бы вы взяли с собой вашу книгу... моя карета стоит внизу... я увезла бы вас к себе... вы пообедали бы с нами — со мной и с моей сестрой... Я прикажу никого не принимать... И мы проведем вместе чудесный вечер.

— Ах, сударыня,— ответил старик,— если бы только я мог, я был бы очень рад сделать вам приятное... Но с ноября и до конца мая — я пленник, заключенный в стенах этой комнаты... Теперь вы поймете, какая радость для меня видеть вокруг моих птиц... Весь этот долгий промежуток времени мне положительно запрещено выходить: воздух вашей зимы может убить меня.

Тут Фостен заметила, что все щели оконной рамы заклеены бумагой.

---

[1] Меня зовут Венерой, богиней, чье имя известно среди смертных и в небесах *(греч.)*.

Старик снова углубился в чтение, время от времени перемежая древнегреческие фразы текста с французскими, вроде:

— Ваш Расин, сударыня, не обратил внимания на это. Ваш Расин, сударыня, не передал этого... Ваш Расин, сударыня плохо передал это...

— Тебе не скучно, маленькая Мария? — шепотом спросила Фостен у сестры.

— Нет, я не прочь иногда поиграть в китайские головоломки... к тому же твой Атанассиадис очень забавен!

Начало смеркаться. Старик зажег лампочку и продолжал читать, но при каждой смене персонажей в диалоге он поглядывал на часы с кукушкой, висевшие на стене над головами женщин.

— Быть может, господин Атанассиадис, мы вас стесняем? — спросила Фостен, заметив взгляды старика.

— Нет, нет, сударыни... Только у меня сохранились привычки моей родины... Я обедаю раньше, чем люди парижского большого света.

— Ах, вот что, в это время вам обычно приносят обед... Отлично! — сказала Фостен, и в ее тоне прозвучала восхитительная властность женщины, которая хочет до конца удовлетворить свой каприз.— Значит, надо пообедать, господин Атанассиадис... надо пообедать так, словно нас здесь нет... А потом мы опять примемся за чтение.

— Дело в том... Дело в том, сударыни, что никто не приносит мне мой обед... я приготовляю его сам... О, у меня совсем незатейливые блюда... я до некоторой степени последователь школы венецианца Корнаро... Яйца, сушеная рыба, черные оливки... Да вот, с того места, где вы сидите, видны запасы моей зимовки.

Фостен встала и подошла к шкафу. С любопытством маленькой девочки она вынула одну за другой стеклянные банки, шаловливо повертела их в руках перед лампой, потом снова поставила на место:

— О, какие маленькие сухие рыбки! Они похожи на спички.

— Да, это tziros... их едят, запивая raki [1].

— И никогда, никогда ни кусочка мяса?.. Как это оригинально, господин Атанассиадис... Ах, анчоусы... Хорошо, примем к сведению... Так, значит, вы каждый день едите глазунью из двух яиц? Должно быть, это страшно надоедает в конце концов.

[1] Ракией *(н.-греч.)*.

Разговаривая, разыскивая, разглядывая, Фостен подвязала свой шлейф, подколола юбку булавками на манер «судомойки», а потом весело и повелительно — тоном дамы, командующей на пикнике,— заявила:

— Так знайте же, сегодня стряпать для вас обед будем мы... Вам, очевидно, неизвестно, что представляет собой яичница с анчоусами... яичница, в приготовлении которой у меня нет соперниц... Так вот, сейчас вы попробуете такую яичницу, поджаренную моими белыми ручками... А ну, Малышка, подай мне вот оттуда сковороду... А вы, господин Атанассиадис, живо подложите углей в печурку!

— Ох, сударыни, сударыни, вы приводите меня в смущение,— стонал ошеломленный Атанассиадис.

— Успокойся, старый Паликар, мы с сестрой не такие уж принцессы, как ты думаешь,— сказала любовница Карсонака, легко переходившая на фамильярный тон.

— Ну, раз так, я разбиваю три яйца... Господин Атанассиадис, посмотрите, как я рублю анчоусы... не слишком крупно и не слишком мелко... Сейчас я открою вам мой секрет: надо чуточку поджарить их... Это тмин, не так ли?.. Что ж, положим щепотку тмина.

— Ох, сударыни! Сударыни! — продолжал стонать Атанассиадис.

— А ну, старый Паликар, не мешай нам работать! — сказала сестра актрисы.

— Внимание, господин Атанассиадис... Посмотрите, как я переворачиваю ее... раз, два, три... готово! Ну, что? Видите, как она подрумянилась снизу, как пышна сверху?.. А теперь, Мария, давай накрывать на стол.

И среди порханья и щебета птиц, встревоженных необычным шумом, движением и *сутолокой* импровизированного пиршества, сестры, отпуская шуточки театральных субреток, начали прислуживать старику, который, сопротивляясь все слабее, наконец покорился чарам молодой жизнерадостности двух женщин, явившихся на часок-другой разделить с ним его старческое уединение.

— Ну как, господин Атанассиадис, вкусно? Довольны вы своей поварихой? — сияя детской радостью, спрашивала Фостен.— А теперь — второе блюдо... оливки... О, да они отличные,— сказала она, съев две или три штуки.— Попробуй, Малышка.

— Благодарю, для этого я слишком плотоядное существо!

— Хозяин откушал... Теперь нас ждет десерт!

И Фостен с присущим ей изяществом мгновенно очистила столик от всего, что на нем было.

— Что ж,— вздохнул старый Атанассиадис, берясь снова за своего Еврипида и ощущая то приятное изнеможение, какое в старости бывает следствием счастья,— все мое знание древнегреческого я постараюсь, сударыни, передать вам!

— А твой кучер, Жюльетта?

— Я совсем забыла о нем... Сделай одолжение, спустись вниз... Пусть он пообедает в первом попавшемся кабачке и возвращается сюда.

Когда сестра снова поднялась наверх, трагическая актриса сидела, опершись локтями на слегка расставленные колени, сжав ладонями свое прекрасное выразительное лицо и как бы впитывая созвучия, вылетавшие из уст старого грека. Время от времени она вставала и, сделав Атанассиадису знак продолжать, принималась ходить по комнате, жестами сопровождая стих, который ей помогало понять брошенное на ходу слово французского перевода; потом снова садилась.

А старый Атанассиадис, дойдя до того места, где Федра предъявляет пасынку последнее обвинение, начал рисовать перед своими слушательницами — и притом с тонкостью, удивившей Фостен,— эту роковую фигуру, гораздо более значительную, более *человечную,* более *естественную* в своем желании отомстить за поруганную любовь, нежели та условно и театрально *привлекательная* женщина, которую изобразил придворный поэт Людовика XIV; и вот истолкователь возбудил у современной актрисы желание испробовать новые интонации в этой помолодевшей, обновленной, исторически понятой роли.

Чтение трагедии окончилось. Было восемь часов вечера.

Незаметно завернув в бумажку несколько золотых монет, Фостен встала и, вдруг превратившись в великосветскую даму, сказала важным тоном:

— Господин профессор греческого языка, мы отняли у вас несколько часов... Прошу вас, примите это скромное вознаграждение за потерянное время.

— Нет, сударыня,— ответил старик.— Во-первых, вы приготовили мне обед... а потом — я знаю вас... я не раз видел вашу игру... летом... в те месяцы, когда мне разрешено выходить... И греки, как современные, так и древние, кое-чем обязаны вам за то, что вы вашим талантом возрождаете к жизни великие женские образы их истории... Нет и нет, дорогая госпожа Фостен.

В певучем голосе старика чувствовалось, когда он произ-

носил эти слова, легкое волнение, а звук «з», который он выговаривал вместо «ш», придавал ему какую-то детскую мягкость.

— Хорошо, господин Атанассиадис, я согласна с вами... мне тоже кажется, что удовольствие, полученное от этого вечера, не должно быть оплачено деньгами... Я предпочла бы напомнить вам о себе как-нибудь иначе... мне бы хотелось, чтобы вы выразили какое-нибудь желание, которое могла бы исполнить только я.

— Ну, если уж вы, сударыня, хотите сделать старику приятное, то я признаюсь вам, что есть один продукт моей родины, который я не могу достать здесь, у вас... а я был бы счастлив отведать его еще раз, перед тем как умру... Это гиметский мед... Быть может, вы, сударыня, через посольство...

— Ну разумеется! Ведь французский полномочный представитель в Греции — мой хороший знакомый. С первой же дипломатической почтой к нам прибудет кувшин гиметского меда — самого лучшего меда, какой производят пчелы вашей родины... Еще раз — прощайте, господин Атанассиадис, и благодарю вас.

— Бедный старик! Он поистине трогателен! — сказала Фостен, садясь рядом с сестрой в карету. И продолжала: — Этот вечер не потерян для меня... Мне кажется, в завесе, скрывающей мою роль, появились какие-то просветы.

После нескольких минут молчания Фостен, лицо которой было скрыто мраком ночи, добавила, роняя фразу за фразой:

— Но эту роль... роль, за которую с трепетом брались самые пламенные актрисы прошлого... чтобы сыграть эту роль, мне бы не следовало быть в том состоянии душевного холода, в каком я нахожусь сейчас... необходимо было бы любить — любить безумно, любить неистово... сердцем, головой, плотью.

— Жюльетта, могу предложить тебе предмет... ну, словом, любовника,— хочешь?

Даже не слыша ее, Фостен продолжала:

— Пойми! Расстаться с ним, когда он любил меня так, как любил... а ведь он любил меня как безумный... Расстаться с ним после того, как он обещал, что не пройдет двух месяцев, и он бросит ради меня карьеру, семью, родину, чтобы вечно быть рядом со мной... И ничего, ничего... никаких вестей... с того самого дня, как мы сказали друг другу «до свидания». На все мои письма, вот уже несколько лет, нет ответа.

— Так ты все еще пишешь ему?

— Да... в те дни, когда мне невыносимо грустно.

— Но, послушай, Жюльетта, ведь совершенно ясно, что у почтового ящика твоей тоски дырявое дно!

Не отвечая больше сестре, вся окутанная молчанием, Фостен ехала в своем экипаже вдоль темных улиц, и черное кружево шляпки билось о ее печальное лицо.

— Ты поужинаешь со мной? — спросила любовница Карсонака, когда карета остановилась у ее дома.

— Нет.

— Тогда я поеду ужинать к тебе!

— Нет... На сегодняшний вечер оставь Жюльетту одну... пусть она побудет сама с собой...

IV

Создать роль, другими словами, одухотворить, придать живое лицо, живые жесты, живой голос персонажу, существующему только на страницах книги, так сказать, бумажному трупу,— это тяжелый труд!

Начинается он с первого серьезного чтения,— причем у Фостен оно носило какой-то странный характер и производило впечатление чисто механической операции, при которой смысл прочитанного как будто не доходил до ее сознания.

За ним идет уже настоящее изучение, которое почти тотчас же влечет за собой упадок духа и чувство неуверенности в себе — чувство, свойственное всем талантливым людям и заставляющее их повторять себе: «Нет, никогда, никогда я не смогу сыграть эту роль!»

Вот какое признание об этих первых минутах малодушия сделала как-то моему другу одна из самых даровитых наших актрис:

«Когда я приступаю к созданию новой роли, у меня каждый раз бывает такое чувство, словно мне предстоит поднять гору. Ужас, который я испытываю в подобных случаях, бывает до того невыносим, что я начинаю мечтать о землетрясении, о потопе, который бы избавил меня от моих мучений. Я проклинаю автора, себя, весь мир и становлюсь совершенной тупицей вплоть до той неповторимой минуты, когда весь этот хаос вдруг прорезается лучом света».

А Жюльетте Фостен к тому же приходилось бороться с неблагодарной и непокорной памятью, то и дело грозившей изменить ей и державшей в постоянной тревоге! А в роли Федры, как известно, семьсот стихов!

Однако же роль постепенно захватывала ее, завладевала ее мыслью, и актриса почти бессознательно вступила в период созидания, причем вначале работала главным образом лежа в постели, где ей легче было сосредоточиться.

И вот процесс, происходящий в медленно разгорающемся воображении писателя,— возникновение из небытия эмбриона того образа, который он создает, его постепенное формирование, его окончательное превращение в живое, осязаемое существо, словом, все этапы его существования,— этот процесс начал происходить и в актрисе, и даже не в мозгу ее, нет,— она почувствовала, что этот процесс происходит в ней самой. Испытывая глубокое и тайное удовлетворение актера, перевоплощающегося в другого человека, она перестала быть сама собой. Новая женщина, созданная работой ее мозга, поселилась в ее оболочке, прогнала ее оттуда, отняла у нее собственную жизнь.

И тут я не могу побороть искушение привести по поводу этой двойной жизни другой отрывок из письма, упомянутого выше:

«...С того дня, как мне поручена роль, мы живем вместе с нею. Я могла бы даже добавить, что она владеет мной, что она *поселилась* во мне. И, конечно, она берет у меня больше, чем я даю ей. Поэтому-то почти всегда, и дома и на людях, у меня появляется такой тон, выражение лица, манеры, какие мне хочется придать ей,— и все это совершенно безотчетно. Вся во власти роли, я не могу быть веселой, если то, другое «я», которое во мне, переживает что-нибудь печальное или трагическое, точно так же как мое мрачное настроение не в силах противостоять этому второму «я», когда оно шутит, радуется, когда смех его раздается в моих ушах. Вот, я сказала все, но понятно ли это? В таких случаях, я не одна, нас *двое*. В этом весь секрет моей работы. Я думаю о роли и живу ролью. А когда я отдаю ее на суд публики, она уже *созрела* во мне».

И еще одна любопытная вещь: актеры и актрисы классических трагедий и комедий, а также исполнители и исполнительницы нынешних пьес не имеют возможности опереться на современные образы. Гнев Ахилла и любовь Федры — это не тот гнев и не та любовь, какие встречаешь на каждом шагу на наших улицах и в наших гостиных. Следовательно, в стихию высоких, почти сверхчеловеческих чувств актера должно перенести воображение, а поистине необыкновенная интуиция поможет ему подняться до уровня этих огромных чувств и выразить их так, чтобы они обрели реальную жизнь. И кто же, кто достигает этих высот? Женщины без образования, вроде Фос-

тен, невежественные женщины, не имеющие ни малейшего представления ни об эпохе, которую они воспроизводят, ни об истории героинь и великих властительниц, в которых они перевоплощаются,— женщины, которые рассеянно просят какого-нибудь приятеля, помогающего им разучивать текст: «Ну, расскажи-ка мне, кто такой был этот господин Тезей»,— и уже не слушают его, снова захваченные ролью. И, однако, именно такие женщины воссоздают эти образы с такой поразительной достоверностью, при помощи таких интонаций, манер, жестов, каких никогда не могли бы придумать ученые, скульпторы, художники, всю жизнь отдавшие изучению античного мира. Поговорите с актерами, спросите у них, как достигается подобное чудо. Они ответят вам одним словом: «Инстинкт, инстинкт!» И действительно, здесь единственное объяснение этого дара *ясновиденья,* этой способности к проникновению в великое прошлое.

Тело трагической актрисы, которая к этому времени уже начала постигать свою роль и пыталась читать ее вслух, непроизвольно и совершенно естественно находило благородные, широкие жесты — жесты античной статуи. Она не изучала их в зеркале, как не изучала и мимику лица,— внутренне убежденная в том, что настоящий актер всегда носит в самом себе ощущение правильности своей игры и не нуждается в такого рода проверке.

Зеркало, по выражению одной большой актрисы, уже ушедшей со сцены,— это средство, к которому прибегают актеры или актрисы, чья мысль *стелется по земле,* марионетки, имеющие при себе список всех театральных приемов, якобы способных вызвать чувство, но никогда не вызывающих его.

При передаче душевных движений с помощью пантомимы найти приемы и даже удачно найти — это еще не все. Вкус и искусство должны проявляться здесь в умении отобрать, ограничить себя, отбросить все ненужное, в умении сделать жест спокойным, сдержанным, приглушенным, довести его до того «в самый раз», которому учат старинные театральные учебники, рекомендуя играть, «засунув руки в карманы». Сдержанность — такова характерная черта совершенных сценических творений, стремящихся к тому, чтобы показать на подмостках образ, чья театральная жизнь, как на картине большого художника, все время дается в полутонах спокойных, ровных красок и сверкает ярким блеском лишь в отдельных, наиболее сильных местах.

Но есть, пожалуй, нечто более трудное, чем мимика, в процессе преодоления роли: сложнее всего найти соответствие

между голосом актера и чувством, которое выразил автор, добиться верной тональности, точного звукового воплощения замыслов драматурга. Отсюда — усилия и поиски, повторения какого-нибудь одного стиха, одного полустишия, которое Фостен декламировала на все лады, то ускоряя, то замедляя, пропуская его через бесконечные модуляции голоса, смягченного, надломленного... И так сотни раз.

Однажды днем, разъезжая по разным делам в своей карете и для компании взяв с собой маленького Люзи, актриса повторяла: «Он — моя радость, моя честь, моя слава!» — фразу из «Царицы» Скриба, которую ей предстояло читать на утреннем приеме в одном из салонов Сен-Жерменского предместья,— повторяла полтора часа, до тех пор пока вдруг не нашла той интонации, какой требовало ее ухо.

V

— Итак, слушайте... Оба, отец и сын,— сын совсем еще молодой человек,— предполагали, как обычно, провести вечер у одной пожилой дамы, старинного друга их семьи... Но сыну в этот день немного нездоровилось, и он не пожелал расстаться с мягким креслом у камина.

Рассказ то и дело прерывался хлопаньем открывавшейся и закрывавшейся двери, поминутно входили конторщики; один что-то на ухо шептал рассказчику, другой подавал ему письмо, которое тот, стоя, подписывал на уголке каминной доски.

— Так вот, как я уже тебе говорил,— сын остался сидеть у камина... На лестнице отец замечает, что забыл носовой платок... он снова поднимается наверх и просит сына сходить за платком в его спальню... и, усевшись в то кресло, где только что сидел юноша, несколько минут греет ноги у камина... Случайно, а может быть, и со смутным любопытством к тому, как проводит этот одинокий вечер его сын, отец бросает взгляд на маленький столик, где молодой человек что-то писал, когда он вошел... Он видит печатный прейскурант какого-то бюро похоронных процессий и второй прейскурант, с особыми виньетками для каждого разряда, принадлежащий другой, конкурирующей фирме. А между этими двумя брошюрками — тщательно продуманный заказ на похороны по первому разряду, адресованный обеим фирмам и согласующий мудрую экономию с соблюдением декорума, подобающего высокому положению покойного в финансовом мире... У отца нет ни малейшего сомнения в том, что

речь идет о его собственном погребении, устройством которого занимается предусмотрительный сын в дни безденежья. Сын возвращается с платком... О, если бы этот отец был обыкновенным, средним отцом!.. Но нет, этот отец ничего не говорит своему чаду, с улыбкой расстается с ним, идет на свой вечер, где рассказывает обо всем нескольким близким друзьям... и притом остроумно, с забавными подробностями.

— Черт возьми! Вот он, героизм интимной жизни, истинный, без позы! Такой не часто встретишь и в «Conciones» [1] древности,— проговорил, выдохнув дым сигары, слушатель рассказа.

— Потому что это был настоящий биржевик,— ответил Бланшерон.— В нем жил тот упрямый и веселый пессимизм, который и составляет нашу силу.

Потом, после короткой паузы, добавил, медленно выговаривая слова:

— И подумать только, что человек, обладавший таким изумительным хладнокровием, был убит, как кролик, кусочком свинца, который он пустил себе в висок, узнав о замужестве девчонки, находившейся у него на содержании!

Сказав это, Бланшерон впал в глубокую задумчивость.

Бланшерон, *биржевой волк,* одна из самых крупных финансовых акул, принадлежал к числу тех энергичных людей, с грубым и упрямым лицом, с крепким мужицким здоровьем, весь облик которых отмечен печатью какой-то жестокой властности, свойственной всем денежным королям, малым и великим, если только они не принадлежат к еврейской нации. Цвет его лица — желтовато-красный, начал уже приобретать тот оливковый оттенок, тот металлический отблеск золота под кожей, который так любопытно наблюдать в голубоватом газовом освещении на лицах участников малой биржи, собирающихся вечером на бульваре. У Бланшерона был темперамент биржевика, *играющего на повышение,*— другими словами, дерзкая вера в доброго бога котировки, счастливая способность рассчитывать на удачное устройство и благоприятный исход всех происходящих на земле событий,— ведь это было в те годы, когда все преуспевало во Франции.

Облаченный в широкий костюм, какие носят грузные английские фермеры, этот биржевой делец громко заявлял о своем презрении ко всему, относящемуся к искусству и к литературе, причем распространял его и на людей, причастных к

---

[1] «Собраниях речей» *(лат.).*

этим профессиям. И в это свое существование, целиком зависевшее от alea [1], денег и лишенное всякой внешней роскоши, Бланшерон позволил проникнуть только одному развлечению, поглощавшему те двести тысяч франков в год, которые он зарабатывал,— любовнице.

Агент кулисы Люзи являлся полнейшей противоположностью Бланшерону. Это был маленький, изящный и красивый молодой человек, весьма неравнодушный к кокоткам, водивший дружбу с художниками, литераторами, большой любитель музыки,— человек, к которому выгодные дела так и шли, словно притягиваемые исходившим от него очарованием... человек, обладавший вместе с тем страстью к бродяжничеству и яхтой в Средиземном море, дававшей ему возможность исчезать с биржи на целых три месяца — три месяца, во время которых, вот уже два раза за последние несколько лет, он, по странной случайности, оставался в стороне от крупных, ставших легендарными, крахов. Умный, ловкий, себе на уме, один из искуснейших *аферистов* малой биржи, Люзи не обладал, однако, замечательным чутьем Бланшерона, а главное — его великолепной невозмутимостью в период катастрофических падений курса, и довольствовался скромной ролью спутника, вращающегося в орбите операций своего друга.

Задумчивость Бланшерона,— с короткой пенковой трубкой в зубах, он ходил взад и вперед по кабинету твердой походкой моряка, шагающего, широко расставляя ноги, по палубе своего судна,— внезапно оборвалась. Он сказал:

— Так вот, клянусь дьяволом, я чувствую себя ничуть не слабее этого старого мошенника отца... А уж по части всяких там сантиментов, или физических страданий, или провалов, связанных с днями *ликвидаций* на бирже, так я плюю на все, ты знаешь... Так скажи мне, почему вот этому телу, которое еще недавно, в июне месяце, я позволил резать и кромсать, словно оно не мое,— ты ведь видел сам,— почему одно слово, один жест, любая мелочь, которая исходит от этой проклятой женщины, причиняет ему... причиняет мне более сильную боль, чем нож хирурга! Да, дорогой мой, этот толстокожий... потому что меня, право же, не назовешь слабонервным...— вскричал он, разражаясь презрительным смехом,— да, так вот я, я страдаю от того, как Жюльетта открывает дверь, когда возвращается домой,— тихо, совсем тихо... То, как она поворачивает ключ в замке... даже ее шаги, когда она входит в комнату,—

---

[1] Жребия *(лат.)*.

шаги, которые кажутся самыми обыкновенными, всегда одинаковыми всем остальным,— все это полно для меня особого, горького смысла... Ах, эта Федра! Она вновь пробудила в ней целый рой юных, полных лиризма, поэтических ощущений, и среди них моя прозаическая особа...

И, расхаживая взад и вперед по комнате, в промежутках между отрывистыми фразами своей горькой исповеди, Бланшерон распахивал дверь, бросая кому-то приказания, относящиеся к денежной битве сегодняшнего дня:

— Ну, как? Что с премией в два су на завтра?.. Есть у нас шестьдесят тысяч для Тамплие?.. Что? Вы говорите, дошло до семидесяти — семидесяти пяти... Купите мне на девяносто тысяч, да поживее!.. А вы возьмите для меня по десять су до конца месяца и продайте половину с премией в один процент.

И, чтобы сорвать на ком-нибудь свое убийственное настроение, он грубо бросил одному из конторщиков:

— А где ответ? До завтра, что ли, ждать, черт бы вас побрал!

Потом снова обратился к Люзи:

— Нет, ты не можешь себе представить, дружище, до какой степени какая-нибудь дурацкая роль переворачивает все *вверх дном* в башке у актрисы... Она никогда не питала ко мне пылких чувств, это правда... и не слишком старалась скрыть это от меня... но все-таки она принадлежала мне, она была моей... по привычке, благодаря долгой совместной жизни, благодаря тому ощущению власти над мужчиной, которым гордится каждая женщина... особенно если этот мужчина такой свирепый пес, каким являюсь я. Будь оно все проклято! Сам дьявол вселяется в душу женщины, когда в ней просыпается старая любовь... Я чувствую, как с каждым днем она отдаляется от меня, замыкается в себе и словно ускользает из моих объятий. Потребуй она больше денег, можно было бы постараться заработать их для нее, и я заработал бы их... Но как бороться с призраком, который вдруг снова воскрес в ее сердце... с этим Уильямом Рейном, которого, может быть,— она и сама так думает,— уже давно нет в живых... Как могу я бороться с ним?

— Полно, мой милый,— сказал Люзи,— ведь это вопрос еще одного месяца. «Федра» будет сыграна, актриса снова станет обыкновенной женщиной, и ты снова найдешь прежнюю Жюльетту. Но ведь пока что она еще твоя любовница, не так ли?

— Да, она моя любовница,— серьезно ответил Бланше-

рой,— но, видишь ли, ее чувство ко мне — это чувство порядочной женщины, которая не любит своего мужа, а мне... это глупо, но этого мне уже мало!

VI

В зрительной зале, погребенной под огромными холщовыми полотнищами,— непроглядная тьма. В этой тьме сияют лишь маленькие квадратики дневного света,— он пробивается сквозь красные занавески на окошечках третьего яруса,— и поблескивают сапфировые подвески люстры, похожие на пучок сталактитов, свисающих в холодном мраке со свода ледниковой пещеры.

Это да еще несколько бледных отблесков на кариатидах авансцены, на полустертых мифологических фигурах плафона и на ручке контрабаса, выступающей над рампой из темной глубины оркестра,— вот все, что можно разглядеть в пустой зале, где по барьеру первого яруса одиноко прогуливается белая кошка.

На сцене, освещенной двумя кенкетами с рефлекторами, установленными в кулисах, почти так же темно, как в зале; только на холсте, изображающем небо, да в пробоинах декораций видны голубоватые блики, вроде тех, какие бывают на стропилах строящейся церковной колокольни, когда ее озаряет луна.

В глубине сцены — мужчины в пальто и круглых шляпах, похожие на обнищавших канцеляристов, и женщины, которые бродят с видом «поджигательниц», грея руки в стареньких муфтах,— какие-то будничные привидения, движущиеся в фантастическом полумраке.

Время от времени в мертвом молчании огромной пустой залы, по крыше которой бьют яркие солнечные лучи, дрожит глухой отзвук колес проезжающей кареты; и кажется, что этот отдаленный стук раздается сверху и давит на потолок, словно это тележки со щебнем катятся по насыпи над катакомбой.

Французский театр предоставил прославленной трагической актрисе Одеона — этой привилегией пользуются только очень крупные драматические актеры, и притом исключительно для пьес классического репертуара,— итак, Французский театр предоставил Фостен свой зал для десятка репетиций, которые должны были происходить, пока разучивается другая пьеса, и в этот день здесь шла первая репетиция «Федры».

Монументальные грелки, сделавшиеся традицией Дома

Мольера, были наполнены углями и поставлены в ногах у актрис, сидевших в глубоких мягких креслах стиля Людовика XV, приготовленных для вечернего спектакля.

Суфлер сидит с левой стороны за маленьким столиком, на который поставили лампу; старый режиссер Давен уселся рядом с ним, спиною к длинному жезлу с красной бархатной рукояткой, висящему на гвозде между двумя подпорками кулисы.

Директор устроился справа, на диване.

В глубине сцены висит, до половины поднятый кверху, огромный камин резного дерева — из какой-то средневековой драмы, а расиновский Ипполит, сильно простуженный, до кончика носа закутанный в кашне, стуча подошвами, бегает по подмосткам.

— Ну как, начинаем?.. Все в сборе? — раздается голос директора.

В эту минуту Терамен, опоздавший из-за приступа ревматизма, входит, прихрамывая, опираясь на палку и рассуждая вслух по поводу рецепта, который лежит раскрытый у него на ладони.

— Так как же наконец? Все на месте? — повторяет директор.

— Нет,— говорит кто-то.— Еще не пришла Энона.

— Это просто невыносимо... Хочешь устроить репетицию *без дыр*... и вечно одно и то же... Начнем без нее, быть может, это ускорит ее приход, тем более что она опоздала уже на добрых полчаса.

И вот в сером полусвете сцены, заполненной словно бы предутренним туманом, в котором белеют только воротнички актеров, а актрисы играют с затененными лицами и освещенными руками, начинается репетиция.

Дело подходит ко второму явлению.

— Господин Давен! — раздается голос директора.

Суфлер громко читает:

> Увы, царевич! Нас преследует злой рок.
> Царица при смерти. Конец уж недалек.
> Напрасно я о ней забочусь неусыпно [1].

И старый Давен, седобородый, в зеленой куртке, в желтых панталонах и полосатых гетрах поверх ботинок, застенчивой

---

[1] Стихи из трагедии Расина «Федра» здесь и далее даются в переводе Мих. Донского.

мимикой, сдержанными жестами, зябкими, жеманными, сопровождает рассказ наперсницы, обращенный к Ипполиту.

— Пришла! Пришла! — кричат из-за кулис.

— Какой гнусный фиакр! Ах, дети мои, никогда не берите старого извозчика! — говорит Энона — тип театральной лгуньи,— развязывая ленты у шляпки, и немедленно начинает подавать Фостен реплики третьего явления.

Любопытно, крайне любопытно наблюдать, как рождается роль,— даже у самых талантливых, самых знаменитых актеров. Как неосмысленно, по-детски начинают они читать эту роль! Как косноязычны, как беспомощны в поисках нужной интонации, нужного жеста... И лишь путем медленного, очень медленного просачивания творение автора проникает в них, заполняет, а потом, совсем уже под конец, в какой-то вспышке гения, выливается из их разгоревшихся сердец. Мадемуазель Марс говорила так: «Меня еще недостаточно *рвало* этой ролью!» Эти слова открывают нам, сколько времени, труда, поисков понадобилось добросовестной актрисе, чтобы прийти к совершенству, к идеальному исполнению роли. И эта постоянная погоня за лучшим, это непрерывное напряжение мозга, эта душевная тревога, не прекращающаяся до самого дня премьеры, вызывают у женщин нервное состояние, еще никем не описанное,— нервное состояние, когда страх выражается у них при соприкосновении с людьми театра в каком-то болезненном, чрезмерном самоуничижении, готовом, однако, ежеминутно перейти в вспышку горделивого гнева. Так, Фостен, на какое-то замечание директора, ответила, удивив всех своей уступчивостью: «О, разумеется, если вы восприняли это так, стало быть, я ошиблась». Но эта смиренная фраза была произнесена резким голосом — голосом женщины, готовой выпустить коготки. Есть и еще одна особенность, которую следует отметить у актрис в период вынашивания роли и во время раздражающей и нудной работы репетиций: они, эти актрисы, словно окутаны атмосферой суровости, холодности, они становятся *бесполыми*. Кажется, будто они отказались от природного женского обаяния, которое сопутствует им во всех остальных областях жизни; они положительно теряют дар улыбки, они становятся похожими на серьезных деловых мужчин.

— Ничего, ну, решительно ничего не получается сегодня,— сказал директор, хлопая себя по ляжкам.— Умоляю вас, господа, дайте хоть немного *жизни!*

Был один из тех дней, какие нам преподносит иногда парижский климат,— один из дней, когда, неизвестно почему,

живость и энергия парижанина как будто засыпают, один из тех *вялых* дней, когда люди, занимающиеся умственным трудом, бродят, как сонные мухи, и когда сам воздух столицы, обычно подстегивающий, возбуждающий, пьянящий, словно катит тяжелые волны лени.

И репетиция не подвигалась, и Фостен, репетируя роль, то и дело с досадой закусывала губу, и Ипполит, жалуясь, что у него «*болит голос*», заявлял, что не сможет нынче вечером играть, и Терамен каждый свой стих отмечал жалобным стоном, и суфлер дремал, а в паузах, когда умолкал текст Расина, слышно было, как ламповщик подолгу обдувал стекляшки люстры, которую он чистил, и та под его рукой издавала, вращаясь, веселый легкий звон, словно колье из драгоценных камней на шее у вальсирующей дамы.

Даже белая кошка, устав от прогулки по краю балкона, забралась под полурасстегнутую куртку механика, который уснул на складном деревянном табурете, согнувшись и положив подбородок на грудь.

— Вот что,— сказал директор, потеряв терпение,— все это плохо, очень плохо... Нет, сегодня из вас ничего не *выкопаешь*... Все вы какие-то *кислые*... Ничего не поделаешь, придется перенести на другой день.

Репетиция была прервана, раздался громкий топот ног, и Фостен, чьи глаза еще хранили отблеск кенкетов, очутилась вдруг на площади Пале-Рояль, испытывая то странное недоумение, с каким мы нередко спрашиваем себя, когда выходим из этих обиталищ ночи, действительно ли сейчас яркий день, или это только снится нам.

VII

— Сестра уже встала? — спросила однажды утром любовница Карсонака у некоей особы женского пола — домоправительницы своей сестры.

— Нет еще... Мадам читает газеты... Кажется, у нас никогда еще не было такой блестящей *прессы*... Все насчет вчерашнего бенефиса — да вы, наверно, и сами знаете.

— Ах, милая Генего! Как повезло моей сестре, что у нее служит такая женщина, как вы... А мою мне пришлось прогнать! Эта девица,— к тому же она собирается родить,— брала по десять франков с моих поставщиков за то, что извещала их всякий раз, как в доме появлялись деньги... И знаете, что́ эта язва сказала мне после того, как я предупредила ее об увольне-

нии: «До свидания, сударыня. Надеюсь увидеть вас где-нибудь под забором, когда вы будете стоять с протянутой рукой!..» А как вы себя чувствуете, милая Генего? Ваша простуда уже прошла?

— Я совершенно здорова,— сухо ответила Генего, словно отгораживаясь от любезностей сестры своей хозяйки.

Генего, женщина лет пятидесяти, мужеподобная, в очках, постоянно красовавшихся у нее на носу, походила на дюжего деревенского стряпчего, наряженного в полотняный чепец, но, несмотря на сердитую физиономию, напоминавшую судейского с карикатуры Домье, она всегда была на страже интересов своей хозяйки и питала к ней ту фанатическую преданность, какую некоторые цельные натуры из народа испытывают иногда к своим господам, окруженным славою полубогов.

— Так, значит, можно войти?

Генего кивнула и открыла дверь.

Фостен была в постели, заваленной развернутыми театральными листками, еще пахнувшими типографской краской и громоздившимися кучей в одном месте, скользившими вдоль тонких полотняных простынь в другом и через каждые две-три минуты с шелестом сухих листьев падавшими на ковер. Лежа высоко, на двух подушках, с распустившимися темными волосами, обрамлявшими ее посвежевшее, улыбающееся, розовое от радостного волнения лицо, актриса читала, подняв колени и сделав из них нечто вроде пюпитра; только что, разрезая нетерпеливой рукой одну из газет с хвалебной статьей, она оборвала лямку сорочки, и теперь плечо и одна грудь ее были обнажены.

— Ты? Так рано? Что у тебя стряслось?

— Сейчас расскажу... Ну, а как ты? Довольна своими газетчиками?

— Один любезнее другого... И так ждут моего дебюта в «Федре», что я, пожалуй, могу загордиться... Но говори же, что тебя привело.

— Послезавтра мы даем большой обед... деловой обед, как ты, конечно, понимаешь... Прежде всего речь идет о том, чтобы устроить постановку новой пьесы Карсонака в венском театре... Ты ведь знаешь эту пьесу — в ней есть свежесть и много чувства... Мы будем иметь там успех... Но предстоит немало разных дипломатических ухищрений... Надо будет нажать на кое-какие кнопки... А тебя он хочет попросить о небольшой услуге — о какой-то там рекомендации... К тому же ты знаешь, какое значение он придает твоему присутствию... Правда, он не любит тебя... Но кого он вообще любит?.. Может, ты ду-

Актриса Фостен

маешь, что меня?.. Постой, постой! Тут что-то новое... Это очень мило! Я вижу, что провинция проявляет по отношению к тебе изысканную любезность.

И сестра начала рассматривать лежавшую на столике золотую ветвь — лавровую ветку, на каждом листике которой было выгравировано название сыгранной роли, с такой надписью:

Руанский Французский театр
Жюльетте Фостен
от ее почитателей

— Да, они прислали это на днях... совершенно неожиданно... в благодарность за несколько спектаклей, которые я сыграла у них летом, во время отпуска... но скажи, сестренка, тебе действительно так уж нужно, чтобы я пришла на этот обед?.. Видишь ли, то общество, которое у тебя собирается... оно мне немного противно.

— Мне тоже!.. Но для тебя мы пригласим, кого ты сама захочешь... Разумеется, приглашение относится и к Бланшерону.

— Ну, он-то не придет... Он уверяет, что ваш дом — это один из тех парижских домов, откуда всегда выходишь после обеда с расстроенным желудком.

— Да что ты! Неужели и правда наши обеды так уж плохи, Жюльетта?

— Ты ведь знаешь — у него свои особые теории насчет пищи... его не переделаешь... Ой, совсем забыла — ведь именно в этот вечер я обещала пригласить к обеду одного из его приятелей... Ты с ним знакома, вы встречались в Сент-Андрессе,— это маленький Люзи... а потом мы собирались вместе пойти в театр... Ну ничего! Я отправлю их одних... а как только они уйдут, приеду к тебе... А что твой Карсонак? Все такой же злой?

— Да может ли быть иначе?.. Человек, у которого начинается нервное расстройство... Он ведь каждый день прикладывает к спине сырое мясо... да, да, русский способ лечения... И ни минуты сна!.. Бедняга всю ночь ходит по комнате, как тигр в клетке... все время курит и пьет рюмку за рюмкой... Все это отнюдь не располагает к христианской кротости. В конце концов к ней легко привыкаешь, к этой собачьей жизни... и, может быть, мне бы чего-то недоставало, если бы он вдруг превратился в добродушного идиота... А знаешь что? Ведь ему это угрожает!.. Значит, ты обещаешь быть у меня на обеде, я могу рассчитывать на тебя? Но до чего ты мила сегодня!

И, шутливо бормоча: «Какая у тебя гладкая кожа... ну

совсем как перила на лестнице в ломбарде»,— Мария начала шаловливо водить губами по плечу Жюльетты, но та резко оборвала нежности сестры, сказав:

— Перестань, ты знаешь, что я не люблю такие шутки.

VIII

В десять часов, когда Фостен приехала к Карсонаку, обед был еще далеко не кончен. Снимая в прихожей накидку, она услышала громкие голоса и, войдя в столовую, увидела сестру: с разгоревшимся от гнева и от шамбертена лицом, выпрямившись во весь рост и опираясь обеими руками о стол, та кричала своему любовнику через головы двадцати пяти гостей:

— Старый рогоносец!

Потом женщина взмахнула руками, и нервная дрожь охватила все ее тело.

Приятельницы — целый батальон во главе с Брюхатой — схватили ее под мышки и утащили в туалетную комнату, откуда в продолжение нескольких минут слышались возгласы: «Свинья!» — чередовавшиеся с глухими всхлипываниями, за которыми, наконец, последовали слезы, поток слез.

— Лилетта, что тут случилось? — спросила Фостен, улучив момент, когда девушка проходила мимо нее, собираясь присоединиться к подругам.

— Что? Да то, что всегда... За первым блюдом Щедрая Душа была чертовски весела, за вторым она с истерическим возбуждением посматривала на всех мужчин... перед десертом поссорилась с Карсонаком... а за десертом начались слезы и рыдания... обычный ход событий!

Карсонак, молча, бесстрастно, с побледневшим жирным лицом, глотал, уткнувшись в тарелку, свою ярость и свой позор. Потом встал и в сопровождении нескольких близких друзей, принадлежавших к избранному мужскому обществу его круга, проследовал в свой кабинет.

В большой, совершенно пустой, но освещенной a giorno [1] гостиной не было никого, кроме одной женщины и двух молоденьких девушек, почти девочек, которые попали сюда в силу своеобразия светских отношений в Париже и которых эта женщина увела из столовой, чтобы уберечь их слух от бранных слов. Сумасбродная, но вполне порядочная, она стояла сейчас

[1] Ярко *(итал.)*.

на большом круглом диване и занимала своих юных подружек тем, что вдруг со всего размаха падала навзничь, вскрикивая, как актриса, умирающая в пятом акте.

Несколько мужчин из числа обычных статистов званых обедов продолжали спокойно сидеть за столом и разговаривали, спрыскивая беседу вином.

Крупье из Монако рассуждал с дирижером оркестра, мужем Брюхатой, о трудности разведения скворцов. Врач с Гомбургских вод, молчаливый, как дипломат, каждые десять минут наливал себе рюмку, попутно наливая и своему соседу — актеру. Помешанный на духах, тот пил, уткнувшись носом в воротник фрака, где были у него зашиты палочки ванили. Высокий, бесцветный молодой человек, чье положение в обществе определялось *выгодными знакомствами,* перечислял семейные добродетели жен своих *знакомых* какому-то композитору с растрепанным хохолком, напустившему на себя безумный вид. Венский антрепренер болтал с матерью некоей танцовщицы — единственной женщиной, еще оставшейся в столовой среди мужчин. Она получила прозвище *Гербовая Марка* за фразу, которая немедленно слетала с ее языка, как только какой-нибудь завсегдатай Оперы чересчур усердно прижимался к ее дочери в танцевальной зале.

— Прекратите, пожалуйста, господин маркиз!..— неизменно говорила она.— У меня как раз есть при себе гербовая марка.

Некий скандинав, который воображал, что написал пьесу на французском языке и у которого все было разборное — трость, бинокль, портсигар,— показывал неприличные картинки на внутренней крышке своих часов директору театра; у того было сейчас туго с деньгами, и он пытался узнать цену, которую готов был заплатить «неудобоиграемый» драматург за свою славу. А по другую сторону от иностранца сидел, прислушиваясь к их разговору, *осветитель* театра, главный кредитор директора, каждый вечер накладывавший с помощью судебного пристава арест на весь сбор и позволявший бедняге видеться со своими авторами только по воскресеньям.

И наконец, поставщик аранхуэсской спаржи, живой и остроумный, как все люди, много странствующие по свету, рассказывал своим сотрапезникам одну историю, которая произошла в его новом отечестве:

— Как-то утром, в Толедо, я пришел к хозяйке уплатить двенадцать пиастров — небольшую квартирную плату, которую я аккуратно вносил каждый месяц. Надо сказать, что старуха

принадлежала к высшей испанской знати... Старинный разорившийся род... У нее было две дочери. Старшая — с черными как уголь бровями... командорша ордена святого Иакова... Этот орден уже не существует — он был уничтожен испанской революцией,— но она продолжала носить его облачение... Я так и вижу ее в этом капюшоне, в длинном белом платье, с большим красным крестом чуть не в ее рост... У другой дочери, помоложе, замужней, был сын лет пяти-шести... наследник имени... последний маркиз в их роде... самый избалованный мальчишка в мире, кумир всех трех женщин... Ну и капризы же были у этого человечка, ну и причуды — причуды тирана!.. Здесь, кажется, нет девиц? — спросил рассказчик, оглядев столовую.— Так вот, в тот день мальчишка забрал себе в голову посмотреть... посмотреть на то, что не показывает ни одна женщина и уж тем более — монахиня!.. Мать, вне себя от гнева, грозится высечь его. Тут малыш приходит в дикую ярость, весь трясется и кричит, словно его режут: «Qiero, qiero ver el culo de mi tia!» [1] При этом он злится, плачет, задыхается. Мать зажимает ему рот рукой... бесенок кусает руку и вдруг начинает в судорогах кататься по полу, не переставая сквозь стиснутые зубы выкрикивать свою проклятую фразу... Тут открывается дверь, и в комнату с суровым видом входит бабушка... она с секунду смотрит на внука, у которого на губах выступила пена, потом говорит: «Последний маркиз нашего рода умирает... допустите ли вы, чтобы он умер, дочь моя?» («El último marqués de la familia muere. Le dejará de morir, hija mía?») Командорша ордена святого Иакова, неподвижная, как статуя, все это время не отрывалась от своего молитвенника, словно то, что кричал мальчик, не доходило до ее слуха. Но, боже мой, какой взгляд метнула она на мать после этого вопроса!.. Командорша взяла ребенка за руку и вышла с ним из комнаты... А через минуту последний маркиз рода с растерянным видом прошмыгнул между нашими ногами и выбежал на лестницу с такой быстротой, словно ему довелось увидеть самого дьявола...

В кабинете Карсонака серьезные люди, драматурги, сосредоточенно курили и хранили глубокое молчание, словно боясь, что кто-нибудь может украсть их замыслы. Только по временам самый веселый из всей компании вставал, по очереди подходил к каждому, на манер старого полишинеля почесывал ему затылок, а потом, очень довольный, снова садился на свое место. В глубине, в самой глубине затененной комнаты, вполголоса бе-

[1] Хочу, хочу видеть задницу моей тети! *(исп.)*

седовали двое мужчин; один из них был совершенно скрыт клубами дыма своей сигары, и только голос его, казалось исходивший от бесплотного духа, с мрачной убежденностью повторял:

— Это недурно, но надо бы сделать купюры.

Карсонак, незаметно взяв шляпу, собрался уходить, как вдруг его поймал между двумя портьерами директор театра:

— Ничего не поделаешь с этим скандинавом! Больше двадцати тысяч франков у него не вытянешь!

— Дурак! Бери его рукопись и его двадцать тысяч франков... это костюмы и декорации. А я напишу тебе пьесу из той же эпохи, и сразу же после его провала ты поставишь мою...

Карсонак уже взялся за ручку двери в прихожей, но его задержал поставщик аранхуэсской спаржи:

— Карсонак, я участвую в покупке слона, привезенного в Картахену.

— Ну, а при чем тут я?

— Быть может, в твоей будущей пьесе ты смог бы как-нибудь использовать его... моего хоботоносого?

— Не знаю, абсолютно ничего не знаю на этот счет,— ответил Карсонак, но в глазах его внезапно вспыхнул огонек, который тотчас же погас.

— Не хитри... тебе до смерти хочется получить моего слона... но ты ведь знаешь, что меня не так-то легко провести... и получишь ты его только в том случае, если я буду иметь долю в пьесе.

— Ну, ладно, ладно, согласен... и доставь его сюда большой скоростью.

Побыв немного с сестрой в туалетной комнате, Фостен вернулась в большую гостиную к «женщине-акробату» и к двум девушкам. Одна из них, с бархатным взглядом и тяжелыми веками турчанки, в белом платье, на котором выделялось красное коралловое ожерелье, излучала то простодушие и наивность, ту готовность любить всех и все, какую можно встретить только у очень молоденьких девочек, живущих взаперти и лишь изредка, случайно, выезжающих в свет. Она рассказала о своем первом школьном увлечении, о своем романе с ящерицей. У ящерицы был ласковый и дружеский, совсем человеческий взгляд. Девушка всегда носила ее на груди, и, когда она играла на фортепьяно, зверушка высовывала головку из ее корсажа, чтобы быть поближе к музыке. Одна ревнивая подруга раздавила ящерицу, и, влача за собой свои маленькие внутренности, та приползла к своей хозяйке, чтобы умереть у

зе ног. Она вырыла ей могилку и поставила маленький крестик. Теперь она больше не хочет ходить к обедне. Молитва уже не доставляет ей удовольствия. Ее вере пришел конец: бог оказался слишком несправедливым.

Оправившись от нервного припадка, Щедрая Душа просунула в полуоткрытую дверь туалетной комнаты совсем белое от рисовой пудры лицо, обозревая, кто из гостей еще остался. Затем она отважилась выйти и стала бродить по всему дому с какими-то странными, словно смеющимися, глазами, но с совершенно серьезным выражением рта. Она блуждала по комнатам, дразня мужчин своим тонким профилем, правильным носиком, изящно вырезанным ртом и задорными завитками на лбу, придававшими какую-то шаловливую и своеобразную прелесть ее бледному лицу.

Капризное, сумасбродное создание, натура изменчивая, пылкая, загадочная, жрица любви, совсем недавно пережившая ту горькую минуту, когда однажды утром женщина замечает у себя первую морщинку, Щедрая Душа, еще в тумане оставшегося опьянения, которого она хотела, которое искала, чтобы утопить в нем какую-то неотвязную мысль, продолжала дразнить то одного, то другого своей обворожительной мордочкой и полной тайны улыбкой. Бросая кому-нибудь ироническое замечание, она смягчала его интонацией, в которой слышались слезы. Даря ласковое слово другому, вдруг отпускала циничную шутку, превращая свою ласку в насмешку, но при этом голос ее порой начинал дрожать, словно у маленькой девочки под ударами розги. Змеино-гибкая, вызывающе красивая, эта сумасбродка, эта профессиональная «воспламенительница» мужчин, вдруг прижималась на миг к кому-либо из гостей, давая ему услышать биенье своего сердца, потом внезапно отрывалась и, упав в глубокое кресло, протягивала для поцелуев ножку, просвечивавшую розовым сквозь белый шелковый ажурный чулок.

И вдруг, окруженная поклонением мигом собравшихся вокруг нее мужчин, Щедрая Душа разразилась каким-то особенным смехом, предвещавшим торжественную расправу с одним из любовников — расправу, которую она любила совершать публично.

— Известно ли вам, как я называю теперь моего Плескуна?

Плескун — таково было первоначальное прозвище, придуманное для него Щедрой Душой,— являлся последним официальным ее обладателем, другом сердца трехнедельной давности.

— Я называю его «Командором ордена верующих»... Ну, скажите, разве моя кличка не идет этому простофиле?

И она вся затряслась от смеха.

— Скажите мне вот что,— тут же добавила она,— видел его кто-нибудь из вас после того, как он сломал себе передний зуб?.. Теперь это уже не рот, а настоящий люк.

И она захохотала громче прежнего.

— Мой любовник отлично пишет... Он стилист.

Щедрая Душа вынула из кармана два или три письма Плескуна и поцеловала их, одно за другим, с самыми забавными ужимками.

— Ничего не поделаешь, придется познакомить вас с его излияниями... Как вы знаете, мой Плескун — человек пунктуальный... Он пишет: «Вы должны принадлежать мне в три четверти восьмого...», нет, право же, его письма до того глупы... можно подумать, что он пишет их носом.

И Щедрая Душа принялась каждую свою фразу заканчивать детским «пям-ням»:

— О, господи, до чего у него тупой вид, когда он смотрит на меня влюбленными глазами, ням-пям... и все-таки он ни капельки не волнует меня, ням-ням... Как жаль, что сейчас не лето, я послала бы его решетом воду носить. Ведь этот дурачок на все согласен, ням-ням!.. Нет, я решительно не признаю *выдохшихся* мужчин... И никакой возможности его прогнать... Ведь я же говорила ему, что Карсонак ревнив.

И Щедрая Душа опять принялась хохотать.

— Получилась маленькая осечка... Я забыла предупредить Карсонака, и он пригласил его к обеду... Что поделаешь! Придется дать Плескуну расчет, как слуге,— ням-ням-ням...

В кабинете хозяина дома драматурги все еще курили, храня глубокое молчание на манер жителей Востока.

— Куда же все-таки запропастился Карсонак? — проговорил наконец один из них.

— Карсонак!.. Он пошел узнавать, каков сегодняшний сбор. Если б он не делал этой маленькой прогулки для пищеварения... Ну что — опять четыре тысячи пятьсот? — обратился он к Карсонаку, который как раз вошел в комнату.

— Сегодня ведь канун платежного дня. В такие вечера сбор всегда бывает ниже обычного,— с озабоченным видом ответил Карсонак.— А разве моя свояченица не с вами?.. Где же она, черт побери?

— В большой гостиной... она провела там с девочками весь вечер.

Карсонак прошел к Фостен и повел ее в кабинет, на ходу говоря ей:

— Значит, Щедрая Душа так и не представила тебе сегодня молодого де Бленвиля?.. Вот *ленивица!* Стало быть, она уже не работает на семью... В двух словах: нам не нужна эта Мареско... она больше не нравится публике... но ее поддерживают Марвиль и другие,— словом, все министерство, она натравила его на нас, и теперь оно хочет, чтобы мы отняли роль у Бланш Топперье... Черта с два! Я им прямо так и сказал... Но ты понимаешь, какая куча неприятностей может обрушиться на наши головы... Так вот — я пригласил молодого де Бленвиля, одного из твоих обожателей... Я бы напустил на него Щедрую Душу, но ее он не может видеть — даже на портрете... Этот юнец пользуется благосклонностью его превосходительства... говорят даже (только это, конечно, между нами), что он — один из его побочных сыновей... Окажи мне услугу — подзадорь его... Необходимо, чтобы он стал там нашей контрминой... сделай одолжение, постарайся, а? И не бойся немножечко разжечь мальчика... тебе это ничего не стоит, ему будет приятно, а нам полезно.

Представив актрисе молодого человека, Карсонак усадил их в угол дивана и отошел, делая вид, что не слушает их разговора, а сам внимательно к нему прислушиваясь.

Спустя несколько минут последняя сигара погасла во рту последнего курильщика в кабинете Карсонака. Тогда собравшиеся там мужчины начали подавать некоторые признаки жизни: они слегка зашевелились, и невнятные, односложные слова стали срываться с их губ. Один из них даже встал и, чтобы поразмяться, несколько раз обошел комнату, что-то напевая.

— Эге, старина, ты, оказывается, *волочишь ногу.* Да, да, ты волочишь ногу,— сказал один из драматургов.

Второй драматург. А что это такое?

Первый драматург. Это походка людей, у которых начинается сухотка спинного мозга... О, не волнуйся, у тебя еще только вторая стадия — *двигательная атаксия,* иначе говоря, нарушение координации мышечной системы.

Третий драматург. Да что ты! Знаешь, мой сапожник... кстати сказать, он сильно смахивает на могильщика... так вот, когда я в последний раз платил ему по счету, он сказал мне... и с такой, знаешь ли, ехидной улыбочкой... что теперь я снашиваю подметки до самого носка... Эх, черт, уж не симптом ли это, а?

Четвертый драматург. Надо будет и мне проследить... за своей обувью.

Пятый драматург. Скажите, господа, у вас бывает когда-нибудь такое ощущение,— идешь по мостовой, а кажется, будто идешь по мягкому, мягкому, мягкому ковру?..

Шестой драматург. Нет... этого у меня нет, но бывают дни, когда... просто смешно... хотя нет, пожалуй, и не так уж смешно... когда мне кажется, будто *нервы, управляющие движением* ног, это шнурки от марионеток, и они ослабли, отсырели... И при этом что-то такое происходит в затылке... не могу определить, что именно... А иногда, лежа в постели, я не совсем ясно представляю себе, где у меня ноги... Что, если это начало конца? Как ты думаешь, Карсонак?

— *Ты подыхать — моя наплевать... Я помирать — мне жалко будет,*— зло пошутил Карсонак, разыгрывая балаганного шута — негра. С самого начала разговора он все время потирал себе ноги, словно уже ощущая в них все явления, описываемые приятелями.

И, расспрашивая, ощупывая, выслушивая друг друга, отпуская шутки, за которыми чувствовалось беспокойство,— так ночью прохожий напевает, чтобы заглушить свой страх,— каждый начал рассказывать о подмеченных у себя симптомах той болезни, что зовется боязнью, навязчивой идеей и является темой послеобеденных бесед всех этих людей, чья жизнь исполнена первых потрясений и чувственных соблазнов. Постепенно характер разговора изменился, и вместо туманных выражений пошли в ход такие термины, как *артропатия, хронический склероз задних столбов спинного мозга, полный идиотизм, апоплексический удар, эпилептическое подергиванье лицевых мускулов, управляющих речью,* и т. д. и т. д.— страшные слова, звучавшие как погребальный звон и придававшие этой маленькой пирушке веселость совещания врачей над распростертым в прозекторской трупом.

— Благодарствую, я ухожу,— сказала Фостен, выполнившая, хотя и не слишком усердно, поручение Карсонака.— Право, вы чересчур мрачны для меня, господа!

Сестру свою Фостен нашла в столовой, где Щедрая Душа кокетливо примеряла испанскую сетку для волос.

— Розалина непременно хочет видеть тебя,— сказала она Жюльетте.— Ей нужно посоветоваться о каком-то костюме для выхода в пятом акте... Надеюсь, ты ей не откажешь... Вот, накинь этот капор.

И обе женщины вышли вместе.

IX

Этот дом был устроен на манер гостиницы с ложей № 23 из рассказа Гофмана. Обе женщины спустились этажом ниже, Щедрая Душа отперла своим ключом какую-то дверь, и сестры вошли во внутренний коридор театра, где мужчины отпускали любезности женским головкам, выглядывавшим поверх занавесок своих уборных. Затем актрисы выходили оттуда с жеманным выражением «Озябшей» Гудона, между тем как костюмерши, стоя сзади, застегивали им платье на спине.

Розалина была еще на сцене. В пустой уборной не было никого, кроме маленького сына любовницы Карсонака.

Пользуясь отсутствием актрисы и костюмерши, мальчуган, сидя перед туалетным столиком и орудуя губкой для белил, заячьей лапкой, банкой с румянами и карандашом для бровей, усердно гримировался «под старика», не забывая после каждого мазка отпить глоток смородинного сиропа из стакана, куда он вылил половину бутылочки, стоявшей на крышке кувшина с водой.

— Как, ты здесь, и так поздно, противный мальчишка? — крикнула мать, стащив сына со стула и энергично вытирая ему лицо платком.— Викторен! — позвала она проходившего по коридору служителя.— Забери малыша и отведи его к Зелии. Да скажи ей, что я велела немедленно уложить его спать... Однако,— добавила Щедрая Душа, взглянув на часы,— картина продолжается сегодня дольше обычного. Мне как раз надо тут кое с кем поговорить... побудь немного здесь, а я сейчас приведу к тебе Розалину.

Жюльетте немного нездоровилось в этот день. Она опустилась на жалкий диванчик орехового дерева, и, сидя в томительной духоте тесной комнатки, в одурманивающей атмосфере мавританской бани, охваченная лихорадочной сонливостью, какая всегда нападает на нас в этих лишенных воздуха и отравленных запахом газа закоулках театра, она невольно слышала доносившиеся до нее, словно издалека, обрывки разговора, который вела с кем-то высокая сухопарая женщина, стоявшая в дверях уборной.

— Да,— говорила женщина,— да, с восьми утра до пяти вечера заниматься шитьем в костюмерной, а с шести вечера до часу ночи одевать здесь... и все это за сорок франков в месяц... а директор уже три месяца не платит мне жалованья... чашка кофе — вот все, что попало за весь день в мой желудок... И еще

хотят, чтобы, наряжая в бархат и кружева этих особ, которые объедаются индейками с трюфелями, я вкладывала в свое дело всю душу.

В то время как в ушах Фостен смутно звучали слова костюмерши, перед ее полузакрытыми, застланными сонной дымкой глазами стояли предметы разнокалиберной обстановки уборной: маленькая белая изразцовая печка с трубой, выходившей в соседнюю комнату, дешевенький, выкрашенный в черный цвет туалетный столик — настоящая конторка письмоводителя у судебного пристава, большое зеркало с двумя ослепительными газовыми рожками по обеим сторонам, а под зеркалом огромный рисунок карандашом, на котором выделялось имя гадальщика Клавдия, окруженное четырьмя толстощекими амурами, из чьих губ, вместо дыхания, вылетали, наподобие четырех ветров, четыре слова: *Счастье, Здоровье, Успех, Богатство.*

И люди, которых Фостен видела мельком через полуоткрытую дверь, люди, сновавшие взад и вперед по коридору и спешившие на зов других, невидимых людей, звавших их далеко, туда, откуда доносился громкий гул, напоминавший грозный ропот морского прибоя,— эти люди казались ей какими-то автоматами, которые суетились в доме умалишенных и с серьезным видом совершали самые непостижимые вещи.

Фостен решила стряхнуть с себя это оцепенение и вместе с ним — наваждение всех этих видений и звуков. Сделав усилие и с трудом выходя из своей апатии, она провела рукой по кушетке, нащупала клочок бумаги — обрывок какой-то газеты — и принялась читать его.

Газета была напечатана на том языке, который она изучила в Шотландии, среди поцелуев, закрывавших ей рот, когда она неправильно произносила слово.

И вдруг Фостен вскочила, словно ее внезапно разбудили. Быстро окинув взглядом уборную, она обшарила все углы, потом с незаурядной силой, какую никак нельзя было предположить в этом хрупком существе, начала приподнимать и передвигать всю мебель. Кушетка была вделана в стену. Фостен схватила спички и, растянувшись на полу, прикрыв огонек ладонью, стала другой рукой перебирать мусор и паутину.

— Ты что, с ума сошла? Что это ты делаешь? — воскликнула сестра, входя в уборную вместе с Розалиной и костюмершей и застав Фостен за этим занятием.

Та мгновенно вскочила на ноги и бросилась к Розалине:

Как попал сюда этот клочок бумаги?

— Этот клочок? Не знаю... Ах да, вспомнила, это от английской газеты, в которую была завернута шелковая вязаная фуфайка... ну, знаете, такие тоненькие фуфайки — как паутина... мне ее прислали из Англии несколько дней назад.

— А название газеты? Скажите мне ее название... или хотя бы дату... что это — вчерашняя газета или, может быть, ей уже несколько лет?.. Ах, узнать о такой вещи и не иметь представления, когда это случилось... и ведь в этом обрывке недостает конца... вот здесь, смотрите, здесь, внизу.— Она обернулась к костюмерше: — Два луидора, если вы найдете мне этот кусочек... видите? Вот здесь.

— Господи, два луи! — повторила сухопарая женщина, глубоко потрясенная.— И подумать только, что я растопила этой газетой печку!

— Но что же такое ты нашла в этой газете? — спросила у Фостен сестра.

— Ничего... нет, нет, ничего... в другой раз я сделаю все, что вам нужно, Розалина... вы ведь отдадите мне этот клочок бумаги?

И, не слушая, не отвечая, Фостен вышла из театра и побежала по лестнице. Здесь, почувствовав наконец, что она одна, под лампочкой, освещавшей второй этаж, свесившись всем телом за перила и рискуя упасть, она начала изучать обрывок газеты, где после имени Уильяма уцелели первые три буквы фамилии, похожей на фамилию ее прежнего возлюбленного.

Сойдя вниз, Фостен знáком приказала кучеру ехать за ней следом, а сама побрела по темной набережной неверной и шаткой походкой женщины, которая решила ночью броситься в Сену. Редкие прохожие оглядывались, провожая ее взглядом. И под каждым газовым фонарем она протягивала к мерцающему свету свой загадочный клочок бумаги, всякий раз надеясь вырвать у него тайну.

— Да я и вправду сошла с ума!.. Ведь так легко узнать то, что мне нужно! — внезапно вскричала она и села в свою карету, помчавшую ее домой.

Дома Фостен села за письменный столик, написала какое-то письмо, разделась без помощи горничной, но, вместо того чтобы лечь в постель, принялась раздетая ходить взад и вперед по своей спальне и ходила долго, очень долго, не замечая времени.

Ночью Фостен приснилась статья, которую она прочитала: охота на тигра, устроенная вице-королем Индии,— охота, в ко-

торой оказался один раненый, и у этого раненого все время менялось лицо: то это было лицо Уильяма Рейна, то лицо незнакомого мужчины.

Утром, затопив у своей госпожи камин, Генего наклонилась над каминной доской и шепотом начала разбирать по складам: «Господину... господину... первому секретарю английского посольства».

— Это письмо надо отнести, сударыня? — уже громко спросила она.

Фостен приподнялась на постели и, охватив ладонями голые локти, с минуту молчала, а потом ответила Генего:

— Брось в огонь и письмо, и клочок газеты, что лежит с ним рядом.

Затем она снова откинулась на подушку и проговорила, точно обращаясь к стене:

— Нет, нет, я не хочу уверенности, какой бы она ни оказалась... я боюсь ее... лучше уж жить в неведении... и не терять возможности надеяться.

Однако с этого дня Фостен, хоть и не желая ничего знать, представляла себе Уильяма не иначе как в романтическом ореоле героев Жозефа Мери́, а белую кожу англичанина видела разодранной лапой свирепого тигра.

X

— Повторим большую любовную сцену второго акта,— сказал директор в конце третьей репетиции.

Актриса.

Вот он...

Режиссер. Хорошо... очень хорошо... но все-таки не повторить ли нам еще раз?.. Понимаете... при виде Ипполита вас охватывает страх, но в то же время... в то же время вас влечет к нему какая-то высшая сила... Эту сцену, как мне кажется, надо начать с большей глубиной чувства.

Актриса.

Вот он!.. Вся кровь на миг остановилась в жилах!
И к сердцу хлынула. Припомнить я не в силах
Ни слова из того, что я должна сказать.

.

Ты покидаешь нас? Не сетуй на докуку,
Но я к твоим скорбям свою прибавлю му́ку:
За сына я боюсь.

Режиссер. Вот, вот... та самая нотка женского лицемерия, которое и есть в этих строках.

Актриса.

Лишился он отца...

Режиссер. Это очень важное место: «Лишился он отца». Эти слова надо произнести так, чтобы в них чувствовалась какая-то затаенная мысль.

Актриса.

Уже недолго ждать и моего конца,—
Тогда останется одна ему защита
От сотен недругов: лишь дружба Ипполита.
Но...

Режиссер *(у него привычка бормотать себе под нос, и Фостен большей частью, по-видимому, даже и не слушает его).* Здесь резкий переход и понижение голоса на слове «но».

Актриса.

Но мысль ужасная мой угнетает дух:
Что к жалобам его останешься ты глух,
Что, ненавидя мать,— а есть тому причина,—
Свой справедливый гнев обрушишь ты на сына.

Режиссер. Твоя реплика, Ипполит,— помни, это век Людовика Четырнадцатого.

Директор *(стоит, облокотясь на деревянную лесенку, перебрасываемую на время репетиций из залы на сцену, и стучит тростью по ступенькам, когда тирада произносится без подъема).* Простите, вам, конечно, известен прием, который ввела в этом месте мадемуазель Клерон? Услышав голос Ипполита, она слегка вздрагивала.

Актриса.

Не смею сетовать на неприязнь твою...

— Нет, не то, не то... одну минутку... кажется, нашла... нет.— И, сердито одернув обеими руками кончики своего корсажа, Фостен спросила у режиссера: — Ну, а как бы прочли это место вы, вы сами?

Режиссер. Нет, я не стану читать его... мне бы хотелось, чтобы это сделали вы... по в той интонации, которую я здесь чувствую... Вот что, произнесите эти слова совсем непринужденно, так, как вы разговариваете в жизни... А теперь — в более возвышенном тоне... вот-вот, превосходно!

Директор. О, работать с вами! Вы ведь все понимаете с полуслова и сразу же даете больше, чем от вас хотят.

Актриса.

Не смею сетовать на неприязнь твою.

Известно, что терпел ты от меня гоненья.
Но сердца моего...

Режиссер. Вот это «Но сердца моего...» надо произнести более значительно... а теперь, до конца монолога, подчеркнем ритм.

Актриса.

Но сердца моего ты знал ли побужденья?
Я не могла снести, чтоб ты жил там, где я,
И ты отправлен был в далекие края.
Я говорила всем, и тайно и открыто:
Пусть море отделит меня от Ипполита.
Добилась я: запрет наложен был царем
Тебя упоминать в присутствии моем,
И все же...

Режиссер. Тут некоторое понижение тона.

Актриса.

И все же, если месть с обидой соразмерить,
Злом лишь за зло платить,— ты можешь мне
поверить,
Что, пораженная несчастьем...

Режиссер. Раз, два... и отчеканьте последний стих.

Актриса.

...я скорей
Достойна жалости, но не вражды твоей.

. . . .

О нет, царевич! Пусть таков закон всеобщий,—
Он, волею небес...

Режиссер. Надо выделить, выделить слово «небес»... оно здесь имеет особое значение... а дальше пойдет в тоне умиления.

Актриса.

Он, волею небес, не властен надо мной.
Нет, я томлюсь теперь заботою иной!

— ...Томлюсь, томлюсь, томлюсь...— повторяла Фостен и, наконец, после третьего «томлюсь» вскричала: — Ага, вот оно! Кажется, я поймала ту интонацию, которой вы добивались от меня на прошлой репетиции.

. .

Двукратно не войти в обитель мертвецов,
И если там Тезей, то милости богов
Не жди. Ужель Аид нарушит свой обычай
И алчный Ахерон расстанется с добычей?
Но что я говорю? Тезей не умер! Он —

Со мною рядом... здесь... В тебе он воплощен...
Его я вижу, с ним я говорю...

Директор. Отлично, отлично... Это говорится словно в какой-то галлюцинации.

Актриса.

...Мне больно!
Свое безумие я выдала невольно.

Режиссер. Чуть больше ударения на слове «невольно». Ведь это «невольно» — характерно для Афродиты, для страшной и грозной Афродиты, которая говорит в сторону, как бы для себя самой.— И, внезапно развеселившись, режиссер добавил:

Ужель, Афродита, тебя веселит,
Когда добродетель кувырком, кувырком летит?

Актриса.

Ты прав, царевич! Да! Любовью пламенея,
Как прежде, я стремлюсь в объятия Тезея,
Но Федрою теперь любим не тот Тезей,
Усталый ветреник, раб собственных страстей,
Который в ад сошел, чтоб осквернить там ложе
Подземного царя. Нет, мой Тезей моложе!
Немного нелюдим, он полон чистоты...

Режиссер. «Он полон чистоты» вы произнесли именно так, как нужно. А все вместе вполне передает чувство женщины, окончательно *закусившей удила.*

Директор. Это не хуже, чем когда-то у Рашели, а уж та... И, пожалуй, «немного нелюдим» звучит у вас даже лучше, чем у нее, как-то более изящно.

Актриса.

Он горд, прекрасен, смел... как юный бог!.. Как ты!

Режиссер. Больше влюбленности, больше экзальтации... и, если это возможно, постарайтесь, чтобы чувствовалось еще более жгучее стремление приблизиться к любимому человеку.

Актриса.

Таким приплыл на Крит Тезей, герой Эллады:
Румянец девственный, осанка, речи, взгляды —
Всем на тебя похож. И дочери царя
Героя встретили, любовь ему даря.
Но где был ты? Зачем не взял он Ипполита,
Когда на корабле плыл к побережью Крита?

Директор. Разрешите сделать небольшое замечание... Хотелось бы, чтобы в вашем чтении все время выделялась

структура наших великолепных симметричных двустиший, равновесие которых зиждется на двух одинаковых созвучиях и на двух равных полустишиях.

Актриса.

Ты слишком юным был тогда, и оттого
Не мог войти в число соратников его.
А ведь тогда бы ты покончил с Минотавром
И был за подвиг свой венчан победным лавром.

— Дальше! — бросила суфлеру Фостен, забывшая следующую строчку и чем-то раздосадованная в содержании монолога, о чем она умалчивала.

Затем продолжала:

Моя сестра тебе дала бы свой клубок,
Чтоб в Лабиринте ты запутаться не мог.
Но нет! Тогда бы я ее опередила.
Любовь бы сразу же мне эту мысль внушила,
И я сама, чтоб жизнь героя сохранить,
Вручила бы тебе спасительную нить.
Нет, что я! Головой твоею благородной
Безмерно дорожа, я нити путеводной
Не стала б доверять. Пошла бы я с тобой,
Чтобы твоя судьба моей была судьбой!
Сказала б я тебе: за мной, любимый, следуй,
Чтоб умереть вдвоем или прийти с победой!

Директор. Превосходно. Особенно последний стих. Он словно вырывается из души второго возлюбленного Дидоны.

Актриса.

Нет, не присуща мне забывчивость нимало.

Режиссер. Не лучше ли было бы, если б после этих слов вы резко отступили назад?

Актриса.

Ужели этим честь свою я запятнала?

.

...О нет, все понял ты, жестокий.
Что ж, если хочешь ты, чтоб скорбь мою и боль
Я излила до дна перед тобой,— изволь.
Да, я тебя люблю. Но ты считать не вправе,
Что я сама влеклась к пленительной отраве...

Директор. Здесь надо более выпукло оттенить душевные муки.

Актриса.

...Что безрассудную оправдываю страсть.
Нет, над собой — увы — утратила я власть!

Я, жертва жалкая небесного отмщенья,
Тебя гневлю, себе — внушаю отвращенье.
То боги!.. Послана богами мне любовь!..

Режиссер. Выделите слово «богами». Слово «боги» намеренно повторяется дважды в одной строке.

Директор. Да, да. Подчеркните слово «богами»... В этой сцене не должно чувствоваться плотское безумие... не надо ни малейшей истерии... вам незачем быть актрисой, которая подлаживается под вкусы толпы... ваш талант выше этого... играйте жертву рока, женщину, не выдержавшую тяжести мщения богов... Такова традиция, великая традиция Французского театра.

Актриса.

О боги!.. Послана богами мне любовь,
Мой одурманен мозг, воспламенилась кровь...
Но тщетно к ним в мольбе я простираю руки,
Взирают с радостью они на эти муки.
Чтоб не встречать тебя, был способ лишь один,—
И я тебя тогда изгнала из Афин.

Тут Фостен прервала свою тираду и, с той же интонацией, с тем же пафосом, обратилась к Ипполиту:

— Да не смотрите же на меня так. У вас должен быть такой вид, словно вам отвратительна моя любовь, вы должны отвернуться. Иначе у меня не будет никакого повода сказать вам: «Но нет, ты на меня поднять не хочешь глаз».

Ждала я, что в тебе укоренится злоба
К твоей обидчице, и мы спасемся оба.
Что ж, ненависть твоя росла, но вместе с ней
Росла моя любовь.

Режиссер. «Росла моя любовь» — более мягким голосом, а?

Актриса.

К тебе еще сильней
Влекли меня твои безвинные мученья;
Меня сушила страсть, томили сновиденья.
Взгляни, и ты поймешь, что мой правдив рассказ.
Но нет, ты на меня поднять не хочешь глаз.
Кто б из живых существ мой жребий счел завидным?
Не думай, что с моим признанием постыдным
Я шла сюда к тебе. О нет, просить я шла
За сына, чтоб ему не причинял...

Директор. Расчленитe, дорогая, это «чтоб ему» так же, как «я шла сюда к тебе» в предыдущей фразе. А то вы *съедаете*

эти три слога, и получается не очень хорошо... тут есть что-то простонародное.

Актриса.

...просить я шла
За сына, чтоб ему не причинял ты зла.
А говорю с тобой лишь о тебе. О горе!
Тобой я вся полна, и с сердцем ум в раздоре.
Что ж, покарай меня за мой преступный пыл.
Немало твой отец чудовищ истребил;
И ты с лица земли, сурово и жестоко,
Сотри чудовище, исчадие порока,
Тезееву вдову, томимую — о стыд! —
Любовью к пасынку!

Директор. Да, здесь непременно надо дать почувствовать дочь Пасифаи.

Актриса.

Пускай твой меч пронзит
Ей сердце грешное, что жаждет искупленья
И рвется из груди к мечу, орудью мщенья.
Рази!..

Режиссер. Первая развязка... А отсюда и до конца сцены — rinforzando [1].

Актриса.

Рази! Иль облегчить моих не хочешь мук?
Иль кровью мерзкою не хочешь пачкать рук?
Что ж, если твоего удара я не стою,
И не согласен ты покончить сам со мною,—
Дай мне твой меч!

И Фостен, резко оборвав, язвительно бросила Ипполиту:

— Однако не могу же я лезть за мечом под вашу тунику... Этот жест для меня крайне затруднителен... Своей позой вы должны дать мне возможность для такого движения, которое бы не было ни шаблонным, ни вульгарным.

XI

Глубокое проникновение в роль Федры, одержимость этой трагедией, усилие, которое делала над собой актриса, чтобы воспламениться великой страстью исступленной легендарной

[1] Все усиливая *(итал.)*.

царицы,— все это зажгло в теле Фостен (явление, чаще встречающееся в театре, нежели принято думать) то же пожирающее пламя, которое сжигало жену Тезея.

Она сама удивлялась теперь той полноте чувств, тем вибрациям, той волнующей радости, какую вызывали в ней внешние впечатления, как, например, жадно вдыхаемый аромат сорванного цветка, и, полузакрыв глаза, с дрожащими ресницами, словно прислушиваясь к какому-то неясному шуму в ушах, похожему на тот, что сохраняется внутри морских раковин, Фостен проводила долгие часы, погрузившись в жгучие мечтания, отдаваясь кипенью мозга, которое еще не мысль, и ее неудовлетворенное, созданное для любви тело вздрагивало от легких чувственных разрядов. Яростная потребность любить, обратившаяся сначала к воспоминанию об Уильяме Рейне, продолжала жить в ней, но теперь уже неукротимая, беспредметная, готовая излиться на кого угодно. Связь с Бланшероном была добропорядочна, спокойна, привычна, и, подобно иным замужним женщинам, долгое время остававшимся безупречными, трагическая актриса вдруг почувствовала внезапное, непреодолимое желание изменить с первым встречным, с тем, кого пошлет всесильный Случай.

И вот теперь, перед спектаклем, Фостен была в таком состоянии, в каком бывает женщина, когда, после чтения эротического романа, она лежит на скамейке в аллее парка, среди воркующих голубей и истомленных зноем растений, вдыхает горячий предгрозовой ветер и тихо зовет в своих мечтах дерзкого прохожего.

XII

Это своеобразное физическое возбуждение в известной мере разжигалось самим направлением мечтаний Жюльетты, мысленными возвратами к прошлому, сообщничеством ее мозга. Актрису не покидала мысль, что если все ее существо не будет взволновано случайной страстью, бурным порывом, мимолетным и жгучим увлечением, каким-нибудь внезапным переворотом в повседневной рутине ее женского существования, то она не найдет в себе той нежности, той пылкости, того огня — словом, тех драматических средств, каких требовала пламенная роль Расина. Более того, она начала спрашивать себя, уж не притупила ли эта спокойная, безмятежная, безбурная жизнь, в сущности говоря, жизнь замужней женщины,— не притупила ли эта жизнь ее способностей, не ослабила ли напряженности ее

игры, не ограничила ли смелости ее дерзаний; ей начало казаться, что в последних своих ролях она не проявила всей той мощи, всего мастерства, всего своеобразия, каких зритель вправе был от нее ожидать. Она переносилась мыслью к началу своей театральной карьеры, к годам нужды и быстро проходивших увлечений, к беспокойной, кипучей жизни, до краев полной любовных тревог и сердечных драм, и припоминала, что именно к этим трудным, лихорадочным годам относились самые блестящие ее успехи, самые яркие триумфы, роли, созданием которых она могла более всего гордиться. И одновременно с этими неотвязными мыслями ей, помимо воли, приходили на ум всевозможные циничные теории ее сестры — о так называемой «гигиене» одаренной женщины, о мужском начале, заложенном в натуре артистки, будь то певица или драматическая актриса, об «испорченности» сильного пола, которою природа наделила такого рода женщин, и, наконец, о потребности в распутстве, составляющей в какой-то мере часть их гения.

Бывали минуты, когда без всякой причины ее вдруг охватывало безрассудное романтическое желание бросить это ровное беззаботное существование, пойти на внезапный разрыв с Бланшероном, продать свой особняк, послать ко всем чертям семейный уют, и тогда, одним ударом разорвав все эти буржуазные путы, пустив по течению все это благопристойное «счастье», вновь поселиться в глухом квартале, в маленькой квартирке своей юности, на дверях которой она только на днях видела билетик о сдаче внаем, и снова отдаться молодым, свободным, взбалмошным увлечениям прежних дней, а потом приносить на сцену отражение радостей и печалей этой лихорадочной, вновь забившей ключом жизни.

XIII

В полумраке сцены виднелся на заднем плане Трезенский дворец дорической архитектуры, созданный театральным декоратором. Из-за кулис выходили в туниках, хламидах и паллиумах с широкими тяжелыми складками женщины и мужчины, говорившие нараспев и воспроизводившие смелые жесты героев умерших поколений. Казалось, это тени древних греков завладели в бледном свете дня подмостками театра и произносят звучные торжественные строфы, немного странные для слуха людей XIX века. Тут была Федра, жена Тезея, дочь Миноса и Пасифаи, в своей звездной тунике и с золотой повязкой на

голове; был Ипполит, сын Тезея и Антиопы, царицы амазонок, облаченный в звериную шкуру и точно такой, как на картине Герена; была Арисия, афинская царевна; был старый Терамен, наставник Ипполита, в темном своем плаще; была Энона, кормилица и наперсница Федры; были также Исмена и Панопа.

И вот в скудно освещенной, унылой и пустой зале, где сидело во мраке не более тридцати человек, зазвучали, чередуясь с волнующей пантомимой, александрийские стихи, зашелестели развевающиеся одежды и потекло величественное действо благородной трагедии; все это очень походило на ту античность, какой ее воспроизводит какая-нибудь картина, удостоенная Римской премии и выставленная для обозрения в полутемном подвале, дрожащем от грохота фиакров.

А в маленькой афише, висевшей в коридорчике актерского фойе, это называлось «репетицией в костюмах» — последней репетицией «Федры».

После пятого акта все мужчины и женщины, занятые в трагедии, вприпрыжку выбежали из залы и рассыпались по всему театру, радостно оживленные, болтая друг с другом, размахивая руками и еще сохраняя в своей жестикуляции что-то от недавней игры.

Фостен прошла в актерское фойе, и здесь, при ярком дневном освещении, греческая царица полушутя-полусерьезно устроила сцену старому художнику, человеку весьма одаренному и своему большому другу, который любезно сказал ей еще тогда, когда она только принималась за роль Федры: «Вашим костюмом займусь я сам — сам нарисую его, сам скрою, сам сделаю!» И вот после продолжительных совещаний вдвоем в кабинете эстампов; после того, как они остановились на одном из трех эскизов, нарисованных художником акварелью; после того, как вместе наблюдали за выполнением костюма театральным костюмером,— этот костюм, тысячу раз примеренный, исправленный и переделанный, тот самый костюм, который актриса до сих пор находила прелестным, сегодня вдруг показался ей ужасным.

— Ты только посмотри, мой старый зверюга, ведь он мне не идет, ну ни капельки не идет... неужели он может тебе нравиться? Ведь это же плоско, как доска... да еще в морщинах.

— Детка моя, но ведь это туника, понимаете — туника!.. И вспомните — я ее сделал в точности по тому барельефу, который мы смотрели вместе с вами, по барельефу с виллы Боргезе.

— С виллы Боргезе, с виллы Боргезе... Да ведь тогда еще не носили юбок, а теперь мы их носим — в том-то и *закавыка!..*

Не могу же я, мой старый зверюка, для твоего удовольствия надеть эту тунику прямо *на кожу!*

— Но вы же сами... вы сами просили, чтобы в костюме чувствовался античный стиль, чувствовалась эпоха!

— Да, разумеется, эпоха... но только с юбкой... А потом — цвет всех этих тканей... разве тебе нравится этот цвет? — спрашивала она озабоченным тоном, думая в эту минуту, как и всякая актриса, о туалетах других женщин, играющих вместе с ней.— А мне больше по душе цвет той туники, что носит Арисия... Твои краски, видишь ли... это краски художника... они скорее годятся для картины.

Немного раздосадованный, с легким дружеским презрением, проскальзывавшим в улыбке и в выражении глаз, старый художник начал было говорить Фостен об исторической правде, но великая артистка ответила ему как истая женщина:

— Знаешь что, старый мой зверюга, плевать мне на твою историческую правду... Прежде всего надо быть красивой,— это главное. Премьера состоится только послезавтра, и ты должен договориться с костюмером, чтобы он сделал в моем костюме небольшие... нет, большие изменения... Пусть здесь он сделает так... вот эти складки должны падать более изящно... а цвет — ну а цвет ты сделаешь мне немного повеселее — идет?

И, желая разгладить сердитые морщины на лбу своего старого зверюги, она вдруг подобрала обеими руками по́лы туники, качнула бедрами на манер испанской танцовщицы и в своем строгом античном одеянии лихо проплясала перед ним несколько па качучи.

XIV

Сон, ежеминутно прерываемый внезапными пробуждениями, когда спящая вдруг вскакивает на своем ложе и на губах ее еще звучат стихи, которые она только что произнесла вслух в лихорадочном забытьи,— таков сон актрисы перед первым представлением, таков был и сон Фостен в ночь после генеральной репетиции, в течение долгих ночных часов, когда спящая была влюбленной героиней расиновской трагедии.

Рано, очень рано она вскочила с постели, не в силах превозмочь бессонницу и тревогу, которая заставляла актрису без конца метаться на простыне в поисках прохладного местечка, еще не успевшего согреться от прикосновения ее разгоряченного тела.

Накинув пеньюар, она открыла окно и облокотилась на подоконник.

На дворе шел снег, но воздух был совсем весенний, и этот снег, подхватываемый южным ветерком, нисколько не походил на зимний. Напротив, в нем была теплая, *ласковая* белизна бледных цветов, белизна распускающихся рождественских роз. Этот снег освещался каким-то молочным сиянием, похожим на свет алебастрового ночника, и весь этот мягкий белый день был исполнен неги, почти сладострастия.

Фостен вдруг захотелось окунуться в эту белизну, почувствовать на лице освежающее дуновение снежного ветерка. Как раз накануне сестра поручила ей попросить Бланшерона проделать одну маленькую операцию на бирже, но случилось так, что она весь день не виделась с ним. Решено: она сама передаст своему любовнику эту просьбу, и кстати, нанесет ему утренний визит.

И вот Фостен уже на улице, навстречу ей идут прохожие. Но это не те зимние прохожие, которые вечно торопятся, мерзнут, сердятся,— нет, это веселые, жизнерадостные люди, которые идут куда-то без определенной цели, это юноши, мурлыкающие любовные песенки, это молоденькие модистки, которые несут корсет, завернутый в газету, и чему-то улыбаются, ничего не замечая вокруг.

Когда, пройдя всю Амстердамскую улицу, Фостен дошла до дома, где у Бланшерона была квартира в нижнем этаже, и уже собиралась позвонить, привратница сказала гостье:

— Господина Бланшерона нет дома, сударыня. Он в фехтовальной зале.

Фостен прошла под аркой и миновала садик, в глубине которого Бланшерон выстроил изящный павильон, где ежедневно брал уроки фехтования.

В фехтовальной зале Фостен застала только учителя фехтования, который поднимал с полу рапиры и другие разбросанные вещи.

— Как? Никого нет? — спросила утомленная от ходьбы Фостен, опускаясь на скамейку.

— Нет,— ответил учитель, поднимаясь с полу в своих взмокших от пота тиковых панталонах и обращая к ней молодое лицо, еще разгоряченное от недавней борьбы.— Нет, господин Бланшерон только что ушел с одним из своих приятелей, которому предстоит драться на дуэли... тот приходил немного потренироваться... Ну, знаете, он не из слабеньких, этот субъект... мне пришлось с ним повозиться!

— А, это что-то новое! — воскликнула Фостен, показывая рукой, с которой она до половины стянула перчатку, на щит со старинными и современными шпагами, и принялась рассматривать их с усталым видом, не вставая со своего удобного места.

— Так вы говорите — он ушел? — слабым голосом повторила она несколько минут спустя, и ноздри ее чуть заметно затрепетали.

В этой зале, где только что происходило состязание, где яростно расходовалась мышечная энергия, где капельки пота дерущихся покрывали пол, в этой зале, еще полной испарений *Силы,* от всего — от нагрудников, от сандалий, от всей этой пропитанной потом кожи — исходил дымящийся, звериный, возбуждающий запах мужчины, который раздражает чувственность женщины в иные смутные и волнующие часы.

Фостен встала, подошла к дверям, но, вместо того чтобы уйти, несколько раз обошла комнату и в конце концов снова села на прежнее место.

Учитель фехтования продолжал разбирать фехтовальные принадлежности и переносить их в темный чуланчик, находившийся на другом конце комнаты.

У него были короткие рыжие волосы в мелких завитках, маленькие жесткие усики, мужественное и красивое лицо какого-нибудь наемного убийцы при дворе Валуа, белая, крепкая, как у молодого быка, шея и по-кошачьи гибкие, упругие движения, от которых веяло терпким запахом молодости.

Фостен смотрела на него, и, в то время как она на него смотрела, какие-то теплые волны приливали к ее глазам, а на висках — она чувствовала это — начали пульсировать жилки.

— Господин Бланшерон не говорил вам: он вернется сюда? — уронила Фостен после долгого молчания, чтобы что-нибудь сказать.

— Нет,— ответил молодой человек, продолжая заниматься своим делом и не замечая внимания женщины.

Фостен не вставала с места, прикованная к скамейке какой-то магнетической силой.

И вот мало-помалу окружающие предметы завертелись перед ее глазами, неясные образы замелькали в опустошенном мозгу, ее стало бросать то в жар, то в холод, дыхание участилось, как перед грозой. Умственное возбуждение, связанное с ролью, всецело перешло в физическое, воля исчезла, и во всем ее разгоряченном и в то же время расслабленном существе не осталось ничего, кроме чувственного желания, кроме животного, молодого тяготения к самцу; но вместе с тем что-то в ней глухо

сопротивлялось, вся она словно окочепела, замерла и сидела совершенно неподвижно, судорожно стиснув колени, словно для защиты от самой себя.

И женский взгляд — взгляд женщины, для которой наступила *такая* минута, взгляд, словно отягченный сном или вином, хмельной взгляд из-под тяжелых век, приковался к молодому учителю фехтования.

— Вы...— начала она и вдруг умолкла.

— Что, сударыня?

— Ничего,— глухо ответила она.

Но глаза их встретились... молниеносно сказали все друг другу... мужчина взглядом указал на темный чулан, а женщина поднялась со скамейки и, покорно опустив плечи, как побежденная, пошла за мужчиной.

Однако дверь тут же распахнулась снова, и Фостен выбежала в большую комнату, спасаясь от преследовавшего ее мужчины, который с горящими глазами пытался насильно загнать ее обратно во мрак чулана. Она боролась с ним, била по лицу, защищалась с такой яростной энергией, словно нападавший внушал ей глубокое отвращение. Наконец, последним отчаянным усилием, она вырвалась из его рук и в разодранном платье бросилась в садик, куда с порога фехтовальной залы до нее долетел удивленный и гневный возглас молодого человека:

— Вот и пойми этих женщин! Сначала сама вешается на шею, а как дошло до дела — она на попятный!

XV

— Получила твою записку и вот — сразу же прибежала! — сказала Щедрая Душа, входя к Фостен на следующее утро после сцены в фехтовальной зале. И, устремив на сестру испытующий взгляд следователя, Щедрая Душа спросила:

— Уж не совершила ли моя целомудренная сестрица какого-нибудь безнравственного поступка?

В полумраке маленькой гостиной, где были закрыты все ставни, трагическая актриса лежала на полу, на ковре, в позе, говорившей о глубоком унынии и упадке духа; волосы ее распустились, ночные туфли без задков были надеты на босу ногу, а тело под поникшими складками пеньюара, словно оплакивавшими свою хозяйку, казалось надломленным и бессильным.

Увидев сестру, Фостен спрятала лицо в жестких кружевах

подушки и воскликнула, причем голос ее то и дело прерывался от нервных рыданий:

— Мне стыдно... я противна самой себе. Нет, я никогда не решусь рассказать об этом!

— Понимаю...— сказала сестра.— Ты потеряла голову и спуталась с каким-нибудь голодранцем... Стало быть, из-за этих вот пустяков ты и разыгрываешь из себя кающуюся Магдалину?

— Нет, нет, у меня ничего не было, уверяю тебя, не было! — с негодованием вскричала Фостен.

— Тогда что же? Если ты *устояла* против самой себя, так не стоило понапрасну меня беспокоить, и я ухожу.

— Нет, останься, я не хочу, чтобы ты уходила... мне надо поделиться с тобой этим... Я чувствую потребность рассказывать тебе такие вещи...— И она проговорила с какой-то неизъяснимой интонацией: — Ведь ты — сточная канава моего сердца!

И Фостен начала рассказывать сцену, происшедшую накануне.

Сестра слушала ее так, как кошка лакает молоко, в полном восторге от этого приключения, испытывая глубокое тайное удовлетворение порочной женской натуры, смакующей унижение подруги, которая до сих пор невольно вызывала ее уважение.

— Ах ты, дрянь эдакая... ты радуешься этой истории... ты смеешься! — крикнула Фостен, неожиданно вскочив на ноги.— Несчастье, что я родилась твоей сестрой... что одна и та же кровь течет у нас в жилах... будь проклята колыбель, где когда-то мы спали вместе... Если бы не ты, я была бы порядочной, да, вполне порядочной женщиной... Ах, что только не гнездилось в тебе, когда ты была совсем еще девочкой!.. Это ты толкнула меня на этот путь, повела за собой, потому что для тебя порок — только забава, потому что тебя он привлекает.

Щедрая Душа, которой уже приходилось несколько раз переносить подобные сцены и которая знала, что в этих случаях трагическая актриса испытывает потребность возложить на сестру ответственность за прегрешения своей плоти, спокойно ждала конца вспышки, ворча сквозь зубы:

— Что ж, поноси, поноси своих родных, раз тебе это помогает, милочка моя!

Взбешенная этим ироническим спокойствием, Фостен почти вплотную приблизила свое лицо к лицу сестры и бросила ей:

— Это ты, ты одна привила мне низменные инстинкты, склонность к распутству, любовь к проходимцам... И это ты,

именно ты по временам делаешь меня подлой, такой, какова ты сама, какой я знаю тебя всю, с головы до ног... О, эта грязь, грязь, из которой ты создана... ведь частица ее есть и во мне!

И, говоря это, Фостен царапала ногтями воздух вокруг головы сестры, однако же не прикасаясь к ней.

Сестра мягко опустила тонкие нервные руки актрисы и сказала:

— Знаешь, это в высшей степени безрассудно — приводить себя в такое состояние в день премьеры.

— Я послала сказать им, что не буду играть, что я больна... театральный врач хотел зайти еще раз... впрочем, мне это безразлично... будь что будет... все равно я играть не стану...

И, закрыв лицо руками, Фостен опустилась на край кушетки. Через некоторое время руки раздвинулись, и в просвете на минутку показалось сияющее лицо, на котором уже не было никаких следов недавнего раздражения.

— Сестрепка, и все-таки я счастлива... да, очень счастлива... ведь если б это случилось, я никогда не посмела бы снова принадлежать тому, другому... ты знаешь, кому... и только мысль о нем спасла меня вчера в последнюю минуту.

Потом лицо ее снова омрачилось, и, совершенно забыв о присутствии сестры, расхаживая взад и вперед по комнате, она возбужденно заговорила, как бы обращаясь к самой себе:

— А между тем я создана, чтобы любить возвышенной, да, самой возвышенной любовью... В мужчине мне нравится его благородство, его ум... моя любовь, пожалуй, немного похожа на ту, о какой пишут в романах... Так откуда же эти порывы, эти минуты безумия, когда я чувствую себя только самкой?.. Да, надо мною, должно быть, навис рок, тот самый рок, что тяготеет и над женщиной, роль которой я играю... О, эта Венера античных трагедий!..

И в трагической актрисе, вспомнившей о своей роли, внезапно проснулся суеверный, почти физически ощутимый страх перед богиней, имя которой до этого дня она произносила равнодушно, как пустой звук, и которое вдруг воскресло в недрах ее ума и души во всем его недобром и таинственном могуществе, извечно тревожащем чувства слабых детей земли.

Неожиданно она переменила тон:

— Вот так так! Ведь я заранее сказала себе: сегодня ты проведешь день спокойно... и вот тебе — что может быть утомительнее всех этих мыслей!

— Послушай, Жюльетта,— сказала Щедрая Душа, открыв маленький томик Расина в издании Гремпереля, валявшийся на

столике, по которому она барабанила пальцами,— как ты читаешь вот эти две строчки?

И она прочитала:

Во мне уже не страсть, но пламень ядовитый.
Я жертва жалкая жестокой Афродиты.

— Как я их читаю? Да вот этак,— ответила Фостен и простодушно повторила их.

— Да, да... именно так ты и прочитала их на генеральной репетиции,— сказала Щедрая Душа без особого восторга.

— Скажи правду, тебе не нравится?

— Нет... пожалуй, нравится... впрочем, трудно сказать, когда эти строчки оторваны от всего остального... легче было бы судить, прослушав все, в целом.

Тотчас же, не ожидая дальнейших настояний, Фостен прочитала сестре всю тираду.

— Хорошо... хорошо... но уверена ли ты, что это предел того, что ты можешь дать?

— Сейчас я повторю еще раз всю тираду, от слова до слова,— ответила актриса, нетерпеливо передернув плечами.

И Фостен принялась играть как на сцене, заканчивая каждое двустишие вопросом:

— Ну? Теперь ты наконец довольна?

А Щедрая Душа, покачивая головой, надувая губки, издавая односложные, выражавшие сомнение, восклицания, холодные междометия или добродушные, но приводящие в отчаяние «гм!», заставляла сестру бешено работать, делать яростные усилия, неистово искать. И, притворяясь, будто она не вполне удовлетворена новой интонацией, переделанным жестом, исправленным приемом, Щедрая Душа, после целого часа этих упорных придирок, этого подзадоривания, этого притворного, но упрямого нежелания признать хотя бы одну удачу сестры, сумела заставить женщину снова стать актрисой. Голос Фостен стал звучным, движения — выразительными; теперь она расточала перед сестрой всю мощь своего дарования.

В эту минуту театральный врач приоткрыл дверь маленькой гостиной и, не входя, крикнул актрисе:

— Ага, не говорил ли я вам утром, что у вас ничего нет, что вечером вы будете играть? Бегу с этой доброй вестью в театр.

После врача явился старый художник, «ретушер» костюмов актрисы, который дал ей слово лично проверить исправления, сделанные в костюме Федры.

И пока Фостен, вместе с художником и костюмером, примеряла в маленькой гостиной, где снова открыли окна навстречу солнцу, свой переделанный и исправленный костюм, Щедрая Душа незаметно вышла, успев бросить встреченной ею на лестнице несчастной, растерянной Генего:

— Будет играть!

Затем пришел дантист, чтобы освежить эмаль зубов, маникюрша — отполировать перламутр ногтей, и т. д. и т. д. Словом, надо было проделать целый ряд мелких и тайных манипуляций, с помощью которых перед первым представлением фабрикуется омоложение, перерождение лица и тела, ибо актер и актриса в этот торжественный день хотят совершенно «обновиться».

В лихорадочной спешке, среди всех этих небольших, но важных дел и забот, навязчивая идея, владевшая Фостен все утро, понемногу улетучилась, и теперь она была только актрисой, всецело занятой мыслью о предстоящем вечернем спектакле и настолько далекой от вчерашнего приключения, что за четверть часа до обеда ее можно было застать за партией в безик с маленьким Люзи в той самой гостиной, где она умирала от стыда и горя всего несколько часов назад.

В разгаре партии, когда она сидела еще не причесанная, с пробором набоку, чтобы дать отдых волосам, доложили о приезде страстной поклонницы Фостен — старой герцогини де Тайебур, которая принесла ей на счастье перед спектаклем кусочек какой-то древней семейной реликвии, а кроме того, баночку румян — изделие вдовы Мартен за девяносто шесть ливров, найденное в шкафчике, не отпиравшемся со времен первой революции.

Актриса вдруг развеселилась, ей захотелось паясничать, шуметь. Выскочив из-за карточного стола, она крикнула «гоп!», копируя Ориоля, чуть не перепрыгнула через своего партнера, а потом, остановившись у дверей большой гостиной, но еще не открывая ее, эта изменчивая и взбалмошная женщина внезапно обернулась с самым величественным видом и проговорила:

— Ну, а теперь перейдем к роли царицы!

В четыре часа Фостен съела легкий обед, какой ей всегда подавали в дни спектаклей: яйцо в бульоне, дюжину остендских устриц, фрукты.

— Ах, это мне ничуть не поможет,— пробормотала она про себя после обеда, на минуту протянув к камину руки, которые вот уж три или четыре дня были у нее холодны как лед.—

У меня ведь всегда так, пока я не сыграю первый акт... а потом они станут даже чересчур горячи.

В пять часов она села в экипаж и поехала, как обычно, на Елисейские поля; во время этих часовых прогулок в сумерках, наедине с собой, она иногда находила свои лучшие сценические эффекты.

В шесть часов она уже входила во Французский театр, как обыкновенно делала и в Одеоне, чтобы иметь в запасе два часа и прорепетировать еще раз с суфлером в своей уборной.

Но, проработав час, она бросилась на кушетку и, закрыв глаза, застыла в полной, почти пугающей неподвижности, чтобы дать абсолютный отдых своему организму, отдых, который позволил бы ей сыграть в полную силу ее *сценических возможностей.*

XVI

— Дорогу... дорогу... дайте же пройти, дети мои!

Это Фостен, стоя за кулисами и вся дрожа, лепечет несколько раз подряд одну и ту же фразу и раздвигает руками пустоту, хотя Энона далеко еще не закончила тираду, обращенную к Ипполиту.

Но вот она на сцене, окутанная глубокими складками тканей, которые кажутся слишком тяжелыми для ее слабого тела. Она опускается на свой античный трон и посылает прощальный привет Солнцу, с усилием подняв одну руку, чтобы защитить глаза от его ослепительного блеска, и устало опустив другую. Вся ее фигура исполнена величественной скорби.

Разражается гром рукоплесканий.

Тогда влюбленная царица голосом, проникающим в самую глубь души,— тем голосом, который в прошлом столетии называли *волнующим,* начинает рассказ о своем тайном влечении к сыну Тезея. И с каждым произнесенным стихом она чувствует, как понемногу рассеивается та атмосфера отчужденности, которая на премьере, после поднятия занавеса, обычно появляется между публикой и актером, то почти неуловимое отсутствие взаимной связи, которое похоже на прозрачный газовый покров, отделяющий их друг от друга и постепенно исчезающий под влиянием удачи по мере движения пьесы.

И глубокое изнеможение этой грешной дочери земли, согнувшейся под тяжестью гнева Венеры, ее безумное смятение, смутную тревогу, ее яростную вспышку и трогательный возврат к любовному признанию — все эти чувства и ощущения Федры

Фостен передала и донесла до публики при помощи самых волнующих модуляций, самых незаметных переходов, самых тонких оттенков и благодаря медиуму — то есть изумительному умению управлять своим голосом на низких нотах, а потом, последовательно меняя интонацию, выделять конец тирады сильным ударением. Добавьте к этому искусству дикции то мягкие, то горделивые жесты, красноречивую мимику, неожиданные паузы и сосредоточенное, скорбное выражение лица, в иные минуты совсем застывшего, почти безжизненного,— словом, все сценические средства, которыми в совершенстве владела Фостен.

А когда актриса подошла к концу строфы: «Болезнь моя идет издалека...» — крики «браво!» превратились в восторженный рокот всей залы, завоеванной, покоренной.

После первого акта Фостен, совершенно обессиленная, упала в кресло, которое ей всегда ставили за кулисами, чтобы она могла немного отдышаться, и на ее шее, на спине, на плечах стали заметно пульсировать жилки, словно после тяжелого физического труда.

Через несколько минут актриса, опираясь на Генего, ушла в свою уборную.

В театре Генего была верным псом Фостен и ее тенью. Она присутствовала на всех спектаклях, ни на секунду не спускала глаз со своей госпожи и, стоя за кулисами, сбоку, наслаждалась восхищением осветителей и других работников сцены, готовая расцеловать их за это восхищение. Ни на шаг не отходя от Фостен, она вовремя подавала ей флакон с нюхательной солью, набрасывала шарф на плечи или мех на ноги. В уборной актрисы Генего вынимала из кармана старую бутылку из-под сиропа с холодным бульоном, заставляла Фостен отпить глоток и немедленно прятала бутылку обратно в карман, ибо бутылка эта никогда не расставалась с ее особой. Эта женщина из простонародья, ограниченная и суеверная, смутно слышала где-то, что одна актриса, жившая очень давно, по имени Адриенна Лекуврер, была отравлена, и, подолгу задумываясь над этой историей, о которой она имела весьма неясное представление, Генего вбила себе в голову, будто соперницы, завидуя таланту ее госпожи, тоже хотят отделаться от нее при помощи яда.

Между первым и вторым актом визитеров было мало, да они и не принадлежали к числу тех, кто мог бы дать Фостен правильное представление о ее успехе или рассеять беспокойство, охватившее актрису во время антракта,— ведь в процессе игры она лишь очень смутно сознавала, что происходит в зале. По-

этому она с тревогой расспрашивала присяжных болтунов — пошлых льстецов, людей любезных, но пустых, и, слушая их, слегка покусывала себе язык, чтобы вызвать слюну в пересохшем рту.

Она сыграла второй акт, решающий для выражения ее таланта, и на этот раз, не успела она войти в свою уборную, как дверь распахнулась, и, предшествуемый маклером Люзи, в комнату, словно безумный, вбежал маленький человечек в широком пальто, с измученным лицом и горящими глазами. Это был великий современник Фостен, тот, кто первый облек в плоть и кровь камень, мрамор, бронзу. Он явился в лихорадочном восторге, захлебываясь от восхищения, изливавшегося в почти грубых фразах, и стал просить актрису позволить вылепить с нее статую Трагедии. Не обращая никакого внимания на остальных посетителей, он пытался заставить Фостен принять ту позу, в которой видел ее одно мгновенье на сцене, бесцеремонно поднимал ее с кресла, почти насильно драпировал на ней складки туники. И, отходя на несколько шагов, наступая на ноги тем, кто стоял сзади, повторял: «Великолепно... это будет великолепно!..» За скульптором пошли всякие знаменитости, громкие имена из самых разнообразных сфер, старые театралы и любители драматического искусства — тонкие ценители и судьи, пришедшие укрепить в Фостен уверенность в ее триумфе.

И вскоре «сундучков» с конфетами, принесенных почитателями таланта трагической актрисы, стало так много, что они заменили скамеечки женщинам, которым удалось забраться в ее уборную.

В третьем акте на супругу Тезея начала нисходить величественная грусть, какая-то мрачная и страстная жажда смерти; прижатые к телу руки почти безжизненными жестами перебирали складки туники, превращая ее в погребальный саван, и трагическая актриса на глазах у трепещущих, потрясенных зрителей вдруг преобразилась в некую прекрасную и скорбную Венеру надгробных памятников.

Уходя со сцены, Фостен столкнулась с Рагашем, который принес ей отчет о кулуарных разговорах, о тайных намерениях прессы на ее счет, о беседах журналистов, подслушанных у дверей лож. Тео не находит ни малейшего таланта у Расина, зато считает, что у нее есть *линия*... и вот он решил, наперекор прокисшему классицизму своего министра, совсем не упоминать в статье о поэте Людовика XIV, а говорить только о ней, о ней одной. Сен-Виктор — она, наверно, заметила его? — так вот у него сегодня не такое выражение лица, какое бывает на неудач-

ных премьерах... это хороший признак... впрочем, он ведь и всегда хорошо к ней относился. Критик Икс случайно явился в чистом белом жилете, а он, Рагаш, давно заметил, что опрятность располагает Икса к добродушию... Критик Игрек только что громогласно изъявлял свои восторги в маленьком кабаре на улице Монпансье, где подают нечто горячее, пахнущее керосином... Критика с моноклем в театре нет... но он прислал вместо себя любовницу, чтобы та рассказала ему о спектакле, а Жоржина дала ему, Рагашу, честное слово, что будет говорить об актрисе только одно хорошее... Что касается критика из «Франс Либераль», то он... он и сам отлично понимает, что в его писаниях появилась какая-то вялость... что его больше не читают... что пришла пора, когда ему необходимо выдумать кого-нибудь... и вот теперь он выдумает ее, Фостен. Вильмессан сказал, что в том нудном жанре, который называют трагедией, Фостен кажется ему менее нудной, чем другие актрисы... Все маленькие газетки будут за нее... это несомненно. Только старикашка Жанен, обладатель страшной подагры,— он сидит на скамеечке в своих полосатых носках, красных шерстяных рукавичках и корчится от боли,— так вот, между ахами и охами он успел пожаловаться на то, что у Фостен было мало любовного пыла во втором акте... У этого, пожалуй, будет немало придирок, но, в общем, ей обеспечена отличная пресса!

Актрисе бурно аплодировали в четвертом акте, а когда занавес опустился по окончании пятого, вся зала устроила Фостен настоящую овацию.

После бесконечных вызовов, опираясь на руку Генего и стиснув ее до боли, Фостен добралась до своей уборной и упала в кресло, где обычно гримировалась, вытянув онемевшие ноги, в состоянии, близком к каталепсии. Не в силах произнести ни слова, она отвечала на испуганные расспросы старухи служанки, которая уже намеревалась бежать за театральным врачом, лишь отрицательными движениями головы и прикасаясь рукой то к губам, то к шее,— жест, означавший, что голосовые связки у нее страшно напряжены и она не может говорить.

В таком состоянии она пробыла около трех четвертей часа, после чего, испустив глубокий вздох, давший, казалось, разрядку и отдых всему ее существу, она смогла наконец выговорить несколько слов.

Тогда она перешла в маленькую, битком набитую гостиную при уборной, откуда через открытую дверь виднелся в коридоре длинный ряд людей, словно у порога ризницы после какой-нибудь пышной свадьбы. И тотчас же, сметая мужчин на своем

пути, лавина обезумевших женщин, охваченных тем нервным возбуждением, в какое всех и вся приводят театральные битвы, ринулась в объятия Фостен. Разразилась целая буря восторга. Конца не было ласкам, поцелуям, и вскоре уже все, и мужчины и женщины, обнимали Федру, не успевшую еще как следует стереть румяна. Ее тело — тело худенького серафима, закутанное в широкий, наспех наброшенный темный халатик, переходило из объятий в объятия и, отклоняясь то вправо, то влево, казалось бескостным, напоминая мягкий лоскут, который волнообразно колеблется, подгоняемый ветром... А на лице у актрисы читалось счастье, смешанное с недоумением, и она без конца повторяла растроганным и бессмысленным тоном: «Ах, дети мои! Ах, дети мои!»

Понемногу толпа «поздравителей» растаяла, и в уборной остались только лица, приглашенные актрисой к ужину.

Фостен ощущала потребность пройтись, «подышать улицей», как она выражалась. И они отправились пешком, всей компанией перешли улицу Сент-Оноре, расталкивая небольшие группы, еще стоявшие у дверей запиравшихся кафе и беседовавшие о вечернем спектакле. То тут, то там слышалось: «Смотрите — Фостен?!» И веселый батальон шел дальше в ночь, с шумным и жизнерадостным гомоном людей, решивших пировать до утра, причем самые молодые перебрасывались шутками с кучерами проезжавших мимо фиакров и продолжали что-то кричать им вслед до тех пор, пока экипажи не сворачивали на другую улицу.

XVII

Гости Фостен собрались в большой гостиной особняка на улице Годо-де-Моруа и ждали актрису, которая ушла к себе, чтобы переменить туалет.

Общество было разнообразное и смешанное — обычное общество таких вот ужинов после больших премьер, где сидят бок о бок литераторы, художники, ученые, политические деятели, генералы, медики, знаменитости всех жанров, а между ними, как это бывает всегда, неизвестно как и по чьему приглашению затесавшиеся никому не известные безымянные люди, носящие бороду или булавку в галстуке, в шароварах «по-казацки» или с иностранными орденами в петлице, люди, возбуждающие всеобщее любопытство и заставляющие гостей на всех концах стола всю ночь тщетно спрашивать на ухо друг у друга, кто же все-таки они такие, эти господа. Отдельные группы бесе-

довали на разные расплывчатые темы, без воодушевления, с длинными паузами; некоторые уединялись по углам, скучая, без конца рассматривая безделушки. И, развалясь в низеньком кресле, при свете лампы, стоявшей сзади, какой-то reporter[1] карандашом писал на листочках папиросной бумаги отчет о нынешнем вечере.

Фостен появилась в вечернем туалете. На ней было атласное кремовое платье-пеньюар с отделанными старинным аржантанским кружевом бархатными манжетами и отворотами того же тона, на которых цветным жемчугом были вышиты туберозы. В волосах вилась ветка с зелеными листьями какого-то металлического оттенка — оттенка крыльев шпанской мухи. В этом платье светлого, но теплого колорита, среди блеска и роскоши причудливых цветов, сделанных из драгоценных камней, грудь женщины, едва открытая четырехугольным вырезом корсажа, казалась белоснежной лилией, расцветшей где-то в тени подвала, а изменчивые, зеленые, электрические отблески, которые при каждом движении головы отбрасывали листья, вплетенные в ее прическу, придавали ее лицу своеобразную фантастическую прелесть, сообщая утомленному, но сияющему взгляду выражение демоническое и вместе с тем ангельское.

Трепет какого-то влюбленного восторга пробежал по всей гостиной, и Фостен, еще не остывшая от возбуждения игры, остановилась посреди тотчас же образовавшегося вокруг нее кружка. Продолжая яростно подталкивать ножкой свой шлейф, она начала с необыкновенной горячностью рассказывать о всех происшествиях вечера, об эффекте, который у нее пропал из-за слишком рано поданной реплики, о несообразительности главаря клакеров, о *шикателях* из Одеона, которые последовали за ней и во Французскую Комедию,— и, перечисляя все эти обиды, ее охрипший голос вновь обрел прежнюю выразительность, резкость, звучность. Но вот метрдотель возвестил, что «кушать подано», и она вдруг взяла под руку никому не известного молодого человека, к чьим словам уже несколько минут прислушивалась с каким-то необъяснимым вниманием. Открыв шествие, она обернулась и сказала:

— Господа, у меня — без церемоний. Каждый садится, где хочет... где может.

И Фостен заняла место посреди стола, сестра ее села напротив.

---

[1] Репортер *(англ.)*.

Сперва в столовой наступила тишина, та сосредоточенная тишина, какая обычно возникает за ужином, среди проголодавшихся гостей, собравшихся вокруг стола, где пахнет раками и трюфелями,— вокруг стола, застланного камчатной скатертью, уставленного массивным серебром, граненым хрусталем, корзинами тропических цветов и залитого на старинный лад белым светом свечей в канделябрах и в высокой люстре с переливающимися подвесками; эти свечи бросают мягкий отблеск на плафон и на светлую обивку стен, где, словно в предутреннем тумане, сияют розовой наготою богини Олимпа.

За молчанием последовал неясный гул, первые, еще невнятные фразы, пробивающиеся сквозь полные рты, и, наконец, весь этот шум покрыли слова:

— Ужин при свечах, браво!.. Если бы женщины знали, как красива при свечах их кожа, на другой же день ни в одной парижской столовой не осталось бы ни единого газового рожка, ни одной лампы.

А Фостен говорила молодому человеку, которого посадила рядом с собой справа:

— Ах, сударь, как красиво вибрирует ваш голос! Нет, вы не имеете понятия, какую власть имеют надо мной голоса... право же, они проникают гораздо глубже уха... Говорите же, говорите, я хочу вас слушать... Да, у вас есть в голосе что-то от Делоне, но ваш, пожалуй, действует еще сильнее... Ах, в иные дни... да, я уверена, что в иные дни вы могли бы заставить меня плакать!

И, слушая его, актриса наклонялась к нему совсем близко, как наклоняются к музыкальному инструменту, который волнует душу.

— Чудесно, ну просто чудесно,— повторяла Фостен с восторженной улыбкой, склонив голову набок и словно приглядываясь к тому, как слова вылетают из его губ.— Нет, право же, сударь, вы должны приходить каждый день и проводить со мной несколько часов... Слушать, как вы говорите... как вы читаете... было бы для меня истинным праздником. В вашем голосе есть такие нотки... как странно!.. нотки, в которых чувствуется разом и рыдание и смех... Да, услышать от вас объяснение в любви было бы, должно быть, очень опасно.

И она кокетливо рассмеялась.

Потом, оборвав смех, обратилась к гостям:

— Господа, рекомендую вам эту рыбу. Это волжская стерлядь... Подарок одного из моих тамошних друзей. Она была заморожена эфиром,— да, да, эфиром... Говорят, что, когда ее

усыпляют таким образом, она не совсем умирает и ее можно переправлять почти свежей на другой конец света.

Сказав это, Фостен снова повернулась к своему соседу, и в ее позе, в изгибах ее обращенного к нему тела чувствовалась та нежность, та влюбленность, какую вы часто можете заметить во время обеда или ужина, наблюдая за женщиной, когда она сидит рядом с нравящимся ей мужчиной. В этом теле одна сторона — сторона, обращенная к безразличному соседу,— кажется угрюмой, пассивной и как бы одеревеневшей, тогда как другая сторона трепещет, полна грации, соблазна, и мышцы беспрестанно играют, распространяя на расстоянии любовные флюиды. Забавное зрелище! Женщина, так сказать, одушевлена только с этой стороны: трепещет лишь то ее плечо, которое прикасается к этому соседу, волнуется лишь та грудь, на которую падает его взгляд, змеино изгибается лишь то бедро, лишь та нога, которые испытывают электрические разряды, исходящие от приятного ей мужчины.

Что касается Щедрой Души, то она старалась вести себя надлежащим образом, быть вполне *приличной* в этой среде, стоявшей намного выше ее собственной, и пространно рассказывала о стенном ковре, который она вышивала для церкви той деревни, где у Карсонака была дача.

Карсонак тоже был не в своей тарелке, так как чувствовал себя на этом ужине весьма незначительной особой. Он пресерьезно рассказывал своему соседу, хладнокровно дурачившему его господину, о неприятностях, причиняемых ему Бальзаком, об узких рамках, в которые тот его ставит, о том, как он мешает развитию его драматургии, о постоянных совпадениях, из-за которых ему приходится выбрасывать целые сцены, построенные гораздо удачнее, чем у этого романиста. И собеседник все время отвечал ему таким: «Еще бы!» — что бульварный драматург никак не мог понять, что это было — фамильярность слегка подвыпившего человека или ирония.

— Душа и длинные волосы,— скажите мне, скажите сейчас же,— разве это не вышло из моды? Ведь это тип светской женщины тысяча восемьсот тридцатого года, а нынешние светские женщины...

— Светские женщины! Современные светские женщины!..— вскричал, перебивая своего собеседника, некий знаменитый писатель.— Тощие, худые, костлявые, плоские! Женщины, у которых так мало тела и, следовательно, так мало места для любовных упражнений, женщины, чьи лица говорят о бледной не-

мочи и дурной болезни, чьи глаза и губы плохо подкрашены, существа, похожие на бесцветные призраки, от которых не требуют ничего, кроме пикантной мордочки, живости, *изюминки.* Разумеется, это не та красота, какую рекомендует «Курс рисования» для начальных школ, но надо сознаться, что в том состоянии, до которого дошел мужчина XIX века, стремящийся ко всему острому, ко всему, что уже *с душком,* этот тип дьявольски его возбуждает.

— Прочь отсюда этого ужасного невежу! — крикнула Фостен, но голос ее прозвучал лаской.

— А разве я сказал что-нибудь не вполне приличное? — самым наивным тоном осведомился красноречивый ралезнанец.

Разговор подхватил некий государственный муж, в ком сразу чувствовался большой любитель женщин, человек с совсем еще молодым лицом и седыми волосами:

— Да, господа, вы можете негодовать, сколько вам будет угодно, и писать для толпы всевозможные статьи о нравственности, но... Но небольшая доза распущенности необходима для государства: она смягчает нравы, делает общество гуманным, делает людей тоньше и совершеннее. Все великие люди всех времен были распутниками...

— О! О!

— Знаешь,— прошептал на ухо своему соседу какой-то гость с кукольным, грязно-розовым лицом, лицом проповедника, словно вырезанным из дряблой редиски,— знаешь, все эти члены правительства — настоящие инвалиды...

Конец тирады государственного мужа потонул в залпе коротких реплик, которые раздавались то справа, то слева, словно выстрелы из пистолета.

— Умен, нечего сказать, этот театральный критик... У него такое же чувство изящного, как у какого-нибудь театрального ламповщика.

— Ну и «аристократический» же вид у этой актрисы... можно подумать, что это маркитантка при войске фавнов!

— И вы считаете, что он не любит эту особу?.. Да ведь совсем недавно он подарил ей десять тысяч франков только за то, что она согласилась принять слабительное... Разве это не любовь? И не самая дорогая?

— Довольно говорить о нем. Это дурак, набитый возвышенными идеями и трансцендентальными суждениями.

— Таков Париж. Лоретка, которой красная цена двадцать пять луи, обходится члену жокей-клуба в целый наполеондор, а лакей, которому другие платят тысячу двести франков, доста-

нется господину Ларошфуко, если он того пожелает, за триста.

— Вас удивляет, что государство оказывает музыке такую огромную поддержку? Но ведь это же так просто: все еврейские банкиры — меломаны!

— Если человек высказывает либеральные идеи, а сам носит платье церковного покроя, не доверяйте ему — это правило не знает исключений.

— Ах, что за несносная болтунья!.. Она уверяет, будто признает только эгинетов, а Швецию любит за то, что это «невинная» страна!

— Поверь мне, настоящий мыльный пузырь — вот что такое этот твой финансист.

— Виноват...— вмешался Бланшерон.— Человек, о котором вы говорите, очень богат. Как вам известно, я кое-что смыслю в биржевых делах... И вот однажды, выходя от меня, он выронил из кармана — разумеется, не случайно — ордер на покупку акций, на весьма крупную сумму. И вы знаете, господа, я, даже я сам не решился играть против него!

В эту минуту Фостен заметила, что ее сосед справа тщательнейшим образом раскладывает кости от рыбы, которую он ел, прямо на скатерти, рядом со своей тарелкой.

Это открытие вызвало на ее лице недовольную детскую гримасу — гримасу девочки, над которой кто-то подшутил, дав ей пустую коробку из-под конфет.

Она стала отвечать ему односложно, и вся гибкость, вся приветливая грация движений стала понемногу уходить из той стороны ее тела, которая была ближе к молодому человеку с рыбьими костями, а потом, постепенно, с помощью незаметных переходов и искусного полуоборота, она переключилась на соседа слева.

Сосед этот был философ, человек светский, проповедовавший красоту, добро, честность,— разумеется, в рамках, приемлемых для великосветских дам,— нечто вроде мирского пастыря XIX века. Он доставлял своим клиенткам Платона вместо Евангелия, подбирал им шерсть для вышивания, переправлял парижские сплетни, когда дамы проводили лето в деревне или зиму в Ницце, и даже, в случае надобности, ухаживал за ними как сиделка, когда они лежали после родов в постели, читая им из «Града божия» блаженного Августина.

Отличаясь банальной красотой помощника прокурора и профессорским изяществом манер, он был баловнем женщин, и те готовы были подраться, оспаривая друг у друга его фланелевые жилеты, пропитавшиеся красноречием его лекций.

И вот этот философ, почувствовав, что хозяйка дома обратила внимание на его особу, немедленно принялся ухаживать за ней — впиваясь горящими глазами в вырез ее платья, осыпая актрису приторными комплиментами и теми чрезмерными изъявлениями восторга, какими ученые волокиты так надоедают женщинам.

— Да вы ничего не едите, решительно ничего!

— О, в дни премьеры мне всегда хочется только пить... И потом, эти тяжелые мясные блюда... их приходится без конца жевать... Мне кажется, это не такая уж красивая процедура для женщины — есть мясо.

— Так, может быть, вы намерены питаться только мясными экстрактами? Кстати, за вашим столом как раз сидит такой домашний маг и волшебник — человек, занимающийся разложением простых тел... Попросите у него рецепт.

— Как ни странно,— подхватил химик, услышавший отрывок разговора,— но впервые эта изящная мысль пришла в голову не женщине, а мужчине — ученому, канонику собора Парижской богоматери. Человек этот, которому наскучило терять время на еду, а также слегка опротивела материальность этого процесса, заказал себе экстракт мяса и стал питаться имматериальным способом, принимая по нескольку капель, хранившихся у него в маленьком флакончике из-под духов. Однако после двух или трех лет такой диеты наш каноник получил сужение желудка и чуть не умер. Это, конечно, грубо, но надо признаться, что для нас, простых смертных, как мужчин, так и женщин, амброзия не годится, и лучшим «экстрактом» мяса все еще остается вот эта индейка с трюфелями.

— Кстати, об индейках с трюфелями,— вставил один из гостей.— Известны ли вам те единственные три случая из жизни Россини, когда он плакал? Это достоверно, я читал подлинное письмо *маэстро* к Керубини: в первый раз Россини плакал в тот день, когда освистали его первую оперу; во второй — когда он впервые услышал игру Паганини на скрипке; и в третий, когда, катаясь по Гардскому озеру, он уронил в воду индейку, начиненную трюфелями, которую держал в руках.

— Интересная история, но раз уж речь зашла о еде, позвольте и мне рассказать нечто в этом роде — о неземном питании графа де Марцелла. Сей знатный католик причащался в своем замке только такими облатками, на которых был вытиснен его герб. И вот однажды викарий с ужасом замечает, что запас облаток с гербами иссяк. Однако он решается поднести к устам благочестивого аристократа обыкновенную, плебейскую облатку

и говорит ему извиняющимся тоном: «Чем бог послал, господин граф!»

Философ между тем продолжал расточать перед Фостен свое искусное красноречие, нашептывая ей разные изощренные комплименты, а та, в пылу кокетства, не только допускала его ухаживанье, но почти поощряла его. Воодушевленный успехом, он решил упрочить победу, применив по отношению к актрисе один *трюк* из своего репертуара, изобретенный им для покорения и порабощения женских сердец,— трюк весьма остроумный, но употреблявшийся им слишком широко и без достаточно глубокого проникновения в существо очередной особы женского пола, с которой он имел дело.

С минуту он многозначительно смотрел на свою соседку, потом сказал:

— На вашей красоте лежит ярко выраженная печать интеллекта... Да, да, я отличный судья в такого рода вещах... печать литературного дарования... Талант актрисы? Да, конечно, но о нем мы сейчас говорить не будем. У вас есть, правда еще в зачаточном состоянии, и другой талант... Вам надо писать о том, что вы видите вокруг себя... попытайтесь... я буду вашим советчиком... вашим гидом. Если бы вы знали, какие прелестные вещицы создают, благодаря моему дружескому руководству, некоторые светские дамы.

Фостен улыбнулась. К несчастью, ей был известен этот трюк,— с ней поделилась своим секретом одна молодая женщина, которой философ менее двух недель назад предложил себя в качестве *советчика* по литературным делам,— и теперь актриса была страшно обижена тем, что к ней отнеслись как к первой встречной простушке, как к какой-нибудь светской дурочке.

— Очень вам признательна, милостивый государь... Но неужели вы до сих пор не взяли патент на свое изобретение? Ведь это просто гениальный способ покорения женщин... обещать юным мещаночкам — и при том сейчас же, немедленно — перо госпожи Жорж Санд... Они, должно быть, моментально бросают свой домашний очаг, мужа, детей? А сколько дам в вашем классе?

И довольно долго, не давая философу ни минуты передышки, Фостен безжалостно терзала его своей злой, почти свирепой иронией.

Правый сосед Фостен мужественно перенес потерю расположения хозяйки дома. Он много ел, еще больше пил и, по-видимому, находился в состоянии приятного опьянения: подбородок его уткнулся в жилет, прядь развившихся волос упала на лоб,

белая рука то и дело поглаживала черную бородку, а губы еле слышно напевали какую-то *канцонетту* его родной провинции.

Выбрав подходящий момент, он, раскачиваясь, наклонился к Фостен и проговорил:

— Сударыня, в начале ужина вы сказали мне, что с удовольствием послушали бы, как я говорю, как читаю... между прочим, у меня есть отец. Он кассир, и сейчас он как раз находится в весьма, весьма затруднительном положении... Так вот, не хотите ли вы доставлять себе это удовольствие ежедневно, по нескольку часов... за пятьсот франков в месяц?

— Мы поговорим о вашем предложении как-нибудь в другой раз, милостивый государь.

И молодой человек, как ни в чем не бывало, снова принялся гладить свою бородку и напевать канцонетту.

А Фостен начала обеими руками обмахивать себе грудь кружевом корсажа. Откинувшись назад, она прислонилась к спинке стула, и на лице ее появилось выражение почти забавной растерянности — растерянности, смешанной с презрением, с отвращением, почти с ненавистью, относившейся к разглагольствованиям обоих ее соседей и к ним самим. Взгляд ее, переходя от лица к лицу, обежал весь стол с какой-то наивной мольбой. «Неужели никто не сжалится и не избавит меня от этих несносных людей?» — казалось, говорил он. Потом она вдруг застыла, совершенно не шевелясь, и только ее отполированные ногти блуждали по белоснежной шее, а нервные подергивания всего тела невольно выдавали ее раздражение и скуку.

Пришел конец остроумным шуткам, словесным поединкам, шалостям мысли; голоса понизились, общий разговор постепенно замер, уступив место *приватным* беседам, и теперь каждый из собеседников, возвратясь к своим занятиям, к своим работам, к своим намерениям, щедро угощал ими свой уголок стола с той очаровательной откровенностью легкого и изящного опьянения, какая бывает у людей высокого ума после ужина, спрыснутого хорошим вином.

— Следовало бы познакомить каждого с чудесными свойствами материи, доведенной до summum[1] ее утилизации,— говорил один из гостей, нагнувшись к соседу и вертя в пальцах пробку от графина.

— Да, прославление материи — вот та прекрасная тема, которой вам бы следовало посвятить книгу.

[1] До крайней степени, предела *(лат.)*.

— Я бы и сам очень этого желал, но не могу... не владею даром письменного словосочетания... В разговоре мне иногда удается дать представление об этом, но на следующий день, когда я остываю и беру в руки перо, получается совсем не то.

— Французский язык,— говорил некий иностранный писатель, великан с кротким лицом,— французский язык производит на меня впечатление инструмента, изобретатели которого простодушно стремились к ясности, к логике, к грубой приблизительности определения. А сейчас этот инструмент оказался в руках людей самых нервных, с наиболее повышенной чувствительностью, людей, которые стремятся передать ощущения самые неуловимые и менее, чем кто бы то ни было, способны удовлетвориться этой грубой приблизительностью своих жизнерадостных предшественников.

— Кровь теперь стала редкостью, ее нигде не найти,— говорил физиолог, человек с прекрасным задумчивым лицом, похожий на какого-то бесплотного духа.— Теперь совсем перестали пускать кровь. В мое время в больницах стояли целые ушаты крови. Недавно мне понадобилась кровь для моей лекции, и я нигде не мог ее достать. Если бы не тот старый доктор — вы знаете его, он всегда бывает на моих занятиях,— я так и не получил бы ее. О, это старый ученик Бруссе, он продолжает его традицию и то и дело вскрывает себе вену. Как-то раз он сказал мне: «Я пускаю себе кровь каждый день и поливаю ею цветы...» Это нечто положительное, определенное: таким способом либо излечиваешь людей, либо убиваешь... но все меняется каждые двадцать лет.

Какой-то журналист, похожий на персонаж картин Иордаенса, с грубым, покрытым бородавками лицом и резким, отрывистым эльзасским акцентом, говорил:

— Варфоломеевская ночь убила Францию. Если бы Франция стала протестантской, она бы навсегда сделалась величайшей нацией Европы... Видите ли, в протестантских странах существует постепенный переход от философии высших классов к

свободомыслию классов низших. Во Франции же между скептицизмом верхов и идолопоклонством низов лежит пропасть, пустота... И скоро вы увидите, к чему она приведет, эта пустота!

— Египет, Египет! — повторял на ухо своему соседу некий художник кисти и слова, на время забыв об ужине.— Египет! Меня преследует мысль написать несколько страниц об этой стране... Торфянистая почва, земля словно каучук, шагов не слышно... Вам знаком лишь светлый, прозрачный Восток... А там, куда ни кинешь взгляд, едва заметная дымка испарений, и дымка эта делается тем гуще, чем она отдаленней... и в этом сером тумане — черные или синие фигуры... редко-редко встретишь красное пятно... Ах, как красив при этом освещении синий тон одежды... Я так и вижу этих людей с пятнами света на лбу и ключицах.

И он сделал в воздухе такой жест, словно кистью положил на полотно два небольших мазка.

— Да, нужно большое уменье изображать свет, чтобы правильно передать колорит этой бесцветной земли и неба... А буйное цветение смолистых лимонов с плодами, напоенными соком,— таких вы не увидите нигде больше. Нет, я еще не нашел в живописи способа передать все это.

И когда он говорил об этой сырой далекой стране, белки его горящих глаз как-то странно увеличивались.

— А ночи,— продолжал он,— какие там ночи!.. Эй, Жорж! — крикнул он господину, который сидел на другом конце стола и не слышал его.— Помнишь, какие часы провели мы с тобой близ ворот храма в дворике канатчика? Ах, мне хочется написать о них, чтобы вновь пережить эти ощущения!

И художник-писатель снова впал в задумчивость, которую уже не мог нарушить застольный шум.

— Чистая наука, наука совершенно абстрактная, наука, презирающая индустриализм,— говорил химик,— такая наука — это создание аристократических обществ. Соединенные Штаты интересуются нашими открытиями и завладевают ими лишь в тех случаях, когда они могут иметь практическое применение. То же происходит и в Италии, где бескорыстные ученые принадлежат лишь к старому поколению... В наш век, господа, век денег, нет больше людей, жаждущих одной только славы. Как

обстоит дело в этих странах, когда какой-нибудь юноша чрезмерно увлекается наукой? Он избирает себе поприще, которое наполовину отвечает его духовным устремлениям, а наполовину — жажде обогащения. Он становится железнодорожным инженером, директором завода, управляющим фабрикой химических изделий. То же самое начинается уже и во Франции, где Политехническая школа больше не выпускает ученых!

— Ах, этот звук, этот мягкий звук... Право, мне трудно дать вам представление о нем,— говорил некий молодой генерал,— а между тем по временам он все еще раздается в моих ушах... Мы были так сжаты, так стиснуты, так слиты друг с другом, когда шли на приступ Малахова кургана, что... ну, понимаете... я слышал, да, слышал, как пули вонзались в тела тех, кто стоял рядом со мной. Это был такой точно звук, какой бывает, когда камень шлепается в мягкую глину... А когда пуля наталкивалась на кость, раздавался треск, похожий на треск дерева, раскалывающегося от мороза. Да, это отвратительный звук!

— Ничего не поделаешь...— словно в полудремоте ронял отрывистые фразы некий ученый — мечтатель и фантазер.— Горючего хватит на какой-нибудь десяток миллионов лет, не больше... и столько же времени на поверхности земли продержится температура, необходимая для жизни... А потом — ни лесов, ни каменного угля. Наступит ледниковый период. И тогда уцелевшие, те, которые еще не замерзнут, вынуждены будут уйти под землю, поселиться в шахтах. Они будут питаться *мякотью* грибов... а так как человеку всегда нужен бог — бог света, то подземный человек будет поклоняться болотному, иначе говоря, *рудничному* газу.

— Но ведь эта жизнь наедине с собой, жизнь без солнечного света, может, пожалуй, привести к страшной власти метафизики? — весьма серьезно спросил у ученого сосед, человек с жирными руками, которые он, словно священник, скрестил на салфетке, закрывавшей его живот.

— Господа! — сказала вдруг Фостен.— У меня есть Канское вино с голландского корабля, который потерпел крушение на Шевнингской отмели более ста лет назад... Бочонки, все об-

росшие раковинами, были подняты со дна морского вместе с остальным грузом... бутылка этого вина стоит двести франков... Вы, конечно, уже догадались, что это еще одно проявление внимания господина Бланшерона... Так вот, не пора ли нам распить это вино?

— И распить его за здоровье Федры! — в один голос вскричали все гости.

Вино было розлито, все встали, и среди звона бокалов раздались приветственные возгласы: «Да здравствует Федра! Да здравствует Фостен!»

Среди шума, вызванного этим тостом, который все произносили стоя, причем молодой человек с музыкальным голосом бормотал вслух: «Ну и ну! Хотел найти прочное положение, а сам потерял равновесие»,— сестры подошли друг к другу, и Щедрая Душа прошептала на ухо Жюльетте:

— Знаешь, была минута, когда я готова была поставить пять лун на твоего юного соседа.

— Музыка хороша, но если бы можно было отделить ее от самого музыканта... Это ты привела его?

— Нет... Ну, а другой?

— Другой... настоящий горшок с медом, но только мед в нем прогорклый... А сейчас,— воскликнула Фостен, переходя одна в гостиную,— сейчас мне нужна целая оргия Бетховена! Пусть играют Бетховена, поют его, танцуют. Я хочу Бетховена до рассвета. Сегодня это необходимо моим нервам!

XVIII

На следующий день после премьеры «Федры» и после этого ужина, продлившегося почти до рассвета, Фостен встала с ощущением той беспросветной тоски, того беспричинного и безотчетного уныния, которое является неизбежным следствием огромной затраты нервной энергии, сопутствующей всякому глубокому душевному движению — большой радости, лихорадочному возбуждению.

Она позавтракала, не разворачивая утренних театральных листков с отчетами о вчерашнем спектакле.

Ей противно было сидеть дома, но не хотелось и выходить на улицу, ее страшила мысль о приходе людей, даже самых близких. С самого утра она вдруг почувствовала какое-то тошнотворное и вялое безразличие ко всему тому, что более всего занимало ее в другие дни. И это равнодушное отречение ее су-

щества от каких бы то ни было стремлений, желаний, капризов, это отсутствие влечения к чему бы то ни было, претворялось в совершенно особое ощущение — ощущение безотрадной, глубокой, болезненной скуки. Все казалось ей серым; небо, собственная квартира, даже Генего казались ей бледными, лишенными жизненных красок. С ней происходило приблизительно то же, что происходит с женщиной, когда она внезапно попадает из ярко освещенной бальной залы в переднюю, где тускло мерцает приспущенный огонек лампы. Но беспросветное уныние этого наступившего «завтра» не имело ничего общего с тем облачком, которое омрачает чело женщины из-за какого-нибудь жизненного затруднения и улетучивается сразу, как только у нее появится хоть немного воинственного задора,— нет, это было то мгновенное и горькое разочарование в жизни, то усталое самоуглубление, когда вдруг приостанавливается жизнерадостная деятельность мозга, который непрерывно строит планы, воздушные замки и прекращает эту работу лишь в такие вот минуты тоски или же в предчувствии смерти.

Фостен вернулась в спальню и села у камина, устремив на него ничего не видящий и ничего не выражающий взгляд.

Глаза ее несколько раз скользнули справа налево по ковру, словно стремясь увидеть на нем нечто, не существующее в действительности, потом она встала, подошла к кровати, медленными, почти бессознательными движениями откинула покрывало и начала раздеваться.

Наполовину раздевшись, она позвонила Генего и сказала ей:

— Закрой ставни и зажги лампу... меня ни для кого нет дома.

— Уж не заболели ли вы, сударыня?

— Нет, но сегодня мне скучно!

Почти совсем уже раздевшись, она открыла один из стенных шкафов, находившихся в алькове, взяла маленький томик, который лежал там вместе с несколькими другими книгами, спрятанными между бельем и надушенными ирисом саше, и положила книжечку под подушку.

Озябнув, она поспешно забилась под одеяло, потом приятная теплота начала разливаться по ее телу. Посреди этого искусственно созданного мирка, озаренного лившимся из-под абажура светом лампы, лицо Фостен выделялось крохотным светлым четырехугольником на лбу, маленькой светлой полоской, влажно поблескивавшей на нижних веках и вспыхивавшей в глубине зрачков, еле заметной светлой черточкой, мерцающей в

углу рта, в ямочке от улыбки, тогда как все остальные черты оставались окутанными полутенью, и лишь по нежным округлостям щек блуждали изменчивые переливы света.

В пору жизненных невзгод, когда вам хотелось убежать от томительно тянущихся часов дня, не приходила ли вам мысль удалиться от действительности, заполнив эти часы чтением романа, насыщенного необузданной, исступленной, безумной фантазией, и читать этот роман в несколько призрачной обстановке постели и полумрака? Такое именно средство выбрала для себя Фостен.

Повернувшись к стене и подставив свету лампы волнистую линию укрытых простыней плеч и пушистые волосы, свободно сбегавшие по спине, она начала читать маленький томик, близко придвинув к глазам освещенные страницы.

И эти страницы перенесли молодую женщину в какой-то странный мир — мир грандиозной, невиданной природы, где зияли пропасти неизмеримой глубины, где струились огромные пространства бегущих вод, где сверкали охваченные огнем планеты, мир, где архитектура являлась как бы воплощением мечты какого-нибудь Пиранези, мир, населенный мириадами человеческих созданий, шествующих в бесконечных процессиях, мир с бесконечным множеством женщин в восточных одеждах, сидящих на небесно-голубых диванах.

В тишине этой запертой комнаты, где царила искусственная ночь, в дремотном оцепенении, в испарине, вызванной теплом постели, Фостен как будто воочию видела то, о чем читала.

И в этих причудливых пейзажах все прошлое, без связи и системы, вся история человечества, перепутанная и сотрясаемая, как в калейдоскопе, пробегала перед ней в стремительно несущихся волшебных картинах, то и дело прерываемых сменой и перестановкой декораций и эпох. Вот она при дворе Карла I, но вдруг бал, музыка, нарядные дамы — все исчезает по хлопку чьих-то рук, чьих-то невидимых рук, и, окруженный когортой римских центурионов, с пурпурной туникой на острие копья, появляется консул Павел Эмилий, навстречу которому несутся приветственные возгласы римских легионов. Вот она блуждает среди потерпевших поражение солдат какой-то современной армии, слышит топот невидимых беглецов, и вдруг перед ней встают силуэты высоких печальных женщин, которые повторяют, сжимая друг другу руки: «Прости навек!» — и исчезают, вздыхая и рыдая, при слове «смерть», сорвавшемся с уст некоей бледной Прозерпины, восседающей на своем троне

в ореоле мрачного величия. И эхо долго повторяет: «Прости навек, прости навек!»

В том, что читала лежавшая на кровати женщина, было для нее много непонятного, много вещей, смысл которых ускользал от нее вследствие полного ее невежества, и, в сущности, эта книга была для нее, взрослого человека, тем же, чем является волшебная сказка для ребенка, чей слабый ум постигает в прочитанном одно чудесное.

И по мере того как Фостен читала «Курильщика опиума», опьяняющее воображение Куинси все больше захватывало ее, доставляя острое умственное наслаждение, унося от будней действительности, от повседневной скуки, разряжая болезненное напряжение нервов.

XIX

Любопытный и уютный музей представляет собой актерское фойе Французской Комедии, где все знаменитые драматические актеры прошлого обрели свою вторую жизнь — на полотне или в мраморе — на его стенах и как будто склоняются с улыбкой над нынешними актерами и актрисами, когда те приходят сюда отдохнуть во время антракта.

На одной стене висит Дюкло, написанная в торжественной манере Ларжильера. Это подлинная королева театра минувших времен, великолепная, величественная, с пышной обнаженной грудью, в ниспадающем прямыми складками костюме Ариадны; упитанный Амур держит над ее головой венец из звезд. Дюкло висит между Бароном и Лекеном, а под ней — прекрасное, задумчивое и кроткое лицо Мольера, кисти Миньяра. На другой стене — две картины Жеффруа. Они изображают два фойе и воскрешают мадемуазель Марс, окруженную актерами и актрисами начала века; над одной из картин голова Тальма́. Тут же, в простенке между двумя окнами, возвышается старинный монументальный хронометр, отсчитавший на своем веку столько горьких или праздничных минут. По бокам — две колонны, на которых стоят белые мраморные бюсты мадемуазель Клерон и госпожи Данжевиль. У подножья колонн — два складных табурета с крестообразными ножками; на одном из них часто сиживала Рашель. На той стене, где посредине камин с часами, вделанными в белую мраморную глыбу, увенчанную бронзовым бюстом Превиля, висит по одну сторону полотно Энгра, которое изображает Людовика XIV, принимающего за своим столом Мольера, а по другую — старинная картина, дающая точное

представление о нашей прежней, освещавшейся еще сальными свечами сцене,— картина, где нарисованы, каждый в одной из своих ролей, все комедианты и лицедеи прошлого, и в одном углу ее — Мольер со своими удивительными глазами, которые на всех его портретах смотрят в разные стороны. Картина эта подарена Французской Комедии епископом Нансийским.

В этом маленьком музее поставлены для живых, желающих посидеть под сенью мертвых, широкие кресла и просторные диваны красивой изогнутой формы. Здесь есть шкафчик XVIII века,— король Луи-Филипп прислал его однажды взамен люстры, которую, помнилось ему, он видел в детстве у своего отца и у которой Бовалле, пока люстра еще висела в фойе, разбивал тростью по одной из хрустальных подвесок всякий раз, когда бывал не в духе.

Зимними вечерами под этими портретами, в этих располагающих к лени удобных креслах, посреди мягких зеленых тонов обивки, при ласковом свете старинных ламп, отраженном зеркалами, и веселом пламени огромных поленьев, какие жгут только здесь да в каминах присяжных заседателей в суде присяжных,— зимними вечерами, во время короткого отдыха актрис, одетых в костюмы царства Вымысла и Фантазии, уголок этот дышит теплом, уютом, милой стариною и немпого — волшебной сказкой.

Вечером, после целого дня, проведенного наедине с собой, в постели, Фостен вдруг решилась выйти и отправилась посидеть час-другой в актерском фойе Французской Комедии.

Развязав ленты у шляпки, она уселась в своем городском туалете на стул у камина, повернувшись спиной к старой картине, изображавшей Мольера и паяснпчавшего Готье-Гаргиля, и облокотилась на маленький, с острыми углами, клавесин, который фигурировал еще в XVIII веке на представлениях «Севильского цирюльника» Бомарше, а потому считался своего рода реликвией.

Актриса не собиралась выходить, но ее вытолкнула, выгнала из дому та непреодолимая потребность, которая назавтра после окончания произведения побуждает беспокойного творца его, даже против собственной воли, идти туда, где он надеется услышать оценку своего творения, убедиться, что оно занимает внимание публики, пожать лавры, упиться похвалами, прочитать на устах знакомых людей отголосок всеобщего восхищения.

В этот вечер давали длинную современную пьесу одного академика, не делавшую больших сборов, а перед ней — одну из

«пословиц» Мюссе, которая шла уже в сотый раз. Народу в театре было мало, и актерское фойе почти пустовало.

Там сидели только три человека: чиновник судебного ведомства, который был влюблен в одну из здешних актрис, но, скрывая это, ухаживал за всеми актрисами театра; старый литератор, завсегдатай Французской Комедии, весь день гревшийся в библиотеках, а по вечерам приходивший греться в театр; ученый-немец, который вошел в моду благодаря увлечению нашего ученого мира германской наукой и теперь, нацепив галстук в розовый горошек, старался завязать светские связи.

— Да, это верно! — говорил он французу.— Прежде я думал, что работа в своем углу может привести к какому-нибудь результату, и вечером я, как истый немец, играл на фортепьяно в своей мансарде... Но старик Газе как-то сказал мне, что здесь можно добиться успеха только с помощью женщин... Да вот Шанвалье... если бы он не бывал в салонах... И тогда я стал одеваться как все.

Тут он с горделивым самодовольством оглядел свою особу и продолжал прочувствованным и грустным тоном:

— Только вот беда... я уже вижу, что никогда не научусь говорить женщинам сальности так, как это умеете делать вы, французы... Я пробую... но получается слишком грубо... или даже непристойно... И вот я умолкаю посреди фразы, никак не могу ее закончить.

Время от времени кто-нибудь из актеров заглядывал в фойе и, подойдя к Фостен, называя ей театральные листки, которые одобрительно отозвались о ней сегодня утром, но от себя не добавлял ни слова.

Один только Брессан в своем развевающемся костюме Фантазио уселся возле нее по другую сторону камина и громко, с горячей товарищеской симпатией, стал превозносить высокое драматическое дарование, которое она проявила накануне.

Потом фойе совершенно опустело.

Наконец туда вошел один знакомый актрисы, низенький сухопарый господин с аккуратной, холеной лысиной, которая, благодаря особым притираниям, напоминала гладкий шар из слоновой кости,— пренеприятный тип светского *дилетанта,* любитель и перекупщик старины, мастер выманить модную книжку, постоянный спутник знатных иностранцев — словом, неутомимый болтун, чьи комплименты, даже помимо его воли, всегда бывали оскорбительны, но которого повсюду терпели, которому почти прощали, в силу обычного малодушия парижан по отно-

шению к людям, чьи имена попадают в газеты после каждых торжественных похорон и каждой премьеры.

Подойдя к актрисе, он низко ей поклонился и, склонив голову набок, опустив руки, сказал ей самым любезным тоном:

— Знаете, ваш вчерашний успех явился для меня полной неожиданностью... право, я был убежден, что у вас нет никаких данных для этой роли... Однако, поскольку все утверждают, что этот успех существует, ничего не поделаешь, приходится его признать... и все-таки, должен сознаться, у меня не было никакой уверенности... Дело в том, что меня окружают люди, которые всегда начисто отрицали ваш талант... и я был изумлен... приятно изумлен — поверьте... Однако позвольте мне представить вам одного иностранца, который умирает от желания познакомиться с нашей великой трагической актрисой.

Он вышел и через несколько минут вернулся с каким-то голландским адмиралом, который так мало и так дурно говорил по-французски, что вряд ли мог уразуметь что-либо французское, кроме разве только пантомимы Дебюро.

Светского дилетанта и голландского адмирала сменили два молодых человека, состоявших при посольстве. Вылощенные и выутюженные, они под руку подошли к Фостен вихляющей походкой и, любуясь в каминном зеркале вырезом своих жилетов, стали по очереди повторять замирающим голосом: «Божественная, божественная, божественная!»

И под конец — восторг, на этот раз неподдельный! Знаменитый хирург, известный своей страстью к театру, как бомба влетел в фойе и, запыхавшись, сказал Фостен:

— Из-за вас я не поехал на операцию в Бордо... Да, да, я телеграфировал моему пациенту: «Завтра не могу, играет Фостен!..» Вы были изумительны, изумительны на протяжении всего спектакля!

Фостен улыбнулась ему одной из своих обворожительных улыбок — той, что слегка приподнимала углы рта.

— Нет, дорогой доктор, нет... Видите ли, у меня есть внутреннее чутье, и оно никогда не обманывает меня... Когда я в ударе, когда я даю все, что могу дать, я слушаю себя, и это доставляет мне удовольствие... Я наслаждаюсь своей игрой... я — и актриса и публика одновременно. Так вот! Вчера — да, я испытывала это чувство в некоторые моменты... но не весь вечер... о нет, не весь вечер.

— Весь вечер! Вы были изумительны весь вечер! — крикнул хирург, убегая: он услышал голос, объявивший: «Действие начинается, господа!»

Потом, когда по зале разнеслась весть, что в театре Фостен, к ней начали приходить друзья, знакомые; все хвалили ее, но среди этих похвал не было ни одной фразы, которая могла бы *пощекотать* самолюбие актрисы.

Люди приходили и приходили, визитам и поздравлениям не было конца.

И пока Фостен оставалась в фойе, посетители, сменяя друг друга, продолжали осыпать ее комплиментами — шумными, восторженными, высокопарными.

XX

Актеров и актрис подлинного таланта не могут ни обмануть, ни растрогать глупые восхваления, ходячие комплименты, аляповатые поздравления многочисленных приятелей и еще более многочисленных знакомых. Для того чтобы их тщеславие действительно было польщено, они должны найти в изъявлениях восторга какую-то оригинальную, *свою* оценку, выраженную в точной фразе; им необходимо, чтобы похвала относилась к тому месту пьесы, которое, по их собственному внутреннему убеждению, действительно удалось им, или чтобы им указали на те несовершенства их игры, какие они заметили и сами. Вот из этого-то внутреннего презрения к банальным восторгам толпы и рождается у актеров и актрис глубокая вера в двух-трех близких друзей, людей со вкусом,— как правило, людей неприятных, сварливых, вынужденных подчас в самых эксцентрических кругах, людей, чье суждение, однако, является для актера единственным, имеющим влияние на его игру, и чья похвала одна дает ему радость.

И вот на следующий день после вечера, проведенного в фойе актеров, Фостен, позавтракав, отправилась к одному из таких близких друзей, который, к ее удивлению, не пришел повидать ее после спектакля.

На улице Сент-Аполлин она остановилась у небольшого особняка, построенного во второй половине XVIII столетия недалеко от крепостного вала, где прежде катались в каретах, и имевшего такой обветшалый, заброшенный вид, что, казалось, жильцы покинули его уже много лет назад.

Все амбразуры нижнего этажа были наглухо заделаны, привратник отсутствовал, и Фостен звонила около десяти минут, пока древний слуга, похожий на простака-лакея из какой-то старинной комедии, не отворил наконец маленькую, проделан-

ную в воротах дверку, предварительно осмотрев посетительницу в потайное окошечко.

Она прошла по огромным пустым комнатам, отделанным прелестной деревянной резьбой, некогда белой, а теперь ставшей совсем черной от полувековой пыли; в рисунке резьбы постоянно повторялись голубки среди роз — грациозное воспоминание, которое оставила на панелях актриса Коломб из Итальянской Комедии, для которой и был в свое время построен этот особняк.

Фостен ввели в спальню старого маркиза де Фонтебиз, который еще не вставал с постели, хотя был уже час пополудни.

На ночном столике, рядом с париком, мокла в чашке с водой его вставная челюсть, а сам маркиз, в меховом колпаке с наушниками, лежал закутанный в баранью шкуру. К пологу кровати, в ногах, довольно высоко, было приколото булавками полотенце.

— Отчего это вас не видно было, господин маркиз?

— Девочка, я нашел твою игру несовершенной,— сурово сказал он.— Да, да,— ты слышишь? — несовершенной! — повторил маркиз, беспрестанно отхаркиваясь и после каждого слова посылая густой плевок в приколотое к пологу полотенце.

Маркиз де Фонтебиз был старый дворянин, которого разорили актрисы и у которого остался только этот маленький особняк, купленный им для каких-то амурных дел в последние годы его величия, да весьма жалкий годовой доход, вынуждавший его обедать в дешевых закусочных и ограничиваться услугами старого Калеба, довольствовавшегося жалованьем горничной. Маркиз считался последним живым представителем того фойе Французской Комедии, во главе которого стояла неподражаемая Конта́, сгруппировавшая вокруг себя Коллена д'Арлевиль, маркиза де Ксименес, Андрие, Пикара, Виже, Александра Дюваля, Дюсиса, Легуве. В те вечера, когда во Французском театре или в Одеоне шла трагедия или комедия старинного репертуара, вы могли быть уверены, что встретите там маркиза де Фонтебиз. Одаренный блестящей памятью старых людей минувшего столетия, той памятью, в которой полностью запечатлелась вся родословная книга д'Озье, он знал своих любимых классиков наизусть, невольно суфлируя в театре, когда случалось запоздать суфлеру, и мог осведомить вас о всех известных и неизвестных изменениях, происшедших с какой-нибудь ролью, или рассказать, как какой-нибудь жест, совершенно случайный, привел к новой трактовке, новой мизансцене, доселе не существовавшей.

И он способен был прочитать вам наизусть все знаменитые строфы в той самой интонации, в какой читал их тот или иной из прославленных актеров и актрис, сменявших друг друга на протяжении шестидесяти лет.

Таким образом, он самочинно возвел себя в сан, так сказать, почетного хранителя старых традиций, которые и отстаивал, яростно стуча по полу своей похожей на костыль тростью, очень забавный в своем бессильном гневе. Актеры советовались с ним, дебютанты умоляли прослушать, и он принимал их, лежа в постели, которую покидал лишь для того, чтобы пообедать и отправиться в театр.

От любви к актрисам маркиз де Фонтебиз уже давно перешел к чистой и бескорыстной любви к театральному искусству. Он первый открыл Фостен, когда она дебютировала на сцене какого-то жалкого театра, начал превозносить ее, познакомил с журналистами, протолкнул в Одеон,— словом, стал заботиться о молодой актрисе с таким рвением, энергией, настойчивостью и упорством, словно был ее учителем или отцом. Правда, это покровительство маркиза далеко не всегда было приятным. Напротив, он не скупился на резкости, замечания, выговоры, ежеминутно отпуская свое излюбленное ругательство: «Деревянная башка». Иной раз, когда работа актрисы не удовлетворяла его, ему случалось даже, в порыве старческого раздражения, швырнуть чем попало в голову ученицы.

Маркиз лежал на спине, приняв головой углы подушки, зарывшись в грязные простыни, из-под которых торчали только щетинистые седые брови, властный орлиный нос и два желтых глаза, смотревших на актрису с недовольным и сердитым выражением.

Тоном шутливого смирения Фостен сделала попытку защищаться:

— Право же, маркиз, эта роль...

— Да как ты смеешь говорить об этой роли!.. Вспомни, ведь когда шел «Баязет», ты тоже говорила, что страсть прорывается там слишком быстро и что это тебе мешает.

— Что ж, я и сейчас говорю это... но что касается роли Федры, то... согласитесь сами... она слишком сложна. Еще не было в мире актрисы, которой удалось воплотить этот образ во всем его многообразии... в этом виновата не я, а Расин... Я вверяюсь поэту... отдаюсь его вдохновению, а он все время обманывает, он подводит меня... Право же, в этом образе соединены два женских типа, и притом совершенно противоположных.

— Та-та-та, видимо, ты хочешь повторить мне шутку вели-

кого короля, сказавшего, что эту роль должны бы играть вместе и Шанмеле и Деннебо.

Он отхаркался и заговорил снова:

— Видишь ли, девочка, твое: «Ты имя назвала» — прозвучало очень сухо... конечно, это труднее произнести, чем у Еврипида: здесь нельзя отыграться на «а не я»... но это сухо, да, страшно сухо!

— Вы правы,— сказала она,— верную интонацию, настоящую, прочувствованную, я нашла лишь однажды, разучивая роль в одной гостиной... но с тех пор ни разу, ни одного разу мне не удалось найти ее вновь, несмотря на все мои усилия.

И она добавила с грустью:

— У нас, актеров, бывают вещи, которые удаются нам только однажды, в особом душевном состоянии.

— Ты сама не захотела... пышнпие сороки разучились работать... Вспомни, как готовился к роли Лекен! Четыре строфы он произносил почти шесть минут!.. А как бесцветно ты произнесла это двустишие в признании Ипполиту:

Моя сестра тебе дала бы свой клубок,
Чтоб в Лабиринте ты запутаться не мог.

— Но ведь эти стихи совсем не нужны! Зачем понадобилось дублировать ими жест? — вскричала актриса, встав с места и возбужденно прохаживаясь по комнате.— Почему он не поставил точку после:

А ведь тогда бы ты покончил с Минотавром
И был за подвиг свой венчан победным лавром!..

Зачем после гармонического финала этих двух женских рифм он вставил две мужские — и такие короткие, что их никак не произнесешь!.. Почему в этом месте он забыл, что монолог актера непременно должен быть согласован с пантомимой!.. Это ошибка Расина, единственная, известная мне ошибка, но, так или иначе, эти два стиха... можете говорить, что вам будет угодно, господин маркиз, но эти два стиха *не дают пищи* для жеста!

— Замолчи или я швырну тебе в голову свой парик! — проревел маркиз, беспокойно ворочаясь под бараньей шкурой.— Судить великих мастеров! Тебе! Да ты просто дура, слышишь, дура... иногда гениальная дура — это-то получается у тебя помимо воли,— но все-таки дура, *деревянная башка* во все остальное время.

— Вот что, маркиз, вы сегодня встали с левой ноги. До свидания, я ухожу. До другого раза.

— Послушай, девочка,— сказал старик, глядя на нее потеплевшим отеческим взглядом,— маркиз недоволен, да, он недоволен... Тебе, видишь ли, все время недостает эпического пламени сильных страстей... Быть может, впрочем, это пламя уже угасло... Все стало нынче таким «добропорядочным»... И вы, актрисы, разве вы не сходитесь теперь с кем попало и не живете самым приличным, самым супружеским образом с каким-нибудь господином... Ах, в мое время актрисы были совсем другие. Жизнь их сердца была не такой ровной. Словом, несомненно одно — что ты совершенно лишена любовного пыла... а Федра, сыгранная без истинного пыла,— это не то, не то, не то!

Тут старик замолчал, полузакрыл глаза, и Фостен, думая, что он заснул, встала, собираясь уходить.

— Вот что, девочка, хочешь добрый совет? — сказал вдруг маркиз, плюнув в полотенце, когда актриса уже хотела было закрыть за собой дверь.— Поскорее найди себе ревнивого любовника... он будет тебя бить... а ты будешь его обожать,— быть может, это даст тебе ключ к твоей роли.

И Фостен в сопровождении дряхлого слуги еще раз прошла по огромным пустым апартаментам с обиженным видом школьницы, которую побранили, но на лице ее после оригинального совета старого театрала витала легкая тень улыбки.

XXI

Было три часа. Фостен, которой вечером предстояло во второй раз играть Федру, только что села в ванну.

Ванная комната Жюльетты, «фарфоровая комната», как ее называла Генего, была единственной в доме, которую актриса не доверила обойщику Бланшерона и которую она отделала по своему вкусу, и притом с расточительностью, какая ей и в голову не приходила при отделке других комнат маленького особняка. Фостен говорила — а она ежедневно проводила целый час в воде,— что во время ленивого сидения в ванне глаза ощущают потребность развлекаться красивым видом стен. И она заказала Бракмону, изобретательному мастеру отделки, двадцать четыре больших фаянсовых панно, которые совершенно закрыли стены.

Художник-керамист разбросал по гладким плитам изящных речных и озерных птиц, порхающих в копьевидной листве влажных берегов, и сверкающий полет этих пестрых птиц, словно вспышки молнии, прорезал светлую зелень, ярко выделяясь на

радостно белом, испещренном яркими пятнами фоне. На полу комнаты — очаровательная выдумка художника! — был изображен целый ворох цветов и веток, как бы сорванных сильным ветром, и маленькие четырехугольные плитки были сплошь усыпаны белыми лепестками вишен, красными лепестками японской айвы.

Вместо стульев здесь стояли скамеечки из китайского фарфора.

Плафон был чрезвычайно оригинален: в центре — зеркальная розетка, обрамленная деревянной резьбой и производившая впечатление прозрачной крыши садовой беседки в восточном вкусе, а на этом зеркале с амальгамой небесно-голубого цвета (опыт совершенно новый) — яркие цветы, какие были в моде в итальянских салонах XVII века. Эти рисунки сделал для Фостен некий художник-декоратор, не имевший себе равных в своем искусстве, но страдавший запоем, и она сумела добиться их лишь после того, как целый месяц продержала художника взаперти у себя в доме. Розетку плафона окаймляла широкая четырехугольная рама с глубоко врезанными углами, сделанная из нескольких слоев баккара́, чьи причудливые рельефы и бесчисленные грани искрились и сверкали, словно маленькие зеркальца на флюгере для приманивания жаворонков.

Посреди комнаты возвышалась огромная, блестевшая, как золото, медная кадка, а в ней росла белая сирень, настоящее маленькое деревцо, которое Фостен в течение всей зимы и весны заменяла новым, как только цветы начинали вянуть.

Но предметом и в самом деле достойным зависти женщины со вкусом была белая фаянсовая ванна, совершенно гладкая и только по краям украшенная вьющимся узором миртовых листьев,— одна из двух ванн, единственных, которые выдержали обжигание в огромной печи, сооруженной неким фабрикантом, разорившимся на этом деле; второй экземпляр хранится в музее Севра. Над ванной два крана для горячей и холодной воды — две лебединые шеи из вороненого серебра — были отлиты по моделям, оставленным Поссо, гениальным скульптором-ювелиром, который умер таким молодым.

У изголовья ванны, на кушетке, покрытой циновкой, тонкой, как та соломка, из которой плетут манильские портсигары, лежал подбитый белой фланелью пеньюар из старинного гипюра и, свисая до полу, почти закрывал своими складками крошечные туфельки из перьев колибри.

Фостен находилась в воде уже около трех четвертей часа, предаваясь неясным грезам, переносясь рассеянной и словно

разжиженной мыслью,— такое состояние нередко бывает, когда долго сидишь в ванне,— к своему утреннему посещению маркиза де Фонтебиз. Аплодисменты, вызовы, заключительные овации — все это было у нее третьего дня на премьере, и все-таки она чувствовала, что довольна собой лишь наполовину; ей казалось, что она дала не все, что твердо решила дать, когда приступала к изучению роли Федры. Да, она играла так, как позволил ей ее талант, но достаточно ли одного таланта, каков бы он ни был, для такой роли? И, неизвестно почему, ей вдруг вспомнился, почти дразня ее, ужасный крик, который испустила в какой-то плохонькой мелодраме об уличной женщине, больной чахоткой, одна актриса, довольно посредственная, но... но и сама немного задетая чахоткой.

Раздумье актрисы было прервано приходом Генего, которая, подав своей госпоже визитную карточку, сообщила, что господин, принесший ее, ожидает внизу и просит назначить день и час, когда ему будет оказана честь быть принятым хозяйкой дома.

Фостен взяла карточку и прочитала:

ЛОРД ЭННЕНДЕЙЛ

— Лорд Эннендейл? — проговорила она.— Но я не знаю, кто это... решительно не знаю.

— Как, сударыня, вы не знаете господина, который передал мне эту карточку? Да ведь это господин Уильям Рейн!

— Уильям Рейн! Ты сказала — Уильям Рейн... Да, конечно... Эннендейл — это фамилия его отца... Так зови его, зови сию же минуту!

— Сударыня, да вы, видно, забыли, где находитесь?

— Говорю тебе, приведи его сюда.

Дрожащей от волнения рукой Фостен взяла со столика какой-то флакон, вылила все его содержимое в ванну, и, когда лорд Эннендейл вошел, розовое тело женщины едва виднелось в молочно-опаловой белизне, окутывавшей и одевавшей, словно облаком, ее наготу.

Молодой лорд, в глубоком трауре, почтительно направился к купальщице и, подойдя к ванне, опустился на одно колено, чтобы поцеловать мокрую руку, которую Фостен протянула ему почти со страхом, точно перед ней было привидение.

— Да, это я, это я!.. О, сколько событий произошло в моей жизни... я расскажу вам о них когда-нибудь после... но я прочел все ваши письма и знаю, что вы все еще любите меня. Жюльетта!

— Вы? Уильям? Возможно ли?

И Фостен умолкла, целиком уйдя в созерцание, словно желая убедиться, что он действительно существует, убедиться в реальности его присутствия; лицо ее светилось почти безумным счастьем. Он хотел заговорить, но она каким-то неопределенным, мягким движением приложила руку к его губам.

— Нет, нет,— прошептала она,— не говорите мне ничего: ваши слова отвлекают меня, звук вашего голоса рассеивает, а я хочу смотреть на вас... смотреть и смотреть!

Вошла Генего.

— О, господи! Сударыня, там господин Бланшерон! Он хочет поговорить с вами... хочет подняться сюда во что бы то ни стало.

По лицу молодой женщины промелькнула тень недовольства, словно при неприятном пробуждении; наконец она уронила:

— Скажи Бланшерону, что я не могу принять его... что я лежу в постели с лордом Эшендейлом!

И, видя, что Генего не решается выполнить приказание, Фостен добавила повелительным тоном:

— Скажи ему это — слышишь?

Когда Генего вышла, купальщица взглядом указала Уильяму на фарфоровую скамеечку, стоявшую у самой ванны. Целомудренно скрестив руки на груди, лишь своими темными волосами прикасаясь к светлой шевелюре Уильяма, влюбленная женщина ласково, убаюкивающе покачивала головой, и бессвязные нежные слова, то и дело прерываемые долгим молчанием, выражали все ее волнение и радость. Внезапно она умолкла и отвернулась от того, кого любила. Уильям, наклонившись, заглянул ей в лицо и увидел слезы, счастливые слезы, медленно стекавшие к приподнятым уголкам улыбающихся губ.

— Какое странное счастье... кажется, я плачу,— сказала Фостен, проводя рукой по глазам.— Ах, уже четыре часа... Уильям, нам надо расстаться... Приходите за мной нынче вечером в театр... Генего передаст вам пропуск в маленькую закрытую ложу... Ну, уходите... скорее.

И когда Уильям собирался переступить порог, актриса, посылая ему воздушный поцелуй и обнажив при этом движении плечи и грудь, крикнула ему вслед:

— Милорд, сегодня Фостен будет играть для вас, вы слышите — только для вас!

XXII

Когда Фостен подъехала к театру, перед ним уже выстроилась бесконечная вереница людей, которая, извиваясь вдоль фасада со стороны улицы Ришелье, заворачивала за угол под аркадами и углублялась в улочку Монпансье,— шумная, жестикулирующая толпа, над которой стоял взволнованный гул голосов.

В результате споров, разгоревшихся после премьеры, Париж в ожидании этого второго спектакля был охвачен жгучим любопытством. Одни ставили новую трагическую актрису выше Рашели, другие видели в ней лишь посредственность, наделенную, однако, прекрасными внешними данными, превосходный инструмент, которым управлял старый маркиз де Фонтебиз,— словом, актрису искусную, но не умеющую глубоко чувствовать. В последние два дня дебют Фостен служил темой для разговоров и споров во всех кафе, гостиных, клубах. По поводу этого дебюта разгорелся бой и в газетах, причем вопрос ставился так: допустимо ли оживлять мертвую трагедию с помощью средств современной драмы, как сумела это сделать перебежчица из Одеона? И вот *весь Париж* решил собраться в этот вечер во Французском театре, чтобы вынести актрисе окончательный приговор.

Фостен поднялась к себе в уборную и начала репетировать роль, то и дело нетерпеливо посматривая на часы, лежавшие на туалетном столике, и прислушиваясь к отдаленному, все возраставшему гулу, доносившемуся до нее из зрительной залы и похожему на рокот волн приближающегося наводнения.

Вопреки своему обыкновению, актриса, не дожидаясь трех ударов гонга, побежала на сцену и прильнула к дырке в театральном занавесе. Взор ее, безразличный ко всем знаменитостям, сидевшим в зале, к строгим лицам стариков из первых рядов партера, ко всей этой бурлящей публике, заранее воспламененной ею, упорно искал сузившимся зрачком лишь один силуэт — силуэт, который должен был появиться за сеткой темной маленькой ложи.

В эти последние мгновения перед началом спектакля, продолжая пристально всматриваться в темный четырехугольник и убедившись в том, что ложа обитаема, она вдруг почувствовала какую-то приятную истому, какую-то слабость, как перед началом обморока, и ухватилась мизинцем за дырочку в занавесе, чтобы не упасть.

И когда, начиная сцену, актриса произнесла первые слова роли:

Энона, погоди! Помедлим здесь мгновенье,
И тело и душа мои в изнеможенье...—

все движения ее томящегося любовью тела, мягкие, проникновенные интонации голоса сразу отозвались в сердце всех влюбленных, сидевших в зрительном зале, заставляя их взором искать друг друга. Строки Расина уже не рассказывали публике о любви жены Тезея, они говорили Уильяму о любви Жюльетты. Под сенью лесов Греции она рассказывала ему о тенистых лесах Шотландии. И все ее дышавшие любовью слова были так явно обращены в сторону маленькой неосвещенной ложи, что головы зрителей ежеминутно оборачивались из партера, наклонялись с балкона, ревниво впиваясь взглядом в темный угол, где сидел никому не известный человек, чье лицо было трудно различить.

После первого акта Уильям зашел в уборную актрисы, чтобы ее поздравить, но она попросила его уйти.

— Не приходите больше,— сказала она,— я не хочу видеть вас среди этой равнодушной толпы... Ждите меня в моей карете после спектакля.

Во втором акте, во время любовного признания, актрисе, охваченной пламенем собственной страсти, на секунду изменил голос, но публика заметила в замирающем шепоте Фостен лишь волнение души, изнемогающей от глубокого чувства, и, быть может, никогда еще знаменитая тирада не производила на зрителей такого сильного впечатления.

Во время этого акта и всех последующих Жюльетта продолжала обращать слова своей роли к одному Уильяму. К нему относились все оттенки, все интонации бессмертного признания в любви и страсти. К нему устремлялись порывы восторга и нежности переполненной души. К нему была направлена горделивая радость актрисы, удовлетворенной удачей какой-нибудь строфы, вырвавшейся из глубины ее влюбленного сердца.

Криков «браво», аплодисментов, неистовства взволнованной залы, потрясенной правдивым изображением истинной страсти, Фостен не слышала, не видела, не замечала. Она целиком принадлежала одному человеку, и для нее не существовали ни оркестр, ни ложи первого яруса, ни галерея, ни амфитеатр, ни партер. Она видела две руки в белых перчатках на полуспущенной решетке маленькой ложи, и ничего больше.

Фостен сдержала обещание, данное лорду Эннендейлу: она играла для него, для него одного, доставляя самолюбию своего возлюбленного величайшее удовлетворение, какое может дать мужчине любовь актрисы, с нежностью приносящей ему в дар

свой талант в присутствии двух тысяч человек, перед которыми она играла, но которых для нее словно и не было в зале.

Спектакль продолжался в атмосфере все возрастающего восхищения зрителей, а также среди удивления и даже изумления тех, кто был на премьере. Это была уже не та Федра, которую они видели два дня назад,— неукротимо чувственная Федра Еврипида. Сегодня это была Федра Расина, Федра, изнемогающая от любви и воркующая, как раненая голубка,— Федра учтивого двора, наследника древних цивилизаций.

XXIII

— Раво, домой... и не торопись! — бросила кучеру Фостен.

Она села рядом с Уильямом, и казалось, даже ее шелковое платье прошуршало о том, что эта женщина счастлива. Полные своим блаженством, они молчали. Они упивались тем ленивым сладострастием, которое обволакивает влюбленную чету в узкой карете, тем нежным и вкрадчивым волнением, которое струится от одного к другому, тем мягким и магнетическим проникновением одного тела в другое тело, одной души в другую душу, которое неизбежно в этой атмосфере безмолвного томления и горячей близости, возникающей от прикосновения женского платья, женской теплоты к сидящему рядом мужчине. Это какая-то особая интимность — и физическая и духовная,— интимность, расцветающая в полумраке, где беглые отблески уличных фонарей, проникая сквозь окошечки кареты, как бы заигрывают с женщиной, словно оспаривая у чудесной, возбуждающей темноты то щеку ее, то лоб, то какую-нибудь мелочь туалета, и на мгновение показывают вам таинственное лицо и глаза цвета фиалки. А покачиванье экипажа, убаюкивая тело и мысль, при каждом толчке заставляет женскую головку доверчиво склоняться на подставленное плечо. Без единого слова о любви влюбленные медленно ехали, подчиняясь неторопливому бегу лошадей. Уильям держал в руках руку Жюльетты, машинально перебирая ее тонкие, отвечавшие на ласку пальцы, гладя ее нежную, гладкую, чуть влажную кожу, ее теплую мягкую ладонь, и ему казалось, что в него незаметно переливается частица жизни любимой женщины.

XXIV

Дойдя до второго этажа особняка на улице Годо-де-Моруа, Уильям остановился, но актриса сказала ему:

— Выше, друг мой, сегодня мы будем ужинать в «каюте».

Актриса Фостен

— А как же быть с гостями, которых сударыня сама пригласила на сегодняшний вечер? — с отчаяньем вскричала Генего, стоя в полуотворенных дверях столовой.

— Пусть ужинают без меня!.. Скажи им, что я уехала в Гавр... что мне захотелось посмотреть на бурю, которая ожидается сегодня ночью.

Ведя возлюбленного за собой, Фостен поднялась на последний этаж, и они вошли в комнату, где паркет, обшивка стен и плафон были сделаны из полированной ели и где стояла узкая девичья кровать с пологом из белого муслина.

— Вот мой уголок. Здесь я могу спокойно разучивать роли, работать над ними... а на этой кровати спит одна моя подруга, когда приезжает из провинции навестить меня.

Перед камином, где пылал яркий огонь, стояли на маленьком столике креветки, холодная куропатка, корзинка винограда из Фонтенебло, два граната и бутылка шампанского — ужин студента и гризетки.

— Но ведь я так и не успел еще сказать вам, что сегодня вы были величайшей актрисой мира! — воскликнул Уильям.

— Сегодня мы будем говорить только о нашей любви,— возразила Фостен.— Однако подождите минутку...— прибавила она и скрылась за дверью.

Уильям присел у камина, разглядывая комнатку, где в начинавшем согреваться воздухе стоял здоровый запах смолы, и вид кровати с белым пологом, этой невинной кровати, принес ему чувство радости и облегчения: стало быть, это не та комната, где Фостен отдается ласкам своего покровителя.

Через несколько минут Фостен явилась в пеньюаре и кружевной косынке, которые лорд Эннендейл тотчас узнал: Жюльетта носила их в Шотландии, в те лунные ночи, когда, сидя на террасе его замка, они подолгу созерцали белых павлинов.

— Да, я сберегла это! — сказала Фостен, отстраняясь от протянутых рук Уильяма, хотевшего заключить ее в объятия.— Потом,— добавила она,— будьте благоразумны... сейчас я угощу вас ужином, милорд.

Чета влюбленных уселась за маленький столик и без помощи прислуги принялась за еду. Касанья рук, передающих друг другу блюда, шутливые словечки, рожденные ничем не стесняемым чувством, жизнерадостность — неизменный спутник таких вот импровизированных трапез, живость и непосредственность волнующего свидания наедине в этой своеобразной мансарде — все напоминало веселые ужины времен первых увлечений юности.

Оба ели, глядя друг на друга и улыбаясь друг другу.

Время от времени Фостен вдруг опускала поднесенную ко рту вилку и после минутного созерцания, напоминавшего благоговейный восторг, какой мы видим иногда в глазах людей, изображенных на картине, шептала, глубоко вздыхая, почти как мужчина, любующийся женщиной:

— Как вы прекрасны, мой прекрасный лорд!

И Фостен говорила правду,— молодой лорд Эннендейл действительно был прекрасен! Прекрасна была задумчивая нежность его голубых глаз, прекрасны его шелковистые вьющиеся волосы и бородка, прекрасна светлая кожа того прозрачного оттенка, какой бывает у одних только англичан, прекрасна высокая стройная фигура,— и весь он, тонкий, но сильный, был прекрасен аристократической красотой прекрасных белокурых рас.

И как забавны, как очаровательны были замешательство, неловкость, счастливое смущение мужчины, принимающего поклонение женщины — той женщины, которой час назад аплодировал весь Париж.

И влюбленный иностранец был нем, не находил фраз, не находил слов, чтобы ответить на изящные комплименты и нежные излияния, расцвечивавшие яркими красками глубокую сущность этой красивой, чисто французской любви.

Когда ужин был кончен и Уильяму не сразу удалось зажечь папиросу, Жюльетта отняла ее, зажгла, затянулась сама и лишь тогда поднесла к его губам.

— А теперь, мой прекрасный лорд, ваши приключения, все ваши приключения с того дня, как мы расстались.

И Уильям рассказал, что отец, встревоженный его любовью к ней, вынудил его оставить службу в бельгийском посольстве и добился для него места личного секретаря вице-короля Индии, причем все это было проделано очень быстро, в течение нескольких недель, благодаря той власти, какую в аристократических семьях Англии все еще имеет отец над сыном. Он, Уильям, написал своей Жюльетте, но преданный отцу слуга перехватил письмо. Тогда он уехал в отчаянии и провел в Индии несколько лет, показавшихся ему целой вечностью.

— А черный тигр?

— Откуда вы узнали? Ну, это была незначительная рана, большая царапина — и только... газеты все преувеличили.

— Покажите мне это место — я хочу его видеть!

И Жюльетта, просунув пальцы в рукав его рубашки, стала ощупывать его руку.

— Какой вы еще ребенок!

И лорд Эннендейл продолжал свой рассказ:

— Через три года мне сообщили телеграммой, что отец умер... Я вернулся в Англию... и нашел все ваши письма, запечатанные в пакет для передачи мне. Это случилось как раз тогда, когда все газеты полны были сообщениями о вашем предстоящем дебюте во Французской Комедии. Однако дела, связанные с получением наследства, задержали меня в Англии... и я смог быть в Париже лишь на другой день после премьеры.

Тогда женщина опустилась на ковер у его ног и, положив руки на его колени, спросила, глядя ему прямо в глаза:

— Ну, а женщины?.. Тамошние женщины? Я хочу, чтобы вы рассказали мне о них!

— Ах, баядерки! — произнес лорд Эннендейл тоном иронического восхищения.— Что же, все очень мило в этих миниатюрных созданиях — их лукавые детские мордочки и топот их босых ножек, прозрачные кофты из цветного газа и шелковые шальвары, руки, унизанные кольцами и маленькими зеркальцами, золотисто-смуглые лбы и носы, в которых звенят позолоченные украшения...

— Да, да, но, несмотря на их носы, мой прекрасный лорд, я уверена, что вы много любили в этой стране.

— Любил? Нет, Жюльетта,— просто ответил англичанин.— Я любил там только ваш портрет... хотя и думал, что забыт вами.

Жюльетта стремительно поднялась с ковра, упала на колени подхватившего ее Уильяма, притянула к своим губам губы любовника и, порывисто целуя его, проговорила:

— Пойдем!

И, мгновенно раздевшись, разбросав по комнате одежду, женщина была уже в постели; опершись головой на руку, она улыбалась, предвкушая наслаждения ночи, и ее полуоткрытый рот был похож на розовый цветок с влажной тенью, таящейся в глубине.

.

Всю ночь любовники пылали и томились, сжимая и разжимая свои объятия, смешивая дыхание в поцелуях и вздохах, замирая, переходя от счастливого возбуждения к столь же счастливому изнеможению.

.

Страсть, словно электричество, излучалась из трепещущего тела женщины; любовное пламя, как молния, проникало в самую глубину существа мужчины, лежавшего в ее объятиях.

И в чувственных порывах ее любви наивная нежность молодой девушки сочеталась со смелыми ласками куртизанки, сдержанность — с бесстыдством.

Минутами, среди блаженного лепета, сопутствующего наслаждению, к ней вдруг возвращалось далекое детство, и из ее стиснутых зубов вырывалось слово *«мама»* — слово, которое раздается из уст женщин и тогда, когда их убивают.

. .

По временам, словно напуганная какой-то мыслью, притаившейся в глубине ее мозга, она вдруг судорожно сжимала Уильяма в объятиях, прикрывая его своим телом и как бы защищая от чего-то.

. .

И бесконечные поцелуи, поцелуи и снова поцелуи.

До самого утра продолжалось это слияние двух тел, как бы растворившихся в одной длительной ласке... Лицо Жюльетты, преображенное экстазом, минутами казалось мертвым, а кончик языка в ее пылающем рту был холоден как лед.

. .

И каминные часы, на которые Фостен, раздеваясь, бросила свою кружевную косынку, приглушенно отбивали под кружевным покровом сладострастные минуты этой ночи.

XXV

Сидя за тем же столиком, за которым они ужинали накануне, любовники завтракали, когда вошла Генего и положила перед Фостен письмо со штемпелем одного из пригородов Парижа.

Фостен распечатала письмо, прочитала, глаза ее широко раскрылись.

— Наконец-то я могу быть спокойна! — вскричала она и торжественным жестом передала письмо Уильяму.

Вот это письмо:

«Вечер. Станция Вирофле.

Жюльетта!

Убить лорда Эннендейла не значило бы вернуть Вас — не так ли? Так вот — раз для меня больше нет Жюльетты, я убиваю себя! Но я не желал бы, чтобы тень от скандала, связанного с моей смертью, могла упасть на Вас, и, когда Вы получите это письмо, меня уже не станет: я буду перерезан пополам колесами встречного поезда при падении из вагона. Не тревожьтесь,

я досконально изучил вопрос на месте, а Вы ведь знаете, что я *практический* человек. Итак, процедура будет проделана весьма искусно, и моя смерть покажется всем вполне естественной,— никому и в голову не придет, что она может иметь к Вам хоть какое-то отношение. Не бойтесь, Жюльетта, я не собираюсь упрекать Вас! У меня было детство бедняка, молодость некрасивого, посредственного человека, и в преисподней будничных дел единственными годами, теми годами, после которых я уже не могу жить, не видя Вас, я обязан Вам, и я благодарю Вас за них. За всю свою жизнь я любил только Вас, Вас одну, да еще мою бедную собаку, которая Вас обожала и которую Вы охотно ласкали. Вы чересчур горды, чтобы принять от меня в наследство что бы то ни было, но Вы не откажетесь взять к себе Дика, и через несколько минут, умирая, я буду с радостью думать, что, когда меня не станет, собака, которую мы оба любили, будет иногда лежать у Вас на коленях.

Прощайте. *Бланшерон».*

Прочитав письмо самоубийцы, Уильям взглянул в лицо Фостен, и ему стало почти страшно, когда он понял, какие неглубокие корни оставляет в сердце вновь полюбившей женщины старая любовь.

— Этот человек по-настоящему любил вас, Жюльетта! — с растроганной ноткой в голосе произнес лорд Эннендейл.— Надо послать за его собакой.

XXVI

Спустя несколько дней лорд Эннендейл и Фостен, предшествуемые привратником, осматривали большой, предназначенный к продаже особняк на улице Фобур Сент-Оноре.

Молодой лорд шел по анфиладе парадных апартаментов, почти не глядя на них, и, казалось, был всецело погружен в свои мысли, уделяя предметам внешнего мира, как это подобает англичанину, лишь рассеянное внимание скучающего человека. И объяснения привратника по поводу высоты потолков, достоинства стенной живописи, изящества лепных украшений вызывали у посетителя лишь легкое движение век.

Перешли к осмотру второго этажа. Ставни были закрыты. Когда привратник распахнул одну из них, с ветки высокого дерева, росшего совсем близко от окна, взметнулся кверху испуганный щебет.

— Bird [1],— произнес лорд Эннендейл, подняв палец, и лицо его приняло удивленное и вместе с тем обрадованное выражение.

Затем англичанин снова впал в свое флегматичное бесстрастие, и осмотр продолжался при все возрастающем унынии привратника.

Спускаясь вниз, бедняга все же решился сказать:

— Прошу прощения, я забыл показать господам вот это помещение.

И он провел их в маленькую комнатку, где стояла большая мраморная ванна; мрамор, правда, был самый обыкновенный.

— Bath [2],— произнес лорд Эннендейл, по-видимому, приятно удивленный этой неожиданной и счастливой находкой. И несколько мгновений он стоял, скрестив руки, с улыбкой разглядывая ванну.

Подняв глаза, он увидел, что Фостен уже в коридоре; она шла быстро, словно убегая от него, и спина ее как-то странно вздрагивала.

Он догнал ее, слегка обеспокоенный:

— Что такое, Жюльетта? Что с вами?

Прижав к губам платок и еле удерживаясь от приступа безумного смеха, она пробормотала, резко отстраняясь:

— Не говорите со мной... После...

Оставалось осмотреть конюшни. Привратник, ободренный благоприятным впечатлением, произведенным на посетителя ванной, уже раскрыл было рот, чтобы назвать количество boxes [3] и т. д. и т. д., но не смог выговорить ни слова, заметив глубокое презрение, выразившееся вдруг на лице английского лорда. Принц Конде, для которого были построены конюшни в Шантильи, мог бы, пожалуй, бросить на конюшню какого-нибудь буржуа своего времени такой же взгляд, какой бросил на показываемую ему конюшню лорд Эннендейл. Англичанин лишь заглянул в нее мимоходом и, кинув беглый взор направо, налево, исчез, оставив привратника, мявшего в руке фуражку, совершенно опешомленным оригинальностью этого визита.

— Ах, дорогой мой, позвольте же мне наконец посмеяться вдоволь,— сказала Фостен в карете, чуть посторонившись, чтобы дать место любовнику.— Нет, это свыше моих сил, я, кажется, заболею... «Bird!» — И она повторила жест, который сделал лорд Эннендейл при виде вспорхнувшей птицы.— «Bath!» Да

[1] Птица *(англ.)*.
[2] Ванна *(англ.)*.
[3] Стойл *(англ.)*.

ведь только эти два слова вы и произнесли за все время, что были в доме... Ах, до чего же вы были забавны... Подумать только, что из всего, что вы там видели, ваше внимание привлекли только эти две вещи!.. Так вы, значит, собираетесь купить этот дом ради птицы и ванны, да?

Снова потеряв обретенную на миг серьезность, актриса откинулась в глубь кареты: все лицо ее, обрамленное очаровательной круглой шляпкой, настоящей радугой из павлиньих перьев, дышало смехом, веселым, неудержимым смехом школьницы.

Ее возлюбленный, вначале несколько смущенный, через несколько минут уже смеялся вместе с нею, а потом сказал вполне добродушно:

— Вы правы, дорогая, англичанин во мне опять сказался там чересчур сильно... Что делать!.. К тому же вы не знаете,— ведь когда мы покупаем дом для жилья, пусть даже в городе,— мы не можем себе представить, чтобы рядом не было деревьев, не было зелени, а эта птица вдруг сказала мне, что все это там есть... Что же касается ванны, то все мы, англичане, помешаны на мытье, на купанье... только я, пожалуй, слишком явно выразил свое удивление, увидев ванну во французском доме... Впрочем, сейчас дело уже не в ванне и не в птице... кстати, и вы перестали смеяться... скажите, вы согласились бы жить в этом доме?

— Отчего же?.. Я была бы чересчур привередлива, если б... ведь это один из красивейших особняков Парижа.

— Мне тоже кажется, что он... вполне приличен... но я... я хочу купить его главным образом потому, что там большой участок и можно расширить конюшни. И потом... мне нравится то, что... видите ли, я хочу, чтобы у меня был внутренний привратник, как в Лондоне... А там есть большая веранда... ее можно будет остеклить и сделать привратницкую... Стало быть, особняк вам нравится и вы готовы переехать в него хоть завтра?

— Завтра!.. Ну, знаете, во Франции при покупке домов существуют известные формальности, которые требуют времени.

— Особняк этот сдается или продается — не так ли?... А я сниму его и потом куплю... Мой поверенный уладит все это.

XXVII

Не прошло и месяца, а чета влюбленных уже как будто долгие годы жила в особняке, который был реставрирован, переделан, переоборудован в соответствии с привычками жителя

Лондона и населен многочисленной прислугой — неизменным атрибутом дома, поставленного на английский лад.

На только что сооруженной закрытой веранде находился «внутренний привратник», чьей единственной обязанностью было нажимать на кнопки звонков, проведенных в компаты для прислуги, в кухню, в вестибюль.

В прихожей, за маленьким столом, на котором стояли чернильница и серебряный поднос для писем, постоянно находился footman — ливрейный лакей. Волосы у него были не напудрены, как у кучеров, а побелены испанскими белилами, и сидел он в огромном кресле с высокой спинкой и особыми боковыми подпорками для головы, в кресле, ведущем свое происхождение от тех времен, когда слуга долгими часами ждал возвращения своего господина из ночных заседаний палаты лордов. А на подзеркальном столике, среди блестящих щеток, всегда лежала шляпа хозяина дома, сияя своей белоснежной подкладкой, рядом с тросточкой и парой уличных перчаток, растянутых, расправленных, похожих на слепок с рук мертвеца.

Рядом с прихожей была parlour — приемная, строгая комната с голыми стенами для приема людей, почитавшихся неравными владельцу особняка: поставщиков, маклеров, врачей, ветеринаров.

Для прислуживания за столом существовал целый полк челяди (причем у каждого слуги были определенные обязанности), состоявший в распоряжении butler'a — дворецкого, хранителя ключей от винного погреба, своего рода метрдотеля, который был занят лишь тем, что отдавал приказания, и который не носил ливреи.

Был также управляющий, который вел все денежные расчеты с прислугой,— нечто вроде секретаря.

Был личный камердинер, самый устойчивый служитель в доме, тот, кого сменяют лишь в результате крупных домашних переворотов, слуга, говорящий на двух или трех языках — непременно по-итальянски и по-немецки, реже по-французски,— человек, который выполняет интимные поручения, несет службу парочного во время путешествий и справляется о наличии tub [1] в отелях, где господам предстоит остановиться.

Был boy — шестнадцатилетний юнец, игравший роль пажа при Жюльетте и исполнявший поручения светского характера.

---

[1] Ванны *(англ.)*.

Была целая толпа женской прислуги, подвластная домоправительнице — house-keeper, матроне в черном платье; была белошвейка и вторая горничная, заменявшая иногда Генего, и целый рой chamber-maids [1] в маленьких чепчиках-бабочках, занимавшихся уборкой комнат. А на кухне копошилось еще с полдюжины пышущих здоровьем женщин с красивыми белыми руками.

И наконец, при конюшнях, устроенных в совершенно обособленном помещении, имелся главный конюший — весьма важная персона, на которую возложена была обязанность покупать лошадей, следить за внутренней дисциплиной и которая располагала экипажем и лошадью для личных надобностей. Там был также кучер хозяина дома, который жил со своей семьей на отдельной квартире и возил только хозяина, отбывая с поднятыми стеклами, как только хозяин выходил из экипажа. Затем там был кучер хозяйки дома, который возил только хозяйку. А пониже этих трех важных особ толпилась чернь — великое множество конюхов в шотландских шапочках и куртках с люстриновыми рукавами, вечно что-то насвистывавших и невидимых для всего населения дома, начиная от милорда и кончая самым незначительным из его слуг.

Привратник был выбран из числа мужчин самого высокого роста.

Footman для прихожей был выбран из числа самых красивых молодых людей.

Главный конюший был выбран из числа двупогих с самыми кривыми ногами.

Словом, то была целая корпорация прислуги, причем каждый имел в ней свое определенное место и свое дело, подобно набивальщику трубок в Индии, и в каждом было нечто от нерассуждающего и сурового жреца какого-то полного обрядностей религиозного культа — культа, где перемена рюмок и тарелок за столом совершалась с торжественностью некоей мистерии. То была целая корпорация прислуги, соблюдающей все правила этикета и несущей свою службу в безмолвии, с сосредоточенной важностью и холодной величественностью, какою была окружена при отходе ко сну Людовика XIV церемония подавания королевской рубашки.

Переход от непритязательных привычек ее прежнего круга к этой аристократической пышности не ослепил Фостен и не принес ей ни восторгов удовлетворенного тщеславия, ни даже

[1] Горничных *(англ.)*.

особенной радости. Будучи актрисой, она привыкла к нарисованным дворцам театральных постановок, а кроме того, она была немного сродни парижскому гамену, склонному скорее подтрунивать над дарами фортуны, нежели удивляться им. Итак, Фостен только развлекалась всем этим, как чудесной переменой декорации, как веселой новинкой, как каким-то шуточным переворотом. И часто повторяла, что живет среди очень забавной «китайщины».

XXVIII

И вот влюбленная пара начала афишировать свою любовь, немного рисуясь и гордясь ею, на скачках и в Булонском лесу,— появляясь там в роскошных экипажах, показываясь в первых рядах на всех премьерах, посещая балы, благотворительные концерты и дорогие рестораны, упиваясь своим нескромным счастьем в атмосфере шумного и жадного любопытства, которая всегда создается вокруг счастливых любовников, озаренных блеском богатства.

Но все это было чисто внешней, показной стороной их любви, и жизнь их становилась жизнью двух отшельников, едва они возвращались к себе домой. В Лондоне мужчина, имеющий незаконную связь, никого не принимает у своей любовницы и никогда не показывается с ней в обществе. Во Франции, превратившись в «жителя материка», этот мужчина отваживается выезжать с любимой женщиной, но, оставаясь верен обычаям своей родины, старается не принимать друзей или родных в доме, не являющемся супружеским очагом. Итак, лорд Эннендейл никого не принимал, и вся многочисленная прислуга особняка вращалась в огромном и пустом пространстве столовой вокруг одной-единственной пары, сидевшей за столом. И дверь особняка открывалась лишь после завтрака, в тот час, когда хозяин дома в Англии обычно водит гостей по своим конюшням и когда любовник Фостен не мог устоять против желания показать своим соотечественникам английских лошадей и немного позлословить насчет лошадей французских — этих лошадей, «вечно встающих на дыбы».

XXIX

Так с утра до вечера длилось это уединение мужчины и женщины, не прекращавшееся даже и на улице, среди толпы,— настолько глубоко были они поглощены друг другом. И в этом

уединении влюбленная женщина не знала ни минуты скуки, а мужчина-чужестранец был все время опьянен обаянием, исходившим от тела и души знаменитой парижской куртизанки — источника самого совершенного любовного наслаждения, какое есть на земле.

XXX

Фостен была среднего роста, скорее маленькая, чем высокая, и все ее миниатюрное существо дышало изяществом, благодаря тонким и удлиненным линиям гибкой фигурки, могущей на первый взгляд показаться худою. У нее была та *ложная худоба,* при которой женские груди могли, как говорилось в XVIII веке, «заполнить обе ладони порядочного мужчины»; бедра тоже были у нее как у полной женщины, а все остальные формы сохранили юношескую грациозность девочки. У нее была одна прелестная особенность, ныне уже исчезающая,— красивые покатые плечи,— и когда она бывала декольтирована, то в пленительном изгибе спины виднелись у начала плеч две маленькие ямочки, которые как будто смеялись. Ее кожа, какой-то одухотворенной бледности, почти неуловимо розовела на лице, а на груди, на руках переходила в ту матовую белизну, какая бывает иногда у брюнеток с белой кожей,— в теплую и бескровную белизну, которую изобразил Тициан, когда писал грудь своей возлюбленной. При этом — темно-каштановые волосы, вьющиеся на висках, где виднелись голубые жилки, выпуклый, сияющий мыслью лоб, маленький умный носик, в котором не было ничего трагического, рот с насмешливо приподнятыми уголками, рот нежный и иронический, иногда остававшийся полуоткрытым в застывшей улыбке статуи... черты не совсем правильные, очень современные, чисто парижские, но выражение лица живое, вечно меняющееся, и неотразимое обаяние глаз...

Глаза у Фостен были серые или, вернее сказать, какого-то неопределенного оттенка, глаза цвета морской волны, меняющейся в зависимости от того, что отражается в ней — темное облако или луч света,— глаза, одновременно темные и светлые, глаза, которые казались черными и почти злыми, когда женщина бывала не в духе, и которые радость, сочувствие, любовь делали очень нежными и совсем голубыми.

Такой вот взгляд был у Фостен! И во всем ее существе, при самой благородной осанке, при полной гармонии жестов, всегда вибрировало какое-то затаенное движение, то движение, которое хранит даже в минуты покоя тело канатных плясуний.

XXXI

Но главное очарование этой женщины заключалось в своеобразии ее натуры. Она нравилась, она восхищала неожиданными проявлениями своей женственности. От соприкосновения с вещами и с людьми она получала какие-то особые, свои собственные впечатления и реагировала на них необычно, оригинально, не так, как другие женщины. Она видела, чувствовала, любила как-то совершенно по-своему. В сущности говоря, женщины, родившиеся и получившие воспитание в буржуазной среде,— все до одной, от мала до велика,— совершенно одинаковы, и чувства их как будто сфабрикованы по одному образцу. Отзываясь на внешние события, благовоспитанная или почти благовоспитанная женщина выказывает отвращение, пылкую радость, сочувствие, даже впадает в истерику так, словно действует по программе, составленной для ее класса на все случаи жизни, и притом в установленных рамках и границах, которых она никогда не переступит. У всех таких женщин любое душевное движение является движением вторичным, исправленным, приглаженным, благопристойным, и, если не считать легких оттенков различия, являющихся результатом особого темперамента или исключительной нервозности, все протекает у них совершенно одинаково под деспотическим давлением законов «приличия», приглушающих и стирающих индивидуальность. У всех этих женщин, даже у самых неглупых, существуют наперед сложившиеся представления обо всем на свете — представления, созданные по готовым шаблонам, по сборникам прописных истин, по готовому катехизису «порядочных» людей. Они не смеют выпустить наружу то, что возмущается, кипит, бурлит в их мозгу и что могло бы показаться странным, противоестественным, эксцентричным,— словом, отличающимся от понятий их подруг. И вот, обезличенные воспитанием, исковерканные при формировании изначальных своих ощущений и мыслей, эти женщины безнадежно однообразны и не приносят пресыщенным богачам одряхлевших цивилизаций — своим мужьям и любовникам — ничего такого, что могло бы вывести их из апатии, развлечь, встряхнуть, взбудоражить. И в этом — объяснение связей многих мужчин из высших слоев общества с женщинами из слоев низших.

У Фостен, напротив, была та острота, то sui generis [1], какие свойственны женщинам из народа,— а она все еще оставалась

[1] Своеобразие *(лат.)*.

именно такой женщиной, продолжая любить его простую и грубую пищу, с восторгом толкаясь среди огней фейерверка в самой гуще народных гуляний и ярмарок парижских предместий. Благодаря ее происхождению в ней сохранилась свежесть душевных порывов, непосредственность восприятия, естественность, живость, огонек — жизнерадостность бедняка, не растерявшего всех этих качеств и среди благоденствия. В ней чувствовалось учащенное биение пульса жизни, деятельной, бурлящей, озорной,— жизни, ритм которой обусловливался не болезненным, искусственным возбуждением светских дам, а стремительным бегом горячей и еще очень юной крови, жизни, такой живой, что уже одно соприкосновение с ней опьяняло, делало людей разговорчивыми, красноречивыми, остроумными.

И если у нее, как у всех женщин, иногда расстраивались нервы, то такие припадки протекали даже более бурно, чем у других, зато проходили быстро и всегда кончались какой-нибудь шалостью.

Однако, будучи женщиной, вышедшей из народа, и сохранив некоторые простонародные черты, Фостен в то же время была существом избранным, наделенным истинным благородством, и неожиданно обнаруживала то высшее, незаученное изящество души и тела, которое приобретается неизвестно как, с помощью интуиции, и не всегда присуще даже прирожденным аристократам. От мальчишеской выходки она переходила к мягкому смеху, от грубого окрика — к ласковой, всегда оригинальной шутке, от чрезмерной живости — к самому изысканному тону, искупая вольное словечко или какую-нибудь *плебейскую* прихоть своей грацией, утонченностью, своеобразной прелестью; и если уж ей приходила фантазия, как в тот раз у сестры, выпить лакричной водки, то она пила ее из бокала венецианского хрусталя, раскрывая во все часы дня и ночи натуру сложную, многогранную, становясь попеременно то герцогиней, то гризеткой.

С ней постоянно происходили какие-то перемены, внезапные превращения, метаморфозы, и эта женщина, то и дело преображаясь, всегда вызывала любовь и всегда казалась новой. Шалости, чудачества, проявления чувствительности там, где их вовсе не ждали, умение остроумно высмеять самое себя, необычайная изобретательность и тонкость во всем, что касалось любви, собственные, ни у кого не заимствованные мысли, новые, незатасканные слова, молниеносная смена ощущений, выражаемых напрямик, без утайки... И все это сочеталось у Фостен с невежеством маленькой девочки, невежеством, в котором она

сознавалась с таким очаровательным простодушием, что хотелось ее расцеловать.

Так, однажды, когда Фостен писала письмо директору театра, а Уильям, читая через ее плечо и заметив две-три орфографические ошибки, предложил ей переписать письмо, актриса ответила с обворожительным упрямством:

— Нет, пошлю как есть. Так будет более натурально!

Но эта самая женщина, писавшая так плохо, писавшая как женщина минувшего столетия, божественно выражала свои мысли, и никто в мире не умел так обворожить людей, так завладеть ими и поработить, как это делала она, благодаря ее очаровательной общительности и другому, еще более могучему обаянию, исходившему от всего ее прелестного существа.

XXXII

В общении с мужчинами у Фостен был, кроме того, особый дар обольщения: обладая редким тактом артистической женской натуры, она умела открыть у мужчины, близко соприкасавшегося с нею, какое-нибудь достоинство, какую-нибудь привлекательную, только ему присущую черточку, о которой очень часто не знал и сам ее обладатель и за открытие которой он оставался навсегда признателен ей, словно это она наделила его этим достоинством или этой привлекательной чертой. В самом деле, благодаря тонкости своего восприятия, она тотчас подмечала в человеке то скрытое качество, ту редкую особенность, ту таящуюся в глубине его души красоту, те незаметные, но пленительные мелочи, которые и являются подчас тайными возбудителями любви. Вибрация голоса, прелесть улыбки, красивая форма руки или головы — все это вдруг оживало под проницательным взором подруги или возлюбленной. И, открыв какое-нибудь привлекательное свойство души или тела у тех, кого она любила, Фостен воодушевлялась, разгоралась, приходя в восторг, словно перед картиной или статуей, и выражая свое восхищение в коротких волнующих фразах, ласковым, проникающим в душу голосом — голосом женщины, которая даже и в пылу азарта не скажет, однако, ничего абсурдного и приятно щекочет мужское тщеславие. И в своем увлечении всем изящным — пусть даже оно проявлялось в самых незначительных деталях — она подчас доходила до того, что способна была, разгорячившись, начать уверять человека, отлично приготовившего салат с трюфелями, в том, что он необыкновенное, гениальное существо.

Эта милая лесть, расточаемая Жюльеттой Фостен мужчинам, имела над ними такую власть потому, что ее восхищение всегда было искренним, неподдельным, что в нем не чувствовалось ни преднамеренности, ни притворства, ни расчета, что оно являлось лишь непроизвольным и естественным излиянием чувств истинного ценителя всего прекрасного, изысканного, совершенного в человеческой природе — чувств, выражавшихся у этой женщины в пылких, восторженных словах.

XXXIII

Рассказывают, что в минувшем столетии некий англичанин любил французскую куртизанку и что страстная нежность этой любви заставила его однажды, чудесной летней ночью, произнести следующую прелестную фразу. «Не смотрите на нее так, моя дорогая, ведь я не могу подарить ее вам!» Его возлюбленная любовалась звездой.

В любви лорда Эннендейла было, пожалуй, нечто от страсти тех времен, а в этом взаимном увлечении, возникшем в наши дни, как будто оживали чувства любовников XVIII века и пылкая преданность лорда Эльбермейла околдовавшей его Лолотте.

И в тишине огромного особняка, среди благоухающего умирания цветов, которые, отмечая неприметный бег времени, мягко роняли свои лепестки на мрамор консолей, любовники сидели рядом, рука в руке, проводя так в блаженном far niente [1] долгие часы, наполненные радостными мелочами взаимного обожания,— часы, когда трудно даже говорить.

Нежные пожатия рук, ленивые улыбки, спокойное сладострастие сердца, безмолвное счастье... И когда после долгих пауз признательность мужчины, не знавшая, как излиться, поднималась от сердца к устам, он спрашивал, словно умоляя:

— Вы ничего не желаете, Жюльетта?

— Нет.

И снова наступало молчание, цветы пахли сильнее, объятия становились крепче, еще бо́льшая томность разливалась в улыбках и взглядах. И после новой длительной паузы опять раздавался вопрос, выраженный другими словами, но все тот же:

— Вам ничего не хочется, Жюльетта?

— Нет.

И эти два вопроса мужчины и два «нет» женщины составляли весь диалог влюбленных.

---

[1] Ничегонеделанье *(итал.)*.

XXXIV

Любовь англичан не болтлива, не разговорчива, не красноречива; она не изливается в потоке нежных фраз и ласкательных прозвищ. Пуританство изгнало из английского языка изящные строфы Ромео и Джульетты, нежную любовную фразеологию веков католицизма, и теперь у протестанта-англосакса существует для выражения его «любовного пламени» либо тот язык, на котором он говорит с проститутками Стренда и грубость которого превосходит своим цинизмом грязные выражения всех других народов мира, либо язык в стиле Теннисона, полумистический, полумещанский, припрятанный для безрадостной любви британского домашнего очага. У англичанина нет любовного словаря, и, встречая этот словарь у французов, он, вследствие своего сурового воспитания и привычки к мужественной сдержанности речи, находит в его терминах, словах, выражениях что-то не мужское, ребяческое, что-то от «трубадура». А свифтовская ирония, всегда таящаяся на дне души англичанина, заставляет его внутренне подсмеиваться над этой «сладкой риторикой» и даже презирать народ, у которого она в ходу.

У англичанина вообще существует отвращение к ненужному многословию, и какая-то стыдливая сдержанность — достойная, впрочем, всяческого уважения — мешает ему выражать свою любовь с помощью громких фраз.

В своих отношениях с француженкой-куртизанкой он более замкнут, чем француз, менее откровенен, не делится с любовницей ни мыслями своими, ни чувствами, не впускает ее в свой внутренний мир и остается одиноким, холодным наблюдателем своего «я».

Но англичанин искупает эту молчаливость, этот недостаток откровенности своей глубокой почтительностью и трогательно-наивным восхищением, своей покорностью — покорностью юноши, любящего впервые, и старомодной учтивостью, какую проявляли знатные господа минувших веков к женщинам свободных нравов,— словом, всеми теми мелочами, которые втайне льстят самолюбию куртизанки, ставя ее на одну доску с другими женщинами. Так, например, Фостен питала к лорду Эннендейлу особую, безграничную признательность хотя бы только за то, что он никогда не говорил ей «ты» в присутствии посторонних, словно и она принадлежала к высшему свету, где муж и жена считают «ты» языком спальни.

Однако англичанин, который даже в разгаре своего чувства к женщине, не являющейся его законной женой, всегда испыты-

Антриса Фостен

вает легкое презрение к ней и почти никогда не умеет его скрыть, совершенно иначе — и это чисто английская черта — относится к женщинам, находящимся в положении Фостен. Знаменитые танцовщицы, знаменитые певицы, знаменитые актрисы комедии или драмы почитаются английской знатью существами высшей породы, представительницами женского пола, стоящими над миром продажной любви и вне его. На них смотрят в обществе как на леди и принимают в замках со всей пышностью и парадностью английского этикета, принимают так, как был бы принят у них какой-нибудь герцог Йоркский. Поэтому страсть к этим женщинам приобретает у тамошних мужчин совершенно особый характер. Это какой-то культ, почти обожествление, любовь плотская, но вместе с тем идеальная, это чувственно-сентиментальная связь, протекающая в бесконечном целовании руки и любовных пантомимах, напоминающих па менуэта.

Но так как англичанин, под маской холодности и рассудочности, по природе своей весьма распущен, то нередко при таких вот эротически-сентиментальных связях любовник, когда ему взбредет на ум какая-нибудь похотливая фантазия, идет к проституткам, ни на секунду не считая, впрочем, что это хоть чем-нибудь задевает его, можно сказать, супружескую верность любимой женщине. И лорд Эннейдейл в этом отношении брал пример со своих соотечественников.

XXXV

Как-то вечером Фостен, будучи занята в спектакле и пользуясь довольно длинным интервалом между рассказом Терамена в пятом акте и выходом Федры, сидела в своей уборной.

В те годы уборные артистов Французского театра были чрезмерно скромны. Диван, на котором можно вытянуться и отдохнуть после трудной роли, три или четыре плохоньких кресла, несколько фотографий актрисы в имеющих успех ролях, приколотые к дешевым, по восемнадцать су за кусок, обоям, иногда гипсовый бюст, украшенный поблекшим венком из искусственных цветов, привезенным из триумфального турне по провинции,— вот обычная меблировка и убранство убогой серенькой комнаты.

Еще не пришло то время, когда уборные превратились в будуары, в музеи редкостей, в изысканные ателье, как, например, уборная мадемуазель Круазет с ее пышными стильными драпировками, уборная мадемуазель Ллойд с радующими глаз китайскими тарелками, развешанными на стенах, уборная маде-

муазель Самари с ее оригинальным плафоном из японских вееров и множество других уборных с их рококо, с их терракотами, с эскизами художников-импрессионистов и с набросками Форена.

Фостен первая начала преобразование внутреннего устройства уборных Французского театра с дружеской помощью маленького Люзи, страстного любителя и знатока предметов старины, подарившего ей чуть ли не половину изящных вещиц, украшавших теперь ее маленький салон, и купившего для нее другую половину по баснословно дешевым ценам. Для плафона он раздобыл ей как-то, во время поездки по Италии, маленького Тьеполо — эскиз огромного и сияющего апофеоза Венеции, украшающего один из тамошних дворцов и напоминающего своими красивыми пропорциями тот балдахин версальского плафона кисти Лемуана, который можно видеть в амбразуре окна Луврского музея. Что касается обивки стен, то Люзи раскопал на улице Лапп старинное жуисское полотно, вышитое аппликациями, как это делалось в былые времена, и окаймленное зубчатой рамкой. Эта обивка, единственная в своем роде, не похожая ни на какую другую, создавала впечатление, будто стены покрыты какой-то неведомой тканью, по коричневатому, кофейно-молочному фону которой растекается чуть голубоватый тон разведенного крахмала,— тканью, красиво блестевшей при свете ламп, подчеркивавших рельеф вышивки и создававших изумительный эффект. А как ласкали глаз веселые рисунки, изображавшие монументальные лестницы садов, террасы с балюстрадами, колоннады, полускрытые цветущими кустами штокроз, белых, розовых, пунцовых и желтых.

Кроме того, маленький Люзи убедил Фостен купить у Видаланка большое трехстворчатое зеркало, почти целиком занимавшее маленький салон ее уборной,— зеркало, боковые створки которого раскрывались как панно триптиха, что давало молодой женщине возможность видеть себя со всех сторон, словно в зеркальной комнатке. Это было подлинное произведение искусства из красного дерева с пластинками из позолоченной бронзы, созданное Жакобом для императрицы Жозефины.

На этот раз маленький салон был полон, и лорд Эннендейл, который в те дни, когда играла Фостен, всегда проводил весь вечер в театре — либо в зале, либо в уборной актрисы,— сидел у камина, облокотясь на мраморную доску.

Друзей набралось так много, что при появлении каждого нового лица кому-нибудь из гостей приходилось уходить, и на маленьком табурете возле кресла Фостен — табурете для фаво-

ритов,— то и дело сменялись люди, которым удавалось пробыть здесь всего лишь несколько минут. Сейчас здесь сидел дамский «профессор», вновь попавший в милость к актрисе и пытавшийся добиться у нее обещания посетить его ближайшую лекцию.

— Простенькая шляпка и шубка из выдры — вот и весь туалет,— говорил он актрисе, поднимаясь и уступая место редактору крупной газеты, который собирался организовать благотворительный концерт и пришел просить Фостен, чтобы она согласилась взять на себя продажу в одном из киосков. Редактора тотчас же сменил на табурете маленький Люзи, которого лорд Эппендейл ненавидел так сильно, как если бы тот был любовником Фостен.

В этой уборной Фостен была уже не той женщиной, какою она была на улице предместья Сент-Оноре или в любом другом месте,— женщиной, чей взгляд, улыбка, влюбленное выражение лица принадлежали только ее возлюбленному. Здесь, в этом душном уголке, в этом «чреве» театра, в ней воскресало нечто от прежней Фостен, от актрисы, понемногу кокетничающей решительно со всеми. В глазах ее зажигался вызывающий огонек, улыбка что-то обещала, обыкновенное дружеское пожатие руки казалось нежной лаской. Она внезапно становилась словно бы куртизанкой высокого полета, женщиной, которая осторожно и незаметно возбуждает желание мужчин, отвечая таким образом своему назначению, своей роли созидательницы влюбленных. Здесь, в этой уборной, Фостен вдруг расставалась со своей спокойной сдержанностью, со своей обычной серьезностью, ее грация становилась дразнящей, приветливость — лихорадочной, остроумие — вызывающим. Словом, она вдруг как бы превращалась в *доступную женщину,* что было пыткой для ее любовника, хотя он ни слова не говорил об этом.

И вдруг какой-то толстяк, пыхтящий, весь потный, ворвался в уборную. Желтые перчатки чуть не лопались по швам на его жирных руках, часовая цепочка была пропущена сквозь петлицу сюртука, длинный цветной галстук болтался на белом жилете «под Робеспьера», черные брюки с готовой отлететь блестящей металлической пуговицей обтягивали круглое брюшко. Растолкав и обратив в бегство всех остальных, этот отвратительный комедиант подошел к Фостен и крикнул ей густым басом с экспансивностью и громким смехом простолюдина:

— Ну как поживаешь? Узнаешь?

И вот старый товарищ по маленьким захудалым театрам парижских предместий завязал с актрисой дружескую, до ужаса

фамильярную беседу, в которой то и дело слышалось словечко «ты».

При одном из этих «ты» лорд Эннендейл, нервно вертевший в пальцах маленькую фарфоровую чашечку в виде оплетенной бамбуком яичной скорлупы, внезапно уронил ее.

— Ах, какой неловкий! Разбил мою прелестную чашку... ту, что я купила на аукционе мадемуазель Клерон... а я так дорожила ею!..— воскликнула Фостен, подойдя к камину и рассматривая осколки с отчаяньем ребенка при виде сломанной игрушки.

— Я куплю вам другую, моя дорогая... лучше этой,— сказал лорд Эннендейл.

— Вот они, богатые люди! Им кажется, что все можно купить!.. Да мне не надо вместо нее и золотой чашки!

И актриса начала бережно собирать черепки в полу туники Федры, подсунув под нее ладонь и сделав ямку.

— Право же, я очень зла на вас... и прошу не трогать впредь моих вещей,— сказала она полусердитым, полуогорченным тоном.

Во время этого объяснения актер упорно не уходил и даже позволил себе порекомендовать какого-то мастера, занимающегося склейкой фарфора, но тут лорд Эннендейл окинул его с ног до головы таким взглядом, что толстяк вдруг растерялся; сконфуженный, словно человек, у которого в обществе внезапно обнаружился беспорядок туалета, он молча схватил свою круглую шляпу и исчез, даже не попрощавшись с Фостен.

— Да, мой прекрасный повелитель, вы очень неловки... и к тому же не слишком любезны сегодня,— через минуту снова заговорила Фостен, немного сконфуженная визитом своего старого товарища по подмосткам и пытаясь отвлечь внимание любовника с помощью одной из тех нежных ссор, которые так искусно умеют устраивать женщины в подобных случаях.

— Жюльетта... я не знаю... но ваше лицо, ваш голос — здесь, когда вы говорите с другими...

— Ну и что же такого вы нашли в моем лице, в моем голосе?

— И потом... когда я слышу, что мужчина говорит вам «ты», я перестаю владеть собой... меня охватывает желание убить его! — продолжал лорд Эннендейл, не отвечая на вопрос Фостен.

Это было сказано очень тихо, но на лице белокурого лорда явственно проступило выражение жестокости.

— Если так, друг мой, с вашей стороны было не слишком остроумно полюбить актрису!

В эту минуту шутовская физиономия Рагаша просунулась в полуотворенную дверь, и он продекламировал с интонацией Прюдома:

— Прекрасная дама, позволено ли будет проникнуть к вам?

Лорд Эннендейл встал и, сказав: «Прошу извинить, у меня с госпожой Фостен деловой разговор»,— резко захлопнул дверь.

Сделав это в порыве раздражения, побороть которое он был не в силах, английский лорд, воспитанный человек, громко простонал: «О! О! О!..», словно этот неприличный поступок совершил кто-то другой, а потом обратился к Фостен:

— Если желаете, я верну его, сударыня... и принесу ему свои извинения...

Актриса пожала плечами, как бы говоря, что Рагаш глубоко ей безразличен, потом подошла к любовнику и, взяв его за руки, сказала, вглядываясь в него:

— Друг мой, вы, кажется, сходите с ума?

— Нет, я просто ревную.

— К кому?

— Ко всем!

— Так, может быть, и к публике тоже?

— И к публике,— вполне серьезно ответил возлюбленный Жюльетты.

— В таком случае вам остается только потребовать, чтобы я немедленно оставила сцену!

— Жюльетта, я ничего от вас не требую... а если я страдаю, то это касается одного меня.

Звонок, призывавший актрису на сцену, помешал ей ответить.

XXXVI

Фостен лежит на кушетке, неодетая, непричесанная; она не в духе, у нее взвинчены нервы. Хмурая, поглощенная своими мыслями, она не отвечает на нежные расспросы лорда Эннендейла, и в конце концов тот разворачивает огромную английскую газету, где материала для чтения может хватить на целую неделю.

— Так вы, значит, не знаете,— неожиданно говорит актриса, хлопая рукой по газете, которая летит на пол,— вы, значит, не знаете, что театр для меня все... что я не представляю себе, как могла бы прожить день, если бы не была уверена, что

вечером буду играть?.. У вас, англичан, не понимают, что такое страсть артиста к своему делу... и вам, вероятно, показалось бы вполне естественным, если бы я бросила сцену так же легко, как расстаются с табачной лавкой.

— Но ведь я никогда не просил вас об этом, Жюльетта.

— Не хватало еще, чтобы вы прямо попросили меня об этом... Ах, дорогой мой, несмотря на всю мою любовь к вам, мне пришлось бы ответить: «Нет, тысячу раз нет!.. Большая актриса, такая, как я, не так-то просто подает в отставку!..» Да, вы действительно не просили меня об этом открыто, но...

— Я не только не просил вас об этом, но даже... Нет, я слишком хорошо понимаю, что моя любовь не может заполнить пустоту, которую создал бы в вашей жизни уход из театра... И если бы вы сами захотели бросить сцену, я сделал бы все, чтобы вас удержать.

— О да, конечно, вы бы сделали все, чтоб меня удержать... Право же, мужчины — удивительный народ... Но если всякий раз, как я играю, у вас похоронный вид...

— Ах, это опять намек на ту историю.

— Если оттого лишь, что я приветливо разговариваю с кем-либо, вы сейчас же, выражаясь языком трагедии, начинаете терзаться муками ревности...

— Но, дорогая моя, я...

— Если вы разбиваете мои чашки, когда кто-нибудь говорит мне «ты»...

— Моя маленькая Жюльетта...

— И если, наконец, вы страдаете оттого, что публика аплодирует мне,— вы ведь сами говорили мне это... Говорили вы мне это или не говорили?

— Я был неправ... но обещаю вам, что это не повторится.

— И вы думаете, что очень весело видеть рядом с собой несчастного страдальца, чьи страдания служат вам постоянным укором... страдальца, который как будто все время говорит вам, что ваша любовь не способна на жертву... что вы... словом, что вы *бесчувственная*... Нет, мой милый, все это очень неприятно!

И с недобросовестностью, присущей женщине, когда она раздражена, Фостен, извращая ответы своего любовника, сумела придать им совершенно превратный смысл, а потом стала придираться к выражению его лица, ко всем его жестам и, ухитряясь вплести в этот спор множество вещей, не имевших к нему никакого отношения, долго еще терзала собеседника, буравя его молчание своими воинственными нападками.

— Кто же она? — спросила Фостен у одного соотечественника лорда Эннендейла, который, не прекращая разговора с хозяином дома, в то же время с глубочайшим вниманием рассматривал ногу одной из лошадей, пока наконец не выпустил ее из рук.

Это был час приёма посетителей, желающих осмотреть конюшни, только что прибранные с той чрезмерной тщательностью, какая характерна для кокетливого убранства конюшни англичанина. Три разноцветные циновки, наложенные одна на другую (первая — из плетеной соломы натурального тона, вторая — зеленая, напоминавшая ливрейные цвета дома, третья — окаймленная красными полосками), выступали из-под подстилки и составляли веселую гамму светлых тонов. Весь пол был усыпан мелким песком; по краям шла рамка из песка цветного, а посередине, тоже из песка разных цветов, был сделан узор, изображавший старинный герб рода или, вернее, герб более скромный, так сказать, более домашний, без покровов с завитками, без мантий пэра, без геральдических подпорок,— герб, сведенный лишь к щиту и девизу.

— Вы спрашиваете, кто она? — повторил англичанин, оборачиваясь к Фостен. И он назвал ей актрису, слывшую одной из остроумнейших женщин Парижа.— Так вот,— добавил он,— как я только что говорил моему другу... мне, конечно, хотелось стать ее любовником... но это было для меня на втором плане. Главное, чего я хотел, это чтобы у нас с ней был ребенок — отпрыск, сочетающий в себе все то острое и пикантное, что кроется в мозгу этой очаровательной женщины, и ту уравновешенность, которая есть во мне, подданном Великобритании. Согласитесь, что такое сочетание могло быть весьма оригинальным... весьма забавным... совершенно необычным... Вы, наверное, скажете, что это чисто английская затея, не так ли?.. Однако трудность оказалась в том, что она охотно соглашалась сделать меня своим любовником, но... но вовсе не желала, чтобы я стал отцом.

— И вам так и не удалось переубедить ее?

— Под конец удалось... с помощью уговоров, дипломатии и денег... но ребенка так и не получилось... Я жалею, о, я очень жалею, что опыт не удался.

Фостен оставила обоих друзей с лошадьми, а сама перешла в stable-yard [1], где содержалась целая коллекция собак всевоз-

[1] Двор перед конюшней *(англ.)*.

можных пород. Здесь она взяла на руки Дика, собачку Бланшерона, громко залаявшую от восторга, и унесла ее в гостиную, которая теперь сообщалась с коношнями застекленной галереей.

Рассеянно гладя одной рукой собаку, она раскрыла другою «Андромаху» — трагедию, в которой ей вскоре предстояло снова играть роль Гермионы.

В гостиную вошел лорд Эннендейл. Актриса продолжала читать.

— Мой приятель показался вам, должно быть, большим оригиналом? — небрежно уронил возлюбленный Жюльетты.

Сначала Фостен ничего не ответила ему, но через несколько секунд закрыла книгу и сказала, словно не расслышав заданного ей вопроса:

— Так, значит, ваши соотечественники влюбляются только в актрис?

— В самом деле, это случается у нас довольно часто.

— И вы думаете, что они любят женщину?

— Что вы хотите этим сказать?

— Я спрашиваю, любят ли они женщину ради нее самой?

— Право же... что до меня...

— А я вам говорю,— вскричала вдруг возлюбленная лорда Эннендейла, разгорячившись, бросив собаку на пол и принимаясь быстро ходить по комнате,— я вам говорю, что они любят не женщину, они любят ее талант, да, талант! — И Фостен высокомерно пожала плечами.— Аплодисменты публики, рекламы газет, лесть салонов, шум, который возникает вокруг нее,— вот что они любят в своей любовнице... Но женщину?

— Я думаю, что люблю женщину,— произнес лорд Эннендейл.

— Уверены ли вы в этом? — вскричала актриса, подойдя к любовнику и почти сурово глядя ему в глаза.

Затем, после короткого молчания, она медленно проговорила:

— Вы такой же, как все... Если бы я бросила сцену, через полгода вы бы разлюбили меня!

— Но вы же не бросаете сцену, Жюльетта... так зачем вы опять...

— Да, да, вы правы,— сказала она, внезапно успокаиваясь, но все с той же легкой складочкой раздумья на лбу.— Вот что, давайте выйдем на улицу, поедем куда-нибудь... вы ведь знаете, что сегодня я свободна... повезите меня обедать в какой-нибудь ресторанчик. Сегодня ваш огромный особняк наводит на меня

тоску... мне хочется уйти от *золоченых щитов,* как сказал один персонаж из «Опасного леса». А потом мы поедем в какой-нибудь маленький театр... но не на бульвары, а в какой-нибудь театрик предместья... Вот что, поедем в Гренель, в тамошнем театре играют так забавно!

XXXVIII

Вот уже две недели, как актрисой овладел дух противоречия; с утра и до вечера она без устали спорила с лордом Эпсендейлом, стоило тому высказать свое мнение о погоде, об экипаже, о завтраке, об обеде, словом — о чем угодно.

Это начиналось так: сперва гневно покачивалась ножка в пустом пространстве, затем локти судорожно прижимались к телу, розовая кожа лица становилась какой-то серой, а губы нервно подергивались, как бы удерживая рвущиеся с них слова. И тем не менее, несмотря на все усилия, которые женщина делала над собой, чтобы сдержаться, через несколько мгновений она обрушивала на своего возлюбленного едкие, презрительные, ядовитые фразы, которые произносила с горькой иронией, словно проклятье Камиллы, после чего губы ее снова смыкались, а ножка снова принималась отбивать такт в пустоте.

Актриса ждала ответа. Ответа не было.

Тогда, чтобы заставить любовника потерять спокойствие, чтобы вывести его из себя, чтобы добиться реплики и вызвать сцену, которой требовало ее внутреннее раздражение, она снова начинала свои придирки, поддразнивания,- уколы, способные истощить и ангельское терпение; казалось, она поклялась довести его до того, чтобы он ее ударил. Но так как лорд Эпсендейл только жалел ее, словно маленького ребенка, и, вместо того чтобы с ней спорить, признавал себя виновным решительно во всем, Фостен сердито вскакивала со стула и с удрученным видом несчастной жертвы уходила к себе, не забывая, однако, громко хлопнуть дверью.

Потом, через несколько минут, она как ни в чем не бывало возвращалась к своему возлюбленному, и ее любовь вновь становилась нежной и какой-то размягченной.

А через час она снова приходила в ярость.

Эти внезапные перемены настроения, эти вспышки нервозности, эти проявления болезненной неуравновешенности, эта взбалмошность — все эти внешние признаки ясно указывали на происходившую в Фостен душевную борьбу, и по утрам она то появлялась вдруг с заносчивым и забавно надменным видом

женщины, принявшей определенное решение, то выходила вся разбитая, вялая, и какая-то неуверенность, колебание чувствовались во всех ее движениях.

В театре лорд Эннендейл наблюдал у своей непостоянной и капризной подруги такие же скачки настроения. Каждый вечер она ссорилась и мирилась с директором. Ежедневно бранилась с кем-нибудь из товарок, а потом посылала ей подарки. Начинала кокетничать с первым встречным почти как уличная женщина — и вдруг, посреди разговора, становилась необычайно сдержанной и обливала собеседника таким холодом, что весь его пыл сразу остывал. И теперь уже все спрашивали друг у друга во Французской Комедии, что же такое происходит с трагической актрисой.

XXXIX

— Сегодня вы немного задержались, дорогая,— сказал как-то вечером лорд Эннендейл, когда Фостен вернулась домой.

— Немного... даже очень,— ответила Фостен, мельком взглянув на стенные часы и бросая на диван шляпу и накидку.

— О Жюльетта, как вы хороши сегодня!.. К вам изумительно идет этот туалет... И потом, на лице у вас написано счастье, какое-то лучезарное счастье... что-то доброе и радостное. В Индии есть для этого подходящее выражение... там говорят так: лицо, сияющее красотой доброго дела.

— Что вы! Неужели мое лицо так нескромно? Однако идемте обедать, я голодна... О том, как я провела сегодняшний день, мы поговорим после.

Они перешли в столовую.

— Да что вы так смотрите на меня?.. Ну совсем как ребенок смотрит на пирожное.

— Вы прелестны!

Актриса и в самом деле была прелестна. Она была в черном,— она всегда любила этот цвет,— но туалет ее, почти сплошь состоявший из черных кружев, казался легким, воздушным и покрывал прозрачной темной дымкой просвечивавшую сквозь нее розовую кожу. На фоне всего этого черного виднелась в сердцевидном вырезе корсажа ярко-красная гвоздика, еще резче оттенявшая матовую белизну груди.

— Ну так как же, милая Жюльетта? Вы все-таки скажете мне, что делали сегодня? — спросил за обедом лорд Эннендейл.

— После... после... я еще наскучу вам своим рассказом. Но вот что... пожалуй, я бы выпила сегодня бокал шампанского!

И Фостен едва заметно повернула голову к дворецкому.

Невозмутимый дворецкий, застывший у буфета, словно каменное изваяние в черном фраке, сделал куда-то в сторону неуловимый жест, с помощью которого каприз актрисы был тут же передан в винный погреб одному из помощников.

И между двумя глотками шампанского Фостен, наклоняя голову и углубляя этим движением вырез корсажа, то и дело нюхала свою гвоздику.

— Как хорош этот пряный аромат...— проговорила она,— я так люблю его! Был такой год... я еще только начинала работать в театре... и кроме того, я делала тогда искусственные цветы... Так вот, я всегда вставляла хоть один настоящий цветочек гвоздики в мои искусственные... Ну, как? Мы можем встать?

Из столовой они перешли в гостиную и уселись перед камином. Лорд Эннендейл не отрывал вопросительного взгляда от своей возлюбленной, как бы говоря: «Итак?» А она забавлялась его любопытством и только молча улыбалась, желая продлить его. Вдруг она встала, подошла к лорду Эннендейлу и, обвив руками его шею, привлекла его к себе так близко, что цветок гвоздики в вырезе ее платья оказался у самого его лица.

— Понюхайте! Что это за запах? — спросила она.

— Запах гвоздики,— ответил он, прикасаясь к цветку губами.

— А еще?

— Вашей кожи!

— Глупый!.. Неужели вы не слышите другого запаха?.. А еще хвалились обонянием дикаря...

— Ах, да, правда... как будто пахнет сандаловым деревом.

— Ну, наконец-то!.. Под гвоздикой есть кое-что для вас, возьмите.

Нежно, едва прикасаясь кончиками пальцев, лорд Эннендейл вынул из корсажа Жюльетты какое-то письмо и развернул его. Актриса, став вдруг серьезной, сказала:

— Это копия письма, которое я послала сегодня утром директору Французской Комедии... Сейчас, должно быть, оно уже напечатано в вечерних газетах.

— Как! Вы это сделали, моя Жюльетта!.. Вы сделали это ради меня! — вскричал лорд Эннендейл, пробежав письмо.

— Кажется, что так! — ответила Фостен с шаловливой интонацией.

— Вы вышли из труппы... вы уходите из театра... вы бро-

састе эту жизнь, полную триумфа!.. Но это нелепо!.. Хорошо ли вы обдумали этот шаг?

— Нет... рассудку нет места, когда говорит сердце.

— Да, да... это порыв, необдуманный поступок, за который я люблю вас еще сильнее, но все же...

— Быть может, и порыв, но я не переменю своего решения.

— Ах, Жюльетта, я боюсь, поймите меня, боюсь, что у вас не хватит до конца мужества для этой жертвы... что может наступить день, когда вы раскаетесь в ней.

— Никогда нельзя знать наперед, что будет... Но если до того, как наступит этот день, а он, конечно, наступит не завтра... если до этого дня я буду чувствовать, что вы счастливы, совершенно счастливы... эгоистически счастливы, счастливы так, как хотят быть счастливы... мужчины...— тут она вздохнула, с улыбкой в глазах и с грустью в голосе,— тогда это ваше счастье окупит в моих глазах почти все мои будущие сожаления.

Наступило молчание, потом мужчина встал и серьезным, проникновенным тоном сказал женщине:

— Жюльетта... значит... вы согласны стать моей женой.

— Вашей женой, Уильям! — прошептала Фостен, на минуту приподнявшись в кресле и снова откинувшись назад с полузакрытыми глазами, с полураскрытыми, как для поцелуя, губами, с тем мягким и счастливым выражением лица, какое бывает у женщин, когда они видят прекрасный сон.

— Вы согласны, да? — повторил лорд Эшендейл.

— Нет, друг мой,— ответила она, помедлив одно мгновенье.

— Но почему же?

— Почему?.. Потому что это невозможно.

— Но если я непременно этого хочу, сударыня.

Фостен, вдруг как-то обессилев, ничего не отвечала; только руки ее судорожно сжались, словно от физической боли.

— Я на коленях прошу вас об этом,— сказал возлюбленный Жюльетты, осыпая поцелуями ее руки.

— Умоляю, пожалейте меня, не вынуждайте меня говорить. Есть вещи, которых я не хочу, не могу касаться... Если бы моим любовником был только Бланшерон!..

— Ничто не имеет для меня значения, ничто! — пылко вскричал лорд Эшендейл.

— А для меня имеет,— возразила Фостен.— Вы не знаете, что такое наша жизнь — жизнь бедных девушек из народа, когда они попадают на сцену и... и вынуждены иногда румяниться толченым кирпичом!.. Нет, вы и представить себе не можете, как велика в это время наша нужда, наша беспомощность,

наша зависимость от директора театра и от многих-многих других!.. И ни одного человека, который мог бы вступиться, защитить, предостеречь!.. И ничего вокруг, кроме мерзости и распутства!.. Ах, прошу вас, не заставляйте меня вспоминать!.. И потом, если быть откровенной, то при нашем ремесле, когда вечно горишь как в лихорадке, словно какой-то бес вселяется в нас по временам, и тогда... Да вот, взгляните на этот портрет,— и она показала на жесткое и высокомерное лицо его отца, смотревшего на них со стены,— спросите у него, что он думает о предложении, которое сделал мне сейчас его сын... Стать вашей женой, сказали вы... Нет, я не хочу, чтобы ваши дети, если они у нас будут... Дети!..— И она разразилась смехом, который причинял боль.— Дети! Да разве я не поражена бесплодием, как все куртизанки!.. Видите ли, друг мой,— продолжала она с мягкой горечью,— нам не суждено быть законными женами, мы можем быть только любовницами, и я буду принадлежать вам всегда... по крайней мере, до тех пор, пока вы этого захотите.

И, бросившись в объятия своего возлюбленного, с какой-то неистовой силой прижимаясь к его груди, удерживая готовые брызнуть слезы, Фостен продолжала, стараясь, чтобы голос звучал естественно:

— Будьте умницей... не надо больше говорить об этом, потолкуем лучше о наших делах. Ведь над нами висит процесс — я нарушила контракт, и у меня *мурашки бегают по спине,* стоит мне только взглянуть на эту гербовую бумагу... но это еще не все — сейчас меня начнут осаждать разные официальные лица. Днем и ночью они будут убеждать меня отказаться от моего решения... Надо бежать из Парижа... поехать на несколько месяцев куда-нибудь за границу... Вот что — вы ведь идете вечером в английское посольство? Ну, а я навещу сегодня мою сестру: в последнее время я совсем забросила ее из-за вас... Вы же знаете, что я вечно все откладываю на завтра.

И она стала готовиться к визиту, а лорд Эшендейл продолжал сидеть в своем глубоком кресле грустный, такой грустный, что, уже подойдя к двери, она вернулась, чтобы поцеловать его.

— Вы хотите ехать за границу... куда именно?

— Куда угодно.

XL

Сестра Жюльетты, в голубом кашемировом капоте с широкими отворотами и карманчиками из белого кашемира, с пышными воланами из полосатого индийского муслина, серебристой

пеной окружавшими кисти ее рук, была занята тем, что бросала маленькие кусочки вермишели своей золотой рыбке; лицо ее было в тени.

Когда актриса вошла в спальню, Щедрая Душа подняла голову от светящейся банки, в которой несчастный стеклянный Дебюро без отдыха кувыркался под ударами хвоста жадной рыбки, и с пронией приветствовала сестру:

— А, это ты... ну и чудеса же я слышала о тебе... говорят, ты опять втюрилась — и это в твои-то годы!.. И даже бросаешь ради своего англичанина сцену!.. Какие все-таки дурочки эти женщины с фантазией!.. О, я не сомневаюсь, что в постели он очень мил, этот твой englishman...[1] И красив, черт возьми!.. не хуже тех хорошеньких учителей иностранных языков, которые смущают покой юных пансионерок. Но все же...

— Знаешь что, Малышка, каждый по-своему устраивает свою жизнь,— сухо ответила Фостен, не дав сестре закончить тираду.— А Карсопак дома?

— Уехал в Брюссель — возобновляет для бельгийцев постановку одной своей старой пьесы.

— Да ты совсем раздета... может, ты собиралась лечь?

— Нет, я жду любовника.

— Это все тот же злосчастный Плескун?

— Плескун!.. Вот уже целая вечность, как с ним покончено... Его послали на юг. Да, да, он в Италии... в Париже слишком сырой климат... он не мог поглощать здесь достаточно ртути! Знаешь, он получил пощечину при полном театре... Но в нынешнем году мужчины не рвутся в бой... быть может, на них действуют морозы.

— Да что с тобой сегодня?

— Ничего... Просто это час моих *утех*.

И, подойдя к камину, в котором ярко пылал каменный уголь, Щедрая Душа уселась верхом на стул, открыв выше колена ногу в черном шелковом чулке с вишневой плюшевой подвязкой, на которой блестела марказитовая пряжка. Не сходя с места, она взяла с мраморного столика какой-то флакон и с размаху вылила жидкость на пылающие угольях, откуда тотчас же поднялось облако росного ладана, способное одурманить целый полк. С какой-то холодной яростью помешивая кочергой в этом пахучем пламени, она сказала:

— Люблю резкие запахи, и все тут... Нет, это не Плескун,— добавила она.— Я теперь перешла на других любовни-

[1] Англичанин *(англ.)*.

ков... Теперь я схожусь с *босяками*... с людьми из «низов», вот оно как!.. Видишь ли,— продолжала она, глядя на едкое облако,— с мужчиной из общества всегда мешает какой-то остаток стыдливости, желание изображать из себя порядочную женщину... забота не о своем, а именно о его удовольствии... тогда как с теми мужчинами, с какими теперь имею дело я... этим я приказываю ласкать, как могла бы приказать наколоть дров... Для черной работы в любви никто не может быть лучше, чем мужчины из «низов».

И, встав со стула, она сердито растрепала свою прическу, над которой столько трудилась утром, а потом принялась шагать из угла в угол, словно дикий зверь в клетке. Ее потемневшие голубые глаза, ставшие почти черными, как всегда в минуты дурных мыслей, только что выкрашенная копна волос, блестевшая в свете лампы,— все это придавало ей свирепое величие блудницы из Апокалипсиса.

Внезапно она остановилась, и все, что бурлило в ней, вылилось наружу:

— Эх, будь я на твоем месте... О, мужчины, мужчины!

Она не сказала ничего больше, но при мысли о возможности жестоко отомстить всем этим самцам — самцам из общества — на лице ее появилось выражение беспощадной ненависти и злорадного торжества самки.

Снова подойдя к камину, где оставленная ею лопаточка для угля раскалилась докрасна, она опять начала лить жидкость на огонь, яростно размахивая флаконом и брызгая огненной влагой на ковер, на мебель.

— Вот что, ты мешаешь мне... уходи...— решительно бросила она вдруг сестре.— Я не хочу, чтобы ты встретилась с моим оборванцем.

И, целуя на прощанье сестру, Щедрая Душа вдруг разразилась взрывом дикого, злого смеха.

— Знаешь что...— сказала она,— все-таки в дурах останешься ты... а я — я еще выйду замуж, вот увидишь!

XLI

— Надеюсь, вы проводите меня, мой друг? — спросила Фостен у лорда Эннендейла на другой день после своего визита к сестре, когда горничная уже подавала ей шляпу и перчатки.

— Я в вашем распоряжении.

Фостен взяла со стола тонкую зеленую книжечку, и они

сели в ландо, которое привезло их в один из отдаленных кварталов Парижа и остановилось перед старинным домом с афишами на стенах и с двумя полицейскими у входа. Множество пожилых супружеских пар и молоденьких простоволосых модисток толпилось на обеих сторонах тротуара, с равнодушным любопытством разглядывая тех, кто входил внутрь.

Это был аукцион, где продавалось имущество одной недавно умершей великой актрисы, трагической актрисы, какою являлась и пришедшая сюда Фостен, актрисы, которая в свое время была еще более известна, более прославлена, более знаменита, чем женщина, явившаяся взглянуть на эту распродажу.

Лорд Эшендейл и Фостен поднялись по лестнице с широкими площадками и оказались в большой комнате с окнами, выходившими во двор, откуда сквозь грязные стекла проникал холодный дневной свет, придававший всему оттенок старой запыленной паутины. Здесь, на длинной вешалке, огибавшей всю комнату и, видимо, только недавно прибитой, уныло, мертво висели платья покойной: наряды женщины и костюмы королевы сцены, бальные накидки из белого стеганого атласа и одеяния Федры, Гермионы, Роксаны. Все театральные реликвии, прикасавшиеся когда-то к этому телу, все костюмы знаменитой актрисы теперь омерзительными гроздьями висели по стенам, словно на стене морга, похожие на фантастические оболочки, на полупочные покровы каких-то привидений, внезапно застывшие при первых лучах солнца.

Из складок этих некогда великолепных, а теперь поблекших обносков выглядывали головы торговок подержанным платьем, перекупщиц, которые без конца перебирали это тряпье, словно желая убедиться в том, что удар меча, нанесенный братом Камиллы, не оставил дыры в тунике его сестры.

И время от времени раздавался визгливый голос: «Проходите, господа и дамы»,— возглас аукциониста, который подгонял толпу зевак, равнодушных, пренебрежительных, ошеломленных.

В другой комнате были собраны, сгруппированы, свалены в одну кучу бриллианты, ларец с драгоценностями, выполненными по рисункам этрусских драгоценностей Ватикана и Museo Borbonico [1], старинный цыганский убор из неизвестных камней, быть может, сделанный руками какого-нибудь Жиля Бродяги из Тунского царства. И в этом ворохе вещей — дорожные несессеры со щеточками и флаконами в золотой оправе рядом с ку-

---

[1] Музея Борбонико *(итал.)*.

чей книг в дешевых картонных переплетах и с чашками из современного севрского фарфора! Там было еще столовое серебро и ведерки для шампанского — свидетели незабываемых и еще не забытых ужинов и обедов, а два ювелира как раз взвешивали на руке все эти вещицы, чтобы хоть приблизительно определить их ценность.

И все время в гуще любопытных раздавался возглас:

— Проходите, господа и дамы!

Наконец там была спальня: узкая кровать черного дерева с голубыми занавесками, масса кружев, разбросанных на всех столах и столиках,— рукавчики из малин, носовые платки из валансьен... и во всей этой драгоценной паутине копошилась какая-то желтая старушонка, приковавшаяся к ней своим жадным, горящим взглядом. Здесь стоял глухой гул. Люди, глазевшие на кровать, перечисляли имена всех любовников, какие когда-либо были у женщины, и уже не помнили ни одной из ролей, в которых выступала актриса.

— Проходите, господа и дамы! — громко кричал тот же пронзительный голос.

— È tutto [1],— с какой-то задумчивой грустью сказала Фостен, снова садясь в карету.

— Зачем вы приезжали сюда? Вы хотели оставить что-нибудь за собой?

— Боже сохрани!

— Но если так... зрелище было, сказать правду, невеселое... и, кажется, оно сильно вас взволновало.

Фостен с улыбкой взяла обеими руками руку лорда Эпсендейла и сказала:

— Мужчины, право же, ничего не понимают... Зачем я сюда приезжала? Да затем, чтобы помочь умереть другой актрисе... той, что живет во мне самой... Да, я хотела, чтобы это зрелище... чтобы оно было последним воспоминанием, которое я увезу с собой из Парижа за границу

XLII

Спустя две недели влюбленная пара поселилась в Линдау, на вилле Изембург, у Констанцского озера. Их любовь нашла приют меж голубых гор, на берегу этого маленького моря, которое немцы прозвали Швабским морем и с которого по вечерам

---

[1] Вот и все *(итал.)*.

дует легкий бриз, напоминающий бриз океана — океана в миниатюре,— и жила там под зеленой листвой склоненных деревьев, вьющихся береговых растений, среди сверкающих отблесков широкой, залитой солнцем водной пелены, похожей на огромное зеркало, охваченное пожаром.

XLIII

Вилла, в которой поселились молодой английский лорд и Фостен, служила много лет назад гнездышком любви некоего графа Изембургского и некоей принцессы Фредерики Вильгельмины фон Гогенлоэ, дочери курфюрста Гессенского,— очаровательной женщины, оказавшейся очень несчастливой в браке и в конце концов брошенной мужем.

Это был обширный дом с цветником, спускавшимся до самого озера и украшенным по немецкой моде звездообразными клумбами из маленьких крепких растений различной окраски и астрагалами из цветов в форме античных чаш, где восьмидесятилетний садовник все еще продолжал переплетать вензеля графа и принцессы. На одном конце этого многолетнего и старомодного цветника возвышалась на берегу готическая часовенка, а на другом — маленькая пристань для венецианской гондолы, с двумя раскрашенными цинковыми статуями, изображавшими пажей с фонарями в руках.

За домом тянулась рощица с извилистыми дорожками, как в английском парке, с густыми ветвистыми деревьями, которые купали свои корни в воде, словно камыш, и шелестели нежной, воздушной, вечно дрожащей листвой. Там и сям, на открытых местах, были разбросаны маленькие беседки,— в Германии их называют «заведеньица»,— устроенные для того, чтобы пить здесь кофе или чай, со столиком, стульями и соломенной крышей в виде зонта, и одна из них, стоявшая на некотором возвышении, на самом солнцепеке, называлась «Сорренто».

Аллея красных буков вдоль ручья, совсем зеленого от росшего на дне кресса, вела к большому птичнику, где некогда было множество редких птиц, а теперь жили только куры.

Эта аллея красных буков была очень оригинальна. Живя в стране, где в былые времена люди ели либо на оловянной посуде, либо на японском фарфоре, один из Изембургов вымостил свою аллею черепками тарелок, оставшимися от двух поколений, и она стала вся — золото, вся — киноварь, вся — лазурь. И те-

перь, прогуливаясь вдоль ручья, Фостен ступала по этому причудливому полу под странной сенью карминовой листвы, шелестевшей над ее головой.

XLIV

Для людей театра жизнь на чистом воздухе — это совсем особое счастье, это какое-то пленительное наслаждение.

Мужчины и женщины, которые целыми днями живут в сумраке репетиций и вместо солнца видят свет газа, вместо травы под ногами — зелень ковра, вместо лесной тени над головой — подпорку кулисы, а дышат лишь запахом клея да кошачьей мочи... мужчины и женщины, чье существование протекает в мире крашеного холста, где гром производят, колотя в кастрюли, а снег делают из кусочков бумаги,— эти мужчины и женщины, попав на лоно природы, живой природы, словно хмелеют, ощущая беспричинную радость и истому ребенка, которому дали лишний глоток вина.

О, чистый воздух! О, солнце, покрывающее загаром кожу! Каким прекрасным кажется все это людям театра! И как счастливы они, оказавшись под голубым небосводом, впивая утреннюю свежесть, вдыхая холодный воздух, подобный дыханию любимых уст, овевающему виски, смоченные одеколоном! Вот они бродят мелкими шажками по узким тропинкам, отдаваясь каким-то легким, приятным, неясным мыслям, останавливаясь на минутку, чтобы задержать тросточкой или кончиком зонта ползущую букашку. Вот они лежат на мху в полуденный час, наслаждаясь покоем и дремотой, слушая жужжащую тишину леса или глядя сквозь прогалину на широкие пыльные дали, на бесконечные просторы лесов, лугов, полей, за которыми где-то вдали видна колокольня убогой церкви. Но вот уже удлиняются тени и день засыпает, погружаясь в сумерки, а гуляющих все еще не загонишь в дом. И от этих напоенных солнцем дней, от аромата деревьев и благоухания трав, от упругости воздуха, от всех этих щедрых запахов природы, от живительных токов, излучаемых небом и землею на этих выходцев из персального, искусственного мира,— пульс у них начинает биться сильнее, какой-то лихорадочный восторг рождается в них, а потом приходит счастливое и спокойное самоуглубление.

На другой день после приезда Фостен в Изембург шел дождь. Сначала актриса, глядя в окно, дулась на непогоду. Это тянулось около получаса. Наконец она не вытерпела. Взяла зонтик и спустилась вниз. Лил один из тех грозовых летних дождей

с крупными каплями, которые так хорошо промачивают вас насквозь. С минуту она задержалась на пороге, колеблясь, потом вдруг решилась и выбежала в сад, укрываясь, как могла, своим зонтом, прячась под деревом, когда ливень усиливался. Но вскоре этот теплый веселый дождь, бороздивший сияющий воздух, стал звать ее, манить, и, выйдя из-под деревьев, закинув зонтик за плечо, она храбро зашагала под низвергающимися струями.

И, уже промокнув до костей, она все шла и шла под усиливавшимся потоком, смеясь, вздрагивая и время от времени сжимая и сближая лопатки, чтобы удержать щекочущий бег капли, стекавшей по выемке спины.

XLV

Липдау. Вилла Изембург, июль.

Здравствуй, Малышка!

Трагедия умерла! Умерла и погребена в самом нижнем люке! Так что теперь твоя сестра может махнуть рукой на все эти китайские тени из древней истории! Ну уж обо мне-то не станут говорить, будто перед смертью я взяла фиакр и поехала, несмотря на ветер и дождь, чтобы с благоговением взглянуть в последний раз на фасад Французского театра. Повторяю: актриса во мне умерла и похоронена. Это не значит, однако, что вначале я совсем не боялась. В первые дни, приехав сюда, я то и дело проверяла, я спрашивала себя: «Неужели мой театральный недуг вернется?» Но нет, нет! Он исчез бесследно. Его как не бывало. Да, сестренка, конечно, очень приятно слышать аплодисменты, но ты-то знаешь, чего они нам стоят, и, право же, плата за них чересчур велика! В сущности, что такое слава? Может быть, это просто вздор — дурацкое тщеславие, которое выжимает все соки из нашего счастья. Вот какие мысли приходят на лоне природы, на чистом воздухе, а? Для нас, женщин, любовь — выше всего. Ты-то этого не знаешь. У тебя ведь никогда не было ничего, кроме каких-то чисто мужских капризов, причуд, мимолетных увлечений. Для меня же любить — любить по-настоящему, любить глубоко — еще приятнее, еще увлекательнее и радостнее, чем *иметь успех*. Но если я приняла свой уход из театра с легким сердцем, то здесь есть одна особа, с которой дело обстоит по-иному. Это моя старушка Генего. Ты не можешь себе представить, до чего печальна ее физиономия и как уныло

облекают платья ее унылую фигуру. Ах, бедняжка! Мне кажется, что в здешних краях она окончательно перешла на роли *зануд*. Ты бы видела, как она грызется с остальной прислугой, как сердито смотрит на лорда Эннендейла, которого смертельно ненавидит, считая *палачом* моего драматического таланта. И вечно она сидит одна, где-нибудь в углу, со своим чудовищным пенсне на носу, читая и перечитывая по складам давнишние статьи обо мне, вырезанные из старых газет, в которые были завернуты мои вещи. Но это угрюмое молчание, эти слова, проглоченные ею за целый день в обществе англичан и немцев,— надо видеть, как все это выливается вечером, когда она раздевает меня перед сном. Начинается бесконечная болтовня, бесконечные воспоминания о прежней жизни, о нашей цыганской жизни вдвоем, бесконечные: «А помнит ли сударыня, как...» (сюда можешь вставить рассказ о влюбленных восторгах пожарного, школьника, кого угодно), «А припоминает ли сударыня, что...» (здесь следует повесть о подношении бронзового лаврового венка какой-нибудь депутацией жалких провинциалов или что-нибудь в этом роде). Доброе создание! Ты понимаешь, конечно, что у меня не хватает духу оборвать ее, испортить единственно счастливые полчаса, которых она ждет в течение целого дня, спугнуть эти ее: «А помнит ли сударыня?», «А припоминает ли сударыня?», которые доставляют ей такое удовольствие, а во мне не вызывают и тени сожаления по поводу решения, которое я приняла.

Здесь очень мило. Вокруг дома повсюду — вода, но вода совсем особенная,— как бы это объяснить? — ну, вода как в тазу, где плавает кусок мыла, а дома почти совершенно закрыты высокими, очень высокими вьющимися растениями, которые доходят до самых крыш, но, разумеется, я не знаю их названий. А овощи! Боже мой, какие овощи! На стручках гороха растут такие же длинные волоски, как те, что торчат из ушей у Карсопака. А фрукты? Представь себе, что груши здесь так же зелены, как наш порей. Что касается слуг, то все они воры, такие воры, что все здесь заперто, все под замком, и говорят, что здешние хозяйки сами выдают кухарке щепотку соли. Ну, я думаю, что хватит с тебя топографических и всяких других «ических» сведений, не так ли?

Что до моего господина и повелителя, то я могу сказать о нем лишь одно — что я люблю его еще безумнее, чем прежде. Нет, любовь моего лорда не болтлива и не экспансивна,— не то что у нас, французов, но этот человек находится в постоянном напряжении, постоянно думает только о том, как бы доставить

вам маленькую или большую радость, и втайне ум его беспрестанно занят выискиваньем способов сделать приятное любимому существу. Он трудится бесшумно, исподтишка, как настоящий злоумышленник, и притом не только над тем, чтобы сделать ваше существование приятным, но и над тем, чтобы сделать его безмятежным, чтобы предотвратить мельчайшее неудобство, чтобы уберечь вас от самого маленького, самого незаметного укола, и это — любою ценой. Иногда я говорю ему шутя, что он превращает жизненный путь женщины в песчаную дорожку, на которой ее тонкие башмачки никогда не встречают даже крохотного камушка. Ты знаешь о моем процессе с Французским театром и о сумасшедшей неустойке, которую от меня потребовали. Я условилась со своим поверенным, что меня здесь оставят в покое и что процесс со всеми его перипетиями пойдет сам по себе. Но однажды мне понадобилось подписать какую-то деловую бумагу, и вид ее, признаться, расстроил мне нервы на целый день. Потом я о ней забыла и больше не вспоминала много дней. Когда же я отослала ее, из Парижа пришло письмо, в котором меня извещали, что она уже не нужна, что лорд Эннендейл давно распорядился полностью внести всю сумму. А он и словом не обмолвился мне об этом. Я отлично знаю, что процесс этот был возбужден против меня из-за него, но все же заплатить сто тысяч франков вместо сорока или, может быть, тридцати тысяч единственно для того, чтобы уберечь меня в будущем от неприятного зрелища гербовой бумаги,— это, по-моему, поступок весьма *джентльменский* и вполне заслуживает любви.

Словом, я совершенно счастлива, ем как волк и сплю как сурок. Кстати, надо рассказать тебе сон, который приснился мне сегодня ночью после бешеной скачки верхом и двух стаканов портвейна за обедом. Я ощущала, я видела свой собственный мозг. Не знаю как и почему, но он лежал в корзинке из-под салата, которую изо всех сил раскачивала красивая рука женщины-убийцы, прекрасная рука, вроде тех, что мы часто видим в витринах торговцев гипсовыми статуэтками. И эта рука словно висела в воздухе, она была ничья. Вот какие глупости снятся, когда выпьешь немного больше портвейна, чем нужно!

Итак, напиши мне, что делается в Париже, и не бойся писать о театральных новостях. Маленький Люзи женится — да? Держу пари, что на той танцовщице из Оперы, с такими красивыми глазами и таким длинным носом,— помнишь, ты еще прозвала ее «дочерью Амура и Полишинеля». Скажи мне вот что — была ли ты на кладбище? Посадил ли садовник цветы вокруг

памятника Бланшерону, как мы договорились? Я не очень-то заботилась об этом бедняге! Я была даже слишком жестока по отношению к нему. Так вот, пусть, по крайней мере, могила его будет похожа на могилу человека, которого хоть немного любили при жизни.

Любящая тебя сестра Жюльетта.

P. S. Собираешься ли ты *пересаживать себя в другой горшок,* как ты любишь говорить? Поедешь ли куда-нибудь этим летом? Может быть, в Гомбург? Если так, тебе бы следовало заехать сюда вместе с малышом и провести у меня несколько дней».

XLVI

Жизнь деятельная, кипучая, неугомонная, прогулки с утра до вечера в легких экипажах или в седле на быстрых верховых лошадях, жизнь, подстегиваемая свежим воздухом и ветром, бешеная скачка по окрестностям в поисках дичи, жизнь, исполненная неистового движения, кровавые бифштексы, крепкие вина, которые так любит старая Англия и которые словно вливают радость во все функции организма,— такова была жизнь любовников в Линдау.

И это чисто земное существование, стремительный бег крови, сокровенное счастье физической близости, избыток здоровья — все это вместе день ото дня делало женщину прекраснее. То была уже не знаменитая Фостен из Французской Комедии, парижская актриса, на выразительном, одухотворенном лице которой виднелся отпечаток беспокойной и нервной жизни столицы, след забот, оставляемый иногда сценой на челе ее тружениц, старообразная маска, внезапно появляющаяся в дурные дни на лицах артистов. Теперь это была другая женщина. На лице ее уже не видно было серых следов усталости, шея потеряла свою малокровную бледность, темные круги под глазами исчезли, все, что начинает выдавать возраст женщины, пропало, испарилось, улетучилось, словно по волшебству. Даже оттенок легкой иронии, характерный для этого лица, понемногу рассеялся, уступив место выражению очаровательной безмятежности, сопутствующей чисто физическому ощущению радости бытия. А сухое, изящное тело актрисы начало слегка округляться, окрепло, и легкая полнота, натянув швы ее платьев, придала юношескую упругость ее позам, движениям, жестам. Кожа ее, сделавшаяся свежей и эластичной, стала выделять чудесный

запах малины, тот запах, каким обычно отдает тело здоровой деревенской девушки.

На вилле Изембург лицо тридцатилетней Фостен приобрело свежий, почти детский румянец, тело приняло оттенок молочной белизны, в глазах появился влажный блеск, а кончики ушей нежно зарозовели.

XLVII

На берегах немецких и швейцарских озер есть для туристов прелестные уголки. Это те пароходные пристани, которые стоят на сваях в маленьких веселых бухтах, красуясь своими балкончиками, балюстрадами, и на которых, посреди вьющихся растений, сидят путешественницы в изящных позах; те воздушные деревянные сооружения с фундаментом, мокнущим в воде, что полны женщин, цветов и похожи на картинки японского альбома, рисующие жизнь на побережье Дальнего Востока.

Как-то раз Жюльетта, послушавшись уговоров лорда Эннендейла, поехала с ним верхом в дальнюю прогулку, и любовники на минуту остановились перед одной из таких пристаней.

Очаровательная жанровая картинка — картинка, достойная изобретательной кисти художника типа Людвига Кнауса. В одном углу, возле старомодной, обитой вылинявшим красным бархатом коляски, гора чемоданов, саквояжей, всевозможных тюков и других живописных предметов яркой расцветки. Под ней — ряд портшезов, на которых в непринужденных позах сидели, откинувшись на спинки, девочки в коротеньких, до колен, белых платьях. Там и сям, опираясь на палки с рукоятками из козьего рога, стояли юные путешественницы, подпоясанные кожаными кушаками, к которым были привязаны бинокль, альбом, веер, зонтик. Четко обрисованные, высокие, стройные силуэты девушек, окутанные развевающимися газовыми вуалями, казались совсем воздушными. А посреди этого предотъездного беспорядка и суеты выделялась группа швейцарских женщин в белых полотняных корсажах; скрестив руки на груди, они молча смотрели друг на друга затуманенным и восторженным взглядом — тем взглядом, какой бывает у женщин, когда они молятся в церкви.

И вдруг из этого безмолвного кружка послышалось пенье — грустное пенье, похожее на тоскливый напев горцев. Не обращая внимания на окружающих и как будто единственно для того, чтобы сделать приятное самим себе, эти женщины долго

пели, волнуя души слушателей мелодичной жалобой своих нежных и суровых голосов.

Их песни произвели сильное впечатление на Жюльетту, и она не только высыпала им все содержимое своего кошелька и кошелька своего спутника, но еще подарила самым юным участницам хора несколько бывших на ней недорогих украшений.

Когда же лорд Эпсендейл выразил некоторое удивление — не столько щедрости ее, сколько тому лихорадочному воодушевлению, с каким она делала эти подарки,— Фостен сказала ему с грустной улыбкой:

— Ведь и я тоже пела когда-то... как эти женщины!

Волнение, вызванное этой встречей, не проходило: как видно, оно воскресило в душе актрисы целый рой воспоминаний, все ее прошлое.

Она стала молчалива и, пустив свою лошадь вскачь, упивалась быстрой ездой.

Вернувшись на виллу, она отказалась от ужина, так как слишком устала, и, выпив чашку бульона, легла спать.

Ночью Уильям был внезапно разбужен звуком громко произнесенных слов. Он увидел, что Фостен сошла с постели и, стоя посреди комнаты, в ночной сорочке, освещенная лунным сиянием, декламирует монолог Гермионы:

Где я? Зачем я здесь? Что я уже свершила
И что еще должна свершить? Какая сила
Сжимает сердце мне? Какое горе жжет?
Бессмысленно брожу я по дворцу...

Фостен в период разучивания роли бывала подвержена легким приступам сомнамбулизма, и ей случалось иногда, приподнявшись на подушке, декламировать во сне, но лорд Эпсендейл никогда еще не видел, чтобы она вот так вставала с постели и играла, словно на подмостках театра.

В этом призрачном освещении она была поистине великолепна. Понизив голос на целую октаву, она читала прекрасные стихи тем сдержанным тоном, каким всегда пробовала свои интонации при разучивании роли, и этот тон придавал монологу особую трагическую сосредоточенность, окутывая образ Гермионы атмосферой священного ужаса и создавая впечатление, будто стихи декламирует привидение.

Фостен сыграла так всю первую сцену, долго, нетерпеливо ждала во сне реплики Клеоны, чтобы начать вторую, потом,

не дождавшись, проснулась, не сразу сообразила, что с ней... и бросилась в объятия Уильяма, повторяя:

— Я не виновата, не виновата! Ведь я же все сделала, чтобы... чтобы больше не быть... актрисой...

XLVIII

Со времени этой прогулки мысли Фостен уже не были ограничены пределами виллы, и влюбленная женщина уже не жила теперь одним только настоящим. Частица прошлого вновь заняла свое место в ее памяти. Она стала ловить себя на том, что шепотом повторяет какой-нибудь стих, некогда заслуживший рукоплескания публики, что мечтательно улыбается, с гордостью припоминая какой-нибудь панегирик, напечатанный в газете. Она, правда, гнала их прочь — все эти невольные воспоминания о прошлом, все эти возвраты мысли к театру,— но тщетно: они лишь уходили в глубь ее сердца и снова поднимались на поверхность в часы ослабления воли, в те смутные, бессознательные и блаженные часы, когда женщина засыпает, когда она просыпается...

По вечерам, когда она лежала в постели, эти колеблющиеся образы сменяли друг друга меж ее сомкнутых век, словно отпечатки рисунки, пылающие на темной поверхности зеркала, и она вновь видела черные закоулки кулис, где мелькали складки *хламид* и полы блестящих *пеплумов*.

Утром она расставалась с ночью, одержимая замыслами роли — роли, которую ей обещали ночные грезы и в существование которой актриса верила в своем полусне,— верила до тех пор, пока глаза ее не раскрывались навстречу яркому дневному свету, навстречу действительности.

Даже днем, во всем, что она слышала, во всем, что видела, Фостен невольно искала сценических эффектов, и ее легкие быстрые шаги, раздававшиеся в аллеях парка, превращались иногда в торжественную поступь какого-нибудь выхода в пятом акте, до сих пор не забытого в Одеоне, а в ушах актрисы, помимо обыденных повседневных шумов, вдруг начинали звенеть славные и звучные имена Атридов.

Все это не затрагивало любви женщины к лорду Эннендейлу, не нарушало полноты счастья, которым она наслаждалась в Линдау, но в ее мозг пробирались мысли о том, о чем она не думала в последние два месяца и о чем хотела запретить себе думать. И, восставая против глухого упорства, с каким все су-

щество ее, все ее чувства то и дело напоминали ей о прежней профессии, актриса после неоднократных приступов безмолвного раздражения вдруг принималась кричать, гневно топая ножкой, словно обращаясь не к себе самой, а к другому человеку:

— Нет! Да нет же! С этим покончено. Говорят вам, покончено навсегда!

Фостен перестала читать французские газеты, боясь, что взгляд ее сразу упадет на рубрику «Театры», и швырнула в озеро книжку, присланную ей из Парижа,— томик знаменитого критика, недавно умершего, где были собраны все его восторженные отзывы о ее игре, ее таланте, ее сценической красоте.

XLIX

То была жизнь вдвоем, без иных развлечений, кроме прогулок верхом или в экипаже. Несколько ревнивая любовь Уильяма все еще боялась общества, и единственной обитательницей огромной виллы со всей ее княжеской роскошью была, помимо влюбленной пары, бедная родственница лорда Эннендейла, старая дева, полусумасшедшая, или, вернее сказать, впавшая в состояние тихого и веселого слабоумия.

Это была особа, отличавшаяся необычайным, невообразимым уродством, бескопечными ужимками оскорбленной стыдливости и огромными ручищами, похожими на лапы гориллы. Тем немногим фразам, которые она выговаривала по-французски, предшествовал обычно звук «аоу», причем, произнося его, она как-то странно выворачивала челюсть; затем звук этот переходил в замогильные, басовые интонации, которым не видно было конца и которые неожиданно завершались визгливым и совсем уж непонятным междометием.

Впрочем, это нелепое существо появлялось лишь во время завтрака и обеда да к вечернему чаю, а потом сразу исчезало, чтобы запереться в своей компате, которая была отведена ей настолько далеко от жилых апартаментов, насколько это было возможно.

Здесь, без остановки, без передышки, с упорством истой англичанки, она по шестнадцать часов в сутки играла на фортепьяно, совершенно не обладая ни музыкальными способностями, ни слухом, но беспощадно отбарабанивая железными пальцами невыносимые аккорды, которые, казалось, исходили не от человеческого существа, а от какой-то громыхающей мельницы, управляемой паровой машиной, и способны были разогнать це-

лый квартал мирных жителей. И во время этого адского содома на карикатурной физиономии разбушевавшейся пианистки появлялось выражение экстаза, словно у святой Цецилии, узревшей отверстые небеса.

Под дикими ударами ее огромных, страшных пальцев фортепьяно так часто выходило из строя, что она решила приставить к своей особе — не то в качестве секретаря, не то камердинера — одного старого настройщика, для которого у нее ежедневно находилась работа.

Одетая как огородное пугало, эксцентричная старая дева проявляла кокетство лишь в выборе ночных чепцов. У нее их была целая коллекция — нарядных, с пышными бантами,— и иногда, посреди обычных «аоу» она вдруг обнаруживала чувство юмора и с громким хохотом заявляла, что в постели она до того безобразна, что боится, как бы пожарные, проникнув к ней в комнату в случае пожара, не разбежались, подумав, что перед ними сам дьявол.

L

Единственный человек, которого принимали на вилле и который довольно часто гостил там по целой неделе, был секретарь английского посольства в Баварии.

Это был тип дипломата-рыболова.

Он способен был отказаться от самого высокого назначения, если в реках той страны, куда его посылали, не водилось форели. То, что происходило в государстве, при котором он был аккредитован,— проблемы политические, военные, религиозные, торговые, словом, какие бы то ни было проблемы, нисколько его не занимали. Он никогда не читал ни одной книги, ни одной газеты, ни одного клочка бумаги, написанного по-немецки, не знал о том уголке земли, где жил, решительно ничего, кроме того, что становилось ему известно неделей позже из разговоров в посольстве, и, в сущности говоря, его гораздо больше трогала потеря *наживки,* которую унесла щука, чем могло тронуть объявление Германией войны его родине. Мысль его целиком принадлежала рыбам.

По вечерам, после целого дня, проведенного на озере, он молча сидел, нагнувшись над столиком в уголке гостиной, и либо занимался изготовлением приманки — искусственной водяной мошки (Sallow Fly), желтого майского жучка-подёнки (May Fly) и водяного сверчка (Water Cricket),— либо вязал сетки, либо вырезал из жести маленьких рыбок. Все это он проделывал

с благоговейным вниманием, и, казалось, пальцы его прикасаются к священным реликвиям. Однажды английский дипломат снодобился даже смастерить крысу — крысу, вполне способную обмануть рыбий глаз! Это было просто фантастическое зрелище — светлый круг, отбрасываемый лампой, и в нем длинные рыжие ресницы, которые, трепеща, словно осиные крылья, прикрывают светлые глаза человека, напрягающего все свое внимание, чтобы добиться полного сходства игрушки с живой приманкой. А какие познания в естественной истории выказал он, сооружая остов зверька, как искусно смазал его клеем, с какой ловкостью приладил к нему шерстку, как умело вставил два крошечных глаза из глазури и как, шаг за шагом, он влил в него жизнь, в свое чучело, как счастлив был жестом испуга, который вырвался у Фостен, когда он бросил его к ней на колени!

Но как только часы били одиннадцать, англичанин, памятуя, что вставать надо рано, проворно собирал обрезки конского волоса, кусочки металла, разные мелкие инструменты, с помощью которых он кропотливо мастерил свои изделия, и, бережно уложив их в большой ящик для рыболовных принадлежностей, запирал там, предварительно бросив влюбленный взгляд на все его отделения. Рассказывали, что сразу после женитьбы он несколько вечеров подряд знакомил с содержимым ящика молодую жену,— таково было лучшее развлечение, какое он смог для нее придумать. Процедура была весьма торжественна: разворачивая каждую завернутую вещицу, супруг сначала тщательно чистил ее наждачной бумагой, а потом объяснял ее назначение и сейчас же заворачивал снова, демонстрируя таким образом юной подруге жизни весь свой скарб.

II

Спустя некоторое время на вилле появился новый гость.

Перед его приездом лорд Эннендейл предупредил Фостен, что этот его соотечественник — человек немного эксцентричный, и сказал, что будет ей признателен, если она извинит его странности.

Как-то раз, возвратясь с прогулки, они застали этого человека уже водворившимся в доме — он сидел за столом, и, в ожидании обеда, усердно пил водку, поднося ко рту рюмку дрожащей рукой.

Вновь прибывший сразу и восторженно заговорил о песнях скальдов, о древних поэмах Севера, о том, какой след оставили

они в памяти жителей Исландии, где он только что побывал, и, несмотря на то что он изъяснялся по-французски не совсем правильно, Фостен, которая вначале решила, что это самый обыкновенный великосветский пьяница, была удивлена.

Начали обедать. Продолжая пить вместо вина одну только водку и не притрагиваясь ни к одному блюду, кроме супа из бычьих хвостов,— он съел его столько, что на языке могли вскочить волдыри,— да салата из огурцов, которого он уничтожил целую миску, «высокочтимый» Джордж Селвин, однако, успешно поддерживал разговор на тему о политическом положении Германии, об английских дипломатах, посланных на материк, о венских салонах, о театре Расина и Корнеля, высказывая при этом здравые суждения государственного человека, рассказывая анекдоты, роняя глубокие мысли, извлекая из памяти бесконечные цитаты, обнаруживая необычайные познания в области всех европейских литератур,— и все это без малейших признаков опьянения и притом на французском языке, который с часу на час становился все более правильным, резким, злобным, а порой и беспощадно язвительным.

Джордж Селвин поразил любопытство Фостен, и, сказать правду, было чем. Чувствовалось, что этот человек еще молод, но лицо его, лицо глубокого старика, с бурой, дубленой кожей, говорило о темной, преступной, дурно прожитой жизни. Одевался он нарочито небрежно, костюм был весь в пятнах, а в петлице торчал редкий цветок с неприятным резким запахом,— причем стебель его был погружен в плоскую бутылочку, спрятанную за отворотом сюртука.

На мизинцах сухих, до странности сухих рук он отрастил длинные ногти, заключенные в золотые футлярчики на китайский манер. Помимо эксцентричности этого человека, не носившего галстука и ходившего с голой шеей, чуть ли не с голой грудью, в нем было еще много неуловимых мелочей, которые отталкивали, несмотря на обаяние его интеллекта. Особенно неприятное впечатление производило его лицо; при непомерно высоком лбе оно казалось не мужским, а скорее женским, старушечьим лицом, по которому то и дело пробегала злобная, напоминавшая нервный тик усмешка. Странное впечатление производило также и то, что седая прядь, видневшаяся среди его иссиня-черных волос и являвшаяся, по его словам, отличительной особенностью всех членов его семьи, была тщательно расчесана и, пожалуй, даже нарочито выставлена напоказ.

В гостиной достопочтенный Джордж Селвин продолжал рассуждать как специалист о самых разнообразных предметах и

между прочим рассказал о пастилках из амбры маршала де Ришелье, рецепт которых он будто бы получил от Каде-Гассикура и которые во время одной из поездок по Востоку дали ему возможность увидать уйму таких вещей, каких никогда не видели другие собаки христиане: их показали ему признательные старые паши, помолодевшие, воскресшие благодаря этому привозному снадобью двора Людовика XV.

В процессе разговора он машинально протянул руку к флакончику с нюхательной солью, вырезанному из цельного самоцветного камня, но, когда Фостен пододвинула ему флакончик, он вдруг резко оттолкнул его со словами:

— Нет, нет, я разобью его!

И, заметив ее удивленный взгляд, добавил:

— Да, я наделен особой, совершенно особой болезнью... Когда я беру в руки какую-нибудь драгоценную вещицу и чувствую, что она действительно драгоценна... со мной происходит нечто страшное: рефлекторное действие мозга, передавая импульс приводящим и хватательным мускулам, мгновенно переходит в отрицание заданного движения... У меня появляется какое-то функциональное бессилие, я роняю вещь, и — трах! — она уже лежит на полу, разбитая на тысячу кусков... Врачи говорят, что руководящая роль головного мозга уничтожается у меня сильным воздействием спинного... И заметьте: если вещь не кажется мне драгоценной, то я держу ее крепко, очень крепко... Нет, друг мой, тут нет ничего общего с *писчей судорогой*. Тут происходит нечто, так сказать, совершенно противоположное... У лиц, страдающих этим заболеванием, усиленное, судорожное сокращение мускулов приводит к так называемой *контрактуре*... в то время как у меня происходит мгновенный мышечный паралич... Словом, я — субъект патологический... и представляю огромный интерес для моего приятеля доктора Бернетта. Придется ему оказать мне честь, посвятив моей особе специальный параграф в его будущей книге «О нервных расстройствах».

LII

В вечерние часы у камина в вилле Изембург нередко находилась теперь не Фостен, а лишь ее внешняя физическая оболочка, ее тело,— душа женщины отсутствовала, она была на улице Ришелье.

Актрисе вспоминалось, как она выпрыгивала, бывало, из экипажа, которым правил старый Раво, прямо в толпу газетчи-

ков, выкрикивавших каждый вечер ее имя. Вот она проходит мимо швейцара, который, улыбаясь, почтительно снимает перед ней фуражку. Вот живо взбирается по лестнице, останавливаясь на маленьких, словно созданных для раздумья площадках. Заглядывает, нагнувшись, в глубокий темный двор, куда выходят окна без ставень, без занавесок,— сверху донизу сверкающие огнями окна, за которыми мелькают человеческие силуэты, а совсем в глубине виднеются ноги пожарных в белых панталонах и походная кровать, заваленная снаряжением солдата муниципальной гвардии.

Вот она снова в своей уборной и репетирует роль с сестрой или с суфлером театра, охваченная сладостным, тревожным и вечно новым волнением. Она видит себя в ниспадающем тяжелыми складками одеянии трагической героини, которое придает какую-то суровую грацию ее фигуре. Она чувствует под ногами подмостки сцены — те подмостки, на которых она жила настоящей, полной, живой жизнью. Она смотрит сквозь отверстие занавеса в большую, ярко освещенную залу. Вон там, в пятой ложе справа, опять сидит старая герцогиня де Тайебур, неизменная посетительница всех ее спектаклей. А тут, в первом ряду партера, всегда на одном и том же месте, возле маленькой выходной двери, виднеется парик маркиза де Фонтебиз. Она испытывает радость и гордость при виде всех этих замечательных, знаменитых, умных людей, явившихся сюда ради тех чувств, которые она, только она одна, умеет расшевелить в человеческой душе. Вот она выходит на сцену, а вокруг учащенно бьются сердца зрителей, затаивших дыхание, охваченных тем немым и трепетным восторгом, с каким встречают и приветствуют великих артистов. Она играет, она играет под гром рукоплесканий, впивая эти звуки, без которых немыслимо ее существование, которых ей теперь недоставало и которые она иногда искала и здесь, словно удивляясь, что не слышит их среди голосов окружающей природы.

И лицо Фостен, когда мысль ее убегала на подмостки театра, вдруг разгоралось лихорадочным румянцем, а ноздри раздувались, как у боевого коня, почуявшего поле битвы.

— За весь вечер вы не сказали ни слова, Жюльетта... О чем вы думаете?

То был голос ее возлюбленного.

— Ни о чем, друг мой!.. Ах, уже три четверти десятого!

И стрелки на циферблате немецких стенных часов напомнили ей лишь о том, что это было время ее выхода во втором акте «Федры».

В подобных случаях Фостен пододвигала к себе какое-нибудь рукоделье — одну из тех работ, за которыми женщина может, когда к ней обращаются с вопросом, сослаться на то, что она считает стежки, и которая позволяла ей вновь вернуться к своим мечтам и без помехи погрузиться в них на все время вечернего спектакля в Париже.

Несмотря на сопротивление, на усилия, на упорную борьбу с собой, господствующая страсть снова завладела Фостен. Она снова подпала под власть призвания, под власть всесильной привычки, выработанной долгими годами, отданными на служение любимому делу. Театр призывал ее к себе, маня всеми соблазнами этого ристалища славы, всеми обольщениями этой профессии, каждодневно удовлетворяющей самолюбие актера, всем неведомым очарованием и тайными путами этой необыкновенной среды, которая так захватывает человека, что (директора театров могут подтвердить это) даже простые рабочие, механики, плотники, однажды поработавшие в театре, не хотят и не могут больше работать в другом месте, как бы скудно ни оплачивался здесь их труд.

Несмотря на свое счастье, на свою любовь, Фостен погибала от пустоты, от бездеятельности, от косности своей жизни.

С этой женщиной, созданной природою для театра, женщиной, у которой каждый перелив голоса, каждый жест, все, что исходило от нее, было театрально, внезапно произошло нечто странное (такие вещи случаются реже, чем это принято думать, даже и с большими актрисами): все ее способности, все присущее ей дарование вдруг как бы обострились в ней, благодаря этому длительному отдыху, этой спячке многих месяцев. Талант ее словно томился в плену и хотел во что бы то ни стало выйти на волю. Величавые жесты трагедии вырывались порой у Фостен, диссонируя с ее узким платьем, и по временам ей казалось, что все эти полчища стихов, зарытых в ее памяти и обреченных на молчание, могут вдруг прорваться в яростном возмущении сквозь ее стиснутые губы.

Даже и взгляд влюбленной женщины сделался, как прежде, властным, холодным, бесстрастным, зорким взглядом актрисы, и вместе с этим взглядом к ней вернулось беспокойное, почти болезненное напряжение внимания, побуждавшее ее выслеживать все комическое или трагическое на лицах окружающих и бессознательно нащупывать элементы великих и новых творений.

Она чувствовала себя побежденной, да, окончательно побежденной. В последнее время, вот уже в течение многих дней, с настойчивостью, которую ничто не могло обескуражить, с нежными ласками и с все возраставшей любовью, лорд Эннендейл возвращался к вопросу о браке и просил Фостен стать его женой. Но она отказывала ему, как уже отказала тогда, в Париже. Однако в глубине души она сознавала, что деликатность и благородство были на этот раз не единственными мотивами ее отказа, что теперешний отказ был, пожалуй, продиктован задней мыслью — мыслью, что она вернется в театр в тот день, когда перестанет быть любимой.

И она написала в Париж относительно своих театральных костюмов (в первый момент после выхода из труппы, уверенная в том, что уходит из театра навсегда, она бросила их, оставила висеть на вешалках),— написала сестре, прося ее заказать сундуки и уложить все туда.

LIII

Однажды утром, перед завтраком, прогуливаясь с Фостен по аллее красных буков, Джордж Селвин остановил ее перед одним из птичьих садков, куда садовник посадил семь или восемь петухов, чтобы откормить их.

— Вы заметили, сударыня, вон тех двух петухов, что сидят все время на верхней жердочке, хотя все остальные находятся внизу?

— Да.

— Посмотрите на них хорошенько... обратите внимание, какой у них слабый, удлиненный, бесцветный гребень...

— В самом деле!

— Не кажется ли вам, что в облике этих двух самцов есть что-то печальное и смешное?

— Не знаю, право.

— Эти два петуха ни за что не сойдут со своего насеста, даже если будут умирать с голоду!

— Но почему же? Потому, что остальные будут их бить?

— Нет... потому что, когда они спустятся вниз, остальные будут обходиться с ними как с курицами!

— И вы находите это таким уж забавным, мосье Селвин?

— Я считаю это... я считаю это противоестественным... вот и все! — произнес англичанин и повел Фостен к дому, посмеиваясь каким-то странным, ироническим смехом.

LIV

— Order? [1]

Это слово каким-то беззвучным, *матовым* голосом произнес плотный человек, который внезапно появился и застыл с фуражкой в руке, захлопнув за собой дверь: кучер хозяйки дома явился за приказаниями.

Фостен, подняв голову, взглянула на массивное рыжеволосое существо, появившееся перед ней, и у нее вырвалось чисто французское: «Ах!»

Затем она сказала с какой-то жалобной интонацией:

— Oh yes, yes, wait [2].

В течение нескольких минут женщина мысленно искала, чем бы заполнить день. Поехать куда-нибудь в окрестности, в такое место, где она еще не была? Пройтись пешком? Но она ничего не придумала, и ее утренние мысли унеслись прочь.

Неподвижный, словно окаменевший, человек ждал, не повторяя вопроса, застыв у дверей.

Погруженная в задумчивость, Фостен внезапно подняла блуждающий взор на безмолвного кучера, о котором совершенно забыла.

При этом неприятном напоминании о скучной действительности, о повседневных делах, она снова принялась придумывать какое-нибудь занятие, но почувствовала, что ей не хочется выходить из дому, двигаться, не хочется нарушать свое оцепенение. И она невольно вспомнила о старом Раво, своем парижском кучере, который, бывало, возил ее, полную жизни и воодушевления, по разным местам, где ей бывало так весело.

И когда, оторвавшись от воспоминания об этой добродушной, жизнерадостной, французской физиономии, она снова увидела перед собой бесстрастное лицо англичанина, неподвижно стоявшего все в той же позе, ее вдруг охватило раздражение, и, возвращаясь к своим прежним привычкам, она бросила ему с жестом королевы минувших веков совершенно театральное: «Ступайте».

Такая или приблизительно такая сцена происходила каждое утро между английским кучером, приходившим за приказаниями к своей французской госпоже, и госпожой, объявлявшей, что она остается дома.

---

[1] Здесь: каковы будут приказанья? *(англ.)*

[2] Да, да подождите *(англ.)*.

LV

Сад виллы завершался огромной террасой, сложенной из больших гранитных глыб и имевшей форму разрушенного бастиона, выступающего над озером. Изнутри ее огибала каменная скамья, с которой можно было, если немного перегнуться наружу, видеть прозрачную водную пелену.

Здесь Фостен, возненавидевшая всякое движение, проводила часть дня. Закрывшись розовым зонтиком и лениво лежа в углу каменной скамьи, подогнув под себя ногу, ничего не делая, ни о чем не думая, с розоватыми отблесками пронизанного светом шелка на скучающем лице, она целыми часами пристально смотрела на эту красивую зеленую воду, которая никуда не текла, смотрела на стаю больших черных рыб, дремавших на одном и том же месте, пока сияло солнце,— и их мертвая неподвижность среди этой стоячей воды тихо нашептывала ей о ее собственном косном существовании, о ее застывшей жизни.

LVI

— Что же все-таки представляет собой ваш друг Селвин?

С таким вопросом обратилась как-то Фостен к лорду Эннендейлу после отъезда его друга в Мюнхен, где тот пропадал по два-три дня каждую неделю.

Лорд Эннендейл, раскуривавший в это время сигару, медленно затянулся, затем посмотрел в глаза своей возлюбленной и ответил:

— Джордж Селвин — это *садист*.

И на немой вопрос в глазах Фостен он добавил:

— Да, человек с болезненными склонностями... с извращенной чувственностью... Но что вам... что нам до его жизни?

И он принялся расхаживать по комнате, роняя отрывистые фразы:

— Способный, очень способный человек... огромная эрудиция... а главное — старый друг молодости.

И после паузы:

— Вы собираетесь куда-нибудь поехать сегодня, Жюльетта?

— Нет.

После этого «нет» лорд Эннендейл направился к конюшням.

А Фостен начала раздумывать об инстинктивном отвращении, которое с первого взгляда вызвал в ней этот незнакомец,

о неприятном чувстве, появившемся у нее, когда в доме водворился этот человек, явившийся бог весть откуда, о зачатках ревности, возникшей у нее ко все возраставшему влиянию, которое он оказывал на ее возлюбленного. Она не любила этого человека даже за тот след, какой он оставлял в умах людей, среди которых жил, за то любопытство, какое он в них возбуждал, за их страстное желание разгадать загадку этой темной души. Она спрашивала себя, какие отношения, какие узы могли связывать в прошлом этого человека с лордом Эннендейлом. Несмотря на все свои усилия, она не могла припомнить, чтобы его имя было хоть раз упомянуто при ней, и это казалось ей странным. Ее воспоминания, убегая вспять, возвращались к первому периоду ее связи со знатным молодым англичанином. И где-то в недрах ее памяти вдруг всплыла одна ночь в Шотландии, одна прогулка при луне, превращавшей огромный парк с вековыми деревьями в какой-то райский сад. Тогда, этой светлой прозрачной ночью, ее возлюбленный неожиданно — она так никогда и не узнала потом, чем это было вызвано,— бросился к ее ногам и, обнимая ее колени, начал благодарить, смиренно благодарить ее за драгоценный дар любви,— все это с нежными ласками, орошенными слезами, с неистовой радостью и лихорадочным смятением, с какими-то безумными речами, из которых она поняла, что ее любовь вырвала юношу из среды грязной и развратной, из тисков опасных страстей, подсказанных пагубными, кощунственными книгами и друзьями. И вдруг фраза, только что произнесенная лордом Эннендейлом — «старый друг молодости»,— открыла ей глаза: да, Селвин был одним из злых гениев юности и первых зрелых лет ее любовника. Впрочем, разве ей и самой не случалось ловить обрывки его рассуждений! Разве до ушей ее не долетала, когда она обнаруживала обоих друзей в каком-нибудь уголке парка или в одной из комнат, пряная едкость его рассказов, смакующих чувственные детали, циничные описания, грубо эротические картины, обрывки его теорий любви, которые отдавали убийцей! Разве, заслышав издали его приближение, его пронзительный и веселый голос, завидев его злобно-насмешливое лицо, ироническую усмешку его губ, она не убегала в испуге от этого человека, словно от какого-то сатанического апостола зла и всех дурных страстей! И разве теперь, с тех пор как этот Джордж Селвин жил здесь, разве ее любовник, после бесконечных разговоров со своим другом, не кидался вечером в ее объятия с таким болезненным пылом, словно эти огненные речи вливали какой-то возбуждающий яд в его жилы! И разве не появился у нее не-

который страх перед этой любовью, перед этой бешеной, ненасытной страстью и даже перед этим любимым лицом, которое в минуты наслаждения делалось прежде таким нежным и на котором теперь — казалось ей — иногда бывало какое-то странное, почти жестокое выражение!

LVII

Наступление осени, последние отцветающие цветы и первые облетающие листья, резкие западные ветры, стонущие в деревьях, огромная серая пелена воды, белесоватая громада дома, просвечивающая сквозь оголенные стволы, вьющиеся растения, увядающие в бледном свете дня,— все это наводило на Фостен странную, тревожную грусть, в которой как бы затаился страх, смутный страх перед будущим, ожидавшим ее в тех стенах, где она жила. Искусное подражание средневековью в некоторых частях здания, быстрое обветшание под немецким небом построек, сооруженных на итальянский лад, в иные дни придавало вилле сходство с какой-то трагической декорацией. Даже камни, неизвестно почему, возбуждали в человеке, у которого расходились нервы, какие-то мрачные предчувствия. Кроме того, Фостен узнала, что маленькая готическая часовенка, которую она сначала приняла за архитектурный каприз бывшего владельца виллы, представляла собой склеп и что женщина, которую до нее любили в этом уголке земли, была похоронена здесь вместе со своим новорожденным младенцем. Фостен представляла себе, как юная влюбленная принцесса лежит среди цветов в гробу со сложенными на груди руками, в которых покоится мертвый младенец. И теперь, когда она уже знала об ужасном несчастье, случившемся в этом огромном доме, ей казалось, что, несмотря на новых обитателей, на солнце, проникающее через вновь распахнутые окна, несмотря на привезенную сюда новую радость, здесь навеки поселились уныние и горе.

А люди, с которыми ей приходилось жить на этой вилле,— старая англичанка, дипломат, «высокочтимый» Джордж Селвин,— представлялись ей непонятными, внушающими опасение существами, выходцами из какого-то странного, зловещего, почти страшного мира. Даже автоматические движения этих огромных, шестифутовых лакеев, с лицами точно у восковых фигур, внезапно вскакивавших в передней при ее появлении, иной раз рождали в ее мозгу мысль, что все вокруг нее пере-

ально, что она живет в каком-то нелепом кошмаре, и глухая тревога охватывала подчас эту парижанку, эту женщину, которая до сих пор жила в веселых и уютных квартирах, среди мужчин и женщин, созданных по человеческому образу и подобию.

В свои праздные дни Фостен бродила по нежилым комнатам с закрытыми ставнями, натыкаясь в полумраке то на детскую колыбельку, то на другие семейные реликвии, казалось, брошенные наспех при бегстве из про́клятого небом дома.

Среди всех этих причудливых предметов был маленький шкафчик — нечто вроде шифоньерки,— к которому вновь и вновь приводила ее какая-то неведомая сила. Принцесса Фредерика страстно любила кружева, и на ящиках шифоньерки были наклеены бумажки с надписями, сделанными ее изящным, но неразборчивым почерком: «Малин, Валансьен, Шантильи, Алансон, Англия».

С каким-то странным чувством Фостен открывала, один за другим, эти пустые ящики... и подолгу неподвижно стояла перед шкафчиком, грезя о чем-то, думая, что дом, в котором она живет, несчастливый дом — дом, отмеченный роком.

LVIII

Обитатели виллы Изембург пили кофе в «Сорренто», когда к ним подошел слуга и подал на серебряном подносе письмо мистеру Джорджу Селвину.

Прочитав письмо, Джордж Селвин передал его своему другу со словами:

— К сожалению, сегодня вечером мне придется уехать. Меня ждут гости.

— А... это из того домика на бретонском побережье, о котором ты как-то говорил мне,— сказал лорд Эннендейл, быстро пробежав письмо, написанное шифром.

Фостен невольно взглянула на листок почтовой бумаги.

— Ах, какая прелестная хижина нарисована в заголовке! — воскликнула она и в порыве детского любопытства наклонилась, чтобы разобрать надпись, сделанную вокруг рисунка.

— «Хижина Дольмансе»,— прочитала она вслух. И добавила: — Это название местности, не так ли?

— Да, именно так,— проговорил лорд Эннендейл, и женщина, внезапно смутившись, увидела на губах Джорджа Селвина загадочную и зловещую улыбку.

LIX

Примерно в ту же пору Фостен, кончая письмо к сестре и поручая ей купить кое-какие мелочи для своего туалета, сделала следующую приписку:

«Ты не прислала мне, хоть я тебя и просила, всех тех газет, где упоминалось о дебюте Женни Лафон в «Федре», и не написала, какие из моих ролей она намерена играть. О, если бы мне удалось хоть на несколько месяцев вернуться в театр, я бы выпросила себе роли паперсниц в тех пьесах, где она играет королев, и все-таки *съела* бы ее».

LX

И снова жизнь наедине друг с другом началась для любовников в вилле Изембург. Отъезд англичанина Селвина освободил Фостен от ее тайных тревог, а некий проект, который должен был вот-вот осуществиться, почти отвлек ее от упорно возвращавшихся мыслей о театре. Лорд Эннендейл предложил своей возлюбленной провести зиму в Италии, и теперь оба были заняты разными приготовлениями, отдаваясь радостному полету воображения, которое всегда предшествует всякому путешествию и заранее уносит нас в далекую страну.

Все было решено: они нигде не будут жить подолгу и, путешествуя в своем экипаже и на своих лошадях, поедут не торопясь, куда глаза глядят, задерживаясь там, где понравится, и не останавливаясь в тех городах и местностях, которые покажутся скучными. И, склонившись над картой, совсем близко, так что головы их соприкасались, а волосы смешивались, они вместе водили указательными пальцами по большому листу, намечая места будущих остановок, причем женщина, обнаруживая забавное невежество, задавала совсем детские вопросы, а мужчина отвечал ей как человек, основательно знающий страну.

— Вот здесь,— говорил он, останавливая пальчик своей возлюбленной на маленьком кружке,— здесь он купит ей золотое кольцо, совсем особой чеканки — такой не знают ни в одной другой европейской стране... Здесь он поведет ее смотреть старинную церковь, не указанную ни в одном путеводителе... Тут он угостит ее маленькой рыбкой, которую едят только в этих краях... И потом, он ведь занимался фотографией, когда был в Индии... Скоро прибудет выписанный им аппарат... она будет

помогать ему и увидит, как это интересно... Они привезут оттуда снимки... снимки, сделанные их собственными руками... снимки всех тех уголков, где они оставят частицу своего счастья, своей любви.

Уже старая англичанка была отправлена в Англию, где ей предстояло провести все время, пока продлится путешествие влюбленной пары. Уже начали укладывать чемоданы, и отъезд был назначен на один из первых дней наступающей недели.

LXI

Однажды ночью, в насыщенной сладострастием духоте спальни, лорд Эпнендейл встал в постели, где рядом с ним спала его возлюбленная, чтобы впустить в комнату немного прохлады утра, белевшего сквозь прозрачные занавески.

Бессильными шагами он подошел к окну, попытался отворить его и вдруг слабеющим голосом крикнул:

— Жюльетта, ко мне... ко мне!

Разбуженная этим призывом, совсем еще сонная, Фостен увидела, что ее любовник ухватился обеими руками за ручку окна, пытаясь сохранить равновесие, почти падая. Соскочив с постели, она тотчас подбежала к нему, обхватила обеими руками.

Поддерживаемый женщиной, мужчина сделал движение в сторону постели, но ноги у него подкосились, и Фостен почувствовала, как его большое, тяжелое тело обвисло в ее объятиях.

Она кричала, звала на помощь, но никто не слышал ее, а так как она не могла разомкнуть рук, то не могла и позвонить.

Тогда, собрав последние силы, она сделала отчаянную попытку поднять своего Уильяма и, почти раздавленная этой тяжестью, понесла его, медленно, очень медленно подвигаясь вперед, подняв голову к его бледному лицу, глядя в широко раскрытые глаза возлюбленного, где застыл ужас, каким поражает совершенно здорового человека внезапное, неожиданное прекращение жизни.

LXII

Сознание не вернулось к лорду Эпнендейлу и после того, как Фостен уложила его в постель. Он лежал неподвижный, как труп, все с тем же страшным, застывшим взглядом. Единственным признаком, указывавшим на то, что он еще жив, было лишь прерывистое, свистящее дыхание. По временам его губы

раскрывались, пропуская невнятные обрывки слов, но голос тут же замирал, переходя в какие-то детские вздохи. Бывали и такие мгновения, когда Жюльетте, наклонявшейся над ним, чтобы заставить проглотить крошечные, с булавочную головку, кусочки льда,— когда ей казалось, что глаза его, внезапно прояснившись, с секунду улыбались ей, как будто узнавая... но нет, то была иллюзия: это выражение мгновенно улетучивалось, а взор снова убегал куда-то вдаль.

И в этом бесконечном бдении у постели больного,— ибо женщина никому не уступала своего места, не соглашалась ни на малейший отдых,— проходили для нее дни с их радостным и раздражающим наступлением утра при мерцании угасавшей свечи и долгие, бесконечно долгие ночи,— дни и ночи, прерываемые лишь визитами врача, озабоченного, подавленного странной, неостижимой болезнью.

LXIII

В разгаре полного счастья жизни вдвоем — внезапная перспектива вечной разлуки с любимым человеком через несколько дней, быть может, через несколько часов, и грубое вторжение мысли о смерти! И это — в самом начале любви, которую оба считали вечной и которая не продлилась еще и года, любви, исполненной нежности, пыла, исполненной того горения страсти, которое соединяет мужчину и женщину в одно нерасторжимое целое. О, боже, возможно ли это? Она пойдет гулять, и его рука не будет больше поддерживать ее руку. Сядет за стол — и не увидит больше напротив его лица. Уснет — и его сон не сольется более с ее сном. Она не услышит больше, как он высказывает за нее мысль, пришедшую одновременно им обоим. У нее не будет его глаз, чтобы смотреть, чтобы смотреть вместе с нею... Нет, отныне ничего не будет в ее жизни, кроме ужасного одиночества в опустошенном мире; дни ее будут лишены солнца, ничто не будет больше приносить ей радость... И если бы еще она была подготовлена к этому страшному прогнозу долгими месяцами болезни, медленными изменениями в состоянии больного, беспокойством, написанным на лицах окружающих, их тревожным шепотом — всеми жестокими признаками, которые постепенно приучают мысль, помогают ей свыкнуться с тем кошмаром, которому вначале упорно, изо всех сил, отказывается верить любящее сердце... Но такая смерть — смерть, поражающая как молния...

И пока тянулось неопределенное, ничем наперед не ограниченное время, которое близкие проводят у постели умирающего, Фостен чувствовала себя совершенно отупевшей, словно бы оглушенной сильным ударом по голове. Она стала рассеянной, мысли у нее путались, в ушах стоял шум, напоминавший отдаленный рокот волн, и по временам немое возмущение против бога и судьбы поднималось вдруг из глубины ее сознания.

В такие часы жизнь просыпалась в ней, но это пробуждение сопровождалось тупой болью, словно после мучительного кошмара.

И все время истерзанный мозг женщины не покидало ощущение раздирающей неизвестности.

По временам, инстинктивно простирая руки, она пыталась отогнать навязчивую идею какими-то словами, вернее, мыслями: «Ведь доктор еще не произнес окончательного приговора... ведь люди выздоравливают и от более тяжелых болезней... а он еще так молод». Но руки ее тотчас снова сжимали лоб. И тогда из всех углов угрюмой комнаты, казалось ей, доносились чьи-то тихие голоса, которые, как мухи, бьющиеся о стекло, стучали ей в виски, нашептывая: «Смерть, смерть, смерть!»

LXIV

Спальня, где на широкой кровати, с матрацем, обитым красным шелком, лежал лорд Эннендейл, была огромная, высокая и холодная комната, уставленная строгой мебелью в стиле той модернизированной готики, какую можно видеть в маленьких бульварных театрах при постановках исторических драм.

На туалетном столике с зеркалом в раме со стрельчатым верхом, среди множества липких ложечек, стояла целая батарея флаконч иков и откупоренных пузырьков с лекарствами, а через стеклянную дверь виднелись силуэты двух гигантов лакеев, которые дремали на креслах в соседней комнате.

Снаружи веяло унылой, немного тревожной грустью широкой пелены уснувших вод, и время от времени в открытое окно влетали, словно летучие мыши, легкие дуновения ветра, колебавшие слабый огонек лампы и создававшие в мрачной комнате внезапные смены света и свинцового мрака.

Сидя в ногах постели, Фостен плакала, зарывшись головой в одеяло, плакала над больным, а он лежал неподвижно, и только его бледные, стиснутые страшной судорогой пальцы собирали и комкали простыню на груди.

Когда она подняла голову, у постели стоял неслышно вошедший доктор — старик с длинными волосами, откинутыми за уши, как у Дженнера, в длинном сюртуке, какие носят протестантские пасторы.

— Да, она началась! — пробормотал он, не произнося страшного слова.

— О, боже! Значит?.. — И Фостен умолкла, не закончив фразу.

— Мужайтесь, сударыня! — проговорил доктор.

И он сел рядом с ней, устремив на умирающего холодный взгляд ученого, изучающего смерть.

Фостен взяла руки Уильяма в свои и, ласково поглаживая их, словно мать, унимающая сердитые движения ручонок больного ребенка, пыталась успокоить их нервозность и прекратить это ужасное комканье простыни.

Врач — тот все еще всматривался в лицо умирающего с каким-то страшным и настойчивым вниманием, к которому вдруг присоединилось что-то похожее на удивление. Он наклонился вправо, потом влево, чтобы лучше видеть, проговорил: «Нет, этого не может быть»,— вынул из кармана шелковый носовой платок, долго протирал им стекла очков, наконец встал с места и, приподняв абажур на лампе, ярко осветил лицо молодого лорда.

И, стоя у постели, причем тень от его застывшей фигуры падала на простыню, повторяя все его недоуменные жесты, доктор продолжал бормотать отрывочные фразы:

— Нет, это не иллюзия, это случай, какой может встретиться раз в сто лет... Видите ли вы, сударыня, страшную игру мускулов risorius [1] и большого скулового мускула?.. Случай, который никогда еще не подвергался научному наблюдению... Медицинские книги — немецкие, английские, французские — дают только название такого рода агонии, да еще неизвестно, то ли самое они имеют в виду... но ни в одной книге любой из этих стран нет ее описания... И мы бы даже не знали о ее существовании, если бы не ваша соотечественница, госпожа д'Эпине. Основываясь на сообщении Троншена, она упоминает об этом в своих мемуарах, оставленных ею в прошлом веке... Да взгляните же, рисунок смеха становится совершенно отчетливым... Ах, бедная вы моя, вам предстоит присутствовать при очень тяжком зрелище... будьте готовы стать свидетельницей так называемой *сардонической агонии*... Сейчас я ненадолго

---

[1] Управляющих смехом *(лат.)*.

оставлю вас, сделаю визит на виллу Калленберг и сразу же вернусь... Я хочу записать все явления, которые будут происходить.

Когда Фостен осталась одна, ее охватил невыразимый ужас. Она хотела было подойти к окну и закрыть его, чтобы прекратить ночные дуновения, которые моментами делали эту комнату еще более страшной, но не посмела. Хотела позвать слуг, которые спали по ту сторону стеклянной двери, но не решилась. И не в силах ни убежать отсюда, ни видеть лицо умирающего, на котором смерть *смеялась,* она обеими руками закрыла себе глаза.

Часы текли, врач не приходил, мрак становился все гуще, все безмолвнее, приближалась полночь, чей приход так страшен для того, кто бодрствует у постели умирающего, а исполненная ужаса Фостен все еще как пригвожденная сидела на том же месте, закрыв лицо руками, не смея взглянуть.

После длительного, очень длительного промежутка времени она отважилась, однако, посмотреть сквозь слегка раздвинутые пальцы, потом взглянула еще раз и еще, внезапно охваченная жгучим любопытством, чувствуя, как в нем растворяется и ее страх, и даже какая-то частица ее скорби.

И вдруг она почувствовала, что уже не в силах отвести взгляд от странной агонии этого лица.

Ее руки оторвались от глаз, упали на колени, и, застыв на месте, она смотрела, смотрела, вопреки себе.

И подобно тому, как это бывает в больнице, где нервные припадки переходят от больного к больному, постепенно заражая всю палату, рот и губы актрисы, так долго всматривавшейся в лицо умирающего, начали непроизвольно повторять все движения его рта, его губ, воспроизводить ужасный, душераздирающий смех, искажавший его черты.

Ибо теперь на лице его была уже не та неопределенная, неясная улыбка, какая была вначале. Сейчас это был смех, настоящий смех, да, смех, появлявшийся и исчезавший вместе с хрипом, вырывавшимся из горла, смех, приподнимавший в жестокой, иронической усмешке углы посиневших губ, зловещий rictus [1], искажающий в последних предсмертных судорогах человеческое лицо,— смех, эта милая примета радости и счастья, превратившаяся в ужасную, дьявольскую карикатуру, словом, самая изумительная вещь, какую когда-либо дано было видеть драматическому артисту.

---

[1] Оскал *(лат.).*

И это зрелище, на мгновение убив любовницу, заставило женщину, помимо ее воли, снова стать актрисой.

Мало-помалу от подражания нервного, бессознательного, непроизвольного, каким оно было несколько минут назад, Фостен, словно повинуясь чьей-то деспотической воле, перешла к подражанию обдуманному, хладнокровному, словно она работала над ролью, словно ей предстояло изображать агонию на сцене,— и теперь желая убедиться, что смех на ее устах это именно тот смех, какой она подсмотрела на губах своего любовника, она оборачивалась, ища ответа в зеленоватом зеркале старинного туалета, стоявшего за ее спиной.

Всецело отдавшись труду актрисы, Фостен вдруг услышала яростный звонок, раздавшийся откуда-то из глубины постели, и, торопливо отвернувшись от зеркала, встретила взгляд умирающего, к которому словно чудом вернулось сознание.

Оба лакея вошли в комнату.

— Turn out that woman! [1] — сказал молодой лорд, и в голосе его прозвучала вся непреклонность саксонской расы.

Фостен прижалась губами к рукам любовника. Но тот резко оттолкнул ее со словами:

— Актриса... вы только актриса... женщина, неспособная любить!

И, последним предсмертным усилием отвернув лицо к стене, лорд Эннендейл крикнул еще более повелительным тоном:

— Turn out that woman!

---

[1] Выведите отсюда эту женщину! *(англ.)*

ЖЕРМИНИ ЛАСЕРТЕ

(Germinie Lacerteux)

Первым изданием роман «Жермини Ласерте» вышел в Париже в 1864 году в издательстве Шарпантье и сразу обратил на себя внимание, оказавшись в центре литературных споров. Молодой Золя отозвался на «Жермини Ласерте» восторженной статьей, подчеркивая в своем анализе те стороны романа, которые делают его произведением «натуралистической школы». От Золя не ускользнул демократический пафос «Жермини Ласерте», сочувственное отношение авторов к человеку из народных низов. Но именно эти черты сделали роман Гонкуров неприемлемым для консервативной критики, главным выразителем которой был влиятельнейший в те дни толстый литературный журнал «Ревю де Дё Монд» («La Revue de Deux Mondes»). На страницах этого журнала (1864, т. 55) критик Лажепеве обрушил на Гонкуров целый водопад обвинений в «безнравственности», «грязном воображении», «желании подделываться под самые низменные вкусы публики».

Первый русский перевод «Жермини Ласерте» был опубликован в 1881 году в журнале «Европейская библиотека» (№ 35). В 1911 году издательство «Сфинкс» предприняло издание собраний сочинений братьев Гонкуров; роман «Жермини Ласерте» вышел в переводе С. Венгеровой. В настоящем издании использован перевод Э. Линецкой, впервые напечатанный в книге: Эдмон и Жюль де Гонкур, Жермини Ласерте. Актриса. Отрывки из «Дневника» (Лениздат, 1961). Перевод заново пересмотрен и отредактирован.

Стр. 31. *Бертен* Жан-Виктор (1775—1842) — французский пейзажист, изображавший природу в идеализирующей манере классицизма.

Стр. 32. *...читали завещание короля.*— Речь идет о завещании короля Людовика XVI, казненного во время французской буржуазной революции, 21 января 1793 г. В период Реставрации ежегодно в этот день в церквах поминали «короля-мученика».

Стр. 33. *...называли его Бодой...*— Бода — искаженное Будда.

Стр. 34—35. *...ее крестными были принцессы крови.*— У католиков может быть несколько крестных отцов и матерей.

Стр. 35. *...глотай своего боженьку!* — Хлеб и вино христианского причастия в просторечии часто назывались bon Dieu (боженька).

Стр. 37. *...жертв сентябрьской резни.*— 2—5 сентября 1792 г., во время французской революции, в парижских тюрьмах были казнены восставшим народом арестованные контрреволюционеры.

Шометт Пьер-Гаспар (1763—1793) — деятель французской революции, якобинец, один из основателей «культа Разума».

Стр. 38. *Девятое Термидора.*— Имеется в виду контрреволюционный переворот 27 июля 1794 г. (по революционному календарю — 9 термидора II года Республики), после которого власть во Французской Республике перешла к умеренным и правым группировкам, представлявшим интересы крупной буржуазии.

Стр. 42. *«Жизнеописания живописцев»* — труд итальянского художника, архитектора и одного из первых историков искусства Джорджо Вазари (1511—1574).

...наслаждаясь собой, небом, деревьями, богом Жан-Жака Руссо...— По учению Руссо, бог создал человека в основе своей добрым и призванным существовать в гармоническом единстве с природой; пороки и несправедливость внесла в мир цивилизация.

Стр. 43. *Мадам Анго* — созданный народным юмором в период Директории (1795—1799) образ невежественной, но самоуверенной буржуазки, вышедшей «из грязи в князи» и преуспевшей в жизни. Мадам Анго — персонаж многих комедий, водевилей и фарсов.

Стр. 46. *Рашель* (псевдоним Элизы Феликс, 1821—1858) — выдающаяся французская актриса, содействовавшая возрождению на французской сцене репертуара классической трагедии.

Стр. 49. *...десятого августа Людовик XVI не решился вскочить в седло...*— Здесь подразумевается нерешительность Людовика XVI в день парижского восстания 10 августа 1792 г., неспособность короля справиться с ним.

Стр. 55. *Жокрис* — персонаж старинных французских народных фарсов, тип доверчивого и до крайности простодушного глупца.

Стр. 62. *Бюффон* Жорж-Луи де (1707—1788) — французский ученый-натуралист и писатель.

Баллю Теодор (1817—1885) — французский архитектор.

Ватто Антуан (1684—1721) — французский живописец и гравер, изображавший по преимуществу пасторальные сцены, празднества на лоне природы и т. п.

Стр. 81. *Пасторали Буше.*— Речь идет о картинах французского художника Франсуа Буше (1703—1770), писавшего изящно, но несколько манерно пасторальные и мифологические сцены.

...с «Временами года» Прюдона...— Имеется в виду работа французского художника Пьера-Поля Прюдона (1758—1823).

Стр. 85. *Бридиди* (ум. в 1876 г.) — знаменитый в середине XIX в. танцор парижских «публичных балов», по профессии торговый служащий. Настоящее имя его Габриель ла Курсоннуа.

Стр. 92. *В родильный дом Бурб...*— Бурб — бесплатный родильный дом, где обстановка и уход были значительно хуже, чем в платных лечебницах.

Стр. 152. *...рекламы «глории»...*— «Глория» — алкогольный напиток, состоящий из кофе и коньяка.

Стр. 154. *...карикатуры, вырванные из «Шаривари»...*— «Шаривари» — название распространенного в середине XIX в. французского юмористического журнала.

Стр. 185. *Монфокон.*— В XIII столетии за чертой города Парижа, в местности, называвшейся Монфокон, была устроена огромная виселица для совершения публичных казней, внушавшая особый ужас, так как трупы казненных висели на ней до тех пор, пока не приходилось освобождать место для других жертв.

БРАТЬЯ ЗЕМГАННО

(Les Frères Zemganno)

«Братья Земганно» — второй из романов, написанных Эдмоном де Гонкуром уже после смерти брата и полностью принадлежащих ему одному. Роман был впервые напечатан в 1879 году издательством Шарпантье. В своем дневнике Э. де Гонкур не без горечи отмечает преобладающие отрицательные отзывы критики (Барбе д'Орвильи, Понмартена и др.). Барбе д'Орвильи, в частности, на страницах газеты «Конститюсьонель» («Constitutionnelle») нападал на Гонкура прежде всего как на писателя, связанного с натурализмом, который рассматривается критиком как одно из проявлений общего упадка литературы в последней трети XIX века. Как известно, Золя, высоко оценивший «Братьев Земганно», резко возражал против идей, изложенных в предисловии к роману, причем возражал не только в печати; свое

несогласие он сначала выразил в личном и по существу дружеском письме к Э. де Гонкуру. Осудил предисловие и Флобер, также в письме к Гонкуру, но не за антидемократическую тенденцию, а за самый факт его написания: «Зачем вам понадобилось говорить непосредственно с публикой? Она недостойна ваших признаний»,— писал он. В «Дневнике» (16 мая 1879 г.) Эдмон де Гонкур записывает: «Ни один критик не заметил, по-видимому, оригинальности, к которой я стремился: растрогать читателя не любовной историей, а чем-то иным, сделать роман интересным по-иному, чем это делалось от начала времен».

В России «Братьям Земганно» сразу повезло. Уже в 1879 году вышло два перевода (журнал «Еженедельное Новое время», т. 1, № 13; т. 2, № 14, № 26, и журнал «Слово», май — август). Любопытен отрицательный отзыв на «Братьев Земганно» критика Н. К. Михайловского («Отечественные записки», 1879, т. 246), который осуждал автора за возвеличение циркового искусства, по существу своему якобы низменного и унижающего человеческое достоинство акробата и клоуна. От критика совершенно ускользнул глубоко человечный лиризм романа, то, что М. Горький назвал его «трогательностью». В 1911 году в издательстве «Сфинкс» роман Гонкура был напечатан в переводе З. Журавской. Этот перевод дважды переиздавался в советское время: в 1919 году (издательство «Всемирная литература») и в 1928 году (Госиздат). В настоящем томе помещен перевод Е. Гунста, впервые выпущенный издательством «Academia» в 1936 году и переизданный в 1959 году (Гослитиздат).

Стр. 192. *Доде* Юлия (1847—1940) — жена писателя Альфонса Доде, автор очерков, стихов и мемуаров. Эдмон де Гонкур считал семью Доде самыми близкими своими друзьями.

Стр. 197. *...у торговки четками на via Condotti...*— Эта улица в Риме была центром торговли предметами искусства и старины.

Драгоман — переводчик (с а р а б с к.).

Стр. 198. *...сделался бродягой лупёром.*— Лупёр — сборщик паразитических наростов на деревьях.

...билетером Цирка Олимпико в Пере...— Пера — квартал в старом Константинополе, населенный преимущественно иностранцами.

Стр. 199. *Тянь-Цзинь* — один из китайских городов, открытых в XIX в. для торговли с иностранцами. В 1870 г. там произошли беспорядки, во время которых жившие в городе иностранцы были перебиты.

Стр. 203. *...в ...австрийском Брабанте...*— Брабант, одна из провинций Фландрии, ныне входящая в состав Бельгии, в средние века и до французской революции 1789—1793 гг. находилась под властью Австрии. *Лейс* Анри (1815—1869) — бельгийский художник, писавший на исторические темы.

Раус — комическая сценка, которую исполняли ярмарочные комедианты у входа в балаган.

Стр. 210. *...медленный подъем на запястьях неподражаемого Джемса Эллиса...*— Речь идет об одном из двух «братьев Эллис», гимнастов, подвизавшихся в английском цирке в середине XIX в.

Стр. 231. *Деянира* (г р е ч. м и ф.) — жена Геракла (Геркулеса), оказавшаяся невольной виновницей его гибели.

Стр. 233. *...рябом, как Голландия...*— Намек на карту Голландии, изрезанную каналами.

Стр. 234. *Турне* — бельгийский городок у самой границы с Францией.

Стр. 240. *Цирк Астли* — конный цирк, основанный в Лондоне наездником Филиппом Астли (1742—1814).

Стр. 242. *Цирк Императрицы* — летний цирк в Париже на Елисейских полях.

Стр. 244. *«Сердце-разоблачитель»* — один из «страшных» рассказов Эдгара По (1809—1849).

Стр. 248. *Шере* Жюль (1836—1932) — французский живописец и рисовальщик, создатель особого типа цветных иллюстрированных афиш и плакатов.

Стр. 251. *Матушка Жигонь* — персонаж театра марионеток: на сцене из-под ее юбки вылезает куча ребятишек.

Стр. 257. *Франкони-отец.*— Речь идет об Антуане Франкони (1738—1836) — известном французском наезднике.

Стр. 260. «Иллюстрация» («l'Illustration») — французский еженедельный иллюстрированный журнал, существовавший с середины XIX в. до второй мировой войны.

Стр. 264. *Малый Трианон* — одноэтажный дворец в Версале.

Стр. 265. *Сдается комната для больного.*— В старину считалось, что запах навоза целителен для больных чахоткой.

Стр. 266. *Арканджело Туккаро* — итальянский акробат XVI в.

Стр. 273. *Шляпа в духе Рубенса* — круглая широкополая мягкая шляпа.

Стр. 276. *...смертной казни на площади Рокет.*— В тюрьме на площади Рокет приводились в исполнение смертные приговоры. До начала XX в. казни совершались на самой площади, перед тюрьмой.

«Антракт» («l'Entracte») — французская театральная газета, основанная в 1831 г.

Стр. 277. *...Дафны, превратившейся в лавр.*— Нимфа Дафна, которой пытался овладеть Аполлон, спаслась от его преследования, превратившись в лавровое дерево (г р е ч. м и ф.).

Стр. 280. *Бартез* Поль-Жозеф (1734—1806) — французский врач, автор труда «Новейшая механика движений животных и человека».

Стр. 282. *Lazzi (Ладзи)* — термин итальянской народной комедии масок, означающий: шутка, выходка, «фортель».

Дебюро Жан-Батист-Гаспар (1796—1846) — выдающийся французский актер-мим, создатель типа Пьеро.

Геба (ант. миф.) — дочь Зевса (Юпитера) и Геры, раздававшая богам «молодильные» яства — нектар и амброзию. Изображалась в виде юной девушки.

Киприда (властительница Кипра) — в греческой мифологии одно из прозвищ богини Афродиты.

Стр. 285. *Ориоль* Жан-Батист (1808—1881) — французский клоун. Одним из его коронных номеров был прыжок в туфли.

АКТРИСА ФОСТЕН

(La Faustin)

Роман «Актриса Фостен» впервые вышел в 1881 году в издательстве Лемер. На этот раз Эдмон де Гонкур мог со спокойным удовлетворением констатировать в своем «Дневнике» (май — июль 1881 г.), что на долю его нового произведения выпал успех не только у читающей публики, но и в прессе. Одобрительные, а порою и восторженные отзывы Поля Бурже в газете «Парлеман» («Parlement»), А. Доде в «Ревей» («le Reveil»), г-жи Доде в «Тан» («Temps»), Мопассана в «Голуа» («Gaulois»), Золя в «Бьен юблик» («le Bien publique»), Сеара в «Эвенман» («l'Evénement») произвели на Гонкура такое впечатление, что он удостоил лишь иронического упоминания большую статью одного из известнейших французских критиков и редактора «Ревю де Дё Монд» Фердинанда Брюнетьера, помещенную в этом журнале в томе 49 за 1881 год. Статья Брюнетьера явилась между тем своего рода программным выступлением: как критик «охранительного» направления, поклонник французского классицизма, Брюнетьер резко отрицательно относился и к натурализму, и к тем тенденциям модернистского, «декадентского» характера, которые шли ему на смену. На автора «Актрисы Фостен» он обрушился за то, что в его представлении являлось, с одной стороны, пережитками натурализма, с другой стороны — изменой ему (эпизоды любви Фостен и лорда Эннендейла, которые кажутся Брюнетьеру романтизмом дурного вкуса, и прежде всего пресловутая «сардоническая агония» Эннендейла).

Первый русский перевод романа Гонкура принадлежит М. Шелгуновой и вышел в свет в С.-Петербурге в 1882 году под названием «Жюльетта Фаустен». В советское время роман появился в новом переводе А. Эфроса в 1936 году (издательство «Academia») под названием

«Фостен» и в переводе Д. Лившиц в 1961 году под названием «Актриса» (в книге: Эдмон и Жюль де Гонкур, Жермини Ласерте. Актриса. Отрывки из «Дневника», Лениздат). Этот перевод, просмотренный заново, и помещен в данном томе.

Стр. 317. *Ниттис* Жозеф (франц. форма имени Джузеппе; 1846—1884) — итальянский художник, жил и работал в Париже; один из друзей Эдмона де Гонкура.

Стр. 320. *Пигмалион* (греч. миф.) — скульптор, влюбившийся в изваянную им статую и ожививший ее своей любовью.

Стр. 322. *...чтобы выйти замуж за какого-нибудь Ларюэтта...*— Вероятно, имеется в виду актер Жан-Луи Ларюэтт (1731—1792), известный своим исполнением ролей неудачников и благородных отцов.

Стр. 323. *«Понос Бобеша».*— Бобеш — французский балаганный актер, весьма знаменитый в первой четверти XIX в.

...некто по имени Понсар обнимается сейчас с Титанией...— Титания — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», царица эльфов. Понсар Франсуа (1814—1867) — поэт-драматург, пытавшийся найти некую «среднюю» линию между романтическим и классическим театром.

Принципы восемьдесят девятого года — то есть положения «Декларации прав человека и гражданина», провозглашенной во время французской буржуазной революции 1789—1793 гг.

...с интонацией à la Грассо.— Грассо Поль-Луи-Огюст (1800—1860) — французский актер, популярный в свое время комик.

Стр. 324. *Виши* — курорт во Франции, где лечат желудочные заболевания.

Сид (арабск. «господин») — герой испанской народной поэзии, воитель, боровшийся против мавров. Сид является героем многих литературных произведений, в частности, одноименной трагедии Корнеля (1636).

Гаргамель — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», жена короля великанов Грангузье и мать Гаргантюа.

Беспечная Сарра — намек на библейский рассказ о Сарре, жене патриарха Авраама, которая сама дала своему супругу в наложницы рабыню Агарь («Бытие», XVI).

Стр. 325. *Дюшенуа* Катрина-Жозефина (1777—1835) — французская трагическая актриса.

Стр. 326. *Диафуарус* — персонаж комедии Мольера «Мнимый больной» (1673); псевдоученый врач.

Стр. 327. *...вызвать дух Мюрже?* — Мюрже Анри (1822—1861) — французский писатель, автор «Сцен из жизни богемы».

Стр. 333. *...приняв позу Бертена, как на портрете Энгра.*— Энгр До-

мишк (1780—1867) — французский художник неоклассического направления. Бертен Луп-Франсуа (1766—1841) — буржуазный публицист; при Реставрации и в царствование Луп-Филиппа — главный редактор газеты «Журналь де Деба». На портрете Энгра Бертен сидит, упершись руками в колени, в позе энергичной и властной.

Стр. 335. *Сент-Бёв* Шарль-Огюстен (1804—1869) — выдающийся французский литературный критик.

Стр. 336. *...в Греции Перикла...* — Перикл (490—429 до н. э.) — древнегреческий государственный деятель, с именем которого связан период расцвета афинского города-государства.

«Ипполит» (точнее, «Ипполит Увенчанный») — трагедия греческого поэта Еврипида (480—406 до н. э.), сюжет которой и многие положения заимствованы были Расином для его «Федры».

Стр. 337. *Ракия* — виноградная водка.

Стр. 338. *Паликар.* — В конце XVIII и начале XIX в. паликарами назывались турецкие солдаты греческого и албанского происхождения, дезертировавшие из турецкой армии и образовывавшие партизанские отряды для борьбы с турецкими поработителями. Во время войны за независимость (1821—1828 гг.) паликары боролись на стороне греческого народа.

Стр. 344. *Скриб* Огюстен-Эжен (1791—1861) — французский драматург, пользовавшийся огромной популярностью в XIX в., мастер сценической интриги.

Стр. 345. *«Собрание речей».* — Имеется в виду сборник речей римских государственных деятелей, извлеченных из трудов римских авторов. Сборник этот был издан во Франции еще в XVI в. Анри Эстьеном и с тех пор неоднократно переиздавался в исправленном и дополненном виде.

Стр. 346. *Агент кулисы.* — Так назывались лица, выступавшие посредниками при заключении «за кулисами» официальной биржи сделок между держателями ценностей.

Стр. 348. *...с видом «поджигательниц»...* — Враги Парижской коммуны называли так женщин из народа, которых клеветнически обвиняли в поджогах зданий.

...актрисе Одеона... — Одеон — один из драматических театров Парижа, в котором ставились пьесы Гонкуров (например, «Анриетта Марешаль», 1884) и инсценировки их романов («Рене Мопрен» Сеара, 1880; «Жермини Ласерте» самого Э. де Гонкура, 1888).

Стр. 349. *Терамен* — персонаж из «Федры» Расина, воспитатель Ипполита.

Энона — кормилица Федры в одноименной трагедии Расина.

Стр. 350. *Мадемуазель Марс* (Анна-Франсуаза Буте; 1779—1847) —

выдающаяся французская актриса, с одинаковым успехом выступавшая как в трагических, так и в комических ролях.

Стр. 352. *Домье* Оноре (1808—1879) — французский художник, мастер острой политической карикатуры, проникнутой демократическим пафосом и ненавистью к реакции.

Стр. 355. *У меня как раз есть при себе гербовая марка.*— Подразумевается: чтобы написать официальную жалобу.

Стр. 362. *...на манер гостиницы с ложей № 23 из рассказа Гофмана.*— В рассказе «Дон Жуан» немецкого писателя Эрнеста-Теодора-Амадея Гофмана (1776—1822) герой-рассказчик попадает на представление моцартовского «Дон Жуана» через потайную дверь, которая выходит в коридор, соединяющий гостиницу с театральной ложей № 23.

Стр. 365. *Жозеф Мери́* (1798—1865) — французский поэт и романист. В ряде его произведений действие, полное романтических приключений, происходит на Востоке.

Стр. 366. *Мадемуазель Клерон* (1723—1803) — крупная французская трагическая актриса. Эдмон де Гонкур написал о ней отдельную монографию.

Стр. 368. *«Ужель, Афродита, тебя веселит...»* — слова одной арии из оперетты Оффенбаха (1819—1880) «Прекрасная Елена» (1864).

Стр. 369. *Дидона* — карфагенская царица, возлюбленная троянца Энея (Вергилий, Энеида, песни 2—3).

Стр. 371. *...надо дать почувствовать дочь Пасифаи.*— По античному мифу, Федра была дочерью критского царя Миноса и его жены Пасифаи; одержимая эротическим безумием, Пасифая воспылала страстью к быку и родила от него чудовище Минотавра.

Стр. 373. *...в туниках, хламидах и паллиумах...*— Туника — античная одежда типа рубашки; хламида и паллиум — верхняя одежда типа плаща.

Стр. 374. *Герен* Пьер-Нарсис (1774—1833) — французский исторический живописец неоклассического направления.

Александрийские стихи — размер, которым написаны французские классические, а также и романтические трагедии, комедии и драмы. Довольно близок к русскому шестистопному ямбу.

Римская премия — высшая награда, присуждавшаяся ученикам Парижской Академии художеств; давала право на командировку в Рим, в специальную французскую художественную школу.

Стр. 377. *...лицо какого-нибудь наемного убийцы при дворе Валуа...*— При дворе последних французских королей династии Валуа (XVI в.), во время религиозных войн между католиками и протестантами, представители враждующих партий нередко пользовались услугами наемных убийц.

Стр. 384. *...Адриенна Лекуврер, была отравлена...*— Адриенна Ле-

куврер (1692—1730) — французская трагическая актриса; некоторые обстоятельства ее внезапной смерти привели к возникновению легенды об отравлении ее ревнивой соперницей.

Стр. 385. *...тот, кто первый облек в плоть и кровь камень, мрамор, бронзу.*— По-видимому, речь идет о французском скульпторе Жане-Батисте Карпо (1827—1875).

Тео.— Имеется в виду Теофиль Готье (1811—1872), французский поэт, прозаик, литературный и художественный критик.

Сен-Виктор Поль де (1825—1881) — французский литературный и театральный критик.

Стр. 386. *Вильмессан* Огюст (1812—1879) — видный французский журналист, основатель газеты «Фигаро», существующей и в наше время.

Жанен Жюль (1804—1874) — французский писатель романтического направления, критик и журналист. В 70-х годах XIX в. его расцвет и слава были уже позади.

Стр. 389. *Делоне* Луи-Арсен (1826—1903) — французский актер и театральный педагог (профессор сценической декламации).

Стр. 392. *...будто признает только эгинетов...*— Речь идет о светской моде на греческую скульптуру V в. до н. э. (эгинетами называются фигуры эллинских воинов на фронтоне храма в Эгине).

...читая им из «Града божия» блаженного Августина.— «О граде божием» — богословский труд одного из «отцов церкви» Августина, епископа Гиппонского (354—430).

Стр. 396. *...иностранный писатель, великан с кротким лицом...*— то есть И. С. Тургенев; в 70-х годах Э. де Гонкур часто общался с великим русским писателем в Париже и приводит в «Дневнике» много высказываний и устных рассказов Тургенева.

Йорданс Якоб (1593—1678) — фламандский художник, реалистически изображавший грубоватые энергичные лица своих современников.

Варфоломеевская ночь.— Во время религиозных войн во Франции в ночь св. Варфоломея (24 августа 1572 г.) главари католической партии организовали массовое избиение протестантов в Париже.

Стр. 397. *...художник кисти и слова...*— Вероятно, подразумевается писатель и художник Эжен Фромантен (1820—1876), автор романа «Доминик» и картин, изображающих пейзажи Сахары.

Стр. 398. *...ученый — мечтатель и фантазер* — вероятно, Камиль Фламмарион (1842—1925), астроном и популяризатор астрономии; он писал также романы на астрономические темы («Урания» и др.).

Стр. 401. *...воплощением мечты какого-нибудь Пиранези...*— Пиранези Джанбатиста (1720—1778) — итальянский архитектор, автор серии гравюр на архитектурные сюжеты, поражающих буйной фантазией.

Карл I (1500—1558) — король Испании, он же Карл V, германский

император; выведен Виктором Гюго в качестве одного из главных персонажей в драме «Эрнани» (1830).

Павел Эмилий.— Такое имя носили два римских государственных деятеля: консул 219 г. до н. э., погибший в битве с Ганнибалом при Каннах, и римский наместник в Испании, консул 181 г. до н. э.; последний победил македонского царя Персея, что привело к захвату римлянами Греции, Македонии и Фракии.

Прозерпина (у греков — Персефона) — царица подземного царства мертвых (антич. миф.).

Стр. 402. *На одной стене висит Дюкло...*— Дюкло Мария-Анна (1670—1748) — видная французская трагическая актриса. Далее следуют имена выдающихся актеров, чья сценическая деятельность была связана с театром Французской Комедии (иначе, Французским театром). *Барон* Мишель (1653—1729), так же как и *Лекен* Анри (1728—1778) — трагические актеры. *Жеффруа* Эдмон (1804—1895) — актер, который одновременно был художником; его кисти, в частности, принадлежат две картины, представляющие собой коллективные портреты актеров Французской Комедии. *Мадемуазель Марс* — см. прим. к стр. 350. *Тальма* Франсуа-Жозеф (1763—1826) — крупнейший актер-трагик. *Клерон* — см. прим. к стр. 366. *Данжевиль* (Мария-Анна Бато; 1714—1796) — видная актриса. *Превиль* Пьер-Луи (1721—1799) — комический актер. *Бовалле* Пьер-Франсуа (1802—1871) — актер на трагических ролях, работавший также и как драматург.

Стр. 403. *...паясничавшего Готье-Гаргиля...*— Готье-Гаргиль (1574—1634) — знаменитый в свое время комический (фарсовый) актер, представитель сценического жанра, связывающего «высокий» театр с народными балаганными представлениями.

Стр. 404. *Брессан* Жан-Батист (1815—1886) — актер театра Французской Комедии.

Стр. 407. *...грациозное воспоминание...*— Имя Коломб по-французски буквально значит Голубка.

Стр. 408. *«Баязет»* (1672) — трагедия Расина, где главная женская роль принадлежит Роксане, любимой жене турецкого султана Амурата, изменившей ему с его братом Баязетом.

Стр. 408—409. *...повторить мне шутку великого короля...*— Людовик XIV будто бы однажды сказал, что для роли Федры требуется сочетание двух (несовместимых в одном сценическом даровании) стилей: высокого трагизма, как у актрисы Шанмеле (1642—1698), и страстного лиризма, как у актрисы Деннебо (1638—1708).

Стр. 432. *Теннисон* Альфред (1809—1892) — английский поэт, автор «Королевских идиллий» — поэм на сюжеты средневековых легенд о короле Артуре и «рыцарях круглого стола».

Стр. 433—434. *Круазет* Софи (1848—1901), *Ллойд* Мари-Эмили (род.

1845) и *Самари* Леонтина (1857—1890) — актрисы Французской Комедии, современницы Гонкуров.

Стр. 434. *Форен* Жан-Луи (1852—1931) — французский живописец и гравер, автор острых политических карикатур.

Тьеполо Джованни-Батиста (1693—1770) — итальянский живописец, последний великий представитель венецианской школы.

Лемуан Франсуа (1688—1737) — французский живописец.

Стр. 437. *...с интонацией Жозефа Прюдома...*— Жозеф Прюдом — образ, созданный французским писателем и карикатуристом Анри Монье (1805—1877) и вскоре ставший популярнейшим воплощением типа самодовольного и ничтожного буржуа.

Стр. 440. *...«Андромаху» — трагедию, в которой ей ...предстояло ...играть роль Гермионы...*— В трагедии Расина «Андромаха» (1667) спартанская царевна Гермиона, невеста царя Пирра, неистово ревнует его к греческой пленнице Андромахе.

Стр. 441. *...словно проклятье Камиллы...*— Речь идет о монологе Камиллы из трагедии Корнеля «Гораций» (1639). В этом монологе Камилла проклинает родной город (Рим) и своего брата Горация, убившего ее жениха на поединке, который должен был решить победу в войне Рима с Альбой Лонгой. В ответ на это проклятие Гораций, возмущенный тем, что родная она предпочла возлюбленного, убивает Камиллу.

Стр. 447. *...свирепое величие блудницы из Апокалипсиса.*— «Апокалипсис» (г р е ч. «Откровение») — одна из книг Библии, полная трагической символики. Образ «Блудницы верхом на Звере» расшифровывался как аллегория Римского государства, преследующего христиан.

Стр. 448. *...какого-нибудь Жиля Бродяги из Тунского царства.*— Речь идет о средневековых братствах бродяг и нищих во Франции, предводители которых именовались «царями».

Стр. 456. *Людвиг Кнаус* (1829—1910) — немецкий живописец-жанрист.

Стр. 458. *...славные и звучные имена Атридов.*— В греческой мифологии Атридами (сыновьями Атрея) именуются микенский царь Агамемнон и его брат Менелай.

Стр. 460. *...словно у святой Цецилии, узревшей отверстые небеса.*— Святая Цецилия, играющая на клавесине,— сюжет многих картин классической живописи.

Стр. 463. *...о пастилках из амбры маршала де Ришелье...*— Имеется в виду Луи-Франсуа-Арман де Виньеро, маршал де Ришелье (1696—1788), французский полководец и дипломат, побывавший во многих странах.

Каде-Гассикур Шарль-Луи (1769—1821) — французский фармацевт и

химик. В период буржуазной революции 1789—1793 гг. и во время Реставрации был политическим деятелем умеренно-республиканского толка. Помимо сочинений по специальности и по вопросам политики, выступал также в качестве литератора.

Стр. 476. *Дженнер* Эдуард (1749—1832) — английский врач, открывший вакцину против оспы.

Госпожа д'Эпине (Луиза Тардье де Клавель, 1726—1783) — одна из просвещенных женщин XVIII в., хозяйка салона, где бывали ее друзья — философы и литераторы, которым она покровительствовала. Автор воспоминаний и писем.

И. Рык

СОДЕРЖАНИЕ

В. Шор. Братья Гонкуры: их эстетика и романы 5

ЖЕРМИНИ ЛАСЕРТЕ. *Перевод Э. Линецкой* . . 27

БРАТЬЯ ЗЕМГАННО. *Перевод Е. Гинзта* . . 187

АКТРИСА ФОСТЕН. *Перевод Д. Лившиц* . 313

Примечания *Н. Рыковой* 479

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 76

Эдмон и Жюль де Гонкур

ЖЕРМИНИ ЛАСЕРТЕ
БРАТЬЯ ЗЕМГАННО
АКТРИСА ФОСТЕН

Редактор С. Брахман
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Титова
Корректор
Г. Сурис

Сдано в набор 11/III 1971 г. Подписано к печати 6/I 1972 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 31 печ. л. 28,92 усл. печ. л. 28,92 уч.-изд. л. + 6 накидок + 1 вкл.= 29,5 л. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 318. Цена 1 р. 55 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16

1р.55к.